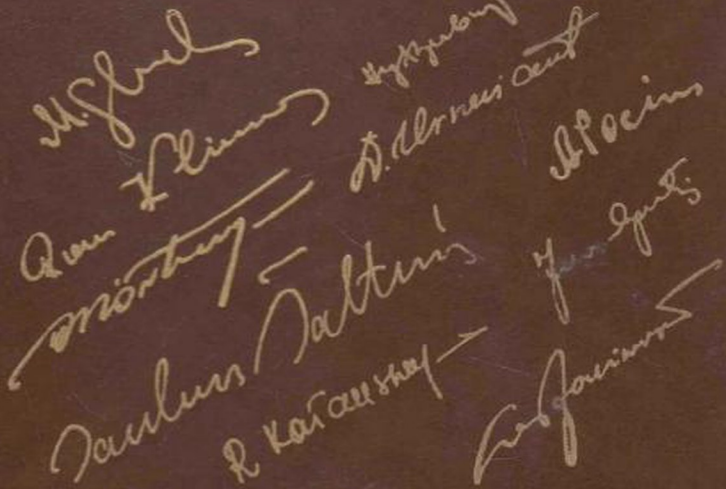


ЛИТОВСКИЕ ПОВЕСТИ

Литовские повести

Юозас Апутис, Витаутас Юргис Казевич Бубнис, Раймондас Кашаускас, Рамунас Климас, Витаутас Мартинкус, Альгирдас Зенонович Поцюс, Миколас Гецелевич Слуцкис, Даля Урнявичуте, Саулюс Шальтянис, Леонидас Яцинявичюс

Литовские повести
Юозас Апутис. АХ, ТЕОФИЛИС!
  ДОЖДЬ
  ДЕНЬ У БОЛЬШАКА
  ВОЗОК УЕЗЖАЕТ
Витаутас Бубнис. АРБЕРОН
  ВОСКРЕСЕНЬЕ
  ПОНЕДЕЛЬНИК
  ВТОРНИК
  СРЕДА
  ЧЕТВЕРГ
  ПЯТНИЦА
  СУББОТА
Раймондас Кашаускас. ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ

Рамунас Климас. ГИНТЕ И БЕЛЫЙ МОНАХ
Витаутас Мартинкус. ФЛЮГЕР ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
13
14
15
16
17
18
19
20
Альгирдас

Поцюс. МАЛЕНЬКАЯ СЕМЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУНЧИНАСА
1
2
3
4
5
6
7
8
Миколас Слуцкис. ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ БЕСКОНЕЧНЫХ ДНЕЙ
I
II
Даля Урнявичюте. ОРАНЖЕВЫЙ ШЛЕМ
ГОДА
АЛДАС
ГОДА
АЛДАС
ГОДА
Саулюс Шальтянис. ДУОКИШКИС
ХЛЕБ
РОЖДЕСТВО
ТЕТЯ АНГЕЛЕ И ИВАНОВ
ЛУННАЯ ЛИТВА
ИИСУС СУПЕРСТАР

ИЗГНАНИЕ ПЛОДА
КАК ПЛАЧУТ КАРТИНЫ
АМОРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
ВСЕОБЩАЯ МЕССА
Леонидас Яцинявичюс. ЩАВЕЛЕВОЕ ПОЛЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Послесловие. ДЕСЯТЬ ИЗ СТА

Литовские повести

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЛИТОВСКИЕ ПОВЕСТИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1980

Юозас Апутис
АХ, ТЕОФИЛИС!





Юозас Апутис родился в 1936 г. в деревне Бальчяй Расяйнского района. Окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета, работал в редакциях газеты «Литература ир мянас», журнала «Гирёс» («Леса»).

Публикуется с 1960 г. Его излюбленный жанр — короткий рассказ, пишет преимущественно о деревне, углубленно анализирует духовный мир и психологию современного человека. Вышли сборники рассказов «Цветет пчелиный хлеб» (1963), «Сентябрьские птицы» (1967), «По горизонту бегут кабаны» (1970), «Возвращение вечереющими полями» (1977). Перевел на литовский язык произведения А. Платонова, Л. Леонова, В. Быкова и других.

ДОЖДЬ

Ему нравится смотреть, как она идет. Вот почему в первые дни он брел сзади — пускай Вилия болтает себе с Вацюкасом. Нет для него картины прекраснее той, когда ветер прибивает платье Вилии к ногам и легонько закручивает. Еще красиво, что она босиком. Первые дни, когда Бенас привез их из городка, обе разгуливали в сапогах; это вам не шутка — землемеру приходится по всяким местам топать. Милда и сейчас без сапог шагу не ступит, а Вилия идет себе босиком, симпатично откидывая в стороны запыленные ноги.

Уже сама поездка из городка была не совсем обычной. Запряг он тогда лошадь в ладный возок, застелил зеленой попоной («Как на свадьбу», — сказала мать), приехав, остановился, где было велено, вошел в дом, снял фуражку. Лицо его было незнакомо сидящей там барышне, и она тут же спросила:

— Чего тебе, паренек?

Черт бы ее драл! Попадись она где-нибудь в деревне, поперхнулась бы этим пареньком! Чего он не переносит, так это таких дурацких оскорблений. Сама, чего доброго, еще в прошлом году с

голой попкой бегала, а теперь: паренек! И так уж этих неприятных случаев уйма, и все как на подбор. Первый раз напоролся на такую вот в кузове грузовика, когда ехал за метрикой. И кто только научил его всегда отвечать правду — к месту и не к месту? На грузовике была такая барышня, щупленькая и чернявая, глаза у нее блестели, как у хорька.

— Куда путь держишь, паренек? — с явной насмешкой спросила она как раз в ту минуту, когда он собирался отвернуться в угол и прикинуться, что не замечает ее.

— За метрикой.

— За метрикой? А тебе уже документы выдают?

Раскусив, куда она клонит, он расхрабрился:

— А почему бы и нет?

— Раз так, то, может, паренек, поженимся?

Вот тут он и дал маху:

— Да мне еще рано…

— Сказал! Раз документы есть, значит, мужчина…

Будь она одна, Бенас, может, и придумал бы, что ответить чернявой, но их несколько, и все зубы скалят, особенно чернявая. (Истины ради надо отметить, что единственно ее, только ее чуть

выпяченное мягкое место под голубым платьем, только ее лучистые глаза, пухлые губы и смоляной черноты волосы он будет помнить все время, других же — а было там еще трое — не запомнил ни одной. Мы запоминаем тех, кто проявляет себя, не важно чем: добром, злом или подлостью.) Он старался придумать и сказать что-нибудь, но в голову не приходило ни одного словечка, только чувствовал, что краснеет и становится, как свекла, ну, просто деваться некуда. И все-таки выпалил ответ, может, и не совсем плохой:

— Я лучше повременю…

Девчонки захохотали еще веселей, но странное дело — чернявая меньше других; уже почудилось ей что-то, уже ощутила она это малюсенькое противоборство двух людей — незнакомого паренька и ее, когда вот-вот переметнется между ними какая-нибудь злополучная искра. Опять самопроявление человека виновато, самопроявление любым способом — словом, делом, телом, оружием!

На этом все и кончилось, ничего больше не было, но память уже озарила первая молния созревания, запечатлелось и навсегда застыло отброшенное ветром в сторону голубое платье чернявой девочки, величественно, может, даже

напоказ вытянутая шея и красивая головка… Кончилось потому, что надо было слезать, Бенас пошел за своей метрикой, а девчонки в магазин. Ага, куда подевалась бойкость чернявой — плетется теперь за подружками, обособившаяся и растерянная. Чего ей не хватает, этой вороне черной, что ей плохо? Слова, слова, двумя людьми, по сути, детьми еще, сказанные; это сладостное магнетическое поле, которое возникает между мужчиной и женщиной, уже вскружило голову, заставляя не так ставить ногу, поднимать руку, не такой делать шаг…

И все-таки что ответить теперь этой задаваке, которая сидит за столом и воображает, что ее это все не касается, что она будет жить себе поживать одна, сколько позволит бог.

— Раз спрашиваете, то могу и доложить: приехал забрать двух таких барышень.

— Ого! А может, одной хватит?

— Таких, как вы, понадобилось бы не меньше десяти…

Та выпучила глаза, но все обошлось — из кабинета начальника вышла девушка в голубом цветастом платье, а за ней другая, поменьше ростом и белокурая, длинные белые волосы густо падали ей на плечи.

— Ты за землемерами приехал, мальчик?

(Боже милосердный, он отомстит. Не сейчас, конечно, когда-нибудь. Ничто так не злопамятно, как неоцененное и оскорбленное самолюбие.)

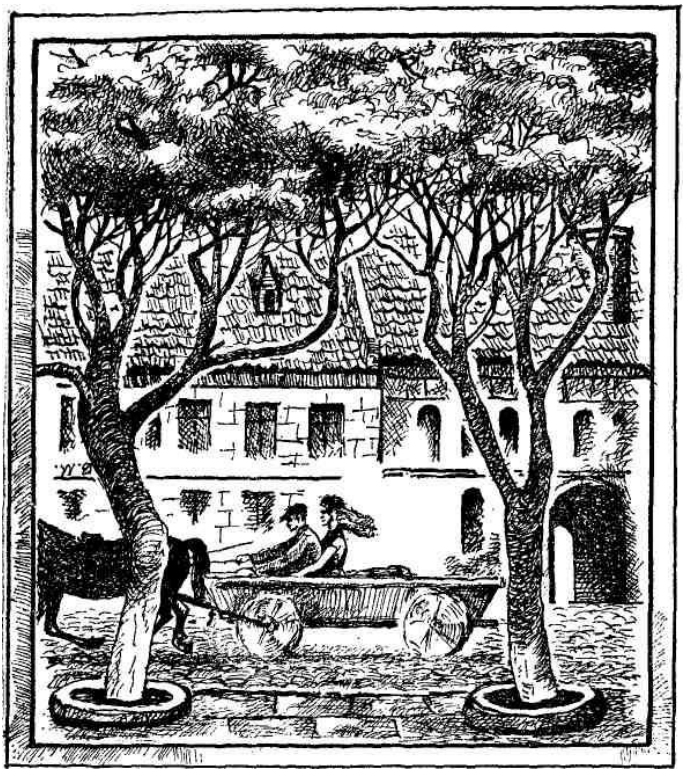
Он видел, как довольно ухмыльнулась барышня за столом, получив неожиданную поддержку. Видел не видел, а ответить надо.

— Да вроде так… — Здесь он хотел добавить еще слово, но, боже ты мой, какая серьезная эта черненькая! (Загорела так или смуглая от рождения? Глаза тоже темные.) — За землемерами, — добавил равнодушно и нырнул в дверь; мог, между прочим, пропустить их вперед, взять их чемоданчики да еще какие-то свернутые трубочкой бумаги.

Правда, аппарат, так называемый теодолит, взял из передней, сунул под мышку и положил в возок.

Начать ехать не так-то просто, как все думают. Даже на лошади, а может, именно на лошади. Попробуй представь себе, сколько действий тут должно получиться: во-первых, натянув вожжи, удержи лошадь, чтоб не побежала, пока землемерки не взобрались, потом, когда они уже устроились, важно проворно вскочить самому и не зацепиться за что-нибудь, не сорваться, а

в-третьих — стыдно даже сказать вслух, — дрожи, затаив дыхание, чтоб лошадь хвост не задрала или чтоб не пустила струю пива.



Потом, когда уже едешь, была не была, колеса грохочут по булыжнику, можно громко заговорить о чем-то, на что-нибудь рукой показать, словом, тогда проще выкрутиться… Пока что Бенасу везет, землемерки уже на зеленой попоне, их чемоданчики и теодолит в возке, остается самому вспрыгнуть на подножку, а потом уж устроиться на облучке.

— А мы поместимся? — спрашивает черненькая (она, пожалуй, разговорчивее). — Может, одной из нас сесть спиной, на сено? Может, водитель не поместится?

— Поместится, поместится, всегда так ездим, — говорит Бенас и, черт бы подрал его воспитание, опять краснеет.

— Тогда, может, посередине сядешь? — снова спрашивает черненькая, а белокурая уже подвинулась на самый краешек, черненькая переместила свое цветастое платье влево. — Пожалуйста, водитель, ваше место…

Все равно всегда останутся непонятливые люди! Вот попробуй сносно ехать, когда сидишь посередке, да еще между двумя такими землемерками, вдобавок незнакомыми! Дернешь вожжи правой рукой — упрешься локтем в белокурую, дернешь левой — в черненькую! Ведь, когда

сидишь с краю, ухитряешься обе руки сбоку держать, как при косьбе.

— Мне лучше сбоку! — наконец выдавливает Бенас, потому что везет он и должен привезти справно.

— Да садись ты в середину! Так будет интересней, — смеется черненькая. — Или очень не нравится сидеть между двумя барышнями?

— Ничего… Раз так, могу и в середину…

Белокурая молчит, только смахнула на левый бок волосы, и правильно сделала, потому что Бенас, уже устроившись между землемерками, дернул вожжи и, если бы она эти волосы не прибрала, прихватил бы прядь вместе с вожжами.

Едут они по мощеной улице городка мимо булочной; в ней иногда, подменяя маму, работает прехорошенькая девушка по имени Йоланта, однажды Бенас со своим приятелем Йонасом долго ошивался в этой лавке, пришла и мама Йоланты, они и с ней поболтали — об учебе и всяком таком будущем, — ясное дело, больше болтал приятель Бенаса, потому что он и старше, и ростом выше, и лучше с людьми умеет обходиться. Мама шутки ради стала сватать за них Йоланту, та сказала, что сама себе выберет мужа (мать-то не знала, что они уже целых полгода за ней ходят). Йоланта,

скажем начистоту, все-таки больше похожа на сегодняшнюю девчонку из учреждения, по-глупому хотела отгородиться в бабьем закуте, но была она чертовски хороша; за ней, она говорила, приударял один не такой уж мелкий чин; они решили написать ей по письму, который лучше напишет и получит ответ, тот пускай и дальше ухаживает и думает, как сплавить этого чина. А тот, кому она не ответит?.. Хоть и больно, но ведь надо, надо же иногда уступать место — ради святого или не святого спокойствия, а надо… Написали оба и оба в один день в один почтовый ящик опустили.

Ответила она приятелю Бенаса. Хоть убей, а Бенас по сей день не верит, что он не так интересно написал, ни черта, Йонас никогда не умел складывать слов, а Бенас располагал их, как японцы цветы, однако Йоланта ответила его приятелю, и Бенас, как они по-честному договорились, ушел с дороги, никогда больше не заходил в эту булочную, да и вообще с того дня возненавидел булочки…

Едут дальше молча, разговора все нету; а вообще что может рассказать им Бенас, барышни-то из большого города, да и постарше его, откуда знать, что они любят и чего не любят. Завести разговор про какую-нибудь картину? Но Бенас знает

свое слабое место, в прошлом году учитель говорил: Бенасу нравятся все картины, ни одной еще плохой не видел. Ему кажется чудом, что люди на экране бегают и говорят, иногда даже совсем толково! Вдруг землемерки относятся к фильмам иначе?.. Что ж! Бенас может и помолчать, пускай они заводят с ним разговор или между собой треплются, ему-то есть о чем подумать и что вспомнить, каждый угол-уголок тут знаком. Вот здесь какое-то интересное учреждение, там какие-то кабели (ну, провода телефонные, а может, от радио), говорят, до самого Берлина тянутся. Бенас это учреждение знает еще и потому, что в нем работает девчонка, с которой они вместе учились, ничего себе девчонка, такая курносенькая, большеглазая, вместе в школу ходили, а однажды вместе купались, ну, не совсем вместе — между ними были кусты, зато голышом. Говорят, теперь она почти что обручилась с одним электриком.

Так вот, испортился у Бенаса приемник, был у него такой старенький, замолчал, и все, встретил он эту девчонку, пожаловался, она и говорит: принеси, познакомлю, есть тут такие инженеры, которые сами радиоприемники делают, мигом починят. Привез он на велосипеде; при помощи этой девчонки пропустил его через ворота стари-

чок сторож, любезно встретил инженер (может, думал, что Бенас яиц привез; зря Бенас так зло про него думал, хороший оказался человек), схватил это радио, расстелил на столе всякие схемы. Бился один, пока не вспотел, потом кликнул другого, оба вспотели, а пришлось ответить:

— Черт его знает! Наверно, нельзя починить. Фабричный брак. Просим прощения. Да что ты, за что нам деньги, раз ничего не сделали?

— Спасибо. И я прошу прощения, что вас отвлек от дела… И какой дьявол забрался в этот аппарат?.. — ответил им Бенас, притарабанил свой сундук домой, похлебал свекольника, поставил приемник на стол, тоже расстелил схему, темный для него лес, и принялся ковыряться да проверять до головной боли.

— Нате, еще одно занятие. То самолеты, то радио, — рассердилась мама, но не очень сильно; хорошо было детям в деревне (ну, в прежней, не совсем современной) — они подчас делали то, чего родители не понимали и поэтому относились ко всему или с темным неодобрением или с языческим почитанием.

— Раз никто не помогает, приходится самому…

И что? Нашел-таки причину! Крохотную, но существенную — перепутаны были всего лишь

две проволочки; скажем, если одна была припаяна к правой ножке лампы, то должна была быть к левой, зато другая — к правой. Как взревело, как заиграло!.. Вот вам и языческое почитание! Как же иначе? Мораль сего небольшого происшествия такова: давайте не будем в поте лица искать большие причины, они видны всегда и везде; это маленькие все переворачивают вверх дном. Давайте не поверим, если кто говорит, что разводится по несходству характеров, давайте не поверим, если кто говорит и пишет, что это произведение не подходит для народа, так как народ его не поймет, давайте не поверим, если кто прет по ступенькам карьеры, а кричит всем и вся, что главное его желание — делать добро другим... Нет, все куда проще, у всего куда ничтожней и меньше причина — не к той ножке припаяна какая-нибудь проволока!..

Да ладно... Возок катит дальше, булыжник кончился, теперь временами попадается даже асфальт, Бенас возничает совсем сносно, только однажды, когда лошадь чуть было не понесла и пришлось натянуть правую вожжу, его локоть уперся белокурой в... Но, странное дело, белокурая тоже покраснела, будто опаленная пламенем. Вот создание: не может хотя бы нарочно не заме-

тить, что к ее груди нечаянно, по вине лошади притронулся этот паренек, этот соплячок Бенас…

Места на зеленой попоне не так уж много. Обе землемерки сидят совсем близко к Бенасу, черненькая то и дело оправляет платье — когда колеса подскакивают на камешках, платье почему-то задирается, — Бенас остро чувствует тело черненькой, она будет пожестче, и ему даже приходит на ум при взгляде на нее, что у нее, чего доброго, раз она такая черная, должен быть и негритянский запах (много он знает, какой это запах, только в книгах читал!..), сквозь ее голубое платье просвечивают штанишки, хорошо видны косые дуги: а вот белокурая более расплывчатая, попросту говоря, жирнее, другого сложения, ее губы, хотя их и обдувает сухой ветерок с полей, все время кажутся влажными.

— Мы еще и не познакомились, — говорит белокурая. — Меня зовут Вилией, а ее Милдой.

— Хм… — хмыкает Бенас. — Меня-то Бенасом. А по документам Бенедиктасом.

— А у тебя и документы есть? — спрашивает Милда.

Опять! Почему это у него не будет документов, если такой закон?

— Есть, а что?

— Ничего… Так просто… Мы-то думали, ты совсем молоденький…

Правильно думали. Ну конечно, Бенас жутко молод, иначе разве ему пришлось бы сходить с ума от такого вот дела: когда они, спускаясь в долину, свернули в редкий ольшаник, то спугнули человека, который со штанами в руках нырнул в чащу… Ох, как смеялись обе землемерки, и Милда из-под своих черных усиков, и Вилия, отбрасывая рукой в сторону длинные светлые волосы, так смеялись, что перестали следить за своими задирающимися платьями. А Бенасу ничуть не было смешно: во-первых, что ни говори, в чащу нырнул мужчина, хоть и старый, но мужчина, а во-вторых, у него, у Бенаса-то, не было — чего?.. Пожалуй, подходящего опыта, потому что, покраснев, будто вареный рак, он дергал теперь вожжи, утыкаясь локтями то влево, то вправо…

Что ж, придется Бенасу привыкать ко всему такому, придется.

— Ой, какой малинник! — какое-то время спустя воскликнула Милда. — Бенас, останови, ведь время у нас есть, давай малины наберем!

— И правда, какая малина… — обрадовалась и Вилия.

Бенас осаживает лошадь, тпру, чтоб ее черти

драли, когда надо, то и не остановится, все метит перейти на рысцу. Наконец-то остановилась. Лошадь щиплет травку на обочине, Милда проворно спрыгивает в одну сторону, Вилия — в другую. Вот тут и пригодился жизненный опыт — обе они идут в одну сторону… Бенас еще остается на облучке, а Вилия спрашивает:

— А ты по малину не пойдешь?

— А? Пойду, только сперва лошадь привяжу… — Он тоже слезает наземь, потому что с этого трона слишком хорошо и слишком далеко видно…

Привязав лошадь, Бенас идет в противоположную сторону, и это место ему нравится, да и вообще что они смыслят в малинниках, не туда пошли, вот здесь ягод что надо! Хоть и с трудом, сдирает с ольхи кору, делает воронку и, набрав полную, возвращается не спеша, землемерки уже вернулись, о чем-то толкуют, немного оробели даже, тоже мне преступление — сходить в кусты!

— Едем? — спрашивают в один голос.

— Как прикажете, — отвечает Бенас, протягивая свою воронку.

— Которой? — спрашивает Милда.

— Все равно…

— Ну, а все-таки, Бенас, скажи, которой даешь? — не отступает Милда и красивыми (разве

было сказано, что они некрасивые? Ну, черные, но совсем даже ничего, такие глубокие, и губы у нее ничего — бледные и добрые) глазами смотрит на Бенаса. Пожалуй, эти ее глаза можно назвать материнскими или как-то еще, не такие они, как у Вилии.

— Да не знаю… Может, обеим, но подам Вилии, раз вы так требуете…

— Правильно, Бенас. Бери, Вилия, и давайте все угощаться…

И вот они едут дальше… Губы обеих землемерок теперь малиновые, да что там губы, запачкали они ягодами и щеки и даже лоб, и теперь обе стали еще прекраснее, проще, такими они больше нравятся Бенасу.

А когда приехали на место, Бенас понес в дом и теодолит, и чемоданчики, и свернутые бумаги. И, чтоб провалиться на этом месте, не соврем, если скажем, что Бенас не торопился уезжать из заросшего деревьями двора, от дома, где когда-то была школа, от вековых елей и лип. И какие хорошие эти землемерки, они не торопятся в дом, а медленно провожают его до возка и не уходят, даже когда он собирается уезжать.

— Спасибо, Бенас, правда, чудесная была поездка. Такую нельзя забыть… — Странное дело, но

сейчас заговорила Вилия.

— Да не за что, спасибо и вам.

— Наверное, еще доведется встретиться, Бенас? — спрашивает Милда.

— Завтра же, потому что меня назначили к вам этот аппарат таскать, — отвечает он, уже уезжая.

— Как хорошо, Бенас.

Уже близок родной дом, прошло только полдня, ну, можно сказать, день, как он уехал, и как все изменилось — и ведь ничего такого страшного, необыкновенного, просто совершенно ничего не случилось, только приехали в его деревню две землемерки, Бенас привез их, помог перетаскать вещи, а возвращается домой героем, мог бы теперь смело посоветовать отцу и матери, где и какую работу делать, сколько оставить поросят и сколько продать, сколько гвоздей купить… И это, пожалуй, не пустая смелость или самодовольство, а прозрение, которое дает невидимое, почти неощутимое человеческое тепло, возбужденное незримыми электронами, но для этих электронов нужно открытое место, распахнутая душа, чтоб они могли поселиться в ней и разбудить человека, придать ему сил.

Вот уже много дней Бенас бродит с землемерками по полям, вместе с ними ходит еще и Вацюкас,

Вацюкас чаще бегает, подняв шест с разноцветными треугольниками. Бенас перетаскивает теодолит — сами землемерки его не поднимут, а может, и поднимут, но зачем это нужно? Бенас уже знает, что у Милды был муж, который ее бросил. С ума можно сойти, ведь Бенас, еще ничего об этом не зная, чувствовал, и очень отчетливо, что Милда не такая, как Вилия, что с ее смуглой кожи как бы содран один или даже несколько слоев, что кто-то к ней жался и поэтому она так сплющена и придавлена, поэтому она такая высохшая и худенькая…

Вацюкаса отсылают иногда далеко, если поле ровное, он стоит со своим шестом, будто с придорожным столбом, а потом, когда ему машут рукой, садится, пока опять не позовут, потому что землемеркам надо кое-что отметить и прочертить в бумагах. Часто они тоже садятся, садится и Бенас, Вацюкас сперва бродит поодаль, но к ним не подсаживается, потом валяется неподалеку, будто щенок, и смотрит на них, покусывая травинку, иногда засыпает, а они болтают всякую чепуху. Бенасу интересны несколько польских слов, которым они научились в городе, ему вообще нравится слушать, как они разговаривают между собой о том, что будут делать дальше. И ка-

кие они разные. Милда говорит спокойно, голос у нее даже немного усталый, и мысли вертятся совсем рядом, скажем, она заговаривает о платье, которое шьет в городе, а Вилия несет — так Бенасу кажется — всякую чепуху, и Милда иногда начинает сердиться:

— Да ничего ты не смыслишь, Вилия. Ты настоящий ребенок. Ты витаешь в облаках.

— А мне кажется, что ты, Милда, стала слишком уж практичной. Из-за одного этого злополучного случая. Ведь тебе еще столько придется жить…

Милда лежит на спине, и здесь почему-то не стыдно, что ее платье — теперь уже желтое — задралось выше круглых красивых коленок, а в треугольном вырезе под шеей виднеются загорелые (а может, смуглые от рождения) груди. Вилия лежит на животе, широко раздвинув ноги, и платье между ними натянулось корытцем, которое живописно начинается со спины…

— Ах, Бенас, Бенас. Слышишь, что мне Вилия говорит. Ты слышишь и ничего не говоришь, а что-то думаешь. А разве это плохо, что я хочу теперь покоя, что думаю о своем угле, в котором могла бы жить, как мне нравится… Правда, Бенас?

— Да мне, Милда, никогда это в голову не при-

ходило. Я совсем не знаю, что тут плохо и что хорошо. Если человек чего-нибудь действительно хочет, то это, может, и хорошо, Милда.

— Какой ты славный, Бенас, ты моя симпатия, — спокойно, не кривляясь, говорит Милда и начинает ерошить Бенасу волосы, а потом целует его в ухо.

— Милда, Бенас мой, я тебе уже говорила, — смеется Вилия и сама целует Бенаса в щеку.

— Бенас, что ты натворил, мы обе в тебя влюбились! Что теперь будет?

— А вы все равно любите порознь, а мне вас надо вместе… А это уже труднее…

Бенас ложится на спину, ему очень хорошо, так хорошо, что, кажется, никогда лучше не будет, а хуже тоже. И эта теперешняя хорошесть одолеет все будущее зло.

— Бенас, почему тебя вчера не было на танцах? — спрашивает Вилия. — Мы с Милдой так ждали, что ты придешь. Ведь ты почти обещал. Выводили нас всякие пьянчужки, предлагали проводить…

Вот это удар под ложечку! Разумом презирая мирскую суету, Бенас все же не мог не испытывать зависти к тем, кто находил в этой суете успокоение и удовольствие.

— Да я не умею танцевать, Вилия. Я уж говорил. Ни разу в жизни не танцевал.

— Страшное дело! Приходи, научим. Гарантирую, Бенас.

Когда они отдыхают уже в другом месте, Милда опять заговаривает:

— Бенас, что ты о нас думаешь?

— А ничего, Милда. Что я могу думать. Просто у меня лето в этом году хорошее.

— Пойдешь в свой десятый класс и сможешь рассказать, как целое лето проработал с двумя барышнями… Как, расскажешь своей девочке? — не то смеется, не то всерьез спрашивает Вилия.

Ей смешно, видите ли, смешно. А Бенас от ее слов даже вздрогнул. Как он мог все забыть — и записки, засунутые в парту и в тетради, и книги, которые она тайком приносила ему, и тот вечер, когда у костела она держала эти книги за пазухой, шел дождь, она, видно, почувствовала, что книги падают, он тоже, хотел подхватить их и нечаянно руками высоко задрал ее платье. «Бенас…» — побледнела она.

Ему теперь сладко и хорошо оттого, что о ней вспомнил, он долго смотрит на кружащего в небе ястреба, и ему правда ничего не надо, ничего-ничего, даже эти землемерки не нужны, даже

Вацюкас…

— Бенас, — говорит Милда, — ты о чем-то замечтался. Вспомнил кого-то? Бенас, мы тебя не обидели?.. — Милда подползает на животе к нему, наклоняется над ним, он теперь отчетливо видит черные зрачки ее глаз и редкие усики, усыпанные бисеринками пота. Чуть приоткрыв рот, она смотрит Бенасу прямо в глаза, у нее чудесные белые зубы. Вилия сидит рядом, подогнув ноги и аккуратно прикрыв колени, воротничок ее тоненького платья шевелит ветер.

— Да нет, что вы! — вскакивает Бенас. — Я просто так, думал.

— О чем? — спрашивают обе. Но теперь на него уставилась Вилия, глаза у нее зеленые и не такие строгие, как у Милды. Он думает о том, как красиво изогнута у нее шея, на которой справа виднеются черные родинки, и от этого шея кажется интересной и живой.

— Да ни о чем, — отвечает Бенас. — У меня привычка прикинуть, что будет в этот же день через год. Мой отец говорит, что тоже часто так прикидывает.

— И правда, Бенас и Милда, что будет через год? — мечтательно спрашивает Вилия. — Одному богу известно. Ты закончишь десять классов.

Останется всего один год, а мы…

— А вы, — пробует пошутить Бенас, — будете мерить землю в другом месте. И ваш теодолит будет таскать какой-нибудь, ну, скажем, сам бригадир, с усищами и кряжистый.

— Бенас, Бенас… — смеются обе землемерки.

— А мы скажем, в какой бы угол Литвы нас ни послали, что мы без тебя работать не будем… — говорит Вилия.

— Правда, Бенас. Попросим, чтобы тебя прислали, — улыбается Милда.

— А я завоображаю и не поеду…

Вацюкас, наверное, уже вздремнул, ему скучно, он кричит:

— Будем еще работать или нет? А то валяйся целый день…

— Ого! Вот это парень. Ладно уж, жми на край поля к ольшанику! — говорит Вилия и встает, подходит к теодолиту, взбирается на камень, привстает на цыпочки, напрягая загорелые ноги.

И вот еще один, потом другой день, и Бенас возвращается с опушки, просит у мамы банку, набирает смородины и несет своим землемеркам и Вацюкасу, а мать с беспокойством говорит отцу, Бенас это слышит:

— С этим ребенком что-то творится. Ты не заме-

чаешь? Я уже боюсь.

— Чего?

— Да с этими землемерками… Утром встает и убегает не покушав.

— Так положено. Все мужчины такие…



Еще через день Милда уезжает в городок, ее увозит бригадир, потому что и у него там дела, а они — Вилия, Вацюкас и Бенас — уходят с инструментом на холмистое поле, день душный, по

краям неба гуляют тучи, разговора нету — обо всем уже поговорили. До обеда ничего, работают сплеча, а сразу после полудня начинает накрапывать, надвигаться сильный дождь, Вацюкас, отпросившись, убегает домой.

— Промочит нас, Бенас, может, и мы побежали? Оставим теодолит на хуторе и пойдем. Куда потом денемся-то? — Вилия смотрит прекрасными глазами на загорелое лицо Бенаса.

Бенас ничего не отвечает, он ничего, ну, ничего не думает, только какой-то голос шепчет ему, что не надо бояться дождя, шепчет, что лучше никуда не ходить, переждать здесь.

— Промокнем так промокнем, что тут такого?

— Тогда давай промокнем, Бенас… — сразу же соглашается со смехом Вилия. — Промокнем, Бенас…

И промокли. Такой дождь хлынул, что из пашни выпрыгивали камешки, прибило к земле траву и даже кусты. Они спрятались под вишнями старого хутора, люди здесь не жили, уже много лет постройки были заброшены. Почему не побежали под крышу, сами не знали, только когда дождь прошел, оказалось, что на них сухой нитки нет, тяжелые оба стали, как утопленники. Тогда увидели и Бенас, и Вилия, сквозь ее тонкое

промокшее платье проглядывало все — каждая впадина и выпуклость. Вилия густо покраснела, как-то по-детски развела руками, Бенас робко потупил глаза.

— Бенас, будь добр, отвернись, мне надо платье выжать, не могу я в таком виде никуда идти.

— Хорошо, Вилия, выжимай.

Он отвернулся и честно не подсматривал, однако чувствовал все и все видел, не глядя, а когда из выжимаемого платья Вилии струйками потекла наземь вода, его пронзила смутная дрожь. Чтобы справиться с ней, он с трудом стащил через голову рубашку, выжал ее и надел снова.

— Теперь уже можно, — услышал он голос и медленно, робко повернулся к ней. Она стояла, выбравшись из-под кустов, с которых капала вода, поеживаясь от холода и сырости. Ее светлые волосы облепили лицо, закрыв даже глаза.

— Бенас, ты все равно весь мокрый.

— Я ведь выжал, Вилия.

— А штаны будто свинцовые…

— Чепуха, высохнут на ходу, Вилия.

Теперь они идут к ближайшему хутору, Вилия не смеет в таком виде заглянуть даже во двор, инструмент заносит Бенас, просит подержать до утра, а потом оба принимают решение идти не

дорогой, а лугами, полями, где растет рожь и овес, огородами, не торопясь, чтоб успеть высохнуть.

Они спускаются в ложбинку, вокруг которой растут раскидистые дубы, Вилия берет голову Бенаса и целует его в лоб, Бенас несмело обнимает ее, касаясь губами мокрых волос, пахнущих листьями.

Потом они идут, взявшись за руки, иногда расходятся, если надо перебраться через канаву, и Бенас говорит и говорит ей без конца, а над ним поднимается пар, говорит о жизни летчиков, о Вайткусе, Дарюсе и Гиренасе, рассказывает, что он все равно станет летчиком, а если не летчиком, если по какой-либо непреодолимой причине это не выйдет, то все равно сделает, ну, все равно сделает что-нибудь необыкновенное… Ты увидишь, Вилия, даю тебе слово, вспомнишь когда-нибудь меня.

— Бенас, уже не видно, уже можно людям показаться?

— Чего не видно?

— Что платье промокло…

— Почти нет, Вилия.

Создание ты, создание этакое! Прекрасно все видно, все твое чудесное тело видно, Вилия, твои буханочки, и эта канавка тянется почти от плеч,

в одном месте пропадает, а потом опять появляется. Трясущейся рукой Бенас сжимает руку Вилии, потом кусает ее мокрые волосы.

— Вилия, — говорит он, глядя ей в лицо. — Ты вся перемазалась. Видишь, что дождь натворил…

— Ой, Бенас, подержи зеркальце, я приведу себя в порядок.

Она стоит перед Бенасом, мокрая и странно счастливая, очень близкая Бенасу, родная и понятная, она вытирает платком перепачканные щеки, потом изящно проводит малиновой помадой по влажным губам, подравнивает пальцем, и Бенас слышит запах ее помады и ее губ.

— Спасибо, Бенас, — говорит она, ласково тронув его плечо. — Теперь пошли дальше. Пошли, Бенас.

— У тебя теперь очень красивые губы, Вилия.

— Правда? — сверкают глаза у Вилии.

— Очень красивые, Вилия.

И они идут дальше по пригоркам, по мокрой глине босиком, Вилия аккуратно и осторожно ставит ноги, канавка ниже плеч то исчезает, то появляется, теперь он снова замечает черные родинки, на сей раз на ногах, у колен. Какая-то небывалая доброта подступает к горлу, нужны

слова, надо произнести хоть слово, чтобы излить эту доброту!

— Вилия, все, все я буду делать только для тебя, ты слышишь, что я говорю, ты понимаешь?

Бенас сам ничего не понимает и не слышит.

— Слышу, Бенас, и понимаю. Мне хорошо слушать тебя. Бенас, милый, ты не подумай чего-нибудь плохого, ты сам увидишь, еще много чего изменится, но мне очень хорошо слушать тебя. Очень-преочень, Бенас.

— Все-все, Вилия, я буду делать только для тебя, вот увидишь. Что бы ни было, Вилия, что бы ни случилось…

Так они пришли к дому, где жила Вилия, забыв даже отпустить руки. Пожалуй, ни один из них не знает — Бенас точно, но, наверное, и Вилия, — что и здесь все решают не большие, видимые всеми вещи, а проволочка, припаянная к правой или левой ножке лампы.

ДЕНЬ У БОЛЬШАКА

Когда узнал об этом, все тело так и заныло. Не понимал, почему, но такая уж натура человека, что на будущее он непременно взирает с опаской.

Итак, землемерки сегодня утром уезжают, правда, не насовсем, только на неделю, в городе им надо привести в порядок какие-то бумаги, получить отметки, только после этого они смогут вернуться. Их заменит вызванный на эти несколько дней землемер из другого района, потому что работу откладывать нельзя, еще в этом месяце надо все закончить и утвердить.

— Говорят, землемер приехал, а этих барышень больше не будет… — не к месту говорит мать, идя по двору.

— Не будет. Ну и что?

— Ничего…

Где уж там ничего! Желают родители детям того хорошего, что у них самих было, не иначе.

С теодолитом на плече Бенас идет из дому по дороге, обсаженной березками. Вацюкас тоже сегодня будет, но он на пригорок, что у большака, придет с другой стороны.

Лучше, чтоб не было здесь никаких перемен, лучше, чтоб вообще ничего не было, но что Бенас может поделать, если какой-то червь сосет под ложечкой, невидимый, неизгонимый и неуничтожимый. Медленно приближается первая мучительная потеря, очень медленно, натягивая волокна нервов Бенаса, отдирая от костей мышцы — заранее готовя для себя место, чтобы, явившись, поселиться прочно. Все — березки у дороги со странно рано пожелтевшей листвой, елка, за многие годы не очень-то подросшая, служившая остановкой для всех бегущих мимо собак и вся порыжевшая, а на нижних ветках украшенная множеством свечек, что изготовили собаки, какого черта и как они эти свечки там располагали, никто не знал, однако для бабок, которые ими лечили хвори, елка служила истинной аптекой, — да, все вроде на месте…

Еще утро, а коровы уже легли, жуют себе жвачку, словно опостылела им трава…

Крест в ольшанике в подтеках смолы, тоже придумали — смолить святой предмет, да еще так, чтоб смола потом несколько лет капала прямо на бронзовые неуклюжие буквы и даты рождения и смерти. А заборчик-то!.. Правда, вначале Американша вела продолжительные переговоры с

Римидисом — ведь от того места, где установлен крест, до дороги надо было прорубить «окно» (в Европу…), чтобы прохожий видел и, чего доброго, снял шапку. Ольшин пришлось срубить не так уж много, но кусты тогда были еще Римидиса, не обобществлены, Римидис заломил цену, и немалую, Американша заплатила долларами. А потом соорудила этот заборчик, господи боже ты мой, курам на смех — заборчик низенький, огороженный клочок маленький. Кажется, что крест воткнут в сапог с отрезанным голенищем.

Появился крест здесь совсем просто и неожиданно (не хватало еще ждать), как и все, так сказать, из малой, а не из большой тучи. Раз уж Американша этот крест поставила, то, видно, он отмечал место, где навеки простился с ней Американец. Так оно и было: на тонкой, точнее, за тонкую ольшину повесился ее муж, Американец. Когда он в этих местах объявился, Бенас не помнит, а может, просто сызмальства ничего про него не слышал, однако позже, когда подрос, видел его часто; у Американца водились краски, не какие-нибудь мудреные, а самые обыкновенные, для шерсти; хотя, по правде, не такие уж обыкновенные, а редкостные, доподлинно американские! И подумать только, какую прорву красок привез

он с собой из Америки, раз с того дня, как вернулся на свой участок среди болот и ольшаников, успел выстроить справный хуторок, вырубить кругом, ольху, вырыть осушительные канавы да развести сад, и красок на все это у него хватало, кто хотел, тот и брал, не только за деньги, но и за лошадь, одолженную на день или два, смотря, сколько нужно краски, за присланного на молотьбу или уборку ржи работника, а то и за шмат сала — не везло все же Американцу на родной земле, хуторок совсем оскудел, ну, просто не умел человек хозяйничать, а баба и того меньше, хоть и была чистокровная литовка, не американка какая-нибудь, родом из города Таураге, девочкой с родителями угодившая в Нью-Йорк. Что делает с людьми эта американская техника, ведь уехал Американец прямо от сохи, а вот пошлифовал мостовую под небоскребами, понажимал лет двадцать всякие электрические кнопки — и пшик; надо навоз из хлева вычистить, а нету ни охоты, ни силенок, и сует тогда любому свои краски, и берет любой, надо ему или не надо, не велика хитрость в навозе поковыряться, а краска всегда пригодится.

Бенасу довелось побывать у Американца несколько раз. Как-то послала его мать за крас-

ками. Американца не было дома, а Американша, расстегнув свою длинную одежду и скрестив ноги, которые были исполосованы толстыми синими жилами наподобие ивовых веток, сидела в чудном раскачивающемся кресле и потягивала сигарету. Красок дала, но в другой раз велела принести не сала, а яиц, потому что ее кур переловил ястреб.

Черт возьми! Как далеко улетел мыслями, а ведь прошел еще совсем немного да остановился на минутку у креста, к которому за веревочку были привязаны желтые цветы так крепко, что прилипли к смоле. Может, со временем получатся какие-нибудь инклюзы или как их там…

Теодолит грузно давил на плечо, тяжелая все-таки штука, могли бы сделать и полегче, особенно сейчас, когда в землемеры девушки подались…

Американца у ольхи обнаружили парни, ловившие в кустах девок. Надо полагать, больше в этих кустах ловить не станут, так что Американец проделал немалую работу по упрочению нравственности. А может, его обнаружили дети Римидиса, когда ходили за ягодами, может, зря на парней наговаривают; сам не уверен, так дальше не передавай. А вот что обнаружили его, это уж точно; выглядел он жутко: язык (вдобавок

лиловый!) вывалился сантиметров на двадцать, сам взмыленный и посиневший, а глаза — что тут зря говорить! — и так у него были навыкате, а тут вывалились из глазниц, будто яйца; один конец повода петлей за шею завязал, а другой прикрепил к тоненькой ольхе… (Поэтому там, где-то раньше, и было сказано, что он повесился за ольшину.) Можно себе представить, сколь упорно было желание Американца навеки расплеваться с этим светом, раз он сумел пятиться, пока не задохся и не повис. Таким — изящно склоненным — его и нашли. Ну, потом милиция и так далее, были тут и занятные вещи (говорят, доллар, найденный в кармане, присвоил кто-то из милиционеров, но это были, скорей, сплетни Американши, ей у нас все не так, так какого черта сюда приперлась), но это не суть важно.

А все-таки почему Американец повесился, почему избрал такой вид капитуляции? Потому что к Американше в кусты, по слухам, прокрадывался некий здоровяк из третьей деревни (у Американши водились не только краски, но и whisky)? Да разве в Нью-Йорке таких здоровяков мало? Что Американец никак не мог ребеночка заделать? Так ведь привез с собой из Нью-Йорка, хоть и не от Американца, но все-таки от американца,

как люди поговаривали. Что со жратвой стало туго? Ну, из-за таких вещей разве стоит ольшины ломать, как говорится (точнее, как говорилось), в деревне, среди своих, не пропадешь.

И опять мы ищем большие причины, а тут ведь тоже ничего такого не было: Американец повесился из-за быка, который у него был писаный красавец. Такой красавец и такой редкостной породы (слыханное ли дело: они с каким-то сувалькийцем порешили в Нью-Йорке, что один, когда будет возвращаться на родину, повезет американского бычка, а другой телку; так оно и было; потом на несколько дней, списавшись, выбирался или Американец к сувалькийцу, или сувалькиец к Американцу, когда привезенная телка, ныне уже корова, искала быка; так помаленьку племя американских коров в Сувалькии и вокруг Американца все ширилось и ширилось), что к нему записывались — поверьте! — даже из других приходов. Поначалу Американец приемную (такую загородку) устроил у себя на хуторе; но через год убедился, что это ему в убыток — все ведут и ведут коров, истоптали да загадили и дорогу и весь двор. Тогда он порешил: лучше уж самому с быком путешествовать по белу свету, время-то у него есть, от хозяйства все равно проку

никакого. Науськанная этим своим здоровяком, новую затею мужа горячо поддержала и Американша.

Если клиенты жили подальше, он уезжал на телеге и отрывался от дома на целые недели. Его Зубр навострился вспрыгивать на телегу так шустро, что любая вислоухая дворняжка могла бы у него поучиться!

В тот раз он с Зубром отправился пешком за поместье, повел его по аллее, коров там ждало немало, пришлось бы заночевать. Собравшиеся люди, слово за слово, заговорили об обобществлении земли, причем все глубже в этот предмет вникали, а другие, может, даже преувеличивали. Что землю обобществят, ладно, тут Американец и ухом не повел, но, когда один человек сказал, что слышал от русских баб, будто все заберут — и лошадей, и коров, — Американец прислушался.

— Никак, и Зубра придется отдать?

— А как же! Производители в колхозе нужны.

Вот этого и хватило. Насмерть поверил Американец в будущее. Молчал, будто язык проглотил, даже ночевать не остался, хотя клиенты были еще на целый завтрашний день, а то и на послезавтра. Привел он Зубра под вечер в ольшаник Римидиса. А сам простоял на коленях почти двое

суток, потому что отпущенный на волю Зубр домой тоже не скоро вернулся, побрел, правда, в сторону дома, но нашел по дороге на пастбище Милашюса подходящих коровенок и остался.

Что за чертовщина! Почему сегодня все шиворот-навыворот кажется Бенасу, все лезут в голову какие-то уродливые, опрокинутые мысли! Просмоленный крест он уже оставил позади, но все равно из головы не выходит, как все боялись везти Американца к нему домой, один только теперешний бригадир не побоялся — уложил Американца на солому, сам преспокойно расположился поверх него на доске и так в сумерках, в жидком тумане покатил по белесой дороге, насвистывая да погоняя лошадь. Бенасу из всей этой истории больше всего запомнились громыхание телеги бригадира, желтая узенькая дорога и его насвистывание… Кстати, этот самый бригадир вчера привез землемера, жалко, Бенас его не встретил по дороге, он умеет про людей рассказывать.

Ах да, можно и не спешить. Вилия и Милда вчера говорили, что этот землемер на работу не кидается и что Бенас с утра может не прибегать, если появится перед обедом, то и хорошо.

Бенас идет мимо сада Римидиса. На краю стоит

его сын и показывает Бенасу красный язык.

— Вот я тебе!.. — говорит Бенас и нагибается в поисках палки, но мальчуган удирает и издали опять показывает язык. Да что с ним поделаешь, такое у него разумение. Язык — шутка по сравнению с тем, что сынок Римидиса устроил одной немке. Бродили эти немки после войны по деревням, болбоча что-то и заливая про прекрасную Германию, одна из них с девочкой попросилась ночевать к Римидисам. Обе сразу же заснули на соломе у стены, Римидене ушла доить коров, на плите варилась какая-то каша, а сынок Римидиса пригляделся к этой немке — спала она с широко разинутым ртом, вот он зачерпнул поварешкой этой каши и шмякнул, угостил, проходя мимо… Можно себе представить, каким ужасным образом оборвались сны этой немки, и можно понять, как больно лупцевала Римидене своего сыночка, ну, как последнюю собаку, а тот, когда мать устала лупцевать, отбарабанил: «А я и тебе так сделаю, раз лупцуешь!»

Вот эта ель не раз служила Бенасу для разведки. Когда пасли по соседству коров, то часто лазали с приятелями в сад Римидиса за яблоками. С этой ели было видно как на ладони, далеко ли трудятся Римидис с женой и ошивается ли рядом с ними

сыночек. Старуха-то, мать Римидиса, едва яблоки начинали поспевать, всегда бывала в саду. Да толку от нее мало: уши ее не очень слышали, сон клонил на траву, и поэтому старуха вовсю храпела под одной яблоней, а Бенас с удовольствием тряс яблоки с другой — запретный плод сладок!..

Старуха и сейчас в саду, только не лежит, а бродит, задевая за траву латаной-перелатанной юбкой, сшитой — чистая правда — из рваных мешков и, пожалуй, еще до появления Бенаса на свет. Старуха доброты необычайной, и зря они, забравшись на ель, швыряют в яблоки палками стряхивая плоды и дразня подслеповатого человека, который остатки ума теряет, силясь понять, какая волшебная сила осыпает яблоки. Теперь она глядит подслеповатыми глазками на Бенаса, Бенас здоровается; что он сказал ей что-то, она понимает только по губам, набирает в подол своей мешковинной юбки с земли яблок и несет Бенасу… И все бы ничего, однако солнце сегодня взошло на западе и катится на восток, не иначе. Бенас давно знал, что с этой старухой неладное творится, но такого еще не было: идет она к Бенасу, паскудно постреливая почти без передышки, и что-то бормочет… Как возьмешь такие яблоки? А взять надо, нельзя обижать

старого человека, поэтому он набивает полные карманы и благодарит.

— А как маменька, здорова? — спрашивает старуха.

— Здорова, тетушка.

— Вот и хорошо, что здорова. Честный, ох, честный человек. Дай ей, господи, хороших детей… — И плетется назад, волоча по земле свою мешковинную юбку, опять стреляя очередями и бормоча что-то. Ей, наверно, кажется, что она все это проделывает бесшумно.

Пройдя немного, Бенас вышвыривает яблоки из кармана на мокрый луг, черт бы их взял, сует руку в другой карман, но больше не выбрасывает, подумав, что нехорошо пренебречь добротой даже постреливающего человека…

Вот теперь его уж точно остановит Милашюс! Идет наискосок через луг, уже тропинку протоптал, один только по ней и ходит, никому больше она не нужна. Милашюс издалека поднимает шапку, улыбаясь поблекшими светлыми глазами, его седые усики аккуратно подстрижены. Седы и волосы, причесанные на прямой пробор.

— Здорово, Бенас, — протяжно говорит он, поглядывая то на инструмент Бенаса, который тот снял с плеча и поставил в канаву, прислонив к

бережку, то на свою корзину, которая полна подсохших конских яблок. — Куда путь держишь?

— К большаку иду. Там будем поле мерить. Еще Вацюкас должен прийти и землемер.

— Ага, надо все обмерить, надо знать, что имеешь, я тоже говорю, что надо…

— А вы, дядя, что делаете?

— Я-то? Я тоже считаю, Бенас… Вот собираю и считаю, потом складываю в кучи, высокие кучи складываю, часть берет жена для свиней, но я прошу, чтобы она говорила, сколько берет, мне, видишь ли, надо знать точно, сколько списать.

— Зачем?

— Зачем знать-то? А как, Бенас, не знать, сколько чего? Надо знать… Каждый человек должен знать, каждый… Так и вы вот меряете и узнаете, какие вокруг нас участки земли. Такая же самая, Бенас, такая же самая и у меня работенка…

Ох ты, Милашюс, когда ты берешь скрипку, прижимаешь подбородком и пускаешь в дело смычок, как ты не похож на теперешнего, как тоскливо и мудро выводишь мелодию, как печально глядишь перед собой или на слушателя. Как хорошо тогда каждому, да и тебе самому, а что ты теперь делаешь, какую нелепую и смешную работу себе придумал…

— Ты слышал, Бенас? Наверное, вся деревня говорит?

— О чем?

— Что я письмо получил от Сталина.

— Нет, не слыхал, дядя…

— Как же?.. Не может быть!

Бенас слышал, десять раз слышал от самого Милашюса, но нельзя же запретить ему рассказать одиннадцатый.

— Так вот, я написал письмо в оборонительное министерство или как оно там называется, и мне ответили, что покамест ничего не знают, где пропал мой сын, тогда я написал самому Сталину, долго писал, несколько месяцев, загляни как-нибудь, покажу, я копию оставил, такие бумаги составлять умею, еще в царской школе учился. Ваше высокоблагородие… И так далее. И пришел ответ из канцелярии Сталина, и он установил, где погиб сын, он даже не погиб, а умер в больнице от воспаления легких. Все-таки своей смертью лучше, правда, Бенас?

— Наверно…

— Что и говорить, что и говорить… И, когда все окончательно узнал, значится, вырыл у дома могилку, Бенас, наложил вот этих высохших картофелин, знаю даже сколько — сколько сыну

лет было, — аккуратно холмик насыпал, крест сколотил и поставил… Да ты иди, Бенас, не надо время терять, у каждого своя работенка, ты иди, Бенас…

Через какое-то время Бенас оборачивается, Милашюс уже у себя во дворе, уже кружит, крестясь, вокруг могилки. Боже ты мой, что делает с человеком любовь, когда он не умеет относиться ко всему, как к чему-то неизбежному!

В условленном месте никого еще нет. Бенас ставит на землю инструмент и ложится навзничь. Пригорок вообще-то небольшой, но с него хорошо виден не только большак, по которому проезжает один, а потом и другой велосипедист, но и шоссе вдалеке, за кустами, за ручьем, за тем малинником, в котором еще совсем недавно… Ах! Пускай. В этом малиннике они остановились, он набрал много малины, а Вилия и Милда, да и он сам перепачкали малиной лбы.

Маленькие белые тучки медленно-медленно ползут высоко по небу и в глазах Бенаса — путешествуют с запада на восток, то разбегаясь, то снова догоняя друг дружку… Даже странно, ведь их гонит ветер, не сами же они плывут, как же одни могут мчаться быстрее, а другие медленнее? Может, они не на одной высоте — только снизу,

с земли кажется, что на одной, — потому-то и летят неравномерно? Все кругом так успокоилось, успокоилась и душа Бенаса, чувства тоже спокойные, кажется, все за тебя устроит кто-то другой, пальцем шевельнуть не придется, рядом находится мудрая и могучая сила, подбрасывающая жаворонка в небо и велящая ему опуститься, выгоняющая старуху Римидене в сад и заставляющая… Вот Милашюса она заставила собирать эти яблоки, Американца — навеки прославить кусты Римидиса, а сыночка Римидиса — таким образом оборвать сны немки…

— Привет, — слышит Бенас над собой голос Вацюкаса. Вацюкас растягивается рядом.

— Привет, — отвечает Бенас. — Как дела?

— Хорошо, Бенас. Когда сюда шел, видел землемерок, как уезжали.

— Кто вез?

— Бригадир.

— А…

— Что а?

— Да ничего, Вацюкас, просто так. Думал, может, кто другой.

— Милда все время смеялась.

— Бригадир шутить умеет.

— Это уж точно… А Вилия чего-то грустная

была.

— Она всегда такая… Помрачнее.

— Да где уж всегда! Выходила в поле и давай петь. Даже у нас на хуторе иногда слышно было. Моя мама говорит, у нее голос какой-то интересный.

— Когда поет?..

— Всегда… Бенас? — помолчав, спрашивает Вацюкас.

— Ну?

— Какая из них тебе больше нравится?

— А тебе, Вацюкас?

— Смеешься?..

— Нет, я всерьез.

— Мне-то Вилия…

Бенас молчит. Ведь он тоже мог бы сейчас в шутку сказать, что и ему больше нравится Вилия, но никто не хочет говорить вслух о сокровенном, мы хотим оставить это для себя, для утра или вечера, для радости или горя, чтобы осталось на что положиться и чем согреться.

— Почему не говоришь?

— Мне обе нравятся, Вацюкас…

— Навряд ли…

— Правда, обе.

— Чудно… А по мне, Милда такая злая, кажется,

будто ненавидит кого-то…

— Неправда это, Вацюкас. Она такой человек, и все.

— Может.

Вацюкас приподнимается, садится, оглядывается вокруг. Оттуда, где раньше было поместье, по холму приближается какой-то человек, по походке вроде и чужой.

— Бенас, кажется, землемер идет.

— Ну и что? Пускай идет.

— Вот чешет, даже полы пиджака развеваются.

— Опаздывает, вот и приходится спешить.

Вскоре уже слышны мощные шаги, человек идет, кашляя и отплевываясь. Вацюкас невольно встает, а Бенас продолжает лежать, хотя поворачивается на бок и теперь видит незнакомца.

— Привет, мужики! Наверно, мои помощники? — без вступлений начинает землемер.

— Наверно… — отвечает Вацюкас, а Бенас между тем лениво садится и смотрит на пришельца. Не успевает рассмотреть его как следует, а землемер снова спрашивает:

— Кто из вас мой главный помощник?

— Оба, — отвечает Бенас.

— Оба так оба, но кто из вас будет таскать эту чертяку? — показывает он на лежащий аппарат.

— До сих пор носил я, — неохотно, сквозь зубы отвечает Бенас.

— Кто я? Имя?

— Бенас.

— А ты? — спрашивает у Вацюкаса.

— Вацюс.

— Чудесно. А я Теофилис и прошу, кавалеры, называть меня только так… Ну, как там эта штуковина, не кокнул, не ударил о камень? — Теофилис подходит к теодолиту, вынимает из ящика, разглядывает.

— Может, и кокнул, — сердито отвечает Бенас.

— Ну, ну, будет петушиться, Бенас. За инструмент отвечаю я.

— Конечно.

— Что ж, — говорит Теофилис, посмотрев на свои исцарапанные часы, — работа не сбежит, можем еще минутку отдохнуть.

Он растягивается на спине, подложив руки под голову, грязные штанины задираются, обнажив заросшие рыжей шерстью икры и пыльные темные носки. Один карман пиджака оттопырен, в нем виднеются пачка «Памира» и исчирканный коробок спичек. Бороду землемер отпустил густую и рыжую, как медвежья шкура. Бенас видит, как по этой бороде уже ползут, раскачиваясь на

волосках, два крупных коричневых муравья. Один добрался до губы, видно, пощекотал, потому что Теофилис сплевывает:

— Тьфу, гад…

Вацюкас фыркает.

— Что за смех?

— Да ничего…

— С девками, Бенас, тебе, наверно, веселей было? Эх, ну и барышни! Упитанные, загорелые, мечтательные… Веселей или нет?

— Может, и нет… Вы такой интересный человек, — срывается у Бенаса, и в его голосе Теофилис улавливает нотку, которая ему хорошо понятна.

— Ничего, ничего, Бенас. Через неделю они вернутся, поработаем денек-другой вместе, а потом я опять отсюда подамся… Сам не знаю куда. Просто подамся, как говорится, поискать счастья. Эх, мужики вы, мужики!..

— Так и не знаете, куда? — уже спокойно спрашивает Бенас, обрадовавшись, что Теофилис подтвердил то, что он и раньше знал, и немного огорчившись, что этот Теофилис еще поработает денек-другой вместе с Вилией и Милдой, а он такой какой-то страшный, ну, опасный, что ли… Как будет выглядеть рядом с ним Вилия?

— Куда? Наверняка в город, братцы мои, на-

верняка! Там я больше чувствую себя человеком. Кажется, и люди там лучше, и все, никто не пялится на тебя во все глаза, ты никому не нужен, если хочешь, хоть вешайся…

— Там хорошо, где нас нет, — говорит Бенас и пугается.

— Ну? — насмешливо спрашивает Теофилис. — Глянь, а ты ученый. Нет уж, братец, я жил там немало, знаю, что к чему. Рублик завелся — руку поднял, забрался с дружками в машину и жмешь куда-нибудь к реке или на край города, а там, братец, только трудись, закатав рукава, лей в глотку, а барышень-то, барышень!.. Не таких, как эти… Ой-ой-ой… Только успевай поворачиваться, каждая тебе на шею вешается. Но, может, вам про девок неинтересно, а? Ты, может, еще за барышнями не ухаживаешь, Бенас?

Бенас краснеет, но не из-за проклятого смущения, вечного спутника чувствительных и ранимых натур, а от злости, презрения, словом, от гневной враждебности к этому пришельцу, который валяется теперь тут, раскорячившись, грязный, и хочет навязать им какой-то свой порядок.

— А если нет, то что? — спрашивает Бенас. — Тогда некому вам будет рассказывать?

— А ну вас к черту! Что может понимать человек, если сам не испытал? — Теофилис вскакивает. — Вацюкас, хватай свою мерялку и жми туда, к ивняку, а ты помоги мне расставить теодолит.

Бенас расставляет треногу, втыкая в землю, ставит на нее теодолит, проверяет, ровно ли стал.

— Уже? — спрашивает Теофилис.

— Уже, — отвечает Бенас.

— Начали! — кричит землемер Вацюкасу, и тот поднимает свою полосатую доску. Теофилис смотрит в глазок инструмента, чудно отведя в сторону правую руку, ветер развевает его коричневые мятые штаны.

Он красиво жестикулирует мохнатыми руками, а пиджак швырнул на большой раскаленный камень, вспугнув спавшую на солнечной стороне ящерицу.

— Жми, отсюда, лентяйка! Черт бы тебя взял!..

И снова размахивает руками, регулируя положение доски Вацюкаса, будто диспетчер на аэродроме, а когда тот не понимает, чего хочет от него землемер, и издали о чем-то спрашивает, Теофилис орет, разинув рот, выплевывая сигарету и скаля пожелтевшие зубы. На его лице дикая ярость, веселье или еще что-то.

Управившись на одном месте, сам перетаски-

вает теодолит на другое, забыл, что это работа Бенаса, нарочно так делает или просто замечтался? С расставленной треногой в руках задевает за крестовину, спотыкается, сердито сплевывает, а потом смеется.

— Видишь, Бенас, едва не шлепнулся. Вот дожили ножки Теофилиса!

Ничего себе ножки — как у медведя, мохнатые и толстые…

Так они идут с одного участка на другой. Теофилис работает очень быстро. Вацюкас едва успевает бегать, иногда с шестом он убегает так далеко, что нельзя дозваться, тогда Теофилис машет ему, Вацюкас несется, как заяц, а его рубашку, будто парус, надувает ветер.

— Чертовщина! — ругается Теофилис. — Бабы — они всегда бабы, накорябали, напачкали, сам черт не разберет, что сделано, придется перемерить. А ну их к лешему!

— Может, и вам удастся накорябать! — дрожит голос Бенаса.

— Не вам, а тебе, братец… Чтоб не смел иначе говорить… Защищаешь, значит? Ладно, ладно, защищай, так должен поступать настоящий мужчина… Только слюни у меня не распускай, запомни, что все они такие…

— Да ты, Теофилис, всех тоже, чего доброго, не знаешь…

— Братец ты мой, если не я, то кто будет знать? Эх, Бенас, Бенас, склоненная ива. Плохо такой иве, плохо…

— Теофилис, но иногда и на несклоненную собаки… Как видно…

Теофилис молниеносно поворачивается к Бенасу.

— Так, по-твоему?

— Да вроде…

— Гавнюк!

Примерно в полдень Теофилис объявляет перерыв. Вацюкас уже осмелел, ему, видно, с Теофилисом интереснее, чем с Вилией и Милдой, поэтому, волоча за собой шест, он подбегает к Теофилису и Бенасу.

— Чего? — сердито спрашивает Теофилис.

— Что чего? Сами говорили, обед.

— Какого черта сюда прибежал? Есть чем питаться?

— Есть.

— Ну вот… Ладно уж, оставайся…

Теофилис снова ложится на траву, снова кладет руки под голову, снова сердится, глядя на такое прекрасное небо, снова отбрасывает выуженного

из бороды муравья.

Бенас говорит:

— Может, вместе покушаем?

— Это ты мне? — спрашивает Теофилис.

— Тебе.

— Спасибо. Ни черта не хочется. Вот если бы кисленького…

Тут Бенас вспоминает и соображает, вот где ему пригодятся яблоки старухи Римидене. Он достает их из кармана и складывает в кучу.

— Может, яблоки сойдут?

— Господи боже! Вот это вещь! — восклицает Теофилис. — От этого не откажусь… Воровал?..

— Да что ты! Зачем воровать. Такая баба дала…

— А… Хорошая баба?

— Неплохая.

— Старая?

— Совсем старуха…

— А… — бормочет Теофилис и принимается смачно хрустеть яблоками — ему-то неизвестно, в сопровождении каких звуков они попали в карман Бенаса. Умяв яблоки, Теофилис все равно остается недоволен, ерзает чего-то.

— Мужики, — говорит он, скребя в затылке, — может, знаете, у кого тут есть?..

Вацюкас не понимает, поэтому спрашивает:

— Что?

— Ну, скажем, водка. Может, гонит кто?

Вацюкас растерян; и он, и Бенас знают, кто гонит, но ведь велено незнакомым не болтать.

— Ну, ну! Чего боитесь-то? Может, я и страшный с виду, но в этом деле меня можно не бояться. На деньги, жми, принесешь, и весело проведем время. Принесешь?

— Принесу, — говорит Вацюкас и бегом пускается в сторону кустов…

Вдвоем с Теофилисом вовсе не уютно. Бенас медленно дожевывает свой обед, у него явно лежит что-то на сердце, что-то тяжелое, и неизвестно, с какого края сподручнее скатить эту тяжесть.

— Учишься? — голосом следователя спрашивает Теофилис.

— Учусь. Девятый кончил, — отвечает Бенас, его разбирает злость, что с каждым словом, вроде бы и ничего не значащим, он лишается какой-то хоть и небольшой, но собственной силы и правды.

— Уже ученый! Когда кончишь, знаешь, кем будешь?

— Не очень-то…

— А что тебе нравится?

— Самолеты.

— Значит, хочешь летчиком быть?

— Очень нравится. Не знаю, удастся ли.

Теофилис резко садится, уставившись своими карими глазами на Бенаса.

— А что, нельзя? — находит лазейку Бенас.

— Почему бы нет, пожалста. Величие, небеса, над жаворонками да аистами, денег куры не клюют, от баб отбоя нету. Соколы да орлы…

— Во всяком деле соколом можешь быть, если оно тебе по душе, или нет?

— Да неужели? Хм-м-м…

Чудной этот Теофилис! С какой стати его голос теперь зазвучал подавленно? Он долго, очень долго молчит, лежит, дергая изредка то одной, то другой ногой, жует траву, словно готовясь к какой-то последней атаке.

— А больше тебе ничего не нравится? — спрашивает он, когда бутылка уже откупорена и бóльшая часть выпита. И сует при этом бутылку Бенасу.

— Нет, не пью.

— Ну и ну! Не пьешь так не пьешь. — Теофилис вливает в глотку добрую порцию и радуется: — Ата-та!.. Так что тебе еще нравится?

— А это очень важно?

— Важно — не важно, а сказать можешь.

— Еще мне нравится литература, Теофилис.

— О-ё!.. — совсем некрасиво ругается Теофилис, даже Вацюкас вздрагивает. — Литература… Почти Экзюпери… Слыхал о таком? Столица уже знает… Проводишь струнами лиры по грудям, будто павлиньим перышком, публика хлопает, девки цветы волокут да просят хоть словечко в книжку написать… О-ё!.. Тьфу! И все так чудесно, так симпатично, мир розовый и манящий, валяй жми, протянув вперед когти…

— Не понимаю, почему тебя так все бесит? Сам ведь знаешь, что говоришь не совсем правду. Что значит твоя злость против Майрониса или, например, Чехова?

— Вот как? Да, да… — землемер снова надолго замолкает, переворачивается на живот, потом садится, смешно сгибает ноги, будто кузнечик, опираясь на крепкие ручищи. Теперь он внимательно смотрит на запад, где солнце заслонено просвечивающим облачком. Бенас и Вацюкас видят, как странно дергается нижняя губа Теофилиса.

— Бенас? — глуховато говорит Теофилис, глядя вдаль. — Вацюс?

— Чего? — спрашивают оба.

— Вы не поверите, а я теперь вдалеке вижу

Африку, вон ходят негритосы, большие и маленькие, выпятив голые животики, один взобрался на дерево и бросает наземь ананасы, а внизу другие ловят, натянув одеяло… Черт возьми, как им все легко, черт возьми!..

Вацюкас растерянно смотрит на Бенаса.

— Красиво, но вряд ли уж так легко, — говорит Бенас.

— Бенас!

— Чего?

— Так тебе Чехов, ничего? — спрашивает Теофилис, все еще глядя на запад.

— Очень нравится, Теофилис.

— А «Дядя Ваня»?

— Читал много раз. Когда представится случай, поеду посмотреть в город.

— Ты помнишь, Бенас, там есть такое место, когда Елена, Соня, маман, Ваня и доктор Астров сходятся вместе… Елена говорит: «Какой сегодня чудесный день». А дядя Ваня: «В такой день хорошо повеситься»…

— Помню, как не помнить.

— Вот было время! Вот рвался я на сцену, как бык на арену… Боже ты мой! И у меня получалось. Перед тобой — разинутые рты, а ты привязал каждого за веревочку и тянешь, куда хочешь… А

когда я начинал говорить слова о лесе, о посаженной березке, которая будет радовать людей через тысячу лет, у меня у самого першило в горле. Но чертовщина!.. Такая уж у меня натура — в эту же минуту я начинал беситься, почему не мне, Астрову, а дяде Ване надо сказать слова о том, что хорошо повеситься… Пробирала дрожь от всей этой красоты, от осмысленности жизни, а какой-то проклятый голос нашептывал, что все это не так, что все обман, что на деле все куда страшнее. И я ничего не мог с собой поделать. Меня просто преследовала эта бессмыслица. Я начал путать текст, вставлял всякую отсебятину, стал приходить за кулисы с бутылкой, а потом ушел из театра — сам, пока еще не вытурили…

А ну его! Как нехорошо дергается губа Теофилиса и правая щека, а он снова опрокидывает бутылку.

— И после этого ты стал землемером?

— Не сразу. Братцы вы мои, все за нас делает кто-то другой, а мы лишь глядим, где бы приземлиться, чтобы не так больно было сесть. И только-то. Мужички, я ничего уже не могу, совсем ничего. Вы ни черта не понимаете, ничего вы еще не смыслите… Надо драться да глядеть в небеса? А какая может быть драка, если едва тащишь

ноги за теодолитом? Ты мне скажи, Бенас?

Кажется, водка разобрала его как следует, глаза у Теофилиса побелели.

— Если хотите, послушайте, что было дальше. Работу я получил, сел чертить проекты, нравилась эта работенка еще в гимназии. И здесь все шло хорошо, очень даже хорошо, но опять то же проклятье: пока жму с работой, все весело и симпатично, прихожу на работу раньше всех, вкалываю до ночи, а потом, когда уже близок конец, опять та же самая бессмыслица, хоть собакой вой. Ничего не могу с собой поделать, просто не перевариваю тех, которые радуются, когда что-нибудь сделают, видят в этом смысл, а то и счастье. Истинное проклятье сидит во мне, Бенас, жуткое проклятье… И из чертежной пришлось уйти, настала минута, когда видеть не мог чертежей…

Теофилис валится на спину, сейчас и он, кажется, видит летящие облака, а у Бенаса неуютно на душе, не осталось ни капли сопротивления, того четкого противовеса, который был у него вначале, и ему кажется, надо что-то сказать, что-то придумать.

— Теофилис, когда я был совсем маленький, маме один кузнец сделал сечку для картошки.

Он целый месяц все бегал к нам, все спрашивал, нравится ли, хорошо ли сечет. И, когда мама хвалила, его глаза просто сияли от радости.

— Придурок!

— Да вряд ли!

— Придурок, потому что и мысли и понятия у него застыли. Нет у него дара обобщения. Придурок, придурок…

— Ты не обижайся, Теофилис, но, может, и с тобой это самое: у тебя ведь нет и соломинки, за которую ты мог бы уцепиться, вот и говоришь, что нет какого-то обобщения…

— Нету, и ну его к черту! — скрипит зубами Теофилис. — У, не переношу этих небесных летунов, сладкоголосых тварей… Женщины! Ах, боже ты мой, чудо из чудес. Идет, седалищем вихляет, пожалста, прошу прощенья, вы умный и симпатичный мужчина, вы мне нравитесь, я навеки… Мужички! Навеки… Когда я ушел из этой чертовой чертежной и уехал в деревню землемером, жена, прощаясь со мной, говорила такие ласковые слова: ничего, Теофилис, немножко помучаешься, ты ведь умеешь взять себя в руки, поработаешь теперь так, а потом все устроим, ты же у меня умница… Да, да, родная. А когда этот умница, стосковавшись по дому и не перенеся

жуткого одиночества, как-то ночью примчался из деревни, отперев дверь, вошел в свой дом, то нашел жену в кровати со своим бывшим сослуживцем… Да, да, давайте петь гимны, лизать, как мед, сладкие слова про красоту жизни, давайте лизать их наподобие телят!..

Чертовщина! Что с ним творится? Он уже слышать ничего не хочет, пинает ногами землю, он совсем взбесился, набрасывается на Бенаса:

— Цветочки вы, лилии белые!..

— Теофилис, а что ты предлагаешь делать?

— Ничего, мужичок, ничего! Все взорвать, всех этих баб засунуть в пушку и выстрелить в луну. Больше ничего, мужички, ну, ничего!..

Что там была за работа, но до вечера дотянули. Инструмент снова положили на хуторе, Вацюкас пошел в свою сторону, Бенас — в свою, а Теофилис, пошатываясь и не оборачиваясь, потопал в сторону бывшего поместья, наклонясь вперед и изредка грозя кому-то кулаком.

С утра до вечера, от Американца и креста в ольшанике до старухи Римидене с ее яблоками, от могилки Милашюса до вопля Теофилиса — таков промежуток времени. За этот промежуток успели доехать с бригадиром до развилки Вилия и Милда, теперь они наверняка уже у себя в городе.

Бенас представляет себе, как им теперь хорошо — хорошо ведь каждому человеку, когда он знает, что одно, хоть и очень приятное, удовольствие скоро кончится и начнется другое, новое, ну, может, не совсем новое, уже изведанное, но подзабытое.

Вилия, шептал Бенас под шорох древоточца и мышек, лежа в пропахшей травками комнатке, я верю в своеобразную правду Теофилиса; так не соврешь. Но все ведь, как с яблоками старухи Римидене — я видеть их не мог, несколько штук даже выбросил, потому что знал, слышал, как они были поданы, как она их несла мне, а Теофилис не знал и слопал их со смаком, чмокая губами…

Еще не кончился этот отведенный Бенасу промежуток времени, еще не завтрашний день, а ночь этого дня, серебристая ночь, которая одну за другой уже стряхивает с веток спелые груши, и они шлепаются, мелькнув в маленьком оконце, и все-таки, и все-таки, Вилия, ничего не было бы в мире, если бы за своим горем, грязью и гнусностью человек не видел бы, не чувствовал бы до озноба, что такое лунная ночь с дремлющей грушей, источающими тепло бревнами дома и маленьким серым оконцем в конце избы.

Бенас выбирается из постели, подходит к

оконцу. Холодный глиняный пол охладил разгоряченные ноги.

— Что с этим ребенком, отец? Всю ночь не спит, мечется, а теперь, кажется, стоит у окна и смотрит в поле… — слышит он сказанные шепотом слова матери. — Все эти землемерки натворили…

— Да будет тебе, все землемерки да землемерки. Может, вовсе не землемерки, а какая-нибудь другая? Как знать? Не маленький уже…

— Иди погляди, скажи ему что-нибудь…

— Да ладно, иду.

Тихо открывается дверь комнатки. Так тихо, что не расслышал, только почувствовал.

— Бенас? — спрашивает в темноте отец.

— Чего? — отвечает он от окошка.

— Все не спишь?

— Нет. Не могу заснуть.

— Что с тобой, Бенас?

— Ничего, отец, совсем ничего. Правда, не волнуйтесь, все хорошо.

Отец шлепает в темноте. Он уже коснулся жаркого плеча Бенаса, но тут же отнял руку, словно застеснявшись. Он долго смотрит в оконце, хватается за то место, у которого днем держит в штанах сигареты, но теперь у него ни штанов, ни сигарет; отец молчит, молчит и Бенас, пока наконец отец

не говорит:

— Какая красота, Бенас.

— Да, отец.

Когда Бенас произносит эти слова, его горло сжимает боль, дергается щека.

Отец, отец, язычник ты мой, как ты велик и как хорошо, что за хлопотами и нищетой с самого младенчества ты не забыл это слово и по сей день чувствуешь, как мерцает лунная ночь. Отец, как хорошо это.

ВОЗОК УЕЗЖАЕТ

За неделю Теофилис два дня не показывался вообще. Бенас с Вацюкасом ждали его до полудня и уходили домой. Потом он явился снова, как и в первый раз, шагал бодро, размахивая руками, поздоровался, повалился на траву и молчал добрых полчаса. Бенас с Вацюкасом отошли в сторону, решив, что он спит, но Теофилис не сомкнул глаз. Полежав вот так, он вдруг вскочил, сбросил рваные башмаки, снял носки, снова упал в траву и лежал так, смешно растопырив пальцы ног и еще смешнее шевеля ими.

— Бенас! — крикнул он сипло.

— Чего?

— Ты не сердишься?

— На тебя? А чего мне сердиться?

— Не бесись, не бесись, Бенас… Не бесись и ты, Вацюс, наговорил вам всякой чепухи, когда выпью, сам черт за язык тянет… — И еще через минуту начал хохотать, кататься и пинать ногами землю. — Ха-ха-ха! Какой я придурок, какой я придурок, мужички! Да разве здесь мне валяться, я ведь горы могу своротить, горы, правду вам говорю! — И скрипел зубами, пока не устал и

не затих.

Работают теперь мало, вообще все не так. Теофилис, хоть и немного говорит, хоть не матерится и не проклинает, как бы все обесцветил, слизнул — и красоту полей, и доверие, и надежды. Бенас больше бывает с Вацюкасом, тот принес из дому «Овод» Войнич, они читают вслух, у Вацюкаса даже слезы на глазах, когда Бенас громко произносит слова Овода: «Плохо стреляете, ребята!»

Теофилиса снова как бы разбудили:

— Во! Вот это хорошо! Герой, никогда и никому не сдался… И вы не сдавайтесь, Бенас, особенно ты держись… Красотища, ну и красотища эта жизнь. Только будем сильными, будем пинать в зад каждого, кто пошатнулся, закроем все двери и окна, увидев нищего. На фиг он нужен; нам необходимы здоровое тело и целеустремленный ум, напустим собак на всех, у кого нет здоровья!..

Назавтра он снова сует деньги Вацюкасу, тот снова бежит на хутор, возвращается с бутылкой, а Бенас сквозь зубы спрашивает:

— Может, нам домой идти?

— Домой? Ого! Не-ет… Будете сидеть, гаденыши, вместе со мной. А кто работу сделает, может, я один? И вы меня бросить вздумали… Выпей, —

сует бутылку Бенасу, — чего ерзаешь?

— Не хочу, давно знаешь.

— Вот это мужик. Просто основа основ.

— Может, хватит, Теофилис, меня грызть? Начинает надоедать.

— Говоришь, хватит, говоришь, начинает надоедать? А что ты думаешь, все может быть, все, Бенас…

И Теофилис снова надолго замолкает, водянистыми глазами глядя на далекий темный лес. Потом, как всегда, резко вскакивает.

— Вот гадство, забыл, что у меня роскошный обед, как раз подойдет к этой бутылке. — Он роется во внутреннем кармане потрепанного пиджака, где поблескивает, чего доброго, довоенный еще «паркер». Порывшись, достает завернутый в газету круг колбасы. — Этой штуковиной, может, и уважаемые господа не побрезгуют, — ломает колбасу, дает Вацюкасу и Бенасу. Бенас не хочет брать, но Теофилис силой засовывает ему в руки. — Жрите, задаром получил. — Приподнимает бутылку и с бульканьем вливает водку в пасть. — И за что? Не отгадаете, мужички… Иду вечерком мимо выгона, знаете, там, за дубовой рощей есть такой выгон, так вот, иду и встречаю самое агрономшу. То да се, говорит, когда вы,

товарищ землемер, сюда приехали, сразу светлее стало, единственный интересный мужчина в этом мраке, только нигде не показываетесь, по вашей бороде все барышни и замужние тоже с ума сходят. Да ну, спрашиваю. Да, да, говорит, нисколечко не преувеличиваю, многие бы обрадовались, если бы вы хоть капелькой внимания, если бы проведали… И так остренько, так остренько мне в глаза смотрит, что я возьми да ляпни: так, может, сочтем, что я проведал? Да что вы, что вы, вся так и засветилась, ну и так далее, вы, сосунки, ничего не понимаете… Короче, потопали, где дальше и безопаснее, а потом она еще домой к себе ведет, муж-то уехал, черт, мне уже ни то ни се, а она говорит, можете оставаться, все равно ведь нету у вас настоящего дома, я хочу побыстрее улизнуть, а она меня срамит: эти мужчины — все трусишки… На прощание и сунула мне эту колбасу да еще денег в карман положила. Знаю, говорит, как тебе надо опохмелиться…

У Бенаса застревает во рту кусок колбасы, он сердится на себя за то, что переживает из-за такой чепухи. Бенас хорошо знает агрономшу, она лет на пять его старше. Красивая была девушка, жила с родителями в излучине маленького ручья. По весне весь их участок хвощом и калужницей

зацветал.

Ах, Юрате, Юрате! Сколько любопытных глаз на тебя смотрело, когда ты приходила на вечеринки, многие даже ногой в зал не ступали, поджидали у двери, на улице, надеясь, что удастся тебя проводить. А когда ты пускалась в танец, то всем казалось, что на тебе нет никакой одежды, что ты танцуешь в воде, так ты вся колыхалась и плыла. И мало кому из деревенских удавалось тебя проводить, потому что осенью приехал новый учитель, он носил белый костюм и после каждого танца бегал по лестнице на второй этаж и возвращался, вытирая губы, а вскоре и ты стала подниматься по этой лестнице, и белый костюм учителя не раз уже мелькал весной у твоего дома, а твои родители нарадоваться не могли — будет у них зять, какого нет ни у кого окрест. Но следующей осенью в школу прислали еще одну учительницу, девушку с задумчивыми глазами, и учитель на последние деньги справил себе новый светлый костюм, и вскоре уже эта учительница стала подниматься по лестнице; хотя куда она денется, она там и жила, на втором-то этаже.

И уже не толпились у двери зала деревенские пареньки, потанцевать приглашали тебя многие, но как-то небрежно, осторожно и равнодушно. И

только один хромой пастух, который пас колхозное стадо, любил тебя по-настоящему, но с ним, хромавшим рядом с тобой по проселку среди льна, ты шла какая-то несчастная, притихшая, смирившаяся. Ах, Юрате! Какими великими были бы мы, получая познание без потерь, если бы все ложилось нам только на спину, если б свеча, однажды уже горевшая, все же не оплыла бы!

А кончилось все еще печальней. Твой брат, который сам был, пожалуй, повеселей того учителя, возненавидел его и однажды на танцах вызвал учителя из зала на двор и заколол насмерть ножом. Учителя похоронили, а брата приговорили к расстрелу. И осталась тебе только огромная, но не очень-то нужная любовь хромого пастуха, Юрате. Тебе она ни к чему была, ты искала другую, тут подвернулся агроном, а теперь ты вручила кружок колбасы Теофилису. Спасибо тебе, Юрате, вот вкусно поедим и порадуемся, вот будем черпать горстями скользкие семена познания!

Несколько дней спустя Теофилис уехал в городок, но должен был вернуться, только неизвестно, когда, а потом уже всем — Вилии, Милде и Теофилису — придется перебираться в большой город: девушкам учиться, а Теофилису, наверное, еще раз попробовать наладить семейную жизнь…

Еще три дня они ходили вместе — Вилия, Милда, Вацюкас и Бенас. И пусть никто не скажет, что им не было хорошо, хотя рядом все время и развевался не ими вывешенный флаг.

— Бенас, ты какой-то грустный, — первой сказала Милда.

— Да нет. Все как было. Как ваши дела?

— Чудесно. Хорошо вернуться в знакомое место, когда побыла в другом.

— Я тоже об этом за вас подумал.

— Правда, Бенас?

— Правда, Милда.

— Ты хороший, Бенас.

— И вы обе хороши…

Теперь надо бы рассмеяться. Но, черт возьми, почему уже не такой смех у Милды, Вилии и Бенаса? Вацюкас и вовсе не смеется, может, он не слышал, о чем говорили, лежит, как всегда, поодаль, свесив ноги в канаву.

— Мы долго будем вспоминать свою первую практику, — продолжает Милда.

И опять, черт возьми, почему все это говорит она, а не Вилия? Может, потому, что часто нелегко даются слова, вот почему достойно уважения и словесное творчество, если оно все-таки что-нибудь выражает…

— Да что говорить! — Милда даже восклицает: — Боже мой! Такие замечательные люди, и ты, Бенас, так много нам дал…

Спасибо, Милда, за хорошие слова. Да, да, замечательные люди, замечательный просмоленный крест Американца, замечательные яблоки старухи Римидене, а уж картофелины Милашюса — на всем свете таких не найдешь… Так что давайте оставим теодолит на хуторе и пойдем полями куда глаза глядят!

Вилия идет босиком следом за Милдой, но не оборачивается. Наверно, обернуться так же трудно, как сказать верное слово.

Сегодня уже последний день. Бенас знал это накануне, потому что бригадир предлагал ему, взяв возок, подбросить землемерок и землемера до железнодорожной станции.

— У меня не получается, — сказал Бенас.

— А что? Будешь занят?

— Понимаете, мы с Владасом договорились поле боронить.

— Мог бы на другой день отложить, — почти равнодушно сказал бригадир, но Бенас-то чувствовал, что он вкладывает в эти слова особый смысл.

— Да ладно. Пусть будет так, как с Владасом

договорились.

— Черт, послать некого. Наверно, самому придется.

— Да съездите сами.

— Наверно, так и придется сделать.

Сегодня Бенас вышел из дому спозаранку, взяв узду, надо привести с пастбища лошадь, а пастбище далеко. Идет он, смахивая росу, собачонка бежит за ним, а иногда рядом, вспугивая птиц. Уже похоже, что не за горами осень; когда он идет по перелеску, на проселок все падает и падает лист, задевая за ветви и иногда оставаясь на них — иллюзия кратковременной победы.

Вот место, где после войны они с отцом гнали капельки. Сколько раз подстерегала беда! Стали, скажем, солдаты лес прочесывать, искали лесных, стрельба просто бешеная, а куда денешься-то, если закапали первые капли, так и маялись оба с отцом, пока не приказали им поднять руки. Думали, каюк, но все обошлось. Хорошо, что успело за это время немало накапать — те, что на них наткнулись, махнули другим, сбежалось человек восемь, выпили, рот вытерли, а старшой сказал: «Продолжай, хорошая!» Этот случай долго не выходил у отца из головы. Вот холера, поговаривал, какая запутанная история — как солдаты, они

поступили плохо, им же приказано и подобные гнезда уничтожать, не только лесных, а с другой стороны, они поступили как люди. Так достойны они похвалы или нет?

Какой свет хлынул, когда он вышел из леса! И как было бы хорошо, если бы кто-нибудь каждому человеку заранее внушил страх перед предстоящими годами, чтобы в детстве и юности он видел глазами побольше света, сумерек и тьмы, ушами слышал побольше звуков, побольше чувствовал и понимал, чтобы потом, когда уже начнет готовиться к зимней спячке, мог бы сосать свою лапу, как медведь…

Змеится речушка Варне, а перед ней скошенный и уже отросший луг, привязанный на нем долговязый теленок стоит, отбрасывая косую тень, стрижет ушами и нюхает воздух.

Знакомый хутор. С горки к ручью спускается тропинка, отец Йонаса забрался под телегу и бьет молотом по какой-то железяке, собирается куда-то ехать, мать, наверно, заметив из окна Бенаса, тоже выходит на двор, скрещивает руки на груди, потом их опускает, в открытую дверь слышно, как стрекочет швейная машина, это шьет Лемешева, осталась в этих местах после войны, сказала, никуда не поедет, дети начали ходить в

школу, потом разъехались по техникумам, она сама научилась говорить по-литовски и по-литовски рассказывала, как ее муж погиб на войне. Она очень красиво и немножко смешно кивала головой, когда какая-нибудь женщина начинала объяснять, к какому сроку и что хочет сшить, внимательно выслушивала и потом отвечала:

— Ладно, шошью, шошью…

— Доброе утро, — говорит Бенас и уже хочет спросить, где теперь Йонас, может, дома и еще дрыхнет, но мать Йонаса делает Бенасу какие-то знаки, и тот понимает, что говорить нельзя. Отец еще сильнее лупит молотом по железяке и говорит:

— Ты, Бенас, ее не слушай. Дурь нашла, вот возьму ремень…

Бенас ничего не понимает, но теперь мать Йонаса кладет ему руку на плечо и отводит в сторону.

— Только ты Йонукасу не проговорись, что я просила. Вконец взбесился… Ах, господи, что же с ним случилось — четвертый день из чулана не выходит, никого к себе не пускает, ничего не ест, только спит да книжки читает… Бенюкас, может, ты попробуешь, ты единственный, с кем он будет говорить… Будь добр, зайди. Я уж хотела к тебе

домой бежать…

Отец Йонаса между тем выбирается из-под телеги, подойдя, подает Бенасу руку, перед этим крепко вытерев ее о штаны. Хоть только что и чертыхался и грозился, по всему видно, он тоже переживает, устал и испуган. Когда говорит, усы его смешно подрагивают, он как-то судорожно глотает слова и часто моргает. Говорит он шепотом, все оглядываясь на чулан и сени.

— Слышь, Бенюкас, черт знает что такое: ни есть подать, ни поговорить — всех гонит. Слышь, вчера пошел, постучался, говорю, пусти, а он как вдарит ногой в дверь с той стороны… Слышь, Бенюкас, может, ты попробуешь, а? Может, тебя побоится?

Да. Слышь, Бенюкас! А Бенюкас ведь идет за лошадью, потом ему боронить надо, а сегодня-то и вообще… Сегодня-то… Слышу, слышу, попытаюсь, времени в обрез, но, с другой стороны, целый день еще впереди, и завтрашний, и послезавтрашний… Ладно, попытаю счастья.

— Ладно, иду, если только впустит.

Бенас шагает через порог, а эти двое — отец все еще с молотом в руках — смотрят, затаив дыхание.

В дверь чулана стучится негромко. Ни звука.

Стучит сильнее — мертвая тишина. Тогда начинает колотить, бить ногой.

— Да катитесь вы к черту! — слышит он сердитый голос Йонаса.

Бенас еще сильней колотит в дверь.

— Сказал, к черту!

— Йонас, не бесись. Не пустишь, я в окошко влезу.

В чулане тихо. Слышно, как приближаются шаги и звякает щеколда.

— А ну тебя, Йонас, хоть бы окно открыл, — говорит Бенас и сбрасывает крючок с оконной створки, а Йонас, всклокоченный, тощий, синий даже, уже забрался в свое логово и повернулся лицом к стене.

— Дуришь, Йонас?

— Я не дурю!

— А чего делаешь?

— Лежу, и все.

— Что с тобой?

— Худо, Бенас!..

— Что случилось, Йонас? Да нет, повернись, не капризничай. Неужели и с друзьями будешь себя вести, будто кабан какой-то?

Йонас переворачивается на спину, уставившись мутным взглядом в потолок.

— Заболел?

— Черт знает!

Как выпятился его подбородок, как повис крючковатый нос! Йонас вынимает из-под кровати бутылочку, сам отхлебывает и дает Бенасу.

— Разве ради дружбы, — говорит Бенас и отпивает капельку. И правда вроде лучше стало, как-то веселее и уютнее…

— Ничего я не хочу, Бенас, ничего, только читаю днем и ночью книги, не могу оторваться.

Действительно, вся кровать и небольшой столик загромождены книгами — Вайжгантас, Жемайте, Лаздину Пеледа, Симонайтите, Бразджёнис, Александришкис, Чехов, Роллан…

— Это хорошо, что ты читаешь, Йонас. Только почему со своими воюешь, почему отгородился от всего света?

— Видеть никого не хочу, Бенас.

— Ого! Так уж и никого… — Бенас пристально смотрит на своего приятеля. Глаза у того вроде повлажнели, весь он как-то обмяк. — Так и не скажешь, что с тобой?

— Да ничего, Бенас. Только… Тебе могу сказать. Йоланту помнишь?

— Еще спрашиваешь! Как я могу не помнить!

— И наши письма?

— Конечно.

— Так вот, приехал из Каунаса какой-то студент. И все.

— Что все?

— Йоланты нету.

— Умерла?

— Не дури. С ним шляется…

— Ну и пускай шляется.

— Тебе легко говорить.

— А что мне еще сказать? Йонас, Йонас, неужели она одна, одна на свете, боже мой, сколько еще нам жить, сколько еще всего встретим — море времени впереди, девушек масса; эх, Йонас, из-за такой чепухи ты с ума сходишь! Да что тут такого, не ты первый, не ты последний. А что погуляет, ничего страшного, может, она тебя еще любит, как знать, надо сперва все выяснить…

— Для себя я первый… А выяснять не хочу… — шепчет Йонас.

— Положим, это так. Но ведь придется жить, придется учиться и работать. Не вешай нос, подумаешь, барышня. Ужас что такое. Если она так может, то ты из последних сил должен скрывать свое отчаяние.

— От нее-то я скрываю.

— Вот и хорошо, Йонас… — И Бенас продолжа-

ет увещевать, говорит всякие красивые слова, описывает, какая это чепуха и как все это не важно. Потом спохватывается, что местами у него получается похоже на слова Теофилиса, только произнесенные без Теофилисовой уверенности.

— Да хватит тебе языком молоть! Я и сам умею, когда надо другому сказать, — Йонас уже малость ожил, не сердится, голос стал тверже и жестче.

— Только не дури.

— Попробую взять себя в руки… А ты куда идешь?

— За лошадью. Собираемся с Владасом зябь бороновать.

— Все работаешь, Бенас?

— Надо. Книги тоже надоедают.

— Надоедают.

— А ты, когда встанешь, загляни как-нибудь, поболтаем или на велосипедах к озеру смотаемся.

— Ладно, может, я и скоро к тебе прикачу.

— Будь здоров.

— Всего, Бенас! — говорит Йонас и валится на бок. — Закрой окно.

— Сам закроешь, не барин.

— Эх!

Что ж, подайте сюда миску с теплой водой, чистое полотенце, живей тащите, а ты брось этот

молот, рука небось онемела…

— Ну как? — опасливо спрашивает мать. — Впустил, разговаривал?

Бенас теперь, — настоящий доктор, он гордо идет на середину двора и говорит:

— Все хорошо. Скоро поправится, только вы с ним осторожно и ласково, не обижайте и не оскорбляйте.

— Бенюкас, спасибо тебе, сыночек, ты для нас как родной…

— Как родной!.. Все обойдется, — заключает Бенас и спускается к речке, за которой находится пастбище, а потом ведет лошадь, только чуть подальше, через мост; хотел ехать верхом, но отказался от этой мысли, как-то интереснее вести за повод, тогда вроде от тебя больше зависит.

Владаса он замечает издали. Когда Бенас с бороной появляется на поле, Владас спрашивает:

— Как боронить-то будем, Бенас?

— Как всегда.

— Я спрашиваю, друг за другом или отдельно?

— Давай отдельно. Каждый свою половину поля.

— Ладно.

И Бенас бредет за пылящей бороной, закатав штанины, грачи кидаются на развороченную

землю, лошадь иногда даже на крылья им наступает. Там, откуда должен появиться возок, есть небольшая прогалина, метров пятьдесят, которая отсюда хорошо просматривается; когда он поворачивается лицом к ней, ступая за бороной, ничего, уютнее, но, когда идет в противоположную сторону, Бенас чувствует, как зябнет кожа и подрагивают плечи. Так он и жмет без передышки, лошадь вспотела, Владас уже несколько раз останавливался на перекур, наконец обругал Бенаса:

— Дай животине передохнуть, Бенас.

— Думаешь? Да тут вроде не тяжело.

— Попробуй сам, увидишь.

Увидишь… Он видит, видит.

Бенас останавливает лошадь, останавливает в том месте, где эта прогалина не видна. Между тем уже слышно громыхание на проселке — это бригадир едет на хутор, с которого тронется пунктирный возок познания…

Мимо идет Римидис с узелком в руке.

— Куда путь держишь? — спрашивает Владас.

— Баба масло спахтала, в городок отнесу. Рубль нужен.

— Нужен.

Римидис идет, смешно наклоняясь вперед и все

время что-то бормоча себе под нос. Этот Римидис прославился окрест, когда хоронил своего старого отца, вернее, не когда хоронил, а когда люди отпевали покойника. Он все носился с фонарем в хлев и все, вбегая в избу и улучив минуту, когда певшие псалмы женщины переводили дух, задыхаясь, говорил:

— Уже восемь… Уже одиннадцать…

А всего свинья принесла двенадцать поросят…

Вот с раннего утра лупит молотом кузнец Ловейкис, звенят все поля, а из трубы кузницы клубами валит дым…

Вот идет по полю Кветкус с ведром, будет собирать, тварь бесстыжая, муравьев, принесет домой, побросает в кипяток, а потом, намочив тряпки, обмотает ими суставы своей бабы…

Вот несется по тропинке бабенка, на которую все обратили внимание не так давно, когда разнесся слух, что в больнице ей вынули «винтики».

Вот делает круг за кругом Бенас, бредет за бороной, а по спине все бегут мурашки.

Когда все это случилось, судьба все-таки определила ему быть к ним не спиной, а лицом. Едва развернув лошадь с бороной, он услышал громыхание колес возка и отчетливо увидел между

болтающимися вожжами, как они едут. Бригадир почему-то остановил лошадь, Вилия соскочила и побежала назад, видно, забыла что-то, бригадир слез и стал поправлять сбрую. Милда, вся подтянутая, сидела слева от бригадира, как тогда с Бенасом Вилия, которая теперь уже возвращается бегом мимо вишни, сядет справа, бригадир посередине, а Теофилис скорчился на зеленом сене, свесил с возка ногу. Вилия уже села (почему лошадь Бенаса так спешит, куда она так рвется, ведь столько боронила и не устала), уже тронулся возок. Вилия действительно смотрит в эту сторону, Бенас видит, что ее белокурые волосы перехвачены желтой лентой, она поднимает руку, поправляет платье.

— Бенас, землемеры уезжают, — тпрукнув на лошадь, говорит Владас.

— Ага.

Уезжают. Мотает головой лошадь, тащит борону, Бенас бредет за ней.

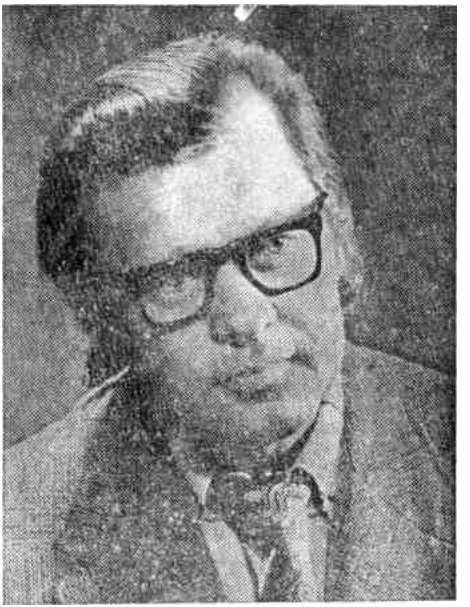
Ах, Теофилис и прочие все, кто успел уже не раз кувыркнуться и вкусить — кто больше, кто меньше — от яблока познания!.. Ах, Теофилис, что сидишь на траве в возке, все твои мысли, все твои разговоры были бы бессмысленными и пустыми, не будь здесь меня, не будь той нити,

что протянулась от моей бороны до возка, до желтой ленты в волосах Вилии! Ах, Теофилис, ты бы разинул рот, но не мог бы слова сказать, не будь серебристой лунной ночи и усталой груши в маленьком оконце!

Ах, Вилия, Милда, Теофилис, Йонас, Владас, Американец, Милашюс, Вацюкас, Юрате, какой пустой была бы жизнь, если бы все на этом кончилось, если б Бенас вечером, сев на велосипед, не мчался сломя голову теми тропинками, по тем местам, где вонзалась тренога теодолита, где шел дождь, и если бы вместе с тем, что мы называем счастьем, не завязался и другой плод — утраты!.. Какими несчастными были бы мы в своем счастье!

Перевод *В. ЧЕПАЙТИСА.*

Витаутас Бубнис
АРБЕРОН





Витаутас Бубнис родился в 1932 г. в деревне Чюдишкяй Пренайского района. Окончил факультет литовского языка и литературы Вильнюсского педагогического института, работал учителем, был главным редактором журнала для школьников «Мокслейвис». В 1976 г. избран заместителем председателя правления Союза писателей Литвы.

Печатается с 1953 г. Автор нескольких романов, повестей, сборников рассказов, пьес. Повесть «Арберон» отмечена в 1970 г. премией Комсомола Литвы, роман «Под летним небом» — Республиканской премией Литовской ССР (1974).

На русском языке вышло много книг В. Бубниса, в том числе: «Березы на ветру» («Советский писатель», М., 1972), «Белый ветер» («Вага», Вильнюс, 1975), «Жаждущая земля», «Три дня в августе», «Цветение несеяной ржи» («Советский

писатель», М., 1978). Произведения В. Бубниса издаются также на языках народов СССР и за рубежом.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каждый раз жду не дождусь воскресенья. Утром дрыхнешь, сколько влезет. Отсыпаешься за всю неделю. Правда, сейчас, еще сентябрь. А вот в декабре или январе — хоть удавись. Да-да, только зимой понимаешь в полной мере, что такое воскресное утро, о котором мечтал уже в понедельник. А сейчас не до сна — в комнату проникло по-летнему жаркое солнце. Занавеска отдернута, лучи щекочут руки, грудь, лицо. Зажмурясь, я взмываю в воздух, меня подхватывают теплые легкие руки, и я парю, ничего не чувствуя, ни о чем не думая, высоко над скрипучим диваном, далеко от своей комнатушки, оставив все-все, что меня окружало, что связывало меня с жизнью.

Парю, не чуя себя, и боюсь открыть глаза.

I love you,

I love you…

Взрывается тишина, со скрежетом и звоном распадаясь на тысячи осколков.

I love you, ho, ho…

Словно градины, стучат по окну хриплые го-

лоса.

В комнате отца со стуком захлопывается окно. Слышен кашель. Долго, надсадно кашляет отец. Потом говорит:

— Черти бы их подрали!

Услышь это владелец радиолы, наверняка бы только усмехнулся: «Ископаемое!» Народ в общежитии веселый, парни там тоже считают дни до воскресенья.

За стеной зашаркали шаги, громыхнул стул, зажужжала электробритва. Так и вижу отца перед зеркалом — стоит, оттопырив щеку, фланелевая пижама нараспашку, через плечо переброшено махровое полотенце. И эта глубокая складка над переносицей, придающая лицу суровое, даже угрюмое выражение.

Но, но, но...

Подбородок дрожит небось. Хорошо, что отец теперь не бреется опасной.

Но, но, но...

Соскочив с дивана, я начинаю откалывать твист. Босые подошвы липнут к половицам, но в пляс уже пустилось все тело, ни одна мышца не остается равнодушной. Не слышу больше зудения отцовского «Харькова». Только звон

электрогитар и вопли парней в ушах. И я твистую, твистую — назло всем! Внезапно музыка захлебывается, и я, словно пол ушел из-под ног, валюсь навзничь на свой диван. Качаются стены, колышется потолок, ходуном ходит трехпалая зеленая люстра. Сжимаю кулаки — так, что ногти впиваются в ладони.

Стрекочет телефон. Я вздрагиваю, как будто на голый живот посыпались с потолка ледяные капли.

— Алло! — отвечает отец и прочищает горло. — Ага… Да… Арунас еще в постели.

С кем это он? Может, меня…

— Я сейчас… Я передам Арунасу…

Звякает трубка. Тихие шаги. Отец останавливается за дверью и дышит так, будто взбежал на девяносто девятый этаж. Нажимает на дверную ручку, и дверь жалобно скрипит.

Натягиваю одеяло до подбородка, держу его обеими руками. Закрываю глаза; правда, веки предательски подрагивают.

— Спишь?

Перед глазами мелькают зеленые круги.

— А мне показалось…

Стоит, все еще тяжело дыша, и уже тихо говорит:

— Спи…

Поднимаю голову, протираю глаза. Отец застывает, словно его защемило дверью.

— Твоя мать звонила.

Уставился на «Вечерние новости», брошенные на пол, и, как ребенок, скрипит дверной ручкой.

— Приехала. Просила, чтоб ты был дома.

Читает он эту газету, что ли?

— Не уйдешь?

— А ты?

Отец растерян. Наверно, не стоило спрашивать…

— Я, видишь ли… В техникуме собрание. Как нарочно сегодня…

— С самого утра?

— Давно не утро. Да и дел куча…

Не умеет он выходить из положения.

— А Саулюс?

— Тоже… Одевайся, сын, пора.

Отец уходит к себе, оставив дверь приоткрытой, а у меня в ушах все еще звучит это: «Твоя мать…» Раньше ведь говорил: «Наша мама…» А сам маму звал — Эле. Иногда — Элите, будто она маленькая. А сейчас вот — «Твоя мать…» А кто она сейчас ему — моя мать? Эле, Элите? Имя, верно, прежнее, но отец, приведись ему сказать,

сперва бы добавил: «Бывшая…»

Бывшая — как умершая. Для него — умершая: отец за этот год ни разу не сказал вслух: Эле, Элеонора. Или как мы оба когда-то звали ее: мама, мамочка…

Выхожу в одних плавках на балкон и хватаю гантели. Раз, два, три… Раз, два, три… Парни смотрят на меня из окна общежития и почему-то хохочут. У другого окна девушка встряхивает рубашку. На ней только лифчик, и я отворачиваюсь. Трудно занавеску повесить, что ли?.. Раз, два, три…

Пот прошибает лоб и грудь, по бицепсам струится легкая усталость.

— Позавтракаем? — говорит отец, застегивая нейлоновую сорочку.

— А ты не хочешь повидаться с Саулюсом? — спрашиваю я, глядя в упор на морщинистое лицо отца.

— С Саулюсом…

Запонка выскальзывает из манжеты и падает к моим ногам. Я стою прямо, словно не вижу. Отец делает шаг и наклоняется.

— По Саулюкасу я соскучился… — говорит он. — Да вот… дела…

Криво усмехнувшись, я вхожу в ванную,

откручиваю оба крана. Шумит вода, гудят водопроводные трубы.

Вначале дзинькает звонок. Она звонит коротко и робко, едва касаясь подушечкой пальца белой кнопки. Она всегда так звонила.

Намотав на щетку мокрую тряпку, вожу ее по полу и так и сяк. Зеленые половицы дышат свежестью, как лужок после дождя.

В среду или четверг квартиру убирает отец. Воскресенье — мой день. Помыть пол, стереть пыль с мебели, подоконников и отопления, перемыть посуду — дня за три набирается полная раковина. Нет, дома мы не готовим. После ухода мамы столуемся в городе: отец ходит на комплексные обеды в ресторан «Дайнава», а я питаюсь в школе. Наша столовка, провонявшая капустой и лапшой, давно осточертела, да никуда не денешься… А вот завтракаем и ужинаем мы дома; чаще одно и то же — хлеб с маслом, краковской колбасой или каунасским окороком, ну и кофе или чай. Еще фрукты, которые отец приносит из города. Иногда мне странно — отец, раньше носу не совавший на кухню, сейчас ходит с авоськой по магазинам, закатав рукава, моет посуду. Конечно, он бы ни за что «так низко не пал», если бы с его зарплаты мы могли нанять

приходящую домработницу или завтракать и ужинать в кафе. Я это уже знаю назубок — каждый день слышу, что деньги тают, что денег нет, и каждое утро, когда отец отсчитывает мне эти пятьдесят копеек, мне кажется, что он долго грел их в потной ладони и прикидывал — не уменьшить ли эту сумму?

Да, с той поры, как мама оставила нас, многое изменилось. И если тогда все для меня было ясно, то сейчас я думаю без конца и ничего не понимаю. Твердо знаю лишь одно: скоропалительные решения не всегда верны. «Уже решил?» — спрашивает у меня математичка. «Решил». — «Проверь ответ». Проверяю. «Напутал». — «Ты вечно торопишься. Думай», — говорит математичка.

Нет, это тебе не урок математики. Попробуй найти решение задачки с двумя неизвестными, которые вовсе не неизвестные!.. Очень даже хорошо известные неизвестные — икс да игрек…

$$X — Y = 1$$

$$Y + 1 = X$$

Мура какая-то!

Отодвинул диван, вытираю пол у стены. Обычно я так не усердствую, но сегодня… вдруг мама заглянет под диван…

Скоро дзинькнет звонок, я открою дверь, и она войдет — с румянцем на щеках. Она краснеет передо мной, не смотрит в глаза, бывает, сама не знает, что говорит.

…В тот день были финалы межшкольного первенства по баскетболу, и я вернулся поздно. Мама стояла у балконной двери, когда я вошел в комнату. Отец сидел на кушетке, опустив голову. Только Саулюкас глянул на меня и сказал:

— А ты ничего не знаешь!

— Тарелку разбил, и отругали, наверно, — ответил я и понял — что-то стряслось.

В доме давно «что-то» творилось — это я замечал, конечно. Вечером отец утыкался в книгу или газету, мама брала работу и закрывалась у меня в комнате. Оба молчали. Разговаривали только со мной, с Саулюсом. Будто не видят друг друга — за целый день ни словечка. Такая была тишина, что я, прочитав полкниги, не мог сказать, ни о ком, ни о чем в ней пишут. Я зажимал ладонями уши, мне было страшно, мне хотелось закричать: «Почему вы молчите?! Хватит молчать, слышите?!» Еще пакостней бывало, когда мама уходила куда-то на весь вечер. Возвращалась в двенадцать, не раньше. Отец вставал из-за стола и, наклонившись, заложив руки за спину, смотрел на нее. У

него чудно подергивался подбородок. Мама обходила его как телеграфный столб и спрашивала у меня: «Ужинал?» — «Ага». — «Шел бы спать», — и закрывалась на кухне. Отец курил и забывал стряхнуть пепел в стеклянную рыбу.

И вот Саулюс подошел ко мне.

— Нагнись, чего тебе скажу! Ну, нагнись.

Я подставил ухо, и он свистящим шепотом сказал:

— Мама уходит, вот!

— Куда? — рассмеялся я. — Вернется.

— Дай еще ухо. Мама насовсем уходит. И меня забирает. А ты будешь тут, и папа тут…

Я посмотрел на маму, на отца. Они ничего не сказали. Застыли оба — точь-в-точь фигуры, вылепленные из воска.

— В чем дело? — спросил я.

Они молчали. Только отец вздохнул и как-то вымученно улыбнулся.

— Что такое?! — закричал я.

Мама обернулась от балконной двери. Она смотрела себе под ноги:

— Саулюкас сказал… Это так… Саулюкас сказал правду, Арунас.

Я так и сел. Ноги отяжелели, устал я страшно; все тело вдруг заныло, будто меня долго месили

ногами. Мама уходит… Бросает… Я-то знал, что бывает такое — уходят… разводятся. Отец Бенаса тоже ушел. Бенас был еще маленький, когда отец бросил их и стал жить с другой женщиной. «Кто он мне, чужой человек», — говорит Бенас. Но все-таки про отца лучше ему не напоминать. И мама Руты из нашего класса ушла. Рута любит ее, часто ходит к ней в гости. И ненавидит женщину, занявшую мамино место. Рута все грозится, что убежит из дому. Ну, конечно, убежит. Столько раз я слышал — развод, развод… А вот что ЭТО придет и к нам, подумать не мог.

— Почему?

Мама трет ладонью подоконник, не поднимает глаз.

— Почему, мама?

У мамы лицо пошло красными пятнами; вот они и на шее…

— Почему, папа?

Отец разводит руками, потом сплетает пальцы на коленях.

— Пускай она ответит.

Губы у мамы сжаты, мелко трясутся.

— Это трудно… нет, невозможно. Ты не поймешь, Арунас… Когда-нибудь…

— Почему?

— Тебе трудно разобраться в этом, Арунас, лучше ты… Лучше не спрашивай…

Я так и вскипел:

— Думаешь, мама, я еще верю, что детей приносит аист?

Мама испугалась, даже голову подняла.

— Арунас, потише… Саулюкас…

Подошла к Саулюкасу, привлекла его к себе. Он-то еще дурачок, что ему. Покажи леденец, побежит куда хочешь.

— Саулюкас не останется без отца. Есть и будет у него отец. Только мы… в другом месте будем жить… Я иначе не могу… Я долго-долго думала… долго-долго ждала, и мне больше невмоготу…

Мама оправдывалась, как нашалившая девчонка. Противно стало на нее смотреть, я отвернулся. Поделили нас — Саулюкаса и меня — как стулья: этот тебе, а этот мне. Вот не думал, что взрослые, которые всегда считают себя мудрыми и непогрешимыми, могут вдруг превратиться в последнюю тряпку и забыть звонкие слова, которые они так часто повторяли: благородство, истина, мужество, совесть и тэ дэ и тэ пэ…

— Когда-нибудь ты поймешь, Арунас, Я надеюсь, что ты меня поймешь… Человеку ведь нужно не только… Человеку нужно много чего,

все нужно, если он хочет…

Отец вскочил. Наклонив голову и сжав кулаки, он бросился к кухонной двери. Резко повернулся, застыл посреди комнаты, замахал руками, как утопающий.

— Стар я для тебя! Стар!.. — просипел сквозь зубы, закашлялся и снова плюхнулся на кушетку.

Мама ответила спокойно и твердо:

— Нет, ты все такой же. О, если бы ты…

Отец втянул голову в плечи.

— Знаю, чего тебе надо!..

— Не начинай… Саулюкас…

За Саулюкаса мама пряталась, как за каменную стену, об него, будто волны, разбивались все слова отца.

Без конца тянулись вечерние часы. Мама собирала одежду, совала в прозрачные мешочки туфли, укладывала огромный кожаный чемодан. Все она делала медленно, не спеша, словно давно продумала каждый свой шаг. Потом отнесла отцу постель и сказала:

— Сам себе постелешь.

Отец не ответил. Просто смял обеими руками газету, которую читал, положа на колени, и долго держал в костлявых пальцах бумажный ком, будто увесистый камень.

Мама достала из ванной раскладушку, расставила рядом с моим диваном.

— Ты сюда ложись, — уступил я ей свое место, но мама покачала головой:

— Не надо, лежи…

Не знаю, спал ли кто-нибудь из нас. Саулюс, конечно, не в счет — сопел, как заведенный. Может, и я вздремнул, не поручусь, потому что, открыв глаза посреди ночи, почувствовал, что рядом сидит мать. Держит мою руку в своей и смотрит в темноту. Хотел было вырвать руку и отвернуться к стене, но до чего же хорошо так лежать и чувствовать, что мама рядом!.. Не знаю даже, когда она так ночью около меня сидела. Когда меня мучал коклюш? Но то было ужас как давно, я был тогда с Саулюса… А с тех пор я все лежал один. Спал, правда, крепко. Мама иногда, бывало, наклонится, чмокнет в лоб, шепнет: «Спокойной ночи». Но обычно забывала. Она все работала и работала, обложившись этюдами да набросками. Приду я из школы, скажем, она заметит, что у меня «сверкает» пятка, пообещает мигом заштопать, новые носки купить, а наутро я убегаю все в тех же. Да и рубашки не каждый день сверкали чистотой. Она забывала… Потом я привык сам следить за собой. Но мама вроде

бы и этого не заметила, а когда отец брюзжал, что выходит на работу грязный, как дворник, отвечала: «Будет, сделаю…» Мне казалось, что она живет другой жизнью — своей, далекой от повседневных забот.

«Никогда она тебя не любила и сейчас только притворяется», — словно зашептал кто-то на ухо, и я стиснул зубы. Сквозь редкую занавеску сочились тусклые отсветы уличных фонарей, и мамино лицо казалось бронзовым — мертвым, застывшим. А ее рука ласково сжимала мои пальцы, поглаживала…

«Она и сейчас думает не о тебе», — снова донесся голос из темноты.

Почему я ее не оттолкнул? Вот сосчитаю до десяти и… Я не могу больше так… Раз, два, три…

Что-то теплое капнуло на руку. Капля летнего дождя. Семь, восемь, девять… Снова капля…

На бронзовой маминой щеке сверкнула слеза.

…Скоро дзинькнет звонок, и я открою дверь.

Она листает мой дневник.

— Письменная по литовскому — двойка, физика — двойка… Физика?!

— Исправлю, время есть.

— А это что? «На уроке истории щелкал семечки, зевал и ковырял…» В чем ковырял?

— В носу.

— «…и ковырял под партой».

Мама швыряет дневник на стол.

— Отец видел?

— А я не показывал.

— Почему?

— Не просил.

Только почувствую, что меня собираются отчитывать, как сразу вскипаю… Все могу вытерпеть, но не эти нотации — они у меня в зубах навязли. Мама, конечно, знает об этом. А может, потому не начинает, что самой ей странно: раньше-то в руки не брала дневника, не проверяла отметки. «Это дело отца, он посвободней», — говаривала она. А сейчас вот спрашивает раз в три-четыре недели: «Как успехи, Арунас? Покажи-ка дневник». Вспомнила о своем бедном дитятке. Проснулось чувство долга.

Саулюс листает мои учебники, разглядывает картинки. Большой парень, через год ему уже в школу.

— Хочешь, стишок почитаю? — Саулюс подбегает ко мне, забирается на колени. Глаза у него большие, карие, блестят, как только что вылущенные каштаны.

— Давай.

Пики наставили,

хотели воевать,

а потом раздумали…

— Саулюс!.. — Мама объясняет: — Это же некрасивые стихи, Саулюкас. Сколько раз тебе говорить…

Саулюс подпрыгивает у меня на коленях, хохочет, тузит меня в грудь кулачками.

— А эту знаешь?

Художник, художник,

Художник молодой…

— Саулюс!.. — кричит мама.

— В садике учили?

— Ха!.. В садике такие стихи, что и не запомнишь.

Артист из меня не выйдет — таланта не хватает. Хорошо бы хоть Саулюс стал артистом — сейчас мне кажется, что лучше всего тем, для кого жизнь — это сцена, а сцена — это жизнь… Если по-честному, то я частенько заговариваюсь. Наверно, главный мой враг — это я сам — верьте не верьте, а так мне иногда кажется. А может, я, правда, псих?..

Саулюс снова листает мои учебники.

Мама сидит за столом, уставившись на свои руки, и мне кажется, что с каждым приходом сюда ей все трудней стронуться с места, пройтись по комнате, прибрать у нас. Она здесь — гость. Только гость, а гостю не с руки хозяйничать в чужом доме.

— В четверг открылась моя выставка, — наконец говорит она.

— Да?

— Не знал?

— Первый раз слышу.

Читал, конечно, в «Вечерке», но почему-то изображаю, что мне ни до чего нет дела — мол, даже газет в руки не беру…

Мама поднимает голову и смотрит на меня тепло и ласково. Вижу, ей хочется что-то сказать мне, но она молчит. Так и будет молчать. Моя мама похожа на своенравную девчонку. Видно, я в нее… да, в нее… «Трудный у тебя характер», — сказал ей как-то отец. Эту же этикетку он потом и мне приклеил. Папа у меня мастер клеить этикетки.

— Каштаны падают, — говорю я, подойдя к окну.

В ванной шумит вода.

Мама нашла две мои грязные рубашки, кучу носовых платков, носков и стирает. Нет, я не

просил ее. Я даже умолял этого не делать.

— Видишь, Саулюс?

Я беру с полки мартышку, завожу ключиком и ставлю на стол. Мартышка смешно подпрыгивает, вертит хвостом. Совсем как живая.

— Нравится?

Купил я эту мартышку давно и спрятал за книгами, чтоб отец не увидел и не прицепился: «Сколько стоит? Откуда деньги взял?» Ему-то ведь не скажешь, что неделю обходился без обеда. Да и не хотелось мне. Честно, не хотелось этой тухлой капусты и остывших безвкусных сосисок.

— Возьми, Саулюс. Это тебе.

— Спасибо, — говорит он. — Теперь у меня две будут.

— Две?

— Дядя Повилас подарил. Только побольше. Во-он такую. Тоже заводная.

Мартышка смотрит на меня со стола и ухмыляется.

— Дядя Повилас говорил, если я буду хорошо себя вести, он мне машину купит. Знаешь, такую… Сидишь, ногами педали крутишь и — «Би-би!.. Би-би!..»

Мартышка улыбается. Я беру ее двумя пальцами, как холодного слизняка, и не спеша завожу.

Кручу, кручу ключик… Потом с силой поворачиваю. Тр-р-рах! В пузе у мартышки что-то скрежещет и трезвонит. И я снова ставлю ее на стол.

— Почему она не пляшет?

— Все, наплясалась.

— Испортил?

— У тебя же нет такой… которая не пляшет, да?

Саулюс загрустил.

— Ей больно. Почему ты так сделал?

Снова бросаюсь к окну, смотрю на улицу и ничего не вижу.

…Его привел отец.

Мама раздраженно отшвырнула квадрат линолеума, захлопнула папку с наброском и, крепко зажмурившись, посидела так. Потом, словно актриса, вжившаяся в новую роль, поднялась и легкой походкой вышла в коридор.

— Мой коллега Повилас. Физик. Я тебе, кажется, говорил…

— Элеонора, — протянула руку мама.

Когда мама работала, я украдкой глядел то на точные, как у хирурга, движения ее тонких пальцев с резцом, то на лицо, какое-то неземное, излучающее свет иного, ей одной известного мира, и все время боялся, что она вот-вот вернется

к нашей хлопотной повседневности: к неподанному ужину, невнесенной плате за квартиру, перегоревшему утюгу, импортным туфлям или талонам на муку. К этой тьме хлопот, которые тучей наседали на маму, как крылатые муравьи летом в деревне, — только отбивайся руками или убегай подальше. Я хотел стать маминым стражем, чтобы никто у нас не нарушал ее покоя и ей не приходилось бы по вечерам уезжать в свою промозглую мастерскую на краю города.

Мама улыбалась, но я знал, что это — гримаса вежливости.

— Очень приятно, раздевайтесь, пожалуйста…

Гость смущенно топтался в передней и извинялся не переставая — мол, помешал, мол, ворвался в поздний час, мол, лучше уж он домой пойдет…

Просто противно!

— Да что ты, Повилас, — отец не слушал возражений. — Посидим, кофейку попьем. И коньячок я припас.

Гость провел рукой по коротко стриженным волосам, поправил узел галстука. Он был в темном модном костюме — высокий, спортивного вида, вообще-то симпатяга. Не знаю почему, но это меня еще сильней разозлило. Притащился,

видите ли… Оба уже поддали, видно, добавить захотелось. И как не подумают… Да и мама туда же, могла бы…

— Я правда вам помешал!..

Опять!..

— Ничего, управится, — ответил за маму отец. — Ты садись, Повилас.

Мама прибрала на столе, ушла готовить кофе.

Отец со стуком водворил на стол бутылку.

— «КВ»!.. — гордо сообщил он.

Гость взял бутылку, повертел в руке.

— Редкая вещь.

— Только в спецбуфете.

— Там — да.

— Знакомый взял…

Пристроившись на краешке дивана, я листал «Крокодил» — иной раз люблю юмор.

— Вы физику преподаете? — войдя, спросила мама. Она уже успела причесаться и подкраситься.

— Самый интересный предмет!

— Для меня, помню, она была темный лес.

— С тех пор физика изменилась…

— Формулы-то хоть остались?

— Сейчас их еще больше.

Когда они прекратят эту пустую трескотню? В

сущности, о чем им говорить-то? О том, что сегодня было солнечно, а завтра, пожалуй, пойдет дождь? Вообще мама умеет занимать гостей, но мне всегда кажется, что она делает это через силу, принуждает себя.

Замолчали, наконец!

Отец наполнил рюмки и покосился на меня. Я как ни в чем не бывало листал «Крокодил». Не читал, конечно, разглядывал картинки, как неграмотный детсадовец, и громко шелестел страницами.

— Ваша? — спросил гость у мамы, увидев на стене гравюру.

— Ага… У жены их пропасть, — снова ответил за маму отец. — Выпьем. Прошу.

— Где же я видел эту работу? — гость глядел внимательно, с прищуром, насупив брови. Потом вдруг обрадовался: — Она же была напечатана, правда? Помню, понравилась. А все ж оригинал есть оригинал…

Отец чуть не расплескал коньяк — рука задрожала.

— Что ж, со знакомством, — гость тоже поднял рюмку.

Мама сидела пунцовая и счастливая.

— За вашу работу!

— До дна, — напомнил отец, выпил и помотал головой. — Ты кофе посмотри, ладно?

Мама ушла на кухню, а он повернулся ко мне.

— Уроки приготовил? Проверь еще раз…

Иными словами: «Чего торчишь? Катись к себе».

Я ушел, закрыл за собой дверь. Пока был ребенком, от меня они так легко не отделывались. Я уж умел постоять за себя! Что ж, сейчас это было бы смешно… Честно, почему родители считают нас несмышленышами, хотя нам скоро стукнет семнадцать, почему они думают, что мы вдруг можем заразиться злом, как насморком, что мы еще не знаем ни вкуса вина, ни запаха сигареты? Вот умора!

Там, за дверью, звякали кофейные чашки, и я, конечно, слышал каждое слово.

Вошла мама, взяла папку со своими работами.

— Зачем? — тихо спросил я.

— Хочет посмотреть.

— Если б не он, ты, мама…

— Глупенький… — Она ласково потрепала меня по плечу.

Гость хвалил ее гравюры, говорил что-то о философской мысли, о ярком синтезе… Отец все подливал и предлагал выпить.

Когда гость ушел, в комнате долго было тихо.

— Так-так… — протянул отец. — Новый председатель месткома.

— Повилас?

— Ага. Мы прямо с перевыборного.

Звякали чашки — мама убирала со стола. Потом снова все затихло.

— Малый ничего себе. Как, по-твоему?

Мама ответила не сразу.

— Он чувствует… Умеет видеть…

Отец сипло хохотнул.

Следующий раз Повилас у нас появился месяца через два, в начале декабря. Отцу исполнилось пятьдесят, ему выдали Почетную грамоту, его поздравляли друзья и знакомые, а преподаватели у него в техникуме устроили по случаю юбилея кофепитие. Отец не мог поступить по-свински (это его слова!), и мама, забросив все дела, носилась по магазинам, таскала авоськи с рынка и жарила, варила, тушила. Отец добывал напитки, составлял список гостей.

— Была бы квартира побольше, а тут… Этого пригласил, этого, и комплект, — переживал отец. — Столько нужных людей остается.

— Не стоило Повиласа… — обмолвилась мама.

— О, ты еще не слышала, как он поет! Нет, По-

виласа я люблю.

— Ведь… всех не пригласишь.

— Повилас — власть, а власть мы любим…

Мама суетилась. Хватала одно, забывала другое, и все жаловалась, что безголовая стала. Казалось, она вот-вот устало рухнет в кресло, спрячет лицо в ладонях и по-детски захнычет: «Не хочу… Не надо…» Но она все хлопотала. А в субботу еще затемно куда-то убежала. Вернувшись из школы, я застал ее перед зеркалом. Подстриженные волосы, взбитые и аккуратно уложенные, волнами спускались на уши и виски. Мама была в светлом платье с глубоким вырезом и подбирала к платью бусы.

— Ну, как? — спросила она обернувшись.

Я первый раз в жизни посмотрел на маму не только как на маму, но и как на женщину, и отметил — она красива. Стройная, ноги красивые — мама казалась совсем молодой, просто девчонкой; не зря прохожие иногда принимали нас за брата и сестру. Мама всегда гордилась этим, а я краснел и боялся, что они думают еще хуже — что я гуляю со своей девушкой, лет на десять старше меня.

— Хорошо?

— Ты красивая, мама.

— Ты даже не представляешь, как трудно попасть к Феле. Парикмахерская битком набита. Она неплохо меня причесала, а?

— Ты красивая, мама.

— А что сюда больше подойдет — бусы или брошь?

Никогда она меня об этом не спрашивала. Вечно ведь спешила. Все время бегом; только на минутку станет перед зеркалом.

— Может, бусы, а?

Я все еще смотрел на нее, как зачарованный.

— Может, бусы…

— А может — брошь, посмотри-ка…

— Может, брошь…

Она радостно засмеялась, повернулась на одной ноге, потом снова всмотрелась в свое отражение, и лицо ее вдруг померкло. Бросила бусы с брошью на столик, опустила руки.

— Если б все уже кончилось… был конец, — тихо сказала она.

Вернулся отец с полным портфелем бутылок лимонада, и мама убежала на кухню.

Гости были робкие и воспитанные, за стол сели только после долгих уговоров. Честно, я чуть со смеху не подох, когда коротыш директор техникума стал осыпать комплиментами какую-то тетку,

занявшую чуть ли не два стула по соседству:

— Вы так помолодели и, как всегда, грациозны!.. Не станете возражать, если я вам капельку налью?

Или когда его жена, помахивая пальцами с ярко-красными ногтями, защебетала:

— Эта ваша селедка с грибами — просто объедение!.. одно слово — прелесть!..

Точь-в-точь как в театре, на комедии. Но сидевший рядом старец напомнил, что я не зритель, а действующее лицо.

— Вам забыли налить!..

— Нет, спасибо, — я задвинул свою рюмку за фужер с лимонадом.

— Ему нельзя, — отозвался отец.

— Капля не повредит.

— Нет! — одернул старца отец. — Разве что вина.

Мама сидела между отцом и Повиласом и призывала честную компанию угощаться.

После третьей рюмки все оживились.

Справа от Повиласа была расфуфыренная дама, но ухаживал он только за мамой.

— Элеонора, вы… — говорил он ей.

Директор техникума, подскакивая, как петушок, толкнул высокоидейную речь о партизан-

ской и общественной деятельности отца. Жаль, трибуны у нас в квартире нет. Он предложил осушить бокалы за юбиляра.

— Нора… — услышал я голос Повиласа.

Так, наверно, маму не звал еще никто — во всяком случае, я не слышал. Отец говорил — Эле, а когда-то, давно, правда, но я помню — Элите. Элеонора — Нора… Необычное имя, из драмы Ибсена. Нора, которая в доме отца была дочкой-куклой, а в доме мужа — женой-куклой…

Ровно в двенадцать выстрелила бутылка шампанского, и мы затянули «Долгие лета». Саулюс клевал носом, и я повел его укладывать к себе. Постелив ему на диване, хотел вернуться к столу, но вдруг передумал и разделся. Саулюс прижался ко мне, крепко обнял и тут же заснул. А я слушал, что происходило за дверью. Директор гаркнул: «Поступило предложение спеть народную песню». Господи! «Поступило предложение…» Все проголосовали «за», и жена директора (ну конечно, она!) писклявым голоском затянула: «Жил-был у бабушки…» Потом пошли анекдоты, поначалу невинные, а чем дальше, тем острее. Хихиканье, фырканье. Вопросы и ответы «армянского радио». И опять: «Поступило предложение выпить на брудершафт…» Женский визг…

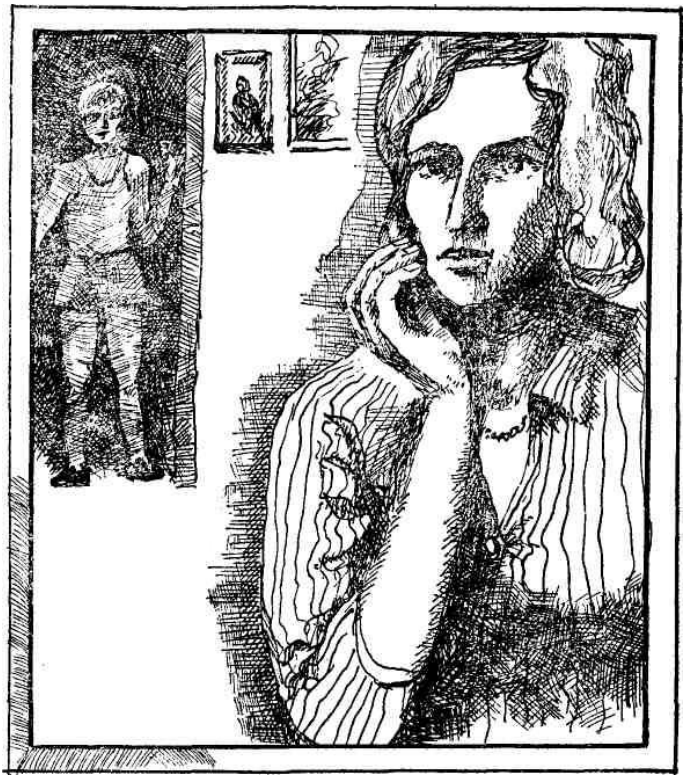
Когда проснулся, было уже тихо. Полная тишина. Из-под двери пробивалась полоска света. За стеной кто-то безмятежно храпел.

Зверски хотелось в туалет, и я, встав с дивана, открыл дверь. Зажмурился от яркого света, но в тот же миг… Мама сидела на своем месте, глаза у нее были влажные и печальные, словно она только что плакала. На ее локте лежала большая ладонь Повиласа; его пальцы нервно подрагивали. В пепельнице горкой высились окурки.

Мама подняла голову и посмотрела на меня, как на чужого.

На кушетке, лицом к стене, одетый, лежал отец. Спал.

Повилас затянулся потухшей сигаретой, взял спички.



Я застыл в одних трусах на пороге. Хотел броситься назад, захлопнуть дверь, но что-то меня удерживало. Извиниться... нет, надо что-то сказать...

— Поздний час… — сказала мама.

— Поздний, — ответил Повилас и рассыпал спички.

Я толкнул стул и, пробегая мимо стола, смахнул рукой рюмку. Звякнула, разбилась.

В туалете я задержался долго. Спустил воду. Унитаз гудел, клокотал. Я не мог шевельнуться. Я не мог выйти. Я боялся снова столкнуться с… Открутил кран над ванной и сунул одуревшую голову под ледяную струю. Оказывается, это прекрасно, когда тут же ванна. Совмещенный санузел — изобретение глобального масштаба, черт возьми!.. Честно, я сойду с ума или… или сам не знаю… Возвращаясь, могу черт знает что… Да, это чудо двадцатого века — сидишь на унитазе и мочишь ноги в ванне… Черт возьми!

Когда я вошел-таки в комнату, Повиласа и след простыл. Мама стояла, прислонившись к стене, уткнувшись подбородком в скрещенные на груди руки.

Я так и не заснул до утра.

Из-под двери сочился свет.

Трезвонит телефон. Колючие молоточки звонка стучат по вискам, я закрываю глаза от боли. Подхожу, поднимаю трубку.

— Алло!

— Мое почтение, старик.

— Привет, Бенас.

— Скучаешь?

— Как на физике.

— Не прошвырнемся? Есть предложение.

— Я весь внимание.

— Для начала — в киношку. Потрясная картина. Потом в парке Вингис массовое гулянье. Авось чего перепадет… Ну, как?

— Не знаю…

— А кто знает, старик? Долгие раздумья к добру не приводят. Раз, два, и…

— Вообще-то ты гений, Бенас.

— Не часто слышу от тебя умное слово.

— Когда?

— В три. У кино «Жвайгжде».

— Заметано, Бенас.

— Ариведерчи, старик.

Гудки в трубке.

Мама смотрит на меня и удивляется: какой взрослый сын; собирается уходить, не спросясь у нее; еще свяжется с шайкой… А может, и нет, может, ее мысли где-то… не здесь?

— Бывает, люди удаляются друг от друга и ничего не могут поделать, — говорит она негромко, словно сама с собой. — Вращаются они… летят… и

все дальше и дальше друг от друга. И все системы управления бессильны… Ведь это люди.

Я так и вижу новую ее гравюру — бесконечное пространство, небесные сферы, падающие метеоры и потухшие звезды. И два человека — крохотных и ничтожных, затерявшихся в этом хаосе… Это уже готовая работа? Или она только сегодня вечером возьмет в руки резец?

— Человек идет, бежит… И даже не находит времени, чтоб задуматься — зачем?

— Что ты говоришь, мама? Я ничего, ну, ничего не понимаю! — жалуется Саулюс, дернув ее за руку.

— Нам пора, — наконец говорит она извиняющимся голосом. — Пробежимся по магазинам, и — домой.

Ее дом не здесь. И дом Саулюса — не здесь. А этот дом — бывший… Щелкает сумочка.

— Возьми, Арунас, на мелкие расходы.

— Не надо. У меня есть.

Я прячу руки за спину.

— Отец дает?

Она впервые упоминает отца и вдруг теряется, будто сказала что-то глупое.

Хлопает дверь, по лестнице удаляются шаги.

На столе лежит пятирублевка.

За что она сунула мне пять рублей?

ПОНЕДЕЛЬНИК

Юрате стоит перед рядами парт с бумажкой в руке.

— Предлагайте, товарищи.

Она — наш свежеиспеченный идейный руководитель. Была девочка как девочка, не выделялась из других кривляк, а тут вдруг стала неприступной, как-то остепенилась даже. Честно говоря, мы сами ее и выбрали. Кто-то предложил, а мы — ура! Кому охота брать на свою шею этот хомут? Юрате покочевряжилась для порядка, поохала, что не справится, а теперь взялась за дело. «Товарищи, товарищи…» Не исключено, что мы поставили ее на первую ступеньку карьеры… Если это так, мы поступили по-свински — не только приговорили Юрате всю жизнь сидеть в девах-общественницах, но и превратили в бумажный цветок: ни запаха, ни красоты — все для парада.

— Товарищи, мы должны составить план работы. Предлагайте сами.

Честно, ей пора на трибуну.

— Давайте с писателями встретимся.

— С поэтами. С Бложе.

— Умер твой Бложе.

— Брешешь. Вчера видел.
— А почему с Бложе?
— Он пишет стихи без рифм и носит бороду.
— Тише, товарищи. Давайте по одному.

Я выдираю из тетради письменных работ по математике два листка. Наверху аршинными буквами вывожу: «АРБЕРОН». Справа, помельче: «1967, сентябрь, № 2».

— Прошу, товарищи.
— Давайте по грибы сходим.
— Это безыдейно. Лучше — металлолом…
— Нельзя у пионеров работу отнимать.
— Давайте с солдатами встретимся.
— А кто будет отвечать за девочек?
— Хамы!

«*Арберон уверен:*

1. Раз человек молчит, это еще не значит, что он — рыба и клюнет на удочку.

2. Прав не обязательно тот, у кого самая большая глотка.

3. 1 % не всегда повторяет 99 %.

4. Скорей уж слон пролезет в игольное ушко, чем вовремя кричащий «ура» свернет себе шею.

(Если есть что добавить — валяй!)

5. . . .»

Пропустив несколько строчек, пишу:

«О чем сейчас думаешь?»

Подвинув «Арберон» Наглису, снова весь обращаюсь в слух.

— Товарищи!.. Ну, товарищи! Ну, успокойтесь, товарищи!..

Голос у Юрате срывающийся, лицо пунцовое. Отчаялась, бедняжка. Вот даже руки подняла. Нет, нет, она не сдается. Она хочет справиться с классом, прибрать его к рукам. Крепко держать.

— Неужто вас не интересует, товарищи, что мы, комсомольская организация, предпримем в первый триместр?!

— Ты секретарь — вот и думай.

— С двойками будем сражаться!

— Мы не Дон Кихоты.

— Успеваемость для нас превыше всего, товарищи. Вот это — дельное предложение.

— Это всех заботит, не только комсомольцев.

— Не будь анархистом.

— Ну, тише, товарищи!.. Мы выслушали здесь различные мнения, приняли во внимание ценные замечания…

Черт возьми, как быстро она насобачилась! Кто мог подумать!..

— Товарищи, намечен следующий план работы.

— Это кто наметил?

— Зачем тогда вся эта комедия?

— Я-то знал. Как и всегда.

— Выслушайте, товарищи. Во-первых, собрание на тему: «Все народы нам братья».

— Уже было! В позапрошлом году!

— Помолчи. Повторенье — мать ученья.

— Плюс зануденье.

— Во-вторых: «Комсомольцы — горячие сердца».

— Мы в восторге!

— И, в-третьих, товарищи: «Учиться, учиться и еще раз учиться». Это собрание будет о принципиальном значении учебы.

— Голосую левой и правой!

— Давайте все трижды крикнем: «ура!»

— Но ты мне скажи, Юрате… извините, товарищ секретарь! Кто этот план составил?

Дурак этот Наглис. Вспыхнул, словно спичка, руками размахивает. В первый раз на собрании, что ли?

— Мы обсудили… в комитете… и согласовали с

директором школы…

Юрате растеряна. На носу блестят бусинки пота, на нас она не смотрит. Правда, она скоро приходит в себя и бросается в атаку:

— Может быть, эти вопросы потеряли актуальность, товарищи?

Оторопев, все пялятся на Юрате. Впервые мы видим ее такой воинственной.

— Может быть, хоть один из этих вопросов политически неверен, товарищи?

Ко мне возвращается сложенный листок, и я быстро вписываю там, где поставил «5». *«Не разрешай нападать на себя, и сам переходи в наступление, руководствуясь одной мыслью: ты выполняешь указания вышестоящих и непогрешимых».* И начинаю читать испещренные разными почерками странички.

«О чем я думаю? А ни о чем. Абсолютно ни о чем. Славно не думать ни о чем…

Голова»

«Бабушка как-то рассказывала, что Христос вошел в храм и нашел там торгашей, ну, по-нашему, барахолку. Взял палку и разогнал всех. Вот бы мне сейчас палку!

Христос Второй»

«Кишки скрутило. Не знаю, хватит ли сил дождаться конца собрания.

Мученик»

«Хорошо, что есть кому прижать учителей, чтоб они не ставили двоек, а если уж поставили, то чтоб не поленились исправить.

Отстающий»

«Почему мы вечно придуриваемся и смеемся над всем и вся? Над учителями, над приятелями, над Юрате… Не пора ли приглядеться к себе?

Задумавшийся»

«Вспоминаю, как мы вступали в комсомол. Целым классом заполнили анкеты, вызубрили по фразе-другой из Устава. Нас поздравляли, перед нами выступали, призывали другие классы последовать нашему примеру, учиться у нас коллективной сознательности. Октябрята сунули каждому из нас по цветочку и глядели на нас, как на героев. А возвращаясь домой, мы забрались в темную подворотню и выдули три бутылки вина — «обмыли это дело», а потом подрались. Классная руководительница замяла наш подвиг, дальше класса не пошло.

Не очень-то весело, как подумаешь.

Один из нас»

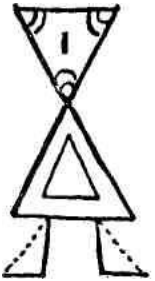
Наглис писал, наверно. Его почерк; ну, конечно, он. Между прочим, он неохотно присоединился к нашей газетке. «Зачем эти глупости, мужики? Детская забава». Забава-то, оно, конечно, забава, но интересная. Писать все, что думаешь, говорить всю правду до конца. И смеяться, хохотать во всю глотку. «А какой в том смысл?» — спросил Наглис. Он всюду ищет смысл. «Чтоб очистить душу», — ответил я. Наглис подумал и согласился:

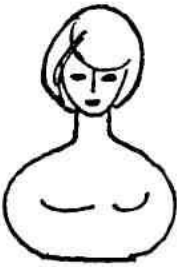
«И правда, иногда скапливается много всякой гадости».

— Товарищи! Второй вопрос повестки дня — текущие дела. — Юрате читает вопрос по записке. Она уже устала и начинает спешить. — В последние дни, товарищи, на страницах классного журнала появилось немало неудовлетворительных отметок. Хотя сейчас лишь начало учебного года…

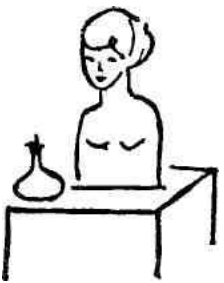
Боже мой, с ума можно сойти, когда девчонка из твоего же класса, которая на письменной по алгебре с мольбой поглядывает на мальчишек, чтобы те прислали шпаргалку, садится к ним же на шею и воспитывает так, что сама директриса позавидовала бы. Вот где был зарыт талант общественницы!

Все, стиснув зубы, слушают, а я открываю последнюю страничку газетки. Вот это да, ребятки, о-го-го!





Факт, это наша математичка Теорема и химичка Колба.



«На высокой крутой трибуне вспыхнул комсомольский огонек...»

Юрате, точно она! Ой, гори, огонек...

— Вопросы будут, товарищи?

— Все ясно.

— Закругляйся.

— Повестка дня исчерпана, товарищи, так что собрание комсомольской организации считаю закрытым.

— Минутку, товарищи! — Рута, читавшая у меня из-за плеча «Арберон», хлопает в ладоши. — Забыли отправить благодарственное послание нашей химичке!..

— В газетку!

— Пиши, Арунас.

Рута диктует, я пишу:

«Ваша болезнь спасла нас не только от тяжкого часа после уроков, но и от все новых и новых двоек. Хворайте себе на здоровье и на счастье нам!

Химики 10-го «а».

До звонка еще пятнадцать минут. Все столпились у моей парты, выхватывают из рук газетку. Читают. Ржут, как лошади. Юрате сидит за столом одна; усталая, но довольная — провела-таки собрание!

На улице ждал Бенас.

— Привет, старик.

— Привет.

Бенас идет грузным шагом. Рыжая кожаная

куртка нараспашку, кончики пальцев засунуты в карманы обтягивающих штанов. Футболит пачку из-под сигарет. Ботиночки черные, в белых квадратиках. Смотришь, и зависть берет. Мне отец в жизни таких не купит. Сколько я клянчил, пока разрешил чуть-чуть расклешить брюки. Да и то потом целую неделю бурчал. А увидел бы меня в таких штанах, как у Бенаса, — с красными лампасами, золотыми цепочками — живьем бы слопал. Папаша у меня отсталый, все мерит своей допотопной меркой.

— Не на работе?

— Сегодня в ночную.

Бенас вынимает сигареты, угощает. Я не беру. Курю я редко — никакого в этом не нахожу удовольствия.

— В школе что? — наконец спрашивает Бенас.

— Все то же. Комсомольское собрание.

— Накачали?

— Есть новый «Арберон».

— Покажи. Это — по мне, старик.

Достаю учебники, тетради. Нету. Куда же он мог деться? Снова роюсь в сумке. Нет и все. Как сейчас помню, на перемене положил в сумку. Потом была физкультура, а после нее — домой…

— Наверно, взял кто. Может, Наглис. Ну, ко-

нечно, он, — говорю я, и сам не верю. Не бывает, чтоб без спросу рылись в сумке. Где же все-таки «Арберон»?..

— В другой раз покажешь. Найдется, — успокаивает меня Бенас и спрашивает: — Может, освежимся?

— Да не стоит.

— Полезно для здоровья.

Бенас уже стоит в очереди за арбузами. Позванивает копейками на ладони. Ему-то что… Работает, два раза в месяц получка. Денег — куры не клюют. А должен был сидеть со мной в одном классе, хоть он и на два года старше. Были бы на равных, а теперь — вольная птица, самостоятельный человек; никто ему не скажет: «Я тебя кормлю, а ты…» или «Ты — ученик и обязан…»

Бенас вручает мне увесистый ломоть арбуза. Стоим у магазина, вгрызаясь в сочную мякоть, и смотрим на витрину. Стиральная машина «Тула», финские лыжи, мотоцикл…

— Хорош.

— «ИЖ»? Ничего не скажешь.

Бенас чавкает, выплевывает семечки. С пальцев капает сок.

— Хорошо бы деньгу зашибить. Приобрел бы.

— Тебе что…

— Не так-то просто…

Бенас сердито отворачивается от витрины и с силой переламывает корку.

— Знаешь, старик, все! — вдруг говорит он. Голос у него какой-то необычный, вроде с надрывом.

— Что все?

— Кончено!

— Не понял.

Вытерев мокрые руки о штаны, Бенас приглаживает гривку, прикрывающую прыщавый лоб.

— Когда вчера мы встретились с Броне и ты ушел, а я с ней пошел… — Бенас хотел рассказать все по порядку, но, замахнувшись на слишком длинную фразу, запутался и теперь с досадой машет рукой: — Короче, прошвырнулись маленько. Я ее под ручку и к речке… Темнота, тишина, вот я и попробовал ее… Большое дело, все они одинаковые. А она… Представляешь, старик, — хрясть меня в рыло, я и облизнуться не успел! И ходу.

— Заливаешь…

Не верится, чтоб Бенаса, парня с железной хваткой, могла ударить такая щуплая девчоночка…

— Конечно, я бы ее догнал! Да знаешь, все так вдруг… И я… Ну не знаю… черт знает!..

— Да уж, обхохочешься…

Я представил себе, как Бенас дергает пунцовой щекой и облизывается, будто кот.

— Обхохочешься, да? — Бенас зло смотрит на меня. — Нет, она так дешево не отделается!

— Опять к ней полезешь?

— Там видно будет. Ни одна девка еще меня… А она, эта Броне… для меня не так просто… Не могу я на нее начхать… Может, в кафешку зайдем? Пива пропустим, — Бенас останавливается, берет меня за локоть.

— Домой надо.

— Кто ждет?

— Никто.

— Не хочешь — как хочешь. Я-то зайду. Дай пять.

Он подмигивает мне и встряхивает головой, словно говоря: «А все-таки будет по-моему».

— Если ты ей не нравишься, Бенас, и она тебя отставила, то стоит ли…

Присвистнув и прищелкнув пальцами, Бенас говорит:

— Ариведерчи, старик!

Легко взбегает по ступенькам, швыряет сигарету и исчезает в открытой двери кафе.

У дома я опять вспоминаю про «Арберон».

ВТОРНИК

Не знаю, как другие, но я иногда пускаюсь в воспоминания и долгие раздумья. Сам понимаю, в моем возрасте это ненормально, но надеюсь, еще не пришел час, когда пора обращаться к психиатру. Вот и сейчас мог бы сидеть на футболе («Жальгирис» играет с «Торпедо», наши опять продуют, подумать противно) или хоть убивать время с ребятами, а сижу будто пенсионер, погрузившись в былое.

Передо мной раскрыта «История». Заданы четыре странички. США… экономический кризис, политика правительства Рузвельта и прочая тягомотина… Как-то Наглис спросил у исторички: «А есть такая… история древней Литвы?» — «В седьмом классе проходили». — «Да вроде не помню». — «У нас было несколько уроков по истории Литвы», — «И все?» Училка аж побагровела и набросилась на него: «В чем дело? Как это надо понимать? Мы учимся по программе, утвержденной Министерством просвещения, и я попросила бы без провокационных вопросов!..»

Интересно, в каком году основан Вильнюс?

И задачку по тригонометрии не решил…

По физике тоже…

Сижу дурак дураком и пялюсь на окна общежития. Лень стало учиться? Не знаю, как это назвать, просто чувствую, что с каждым годом все трудней взять в руки учебник. «Что вы себе думаете?» — так и слышу я голос Жирафы, то есть нашей классной руководительницы. Конечно, с литературой-то у нас все в порядке — объясняет Жирафа так, что гляди, как бы муха тебе в рот не залетела. Зато на истории или физике видим сладкие сны. «Двойки, тройки… Не дотянете до аттестата, и прощай вуз», — говорит Жирафа.

«Тоже мне напугала», — шепчет кто-то.

Кто-то зевает.

А ведь было время, когда я чесал на одних пятерках. Не один я — много таких. Ангелочками были, образцовыми пионерами. Значок — три язычка пламени, галстук, стихи и клятвы. Я — председатель совета отряда. Прочувственно ругаю тех, кто не слушается учителей, хватает двойки. Каждый раз склоняю Бенаса. Ах, этот ужасный Бенас! Второгодник. Тяжелое наследие. Навязали нам на шею! Классная руководительница говорит: у вас дружный коллектив, вы должны на него повлиять. Есть, повлияем! Наваливаемся на него сообща: «Как ты можешь!.. Как ты не по-

нимаешь!.. Как тебе не стыдно!..» Бенас слушает и молчит. И знай хлопает своими телячьими глазами. Я замолкаю — вроде все. «Пускай дает обещание», — шепчет мне Жирафа. «Пообещай с этого дня учиться только на «хорошо» и «отлично». «Хотя бы без двоек», — поправляет меня Жирафа. «Обещаю». — «Обещай слушаться учителей». — «Обещаю». Бенас обещает с легкостью, ему даже нравится обещать.

А наутро Бенас не пришел в школу. Когда он явился, Жирафа на уроке спросила у него:

— Почему вчера тебя не было?

Бенас сидел, что-то выводил пальцем на парте.

— Может, соизволишь встать, Бенас?

Бенас вставал медленно, как медведь из берлоги.

— Почему пропустил уроки?

— А просто так, — протянул он.

— Мать знает?

— Нет.

— Придется ей сообщить. На перемене позвоню на работу.

— Валяйте, — согласился Бенас. Он криво улыбался, как бы говоря: «И надоели же вы мне!» Наверное, классная поняла это, потому что жилы на ее длинной шее натянулись, как струны кон-

трабаса — тронь пальцем, и загудят.

— Думаешь, ей будет приятно, если я поговорю с ее начальником? И напишу письмо в исполком.

— Пожалуйста, — вежливо согласился Бенас.

Тогда во мне процветал гнусный буржуазный пережиток — стремление во всем быть первым. Никакой тебе скромности. На седьмом небе себя чувствовал, когда учителя хвалили, а Жирафа читала классу мое сочинение — самое лучшее. Виду не подавал, а все равно таял, как «эскимо» во рту. Не бойся я насмешек, каждый день таскал бы до ее дома тяжелую Жирафину сумку. Чтоб только она похвалила, чтоб сказала на прощание «спасибо». Да уж, какими болезнями не переболеешь в детстве… Помнится, как-то задержался в школе — мы убирали литературный кабинет. Оделся и торчу в вестибюле. Будто держат меня за хлястик пальто. Появилась Жирафа, и я тут же присоседился к ней — нам было по дороге.

— Ты бы хотел стать учителем, Арунас? — спросила она.

— Я буду учителем! — отчеканил я, как на линейке.

Она пристально взглянула на меня. Почувствовала, что кривлю душой?.. Я тоже красный стал, как вареный рак.

— Учителю нелегко. Очень нелегко, Арунас.

Она взяла другой рукой свою сумку. Большая сумка, в ней видны наши тетради, две бутылки молока и батон за двенадцать копеек.

— С Бенасом так трудно… С ног собьешься, пока найдешь мать. А ей-то наплевать, что сын не учится. Мол, лучше пусть дома сидит. И на работу к ней ходила… Говорят, обсуждали мы ее, что еще можем сделать. И в исполком писала, в комиссию по делам несовершеннолетних. Отвечают: был бы он злостным хулиганом, тогда дело другое…

Жирафа говорила негромко, приглушенным голосом, и я пожалел ее. Такая несчастная, такая затурканная… Я не знал, что ей сказать, а она все рассказывала — сколько раз и куда ходила, сколько раз и куда писала. И не только по поводу Бенаса. Бенас просто самый отъявленный. Если б не он, может, и другие бы исправились… Потом она попрощалась, свернула в узкий переулок. Я проводил ее взглядом — долговязую, в черном пальто (в другом ее никто не видел), в стоптанных туфлях (от этой вечной беготни), едва волочащую ноги (от усталости, что ли?).

Я не преувеличиваю — в эту минуту я клялся ей помогать.

Примерно через неделю Бенас пропал из школы

на целых два дня. А на третий первым был урок Жирафы. Окна занавешены, и на белом экране мелькают холмистые окрестности Биётай… Словно огромный гриб появляется баублис… И столетняя старуха… ее тихий скрипучий голосок, как бы идущий из глубины веков — о крепостном праве, о горе и слезах людских. Мы молчим, забыв все на свете. Жирафа, как добрая колдунья, водит нас дорогами прошлого, и перед нашими глазами появляется фигура Дионизаса Пошки[1] — угловатая и мощная, как искореженный бурями дуб…

Учительница замолкла посреди фразы, и только теперь мы разглядели у двери Бенаса. Он зыркнул исподлобья на Жирафу, на класс и лениво потопал к своей парте. Сел. Затаив дыхание мы смотрели на учительницу. Она молчала, только ее руки беспокойно шарили по столу, будто искали чего-то… хотели что-то найти, но, так ничего и не найдя, бессильно повисли. Я подумал тогда: какие длинные у нее руки… Очень уж длинные, наверно, оттого, что она таскает эту свою тяжелую сумку с нашими тетрадями, молоком и булками.

---

[1] Примечания: 1

Дионизас Пошка (1757—1830) — литовский писатель и этнограф, основавший краеведческий музей в «баублисах» — домиках, сделанных из стволов исполинских дубов.

На перемене во дворе я схватил Бенаса за рукав.

— Чего тебе?

— Послушай, Бенас, почему ты так?..

Бенас огляделся и глупо ухмыльнулся.

— А чего?

— Не приходишь… Опоздал… Не учишься… Жирафу… — лепетал я, словно жевал горячую картофелину.

— Подлиза… Смотри, сейчас сопля на красный галстук капнет!

Бенас, сунув руки в карманы штанов, навис надо мной, но я в этот миг так двинул его кулаком в подбородок, что он сделал шаг назад и грохнулся наземь. Я насмерть перепугался. Боже мой, подумал, я же убил Бенаса!.. В лучшем случае — челюсть ему вывихнул. Но Бенас уже вскочил и уставился на меня, словно все еще не веря, что я поднял на него руку. Грозно двинулся на меня, я попятился, но тут подскочила дежурная училка, истошно завопила, вцепилась мне в плечо:

— Хулиган!.. Марш к директору!

Потащила, поставила у стены. И меня, и Бенаса.

— За что вы его ударили? — спросила меня директриса. Она всегда обращается к ученикам

на «вы».

Что я мог ответить?

— За что он вас ударил? — спросила директриса у Бенаса.

Бенас пожал плечами, украдкой покосился на меня.

— Да не знаю… Я-то — ничего.

В кабинет вошла Жирафа. Дежурная училка, видно, уже успела доложить.

Директриса поднялась из-за стола и гневно взглянула на Жирафу.

— Полюбуйтесь, уважаемая. Вот он!.. Ваш любимчик.

Жирафа поглядела на меня и только головой покачала.

Директриса разводила руками, стучала костяшками пальцев по столу, наконец села и сказала:

— Извинитесь.

Это она говорила мне.

Я молчал.

— Извинись перед товарищем, — попросила и Жирафа.

В эту минуту я мог сделать все, с чем угодно согласиться. Но извиниться перед Бенасом?! Директриса бацнула ладонью по столу.

— Мы будем вынуждены обсудить на педсове-

те ваш балл по поведению, — сказала она (про меня-то!).

Я стиснул зубы, опустил голову. Бенас стоял рядом и молчал, но мне казалось, что он потешается надо мной: «Бегал, высунув язык, старался… Хотел быть паинькой, живым примером… Лопух ты, лопух». И, пожалуй, хуже всего было, что я ни чуточки не злился на него.

На третьем этаже сидит на подоконнике парень и наигрывает на аккордеоне. Рядом стоят, обнявшись, две девушки и поют чего-то про ромашку. Выводят тоненькими голосами, стараются перекричать друг дружку — уверены, наверно, что «получается почти как по радио».

У другого окна бреется молоденький паренек.

Правее, на втором этаже, трое пьют водку. Длинноволосый тип в рубашке с оторванным рукавом бухает кулаком по столу и кричит: «Убью!.. Зарежу гада!» Дружки увещевают его и уговаривают сходить… в уборную.

Окна открыты, в створках отражается заходящее солнце.

За каждым окном своя жизнь.

Вот девушка задрала на голову платье и никак не может снять. Вот парень обнял толстушку и медленно, но верно продвигается к койке…

Зачем я на это смотрю? Нехорошо пялиться на чужие окна, это признак дурного воспитания. Но есть же у меня право смотреть из своего окна; а если перед глазами не то, что надо, я тут ни при чем!..

«Лопух ты, Арунас».

Лопух…

Хожу по комнате из угла в угол. Комната — не улица, в этой конуре не разгуляешься. Снова застываю у окна.

Девушка перед маленьким зеркальцем расчесывает длинные волосы…

Лопух!

Растягиваюсь на диване, укладываю под голову жесткий учебник истории и смотрю в потолок.

«Лопух ты, Арунас».

За этот тычок Бенас не обиделся. Поначалу я думал — прикидывается, ждал, что исподтишка смажет по физиономии. Хуже всего такое ожидание. Но Бенас первым подходил ко мне, заговаривал, просил дать алгебру списать. Как будто ничего не случилось. В остальном Бенас не изменился — то сидит в классе, а то его нет, то выучил кое-как, а то и не заглянул в учебник. В первом триместре пять двоек, во втором — четыре. И на классных собраниях, и на сборах нашего

отряда я про него не говорю ни слова. Человек он конченый, думаю, пускай живет, как знает. Но почему учитель ставит троечку, если вытянет из него хоть словечко? И за диктант выводят тройку, хоть на страничке девять ошибок.

Однажды (дело было уже весной) Бенас догнал меня. Идем себе рядышком, как закадычные приятели. Он меня выше, плечи широченные, взрослый парень.

— К речке пошли, что ли… — вяло предложил он.

Я испугался, но кивнул.

В Нерис еще не спала вода, и река казалась непривычно широкой. Летом пара пустяков ее переплыть, но если б пришлось сейчас… Бенас взял камень, подкинул на ладони и швырнул в воду. Потом вынул из кармана потертый конверт и протянул мне.

— Хочешь?

Я оцепенел.

— Почтовые марки. Ты же собираешь.

— А ты?

— Бросил это дело. Раздал, что было. Это последние.

Это были старые марки Англии и Германии, довольно редкие.

— А что я тебе?..

Бенас презрительно отмахнулся:

— Ты что, маленький?

У меня, наверное, был глупый вид, когда я прикидывал: брать или не брать. А потом стал и вовсе круглым идиотом, когда, сунув конверт с марками в карман, вызвался:

— Я помогу тебе уроки готовить, хорошо?

Бенас посмотрел на меня и как захохочет. Аж за бока схватился от смеха.

— И когда ты уму-разуму наберешься? — Бенас смеялся от души, до слез. — Сдалась мне твоя помощь…

Потом успокоился, снова запустил в реку камешек и сказал:

— Если хочешь знать, в седьмом классе на третий год я не останусь. Это уж как пить дать. Есть похуже меня ученики. Не так-то просто оставить человека на второй год. Вот увидишь, вытянут — и без твоей тимуровской помощи. А если еще хочешь знать, мне даже нравится, когда учителя на брюхе ползают: «Бенас… Ну, пожалуйста, Бенас…» Ха-ха! Красота?

Я стоял в растерянности, пришибленный словами Бенаса. В них было много правды. Мучительной правды. Но согласиться с ним я не

посмел.

Бенас оказался прав — учителя понаставили троек и вытащили за уши его в восьмой класс. А он ходил себе гордый, руки в брюки, и улыбался с хитрецой.

...Телефонный звонок ударил меня словно током и поднял на ноги.

— Алло! — проскрипел я в трубку — видно, глотка пересохла от долгого молчания. Откашлявшись, повторил: — Слушаю.

В трубке кто-то тоже прочищает горло.

— Могу ли я попросить товарища Гульбинаса?

Нужно ли изобретать видеотелефон? Я же и так вижу — очень даже хорошо вижу, как на другом конце провода, сжимает костлявой рукой трубку Жирафа. Однако зачем ей понадобился... товарищ Гульбинас? И почему она не говорит со мной? Можно подумать, что, кроме меня и отца, здесь еще кто-то живет, и она боится обознаться...

Неужто из-за газетки? «Арберон» ведь пропал, никто сегодня не мог ничего сказать...

— Товарища Гульбинаса, пожалуйста...

Жирафе показалось, что я слишком долго молчу. Пожалуй, все-таки хорошо, что это не видеотелефон и она меня не видит. Пускай будет по-жирафиному — мы с ней незнакомы.

— Товарищ Гульбинас на встрече с пионерами.
— Когда, примерно, он вернется?
— Он не говорил.
— Простите…

Положила трубку. Я рассмеялся. Видно, историчка наябедничала из-за анкеты. А ведь буквы выводил вкривь и вкось, вроде сменил почерк. Всем нам осточертели эти анкеты. За этот месяц уже на третью отвечали. Вопросы — глупей некуда. «Что тебе помогло порвать с религиозными предрассудками?» А если я не был ими заражен? «Какие праздники отмечаешь дома?» Все, даже цыганские. Альгис хвастался, что написал: «Больше всего жду сочельник, потому что дают вкусно пошамать». «Как ты докажешь, что бога нет?» Я накорябал ответ: «Не люблю объяснять то, что даже ребенку ясно». Заливали без зазрения совести — фамилию-то писать не надо. Говорят, другие классы тоже валяли дурака, — на перемене мы все хохотали. Вообразите такую картину: сидят почтенные педагоги, раскладывают листочки и с постными рожами делают выводы о нашем мировоззрении, наверно, даже проценты вычисляют. Конечно, если б приказали подписаться, все дружно сочинили бы ответы на высшем уровне: порвать с религиозными

предрассудками помогли пионерская и комсомольская организации… еще химия и история… отмечаем Восьмое марта на Первое мая… Тоже заливали бы, конечно, зато процент нашей сознательности выглядел бы иным, и учителям не пришлось бы хмурить брови.

Неужто Жирафа волнуется из-за анкеты? Правда, один раз мы уже дали маху. В прошлом году заявилась к нам в школу какая-то министерская роза, увядшая старая дева. Пришла и на урок Жирафы — та, конечно, нервничала и порола несусветную чушь. А в конце урока дева вежливо выдворила Жирафу из класса и велела нам ответить на листочках в письменном виде на несколько вопросов. Попросила писать начистоту, от души — мол, наши фамилии ей ни к чему, да и листочки эти будет читать только она одна. Итак: «Видела ли классная руководительница твое рабочее место дома? Какое классное собрание за этот триместр оставило у тебя наилучшее впечатление?» и тэ дэ и тэ пэ. Нет, не такие мы были дурачки, чтоб не понять, под кого копает эта увядшая министерская роза. Каждый, кто имел на Жирафу зуб, вспомнил все до мельчайших подробностей. Ну, погоди у меня! «Не видела… Не понравилось… Не…» — ответили многие, а потом

хихикали, ржали. Дня через два пришла Жирафа, грустно оглядела класс и отвернулась к окну. Поначалу мы галдели, а потом как-то притихли. Такая тишина воцарилась, что мы услышали, как глубоко вздохнула Жирафа. Ее плечи задергались, как у зашедшегося в плаче ребенка.

— Я знала, что вы ленитесь, — наконец заговорила она. — Хоть, бывает, и стараетесь. Знала, что любите пошалить, не слушаетесь… Знала… Но что у вас совести нет…

Жирафа сказала, что откажется от нашего класса, но этой осенью пришла снова. «Мы как-то сжились», — сказала она первого сентября.

Но почему она сейчас звонила моему отцу?

Солнце село, окна общежития погасли. Только девушки, облокотившись на подоконник, тупо смотрят на улицу — чего-то ждут, кого-то ищут взглядом.

Я открываю учебник. После первой мировой войны США становятся…

«Твой отец — специалист по истории, а ты… — пожимает плечами наша историчка и добавляет: — Как тебе не стыдно…»

Что ж, наверно, стыдно. Отец — преподаватель истории, в книжном шкафу у него — толстенные фолианты. Отец не только их прочел — он вооб-

ще все знает. «История — наука наук», — любит повторять он. «Мы боролись… Мы создавали историю», — говорил он как-то в просторном зале. Я собственными ушами слышал — мы с мамой пошли послушать.

Что отец партизанил, я знаю, можно сказать, с младенчества. Так часто я просил его рассказать о тех временах, о партизанах, о землянке. Наизусть знал каждое слово: что немцы угнали его рыть окопы, когда подходил фронт, что людей там было много, а немцев всего лишь двое, что однажды ночью пришли партизаны, убрали часовых и сказали: «Валяйте домой, а кто хочет — пошли с нами». Отец побоялся вернуться домой. Найдут ведь, расстреляют. Он ушел в лес.

— Думал, может, дольше протяну, — рассказывал он.

— И у тебя была винтовка?

— Выдали. Стрелять не умел, показали.

— А много ты немцев убил?

— Ни одного.

Мне так хотелось, чтобы он ответил: «Десять уничтожил… двадцать…»

— А почему?

— Я не успел. Подошел фронт, меня ранило. Вот сюда, в бок, осколком бомбы… Полгода провалял-

ся в госпитале. И все время думал: «Вот пошел бы тогда домой, может, и не ранило бы». Да как знать…

Я учился в пятом классе, кажется, когда отец однажды привел человека одних с ним лет, разговорчивого и живого.

— Столько лет не виделись!.. И вдруг, нечаянно… Еле-еле узнал, — говорил человек, которого отец величал товарищем Лаймонасом. — Эх, мало кто остался из нашего отряда!.. Кстати, ты, наверно, и не знаешь о нашей последней стычке?

Отец краем уха слышал, но не все, конечно, — когда его ранило, партизаны оставили его у крестьянина.

— А мы в тот же день напоролись на засаду. Видно, кто-то предал. И тут как начнется, как начнется! Стреляли, стиснув зубы, стояли насмерть. Командир отряда погиб. Помнишь, конечно, Дарюса?

Рассказывая, товарищ Лаймонас сжимал кулаки, и его руки, казалось, вздрагивали в такт очередям автомата. А я ловил каждое слово и воочию видел командира — восемнадцатилетнего Дарюса, тихого, задумчивого паренька, иногда — в походе или на привале — читающего стихи о голубом небе да цветке ромашки. И о

ней, любящей и ждущей. Он сам сочинял эти стихи, но почему-то не записывал. Как-то ребята сказали: «Ты бы про фашистов сложил…» Дарюс усмехнулся: «Про фашистов стихи я пишу вот этим», — и похлопал ладонью по автомату, как хорошего друга по плечу.

Дарюсу шел шестнадцатый, когда он оказался в отряде. В гимназии выяснили, что он был комсомольцем. Арестовали, допрашивали. «Назови товарищей, или…» Белоповязочник вставляет в пистолет патроны, один роняет на пол. Дарюс поднимает патрон, подает ему. И молчит, как земля. «Назови, или…» Дарюс молчит. Белоповязочники избивают его, месят ногами, волокут обратно в камеру. Потом, когда его вели за город (это уже был конец), Дарюс нырнул под медленно едущий товарняк и сбежал.

— Нет, и сейчас мне кажется, что он здесь, где-то рядом… говорит, улыбается… — товарищ Лаймонас страдальчески зажмурился, словно отгоняя мысль, что Дарюса все-таки нет.

Как же он погиб? Они отступали, трое партизан погибло. Немцы брали их в кольцо, прямо на пятки наступали. И тогда упал Дарюс. Они бросились на выручку, но Дарюс сказал: «Отходите, я прикрою. Это мой приказ! Выполняйте!»

— Дарюс не давал немцам поднять головы, а мы уходили, стиснув зубы. Минут через пять услышали, как разорвалась граната.

Товарищ Лаймонас замолк. Отец двигал по столу онемевшими пальцами рюмку, тупо глядя перед собой. И они выпили за боевых друзей. Потом еще по одной — за партизанские дни.

На большом листе я нарисовал Дарюса с гранатой. И немцев, которые бросаются на него. Дарюс подорвался? А может, он швырнул эту гранату в немцев, и они…

Отец с товарищем Лаймонасом выпили за встречу.

— Трудное было время, но дали мы немцам прикурить.

— Дали, — повторял отец.

— Боялись они нас, как черт ладана.

— Боялись…

— И сейчас нельзя об этом забывать. И молчать не надо. Молодежь ведь иногда не понимает…

— Не понимает…

Потом, примерно через полгода, отец сказал, что его приглашают на встречу. Придут товарищ Лаймонас и два партизана из другого отряда. И он расскажет…

— О чем же ты расскажешь? — спросила мама.

Отец смутился, казалось, он был недоволен.

— Это не просто, конечно. Придется подумать.

И он думал. Сидел, запершись в накуренной комнате, слонялся из угла в угол, что-то писал на маленьких листочках. Когда я как-то вечером открыл дверь, он бросил:

— Не мешай.

Я попросил, чтоб он взял и меня с собой — очень уж хотелось послушать его. Но отец только руками замахал. Я пристал к маме — давай пойдем, а? Честно, ведь не было в моем детстве более прекрасных минут, чем те, когда мама вдруг превращалась в ребенка. Такого, как я, правда!.. Мы хохотали над любой чепухой, переворачивали квартиру вверх дном, боролись на ковре, дрались, даже плакали… А то уходили в сосновый лес, бегали наперегонки, стреляли из деревянных пистолетов, смотрели, как белки скачут с ветки на ветку, швыряли друг в друга шишками. Она превращалась в бойкую девчонку, не знающую слов: «Это нехорошо… не дурачься… так нельзя…» Вот и в тот раз она посмотрела на меня и заговорщически подмигнула:

— Как только папа уйдет, мы — за ним. По горячим следам. Тихонечко, чтоб он не видел и не слышал…

В зал мы вошли крадучись и сели в последнем ряду.

Вначале выступал товарищ Лаймонас. На пиджаке у него поблескивали орден и три медали. Он сказал, что на счету их партизанского отряда — восемь спущенных под откос вражеских эшелонов, три взорванных оружейных склада, много уничтоженных немцев и полицейских.

— А сейчас мы послушаем воспоминания бывшего партизана и скромного человека товарища Гульбинаса! — сказал он напоследок.

Отец поднялся на трибуну — высокий и прямой, как трость. Достал из кармана свои листочки, заглянул в них и снова спрятал.

— Как здесь уже говорили, это, конечно… отряд сделал немало… И я лично… Не хвастаясь скажу… — Отец запнулся и снова полез в карман за своими листочками, уцепился за них, как тонущий за соломинку.

Мама опустила голову и уставилась в пол.

— В партизанский отряд я попал не случайно. Это явилось итогом моих длительных раздумий. Но ведь жить в те годы значило — бороться, и я…

Мама съежилась и еще ниже опустила голову. Боится, что отец увидит? А я вот и не думал прятаться, я даже хотел, чтоб отец меня заметил. Но

он читал свои листочки, как газету:

— Вы уже слышали, что наш отряд подрывал вражеские эшелоны. Это опасное дело… По-пластунски подползаешь к рельсам, закладываешь мину. По насыпи ходит немецкий часовой, а ты ждешь. Вот загудел паровоз, состав все ближе…

Я слушал, вытянув шею и разинув рот. Где-то я уже читал про эти подвиги, но все-таки…

Товарищ Лаймонас облокотился на стол, зажав голову в больших ладонях.

— Мама, а почему папа раньше об этом не рассказывал?

— Помолчи, — сказала мама.

По дороге домой мама уже не казалась мне бойкой девчонкой.

Отец стал чаще ходить на такие встречи. Приглашали, а он не умел отказываться, — во всяком случае, так он объяснял. Я больше не ходил слушать его рассказы, но мне почему-то казалось, что он всякий раз «дополняет новыми фактами» свои воспоминания.

— Послушай, почему ты рассказываешь небылицы? — однажды спросила мама. Говорила она тихо, видно, не хотела, чтоб я услышал.

— Какие еще небылицы? О чем ты говоришь! — возмутился отец. — Скажешь, партизаны не

пускали эшелоны под откос? Скажешь, не сражались? Я говорю про наш отряд. Молодежь должна знать, какой ценой куплена жизнь.

— Ты делаешь из себя героя.

— Ну, знаешь… знаешь… Вот не думал!..

Отец, видно, верил во все, что рассказывал. Наверное, внушил себе. Если можно внушить себе болезнь, то почему нельзя сказать себе — ты герой! — и в это поверить? Честно! Говорят, писатели верят в то, что выдумывают. Когда Бальзак заболел, он попросил вызвать доктора Бьяншона, которого выдумал сам. А Симонайтите говорит: «Раз мне так написалось, видно, так и было на самом деле». Кто запретит моему отцу верить в то, что он говорит? Голову даю на отсечение — уйдя на пенсию, мой отец напишет целую книгу воспоминаний и заложит краеугольный камень истории… Боюсь только, как бы не встали из могил те, кто не знал обкатанных слов о бесстрашии, мужестве и отваге. Те, кто погиб молча, так и не сказав: «Да здравствует!..»

Отец бесшумно открывает дверь, щелкает выключателем.

Я дочитываю последнюю главку истории и ни черта не помню. Склероз, что ли?

Слышу, как отец вешает плащ, снимает баш-

маки.

Завтра меня наверняка вызовут к доске. Кажется, у меня единственного в классе двойка по истории. Прочитать еще раз?

Отец входит в комнату, в руке у него — букет астр.

— Занимаешься, — говорит он и устало, дружески улыбается. — Поставь-ка в воду.

Я наливаю воды в литровую банку, ставлю цветы на столик.

Отец сбросил пиджак, развалился в кресле, вытянув ноги, тяжело дышит.

— Почему не в вазу?

— Нету. Разбилась.

— Правда. Придется купить. Некрасиво.

Он чуть навеселе — видно, угостили после встречи. Он все чаще возвращается домой тепленький, и мне тяжело на него тогда смотреть.

— Поднялся по лестнице и устал. Вот тут болит. — Он трет рукой грудь. — Как ножом режет. Что бы здесь могло болеть?..

Грудь под несвежей рубашкой вздымается часто. Почему он не надел новую? Хотя чистых нет. В прачечной, а то и дома, никто не отнес…

— А дети хорошие… — отец улыбается. — Какие они хорошие… дети.

Я захлопываю учебник. Снова открываю, нахожу политику правительства Рузвельта.

— Что ты им рассказывал?

Отец продолжает улыбаться.

— Tabula rasa… Все можно написать на этих табличках. Они чисты, еще не запачканы, и можно написать…

У меня вспотели ладони. Я стою перед отцом и наверняка выгляжу последним идиотом.

— Что же ты им рассказал?

Отец молчит, трет рукой грудь.

— Что ты написал… на этих табличках?

Отец прижимается затылком к спинке кресла и закрывает глаза.

«Что же ты написал?..» — повторяю я про себя.

СРЕДА

А Колба пришла-таки. Шея обмотана шарфом, сипит, как гусыня. Злющая.

— Перечисли способы получения кальция.

Черта ей расскажешь, если не успел на перемене почитать. Мекаю что-то. Плаваю. И все поглядываю на класс — авось кто-нибудь шепнет.

Входит Жирафа. Совершенно неожиданно раздаются ее торопливые шаги. Она долго шушукается о чем-то с химичкой. Наглис показывает мне на пальцах всякие знаки, корчит рожи, что-то лепечет. Кретин, не может выручить как человек. Но тут Жирафа оборачивается ко мне.

— Пойдем.

Ну и везет же! Спасен!

В пустом коридоре шаги Жирафы гремят, как выстрелы.

— Куда мне идти?

— За мной.

Голос строгий и повелительный. И шаги, как у солдата. Туфли велики, шлепают, когда она поднимается по лестнице.

Жирафа не оглядывается, и я думаю: если те-

перь отстану и дам стрекача, она даже не заметит. Представляю, какая у нее будет рожа…

У кабинета директрисы Жирафа останавливается и смотрит на меня так, словно видит впервые. Смотрит и молчит. Губы горько вздрагивают, раздается тяжелый вздох оскорбленного до глубины души человека.

Я открываю рот…

Она поднимает руку, останавливая меня.

— Нет, нет… Там скажешь.

Жирафа открывает дверь и пропускает меня в кабинет.

Директриса сидит, положив руки на стекло письменного стола, под которым рассованы разные бумажки. Как понимаю, она ждет меня.

— Как дела, Гульбинас? — спрашивает она, глядя исподлобья.

— Благодарю, товарищ директор.

Я умею быть вежливым.

— Может, присядете, Гульбинас?

— Нет, благодарю вас.

Директриса не спешит. Но не зря в ее глазах притаилась хитрая усмешечка.

— Оставьте нас, — говорит она Жирафе.

— У меня сейчас окно. — Жирафа недовольна, она даже оскорблена.

— Неважно.

Жирафа уходит, директриса звякает ключиком и выдвигает ящик стола.

— Что это?

О, черт! «Арберон». Вот он где… Но как он сюда попал?..

— Как он сюда попал? — вслух говорю я.

— Я прошу вас ответить — что это?

Угловатое, мужеподобное лицо директрисы напряглось. Она смотрит мне в глаза, и я вижу, как она силится уловить каждую мою мысль. Она, конечно, многое бы отдала, чтоб узнать, о чем я думаю.

— Что это такое?

— Два листка из тетради.

— Я еще раз спрашиваю — что это?

— Два исписанных листка.

— Чем они исписаны, эти два листка?

Ей-богу, какая она…

— Вы же читали.

— Да, я читала, Гульбинас. Я читала все. Скажите, что значит «Арберон»?

— Это название газетки.

Директриса обрадовалась, она прямо-таки сияет.

— Вот оно как. Значит, это газетка?

Нет, у меня нервы не из веревок, я не выношу, когда из мухи делают слона.

— Да, газетка!

— А что значит это название?

— Ничего. Просто такое название газетки.

— Но это слово что-нибудь значит?

— Разумеется.

— Что именно?

Откуда ей, бедной, знать, что мы давно так себя назвали! Потом забыли это слово и снова вспомнили. Тогда две наши последние парты называли «галеркой». Пакостное слово. Однажды на уроке от нечего делать я написал на книге четыре наших имени: Арунас, Бенас, Ромас, Наглис. Тупо глазел, читал с одного конца, с другого и неожиданно, взяв по две первых буквы каждого имени, прочитал: «Арберона». Отбросил букву «а», и получился «Арберон».

Новое имя всем нам сразу пришлось по вкусу. Какое-то необыкновенное, и знали о нем только мы. Конечно, мы берегли эту тайну.

— Что значит это слово?

— Это… название одной группы.

Растерявшись, директриса отшатывается и моргает, словно среди бела дня увидела привидение. Оглядевшись, вполголоса спрашивает:

— Что вы сказали?

— Так себя назвала группа учеников.

Директриса молчит, будто у нее захватило дух, и, опустив глаза, бессильно тискает руки. И я начинаю понимать, в чем тут загвоздка. Последний кретин тот, кто думает, что ученики ничего не знают об учителях. Нам известен каждый их шаг, каждый вздох. А тем более — директрисы. Нет, честно, редкостный экземпляр эта наша земная повелительница. Мы чуть не лопнули от злости, когда на прошлой неделе она подняла всю школу на ноги. Носились мы, ученики, метались одуревшие учителя. Чистили окна, мыли стены, выметали из углов пыль, драили парты. И все по секрету говорили друг другу — придет комиссия! Говорят, в те дни директриса даже ночевала у себя в кабинете. Господи, пожалеть ее надо…

— Значит… — директриса глубоко вздыхает, — значит, в вашем классе действует тайная организация?

— Она действует во всей школе.

Я ведь могу черт-те что отмочить — и с таким серьезным видом, что не поймешь, правда это или плод воображения. Глупо это, по-детски, но ведь сил нету терпеть, когда из тебя делают чуть ли не изменника Родины.

— В нашей школе анти… организация?!.

Директриса не знает, как унять дрожь в руках. Верить, не верить? Но ведь на столе лежит газетка!..

Печальным взглядом, словно прощаясь, обводит стены кабинета, вздыхает.

— Что вы натворили… что вы натворили… Можете ли вы себе представить, что будет, когда узнают?..

У нее на глазах, кажется, даже блеснули слезы. Она такая маленькая, и кажется, вот-вот бросится меня умолять… просить о чем-то… ей ведь так надо, чтобы в школе были тишь да гладь, чтоб никто ничего не подумал… Только нам, оболтусам, видно, наплевать — кто что подумает.

— Кто ваш главарь?

Я убью человека — у нее вот-вот будет инфаркт. Уже сейчас лицо как у покойника. Говорят, у умирающих синеют ногти, но у нее… нет, нет. Ее ногти цветут чешуей красного лака (наверное, сходила к маникюрше перед первым сентября).

— Кто главарь?

— Тот, кто принес газетку.

— Кто?!

— Честно, он.

— Вы знаете, кто мне принес?

— Да, знаю.

— Почему же он принес?

— Говорят, Иуда тоже с этого начал.

В жизни не видел такого лица. Так может смотреть только человек с петлей на шее, вдруг понявший, что петля ненастоящая, а так, смеха ради.

Директриса медленно встает, подходит к окну, снова возвращается за свой стол, оглядывает меня с головы до ног. К лицу приливает кровь, даже в ее глазах пляшут красные блики.

— Щенок!.. — вскрикивает она странным, ломающимся голосом. — Щенок! Вон! Убирайся!

И — замученная, усталая — шлепается на стул.

Я делаю шаг назад. Ноги налились свинцом.

«Щенок!» — все еще дрожит воздух, звенит в ушах.

«Щенок!»

— Постойте! — восклицает она, когда я открываю дверь. — Завтра приведете отца.

«Щенок!» «Щенок!»

— Вы меня слышите?

— Отец на работе.

— Когда он свободен?

— Не знаю.

— Можете сегодня. Я буду до девяти. Если нет —

завтра. Не-пре-мен-но!

— Хорошо. Всего…

— Постойте. Сейчас — в учительскую. Посидите там.

Чтоб я не вернулся в класс и не рассказал друзьям? Кого она сейчас вызовет? Того, кто приволок «Арберон»? Но кто он, этот… Кто?

В учительской у меня есть время, чтобы спокойно прикинуть — кто же о н?

Швыряю дома сумку и выхожу на улицу. Настроение такое, что коснись кто пальцем, с ходу в морду бы врезал. Весь день директриса допрашивала класс, потом собрала тетради — видно, попробует установить по почерку, кто и что писал. Но что плохого мы написали?

Я наблюдаю за всеми. Который из них? Хихикал, одобрял, может, сам пописывал, а потом цапнул и отнес. Ждал, наверно, что похвалят за бдительность… Но кто будет хвалить собаку, которая кусает своих?

И тут меня осеняет; кровь стучит в висках, я ускоряю шаг.

В спортзале школы соревнование по настольному теннису. Болельщиков пропасть. Наших чуть ли не полкласса. Сбежались потешить очи. Играют-то девочки. Эта черненькая совсем недур-

на. Из какой она школы?

— Ты за кого? — спрашивает Наглис.

— За длинноногую, эту, черную.

— А я за ту. Мне нравятся пухленькие. Вот увидишь, она выиграет.

— Какой счет?

— Девять — одиннадцать, моя ведет. Ура! Еще!

Наглис стучит каблуками, хлопает в ладоши.

— Знаешь ее? — спрашиваю.

— Познакомлюсь. И провожу домой. Не веришь? На что спорим?

— Пошел ты, знаешь куда! У черненькой уже двенадцать. Ровно!

Выиграла другая, Наглисова. Ну и чихали мы. Тьфу! Хотя черненькая — бесенок. Какая грудь!.. Тьфу — еще раз. Я же не за тем пришел!

Протискиваюсь на другой конец зала. Да, не ошибся — Юозас. Рожа как у малыша, увидевшего конфетку, глаза навыкате. Он так и льнет к девочкам. Я встаю рядом с ним. Увидев меня, Юозас ухмыляется.

— Ну, как? — подмигивает он.

— Пойдем покурим, — говорю первое, что приходит в голову.

— Когда доиграют.

— Сейчас. Хочется.

— Есть?

— Сказал.

Не верил я, что Юозас так легко клюнет.

Захожу вслед за ним в туалет и закрываю зверь.

— Только по-быстрому. Давай.

А может, смазать по вечно ухмыляющейся харе и, не говоря ни слова, уйти? Но Юозас, видно, понял мою мысль и отступает в самый конец, к окну. Бросает взгляд через плечо, словно проверяя, нельзя ли выскочить.

— Где же твои сигареты?

Я подхожу к Юозасу вплотную; у него дурно пахнет изо рта.

— В понедельник, после комсомольского собрания, на уроке физкультуры, зачем ты бегал в класс?

Вопрос длинный, но я произношу его четко, не спуская с него глаз.

— Да при чем тут… в чем дело, не понимаю…

Прикидывается. Как пить дать, прикидывается.

— Отвечай, когда спрашивают!

— Дурак ты, что ли… что ли. — Его взгляд блуждает по стене, которую летом побелили, но она уже успела превратиться в настоящий шедевр

сатиры и юмора. — Надо было… Мелочь брал, на перемене бегал в киоск за тетрадкой. Точно.

— И все?

Я кое-как сдерживаюсь. Но руки поднимаются сами.

— Все. Ну пошли, Арунас. Там играют, а мы тут… — Он уставился на «портрет» девочки, но вряд ли что-нибудь видит.

— Забыл, значит, Юозас.

— Я ничего не знаю. Точно.

— Не знаешь? Не знаешь, да?! Что в моих книгах рылся, не знаешь? Что вынул эту дурацкую газетку и потащил в зубах директрисе — тоже не знаешь?

Юозас прижимается к подоконнику и закатывает глаза.

— Или это твоя комсомольская принципиальность? Молчишь?

Видик у меня, наверно, соответственный, потому что Юозас заслонил руками лицо.

— Попробуй тронь… тронь… я закричу… я кричать буду, вот увидишь…

Я поворачиваюсь и ухожу. И не потому, что Юозас закричит. Противно слышать этот скулеж! Точь-в-точь загнанная в угол собачонка.

В спортзал не захожу. Наглис наверняка уже

«клеит» эту пухленькую, вторая пара девочек цокает ракетками, а мальчики делятся — тебе та, а мне эта.

Я сворачиваю к реке. Солнце по-летнему жаркое. Искупаться, что ли…

Бенас сидит «по-американски» — удобно откинувшись в старинном кресле, задрав ноги на стол — и, глядя в потолок, бренчит на гитаре.

Под африканским солнцем,
В тени зеленых пальм…

Тоскливая мелодия задыхается в тесной комнатушке. Изредка, как пойманная птица, ударится о темное слепое окно и, запутавшись в тяжелых плюшевых портьерах, поранившись об острый карниз печки, упадет и едва трепещет, едва дышит. Затихает. Но вот она взлетает снова, и снова наполняет комнатку птица, мечущаяся на последнем дыхании…

Ты сердце похитил,
Но песню — нет…

Бенас никогда не пел на сцене. Но голову даю на отсечение, если бы его кто-нибудь открыл — наша убогая эстрада просто засверкала бы! Честно! Я так и вижу Бенаса с микрофоном в руке, в шикар-

ном блестящем костюме. Рокочут электрогитары, а его сочный баритон, его глаза, лицо, весь он — простой парень и симпатяга — завораживают огромный зал и не дают ему передохнуть.

А потом зал так и взрывается — овации, цветы...

— К черту, Бенас! — Я вскакиваю с кучи польских журналов в углу. — Тысячу первый раз говорю: на эстраду!

Бенас скромно улыбается.

— Тебя должны услышать! О тебе должны все говорить, должны журналы писать!

— Ты бы хотел, старик, чтоб я сделался паяцем?

— Певцом! Звездой!

— Звезды тоже гаснут.

— Даже угасшие звезды светят долго.

— Мура. Не хочу.

— Ты кретин, Бенас!

Пальцы Бенаса пробегают по струнам гитары, и раздается песня о голубой сосне, которую вырвала буря. Я люблю эту песню, потому что сочинил ее сам Бенас. Когда услышал впервые, не поверил, думал — брешет. Но теперь знаю — Бенас может!

Много стран, много стран

Вижу я по ночам, —
Я во сне этот мир покидаю…
А проснувшись, ищу,
Тебя видеть хочу,
Где же ты, о моя голубая?..

Я сажусь на подлокотник кресла, кладу руку Бенасу на плечо и подпеваю. Мы с ним часто поем эту песню, и каждый раз у меня перехватывает горло.

Так погибла сосна,
Голубая сосна,
Обнимая песчаную кручу…

Песня кончается, и мы долго молчим.

Мы каждый раз молчим после нее.

Я смотрю на стену, оклеенную портретами певцов.

— В твои годы один американский певец… Минутку, как же его звали… о, черт, склероз… Выступал в огромных залах, — говорю я. — Недавно читал.

— А итальянец Луиджи Тенто застрелился.

— Но он оставил песни.

— Плевал я! Я хочу жить и ни от кого не зависеть. И петь, когда мне хочется, а не когда

приказывают.

— Про тебя так никто и не узнает.

— Плевал!

Бенас вскакивает, отбивает чечетку на грязном паркете и, бренча на гитаре, принимается отплясывать нечто вроде допотопного «буги-вуги». И вопит жутким, каркающим голосом какую-то муру.

— Не надо, Бенас, — прошу я; мне не нравится, когда он начинает кривляться.

…йе, йе!
Млеет белая леди
В лапах черного негра, —
Йе, йе!

Когда он замолкает и устало разваливается в кресле, я напоминаю:

— Семь, Бенас.

— Ну и что?

— Через полчаса у тебя школа.

— Не смеши, старик.

Уже третий год Бенас начинает восьмой класс и бросает.

— Знаешь, эта школа у меня вот где сидит!

— Тебя же не оставят в покое…

— А как же! Раз пять прибежит классная, один

разочек директор с классной, два раза меня пропесочит начальство цеха, еще пришлют комиссию пенсионеров, чтоб на меня повлияла, потом… Думаешь, все? Дудки, еще что-нибудь придумают. И кто будет виноват, по-твоему? Выяснят, что меня еще ни разу не продернули в стенгазете. Значит, не все еще сделано, не все меры приняты…

— Но ты же сам виноват, Бенас.

Бенас хохочет. Я растерянно смотрю на него.

— Я — виноват? Меня же все воспитывают, все поучают. За меня в ответе все, только не я!

Черт знает, видно, я, правда, какое-то ископаемое, потому что после двойки или после драки чувствую себя не в своей тарелке — весь день потом кошки на сердце скребут.

— Если бы ты кончил школу…

— Да послушай! — обрывает меня Бенас. — Пришел парень наниматься. На наш завод, слесарем. Берут его. Он и спрашивает: какой оклад. Сотня. А он — я вам не инженер, чтоб за сотню вкалывать!

Иногда не поймешь, когда Бенас говорит правду, а когда загибает. Нравится ему, когда ты рот разеваешь от удивления.

Бенас снимает с себя гитару и говорит:

— Потопали на танцы.

— Понимаешь…
— Без разговоров, старик!
— И одет я…
— Обязательно при параде?.. Сойдет!

У кинотеатра «Летува» мы выскакиваем из троллейбуса и сворачиваем в узкий переулок, воняющий всеми запахами помойки. Башмаки Бенаса стучат по булыжной мостовой. Идет он неторопливо, степенно, почти не разговаривает.

Между высокими домами сумерки кажутся густыми и тяжелыми.

«Хорошо, что в воскресенье мама пятерку оставила», — думаю я, покупая билеты — себе и Бенасу.

— Отдам, — говорит Бенас.
— Я тебе должен, ты не раз покупал.
— Что ты, маленький!..

В зале клуба наша чудесная молодежь отплясывает шейк. Парни извиваются, как червяки в банке. Бенас встает у двери и обводит цепким взглядом то одну, то другую пару. Осматривает стайку девушек у стены и снова прочесывает взглядом зал. Музыка смолкает.

— О, Бенас, салют!
— Привет, Мартас!
— Жарища, уф!.. Живешь, Бенас?

— Живу, Джонни.

— Давно не видел. Хау ду ю ду!

— Хау, старик.

Парни болтают с Бенасом; он здесь как рыба в воде. Мне как-то даже не по себе. Со мной Бенас не разговаривает. Впрочем, он ни с кем не разговаривает, только зыркает по сторонам.

Душно. В зале витает дух перегара, глаза у парней блестят, как стеклянные.

Вот две девочки из нашего класса… Без этой монашеской формы они совсем другие, черт возьми! Не девочки, а девушки, ни один парень не откажется таких проводить… Куда-то пропали обе, смешались с толпой.

Снова бухает барабан, хрипит труба.

— Почему не танцуешь?

Бенас меня не слышит. Руки держит в карманах. Озирается, даже на цыпочки привстает. И только теперь до меня доходит. Вот дурья башка!

— Нету? — спрашиваю.

— Что-то не видать, — отзывается Бенас. — Не пришла.

— Броне учится, она не пойдет посреди недели.

— Ходила… Ну, танцуй, — берет он меня за плечо и подталкивает.

Высмотрев девушку у окна, подхожу к ней.

Черт, издали казалась покрасивей да помоложе. Что ж, помучаюсь.

Слоняемся по паркету, как идиоты, ее рука потеет в моей ладони. От волос несет уксусом, меня подташнивает. Ах да, надо говорить, развлекать девушку. Не станешь же молчать целый танец, как глухонемой.

— Вы классно танцуете…

— Хи, пятый раз сегодня слышу!

Ну, конечно, я сказал пошлость, но как она может… Вот брошу сейчас посреди зала… Этот запах уксуса, и вообще… Почему она так потеет?! Правда, меня тоже разобрало. Лоб взмок. Ужас как неприятно, когда с тебя пот градом льет.

Кое-как выдержал до конца и, не проводив партнершу на место, бросился к двери, Бенас все еще стоял там.

— Ну как? — спросил он.

— Э, — состроил я кислую рожу.

— Вкуса у тебя нет.

— Броне не пришла?

— Сдалась она мне.

Бенас покосился на меня, но его позвал Мартас, и они ушли куда-то. Вернулся «с душком» и малость повеселевший. Едва загремела музыка, как ринулся к хихикающим девицам. А мне все

не везло. Сказать стыдно — и вторая, и третья партнерши были хуже касторки. А другие, посмазливей, все время были нарасхват. К таким, это я уже знал, не подкатывайся, если хочешь, чтоб отец тебя дома узнал. Когда Бенас снова исчез с Мартасом, я ушел.

Под окнами клуба бродили два милиционера, коварно спрятав в широких рукавах кителей «бананы». Они оглядели меня, словно окатили холодной водой.

Прохожих мало, мигают тусклые фонари. Мои шаги гремят, как удары молота по наковальне — дун, дун, дун. А может, это у меня в голове так отдается — дун, дун… Настроение — хуже некуда. Чего это я скис? Бывает ведь, хожу как пришибленный — что-то давит на психику, от всего с души воротит. Но почему? То-то и оно, что и не вспомнишь, с чего все началось. Вроде бы мелочь, чепуха всякая, не стоит оно того, чтоб убиваться. И все-таки… Ну, почему? Почему?

Вопрос — глупее некуда — почему? Почему я ушел из клуба? Даже ничего не сказав Бенасу… Почему рыскаю теперь как одинокий волк по переулкам, когда могу сесть в троллейбус и мигом оказаться дома? Дома?.. Вот-вот, почему меня не тянет домой?

Почему? Почему?

В подворотне солдат целует девушку и не слышит моих шагов — дун, дун, дун…

Почему? Почему?

Обняв фонарь, мочится пьяный. Что ему мои шаги — дун, дун…

Скажу отцу, чтоб завтра сходил в школу. «Зачем?» — спросит отец.

Зачем? На самом деле — зачем ему идти в школу?

Была бы мама… Почему… была бы? Она сидит сейчас, склонившись над листом картона — над своим миром. Усталая, измученная и счастливая спрашивает у дяди Повиласа: «Ну как?» Раньше спрашивала у меня, а теперь вот не спросит. Почему?

Все-таки, почему?

Саулюс спит, обняв большую заводную мартышку.

Почему ему нравится та заводная мартышка, что побольше?

Почему?

Миллион «почему» и «зачем», на которые надо найти ответ.

Как снежная гора, дремлет кафедральный собор, приникший к живой стене деревьев. Проходя

мимо, я часто останавливаюсь у белых колонн и долго смотрю на сурового Авраама с ножом в руке, на мудрого Моисея, читающего десять заповедей божьих. По спине пробегает холодок, охватывает суеверный страх, и я думаю, что верующие падали ниц не только перед мистической силой, но и перед величием Человека, перед красотой, созданной его руками.

Бьют часы на колокольне собора, и протяжный звон долго дрожит в прохладном воздухе, напоминая — время идет, торопитесь! Будь моя воля, я бы повесил над городом календарь, светящийся и днем и ночью — пусть все видят, что сегодня 27 СЕНТЯБРЯ, что завтра — 28 СЕНТЯБРЯ, что…

Сегодня… Правда — сегодня же 27-е сентября! Тогда я писал на доске: «27.IX.1965». Только что начался первый урок, в класс ворвался Наглис. Белый, как бумага, задыхающийся… Посмотрел на учительницу, на нас и глянул на доску — большую и чистую, с единственной надписью наверху: «27.IX.1965».

Почему я сегодня забыл про эту годовщину? Почему все мы забыли?

— Ромас… Ромас… только что… — Наглис никак не мог выговорить это.

И вот мы уже забыли… Мы о многом быстро

забываем, потому что спешим… и не оглядываемся назад…

Черный тоннель из раскидистых лип поднимается в гору, и я плетусь, не замечая прохожих.

…Ромас был нашим физиком, химиком, математиком. Он жил только этим, ничто другое для него не существовало. В пятом классе собрал трехламповый радиоприемник. Мы ходили смотреть как на чудо.

— Тоже мне невидаль, — равнодушно сказал он. — Могу и пятиламповый.

— А транзистор можешь?

— Схемы сложные, но попробую.

Сделал. В седьмом классе собрал. Да такой, что закачаешься — голос чистый, станции ловит получше магазинных. Руки у него были золотые и голова на плечах. Мы только-только начали химию, долбаем страницу за страницей, а Ромас за две недели прошел весь учебник. Ничего особенного, все ясно, говорит. Заберемся после уроков в кладовку, где он устроил свою «лабораторию» (так и называл!), и смотрим, как он колдует. Что ни сделает, сперва показывает нам. Обязан! Потому что мы, верная четверка «Арберон», соблюдаем неписаный закон: в единении сила! Бенас, правда, заглядывает сюда редко.

Для него это все — цирк. А Ромас, долговязый, какой-то желтый с лица, переливает из пузырька в пузырек жидкости и называет их всякими заковыристыми словами. Иногда такое смешает, что хоть беги — вонища, как в хлеву. А другой раз отменно пахнет. А то как бухнет! Ромас загадочно улыбается, вытирает руки о штаны, которые у него будто источены жучком — в дырочках да пятнах от этих таинственных микстур и всяких порошков. Когда матери Ромаса нет, хорошо, но как только она появляется, мы улепетываем, словно из чужого сада. Ромас провожает нас грустными глазами и шепчет: «Приходите завтра — еще не то покажу». Химичка на каждом уроке превозносит его, Ромас занимается у нее в кружке.

— Ребята, вы даже не знаете, сколько на свете тайн!..

Ему всюду чудились тайны, даже в воде и соли.

— Знаешь, он псих, — сказал как-то Бенас.

Мы перестали понимать, что же делает Ромас, и скоро нам это надоело. Когда однажды он позвал нас помочь ему, мы отбрили:

— Нашел дураков!

Больше Ромас нас не приглашал, а мы стали над

ним посмеиваться: «Все мудришь, ученый?» Он не обижался. И вот изменившийся, невнятный голос Наглиса:

— Ромас… он… он убился! Как вдарит!..

Словно бомба взорвалась в классе. Лица у всех вытянулись, глаза полезли на лоб. Юрате пискнула: «Боже мой!» и испуганно замолчала.

Все мы уставились на Жирафу. Она сделала шаг, пошатнулась и привалилась спиной к косяку окна.

— Ты… ты… точно знаешь?

Жирафа едва держалась на ногах, она бы села, но в наших классах стульев для учителей нет.

— Я обещал к нему зайти, — говорил Наглис. — Он хотел мне показать… И опоздал. А когда пришел, он уже…

Учительница судорожно вздохнула.

Мы долго молчали.

Вечером, после уроков (учились мы тогда во второй смене) всем классом побежали на Узкую улицу. У деревянного дома толпились ученики нашей школы и наперебой рассказывали, как это случилось.

— Ромас хотел гранату сделать.

— Будет врать.

— Правда. Он бы в школу принес. Хорошо, что

один…

— Дурак, он опыты ставил!

— Соединил бертолетовую соль с водой.

— Бертолетовая соль с водой не взрывается.

— Ну, не знаю с чем, а как соединил, тут только — бабах! Окна вышибло.

— А где он эту соль достал?

— В школьном кабинете.

— Не знаешь, так заткнись и не заливай.

— Когда его привезут?

— Может, только завтра…

— Вскрытие будут делать…

Все болтали, и никто ничего точно не знал.

Назавтра тоже наговорили всякого. Рассказывали, что директриса хотела устроить панихиду в школе, но мать не согласилась. «Разве у ребенка нет своего дома? Где родился, где рос, оттуда и в последний путь отправится».

В последний путь… Я все не мог поверить, что Ромаса больше нет. Я же его видел совершенно ясно и даже слышал его голос. Это какая-то ошибка! Кто-то сбрехнул, а мы сдуру поверили. Мы ведь доверчивые. Но почему девочки плетут венок? Нет, это не Ромасу. Это кому-то, кому-то… Я сейчас же пойду на Узкую, в деревянный дом, и увижу, что Ромас сидит за столом, заваленным

катушками, конденсаторами, моточками проводов, пузырьками, коробочками, пробирками. Он будет делать что-то непонятное, а я буду следить за его руками, знающими, что взять и куда положить… Я найду Ромаса, надо только сходить…

И я нашел… Коричневый длинный гроб. Горшки с хризантемами и букеты астр. И кучку людей у двери. Они молчали, сжав губы, и слушали, как отчаянно рыдает женщина. В головах гроба горели две свечи и стояло черное распятие. Со стены, с маленькой фотографии, спокойно и задумчиво глядел Ромас.

Гроб был закрыт. Большой гроб. Нет, он пуст! Это пустой гроб! Почему вы толпитесь здесь, люди? Почему вы поставили пустой большой гроб и нанесли цветов? Почему зажгли свечи? Ведь Ромас жив. Он скоро придет, он прибежит со двора и рассмеется. Вот он уже идет. Слышны шаги, его рука касается моего плеча… Я вздрагиваю и едва не кричу. Боюсь обернуться. Чувствую, как рука давит мое плечо, как впиваются пальцы…

— Арунас… — слышу я шепот.

Это наша Жирафа, она держит большую корзину с цветами.

— Подержи, Арунас, — она подала мне корзину. — Или лучше давай поставим. Пойдем.

Мы подошли к гробу, поставили цветы. Учительница постояла, склонив голову перед своим учеником. Потом обернулась, украдкой поднесла руку к глазам и отошла к двери.

В четверг, в три часа, мы собирались проводить Ромаса на кладбище. На первом уроке сидели как никогда тихо. Историчка никого не вызывала в тот день, рассказывала что-то о реформах Петра Первого. Но мы не слышали ее. Мы ждали звонка. Звонок что-то запаздывал. Было уже без двадцати три…

— Почему нет звонка? Может, забыли?

— Ждите, — успокаивала нас историчка, то и дело поглядывая на часики.

Мы ждали.

Только позднее, связав воедино все ниточки, я понял, почему запаздывал звонок. Все разворачивалось примерно так.

В тот день директриса узнала, что на похороны Ромаса приглашен ксендз. Не передоверив никому такое дело, она сама сбегала на Узкую.

— Мне неудобно… простите великодушно… Правда ли это, что у вас будет священнослужитель? — спросила она у мамы Ромаса.

— Будет.

— Ромас — комсомолец.

— Его уже нет, мне так хочется.

— Разве нельзя обойтись без ксендза? Если это так для вас важно, пусть он заранее освятит могилу.

— Я сделаю так, как сочту нужным.

Директриса понеслась на всех парах в школу и велела дежурной уборщице не звонить на перемену, пока она сама не скажет. Заперлась в кабинете, схватилась руками за голову. Что же делать?! Посоветоваться с завучами, с учителями? Нет, не они же будут отвечать, если что! Отвечать-то ей, директору.

Сняла телефонную трубку.

— Районо слушает.

Изложила дело и спросила:

— Как же нам быть?

На другом конце провода мужской голос что-то мекал. Наконец изрек:

— Надо согласовать. Доложу.

Районо трубку не вешало. Согласовывало… И наконец:

— Не советуем!

— Спасибо. И я так думала, — торопливо ответила директриса и бросилась в дверь.

А мы все еще ждали звонка. Было уже без десяти три…

Открылась дверь, и устало вошла директриса.

— Нет, товарищи… На похоронах будет присутствовать служитель культа. А там, где церковные обряды, вам, комсомольцам, делать нечего. Никуда вы не пойдете. Будет следующий урок и потом остальные. Я строго запрещаю кому-либо покидать школу.

Пока мы очухались, директриса уже цокала на каблучках к следующей двери.

На перемене по классу летали черти да ведьмы. Бросились толпой к кабинету директора, но дверь оказалась запертой.

— Все равно пошли! Бежим! — кричали мы наперебой. Но потом голоса что-то притихли. «Какого черта рисковать». Последние трусы, неисправимые кретины!

Сбежали мы вчетвером. Но двое вернулись от ворот школы, а Наглис на полпути остановился и, пряча глаза, сказал: «Может, я… лучше я не пойду… Еще маме сообщат…» Он постоянно помнит о своей маме, — чтоб только ей не пришлось еще из-за него мучаться. «Как знаешь», — буркнул я и убежал.

Была половина четвертого. У кладбищенской улочки я тогда остановился…

…Да, это здесь.

Улочка прячется в тени деревьев. Ее не чинят, не расширяют, не выпрямляют. Ведь по ней ходят только покойники. А они не пожалуются, что их трясли на камнях и ухабах. Что везли слишком медленно или слишком быстро. Что последний путь оказался утомительным.

Я тогда остановился на этом самом месте — увидел, как в эту улочку въехали два небольших автобуса. Рыча и раскачиваясь, они одолели подъем и исчезли за поворотом.

Я пустился за ними бегом. По этой безымянной улочке… Нет, у нее есть название, просто не видно таблички. А мне бы хотелось, чтоб она осталась безымянной. Как теряют свое имя те, кто путешествует по ней. Я бреду по этой улочке, будто меня тащат за руку. Ладно, я пройдусь по ней… вот до того дома… нет, до следующего… Погляжу, как она называется, эта улочка. Ведь люди дали ей имя.

Пусто и тихо. Мои шаги отдаются гулко, словно я иду по краю пропасти. Громогласное и гулкое эхо.

«Рассветная улица»… А ведь по ней идут не навстречу рассвету. Я бы назвал ее — «Закатная»…

…Я бежал тогда, задыхаясь, потом перешел на шаг, снова увидев медленно ползущие маши-

ны…

…Уличные фонари остаются за спиной, но блеклый свет по-прежнему рисует мою тень, преданно ползущую рядышком. Только теперь я вижу полную луну и высокое небо с россыпью звезд. В городе, под фонарями, не поднимешь головы, и луна тебя занимает не больше, чем плешь прохожего старичка.

Впереди темнеют холмы, поросшие редкими соснами, белеют мраморные кресты. Кругом — ни души. Тишина дрожит натянутой струной, ей вторит далекий гул города.

Чего я тут торчу?

«…К нему не зарастет народная тропа…»

Сосны издали шепнули мне эти слова. Сосны все видят и слышат. И ничего не забывают. Они живые свидетели, вечные часовые. Голубые сосны. Может, это о них поет Бенас?

Толстая каменная ограда. Железные ворота гремят, но не открываются. Заперты. Почему запирают кладбище? Чтоб мертвецы в полночь не выбрались в затихший город? Или чтоб живые не осквернили место их покоя?

Я иду вдоль ограды, вижу брешь и пролезаю в нее. В густой тени деревьев осматриваюсь. Трусом я никогда не был, но одному ночью на

кладбище что-то не по себе.

На цыпочках выбираюсь на главную аллею и по ней поднимаюсь на крутой холм. Кресты, памятники, кресты. В лунном свете надписи проступают так четко, что читай, как книгу. Но мне не до них, я спешу, как будто за мной гонятся.

Вот по этой тропе я и шел тогда за горсткой провожающих. Впереди, в стихаре, шествовал ксендз. Большой гроб качался на плечах у мужчин, и мне снова показалось, что он пуст. Да, да, случилось недоразумение, вот-вот все выяснится.

Без труда нахожу могилу Ромаса. На гребне холма, между двумя соснами, она прижалась к большому гранитному памятнику с польской надписью. Могила осела, на ней растет чахлая трава.

Тогда я стоял в стороне и ждал чуда. Но его все не было. Гроб опустили в могилу, и по крышке загремели камешки, глухо зашуршал песок.

Ксендз молился, плакала мать Ромаса, притихшие и бессильные стояли люди.

«…К нему не зарастет народная тропа…»

Спустя два года я пришел сюда. Побывал ли здесь хоть кто-нибудь из нас, из его друзей? Хоть раз?

Мы забывчивы.

…Люди расходились с кладбища. Ко мне подошел Бенас. Я только теперь его заметил. Как-то дернулось сердце. Бенас сжал мои пальцы, и мы постояли рядом, не говоря ни слова и думая о часах, проведенных в «лаборатории» Ромаса, об уроках и переменах, на которых мы не слышали Ромаса, но все равно чувствовали его присутствие.

Мы стояли долго. Потом, не говоря ни слова, повернулись и побрели от могилы.

— Где другие? — спросил Бенас.

— Директриса не пустила.

Мы шли, взявшись за руки.

— Был Арберон, остался Арбен, — сказал Бенас.

— Нет, Арберон останется навсегда! — произнес я словно клятву.

Допоздна мы гуляли по городу и решили назавтра встретиться опять.

…Налетает ветерок, шумят сосны, качают кронами. О мое плечо, словно майский жук, стукается шишка, на могилу падает засохшая ветка.

Там, внизу, весело мигают городские огни и гулко бьют часы на башне кафедрального собора.

В комнате отец поднимает глаза от газеты и смотрит на меня. Глаза у него запали, лицо землистое, как у больного. А может, он правда

болен? Никогда он не жаловался, каждую мою или мамину болезнь считал блажью. Теперь ему тяжело, ну да, страшно тяжело, когда дом стал пустым и холодным.

— Ты устал, папа. У тебя такой вид… — говорю я тихо и мягко, как давно уже к нему не обращался. И вдруг вспоминаю голос директрисы: «Завтра приведете отца». Надо ему сказать, все объяснить. Но как объяснить?

— Папа…

Он нервно сбрасывает газету с колен.

— Ты знаешь, что должен быть дома в десять? Почему он так?

— Знаю.

— Который час?

— Скоро двенадцать.

— Где шлялся?

Еще не переступив порога, я обычно держу наготове ответ. Теперь тоже мог бы дать волю фантазии, но что-то нет вдохновения.

— Был на кладбище.

— Лучше соврать не можешь?

— Я правда…

— Лоботряс!

Влетаю в свою комнату, захлопываю дверь.

Комната ходит ходуном, будто каюта корабля

в шторм. Я гляжу в черную вязкую тьму, которая липнет к лицу и шее, связывает руки и ноги, как клейкие водоросли в озере. Я боюсь себя; кажется, что не хватит мужества выбраться на берег, и я наглотаюсь вонючего ила. Не первый раз накатывает это странное чувство…

…На третий, что ли, день после похорон Ромаса — комсомольское собрание класса. Гульбинас такой, Гульбинас сякой… Гульбинас своим поведением порочит честь комсомольца. Подумать страшно — участвовал в отправлении религиозных обрядов! Где ксендз, где молитвы да богомолки — там не место комсомольцу… Понурив головы, пряча глаза, товарищи торопливо читали холодные чужие слова с мятых тетрадных листков и, отбарабанив повинность, топали к парте. «Не переживай», — шепнул кто-то и расплылся в улыбке. Вскочил Наглис. Замахал руками, разинул рот и густо покраснел. Мне показалось, что он в эту минуту возмужал.

— За что Арунаса? За что?.. За то, что он товарища?.. Мы же все хотели… мы бы все пошли, только струсили. Мы — трусы, последние трусы… Как же мы можем теперь так?.. За красивые фразы прячемся, вот что!..

Жирафа попросила слова и сказала, что ей

ужасно трудно говорить. Она не била меня под ложечку, но и по плечу не хлопала.

— Арунас виноват в том, что не послушался руководства школы, но нельзя забывать, ради чего он так поступил…

Директриса, однако, не зевала:

— Товарищ педагог!.. Товарищ педагог, вот это уж увольте!.. Проступок весьма тяжкий, и мы должны осудить Гульбинаса. Это касается не только вашего класса, товарищи. Это касается всей школы. Более того — всей многомиллионной комсомольской семьи!..

Директриса разорялась не хуже прокурора и в заключение пригрозила, что я так легко не отделаюсь, что мое личное дело будет передано выше…

После собрания Жирафа взяла меня под руку. Я поежился, и она отпустила. Мы шли по длинному коридору. «Вот приклеилась! Начнет еще утешать, наставлять». Я просто рассвирепел — в эту минуту никого не хотел видеть и слышать. Но моя учительница не проронила ни слова. Мы развернулись у окна, потопали обратно. И снова сделали поворот. Наконец зазвенел звонок, и крепко сжатые губы Жирафы дрогнули.

— Ты, кажется, в шахматы играешь.

— Играю.

— Тогда сходи к Наглису.

— Школьный турнир?

— Маму Наглиса сегодня оперировали.

С головы до пят окатило ледяной волной. Я стоял посреди коридора, меня толкали малыши, а я глазел на уходящую Жирафу и едва сдерживал слезы.

В эти дни я бродил, как пес с перешибленным хребтом, места себе не находил и все собирался цапнуть кого-нибудь.

Директриса все-таки оставила меня в покое. Конечно, не по доброте сердечной. Ведь каждое такое дело — доказательство того, что в школе нелады. Разве имеет смысл рубить сук, на котором сидишь сама?

Честно говоря, невесело вспоминать про все это.

Сидя на своем диване, слышу, как бродит из угла в угол отец. Глубоко вздохнет, остановится затаив дыхание за дверью, скрипнет дверной ручкой и снова отойдет. Не спит папаша. Чего это ему не спится?

Из окна общежития доносятся удары курантов. Полночь.

Только полночь…

ЧЕТВЕРГ

Бегут люди и деревья, летят дома и машины. Все мчится, несется мимо. Вращается земля. Когда-то учительница доказала нам, что земля вращается, хоть я ни черта и не понял. По правде говоря, и сейчас не очень-то понимаю. Но и не забиваю этой проблемой голову.

Троллейбус, дернувшись, тормозит и со злобным шипением распахивает двери. Люди выходят, входят. Молодая женщина в сером вязаном костюмчике (бьюсь об заклад — учительница!) сует в щель автомата четыре копеечки и дергает металлическую ручку.

— А вы его по боку, по боку!.. — делится опытом какой-то старичок.

Женщина стучит кулаком по автомату, дергает ручку.

— А вы сильней, не бойтесь!

Женщина яростно колотит по автомату.

— Век техники… — разочарованно вздыхает старичок.

— Передайте билет спереди.

— Билет передайте…

— Нету билетов, кончились.

— Шофер, билеты кончились!..

Я бросил взгляд на бумажку — 934107. Несчастливый. Не так просто купить счастливый билет. Может, редко езжу на троллейбусе? Школа рядом, в пяти минутах ходу. Иногда мне, правда, нравится покататься. Просто так, из одного конца города в другой. На одном троллейбусе, на другом… Особенно вечером, когда народу мало и всюду горят огни.

— Сюда билет, сюда. Благодарю.

Не ошибся-таки, учительница — в авоське у нее тетради. Уступить место, что ли? Как нарочно около меня встала. Она не моя училка. И не из моей школы. Чихал я. Да она, может, и не учительница!..

Половина десятого. Начался второй урок, письменная по геометрии. Что ж, одной двойкой больше. Не умею решать задачи. А когда-то математика мне нравилась. Все предметы мне тогда нравились, я хотел быть отличником. Пионер-отличник! А теперь ничего не хочу. Ничего! Абсолютно ничего. Все мне до лампочки.

А может, все же хочу чего-то?

Спать! Спать до двенадцати. Валяться в кровати, ничего не делать, ни о чем не думать.

Опоздал, братец. На сотню лет опоздал. Обло-

мов — продукт загнивающего феодализма.

А почему Обломов не может существовать в условиях процветающего социализма?

Ха-ха!.. Катись-ка ты подальше со своей философией…

Троллейбусы, будто огромные полосатые жуки, закинув за спину усы, дремлют в лучах осеннего солнца. На цементных ступеньках магазина сидят две кондукторши и молодой парень — водитель. Парень курит, а женщины завтракают — пьют молоко из бутылок, жуют булочки. Говорят между собой по-польски. Пани, пани…

Поддеваю ногой каштан, и он, подскакивая, летит по мостовой. Замахиваюсь ногой на камешек. Промазал! Чего ради я сюда приехал? Третий раз за утро доезжаю до Антакальниса. Мура какая-то. Почему именно в Антакальнис? Почему бы мне не пересесть на другой троллейбус? Антакальнис — вокзал. У меня пропасть времени, мне просто некуда его девать. О, если бы Жирафа догадалась, что я тут околачиваюсь! Хватилась уже меня, наверно. Ах да, сегодня же четверг — у Жирафы свободный день. По четвергам она не появляется в школе. Отдыхает. Впитывает знания… Учитель — это губка… А может, стирает, убирает квартиру, носится по магазинам? Как все

женщины. Приготовит обед на два дня. Вечером, под ручку с мужем, сходит в кино. И это будет для нее праздником.

Я вспоминаю, как женщина, сидевшая рядом со мной в кино, клюнула носом и захрапела, и громко хохочу. Кондукторши смотрят на меня со ступенек, как на психованного, и шушукаются. Наверно, навесили бирку: «хулиган».

Гудит, включившись в сеть, троллейбус. Второй, на вокзал. Не все ли равно, куда? Жверинас, Геросёс Вильтес, вокзал… На вокзал так на вокзал…

Осеннее солнце — усталое и тусклое, как наша Жирафа на шестом уроке. Опять Жирафа! Почему она не выходит из головы? Вот идиот! Лучше думай об этой седой девушке…

— Можно к вам?

Она поднимает большие глаза.

Я сажусь и спрашиваю:

— Не подскажешь, куда едет этот троллейбус?

— А куда тебе надо?

— Мне? Вокруг земного шара.

— Сойдет.

— Надеюсь, нам по пути?

Я никогда еще ни в кого не втюривался, но язык у меня подвешен неплохо. Тем более если

девчонка смазливая. И нос не воротит.

— Я тебя, наверно, где-то видел.

— Да? Не знаю. Не помню что-то.

— Не на танцах?

— А ты ходишь на танцы?

— Спрашиваешь!

— Я подумала…

— Что же ты подумала?

— Да так…

— Можешь не говорить. Ужас, как интересно. А все-таки — что ты подумала?

— Что ты… в школе учишься.

— Вот и промазала. Токарь.

— О!

Это производит впечатление, и девушка смотрит на меня, как бы прицениваясь, чего я стою. Даже смущенно отворачивается к окну. Копна крашеных волос пахнет чем-то приятным. Ей идет этот серый джемпер и голубая мини-юбка. И ноги красивые… такие круглые коленки.

— А ты кем?..

— Работа интересная, жуть!

— Машинисткой?

— А вот и не отгадаешь!

— Кассиршей в кино?

— Нет, нет!

— Тогда в больнице…

— Ой, нет…

— Что ж, твоя взяла.

Она поворачивается ко мне — ее колени касаются моих — и серьезно говорит:

— Я только начинаю. Первый месяц. У меня масса танцоров! Ты, кстати, танцуешь джайв?

— Время от времени, — отвечаю я, хотя и не слыхал о таком танце.

— Мы его уже разучили и теперь примемся за мексиканские.

— Значит, ты руководишь кружком бальных танцев…

— Современных! — поправляет она.

— Здорово.

— Что — здорово?

— Что тебе это нравится.

Она улыбается мне, как старому приятелю. Взгляд у нее добрый и доверчивый.

— Куда ты едешь?

— Нам же по дороге.

— А, правда.

Троллейбус гудит, качается. Мчатся деревья, дома и люди. Мчится город, удаляется куда-то. Вращается земля. Только я сижу на месте. Сижу рядом с девушкой. Куда же я еду? Куда едет она?

«Нам по дороге», — сказала девушка.

У кинотеатра «Аушра» мелькает реклама «Зося».

— «Зосю» видела?

— Какую?

— Картину.

Девушка смеется. Заливисто, как-то симпатично.

— Пошли в кино, а?

— Но ты же едешь вокруг света.

— Да ладно, пошли.

Я беру девушку за руку, и мы выскакиваем из троллейбуса.

У билетной кассы хвост. Мы встаем в очередь, и я думаю, что мне уже расхотелось в кино. Сам не знаю, чего мне хочется, но чувствую: что-то не так… не так… Будто меня кто-то зовет. Незнакомый голос, но он зовет меня. Зовет куда-то, и я не могу больше здесь стоять.

— Как тебя зовут?

— Светлана.

Самого себя испугался? Бывают минуты, когда я сам не мог бы себя узнать, если бы посмотрел со стороны. Спросил бы, наверно, как меня зовут.

— А тебя как?

Отец ничего не знает. Он думает, что я в шко-

ле. Узнает, конечно. Не сегодня, так завтра. И я выслушаю длинную проповедь. Помолчу. Покривляюсь. Поизображаю, что мне все до лампочки. Что на все наплевать… Отец раздраженно вздохнет и подумает — не скажет, только подумает: «Мать виновата! Как только она бросила… неужто мне одному…»

— О чем ты думаешь? Я спрашиваю, как тебя зовут.

— А, зовут? Томас.

Соврал. Как знать, может, и ока соврала… Я не уверен в этом. Я ни в чем не уверен и во всем сомневаюсь. На каждого человека смотрю так, будто думаю, что он это не он. И девчонка, с которой я познакомился, — не та, на которую я сейчас смотрю. Она совсем другая. Она — такая, какой я ее не вижу. Я и сам ведь не тот, не такой, каким она видит меня.

— Ты вдруг какой-то чудной стал.

— Вдруг? Чудной?

— Ну, правда, смешной.

Светлана смеется, прижав к щекам кончики пальцев, ее глаза глядят из-под черных ресниц простодушно и тепло. Мне вдруг кажется, что мы давным-давно дружим. И от этой мысли мне становится больно.

— Смешной ты, Томас, — повторяет она.

— Послушай…

Чувствую, что ладони начинают потеть. Черт, хоть бы не покраснел!

— Послушай, ты тут постой, я сейчас… Я побыстрому…

— Не задерживайся.

На улице останавливаюсь. Она-то думает, что я побежал за мороженым или конфетами. Девушки любят мороженое и конфеты. Но я не вернусь к Светлане. Не вернусь! Большое дело — пошутили, поболтали. Я ничего еще не успел ей наобещать, и она мне — ничего. Невежливо бросать без объяснения? Ха! Может, прикажете разжевать и в рот положить: так, мол, и так, не могу, мне надо идти… Или историю сочинить? Нет-нет, будь здорова, Светлана-Несветлана. Тебе посылает привет Томас-Нетомас.

Смешиваюсь с толпой. Иду медленно. Спешить-то мне некуда. Но почему я иду сюда, а не в другую сторону?

Гудит поезд, с грохотом проносясь по насыпи. Вот и вокзал. Здесь бродят цыганки, они могут нагадать, что меня ждет. Как-то к нам постучалась цыганка. Я был один дома и впустил ее. Мне понравилось, как ловко она бросает карты

и говорит о моих извилистых путях в жизни, о великом горе, о доброй вести и дурном глазе. Вернулась мама. Я испугался. Но цыганка погадала и маме. Она говорила о деньгах, о казенном и червонном валете, который стоит у нее поперек дороги. Мама попросила цыганку попозировать ей. Она рисовала ее портрет, забыв все на свете. А вечером хватилась сумки, которую оставила в прихожей, вернувшись из города. Сумка как в воду канула. Но мама только рассмеялась.

Портрет цыганки наверняка висит на маминой выставке, подумал я и обрадовался, словно открытию. Мне надо увидеть выставку! Я должен ее увидеть… Мама не приглашала? Но она же намекнула в воскресенье, сказала про выставку, это и было приглашением.

Еду! Сейчас же куплю билет в Каунас. Может, потому я и Светлану бросил, что мне надо ехать. Стоит теперь Светлана у окошка кассы и поглядывает на дверь. Она ждет меня. Верит, что прибегу, запыхавшись, и извинюсь. Она надуется для порядка, помолчит, а потом простит меня. Вот она озирается, ждет еще. Простодушные большие ее глаза влажно блестят — в них появились сомнения, неуверенность. Она подозревает меня, больше не верит мне. Верила, а теперь не верит.

Почему я заставил ее разувериться во мне?

На вокзале давка. Мне не нравятся вокзалы. Душный, спертый воздух, пропитанный запахом пота, сидят женщины с узлами и детьми, бродят, шатаясь, пьяные, сорванными голосами кричат дикторы: «Граждане пассажиры…» Когда я как-то признался в этом отцу, тот буркнул: «Мещанский взгляд!» Разве это мещанство?

Купив билет и с трудом открыв черную скрипучую дверь, выхожу на улицу. До отхода поезда целый час — море времени. Я буду гулять по этому морю, не замочив ног, пустой, как надутый пузырь. Буду думать о себе, о школе, о девушке… Стоит ли она еще там? Разочаровалась, обиделась, стиснув кулачки. «Вот сволочь», — тихо говорит она. У меня еще целый час, я могу успеть. Я должен ее увидеть, пускай она не думает… Мы встретимся завтра и сходим в кино.

Иду медленно, нога за ногу, и вдруг перехожу на бег. Вот уже мчусь во весь опор, будто за мной гонятся дружинники. Гремят подковки на каблуках, от моих шагов, кажется, треснут цементные плиты тротуара. На перекрестке чудом не попадаю под автомобиль: визжат тормоза «Волги», водитель матерится из окошка. Я ничего не слышу. Светлана ждет меня, и я должен успеть! Но у

билетной кассы ее уже нет… Нигде ее не видно. Все смотрят на меня, словно я удрал из психушки. Можно подумать, они знают, почему я прибежал, кого ищу. И на улице ее нет. Нигде не видно Светланы.

Светлана ушла, поклявшись себе: «Вот дура, поверила!.. Все! Чтоб еще хоть раз…»

Иногда мы понемногу, сами о том не подозревая, теряем веру. И ни во что больше не верим.

«Если б я ни во что не верила, то зачем мне жить», — говорила когда-то мама.

Она-то верит. Ее вера — собственный мир, мне почти непонятный. Как мир сказок, когда-то окружавший меня и очень быстро исчезнувший, словно корона королевны, сотканная из солнечных лучей; осталось лишь то, что можно увидеть своими глазами, пощупать своими руками. Куклы и игрушки уступили место учебникам. Дорога между школой и домом, собрания, металлолом и макулатура.

Во что же верить? Нет, честно, я на самом деле псих, если ломаю голову над задачей, сколько будет дважды два. Математичка только посмеялась бы — кто не знает, что четыре! Ей-то хорошо, она знает. И мама знает, во что верить. Я хочу увидеть ее веру.

…Пора, уже без пятнадцати.

Черный и длинный тоннель. По лицам пассажиров бегут багровые блики, отсветы пляшут на темных стенах вагона. Кто стоит, кто сидит — все оцепенели. Почему не зажигают свет? Электричество экономят?

На перроне пусто. Никто никого не ждет, не встречает. Только мороженщица торчит у своей тележки да горделиво, как петух с красным гребнем, разгуливает вокзальный милиционер.

— Граждане пассажиры… — шамкающий голос из громкоговорителя.

В Каунасе недавно шел дождь. Лоснится асфальт, на тротуаре — лужицы. Вдоль тротуара протянулась глубокая траншея, в ней рыжие липовые листья. Капает с веток…

Останавливаюсь у витрины и, как в зеркале, вижу свое отражение. «Чего ты сюда притащился?» — спрашиваю я в упор. Парень — простоволосый, немного сутулый, с руками в карманах, улыбаясь, отвечает; «Я хочу посмотреть. И только». — «А что завтра скажешь, когда Жирафа спросит, почему сачковал?» — «Так и скажу — ездил посмотреть». — «Думаешь, Жирафа поверит?» — «После свободного дня она не злая. Все еще счастливая оттого, что посидела со своим

благоверным два часа в киношке». — «Ты, старый кретин, что ты знаешь о своей классной! Топай, куда топал». — «Чао, бамбино».

Он уходит, этот парень.

В большом и гулком помещении я двигаюсь не спеша, осторожно, как в королевской зале, от блеска которой кружится голова. Я ведь часто забегаю в художественный музей. Мне нравится живопись, графика — могу часами стоять у картин, забывая, что время идет. Бенас смеется надо мной. Говорит, я не вырос из пеленок. Когда-то, ребенком, я любил рисовать. Неплохо получалось, мама показывала гостям мою мазню, те хвалили, качали головами: художником будешь! Рисовал и в школе, оформлял стенгазету дружины, малевал объявления. Но скоро заметил, что если ты можешь что-то делать, то учителя так завалят тебя работой, так привяжут к школе, что прощай воля и книги про индейцев. Вот я и «испортил руку». Мама, правда, сердилась. Дома-то я рисовал по-прежнему, но с тех пор, как мама оставила нас, я ни разу не притронулся ни к карандашу, ни к краскам.

В конце зала — три большие гравюры. Триптих «РАСКРЕПОЩЕНИЕ». Слева — «СТРАДАНИЕ». Лица женщины не видно. Его скрывают дрожащие

пальцы. Фигура сливается с темнотой, растворяется в ней. Вся она такая хрупкая; кажется, ее вот-вот поглотит черная тень. Лоб у меня вспотел — кажется, я так и слышу мучительный и негромкий отчаянный вопль этой женщины. Правее — «БОРЬБА». Стиснутые кулаки. Большие и тяжелые, как валуны. Они подняты к обнаженной груди женщины — не для защиты, для того, чтоб нанести удар. Ударить кулаками, пронзить взглядом. И победить. Женщина верит в свою силу, верит в необходимость раскрепощения. Она борется за то, во что верит сама. Еще правее — «РАЗМЫШЛЕНИЕ». Раздумье после боя. Все переосмыслить. Радости не видно. Рано еще ликовать, надо освоиться с новым. И была ли эта схватка последней? Что ждет впереди?

Белые и черные пятна пляшут перед глазами. Я ослеп и оглох, меня несет куда-то вихрь мыслей. Пошатнувшись, испуганно оглядываюсь. Посетители кучками стоят у гравюр, говорят вполголоса. У окна — столик с книгой. Да это, наверно, книга отзывов. Открываю ее, как чужой дневник.

«Выставкой удовлетворены. В каждой работе — глубокий смысл, выраженный в свежей и прочувствованной манере. От души желаем художнице новых творческих успехов!

Студенты IV курса Политехнического института»

«Восхищен, ошеломлен! Но почему так много трагичного? Вряд ли это характерно для наших героических будней. Тем не менее, восхищен.

Йонас Бурбулис»

«Куда идут наши советские художники? Человека, того Человека, которого Горький писал с прописной буквы, художники искажают, уродуют его облик или изображают в таком виде, что в приличной компании смотреть стыдно.

Выставленные здесь работы непонятны, хотя их автор — женщина.

К. Ламб...»

«Ура! Ты молодцом, Нора!

Твой С. Т.»

Интересно, читала ли мама. Каждое обидное слово для нее как плевок в лицо. Она болезненно чувствительна, все принимает близко к сердцу. Как-то она решила сделать портрет отца. Это было давно, года два назад. Отец отнекивался, мама уговаривала. В конце концов отец уступил, долго причесывался перед зеркалом, повязал галстук.

— Зачем? Будь таким, как всегда… Как бы забылся за работой…

— Раз уж взялась, то делай, как надо. Все увидят.

Отец сидел как на параде — степенный и праздничный.

— Ты чем-нибудь займись, ну, книжку почитай.

— Нет, нет, я потерплю.

Он «терпел» день, другой, третий. Мама делала наброски карандашом, потом взяла лист линолеума, резцы. Отцу не показывала. «Вот кончу, тогда», — сказала она. А я поглядывал украдкой, я любил следить за тем, как ее рука медленно и аккуратно вырезает борозды и тонкие прожилки, убирает большие пятна. Несколько вечеров она

трудилась над листом, еще раз просила отца позировать, а потом сказала: «Все!» Принесла оттиск, вставила под стекло, повесила на стену. Отец долго смотрел на гравюру.

— Ну как? — мама ласково прильнула щекой к его плечу.

Отец помолчал. Потом повернулся и горько рассмеялся:

— Не я. Не узнаю. Не знаю кто, но точно не я…

Мама села, опустила голову и, печально улыбаясь, уставилась в пол.

— Это не я! Слышишь — не я! — злорадствовал отец.

Что же ему не понравилось? Сочетание черных и белых пятен, которыми изображено было угловатое лицо, широкий лоб и глубоко запавшие глаза, как бы обращенные в себя? А может, то, что не видно ни аккуратной прически, ни галстука?

— Сколько времени ухлопал…

Мама не ответила. Она не умела объяснять своих работ. Она не умела их защищать. Мучительно улыбнулась, сняла со стены портрет и сунула его за шкаф.

Книга отзывов жжет мои руки.

«Будь верна себе и верь в себя. Это — главное.

Твои коллеги»

Может, и мне написать? Что-нибудь хорошее-хорошее. Она ведь узнает мой почерк. Что же написать, какие слова?

Я чувствую на себе чей-то взгляд и боюсь повернуть голову, оглянуться.

Что же мне написать?

— Арунас…

Моей головы коснулась легкая рука.

— Арунас.

Она стоит рядом — маленькая и хрупкая, как девочка.

— Как хорошо, что ты приехал, Арунас. Что пришел сюда. Я все думала… думала…

Она не говорит, что думала, но она меня ждала, я знаю.

— Смотрел?

— Да.

— Понравилось?

— Мгм.

— А что больше всего?

— Все. «Раскрепощение».

Почему я чувствую себя перед ней, как перед

учительницей? Нет, я так чувствовал себя перед учительницей давным-давно… Мама кажется мне неземной, как бы сошедшей со своего триптиха. Могущественной и величственной.

Она ведет меня куда-то, и я иду. Я послеушен, как четырехлетний мальчик, который, даже если его отругать, говорит: «Спасибо».

— Зайдем, Арунас.

Поднимаюсь за ней по лестнице, держась рукой за захватанные перила. Если б не перила, вряд ли я забрался бы так высоко.

Звякают ключи (ее квартиры!), открывается дверь (ее квартиры!).

Она входит первой и негромко говорит:

— Прошу, Арунас.

Я смотрю на стоптанный порог.

— Нора! — доносится из комнаты голос. — Ты так быстро…

Железные пальцы хватают меня за горло, я задыхаюсь. Как это я не подумал?! Надо же было знать, куда я иду.

Я смотрю на маму. Она уже не та, что на выставке, в мире, созданном ею самой. Теперь она другая. Она совсем другая…

— Нора…

Я делаю шаг назад и, словно меня подтолкнули,

с грохотом сбегаю по ступенькам.

— Арунас!

В лестничной клетке мечется мамин голос.

На Лайсвес аллее шуршат под ногами грязные липовые листья.

За забором мелькают качели, скрипят перекладины стенок, мчится карусель, звенят детские голоса.

— Саулюс!

Он не слышит. Лег за песочницей; в руках палка, стреляет. Та-та, та-та! Его враги — две девчушки, которые и не подозревают, что по ним стреляют.

— Саулюкас!

Саулюс вскакивает и бежит к девчушкам.

— Я вас застрелил! И тебя застрелил, и тебя! Падайте!

— Дурной, — говорит одна.

Саулюс стоит, смотрит на свое ружье. Потом с размаху швыряет его под забор.

— Са-аулюс!

Заметил-таки меня — приближается, надув губы.

— Я не хочу в садик, мне не нравится, вот!

— Почему?

— Я с тобой хочу.

— Со мной?

— В Вильнюс хочу, к папе. И с тобой.

Я облокачиваюсь на забор. Саулюс, подняв голову, смотрит на меня, его замурзанная мордашка печальна.

— Я с тобой хочу, Арунас.

Он был привязан ко мне, и я любил его. Я люблю его по-прежнему, конечно, но сейчас мне кажется: кто-то посягнул на наши отношения, чьи-то пальцы оборвали невидимые ниточки, связывавшие нас воедино, и мы медленно расходимся. Когда Саулюс родился, мне было девять лет, и я сразу же понял, что мое положение в семье круто изменилось. Все внимание — Саулюсу, ласковые слова — Саулюсу, лакомые кусочки — Саулюсу. А мне что? «Посиди с Саулюкасом и смотри, чтоб не плакал». Я толкаю коляску, Саулюс тихо посапывает. Но не успевает мама уйти, как он закатывает такой концерт, что деваться некуда. «Не смотришь за ребенком… Не любишь братика», — твердят мне без конца, а я целыми часами нянчу его и думаю, как бы развязаться с этой «бедой». Как-то я даже кран у плиты открутил. Решил в комнату газа напустить — чуть-чуть, чтоб Саулюс заснул наконец. Я — большой, мне ничего не будет, я успею закрутить кран. Газ ши-

пел, в комнате уже слышался сладковатый запах. Я то и дело бегал на кухню — может, уже хватит? Нет, еще. Еще чуточку. Саулюс лежал в комнате, в коляске, и все равно ревел, сучил голыми ножками. «Сейчас ты у меня замолчишь!..» — сказал я; вдруг закружилась голова и подкосились ноги. Я присел на табуретке в кухне и, как в тумане, видел шипящую горелку. «Надо бы закрутить», — подумал я и поднял было руку, но она повисла, как тряпичная. Хлопнула дверь... Я пошатнулся, перед глазами все перекувырнулось и уплыло куда-то, растаяло...

Открыл глаза я уже в больнице. Поначалу не понял, где я, а когда все вспомнил, закричал: «Саулюкас!.. Где Саулюкас?..» Я едва расслышал свой голос.

Саулюс был здоров, как огурчик.

Все винили маму. «Безголовая... Оставила газ и ушла. Счастье еще, что скоро вернулась». — «А может, хотела развязаться? П-шш, и дело с концом...» — «Говорят, все художники того... чердак у них не в порядке...»

«Мама, это я... я...» — наконец признался я и заплакал.

Мама прижала меня к себе одной рукой — другой она качала Саулюса.

«Я знаю, — сказала она. — Я все поняла…»

Мне стало страшно, кажется, я только теперь понял, что мог натворить.

Саулюс-то об этом и не знает. И не узнает никогда.

— Хочешь, Арунас, я убегу из садика.

— Саулюс! Саулюс, что ты там?.. — издали кричит воспитательница. — Дети, хватит, стройтесь!

Саулюс смотрит на меня и думает, что я большой и могущественный — как добрый брат из сказок, который помогает, спасает всех и сурово карает обидчиков.

— Хорошо, только не сейчас. Я еще приеду…

Почему я обещаю? Чтоб он ждал и надеялся?

— Саулюс! Кому я говорю, почему не слушаешься?

Воспитательница уже нервничает, и Саулюкас пятится от забора.

— Правда, Арунас? Правда?

Я хочу сказать — придется чуть-чуть подождать, пока я стану на ноги, начну работать, пока у меня будет отдельная комната… маленькая комнатушка, в которой будет место только для нас с ним.

Я хочу сказать — мы будем жить вместе, вместе

ходить в кино, покупать конфеты и мороженое… и будем играть в войну…

Я хочу сказать… Но слова застревают в горле, пропадают, и я только киваю. Потом киваю еще раз…

Ужасно длинный день; время остановилось, что ли? Хотя, если подумать, что я сегодня свершил? Что я еще могу успеть за сегодня? Ничего… Ровным счетом ничего!

Мне хочется есть. С завтрака (стакан чая и булочка с маслом) маковой росинки во рту не было. Главное сейчас — поесть. А когда человек сыт, он тих, ленив и кроток. Как агнец. Вот я сейчас налопаюсь и стану агнцем. Спросите, чего я притащился в Каунас? Пошамать! Отчего бы нет? Чтоб вкусно поесть, можно и за сто километров прокатиться! Чепуха. Говорят, мужики летают в Москву за пачкой сигарет. Веселись, пока жив. Выше нос, молодой человек, а то он от размышлений вытянется, как шило сапожника.

Топаю по тротуару, высматривая приличное заведение. В столовку не полезу, не затем приехал.

Кафе «Тульпе». Сойдет!

Тяну тяжелую стеклянную дверь. Теплый дух кофе и пирожных. Внушительных размеров метрдотель смотрит на меня с сомнением, но не

говорит ни слова. Как полноправный гражданин, твердым шагом направляюсь в туалет. Зеркала, белоснежный умывальник. Красота! Говорят, за границей за удобства дерут деньги. Нет у тебя мелочи, хоть в штаны пускай. А у нас бесплатно. Не жизнь, а малина, ха-ха!

Встаю перед зеркалом, приглаживаю рукой волосы и, мотнув головой, говорю ему… этому другому:

— Кретин! Триста девяносто первое и последнее предупреждение!

Вижу пустой столик под эстрадой с черным блестящим роялем и опускаюсь в мягкое кресло. Я хочу есть! Не буду думать ни о чем, кроме еды. Буду есть и думать, что именно ем. Поев, буду думать, что именно я ел. Ха-ха, хорошо бы выпить вина. За нашу чудесную семейку и за дядю Повиласа, за Жирафу и за Светлану, за… А почему за Светлану?..

Напротив сидят за столиком девушки, потягивая через соломинки коктейль. Хохочут. Весело им, значит. Дальше заседает совет пенсионеров, слева — поддавшие парни… У окна… у окна… Черт!.. Жирафа! Наша Жирафа сидит. С какой-то женщиной.

Уйти! Надо встать и уйти, пока не заметила! Но

с какой стати мне уходить? Я же хочу есть. Я же решил не думать ни о чем, кроме еды.

Жирафа… В новом вязаном платье… Первый раз вижу на ней. Волосы аккуратно уложены. Улыбается. Совсем другой человек…

А может, все-таки лучше уносить ноги?

— Что закажете?

У столика стоит официантка. Ждет.

— Вина. И какую-нибудь закуску.

Я бросаю взгляд через плечо. В руке Жирафы сверкнул бокал.

— Двести граммов вина.

Кресло мягкое, в нем хорошо сидится.

Я стараюсь думать только о еде.

ПЯТНИЦА

Катаюсь на троллейбусе. Как и вчера. Вокзал — Антакальнис. Антакальнис — вокзал. Полная горсть билетиков по четыре копейки, и ни одного счастливого. Оказывается, не так просто купить счастье за четыре копейки. Я уже не надеюсь, что настроение сегодня станет лучше. Поганое настроение. Просто жуть.

Троллейбус набит битком. Кончился рабочий день, все спешат, толкаются, наступают друг другу на ноги. Кондукторша кричит, как на базаре. Ревет младенец. Кто-то честит мамашу — почему, мол, не заткнет ему глотку. Нервный, раздраженный народ — кажется, вот-вот начнут бить друг другу морды.

Внимательно разглядываю входящих. Нет. ЕЕ нет. Глазею на толпу, плывущую по тротуарам. Не видать. ЕЕ не видать.

Ну, конечно, я псих. Знаю это, а все равно сижу и жду, как чуда какого-то. Хотя давно не верю в чудеса. Но только чудо может снять этот кошмар, который растет, заслоняя все, и как бы заковывает меня в броню.

Утром вылез из дому и — бывает же такое! —

столкнулся нос к носу с Жирафой! Хотел смыться, но она заговорила со мной, пришлось плестись рядом.

— Сколько мне лет, Арунас? — неожиданно спросила классная, и я уставился на нее, как баран на новые ворота. — Я не старуха, мне не пора на пенсию, а?

— Что вы… Вы еще совсем…

Классная рассмеялась. Я вроде и не слышал никогда, чтоб она так беззаботно хохотала.

— Слышь, Арунас, я уже бабушка! У меня внук.

Я аж покраснел. Знал ведь ее дочку — года два назад кончила нашу школу с серебряной медалью. И вот, значит…

— Железно, — буркнул я.

Жирафа снова рассмеялась, на этот раз уже, конечно, надо мной.

— Время бежит, Арунас, нас не спросясь. День проходит, остается воспоминание. Хорошо, когда есть о чем вспомнить. И когда не стыдно вспоминать.

Думал, что буду держаться молодцом и нахально глядеть ей в глаза, но почему-то опустил голову. Как будто за мной вина. Нет, не то, что вчера сачковал, что отца не привел. До того остро почувствовал свою вину, что даже захотелось

попросить у нее прощения.

У школы нас обогнал Юозас с книгами под мышкой. Бросил взгляд через плечо, хитро осклабился. Хотел за ним погнаться и врезать, но сдержался. Пускай они там хихикают в классе, пускай думают, что подсыпаюсь к Жирафе… А ну их всех!

На первой перемене она отыскала меня в коридоре. Просто не верится, что человек может так резко измениться. Будто переоделась Жирафа, и снова была точь-в-точь такая, как всегда — усталая, вконец измотанная, замученная школой, шумом и еще, видно, этими бумагами (Списки? Отчеты? Объяснительные записки?), кипу которых держала в руках. Эти бумажки — вроде щита, она швырнула бы их на пол, если бы только была уверена, что без них не окажется безоружной и сможет устоять перед «семью ударами меча, которые каждый день опускаются на плечи педагога». Правда, это отец говорил, не она. Отец вообще-то избегает говорить при мне об учителях «не так», но иногда не выдерживает, срывается: «Я вроде обглоданной селедки в газете». Или: «Сделал что-то или нет, неважно, были бы только бумажки да чтоб они выглядели подходяще».

— Зайди к директору. Сейчас же, — сказала Жирафа. Хотела добавить что-то, но передума-

ла — повернулась и зашлепала прочь.

Без стука открыл дверь. Директриса, стоявшая у окна, аж вздрогнула. Из поднятой руки выскользнуло круглое зеркальце. Цапнула его, не поймала, и зеркальце покатилось по ковру, исчезло под шкафом. Директриса щелкнула пудреницей, спрятала ее в сумочку, постояла минутку — пунцовая, будто я настиг ее за неблаговидным делом. Правда, тут же взяла себя в руки, важно села за стол. Глаза у нее были усталые, лицо какое-то блеклое.

— Отец знает?

— Да, — соврал я.

— Почему вчера не пришел?

— Некогда ему было.

— А сегодня?

— Придет…

Директриса поджала губы и уставилась на меня, как на гадкого жучка: раздавить, мол, или живьем вышвырнуть в форточку?

— Где сейчас ваш отец?

Я пожал плечами.

— Отвечайте на вопрос.

— Не знаю. Может, на работе.

Бросила взгляд на исчерканный листок календаря, набрала номер.

— Будьте любезны, товарища Гульбинаса. Положила трубку.

— В техникуме его нет.

Набрала новый номер — наш, конечно. Слышал, как в трубке раздаются редкие гудки.

…Когда я вчера вечером вернулся, отец уже стелил себе постель. Покосился на меня, аккуратно расправил простыню, взбил подушку. Потом сел и низко опустил голову.

— Иди, поешь.

— Не хочется.

Потоптавшись у дверей, я двинулся было в свою комнату, но отец так же тихо спросил:

— Выпил?

— Малость.

— С кем?

— Один.

Отец глянул на меня исподлобья. Не поверил, конечно. В одиночку ведь пьют только неизлечимые алкоголики. А к ним меня отец еще не причислял все-таки.

— Нам надо побеседовать, сын.

Я-то знал, о чем он собирается беседовать.

— Если недолго.

— Тебе некогда?

— Нет, почему… Но тебе же спать пора.

— А может, я не сплю… Ты знаешь, я теперь совсем не засыпаю!.. — Голос задрожал, но отец совладал с собой, уцепился руками за кушетку и горько усмехнулся. — Это, конечно, никого не волнует. Сам виноват. Наверно, сам… Что твоя мать ушла и тебя бросила… Может, сам виноват… Не мог же я подумать, что возьмет и… Я думал, семейные узы… думал, есть такие узы, которые не разрубишь топором. А она разрубила!

— Хватит папа! — крикнул я. — Если ты об этом хотел говорить, то я пошел спать!

— Подожди… Мать, какая она ни есть — это твоя мать!

— Не говори о ней, прошу, а то я, честно, слушать не могу…

Нет, это еще не запланированная тема собеседования. Это всего лишь вступление, которое я по-хамски оборвал.

— Вот о чем я хотел у тебя спросить… — помолчав, заговорил отец: — Что ты о себе думаешь, когда так живешь?

Я рассмеялся и тут же замолк, чтоб не дергать отца зазря.

— Ничего.

— Ничего… Значит, ничего. Так я и думал — ничего ты о себе не думаешь. Вчера вернулся в

двенадцать, сегодня в одиннадцать. А уроки, учеба? В дневнике — двойки, замечания. И ничего…

— Ничего.

— Ты потому ничего не думаешь, что всем обеспечен, только птичьего молока недостает.

От этих нравоучений я всегда зверею.

— А как же, в прошлом все было по-другому…

— Что ты смыслишь в прошлом? Я в школу в деревянных башмаках ходил!..

— Я бы тоже ходил, только их уже нету.

— Не паясничай! Чтоб скопить на книги, я питался одним хлебом, а то картошку в мундире обмакну в соль и ем.

— А теперь книги дешевые и за учебу не надо…

— Молчать! Мы не о танцульках думали, не о выпивке. В годы оккупации мы рисковали жизнью, взяли в руки оружие… Ухмыляешься! Не нравится, да? Всем вам не нравится, когда правда глаза колет.

— Вы эту свою правду, бывает, так затаскаете, что хоть уши затыкай.

Отец дернулся, вскочил и пошатнулся даже — не знал, что сказать да за что ухватиться. Снова сел и весь как-то обмяк.

— Остроумно, сын. Да-да. Остроумно и трогает до слез… — Он просто давился горькими

словами. — Мой сын бросает вызов старшему поколению. Ему наплевать, что мы вынесли на своих плечах… что боролись… Наплевать, да?!

Отец задыхался, будто его душили; на уголках губ блеснули белые пузырьки пены. Мне бы промолчать, ничего бы не ответить, но меня уже несло, я просто не мог остановиться:

— Наплевать! На всех, которые сейчас пристрастились пускать мыльные пузыри!

Отец сжался, как бы ушел в скорлупу. Так и застыл, сгорбившись, замолчал. И оттого, что я так легко скрутил его, мне стало еще поганей на душе.

— Наплевать! — повторил я, чтоб лишний раз уколоть отца, и тот негромко ответил:

— Хорошо, что нас не слышат… Со стыда бы сгорел.

— Мол, сыночек не топает по следам отца? Ха, ха… А может, я хочу свои следы оставить!

— Следы грязных ног. Грязных ног…

Странное дело, но в этот миг мне показалось, что я и впрямь стою заляпанный с головы до ног грязью, что с моей куртки, с кончиков пальцев капает черная липучая грязь. Медленно сжал пальцы. Ладони влажные и холодные. Холодный пот стекает по лицу, по спине.

Ночью отец метался, вставал, курил. Я тоже не мог заснуть. В ушах зудел вопрос отца — что ты о себе думаешь? Неужели я, правда, не думаю? Может, привык, чтоб другие думали за меня? Чтоб другие давали, а я брал. Да еще ныл: почему не мне первому? Почему так мало, почему не так, как я хочу? Я… Кто же этот — «я»? Мне скоро стукнет семнадцать — но кто же я, все-таки?

— …Его дома нет, — директриса швырнула трубку и вопросительным взглядом пригвоздила меня к стене.

Я представил отца, как он сидит в приемной поликлиники, прижав руку к груди под пиджаком. Совсем седой. Я только сегодня утром заметил, как быстро он седеет и стареет. «Не знаю, что со мной, но вот тут ноет», — пожаловался он тихонько, будто сказал: «У тебя рубашка грязная, переоденься». Вроде и не было вчерашнего разговора. Завтракали мы стоя. Он все отхлебывал чай, и когда я спросил, почему он ничего не ест, ответил: «Не хочется. Потом». Мне тоже не хотелось есть, но я жевал через силу, чуть ли не пальцем в рот запихивал, и все подбирал слова, пытался выдавить: «Тебя в школу вызывают…» Но отец обмолвился: «Придется в поликлинику заглянуть, пускай посмотрят». На землистом ли-

це и в тусклых глазах проглядывало страдание, и я побоялся усугубить его. У меня ведь сплошные крайности: то я нахален и груб, а то мягок, даже сентиментален. Что это — трудности роста?

Из дома мы вышли вместе. Во дворе расстались. Я поглядел на сутулую спину отца и подумал: «Ползет, как на похоронах».

— Мы, кажется, договаривались, что ваш отец придет? — спросила директриса, явно не зная, как со мной быть.

— Он, наверное, уже в пути, — сказал я, чтоб успокоить женщину и побыстрей вырваться из этой клетки. Но директриса решила вернуться к нашему предыдущему разговору.

— Вы, разумеется, сделали выводы?

— Да, конечно.

— Тогда скажите, кто вас подбил на такое мероприятие, как газета?

Она была ласкова, как лиса. Даже дружески улыбнулась.

— Кто-нибудь намекнул, предложил?.. Может, кто из взрослых?..

— Я сам. И пустая болтовня на собраниях.

— Что вы хотите этим сказать?

— Уже был звонок. Я могу идти на урок?

— Разумеется…

Я-то ушел, но она, бедная, осталась решать неразрешимые задачи по педагогике. Что и говорить, экстравагантный «Арберон» плюс я — это тебе не $a^2 + b^2$. Формулу тут не подсунешь.

...Чувствую, что в троллейбусе никого больше нет, и выскакиваю в открытую дверь. Антакальнис, кольцо. Народу мало. Смеркается, вечер тяжелый и мрачный, видно, скоро пойдет дождь.

По улице не спеша удаляются две девушки. Одна вроде знакомая, и я кидаюсь вдогонку. Неужто?.. Обгоняя, бросаю взгляд через плечо. Вот псих! — усмехнувшись, замедляю шаг. А может, и хорошо, что это не Светлана. Она ведь прошла бы мимо, не удостоив меня взглядом. Не стала бы со мной разговаривать. Рассердилась на меня насовсем. Но почему я о ней да о ней? Вот кретин! Думай о том, что тебя ждет завтра!.. Да, сегодня вечером, хоть тресни, а придется сказать отцу. Не обрадуется старик, да никуда не денешься... Придется выслушать хорошенькую проповедь. Я наберусь терпения, как Прометей, прикованный к скале, я даже не пискну, когда меня начнут воспитывать на героических примерах. И директриса, и отец, и комсомол. Вот именно — и комсомол!

Сегодня на перемене ко мне подошла Юрате.

— Завтра тебя будет обсуждать комсомол.

Я посмотрел на нее, выпучив глаза.

— Дашь объяснения перед классом.

— Кто приказал?

Я знал — такое не могло стрельнуть в голову ни Юрате, ни кому-нибудь еще из нашего класса.

— Директриса накачала, да?

— Не выдумывай. А когда обсудим, покайся.

И смешно, и зло берет.

— Попроси у нас прощения, ладно?

— Ты понимаешь, что несешь?

— А что, не так? Внесем в протокол, а протокол, наверно… Кто его знает… всегда лучше признать свои ошибки и покаяться.

— Мне не в чем каяться! Да еще перед вами… Все вы знали, все писали, все хохотали. Хорошо было? Красиво?

— Я ничего не знала! — испугалась, даже руками замахала Юрате. — Ты не путай, Арунас. Ты не впутывай кого не надо. Нам же протокол придется писать!..

Была бы она пацаном, зубов бы не собрала, честно.

Я повернулся и поплыл в густом потоке, залившем широкий коридор. «Молчать? Просить прощения? Каяться?..» Им хочется очередного

представления, а после него похлопают меня по плечу и скажут: «Не принимай близко к сердцу».

…Дворничиха подметает тротуар, и я издали огибаю удушливое облако пыли. Поглядываю на девушек. Нарядные, душистые, они спешат на танцы. Фыркают в кулачок, смеются… Ночью парни их будут провожать домой. Они будут целоваться в подворотнях, в темных коридорах и под липами. Может, и Светлана… Нет, не надо думать о ней. Кто она мне? Никто. Ни-кто!

Вскакиваю в троллейбус и спрашиваю который это. Чудесно — домой!

Домой? Слушать мораль?

Троллейбус качается, убаюкивает; вот бы он ехал и ехал без остановок…

Из щели в дверях торчит бумажка.

«Я у Мартаса, через улицу, дом 93, кв. 3. Бенас».

Для кого эта записка? Для меня?

Старый каменный дом с облупившейся штукатуркой, почерневшими стенами. Лестница ведет вниз. Полумрак. Из-под ног бросается кошка. Воняет мочой.

На старинных дверях едва различишь цифры:

2… 1… 3. Здесь! Слышны голоса, вой музыки. Нажимаю кнопку. За дверью бренчит звонок. Проходит целая вечность, пока открывается дверь и появляется Мартас. Рубашка расстегнута, лицо пышет жаром.

— Кого?

Удирай пока не поздно. Чего ты сюда пришел и кого здесь ищешь? Ну, живо!..

— Арунас! — Бенас увидел меня из комнаты. — Это мой кореш.

Мартас делает шаг в сторону.

— Обознался в потемках.

В комнате накурено, хоть топор вешай. Под потолком два крохотных окошка, за которыми мелькают ноги прохожих.

Бенас крутит транзистор. Лихорадочные ритмы джаза, вой труб, грохот ударников.

— И сегодня ты не в школе… — сам не знаю почему, говорю я, и Бенаса передергивает — до того осточертела ему учеба!

— Да пошел ты знаешь куда! Надоел!

Мартас весело смеется. Только теперь я замечаю, что за столом, привалившись спиной к стене, дремлет еще один парень. На столе две бутылки. Мартас наливает из одной крохотную рюмку.

— Выпей.

— Я, вообще-то…

— Долго тебя просить? Винцо.

Выпиваю рюмочку кислого вина. Мартас пододвигает ко мне стакан.

— Запей.

Я жадно запрокидываю стакан, и глаза у меня лезут на лоб. В полумраке, надеюсь, не видно, как я по-рыбьи хватаю ртом воздух.

— Это… это водка…

— Не заливай — водичка, — хохочет Мартас, а мне аж жарко становится. Сам не знаю — от водки или от ярости.

— Не буду я.

Ставлю стакан. Задеваю ногой пустые бутылки, они катятся по полу.

Мартас все еще смеется, а Бенас говорит:

— Чего ты к нему привязался, он же школьник…

Как будто Бенас сказал: он — маменькин сыночек… кишка у него тонка… он только молочко…

Беру стакан и выпиваю до дна.

Молчат, вроде и не заметили…

Бенас находит залихватскую польскую песенку, ставит транзистор на тумбочку, а сам устало опускается на стул.

На улице ревут машины, по потолку ползут косые полосы света. Темнота сгущается стремительно, набрасывая на все тяжкий покров бессилия, и мне кажется, что я проваливаюсь в глубокую яму, откуда уже — рыпайся не рыпайся — не выкарабкаться.

— Свет включите. Почему не зажигаете?

— А зачем? — отзывается Мартас. — Я каждый день жду темноты. Хоть в потемках никто за мной не смотрит и не учит.

Они молчат в полумраке, как туго набитые тюки. Под ними жалобно скрипят стулья. Слушают Барбару Рыльску? Ничего не слышат?.. Мне как-то не по себе.

— Чего так сидеть, Бенас?

— Повремени, пойдем.

— За тех, кто в море, — говорит Мартас и наливает из одной бутылки в рюмки, а из другой — в стаканы. Втроем мы выпиваем и запиваем.

— Подонки! — кричит парень за столом. — А мне… Мне-то не надо?

— На, подавись, — Мартас наливает и ему. Выпив, парень снова отваливается от стола.

Молчим. Тишина тянет нас ко дну, как мутная вода; не будь здесь транзистора — с ума бы сошли.

— Бенас…

— Не хнычь, уже идем.

— К девочкам, да? — спрашивает парень, бухая кулаком по столу; бренчит стекло. — Хочу девочек! Почему сегодня нет девочек? Слышь, Мартас?

— В порядке самодеятельности. Свобода… — хихикает Мартас.

— У меня трешница есть!

— Прибереги подтереться…

— Ариведерчи, — бросает с порога Бенас.

Прохладный воздух омывает лицо. Голова кружится, во рту гадкий вкус.

— Постой, — говорит Бенас и заходит в телефонную будку. Бросает монету, набирает номер и ждет. Долго ждет. Вешает трубку, набирает снова.

— Кому звонил?

— Ты богат? — в свою очередь спрашивает он.

— Пятнадцать копеек.

Махнув рукой, Бенас принимается рыться в карманах, Находит рублевку. Кладет на левую ладонь, прихлопывает правой.

— Дай-ка свой гривенник.

Из магазина выходит с бутылкой.

— Ягодное, сойдет… Потопали ко мне.

Я не хочу, чтоб Бенас снова брякнул: «школьник!», и послушно плетусь за ним на шатких ногах.

Наливаем по полстакана красного вина и сидим, осоловело глядя в грязный пол. Бенас кладет руку мне на колени, крепко, до боли сжимает.

— Собачья жизнь!.. — вздыхает он.

Встает, сняв куртку, швыряет ее в угол, заправляет красную рубашку в штаны, затягивает широченный ремень.

— В понедельник опять на работу. Опять… Стоишь у пресса, сунул железку — динь! — бросил. Сунул другую — динь!.. И так все восемь часов и двенадцать минут. Слышишь? Каждый день так. Целую неделю, месяц, круглый год.

— Противно, конечно, но должен же кто-то это делать.

— По-твоему, я автомат?

— Послушай…

— Послушай… Сидит автомат на почте и шлепает на конверты штемпеля. Усек? Каждый день шлепает. У него спрашивают: «Как тебе не надоест?» А он, этот автомат: «Да что ты, я же каждый день новую дату выбиваю!» Вот оптимист!

Бенас смеется, прищурившись, засунув кончики пальцев в карманы штанов.

— Давай, раздавим эту бутылочку, старик, и к черту политику.

Я только пригубил — меня передергивает от одного запаха вина. Колыхаясь, удаляются стены комнаты, свет лампочки мучительно режет глаза, я зажмуриваюсь, и меня подхватывает теплый поток. Открыв глаза, вижу, что Бенас взял гитару. Поставив ногу на стул, стоит, не касаясь струн, и тупо смотрит на обклеенную «звездами» стену.

— Отравилась, — говорит Бенас. — Я портрет вырезал.

— Кто?

— Бета Карден. Не захотели признать ее голос.

— Вот дура.

— Жертва капиталистического строя.

Бенас несмело проводит пальцами по струнам, а потом ударяет изо всех сил, будто пытаясь остановить прорывающуюся ярость.

Пам-та-рам парам-пи,

Па-па ра-ра…

Пам-па-рам парам-пи…

Прищелкивает языком, трясет головой, стучит ногой по стулу. Этому завыванию нет конца, целую вечность будет повторяться один и тот же мотив.

Пам-па-рам парам-пи

Пам-па ра-ра…

Бросаю взгляд на часы. Одиннадцать, давно пора домой. Надо же сказать отцу, чтоб завтра…

Аккорды гитары дробят тишину — кажется, огромные голодные птицы долбят клювами по жестяной кровле, собирая рассыпанные крошки.

— Мне пора домой, — говорю я себе, но липкая истома спутывает ноги, приклеивает к стулу, заволакивает глаза белесым туманом.

Я люблю музыку, а джаз обожаю. Тоже ведь мечтал играть на гитаре. Когда прошлой весной нам предложили благоустроить территорию фабрики, пообещав купить за это инструменты для джаза, мы ринулись работать. Вычистили, посадили деревца, устроили спортплощадку. И все — за неделю! Вкалывали как последние ишаки. У нас будет свой джаз! А кто будет играть? Хотелось всем, чуть не передрались за будущие электрогитары, ударники да саксофоны. Наконец-то шефы перевели деньги на счет школы. Ура! Устроим у себя приличные танцы, не придется больше таскаться по клубам. Трижды ура! И опять… известие. Директриса за наши кровные денежки приобрела пятьдесят шелковых знамен.

Мол, все обратят внимание, когда мы на демонстрации прошагаем мимо трибуны. Вся колонна под шелковыми знаменами!

Мы прошагали. А когда полагалось крикнуть «ура», лишь кто-то по нечаянности открыл рот. Потом, мы слышали, директриса поставила на вид завучу и преподавателю физкультуры, что они не подготовили нас к демонстрации — «ведь испортили прекрасное зрелище».

Я мечтал, ты мечтал, он мечтал, она мечтала, мы мечтали… Мура все это, пора уже домой, надо сказать отцу…

Тихо и нежно звенит гитара. Знакомая мелодия, прекрасная мелодия. Бенас мурлычет ее, а потом — как-то робко, будто смущаясь — начинает петь. На меня накатывает тоска — хоть сядь да реви, положа голову на стол. Я подпеваю Бенасу. Голос срывается, но потом набирает силу.

А на сердце тоска…
Ветер воет в песках,
Гонит черную грозную тучу…

Мы поем с таким надрывом, как будто на нас обрушилось все отчаяние второй половины двадцатого века.

Так погибла сосна,

Голубая сосна,

Обнимая песчаную кручу…

Замолчав, долго вслушиваемся в рокот струн, который неудержимо удаляется, убегает, а в комнате становится пусто и страшно.

— Идем! — вскакивает Бенас и разливает остаток вина по стаканам.

В свете уличного фонаря смотрю на часы — полдвенадцатого. Мимо проползает пустой троллейбус с надписью «В парк». Идет в обнимку парочка; остановилась, целуются.

Голова жутко тяжелая. Временами все как-то зыбится, летит, кажется, что проваливаюсь в яму.

— Незаметно, что я… пьян? — спрашиваю у Бенаса, подумав, что предстоит разговор с отцом.

— Ни в одном глазу, старик. Ты у меня молоток. Только побудь маленько на воздухе.

Бенас забирается в телефонную будку. Хлопает дверцей, но она перекошена, не дается.

— Общежитие? — слышу я голос Бенаса и не узнаю его — нетерпеливый какой-то, сиплый. — Позовите из сто тринадцатой Броне… Нету? Не пришла еще?.. Посмотрите, пожалуйста, а вдруг…

Бенас опускает руку с трубкой и стоит, свесив голову, глядя на черную металлическую коробку, как бык на красную тряпку. Сейчас замахнется, разнесет вдребезги телефон, ударит ногой по стеклянной двери…

— Бенас, — прошу я, — не сходи с ума. Сдалась она тебе, эта Броне…

Бенас выходит из будки, поводит широкими плечами, сутулится.

— У нее есть… Успел-таки кто-то примазаться… А гложет, давно уже был?

Бенас смотрит на меня так, будто это я примазался к его Броне. Аж холодок по спине пробегает, когда он так ворочает белками глаз.

— Может… Все может быть…

Бенас кладет руку мне на плечи, привлекает к себе, и мы идем по пустой и тихой улице. Хорошо идти, когда у тебя на плече сильная и тяжелая рука Бенаса.

Темный подъезд. Открытая дверь парадного. Мы стоим на лестнице и смотрим на пустынный переулок. Бенас насвистывает сквозь зубы. Куртка нараспашку, под ней алеет рубашка.

— Может, не стоит, Бенас.

— Дрейфишь?

— Нет, я… Да понимаешь…

Напротив, чуть поодаль от улицы, светятся окна общежития техникума. То тут, то там окна гаснут. Вот бегут две девушки; опаздывают, бедняжки, боятся, что запрут дверь.

— Может, другой раз, Бенас.

— Не зуди, старик. Хочу посмотреть.

Бенас переминается с ноги на ногу, насвистывает, стреляя глазами.

— Голова разламывается. И тошнит, — жалуюсь я.

— Два пальца в рот, и пройдет, — советует Бенас.

— Не умею я так.

— Пора научиться.

Считаю, сколько еще светится окон в общежитии — семь. Одно погасло, еще одно… Которое погаснет сейчас?

— Они! — сипит Бенас, затягивая меня поглубже в подъезд. — Они… Сука… Сволочь… И этот… Сейчас я ему… чтоб больше его ноги тут не было!

— Бенас, не дури. Слышишь, Бенас?

Но Бенас меня не слышит. Ничего он не слышит и не видит — только приближающуюся парочку. Теперь и я узнал — она, Броне, с каким-то парнем. Парень держит ее под руку, идет большими шагами, а она семенит рядом.

— Поможешь мне! — шепчет Бенас. Нет, он не просит моей помощи, он приказывает.

— Да что я… я не знаю…

— У тебя кулаки что надо, пустишь их в дело, если нужно будет. А для начала пустяк, слышь, старик? Когда он вернется, попросишь прикурить…

— Да я…

— Попросишь прикурить, понял? А потом смотри…

Не раз я уже дрался с парнями, иногда даже до крови, но исподтишка ни разу не нападал. Это же подлость! В голове стоит звон, все тело заливает жар, мысли едва ползут.

— Возвращается, ну!.. — шипит Бенас, и я выхожу с ним на улицу. Бенас насвистывает. Куртка застегнута, правая рука — за пазухой; никогда он так не ходит.

— Попросишь прикурить, — шепчет он. — И если что!..

Медленно бредем по тротуару. Слышим, как за спиной приближаются шаги.

«Стоп!» — В тени деревьев Бенас берет меня за локоть и громко спрашивает:

— Сигареты есть? А, правда, у меня есть. А вот спичек…

Бенас делает шаг налево. Я поворачиваюсь к парню, который обгоняет нас. Рослый, плечистый. «Нелегко придется», — думаю я.

— Прикурить не найдется?

Парень останавливается, засовывает руки в карманы брюк. Я даже не замечаю, когда Бенас успел замахнуться, только слышу глухой удар. Пошатнувшись, парень упирается руками в тротуар и, резко вскочив, кидается на Бенаса. Тот отскакивает, я подставляю парню подножку, и он снова шмякается на колени. Бенас врезывает ему, когда он пытается встать. Парень падает, стукаясь затылком о цементную плиту тротуара. Бенас рычит что-то и снова бьет. Еще раз бьет лежачего. Меня охватывает ужас.

— Перестань, хватит!

Ловлю Бенаса за руку, которая мерно двигается то вверх, то вниз.

— Уйди! — шипит он.

— Убьешь, Бенас! Что ты делаешь, Бенас!

Мой голос громко разносится по пустой улице, и Бенас, вскочив, замахивается на меня:

— Цы-ыц!.. Цыц, гад, чего тут мое имя… Цыц!

Парень лежит без движения. Вот застонал. Я вижу на тротуаре кровь и кидаюсь прочь.

— Придурок, сюда… дворами!

Не останавливаюсь. Жму во все лопатки, но мне кажется, что я топчусь на месте, что к ногам привязаны камни — до того они тяжелые — как во сне.

В укромном переулке, пока город безмятежно спит, оглушительно стучат мои шаги.

Лестничный пролет качается. Не пролет, а натянутая веревочная лесенка. Сердце вот-вот выскочит, упадет на цементную ступеньку и с хрустом разобьется, как шар с новогодней елки. Я задыхаюсь. Ловлю спертый воздух ртом и знаю — надо успокоиться, ведь ничего не случилось. Я просто спешил домой — чтоб не опоздать. Ведь час-то поздний. А сегодня ночью ничего такого не случилось. Нигде я не был, ничего не видел; подыши и успокойся…

Сегодня ночью ничего не случилось, и город спит спокойно, вы уж поверьте…

Как вор, стою у двери квартиры. Чувствую спиной прохладу каменной стены. На штукатурке, заляпанной грязной масляной краской, мелом нарисована кляча. Смотрю на нее, и она оживает, щерит зубы, превращается в огромного зверя, который вот-вот прыгнет на меня.

Внизу в подъезде раздаются шаги, и я, торопливо отперев дверь, ныряю в темноту.

Нет, нет, сегодня ночью ничего не было. Я не сделал ничего плохого.

Отец спит. Или только притворяется. Много ночей ведь не спал, может, хоть сейчас… Разуться и на цыпочках… Есть шанс, что не проснется и не заведет свою шарманку… Черт, половицы пересохли. Никогда они так не скрипели, как этой ночью. Но ведь этой ночью ничего не случилось. Ничего!

Дверь комнаты визжит. Нет, он же слышит, и нечего тут… Не будь идиотом, действуй смелей, от лекции все равно никуда не денешься…

В потемках натыкаюсь на стул. Тишина. Отец даже на другой бок не перевернулся. Но почему… не застелена кушетка? Кушетка чернеет, и отца нет. Открываю дверь в свою комнату, зажигаю свет. Ах, старик засиделся где-то, наверно, заливает за галстук. Вернется веселый, с букетом цветов. «Дети вручили. Я их люблю, они так верят во все, что я им…»

Поскорей лечь, пока не вернулся. Лечь, и тогда уже все продумать. Хотя думать не о чем, этой ночью ничего не сучилось, да, не случилось!

По дороге в туалет замечаю на столе белый листок, прислоненный к банке с увядшими астрами. И деньги рядом, червонец. Что это?

«Мой Арунас, сегодня меня кладут в онкологическую больницу. Говорят, так надо, на обследование. Но это пустяк, ненадолго. Оставляю деньги, завтра обязательно заплати за телефон, а то выключат. Вечером позвоню».

Снова оглядываюсь — мне кажется, что отец сидел где-то спрятавшись и теперь стоит у меня за спиной. Он пошутил… Перечитываю записку. Почерк нервный, незнакомый, и мне снова кажется, что писал не отец. Пошутил кто-то…

Нет, нет, сегодня ночью ничего не было, честно.

Но почему его кладут в онкологическую больницу? Что такое — «онкологическая»? Что бы это значило? Среди книг отца нахожу словарь, торопливо листаю страницы, одну надорвал даже. Черт, азбуки, и то как следует не знаю. Когда же я хоть азбуку выучу?

Омлет…

Оникс…

Онкология (греч. онкос «опухоль», логос «понятие», «наука») — мед. наука об опухолях, новообразованиях.

Об опухолях, новообразованиях. Об опухолях?.. Открыл ли этот словарь отец перед тем, как уйти в больницу, посмотрел ли он, что значит слово «онкологический»?

Сажусь на отцову кушетку, прислоняюсь к стене и закрываю глаза. Перед глазами розовое марево — языки пламени лижут мои руки и лицо.

Ведь ничего этой ночью не было, послушайте! — хочу крикнуть я, но мой голос пропадает в розовом огне.

СУББОТА

Собрав все силы, поднимаю правую руку и смотрю на свои пальцы. Пальцы скрючились, как у древнего старца, дрожат — никогда я их не выпрямлю. Никогда я не встану и не пройдусь по комнате. Мягкое кресло укрыло меня от этих водянистых глаз, что следят за каждым моим движением. Цепко следят за мной из окон и дверей, подсматривают сквозь стены. Они надвигаются, эти глаза, как резкие фары, бьют в лицо, щеки у меня горят.

Гулко стучат шаги. Кажется, марширует взвод солдат. Далеко, едва различимо. Но шаги приближаются, гул крепчает, и вот уже дрожит мебель в комнате, качается мамина картина на стене. Перед моим лицом поднимается тяжелый сапог и угрожающе застывает.

— Нет-нет! — кричу я, заслоняя руками лицо.

Шаги удаляются, но я со страхом жду — вдруг они снова…

Вот бы заснуть! Забыться безмятежным и долгим сном. А потом продрать глаза. «Это был только сон…» Но я не засну. Всю ночь ведь не спал. Как сел на кушетку, так и просидел, пока

утренний свет, хлынувший в окна, не погасил лампочку под потолком. Посмотрел на словарь иностранных слов, еще раз прочитал, что значит слово «онкология», и вышел на улицу. Жужжали полупустые троллейбусы, политый асфальт дышал прохладой. У булочной из крытой машины, как из печи, вынимали свежие, теплые булочки. Только теперь я вспомнил, что со вчерашнего обеда ничего не ел. В животе забурчало, как будто там кто-то встал, перевернулся на бок и снова захрапел. Я напился у пожарного крана, умыл руки, мокрыми ладонями протер лицо.

Больница уже просыпалась. В окнах мелькали лица больных, белые халаты медсестер и врачей. Я слонялся по узкому выщербленному тротуару, поглядывая через улицу на мрачный четырехэтажный дом, скрывающий в своих стенах страшные тайны. Больница напоминает мне тюрьму, проходя мимо нее, я всегда замедляю шаг и с опаской гляжу сквозь железную ограду на больных в полосатых халатах.

Заныли ноги, и я, прислонясь к металлическому фонарному столбу, обшаривал взглядом окна — не мелькнет ли знакомое лицо.

У высоких ворот больницы остановилась машина неотложки, погудела. Я бросился к проходной

и, никем не замеченный, прошмыгнул во двор.

В вестибюле было безлюдно. От цементного пола повеяло холодом, меня даже бросило в дрожь. За открытой дверью виднелся темный, уходящий вдаль коридор.

— Тебе чего, паренек?

Вздрогнув, я обернулся. Передо мной стояла пожилая санитарка, в руке она держала «утку».

— Я… Здесь мой отец. Вчера положили.

— Еще не пускают… Как ты сюда попал?

— Да так… в дверь.

— Приходи после обеда, паренек, пускаем с пяти.

Санитарка была неумолима, и я отступил. Но едва она ушла, я снова налег на дверь.

Большие часы показывали без пяти восемь. По коридору прогремела тележка с тарелками и кастрюлями.

Запахло кухней.

Мимо бежала тоненькая сестричка, и я попросил ее вызвать отца. Она посмотрела на меня строго: нельзя, мол! Я сказал, что вчера его положили совсем неожиданно, что я ничего о нем не знаю, что я… уезжал, и вот вернулся, нашел дома записку.

— Позовите его, сестричка…

Голос у меня был такой умоляющий, что сестра жалостливо улыбнулась и велела мне подождать.

Минуты превращались в часы, я все время боялся, что придет сердитая санитарка и выгонит меня на улицу. Подошел к окну, стал смотреть на двор. Мужчина с длинной метлой подметал широкую бетонную дорожку, словно косил сено на лугу — широко замахивался, степени) переставлял ноги. За его спиной упал большой каштановый лист. Мужчина обернулся, сердито посмотрел на дерево и цапнул метлой медный лист.

Рядом раздались шаги, и я задрожал.

— Это ты…

Отец был в куцей пижаме в желтую полоску; выглядел он дико, как подросток в младенческой одежонке. Сухощавое лицо еще больше осунулось, глаза смотрели печально.

— Ты это зря… в такую рань…

Я ждал, что он спросит: «Где ты был вчера вечером? Я всю ночь звонил… Где ты был?» Рассказать ему? Все ему рассказать: и что его вызывают в школу, и что я этой ночью… Но ведь этой ночью ничего не было… Ничего…

— В такую рань…

Почему он меня ни о чем не спрашивает? Неужели ему все равно, где я провел вечер? И когда я вернулся? — неужели ему, правда, все равно?

Отец огляделся, словно поискал, где бы сесть. Но в вестибюле не было скамьи, даже стула. Он оперся рукой о подоконник. Белая морщинистая рука.

— Что у тебя, папа?

Отец смотрел на плакат, пришпиленный к белой стене. «Рак — излечимая болезнь». Он читал это; его губы шевелились.

— В груди что-то. Скорей всего, ничего. Ну, конечно — ничего. Пройдет. Может, от курения.

— Что они говорят, врачи?

— Думаешь, знают? Не знают. Слепые, как котята.

— Может, подозревают что-то?..

— Говорят, все будет хорошо…

Отец горько улыбнулся, откашлялся, прижал руку к груди.

— Ну, конечно, все будет хорошо. Денек-другой, и вернусь…

От этой наигранной беззаботности меня охватил страх.

А отец снова уставился на плакат: «Рак — излечимая болезнь». Эти слова притягивали его глаза,

будто магнит. «Рак — излечимая болезнь...»

— Ты уже большой, в таком возрасте...

Почему он мне это сказал? Он ведь должен был спросить... Нет, я сам должен был ему сказать. Я попытался вспомнить, говорил ли я хоть раз с ним откровенно. Так, чтоб выложить все-все, как другу. Не вспомнил. Видно, это было давно. Мы рано отгородились стеной и, хоть жили вместе, были далеко друг от друга.

— В тот вечер я хотел тебе сказать кое о чем, а не вышло. Ты стал меня обвинять. Сказал, что я — самозванец. И теперь я не знаю...

Отец говорил тихо, глядя в окно, и, наверно, ничего не видел. Помолчал минуточку, зажмурясь, мотнул головой.

— Я ведь не спекулировал своими воспоминаниями. Не ради славы выступал. И не потому, что мне нравились аплодисменты и цветы. Не потому...

Он стиснул зубы, губы у него посинели. Слова давались ему с трудом.

— В другой раз, папа...

— Я должен тебе сказать. Я должен, Арунас, только не знаю как... Я хотел одного — чтоб у молодых, у детей было прошлое. Чтобы они его уважали. Чтоб знали: их отцы свято верили в то,

за что клали головы. А больше всего хотел, чтоб верил ты, сын.

Мне показалось, что отец оправдывается передо мной. Но если он чувствует свою правоту, почему он оправдывается?..

— Друзья-партизаны говорили бы о подвигах. Друзей уже нет. Они не расскажут.

— И ты обо всем этом рассказываешь, как будто ты сам?..

Отец втянул голову, словно опасаясь удара.

— Я партизанил, и я имею право сказать — мы сражались! А погибших я не обкрадывал. Я рассказывал о них и за них. Для себя я ведь не хотел ничего.

Отец как-то подобрался, ощущая свою правоту, потом прижал правую руку к груди, подержал так.

— У меня давно болит вот здесь, в груди... Я знал, что здоровье у меня... что, как ни верти, а придется лечь...

— Ты знал, папа? — Я хватаю его теплую руку; значит, он чувствовал, что к нему подкрадывается болезнь, и боялся даже себе признаться в этом?

— Я одного только хотел — подробней рассказать о нашем отряде. Я говорил о друзьях,

которых знал. И молодежь теперь уже знает, что был такой Дарюс, молодежь знает, каким он был. Я все время думаю о нем. Ему было шестнадцать, когда он пришел в отряд... Ты слышишь, сынок?

Я понял намек отца. Вздрогнул и до боли сжал кулаки. Если бы пришлось, разве я бы не взял в руки оружие? Ты не думай, отец...

Отец прислонился спиной к стене. Долго смотрел себе под ноги, потом, вздрогнув всем телом, уставился на плакат: «Рак — излечимая болезнь». Прижал руки к груди, словно утоляя боль.

— Врач, — прошептал он.

Сердито покосившись на нас, врач исчез в открытой двери.

— Ругаться будет. Ты иди, Арунас. Я вечером позвоню. Будешь?

Он спросил у меня, буду ли я вечером дома.

— Позвони, папа, — сказал я и подумал: «А буду ли я вечером дома?»

Ласково прикоснувшись к моему плечу, отец отошел. Потом остановился, постоял немножко, вернулся.

— Завтра приходи. Завтра воскресенье, пускают с одиннадцати. И принеси мне сигареты.

— Тебе же нельзя курить.

— Мало чего... Принеси.

Он торопливо удалился, шаркая шлепанцами, его негромкие шаги растаяли в утреннем гуле больницы.

Медленно, на подгибающихся ногах, я спустился по лестнице и остановился во дворе. Поднял голову к окнам больницы, словно меня позвали. В одном из окон мелькнуло лицо отца. Отец провожал меня внимательным взглядом. Я поднял руку — такую тяжелую, безжизненную — и помахал ему. «До завтрашнего утра, папа!»

«Рак — излечимая болезнь…»

Дорожка аккуратно подметена. Ни одного листочка. Слышен какой-то смутный звук — ж-жих, ж-жих! И в конце дорожки, под молодым каштаном, я увидел мешковатого верзилу — дворника, который раньше подметал дорожки — он лупил палкой по веткам дерева. Замахнется и ударит изо всех сил. Листья летают, парят. Падают, раскалываются каштаны. Высокие сапоги раздавливают их, будто каштаны живые. Ж-жих, ж-жих! — лупит палка по охряным листьям, облепившим густые красивые ветки.

— Что вы делаете?

Он не услышал меня. Ж-жих, ж-жих!

— Что вы делаете?

Дворник оглянулся, в поднятых руках у него —

палка. Уставился на меня непонимающе, как на ненормального.

— Зачем вы бьете?

— А все равно упадут, — убежденно ответил он и жутковато рассмеялся. — Раньше или позже — один конец.

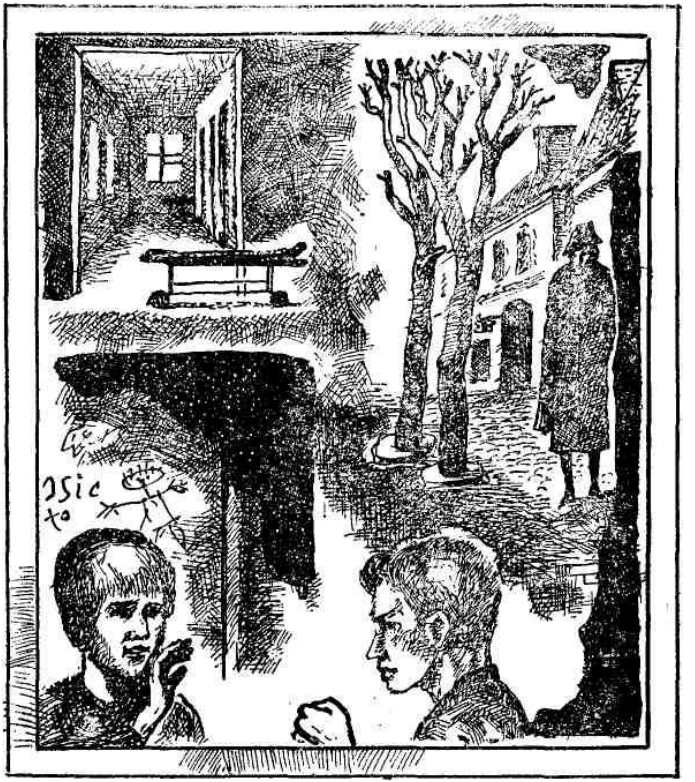
И снова бацнул палкой по сучьям. Обернулся и добавил:

— Ждешь не дождешься, пока сами… Поскорей бы на помойку. Всю дорожку загадили!..

Ж-жих! Ж-жих!

Я выбежал со двора, обнесенного высокой железной оградой.

«Раньше или позже — один конец», — гремели в ушах слова и раздавался жутковатый шорох листвы: ж-жих, ж-жих…



...Телефон стрекочет автоматной очередью, я вскакиваю, открыв рот и вытаращив глаза. Меня ищут! Или это дверной звонок? Может, сразу пришли забрать!

Снова телефон. Повелительный, требовательный, угрожающий трезвон. «Где ты был этой ночью?» — спросят. Но я ведь нигде не был. Этой ночью ничего не случилось, и ничего я не знаю. «Мы тебе напомним. Напомним каждый твой шаг». Конечно, они напомнят. Они уж напомнят. «Ты все время обвинял других, кого теперь обвинишь? Кого обвинишь?..» — «Я никогда не думал… Я слишком мало думал…» — «Может, скажешь — не сам виноват? Скажешь, не сам ты исподволь катился к этому?..»

А может, отец звонит?

Поднимаю трубку и торопливо отзываюсь:

— Алло! Это я…

Короткая пауза.

— Почему ты не на уроках, Арунас?

Женский голос. Знакомый… Жирафа!

— Что-нибудь случилось с тобой, Арунас?

— Со мной? Ничего, что со мной может?..

— Почему ты дома?

Почему я дома? Почему я сижу здесь и жду? Чего я жду?

— Арунас…

Голос у Жирафы усталый, но спокойный — она все еще верит в меня, не теряет надежды.

— Арунас, это правда, что «Арберон» — имена

вашей четверки?

Арберон? Какой еще Арберон? Нет никакого Арберона. Это был домик, построенный из детских кубиков. Развалился. Нет его и не будет никогда.

— Арунас…

Мы хотим быть взрослыми, а все еще играем в детские игры.

— Сейчас кончится второй урок.

— Я приду, я обещаю.

Она кладет трубку, а я еще долго стою и слушаю, как негромко тикают часы. Потом поднимаю глаза, обвожу взглядом стены комнаты и неожиданно вижу портрет отца. Как я его не заметил! Отец перед уходом вытащил его из-за шкафа и повесил. Пыль с него стер. Почему он вспомнил о портрете именно сейчас, перед больницей? Правда, я как-то застал отца глядящим на этот портрет. Это было летом, давно уже. Он растерялся, будто застигнутый на месте преступления. Но почему именно сейчас… вчера? Угловатое, костлявое лицо, глубокая морщина на лбу. Отец, созданный мамиными руками.

Почему он повесил этот портрет? Чтоб я не остался один? В такой большой сейчас и такой пустой квартире.

На меня смотрят глаза отца.

Мамины глаза.

И спрашивают у меня: «Чего ты ищешь? К чему стремишься? Что собираешься дать жизни?»

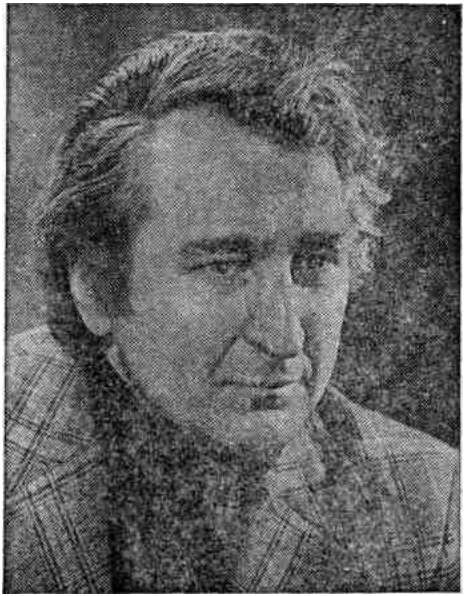
Кажется, моя совесть спрашивает.

Медленно вхожу в свою комнату и беру сумку. Тяжелую сумку с книгами.

Останавливаюсь в прихожей и не смею сделать шаг. Что меня ждет там, за дверью? Сегодня, завтра…

Перевод *В. ЧЕПАЙТИСА.*

Раймондас Кашаускас
ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ



Раймондас Кашаускас родился в 1934 г. в деревне Бирикай Тельшяйского района.

Окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Работал в редакциях журналов «Генис» и «Пяргале», консультантом в Союзе писателей Литвы.

Печатается с 1953 г. В своих произведениях трактует нравственно-этические проблемы недавнего прошлого и современности. Пишет рассказы для детей. Издано несколько сборников рассказов и повестей, роман «Невелики наши грехи» (1975). За повесть «Мотоциклисты» в 1974 г. удостоен премии Комсомола Литвы.

На русском языке вышли книги «Глаза моей матери» («Известия», М., 1973), «Невелики наши грехи» («Молодая гвардия», М., 1979) и другие.

Солнце подняло Бронюса с расшатанной койки. Он подобрал вчерашний окурок, затянулся и немного посидел, свесив ноги. В голове прояснилось, даже что-то блеснуло, будто стеклышко на дороге. Тогда он спустился вниз по скрипучей лестнице, умылся у водокачки, махнул обломком расчески по волосам. Что-то радостно дрогнуло в

нем, когда он двинулся по улице к гаражу, где за проволочной оградой стояли мокрые от росы машины. «Доброе утро», — бросил сторожу, у кого-то стрельнул сигаретку, сплюнул на замызганный пол в конторе с засиженной мухами Доской почета, правилами движения автотранспорта, подмигнул в облупленное оконце заспанной диспетчерше с сырыми волосами. Выезжая за ворота, ругнулся — лениво, беззлобно. Кто-то у него внутри еще не выбрался из ночного сна и потихоньку огрызался, когда его тормошили.

Этот кто-то проснулся, когда Бронюс уже был на шоссе. Дорога летела меж растрескавшихся глинистых холмов, взмывала ввысь над равниной. На стрелках, на никелированных частях машины весело плясали солнечные блики. Вот по рельсам катит поезд. Быстро вертятся колеса вагонов, усердно ходят паровозные шатуны. Кто кого — и Бронюс гонит, покуда поезд не скрывается в курчавой массе леса. По утрам у Бронюса настроение хоть куда, он и подбросит, если надо, а когда затормозит, высаживая пассажира, милостиво, точно делает одолжение, примет плату, не считая, сунет в карман.

В лощине длинные строения ферм, водонапорная башня, финские домики с застекленными

террасами. Снежными клочьями белеют птицы. Грузовик без тарахтения, с тихим и грозным подвыванием, летит под уклон. Бронюсов глаз схватывает желтую точку, которая близится к шоссе, только гораздо медленней, чем его самосвал. Тут Бронюса одолевает шальная лихость, и он несется вниз, к женщине, а та боится перейти и стоит у дороги, вся облитая солнцем, похожая на желтый цветок. Бронюса так и подмывает выкинуть шутку. То ли пугнуть, то ли покрасоваться. Но женщина — перетянутая черным пояском, в босоножках, с бидончиком молока в руке, с пробором в черных волосах, видна всего миг. Ветром летящей машины раздуло ее платье, песком сыпануло в глаза. Бронюса она скорее всего не видит — глядит против солнца. А он уже взбирается на холм, спешит туда, где дорога обрывается между двух синих стенок леса. Женщина пропадает в глубине круглого зеркальца. Кольнуло грустцой, но тут же он подумал: впереди еще долина, будет еще ферма и будет еще одна женщина у дороги. А ему только и надо что промчаться вихрем, настращать. Будто никакая это не женщина — просто желтый цветок у дороги.



Городок, весь утопающий в зелени, издалека напомнил Бронюсу, что сегодня он ничего, кроме сигаретного дыма, не держал во рту. Ест он обычно в столовках, придорожных закусочных, потом

от этой еды его мучает противная отрыжка, иногда рези под ложечкой. Бронюс развернул машину под окном и встал в очередь, глядя поверх людских голов на кассиршу — молодую, но уже чуть расплывшуюся женщину. Уставился нахально и откровенно, и та сразу почувствовала, что на нее смотрят — выпрямилась и сделала строгое лицо. Бронюс знает, что за сила его зеленоватые глаза. У женщины выступили красные пятна на скулах, а когда он приблизился, не выдержала, усмехнулась. «Баба — что радиоприемник: всегда включен, всегда ловит волну». Но Бронюс только сел да поел, шельмовато подмигнул ей, потом напялил свой линялый берет и опять сел за баранку. Лицо этой женщины тут же забылось, затерялось в сонме лиц, которых он столько перевидел на своем веку и все до единого перезабыл.

Дорога вела на запад. Скоро замелькали краснокирпичные здания Клайпедского края. Под морским бризом заколыхались травы, небо над соснами посветлело, точно отразило свечение вод. Бронюс нахмурился, задумался, подступили далекие воспоминания. И вдруг догадался, что же именно обрадовало его нынче утром. Эта радость всегда приходит к нему, когда он едет на запад, к морю.

Море он впервые увидел давно, еще юным парнишкой, когда работал грузчиком в совхозе. Шоферы устраивали у моря привал, купались. Закусывали в дюнах, пили водку. Он сидел на берегу и смотрел на огромное, до самого неба, зеркало в завитушках волн по нижнему краю. На этой работе, в совхозе, ему доводилось много ездить на грузовиках. Сидишь в кузове и смотришь сверху на незнакомые места, озера да речки, синь дальних лесов. Но то, что он увидел здесь, ему и во сне не снилось. Хотя нет, ему как раз и мерещилось впереди что-то очень светлое и бескрайнее, и он знал, что когда-нибудь это увидит. А увидел — встал обалдело, пронзенный жгучей радостью.

Вечером его машина несется обратно. Розовая тень уже переползла с шоссе на холмы, прячется в темных долинах. По обочинам то там, то здесь стоят люди, сбоку петляет подвыпивший велосипедист.

Опять подумалось о долине, о ферме и желтой женщине у дороги. Он погнал вниз, обегая глазами фермы, финские домики, но женщины не видать. Бронюс сбавил скорость, потом остановился, будто что-то починить, вышел из кабины. Поднял капот и стал копаться в моторе. Нака-

ленное ржавое железо обдает вонючим жаром. Бронюс дал мотору остыть, а сам уставился на серые окна домика, на большой висячий замок. Там должен быть кто-то — кого он хотел бы увидеть. Но в домике ни души. Только во дворе жалобно попискивают брошенные наседкой утята. Ему даже не верится, что когда-то он сам жил за этими серыми окнами, ходил по двору. Вдруг это был вовсе не он? Хочется что-нибудь вспомнить, опознать какой-нибудь предмет на улице, что-то выудить у себя в памяти, но ничего не получается. И лишь потом его осенило: там играл радиоприемник, который он собрал из старых деталей. По вечерам Бронюс гасил свет и слушал. Приемник чихал, заливался свистом, в темноте краснели раскаленные волоски ламп. Небось, рухляди этой и в помине нет, антенну и ту содрали. Ему ничего не жаль, просто любопытно. Бронюс перемахнул канаву, побрел по свекольным грядкам к домику. Окна затянуты белыми занавесками; но сквозь щелку ему удается разглядеть, что находится внутри: у стен две никелированные кровати, застланные пикейными покрывалами, в глубине блестит полированный шкаф, под потолком — розовый матерчатый абажур с длинной бахромой. Комната дышит простотой и опрятностью, и

это его взбесило. Нарочно заявлюсь как-нибудь. Напьюсь, и здрасте. Я, когда выпью, смелый, куда хочу, туда и иду.

Бронюс свернул на узкую дорогу, над которой пещерным сводом сомкнулись деревья. Кое-где сквозь листву просачивались солнечные лучи. Остановился у озера, обведенного сплошной каймой леса — тут и ели, и лиственные породы, деревья такой высоты, что вся поверхность темна от перевернутых отражений стволов, лишь посередине светлеет пятачок неба. Сумерки мягкие, теплые, и кажется, до всего рукой подать. Киоски закрыты, всюду накидано бумажек, пробок от пивных бутылок. В воде оживленно плещутся какие-то люди — мужчины и женщины. Бронюс смотрит на деревеньку за озером. Горстка избенок, овин с продавленной крышей, охотничий домик из силикатного кирпича. Бронюс взял в машине спиннинг, вошел в воду, стал закидывать, потом сматывать, не отрывая глаз от противоположного берега. Потом разделся и поплыл. Вода парная, только когда поглубже опускаешь ноги, касаешься студеных струй. Бронюс поплыл на середину озера, с силой выбрасывая вперед руки.

В это время на дороге показался трактор. От оглушительного тарахтения поднялось с де-

ревьев воронье, загомонило, закружило над вершинами. Трактор встал у небольшой избушки, тут же появилось несколько человек. Один из них по приставной лестнице забрался на крышу, пробил дыру и закрепил трос. Бронюс догадался, в чем дело, чуть было не заорал: не надо, перестаньте! Торопливо, суматошно поплыл к берегу, но сообразил, что он совсем голый, повернул обратно. А трактор дернул, кровля отчаянно затрещала, как в сильную бурю, и большой кусок отлетел наземь. В зияющей дыре чердака обнажился дымоход. Когда Бронюс вышел из воды, люди уже обступили выдранный клок, точно охотники добычу. Бронюс обомлел, во все глаза глядя на деревеньку, сжалось сердце. Он понял, что его сердцу еще долго так сжиматься, и не унять ему эту боль, не избавиться от нее. Больше не вернется та пора, когда они, целая орава братишек-сестренок, жили в домике на озере. Он не знает, куда они все подевались. К родственникам его никогда особенно не тянуло, да и они, видимо, в нем не нуждались. Он почувствовал себя одиноким, заброшенным. Порядком стемнело, когда люди с трактором закончили свое дело. Бронюс подумал: нечего здесь околачиваться, и двинулся к машине.

Близ шоссе засветились окна магазина. Внутри толклись люди. Захотелось заглянуть туда, поболтать. Он оставил у обочины машину и пошел по тропинке. Сквозь ветви одичалого парка пробивался свет фонарей, от цистерн с горючим шел крепкий нефтяной запах. Бронюс знал, что по старой памяти люди еще называют это место имением.

Внутри, у бочек, уставленных пивными бутылками, он увидел лица знакомых шоферов. Поздоровался с каждым за руку, взял пива и встал рядом. Все пили, глядя, как женщины берут крупу, как старичок в пшеничных усах примеряет в уголке сапоги.

— А ездить-то Бронюс у нас выучился, — сказал пожилой шофер.

— Факт! Между прочим, дома у вас на окраине очень даже приличные, — заметил Бронюс в ответ.

— Тоже скажешь — дома! Только и есть что крыша над головой. Ну, яблоки свои, ягода, а больше ничего… Где же ты столько мотался?

Бронюс старательно вертел в руке бутылку, глядя, как к стенкам льнут пивные пузырьки. Вздохнул, как подобает повидавшему свет, бывалому человеку.

— Да уж, поездил… И на Севере был, и в Казахстане, и в Сибири.

— Ишь ты, небось деньжат поднакопил. Оттуда порожняком не возвращаются.

Он смотрел на старика — только что узнал его. Вот кто ни чуточки не изменился. Все такой же старенький, с лихо закрученными усами. Смотришь на него, и кажется: ничего не меняется на белом свете. Бронюсу представилось, что сам он еще малыш, а старик — крепок и мудр, как когда-то. Вот-вот дрогнут где-то рядом светлые мгновенья — только руку протяни.

— Дядь, а дядь, что там снесли на озере-то?

Старик пристально глянул на него синими очами.

— Не узнаете? Я Визгаудас, Бронюс.

— А-а… Броник… Не знаю. Я там больше не живу. А ты-то где квартируешь?

— Свет велик, дядя.

— Кому нынче охота в земле ковыряться, — вздохнул старичок.

— А на что тебе земля, дядюшка? — встрел чумазый, как сам черт, механик. Он старательно заталкивал в карман поллитровку. — Вон в магазине всего дополна. Землицы захотел, тоже мне!

Народ заулыбался. Механик подмигнул остаю-

щимся и вышел.

— С Зитой как — опять закрутил? — спросил кто-то.

Бронюс помедлил, прикидывая, не пропустить ли мимо ушей. Выждал порядочно — пусть думают, что ему все это трын-трава.

— Не-а. Только по утрам вижу ее у фермы.

— У фермы? Да ты, парень, сбрендил! Она там давным-давно не проживает. Там теперь другая, жуть до чего похожая, прямо сестра родная.

— А сама куда подевалась?

— Кто ее знает. Пока здесь жила, хаживали к ней, то тот, то этот. Сердце у Зиты шелковое, всех пускала. Одевала, одному даже мотоцикл купила. На ферме хорошо зарабатывала, было с чего покупать.

— И тебя бы еще приголубила, — кивнул кто-то.

Снова прокатился смешок. Нехороший, мужской. Не смех, а слюна, которую исторгали эти круглые, самодовольные хари у бочек. Бронюсу стало противно, как от прокисшего пива. Почудилось, будто стоит он один среди широченного поля, а эти рожи торчат далеко, с самого края, вроде камней. Так бы и заорал — заткнитесь. Им бы только языками чесать. Он долго глядел на

них, щурился, а потом вдруг решил, что в общем-то они ничего парни. И сам чуть ухмыльнулся. Все молчали. О чем-то думали, каждый сам по себе, как бы давали понять: ничего не поделаешь, дружище, рады бы помочь, да нечем.

Бронюс залпом допил пиво и, не сказав даже до свиданья, провожаемый удивленными взглядами, вышел. В аллее пусто. Музыка из репродуктора, — конечно, когда-то он ее слышал, — бередила грустные, смутные воспоминания. Бронюс словно видел перед собой молоденького парнишку, что бегал сюда из деревеньки на озере, вертелся у машин, пока его не взяли грузчиком. Потом хлестал с работягами водку в магазине, хотелось пить наравне с другими, чтобы не дразнили сопляком. Просыпался ночью в парке, дрожа от сырости, и жалобно плакал. Теперь внутри у него такая пустота, такой холод — никаким воспоминаниям не согреть. Он со злостью подумал о тех, кто стоял в магазине, спокойненько хлебал пиво. Выхлещут свое пойло, разойдутся по домам. Строить их дома начал он, Бронюс. Клянчили, навязывались с выпивкой. Домишки аккуратно обнесены заборами, цветут цветочки, наливаются яблоки, в домах ребята играют на пианино — учатся, стало быть, музыке. Эти люди посмеялись над ним,

над Зитой, утерлись и пошагали домой. А его и близко не подпустили — он им неровня.

Когда Бронюс спохватился, что пришел к себе, день уже померк, дотлевало лишь тусклое заревце на западе. Не тянуло ни к соседям, где подрагивал голубоватый свет телевизора, ни в комнату, ни к подруге продавщице. Сел на лавочку и стал смотреть, как укрывается в сумерках пыльная, измолоченная машинами улица. Потом еще долго пронзительно желтела полоска неба, золотились деревья и дома, полыхали окна.

Желтый свет опять напомнил ему о женщине у дороги. Бронюсу стало совестно своих мальчишеских выходок, да и женщина, как выяснилось, не та. По этой дороге на запад, к морю, он ездит давно, чего только он не видел здесь — всего не упомнишь! Остались одни только багровые закаты, высоченные кипы красных облаков, червонные лужи на дороге. Как-то он ехал и смотрел на эти красные облака — в глазах завертелись алые кольца. Обомлел, когда из-под колес грузовика кто-то выскочил. Резко затормозил. У обочины ежилась смуглая девчушка в грубошерстном домашнего тканья платье, с фанерным сундучком в руке, вся заляпанная грязью. Она до того напугалась, что у него самого страх как ру-

кой сняло. Захотелось даже ругнуть эту девчонку. Но она была до жалости грязная, да еще с черной траурной нашивкой на рукаве, так что он просто открыл дверцу и махнул ей — садись.

Когда же, когда это было? Он все перезабыл, точно ничего и не было. Остался только этот багровый вечер. Такой не забудется — до того краснющий, что по сей день горит в глазах. Какая она была, эта девушка, как разговаривала — он не помнит. А если и помнит, то очень смутно, едва-едва. И многое в его жизни так же уходит, растворяется, ничего не остается.

Нет, правда — что-то в ней было особенное, и он словно лишь сейчас это увидел, расслышал. Особенным был ее голос — мягкий, низкий голос, который часто ему грезился, а сейчас почему-то не приходил на память. Она разговаривала ласково и осторожно, смягчала звуки и слова, и начинало казаться, будто все кругом становится мягче — и вещи, и люди, о которых она рассказывала. От ее губ все делалось детским. Будто все — дети, а она большая мама. А ему только того и надо. Когда все по-детски, бывает просто и безопасно. Все и делалось, точно играя, точно в шутку. Как-то он смазал ее по лицу, но и это вышло как бы в шутку.

Но однажды, в этом самом финском домике, в сумерки, когда на душе было тошно от какой-то дикой, необычной тишины, она ошарашила его своими словами. «Береги меня, ты должен меня беречь, ведь я одна, никого у меня нет, только ты, — вот что было произнесено этим мягким голосом. Ее сжигал изнутри какой-то огонь, и молодое, смуглое лицо от него выглядело багрово-жутким. Наверное, у нее было предчувствие, она хотела его предостеречь. От этих слов у Бронюса по спине мурашки поползли. Стало страшно. Это было уже не по-детски. Она сказала что-то единственное в жизни, но он не знал, как быть. Страх и больше ничего, — вот что он чувствовал, и хотелось бежать от нее, от этих ужасных слов, единственных в жизни. Он отвернулся, подошел к окну, стал смотреть, как делают дорогу. И больше уже ничего не слушал. По этому шоссе, думал он, мы двинем к морю, будем в дюнах пить водку. Он все стоял да смотрел и все боялся обернуться к ней, затаившейся в сумерках.

По ступенькам кубарем скатилось что-то крохотное, беленькое, мчится навстречу. Бронюс протянул руки — две маленькие, теплые ладошки шлепнулись ему в горсть. Он любит трогать детские ручонки, перебирать пальчики, слегка

трепать ушки.

— Где ты был, а, Бронюс? — спрашивает девочка.

— На море, Аушра.

— Я тоже была на море.

— Кита видала?

— Кита? — она потрясенно молчит, потом честно мотает головой. — Не-а, не видала.

— Значит, это было не море, а просто лужа. В море живет кит.

— Никакая не лужа — море! — девочка выдернула руки, замолотила по бронюсовым плечам, голове. — Не видал ты никакого кита. Врушка! Бронюс, а почему у тебя зубы железные?

— Я камни грызу!

— Врушка, — повторила девочка, но уже не так запальчиво. Выждала и с хитрецой глянула на него. — Приходи к нам есть, ладно? Вычистишь колодец — мамка тебя накормит.

Они немного помолчали оба, потом Аушра спросила:

— Бронюс, а ты далеко ездил?

— Ага, далеко.

— А там были противные дети?

— Были.

— А противные люди?

— Тоже были.

Она опять долго, старательно думает.

— А каких людей больше — противных или добрых?

И он тоже задумывается, будто сам хочет знать наверняка, чтобы сказать ей чистую правду.

— Добрых.

Послышался голос матери, и девочка спряталась за дерево.

— Нет, Аушра, беги к маме, заругает, — и он чуть не добавил: «меня».

У него отнимают что-то милое, родное, на что у него нет права, к чему он прикасается украдкой. Дети всегда к нему льнут, удирают от родителей. Родителям то ли завидно, то ли досадно — ведь он, как им представляется, не такой, как все: а вдруг он узнал то, чего никто на свете не ведает и не может объяснить детям? У родителей в глазах тревога — нет, он не как все, он еще, чего доброго, заманит их деток туда, где все н е т а к и е! Бронюс и сам знает, что он не такой. Все давно его обскакали, все заняты делом, а он застрял на полдороге между детством и взрослой жизнью. Бывает, что ему страшно ощущать себя большим. Это так трудно. И он опять бежит туда, где все большие становятся детьми, где все — и большие,

и малые — играют в детские игры.

Иногда он идет в заводской клуб. Целый вечер торчит у двери, среди парней, тех, кто глазеет на танцы, а сам не умеет; Бронюс стоит, подпирает стенку, колонна этакая, и так пока не кончатся танцы. Потом выходит вместе со всеми, тащится через спящий городок. Его тянет на вокзал. Стоит увидеть поезд, как в груди мелкими волнами начинает поплескивать радость. В воображении встает провонявший карболкой вагон, жесткая полка, хриплое дребезжание репродуктора. Чай в стаканах с высокими металлическими подстаканниками, шахматы, привокзальные огни. Неоновые вывески ресторанов, поблескивание водки в рюмках. Незнакомые, но все равно где-то прежде слышанные голоса, в любом путешествии, в любом поезде одни и те же. Плач разбуженного ребенка. Нет у него никакого дома — ни на озере, ни в финском домике, — нет и не будет, потому что весь белый свет странствует, и ты тоже едешь, туда, где за лесами, в дальних краях, занимаются холодные алые зори, бросая розовый отсвет на снежные хребты гор. Не беда, если иной раз защемит сердце, что тает твоя жизнь, точно кубик льда в фужере… Охота пить, горланить, кидаться на шею незнакомым людям

и плакаться…

Однажды там, куда народ едет зашибать деньгу, чтобы потом спустить все до последнего в привокзальных ресторанах, там, где под леденящими ветрами быстро катится жизнь, случилась у Бронюса авария. Он лежал под грузовиком, обмотав лоскутом от рубахи глубокий порез на руке, и завинчивал гайку. Он знал: не починишь — пропадешь, — уже который день кряду бесилась пурга. В кабине, у него над головой, устроился его спутник — не бог весть какое, а все же начальство. Он знал, что такое пурга. И все равно отсиживался в кабине. Когда Бронюс сел за баранку и грузовик тронулся, человечек глянул на водителя с опаской. Должно быть, вид у Бронюса был страшный — лицо в кровоподтеках, и в нем самом, внутри, кипела дикая вьюга. А Бронюс знал, что теперь ему сам черт не брат, теперь он готов на все. Это случилось там, где у ребят иногда сдают нервы и ничего не стоит угодить за решетку. В человеке заложена тяга к бегству. Чуть что — давай бог ноги. Можно не задумываться, куда везут тебя поезда, самолеты, машины. Прикорни на железной койке, а когда осточертеет, начинай сначала, беги дальше.

Все слабее перестук колес, удаляется поезд.

Бронюс заглянул через окно в киоск, где на полках стояли бутылки водки, цветные ликеры, вазы с конфетами в блестящих обертках. Впился глазами в пачку денег на прилавке. Крупная белокурая женщина при ярком электрическом свете считает выручку. Щелкает костяшками счетов, шевелит губами, точно творит молитву, стягивает пачки бумажными полосками. В глазах у Бронюса — и не только в глазах, во всем его нутре — возникает что-то дурное, вроде озноба. Так зверь в лесной чащобе подстерегает добычу. Женщина вскинула глаза, пристально глянула в окно. Значит, почуяла его нехороший взгляд и хочет послать наперерез свой собственный — строгий, предупреждающий. Бронюс громко расхохотался, но вымученным, подлым смехом. Кивнул ей — обожду. На улице тихо, и как-то неладно, что в такой тишине в киоске всего одна продавщица и так много денег. Она тревожно огляделась, спрятала деньги в ящик. Бронюс отступил от окна, принялся разглядывать пустой перрон, где мирно светили желтые фонари, похожие на крупные цветы с поникшими головками.

Вскоре они уже мчали по шоссе. Свет от фар мотоцикла уводил во тьму, мазал по асфальту, выхватывая то столб, то запоздалого путника, то

фосфорные кошачьи глаза. Стрелка спидометра дрожала у самого края шкалы. Только на поворотах Бронюс чувствовал, что кроме него есть еще одна сила, будто и не человек, не женщина из киоска, а сам страх, стиснувший его торс крепкими, привычными к перетаскиванию ящиков руками. Остановились близ городка. Там переливаются огни, ухает барабан, временами доносится визганье скрипки. Оба они деревенские, обоим эта музыка многое говорит — тут и юность, и родное село, тоска разбирает: вспоминаются звездные ночи; песни, давние друзья-подруги. Присели на клевер под березой. Женщина молчит. Последнее время она молчит часами. До того упрямо молчит, что ни разговорить ее, ни рассмешить. Бронюсу не по себе от ее молчания. Захотел было обнять, но женщина бесстрастно сказала:

— Не лезь, Бронька. Не любишь, вот и не лапай. Не могу я больше так.

Он убрал руку, закурил. В тишине понемногу, но все громче начал подавать голос коростель. Бронюсу непонятно, какого рожна, после того, что было, ей еще понадобилась любовь. И где она раскопала такое слово! Дебелая тетка из привокзального киоска и — нате!

— Брось кобениться, — он кинул окурок и опять

потянулся к ней.

— Не лезь! — она оттолкнула его так, что он повалился. Ее глаза злобно блестели в звездном сиянии — не жди добра. И расхохоталась таким злорадным смехом, что слушать и страшно, и совестно. — А то давай поженимся, если любишь? Ох-ха-ха-ха… А я-то, дурная, все жду да жду…

Пронзительная и честная боль звучала в ее голосе, и Бронюса обуяла жуть, как тогда, давно, в сумерках, где были сказаны те самые, недетские слова. Захотелось встать и убежать от нее куда глаза глядят. Другие женщины от него ничего не требовали, все делалось как-то шутя, только по утрам бывало противно, хотелось поскорее все забыть. Но эта, уже отдавшая все, не отстает, сидит в темноте, уткнув подбородок в колени. Будто где-то блуждает, хотя на самом деле вот она, рядом, да еще какая грозная. Он задумался, постарался все вспомнить. Эта женщина всегда была ему чужая, точно из другого мира. С какой стати он с ней связался? Зачем она сидит с ним у дороги в клевере? Мало ли он встречал на своем веку людей — мужчин, женщин, все они так и остались ему чужими. Он отделялся от них, как судно от причала, и плыл себе один, а воспоминания пускал ко дну. И нигде, живя среди людей,

не повстречал он единственного, с в о е г о человека. Ему часто бывает холодно и бесприютно. Бронюс спрятал лицо в ладони. «Набрался бы как следует, пустил бы слезу». Словно угадывая его мысли, она сказала:

— Опять ты выпил, Бронюс. Тебе же нельзя. Набедокуришь, как в тот раз…

— Я же вступился за друга, сгоряча… Я всегда горячусь. Да это ерунда. Я и похуже кой-чего натворил…

— Опять? — ужас в ее голосе выдал, как сильно любит его эта женщина. И повеяло холодом, и захотелось сразу бежать куда глаза глядят. Ни один человек, когда-либо находившийся рядом с ним, не казался ему таким далеким и чуждым. Он боялся ее любви. — Бронюс, скажи ты мне, с чего тебя понесло в такую даль? Бросил все и поминай как звали!

— Многие ехали, вот и я тоже. Мне все приедается. Только машины — нет. Машина — дело верное, надежное. Ну, еще — подзаработать хотелось, пожить в свое удовольствие. Летал себе, вольная птица. А сейчас сижу и думаю: куда она подевалась, моя молодость. И ни беса не соображаю.

— Ах, ты, дурачок, — она погладила его по голо-

ве. — Когда только за ум возьмешься? Неужели не понял: не по тебе оно, летанье это. Ты не такой, как другие… И еще… Ругаешься ты, Бронюс, иногда жуть берет…

Она все гладила его по голове, и с каждым прикосновением он все больше чувствовал, как в нем нарастает ненависть к этой женщине. Телячьи нежности, да он их терпеть не может. Нежность выбивает почву из-под его ног. Бронюс против нежности бессилен. Он стыдится ласки, как чего-то недозволенного, нарочно старается быть грубым, колючим. И сейчас: он оттолкнул ее, кинулся к мотоциклу. Стрелка спидометра опять поскакала вправо, и опять понесло в темноту отчаянный вопль: «Убьешь! Сумасшедший!»

Потом он лежал на своей железной койке, слушал, как в корзине шуршит белка, как надсаживается тишина в пустом управлении автотранспорта. За дверью в темноте стоят сейфы, в них заперты деньги, печати. Деньги и печати всегда попахивают «делом». Ночь разливается перед ним, точно мутная река, которую надо переплыть. Эх, если бы не она, если бы перескочить на противоположный берег, который желтеет вдалеке, озаренный солнцем, просвечивает сквозь тьму наподобие золотого луча. Там дорога,

там машины, люди. А в краю сновидений он остается один на один с собой, даже не услышит, как скребет белка.

Раньше ему никогда ничего не снилось. Сон был крепкий, наваливался вмиг тяжелой каменной глыбой. Подъем — и он опять готов работать несколько суток подряд, как трактор. Но сейчас сны приходят к нему, точно разорванные клочья его собственной жизни, причудливо искаженные, уродливые, непривычных размеров. Они никогда не бывают приятными. Поначалу Бронюс не придавал этому значения, сразу забывал, что ему снилось. А теперь даже днем из черных омутов сновидений выглядывает тоска, страх. Во сне ему все хочется взлететь, но что-то удерживает, не пускает. Он едет в поезде, мимо проносятся какие-то знакомые места, а ему все отчего-то страшно. Вдруг поезд исчезает, и Бронюс оказывается перед родной избой, будто никогда никуда не ездил. Или: он на стройке, зарабатывает, ого как зашибает! Кассирша выкладывает перед ним новенькие, звонко-хрусткие, точно жесть, банкноты — красные, зеленые, синие. Он рад: в кармане-то всегда пусто. Но деньги исчезают, как и возникли; хочется плакать, а голоса нет. Или вот он сидит в тюремной камере, сидит уже

давно, с первых лет своей жизни, и сидеть ему еще долго, может, весь век. Вот его выпустили. А ему страшно ступить за ворота. Все кажется, будто это обман, и скоро опять заберут.

Во сне ему всегда не везет. И живет он тут в невнятном сумраке, вечно его кто-то подкарауливает. Сны наводят тоску, в них горечь неудачника, осточертели они ему. С вечера Бронюс старается себе внушить, что ничего не приснится, вспоминает что-нибудь радостное, чаще всего из детства. Но светлые сны никогда не приходят. Он весь извелся от этих окаянных снов.

И сегодня вечером он опять ворочается на железной койке. Беспокойно, но как-то совсем по-иному. Он словно что-то предчувствует, словно ждет: вот-вот что-то будет, что-то случится, словно ночь он уже переплыл. Он идет за желтым лучом, который светит с того берега. Курит, бросает недокуренные сигареты, опять чиркает спичкой, смотрит на звездное небо, на улицу в ореоле фонарей. И прозрение наступает с красками утра, росистым воздухом, дорожным ветром. Снова эта женщина у дороги, вся желтая и лучезарная, точно не человек, а цветок. Теперь он знает, что желтый луч — это и есть она, от нее бьет свет с противоположного берега. Надо

только остановиться, вот и все. Правда, это не та женщина, которая тогда, когда он отвернулся смотреть на дорогу, произнесла единственные в жизни слова. Но где-нибудь, тоже у дороги, должна стоять и та, просто надо отыскать ее. А когда найдешь, встать и сказать что-то главное. Вот почему ему рисуется завтрашний день каким-то необыкновенным, что-то должно произойти, не стоит и засыпать.

Бронюс поднялся чуть свет и пошел в гараж.

И снова все катится, как и прежде, а может, прежде вовсе ничего и не было. Может, только сейчас все и начинается. И дорога на запад, и море, и шоферня — большие, сильные парни, которые распивают водку в дюнах. А славно было бы посидеть на песке, поглядеть на море — если бы не они, не водка. Но водка в конце концов — тоже неплохо. Глотнешь — мерзко, передергивает, а потом весело, тепло. А еще пуще кружится голова от моря. И от деревьев, и от девчонок. «Эй, Бронюс, смотри, не упейся, и так развезло. Да он драться лезет! Забирайся-ка ты, братец, в кузов, проспись на ящиках, если не можешь, как все люди». Море укачивает, не разберешь, море это или полуторка, и разбегается, удаляется синева лесов, мелкие деревушки, речки. Ого, сколько красок — прямо

радуга! Спокойно, спокойно, только бы не стошнило… «Слушай, Бронька, мужик ты или баба…»

Сегодня на шоссе он шпарит вовсю, гонит наравне с поездом, подвозит всякого, кто только «голоснет». Он балагурит, и люди смеются. Крикнул «привет!» желтой женщине возле фермы, и она тоже улыбнулась. Люди что дети, честное слово. Все так просто, даже подумать смешно — до чего все просто. Игра и больше ничего.

Надо же — краснокирпичный дом, который Бронюс проезжает чуть ли не каждый день! Стоит себе домина у шоссе, фундамент из тесаного камня. Всего один дом на всю равнину, и веет от него какой-то мрачностью. Бронюс и не подозревал, что в таком доме живут. Он ни разу не заметил, чтобы там кто-то был. Ни во дворе, ни поблизости. Только торчит у стены обломанное, обгрызанное скотиной рябиновое деревце. Похоже, что дом хранит какую-то черную тайну, которую хозяева доверили ему, а сами бежали. Марцелинас едет впереди, его машина, груженная тяжелыми ящиками, пугающе раскачивается, подпрыгивает на ухабах. Это он все затеял, Марцелинас. «Есть у меня на примете один дом. Хочешь, заглянем по дороге?» Бронюс пожал плечами, ему в общем все равно. Но согласился — он всегда соглаша-

ется. А когда увидел, что это и есть тот самый, краснокирпичный дом, пожалел, что согласился. Впрочем, Марцелинас заварил кашу, пусть сам и расхлебывает.

Вот оно что — он тут свой, Марцелинас-то! Поболтал во дворе с ребятишками — мальчиком и девочкой, дал конфеток, спросил, где мамка. Потом вошел в пустую холодную комнату, где стояли две железные койки, стол да плита. Хозяйка была молодая, в теле, блондинка, очень злая с виду. Как будто у нее что-то болело — голова или зуб. Она ничуть не удивилась, до гостей ей словно и дела не было, разве что Бронюса оглядела чуть пристальней — все-таки впервые видела. Ребятишки оба вместе забрались на кровать и захрупали леденцами. На чумазых мордашках сверкали бойкие глазенки диких зверят. Эти дети ничего не знают, совсем ничего, подумал он. Они живут в детских сновидениях, в блаженном неведении, а кругом взрослые играют в свои игры и подкупают их дешевыми сластями. Когда-нибудь узнают, а может, и не узнают никогда. Страшно будет, если так и не узнают. Ведь обмануть ребенка все равно что обмануть слепого.

Увидав эти глазенки, Бронюс понял: этот дом окажется для него не таким, как остальные. Пусть

ничего не произойдет, и назавтра не останется ничего — ни пьяной удали, ни гадливости на заре, ничего, совсем ничего. Останутся лишь эти двое малышей, которые грызут на койке леденцы. И с чего это они вдруг рассмеялись? Бронюс подмигнул им, а они — головы за подушку и покатываются еще громче. Неужели смеются над ним? Бронюсу стало неловко, но не смотреть на них он уже был не в силах. Вот тебе на — он и сам засмеялся. От плиты повернулись к ним глаза, освещенные багровым пламенем. Донельзя удивленные.

— Чего балуете? — прикрикнула мать. — Брысь на улицу. Обалдеешь тут с вами.

А они ее нисколечко не боялись.

— Мамка, ну что за ухажеры у тебя? — воскликнул мальчишка, видимо, подученный старшей сестренкой, и оба с хохотом ткнулись в подушку.

— Тоже мне! — Мать дернула к себе подушку, надавала обоим шлепков, но не слишком крепких, и вытолкала за дверь. — Не лезьте сюда.

— Зачем ты их выгнала, — заступился Бронюс, а детский хохот уже звенел в сенях, потом затих на дворе. Бронюс загрустил. Может, грусть закрадывалась в его душу вместе с прохладным сумраком, который опускался над равниной,

может, исходила от высоких деревьев и домов на горизонте, от полоски заката над морем, от одинокого рябинового деревца на фоне этой полоски. Вдруг почудилось, что здесь он уже когда-то бывал. Если не именно здесь, то на другой такой же равнине, слишком уж все знакомо. Даже эта горьковатая печаль-тоска.

— Скоро и вторая придет, — шепнул Марцелинас, когда хозяйка отлучилась из комнаты. — Подоит корову и придет.

— А дети — которой?

— Вроде бы этой. Да бес их разберет. Главное — не мои.

— Вот что, Марцелинас: я поехал.

— Чего-о?

— Поеду я. Мне тут не нравится.

— Как знаешь, — пожал тот плечами и спокойно оглядел комнату. — Мне это без разницы.

Но Бронюс и с места не сошел. Он ждал. Ему надо было еще что-то увидеть. Он чуял: что-то произойдет. Его тянуло поскорей уйти из этого дома, вот уже, казалось, выдернул голову, плечи, руки, увязли только ноги. Увязли там, в трясине черных сновидений, куда страшно заглядывать. Минутку он еще обождет, пока что-нибудь стрясется, пока совсем стемнеет, и равнина, деревни,

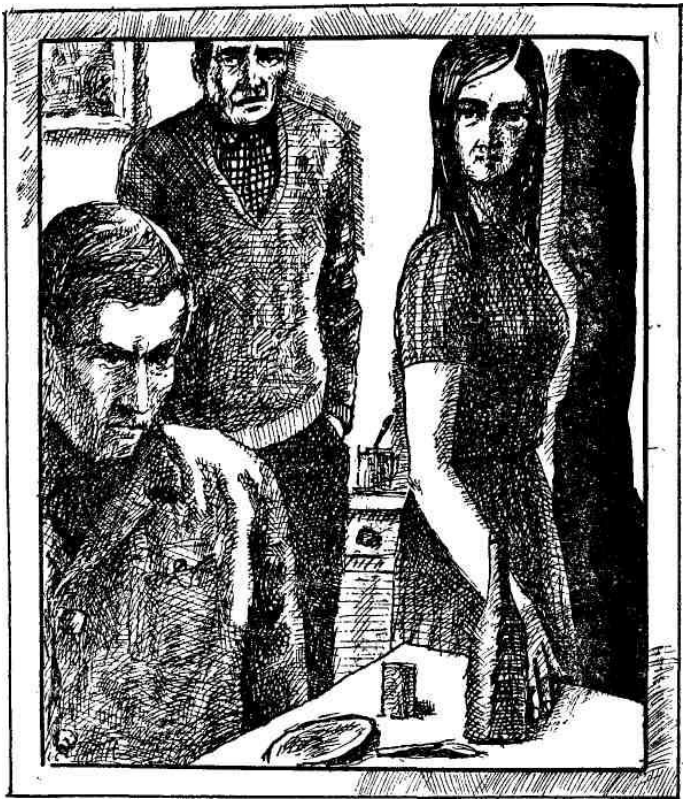
хутора на горизонте — все сольется в одно темное пятно, а в той стороне, где море, погаснет закат.

Послышались голоса, шарканье ног на пороге, и в комнату вошли двое мужчин, а с ними женщина. Мужчины сели без приглашения, а она наклонилась к огню, погреться.

— Холодина какая, прямо осень на дворе, — поплыл низкий, мягкий голос, и Бронюс вздрогнул. Это был тот голос — «береги меня, ты должен меня беречь...» Бронюс не видел ни хозяйки, ни Марцелинаса, ни гостей, сидящих в темноте. Только ее одну, Зиту. Она присела на корточки перед плитой, пламя бросало отсвет на ее лицо, на платье, оно жгло, резало глаза. Зита встала, вышла. Кто-то включил свет, но Бронюс по-прежнему глядел на плиту. Он не перестал глядеть туда, даже когда Зита вошла, переодетая, с невообразимо мерзкой стеклянной брошкой на платье. Она узнала его, Бронюс это чувствовал, узнала, но не подала вида, точно никакого Бронюса тут и не было.

Никто его не замечал, даже тогда, когда мужчины поставили на стол бутылки с водкой, когда женщины нарезали закуску, раздали стопки. Никто не подозвал его, даже Марцелинас, толстяк, его краснощекий друг. Бронюс понял: он

тут лишний. Сам придвинулся ближе и внимательно разглядел гостей. Один из них был крупный, черноволосый, с золотой коронкой, небольшим шрамом над губой. Он, видимо, уже успел приложиться, но самую малость, и оттого казался моложавым и разбитным. Бронюсу он сразу понравился. Обе женщины почтительно обращались к нему — Альбертас. Второй был вовсе еще молокосос — узколобый, стриженный ежиком, на шее для шика повязан платок. На нем была латаная-перелатанная брезентовая куртка. Скорее всего он состоял в оруженосцах при первом. Захмелел юнец порядочно и клевал носом, время от времени открывая глаза и окидывая всех подозрительным взглядом.



Гости хмелели, заговорили громче, принялись за анекдоты. Тот, здоровяк, обнял Зиту и, раскачиваясь, затянул:

Дай-ка, дай-ка,

Расцелу-у-ю звон-ка…

Потом повернулся к Бронюсу и подчеркнуто вежливо спросил:

— Почему это мы не пьем, а?

— Не могу, друг. Ехать надо.

Все уставились на него, один Марцелинас предательски отвел глаза. Хозяйка подмигнула Зите. Та кинула в нее хлебным мякишем и глупо ухмыльнулась: «Дурища…»

— Ага, товарищ, значит, так! А у нас в компании, между прочим, все пьющие… — он взял стопку и залпом осушил ее.

Теперь уже Бронюс нарочно решил: останусь и буду действовать им на нервы. Его бил озноб, как всегда перед дракой. А этот, Альбертас, все цеплялся:

— И к-куда же вам, скажите, ехать?

— К жене, к деткам, — ухмылялась хозяйка.

Все захохотали.

— Ну, раз к жене — тогда дело ясное, — закивал Альбертас.

Бронюс начал медленно, вызывающе подниматься. Поднимался он долго, все смотрели, как он выпрямляется, точно прикидывали, сколько

его еще там оставалось под столом. Он выпрямился во весь свой богатырский рост, так же вызывающе застегнул пиджак, надел берет. В комнате воцарилась недобрая тишина.

— Зита! — гаркнул он. — Брось прикидываться! Выйдем на пару слов.

Юнец подскочил, смахнул стопку, но старший его удержал.

— Зита! — повторил Бронюс.

— Ступай, поговори, когда просят, — подтолкнул ее Альбертас.

— Не знаю, что ему надо, — ее лицо горело. Тут была и злость, и страх, и еще невесть что.

— Ступай, говорю, если зовут, — приказал Альбертас.

Зита встала, вышла за ним в сени. Бронюс четко видел ее — через окошко из комнаты проникал свет. Зита жалась к двери, цеплялась за ручку — будто Бронюс увлекал ее прочь из этого дома, а она упиралась. Смотрела, потупившись, как провинившийся щенок, а глаза, уши, все тело ловили малейшее его движение. Она дрожала, ежилась, прижимала руку к груди, словно опасаясь неожиданного удара.

— Не бойся, Зита, не трону. Не затем приехал.

Она тихонько, почти неслышно вздохнула, но

все еще дрожала, он чувствовал это. Страх таял в ней медленно, как тает лед весной, и он понял: растопить этот лед целиком ему не удастся. Вдруг, так резко, что она не успела и дрогнуть, он схватил ее за руку, оторвал эту руку от груди. Рука была набрякшая от работы. Он нащупал плохонькое колечко с камешком, глубоко впившееся в палец.

— Зита, давай отсюда уедем, — заговорил он торопливо, выбрасывая из себя слова, точно тяжелые камни. Она вздрогнула. — Уедем, прямо сейчас. Потом про все поговорим. И давай все забудем. А пока — поехали, давай убежим подальше от этого дома. Слышишь?

Женщина вздрогнула опять. А он крепко стиснул ее руку. Увидел, как светится замочная скважина, и вдруг она погасла. Понял: оттуда подслушивали.

— Зита! Я так хотел тебя найти! Давно хотел. Давай убежим отсюда, я все тебе расскажу.

Бронюс собирался произнести еще что-нибудь — доброе, ласковое, но не находил слов, он не знал таких слов. Да и стыдновато было бы. Ведь настоящая нежность, никому не видимая, таилась где-то в самой его глубине, скрытая даже от него самого. Она вставала в нем, согревала,

плавила все, но Бронюс только и умел что стискивать руку до нестерпимой боли. Хотел погладить по голове, но не мог, точно рука у него на привязи. Он никогда никого не гладил — разве что маленьких детей или животных. И Зита расплакалась. Вначале плач этот был тихий, затаенный — так скулит обиженная собака. Но скоро у нее не стало сил сдерживаться. Рыдание половодьем хлынуло из груди, сметая все преграды. Она зарыдала яростно, уже не пытаясь скрыть свои слезы. Не боялась ни себя, ни его, ни тех, кто сидел в комнате. Она выла так жалостно, что и его проняло. Она уже не могла стоять, прислонилась к косяку, сползла к ногам Бронюса. И голосила. В комнате замолчали, даже словно перестали дышать. И ветер, печально шелестевший листьями рябины, утих, а может, его заглушили рыдания. В сенях, над двором, на всю звездную ночь разносился горький женский плач. Бронюс уже вовсю ругал себя — зачем приехал сюда да зачем затеял этот разговор.

— Зита, ну не плачь ты, не плачь так страшно, — умолял он, и она заплакала тише. Вскинула голову, прямо к звездам. Глаза высохли. Она выговорила низким и таким неожиданно спокойным голосом — как тогда, в финском домике, — что он

содрогнулся:

— Не за мной ты сюда приехал, нет… Ты ведь приехал… Господи, до чего ты меня довел, господи… боже мой…

А у него уже было другое на уме, едва лишь Зита перестала плакать. Он взял ее под мышки, поднял, тяжелую, откинувшуюся назад, словно ее тянуло к земле. Ее волосы пропахли куревом, и запах этот показался ему гнусным. Она не противилась, словно ей было безразлично, что с ней станут делать. Бронюс вытащил ее во двор, чувствуя идущий от ее лица нездоровый жар. Длинная тень мужчины, изуродованная ношей, металась по двору, задела колодец, рябиновое деревце, уперлась в грузовики, таинственно темневшие рядом.

— Поедем, Зитуля, ну, поедем, — бормотал он в горящее лицо. — Нельзя тебе тут оставаться. Не говори так, я искал тебя, я к тебе приехал.

Он не слышал собственного голоса, не думал ни о чем, будто кто-то чужой говорил его губами. На какой-то миг она опомнилась, глянула на него спокойным, чуть удивленным взглядом, и ему стало легче от этого взгляда. Добрел до машины, усадил ее на подножку, попытался открыть дверцу. Скорей, скорей, пока она не противится, пока

не хватились эти. А там, на дороге — не прыгать же ей на ходу… Зита безучастно смотрела на него, точно все еще не соображала, что это он делает. Этот взгляд, такой будничный, остановил его руку. Было стыдно силком сажать ее в кабину. И он стал упрашивать:

— Ну, ладно… садись… поехали, а?

Она по-прежнему смотрела на него без всякого выражения.

— Садись, а… Зитуля… Да не гляди ты так… Садись!

Он сгреб ее и приподнял. Но Зита увернулась.

— Никуда я с тобой не поеду. Паразит! Все вы такие.

— Зита! — кинулся он к ней.

— Отстань! — она оттолкнула его, и он упал на кучу щебня, больно ушиб колено. Услышал, как убегают шаги, как хлопнула дверь, звякнула щеколда, видел, как метнулась в окне тень. Долго еще Бронюс лежал навзничь, уставившись на темный конек крыши, врезавшийся в звездное небо, и предельно ясно чувствовал: все потеряно. Потом медленно забрался в кабину, сел за руль. И его осенило: все это совсем не то, самого главного он так и не сказал. Не забыл, нет — просто не успел. Там, в черном доме, где светится одно

окно, есть кто-то, очень и очень нужный ему. Он включил фары, и красная уродина выплыла из темноты, по равнине пролегла вытянутая ее тень. Замигали подслеповатые окна. Он впивался в них взглядом, точно пытался пронзить насквозь. Там оставались двое малышей, которые на койке грызли дешевые конфетки, смеялись, потом женщина их выгнала. Ведь давным-давно, когда он бежал из финского домика, он кого-то оставил — оставил в ней. Конечно, это было так, он знал и забыл, вот что. И сейчас не спросил. Эх, дурак, дурак, неужели он не понял, что это и есть самое главное?

Не спросил!

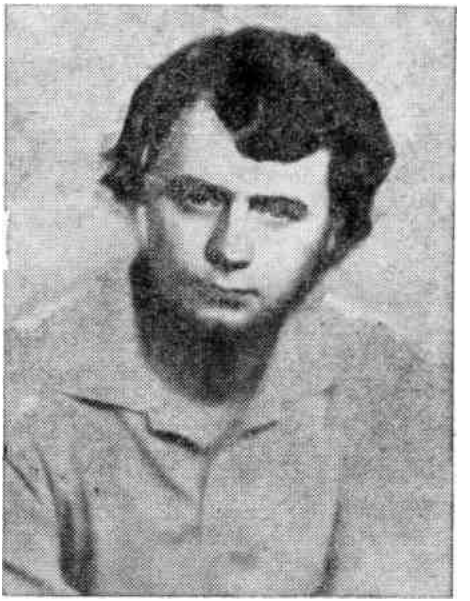
Он вырулил на шоссе, безжизненное, темное, безлюдное. Один только ветер ночной тут гулял, отчаянно теребил ветки тонких березок. Дорога неслась прямо на него, кидалась под колеса, забегала за спину. Бронюсу почудилось, что он катит на этой машине прямо по жизни. Убежать бы от нее, да некуда — она и впереди, и сбоку, и сзади, где он только что промчался. Какая же она далекая, какая манящая, и какая страшная. «Нельзя взрослым играть в детские игры». Бронюс все думал да думал об этом и все нажимал на газ, точно кто-то гнался за ним или где-то его

ждало прибежище.

Впереди замаячило мглистое зарево города.

Перевод *Д. КЫЙВ.*

Рамунас Климас
ГИНТЕ И БЕЛЫЙ МОНАХ



Рамунас Климас родился в 1945 г. в г. Па-

невежисе. Окончил электротехнический факультет Каунасского политехнического института, работал инженером на Паневежском заводе автокомпрессоров, затем в редакции республиканской комсомольской газеты. Печатается с 1968 г., пишет преимущественно о молодежи, интересуется проблемами истории. Вышли сборники рассказов «Праздник кормления птиц» (1971) и «Под полнолунием Аукштайтии» (1976).

Тем летом я увидел, что тропка Гинте заросла рожью. А я-то полагал, что ее навсегда занесло снегом еще в пятидесятом. Нет, теперь здесь колышется рожь, но тот, кто знал о существовании тропинки четверть века назад, мог уловить ее слабый след.

В семьдесят пятом меня вспомнили и пригласили в Тарпумишкяй — на серебряную свадьбу. Может, Гинте и ее муженек — страдалец за Литву, который одиннадцать лет провел в добровольном затворничестве, — кое-что подозревали, потому и вспомнили? Ведь я уже который год так и этак кроил и клеил их историю — написал уже четыре варианта, но рано или поздно каждый

из них задыхался в бесплодных прокуренных ночах, и я скрежетал зубами от мысли, что вся эта тарпумишкяйская история — западня.

Вот и приехал я поздравить.

Бывший страдалец возился в саду — приколачивал к высоким козлам старые неструганые доски. Постарел человек, крепко постарел, но до сих пор оставался высоким и прямым — жердь жердью. Даже нагибаясь за очередным гвоздем, умудрялся оставаться прямым.

Поздоровались. Много ли гостей ожидают, спрашиваю.

— Места всем хватит, — отвечает хозяин. И голос у него тоже вроде не изменился — такой же негромкий и внушительный. Взялся я помогать.

Досок не хватило, и мы высадили дверь сарайчика. В сад вышла Гинте и накрыла сработанные нами столы белыми скатертями. И сарайную дверь накрыла. Тетушка тоже была не первой молодости, но и она держалась прямо, чувствовалось, как подходят они друг другу. Красивое дело — стариться вместе! Прислушивался я к их безмолвному разговору, хоть и был он для меня, как музыка для глухого или как письмо о верности для слепого.

В кухонное окно подала мне Гинте длинный

провод с двухсотсвечовой лампочкой, забрался я на яблоню и повесил лампу над столом. А тут в саду появились другие женщины, принялись накрывать на стол, одну из тарелок со свиным рулетом, явно приобретенным в пасвальской кулинарии, Гинтин муженек взял прямо у них из рук и потащил назад в кухню, а потом вынес из сарая кувшин.

Уселись мы с ним в кухне за столом.

Я — против окна. Это место было когда-то одной из вершин треугольника. Треугольника, служившего как бы геометрической моделью нашей истории. Сейчас все это пространство колыхалось такой зрелой желтизной, что, казалось, дунь ветерок посильнее, и колосья начнут ронять зерно.

Слабый след Гинтиной тропинки мог уловить лишь тот, кто знал о ее существовании четверть века назад. Тропа была стороной треугольника, вторая вершина которого лежала теперь в самом центре желтого колыхания — рядом с яблоневым островком. Никакого строения глаза там уже не находили, и яблони росли будто случайно.

— Избу мы сразу после первой матушкиной годовщины снесли, — сказал он, проследив за моим взглядом.

— Так и жила там до самой смерти?

— Не захотела перебираться. В деревне-то километр, что в городе через улицу.

А погреб?

Яблони-то плодоносят? Не одичали?

Зато дорога, как и в те времена, взбегала на холм и на самом высоком месте упиралась в белый дорожный столбик — третью вершину треугольника. Некогда столбик этот свидетельствовал, что до Пасвалиса — бессчетное множество километров. Где-то там, в туманной дали, тонули пасвальские магазины и пивная; улочки, усыпанные конскими яблоками, вели к базарной площади.

Большой и богатый античный город Пасвалис был недостижим и нереален, словно земля обетованная.

Теперь до него всего-навсего двадцать километров.

Мы беседовали о теплом лете, об Африке и Томасе Манне, о рыбцах в речке Муше, которых губит местная кожевенная фабричка, о футболе, мелиорации, о моих детях. Хозяин и тут оставался прямым. И в разговоре, и в манере сидеть за столом. Пусть ранняя старость уже пряла вокруг него свою паутину — но еще редкую и прозрачную, поэтому он ее словно бы и не замечал. Он достиг

того возраста, когда время на год-другой будто приостанавливается, исчезает в полноте жизни, дабы исподтишка подготовиться для последнего хищного прыжка.

Какая болезнь могла привязаться к этому человеку?

Рак крови? Атеросклероз? Просто какая-нибудь хроническая хворь?

Только старость?

Злая кровь понемногу приливала к моей голове.

Я явился в Тарпумишкяй не для того, чтобы разбухать от пива. Я приехал за живительным кислородом для пятого варианта, а мы сидим и дымим болгарскими сигаретами. Рано или поздно все дети встанут на ноги и все негры завоюют свободу, рано или поздно переведут на литовский «Смерть в Венеции» и вдоль рек снова вырастет лозняк, может, только с директором кожевенной фабрики придется повозиться больше, он еще долго будет платить штрафы и морить дубильными веществами рыбу в Муше. Да, с этим крохотной душонки человеком будет еще множество хлопот, но какого черта вклинивается он между нами сегодня? В этот вечер?

Прямота Гинтиного муженька была в мелочах,

а я приехал за прямотой в главном.

За ясностью в главном.

Видимо, и его мозг был полон злой кровью. Он поднялся и отправился повязать галстук.

Я остался в кухне один.

Край большого огненного диска уже коснулся холма с километровым столбиком. Оранжевый асфальт шоссе поднимался прямо к солнцу. Все казалось очень близким, ото всего веяло постоянством времени.

Я смотрел на зеленый яблоневый островок во ржи. Желтизна ее была такой сухой и жаркой, что казалось, зерно уже осыпается. И треугольник истории внезапно ожил; я очутился в зиме пятидесятого и брел ранним утром по снегу к садовой изгороди. Моя мать и Гинте шли следом. В то утро будущий Гинтин муж вышел из своего погреба. Во дворе его хутора, второй вершине треугольника, появились две темные фигурки. На мгновение они слились, снова разделились, и одна из них свернула в сторону Пасвалиса. Вторая смотрела ей вслед. Это была его мать. Она постояла, пока сын не вышел на дорогу. Наша троица провожала его глазами до тех пор, пока не взобрался он на холм с километровым столбиком и не остановился, чтобы оглядеться. Потом исчез

за горизонтом.

Мы вернулись на кухню. Гинте села к столу против окна и положила перед собой тяжелые огрубевшие руки. В окно был виден холм. Вечером на нем мог появиться Человек, который одиннадцать лет, страдая по Литве, провел в погребе. А мог и не появиться.

Появился. Но таким ли, какой нужен мне для пятого варианта?

Сколько километров до Пасвалиса? Двадцать? А может, бессчетное множество?

В конце концов — что я собираюсь писать? Реалистическую историю или легенду?

Видит бог, я жаждал объективности, как Публий Корнелий Тацит, описывавший пороки Нерона. Я хотел быть объективным, как гроссбух.

В первом варианте (году небось еще в семидесятом?) я досконально изложил все факты. Получилось десятка два страничек with a happy end — с печатью в паспорте, свадебным пивом и правом преподавать в школе. Так оно и было — паспорт, пиво, полный класс учеников, восторженно внимающих рассказам о древней истории — от золотого века перикловой Эллады до кровавых отсветов горящего Рима.

В ту ночь мне показалось, что ребенок родился. Но жил он только до утра. А может, и меньше — когда я проснулся, он уже не дышал. Я решил не сдаваться. Забросил на плечо свое мертворожденное дитя и поплыл по бетонированному руслу документальности против течения, вернулся к истокам, ничего там не отыскав, снова заскользил вперед, чтобы вновь ничего не найти, пока наконец истощенным разумом не начал соображать, что через городок, куда я хочу попасть, этот поезд не идет — рельсы не проложены. Правда, в тихий вечер, когда он ближе всего подходит к городку, там слышен шум. Даже не шум, а едва уловимый гул, подобный слуховой галлюцинации. Вот и вся связь между поездом и городком, поэтому очень важно уловить момент наибольшего приближения и прыгнуть с поезда в ночь — пан или пропал! Прыгнул и наткнулся на первый камешек вымысла. Я лишил его права учительствовать, оторвал от полного класса детей, восторженно внимающих древней истории.

Задетый мною камешек покатился по насыпи и вызвал настоящую лавину — я отказался от свадебного пира, а потом и от паспорта, да, и от паспорта, прости меня, господи, хотя, уверен, даже у самого строгого представителя власти не

дрогнула бы рука поставить своей печатью точку на одиннадцатилетнем затворничестве.

Я отнял у него перспективу.

Он остановился между местом своего погребения заживо и тем зданием в Пасвалисе, где располагалась власть. Замер на холме с километровым столбиком, оглядывая занесенные снегом дали и не зная, что предпринять, куда девать свое реально существующее тело. Большой и богатый античный город Пасвалис был мифом, подобно земле обетованной. И телесная оболочка этого человека не имела перспективы.

А потом, в грохоте вымышленного мною камнепада, я увидел следующее.

Зимним вечером того дня пятидесятого года над холмом показалась лошадиная голова. Лошадь медленно вырастала из-за горизонта, из ноздрей ее вырывались клубы белого пара. Она тащила сани, на облучке сидели два мужика из соседней деревни, а за их спинами, в соломе, лежал без шапки, окоченевший и уже заиндевевший Человек, который страдал по Литве. Гинте, просидевшая весь этот день за столом в кухне, даже не шелохнулась. Сани свернули с дороги и покатились в сторону второй вершины треугольника. Меж старых кривых яблонь их уже

ждала черная фигурка. В эти мгновения молодая и горячая кровь Гинте стала остывать.

Солнце наконец опустилось за холм с километровым столбиком, спряталось за ним, как за горизонтом.

— Уже собираются, — сказал мне муж Гинте.

Группа мужиков, покуривая, вела посреди двора беседу. Хозяин повозился около розетки, и на яблоне — над большим белым столом, уставленным смачной закуской и питьем, — вспыхнули двести свечей. Мужчины замерли и уставились на яркий свет.

Пришел председатель с поллитровкой и женой. Председательша тут же принялась наводить порядок. Во главу стола она усадила Гинте с ее мужем, а на другой конец самую молодую пару Тарпумишкяй. Муж — человек с крупным красным лицом широко, как настоящий косец, размахнулся и, не снижая темпа, косил без передышки всю ночь, косил под корень, до донышка. Сытая и вялая его супруга лениво тыкала вилкой в маринованный зеленый горошек и отуманенным взором ласкала своего благоверного, гордясь его силой и здоровьем. Она была на сносях.

Застолье вволю пило и сытно закусывало. Танцевали гости модные танцы. Слушали гости

веселые песенки, и слаще становились от них не только речи, но и свиные рулеты из пасвальской кулинарии. Магнитофонные ленты были безумно длинными, и под двумястами свечей копилась, подступая тошнотой к горлу, кулинарная сытость, лишала гостей самоконтроля, валила с ног и заставляла беспричинно хохотать. Председательша деликатно попросила своего супруга проводить ее, отвела за хлев и там учинила разнос за чрезмерно откровенные симпатии к домашнему пиву и посторонним представительницам прекрасного пола.

На худом лице Гинтиного муженька можно было прочесть скуку и усталость. Сидя под ярким светом лампы, консул древней истории в тарпумишкяйской восьмилетке приуныл. О чем он думал? О гибнущих рыбцах Муши? О мелиорации, Африке, Томасе Манне? О весах древней истории? Перикл на одной чаше, Нерон — на другой, в какой-то момент Нерон перевесил, оторвал от земли Перикла, а на весы, глянь-ка, уже карабкается Брут…

Ползет бесконечная магнитофонная лента, и злая кровь снова захлестывает мой мозг.

Чертовски далеки мы с Гинтиным муженьком друг от друга. Между нами густая и вязкая жижа,

по поверхности которой плывут вверх брюхом дохлые рыбцы.

И вдруг из этой жижи вынырнул старичок — сосед по столу, сидевший справа, передо мной возникло его лицо с острым, чисто выбритым подбородком. Он звякнул своей рюмкой о мою.

— Учитесь или уже работаете?

— Работаю, — буркнул я.

— И где, если не секрет?

— Я не засекречен. Сторожу по ночам пустые бутылки. Маршируя с ружьем вокруг склада.

— А я вас помню, — несколько обиженно проговорил старичок. — Может, и вы меня тоже? Тогда умер мой дед, и я принес учительнице ведро браги с поминок. Тогда, — и он мимолетно взглянул на Гинтиного мужа.

Во мне что-то перевернулось. Что-то упало и рассыпалось осколками, а для чего-то стало больше пространства. Старичок выдал мне тайну Тарпумишкяй. Скорее, напомнил о ее существовании. А я-то совсем о ней забыл! Помог мне нащупать слабую пульсацию истории Гинте и ее муженька в памяти тарпумишкяйцев. Под снегом пятидесятого и чуть-чуть не осыпающейся рожью семьдесят пятого.

Он напомнил мне о существовании в Тарпу-

мишкяй незримых каналов, где сталкиваются человек с человеком, стыкуются память с памятью, очень редко прорываясь в речи, в слове, как дерево с деревом — сплетаясь корнями, а не кронами.

Эти каналы связывали с другими людьми и Гинтиного муженька, но он даже не шелохнулся. От его лица веяло скукой и усталостью.

Я извинился перед старичком. Он сухими пальцами пожал мне локоть.

— Выпьем, коль скоро сидим и домой еще не собираемся.

А что поделывала на своей серебряной невеста?

Не уверен, что для нашей истории это имеет хоть какое-то значение, однако расскажу. На всякий случай.

Я поймал вороватый взгляд Гинте. Потом еще один. И третий. Взгляд на молодуху, сидевшую на противоположной стороне стола и уголком скатерти прикрывавшую свой большой живот. Взгляды эти были легкими и пустыми, словно изъеденная червями ореховая скорлупка.

После того как гости разошлись, мы еще посидели втроем.

Учительница тарпумишкяйской восьмилетки

Гинте, моя тетка Гинте, чрево которой так и увяло, не успев взлелеять плод.

Ее муженек, некогда одиннадцать лет страдавший в погребе по Литве. Потом он вернулся на белый свет и начал преподавать древнюю историю в той же тарпумишкяйской школе и, говорят, хорошо преподавать, интересно, говорят, университет полон его учениками, говорят, в министерстве его иначе и не называют, как учитель-энтузиаст.

И я, представитель не внушающей доверия профессии, человек неясного призвания с явными черточками практикующего карманника, разыскивающий, видите ли, какую-то живую воду для пятого варианта.

Гинте спросила, как мне их хозяйство. Ответил, что нравится. Когда Тарпумишкяй, сказала она, потребовалась восьмилетка, колхоз отгрохал новую школу, а старую целиком отдали им. Я кивнул: крепкий домик, добротной кладки.

— И откуда только ты так хорошо все знаешь? — покачала головой Гинте. — Ведь всего второй раз в жизни приехал.

Потом мы поговорили о родне, словно по заупокойному списочку помянули всех, и Гинте отправилась на кухню, вытащила штепсель из

розетки, и сразу погасли двести свечей.

Мы лишь теперь заметили, что над нами полная луна. И все окрест тоже словно только теперь заметило ее — все дворы одновременно затаили дыхание, стряхнув остатки праздничного веселья, и рыбцы заскользили в медленном и чистом потоке Муши.

Гинтин муж спросил:

— На кой черт они нужны, праздники? Колесо и так быстро вертится. Прихожу на урок и уже со страхом жду звонка.

— Боитесь, что не успеете поведать о Бруте? — усмехнулся я.

Он внимательно посмотрел на меня.

— Почему именно о Бруте?

— Все тираноубийцы — личности, придающие пикантность истории.

— Брут был всего лишь натравленной собакой, — спокойно произнес мой собеседник. — Цезарь сам виноват, что вышел на улицу без палки.

С минуту мы молчали. Может, ему не понравился мой тон? Однако он нарушил паузу:

— Думаешь, у Витаутаса не было палки, чтобы прогнать Йогайлу? Хотя правда палки — временная правда…

— Витаутас сам был из породы хищников.

— А если нет? Мне еще в студенческие годы подумалось: а не собирался ли Витаутас променять палку на корону?

Я возразил, что это не в стиле Витаутаса. Это другой жанр. Уже не история.

Теперь усмехнулся он.

— Ты так думаешь? А представь себе, что ты — первый. Не было до тебя ни Длугоша[2], ни Нарбутаса[3], ни «Хроники Быховца». Еще не запатентована ни одна трактовка, не создан стереотип. Ты — вольная птица, и тебе необходимо ответить, почему, к примеру, Витаутас решил короноваться именно в Тракай. Почему не в Луцке, не в Киеве? Не в каком-нибудь волынском замке, до которого он бы преспокойно добрался никем не узнанный? Хватило бы нескольких верных татар, чтобы сбить со следа Йогайловских ищеек и привезти туда корону. Или повернем так: что произошло бы, не будь псы Йогайлы столь усердны?

---

[2] Примечания: 2

Ян Длугош (1415—1480) — польский историк, писавший о Литве.

[3] Примечания: 3

Теодорас Нарбутас (1784—1864) — литовский историк, публицист, автор девятитомной «Истории литовского народа». Опубликовал летопись Литвы («Хроника Быховца», 1864).

— История позволяет судить об этом моменте однозначно.

— История ни о чем не судит. Судят Длугош и Нарбутас. Ты. Я. А не история.

— Однако факты…

— Совершившиеся факты — возможно, хотя гораздо реже, чем ты полагаешь. А несовершившиеся! История — это банк нереализованных возможностей, именно в них человеку зачастую приходится искать моральную компенсацию.

— И вы нашли ее, размышляя о несостоявшейся коронации?

— Мне кажется — да! Я подумал: получись все так, как хотел Витаутас, Литва вернулась бы в свои берега. Пришел бы конец наводнению.

— Литва — коронованная, получившая благословение папы — и в свои берега?

— Витаутас вернул бы. К тому времени он уже обрел настоящую мудрость.

— И когда же вы все это придумали? — спросил я.

— Тогда, когда у меня было много времени для раздумий, — ответил Человек, Который Страдал по Литве.

Это был первый намек на одиннадцатилетнее затворничество в погребе. И единственный. Едва

уловимый гул, подобный слуховой галлюцинации.

— Может, пойдем? Гинте небось уже постелила.

Я ответил, что посижу еще.

История ни о чем не судит?

Ночь была такой тихой, что мне было слышно все-все: и как течет по своей долине Муша, и как стареют яблони в заброшенном саду несуществующего хутора.

И как человек любит Литву и как Литва любит его.

Казалось, слышалось дыхание той молодой женщины с большим животом, которая, наверно, все еще медленно и осторожно сквозь лунную ночь поднималась на холм с километровым столбиком, охваченная усталостью и блаженством.

И другие гости серебряной свадьбы возвращались в свои дома, в негромкую свою жизнь — тихое выращивание ржи, немое обожествление лесов и полей, огня и воды, невысказываемое громко понимание, заступничество и сочувствие друг другу.

Восток уже светлел.

История ни о чем не судит?

Я пытался разобраться в том, что так долго

дразнило мое воображение.

Искал истоки легенды, ее материальное обличье — в вещи и слове, ее первооснову, некий священный гроб, пусть забытый, пусть истлевший и лопухами под оградой заросший, но не разбитый и не рассыпавшийся в прах, искал, даже не предполагая, что в то утро пятидесятого, когда Человек, Который Страдал по Литве, вышел из погреба, легенда раздвоилась. Когда сбросил он белые монашеские ризы и явился перед обитателями Тарпумишкяй в полосатом мирском пальтишке, от которого разило нафталином. Именно в то утро на холме с километровым столбиком раздвоилась легенда, перешла в иное качество, получила другое обличье.

Вечером на вершине холма явилась во плоти реальная основа легенды — растранжиривший огонь своей души гений — Ренуар с высохшей рукой, оглохший Бетховен, уже переливший свою душу в Девятую симфонию. Гениальность — временный режим души. Гениальность методически — удар за ударом — убивает самое себя, пока Человек, Который Страдал по Литве, не превращается в обыкновенного учителя древней истории тарпумишкяйской восьмилетки. Гений превращается в человека. А может, это и есть

предел стремлений гения? Дорого же платит он за теплую лунную ночь в Тарпумишкяй и кувшин домашнего пива на столе.

Вдруг мне пришло в голову, что я в это не верю. В оглохшего Бетховена за кувшином домашнего пива. Оглохшего, но живого. Мне пришло в голову, что это и впрямь похоже на галлюцинацию. Реальное пространство, реальные предметы, даже их пропорции ни чуточки не искажены, но в распахнутое окно вдруг влетает крохотный ангел. Влетает словно бы извне, а по правде сказать — из меня самого. Родившийся во мне, он заслоняет часть мира — оглохшего Бетховена за кувшином домашнего пива, и на холме с километровым столбиком появляется не человек, а голова лошади, и из лошадиных ноздрей вырывается белый пар. И лежит в санях на соломе Человек, Который Страдал по Литве, — без шапки, заиндевевший и окоченевший. А если это видение и есть моя трактовка? Ведь сужу я, а не история.

В тот вечер герой легенды погиб, жители Тарпумишкяй поделили между собой его священные останки, а реальный человек превратился в персонаж бытовой драмы. Жизнь продолжалась, в лесах оставалось все меньше волков и бандитов. А на холм со стороны Пасвалиса вышел совер-

шенно новый человек. Женился на учительнице начальной школы. И начал преподавать сам. Был он человеком добрым — сочувствовал соседям в трудный час и в страду охотно приходил на помощь, жил негромко, но честно, вот только детей не нажил.

Почему Витаутас решил короноваться именно в Тракай? Почему не в Луцке, не в Киеве? Не в каком-нибудь волынском замке, до которого он бы преспокойно добрался, никем не узнанный? Что произошло бы, не будь псы Йогайлы столь усердны?

В чем вопрос? Каждому литовцу ясно.

Литва вернулась бы от Черного моря в свои берега. Пришел бы конец наводнению.

Как? Литве — коронованной, получившей благословение папы — и вдруг возвратиться в свои берега?

Да, в свое сердце, прочное, как атомное ядро.

Чем дальше, тем больше я понимал, что он докопался до истины. Его правда была, как горсть доселе невиданного зерна, оно запало мне в душу — и проросло самой настоящей рожью, и рожь зазеленела, заволновалась, потом налилась, созрела. Что же это? Явление нового господа? Тихое воплощение бога в человека, мановением кото-

рого из зерна нержи прорастает рожь? А может, это возникновение всемогущего бога в самом человеке? Я сообразил, что ожидает меня. И еще раз решил не поддаваться. Вставил в машинку чистый лист и пятый вариант, как и предыдущие (за исключением первого и второго), решил начать с лета сорок девятого, из которого помню только одно — тот вечер, когда моя родня внезапно начала поглядывать на Север. (Не подумайте, что нас приковали к себе зеленоватые полярные льды, нет, наши интересы не уходили далее полусотни километров к северу от Паневежиса, они замыкались на лесах, где днем и ночью рыскали голодные волки и хмельные бандиты.)

Стол на кухне был в тот вечер застелен белой скатертью, на ней — бутылка вина из магазина, а в открытое окно проникали запахи Гинтиного садочка. Кто же придет? Для кого куплено вино? Из своей учительской семинарии пришла Гинте. Пришла ровно в девять — самое время выскакивать кукушке из часов, но кукушка задержалась, подождала, пока Гинте выплачется, потом окошечко на часах открылось, кукушка высунулась и накуковала всей родне долго смотреть в сторону заснеженных лесов Севера.

Потому что заплаканная Гинте сказала:

— В тарпумишкяйскую начальную. Все отвертелись, у всех заступники, а у меня никого.

Бабушка как стояла у печи, так и не обернулась, поэтому я помню только ее спину. Это самое острое воспоминание. Как в этот момент выглядел дедушка, не помню — помню только, что грохнула дверь, когда он ушел к соседу Бинкаускасу, который был родом с этого самого Севера. Потом он снова появился в кухне. Гинте здесь уже не было. Бабушка стояла на корточках возле печки и выгребала золу. Лицо у дедушки сероесерое — ни кровинки. Остановился в дверях и смотрит на бутылку красного вина посреди белой скатерти. Я не вытерпел:

— Открой, долго будешь слюнки глотать?

— Кто его пить станет? — ответил дедушка, но не мне, а моему отцу.

— Вдвоем и прикончим.

Дедушка будто только теперь сообразил, куда вернулся, и закричал на бабушку:

— Расселась, как клуша на яйцах, а Бинкаускас говорит, что там одни волки да бандиты.

И я увидел: сидит на склоне оврага волчище, оскалил пасть, а в зубах — косточка Гинте.

— Не поднес ему, вот и пугает, — тихо возразила бабушка.

Так и осталась белая скатерть чистой, не залили ее красным вином.

Через несколько дней дедушка погрузил на тележку деревянный чемодан, отправились они с Гинте на станцию. Тележку толкал дедушка, Гинте плелась следом и ревела в три ручья, а бабушка, стоя в калитке, осеняла крестным знамением ядовитое древо Севера, которое уже ветвилось в нашем роду, цвело голубыми цветами опасности, распространяло вокруг себя ее сладковатый аромат.

Этот запах опасности возбуждал оторопь и страх. Особенно по ночам, когда бабушка в одной рубахе стояла у окна и взгляд ее был устремлен за добрых полсотни километров в сторону северных лесов. В жизнь нашей семьи глубоко вгрызлась ночь. Иногда из-за этого страдал совсем посторонний доставщик телеграмм, вынужденный нести нам под утро, может, единственную в эту пору телеграмму. Гинте сообщала, что школьная сука принесла четверых. Писала, что в воскресенье выкопала картошку. До меня никак не доходило — зачем ей копать картошку, которой она не сажала, потом наконец сообразил, поэтому не удивился, когда в декабре она ни с того ни с сего поздравила меня с днем рождения.

В горнице было светло от снега, и бабушка стояла на своем посту у окна, как белый памятник. Запахло табачным дымом, и мой отец сказал:

— Жива она, здорова и вам, мама, того желает. Ступайте лучше спать, рассвет скоро.

— Не верю я этим бумажкам, — ответила бабушка.

— Так ведь через них человек человеку весть подает, вроде разговаривает.

— Я и так с ней разговариваю, — не оборачиваясь, проговорила бабушка, белая, как памятник. — Чует мое сердце, нехорошее что-то с ней творится.

В первом и втором вариантах паневежских эпизодов не было. И злого северного древа тоже — я ввел его только в третьем. В первом варианте, как известно, я изложил голые факты. Конечно, на двух десятках страниц уместились они не все. Но, странное дело, изложенные на бумаге, факты эти приобрели совершенно неоправданное, как мне кажется, преимущество перед правдой, которой на бумаге места не хватило. Был такой эпизод — я отправился с матерью встречать Новый год в Тарпумишкяй. С этой поездки и начинался первый вариант. Постепенно воспоминания о путешествии затвердели, как бетон, стали этаким

монолитом, и если бы не мысль о древе Севера, я, наверно, ни за что не втискивал бы их в последующие варианты.

Этот жалкий, однако прочный бетонный феномен презрел не только вымысел, но и правду, для которой на двух десятках страниц не нашлось места. Он уравнял оба рода литературного материала. Дедушка действительно ходил к Бинкаускасу, который был родом из тех северных лесов. Но бабушка не стояла по ночам у окна в одной рубахе. По крайней мере я этого не наблюдал. А теперь для меня и то и другое равноценно. Такой оборот развязал мне руки, и не туманные воспоминания, а первый вариант, строго детерминированный, как одинокое высохшее дерево, превратился в точку отсчета. (Возможно, это и открыло клетку, в которой метался ангелочек воображения, впоследствии подменивший на холме с километровым столбиком человека лошадиной головой.)

Презрев вымысел, бетон уравнял его в правах с действительностью, так да здравствует бетон! Да здравствует первый вариант, начинавшийся концом сорок девятого, через несколько дней после зимнего солнцеворота, когда мама отодвинула в сторону стопку непроверенных еще тетрадей с

письменными работами и сказала мне:

— Пора бы и нам узнать, что это за штука тарпумишкяйская начальная школа.

В вагоне узкоколейки так трясло, что из корзины, стоявшей на полке, выскользнула селедка и шлепнулась прямо маме в подол. На станции в Пасвалисе ожидала Гинте с лошадью и горой тулупов в санях. Она, как заправская крестьянка, покатила нас через заснеженный лес и везла по чащобе километров двадцать. День стоял тихий, и лес был тихим-тихим, сугробы под елями манили, словно пуховая постель. Гинте всю дорогу смеялась, а мама озиралась по сторонам и спрашивала:

— С чего это тебе так весело?

Наконец сани выбрались на опушку, с вершины холма завиднелось красное кирпичное строение, окруженное голыми деревьями. Хорошо помню, что мать только тогда спросила:

— Красивые здесь леса, правда? — но тон у нее был сердитый.

— Кто его знает, я и шагу в них не ступила с дороги, — усмехнулась Гинте. — Терпеть не могу запаха самогона, а там, сдается, сплошной пир.

— А может, уже похмелье? К тебе не заглядывают?

— Изредка. Был один такой, обещал обождать, пока у барышни учительницы титьки отрастут поболе, но, говорят, кокнули его. — Гинте снова засмеялась.

— А тебе весело?

— Веселее, чем вчера, — буркнула Гинте.

У нее тоже был сердитый голос.

Красное кирпичное строение и было Севером.

Здесь располагалась тарпумишкяйская начальная школа, построенная еще в царские времена, в комнате Гинте стояла белая кафельная печь с гипсовым Пушкиным в нише, а другая часть дома была классом, просторным и холодным во время каникул, и еще были здесь заметенные снегом сени, в сенях — школьный книжный шкаф.

Я обшарил закоулки, заглянул даже в хлев, тепло пахнувший скотиной, сеном и навозом. Зачем? Может, искал, где растет то северное древо, чей недобрый аромат отравляет наш дом в Паневежисе? Лес синел тут же, за садом. И оттуда вовсе не несло самогоном, а веяло морозом и покоем, которого не нарушали ни люди, ни звери. Вдалеке лошадь тащила по белому полю сани с гробом. Хоронили, как я уже знал, старого человека, прожившего чуть ли не сто лет. За санями брела небольшая группа черных фигурок, среди

них и моя мать с Гинте; я, навалившись на забор, старательно прислушивался, но так и не услыхал, чтобы кто-нибудь плакал.

Вернулись они обе, шагая прямо по снежной целине, впереди шел какой-то мужик с ведром. Он поставил его в кухне на лавку.

— Пусть барышне учительнице будет маленько бражки на Новый год, — сказал он и не особенно упорствовал, когда ему предложили выпить на дорогу кружечку-другую.

Он все поглядывал на мою мать и не хотел уходить, поэтому зачерпнул еще кружку и весело сказал:

— Где только ни побывал мой дедушка. И в России во время революции, и в Аргентине, а помер все равно в Литве, силен, а?

Я попросил разрешения посмотреть книги в шкафу, меня одели, как для гуляния, и выпустили в сени.

Книжный шкаф был слегка запорошен снегом, и на нем жались друг к дружке большие и грустные люди. Я и теперь вижу, как замерзший Вайжгантас прислоняется к Толстому, а Майронис — к окоченевшему Гете, только Пушкин был в гордом одиночестве и в тепле — в комнате Гинте. Я тогда не ведал еще, что время от времени

классики становятся беспомощными и ничего другого им, занесенным снегом и окоченевшим, не остается, как только жаться друг к другу, словно они безоружные, попавшие в окружение солдаты. И к книгам я в тот раз не осмелился прикоснуться. От них тоже веяло лишь холодом и покоем.

Красное солнце опускалось за холм.

На кухонном столе лежали деревенская колбаса, масло, белый хлеб, гипсовый Пушкин смотрел из комнаты, как две сестры пьют поминальную брагу и морщатся. Я поужинал, улегся, Гинте прикрутила лампу. За окном, меж голых деревьев, засветился месяц. Было тихо-тихо, кто-то неслышно бродил за стенами по сугробам, одинокий и замерзший, а может, вовсе никого там и не было. Гинте включила батарейный приемничек. Били куранты, Ворошилов произносил речь, а кто-то ступал по сугробам, все ближе и ближе. Ворошилов пожелал всем счастливого Нового года, мать подошла к окну и спросила:

— Может, не придут?

— Кто их знает, — отозвалась Гинте. — Лучше давай-ка выпьем еще по одной.

Забулькала брага.

— У меня уже все кругом идет.

— Я тоже пьяная.
— Наверно, не придут.

Оседлал коня гнедого,
Оседлал коня гнедого,
Оседлал коня гнедого, —
А в руках — уздечка…

По дому растекался ядовитый запах северного древа. Кто-то топтался в саду, и от него разило самогоном. Мама и Гинте напевали тихонько, и я, почувствовав себя одиноким и покинутым, выскользнул к ним в кухню и зачерпнул кружечку поминальной браги.

Далеко скакать от дома,
Далеко скакать от дома,
Далеко скакать от дома,
Вдруг не доберуся…

Ноги ослабели, зато в глазах посветлело, кто-то, воняющий самогоном, убежал прямо по снегу в сторону леса, я прекрасно видел в темноте все углы и точно знал, что поблизости нет того северного древа, которое совсем было распустило почки.

Добрый у тебя жеребчик,

Добрый у тебя жеребчик,
Добрый у тебя жеребчик, —
Донесет, как ветер...

Мы пели уже втроем, я, видимо, громче всех, потому что меня все время одергивали. Не могли они понять, что весело и под хмельком перетерпел я тогда ночь, во время которой «укрепилась власть».

Мама, вытирая посуду, так и сказала в новогоднее утро:

— Может, не станут больше шастать? Власть укрепилась, на что им теперь рассчитывать?

Потом спросила Гинте:

— Куда это ты удрала на рассвете?

— Скотину посмотреть.

— Что-нибудь стряслось, что так задержалась?

Гинте засмеялась, подхватила помойное ведро и выскочила во двор.

Я оделся и пошел следом.

Утро было холодное и тихое — первое утро укрепившейся власти. На яблоне сидела стайка снегирей, я стукнул черенком метлы по стволу, они вспорхнули, но отлетели недалеко — на другую яблоню — не птицы, а красненькие яблоки.

— Доводилось тебе когда-нибудь видеть ма-

ленького мокрого теленочка?

Гинте в тулупе и валенках стояла у хлева, держа в руках большую охапку сена, ну какая она там учительница?!

— Скоро увидишь, может, еще этой ночью.

— А почему он будет мокрым?

— Думаешь, ты на свет сухим появился?

— Пойду книги полистаю, — засмущался я.

Одной из книг в шкафу явно недоставало. В этом месте зияла черная щель. Потеряв товарища, классики были растеряны, покосились, в их шеренге чувствовалось тревожное ожидание — неужто началась мобилизация классиков? Я вспомнил того ночного бродягу, от которого несло самогоном, выскочил во двор и, проваливаясь до колен в сугробах, обежал вокруг школы. И в самом деле — были следы. Они тянулись от дверей школы к дыре в садовой ограде, а за ней — через поле, в сторону далекой усадьбы. Там из трубы прямо в небо поднимался дымок.

— Приходили! — закричал я, вбежав на кухню.

— Кто приходил? — спросила мама.

— Воры! Книгу унесли.

— Что унесли?

— Книгу!

— Только одну?

Вошла Гинте и стала накрывать стол к обеду. Мама помогала ей.

— Ты запираешь на ночь-то?

— Зачем? Придут — с мясом вырвут.

— Посмотри хорошенько, может, правда, чего не хватает.

— Книги не хватает! — снова закричал я.

— Хватит тебе и тех, которые остались, — усмехнулась Гинте.

Ночью меня разбудила какая-то возня в углу, где спала мама. Она быстро оделась и вышла. В окно было видно — направилась в хлев, прямоугольник его распахнутой двери блекло светился, и за ним мельтешили какие-то тени. Я тоже оделся.

— Не бойся, это моя сестра, — уже во дворе услышал я голос Гинте.

В хлеву горела засиженная мухами «летучая мышь». Гинте на корточках присела около лежащей на соломе коровы, а возле коровьей морды слабо копошилось и дышало что-то коричневое и влажное, и корова вылизывала это что-то своим языком.

— Может, нехорошо, что лижет, заразит еще? — спросила мама.

— Пусть полижет, пусть кровушку ему поразго-

нит, — ответил худой бородатый дядька с голыми по локоть окровавленными руками. И тут заметил меня. В глазах у него отразился язычок слабого огонька «летучей мыши». — А это еще кто такой?

— Ты чего вскочил, чего? — набросилась на меня Гинте.

— Значит, это и есть тот теленочек? — спросил я.

Взгляд Гинте оторвался от меня и устремился к бородачу, потом она снова обернулась ко мне — казалось, не знает, за что хвататься. Я посмотрел на маму.

— Не трепли языком, не будь бабой, — сказала она и легонько толкнула меня к двери, я вернулся в дом, разделся и прилип к окну.

Вскоре дверь хлева стала черной, и во двор вышли три фигуры. Одна из них свернула в сторону сада, но другая догнала ее, вцепилась в рукав и потянула назад. Третья фигура стояла и ждала. Наконец все трое двинулись в одном направлении, хлопнула дверь, в комнату из кухни проникли свет и голоса. Слышнее всего был голос Гинте.

— Прежде всего умойся, нет, чистое это, на-ка, вытирайся. Как бы я без тебя? Толковал мне Верикас, толковал, а как до дела дошло — хоть волком

вой, беги в поля и кричи. Может, кружку браги? Еще одну? А может, третью, может, и третья поместится?

— Пойду я, — сказал мужчина.

— Темно еще, — приуныла Гинте, — успеешь. Полчаса туда, полчаса сюда, поужинали бы вместе?

— Пойду я, пора, будь здорова.

— Подожди, гляну, как и что.

Когда Гинте вернулась, мама спросила, где это она подцепила такого. Поп — не поп?.. И я услышал, что Гинте плачет.

— Все мечтала, как будет, когда он ко мне первый раз в гости придет. Как приму, чем угощать стану. А тут — едва сунул нос среди ночи и тишком, тишком по-за углами назад.

— Почему поужинать-то не остался?

— Нельзя ему.

— Вот я и спрашиваю — почему?

Мне показалось, что Гинте ухватила мамину руку, может, даже ногтями в ладонь впилась.

— Хорошо, скажу, только ты никому, даже маме, ладно? Понимаешь, он есть, но его как бы и нету.

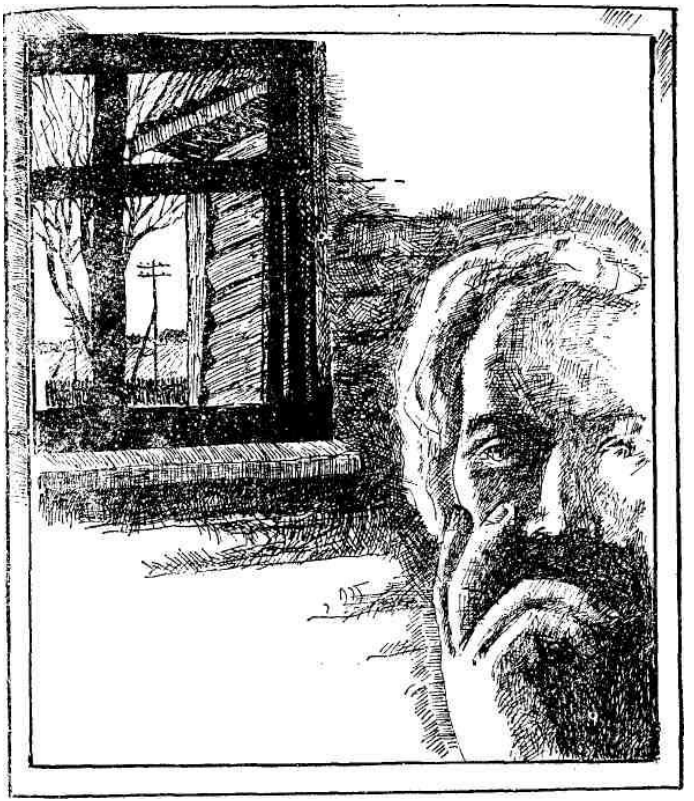
— Он что, бесплотный дух?

— Можно считать — дух.

— Ничего себе дух! Одна бородища чего стоит.

— Ну как ты не понимаешь! Нет его, потому что нелегальный.

— Из леса?



С минуту было тихо.

— Из леса, да? С бандитом связалась? Барышне учительнице мужиков не хватает — к лесному по ночам бегает?

— Ведьма ты, Стасе, — голос Гинте еле слышался. — Настоящая ведьма. Не из леса он, из своего дома. Из погреба.

— Откуда? Из погреба? Постой, а что он там делает?

— Живет.

— В погребе? Кто он такой? Бывший офицер? Таутининкас?[4] Белоповязочник?[5] — Мама повысила голос. — Тебе что, наших мало?

— Да нет, он тоже наш.

— И прячется?

— Ни от кого он не прячется. Он сам себя в погреб заточил. Сам.

— И давно?

— В тридцать девятом.

— В тридцать девятом? Уже одиннадцать лет? Хороший, видать, камешек у него на совести,

---

[4] Примечания: 4

Таутининки — члены реакционной националистической партии в буржуазной Литве.

[5] Примечания: 5

Белоповязочники — предатели, сотрудничавшие с гитлеровцами во время оккупации Литвы.

если одиннадцать лет в погребе гниет.

Они беседовали словно через оконное стекло. Гинте — на улице, мать — в тепле. Каждая видела, как у другой шевелятся губы, но что она говорит — не слышала. И тогда Гинте трахнула вдруг по стеклу кулаком:

— Он там по Литве страдает!

— По чему страдает?!

— По Литве! — Гинте истерично топтала осколки. — Так и сказал себе — пока Литва не вернется в свое сердце…

Мама расхохоталась.

— По Литве? Позволь осведомиться, по какой?

— Пойдем спать, — осипшим голосом произнесла Гинте.

— Ты не ответила.

— Тебе и так все ясно. Эх, Стасе, Стасе, еще ничего толком не знаешь, а тебе уже все ясно.

— А тебе?

— Иногда сижу перед ним, как перед монахом-отшельником. И чувствую, что он великий. И все чудится, вот-вот постигну это величие, а то сдается, будто знала про него давным-давно, только позабыла, вот возьму и вспомню, но никак не получается. Наверно, его величие заслоняют от меня тетрадки отличника Казлаучюнаса без еди-

ной ошибки, грамматика, таблица умножения. Ты же знаешь, в семинарии у меня по пунктуации только пятерки были, а теперь мне кажется, что надо стереть все запятые, они только мешают понять, вспомнить, и слова надо стереть, они тоже мешают.

Мама громко зевнула.

— Что еще стереть?

— Тебе хорошо и с запятыми.

— Если бы я тебя не знала как облупленную, то решила бы, что этот бородач с ума тебя свел. Может, правда, пойдем лучше спать. Поговорим, когда остынешь.

Этот диалог слово в слово переписан мною из первого варианта. Но теперь сдается, что правда первого варианта не так уж непререкаема. Мог же я ненароком ту или иную реплику исказить или даже пропустить? И почти уверен, что так оно и было. В памяти не сохранилось, однако не верится, что мать не выспросила у Гинте о более существенных мотивах поступков этого человека. Оглушенный самой идеей **(пока Литва не вернется в свое сердце),** я как к спасению прибег к материнскому зевку и ляпнул фразочку, которая теперь скрипит как песок на зубах: **Гинте истерично топтала осколки.**

Да, Человека, Который Страдал по Литве, она представила моей матери через стекло. Да, трахнула она по этому стеклу своим не по-женски крепким кулаком. Однако кулак — не особенно подходящий предмет для такого дела. Стекло не разбилось. И Гинте как была, так и осталась по ту его сторону, может, дрожала от ярости, может, плакала — тоже от ярости, а по эту сторону была моя мать, по эту сторону налила она в таз воды, заплескалась.

— И что же, так до сих пор и носа из своего погреба не высовывал? — спросила она сквозь зевок.

— Говорит, что нет.

— Какого же черта сегодня вылез? Только из-за теленка? Ему что, теленка жалко стало?

— Не знаю, — шмыгнула носом Гинте.

— А может, ты знаешь, что это такое: **пока Литва не вернется в свое сердце?**

Гинте не ответила.

— То-то, — пробормотала мама.

Дальнейшая фабула моей истории **(человек в погребе)** отнюдь не похожа на восемнадцатилетнюю красотку — свежую и трепетную. Это уже явно женщина в летах, проводившая под утро не одного мимохожего путника и успевшая сотво-

рить за свой век нескольких отпрысков, правда, не слишком жизнеспособных. И хотя я это знал, но верить не хотел. Кое-кому может показаться, что прока от моего неверия не больше, чем от неверия богомолки в искусственные спутники. Однако, если среди моих читателей найдется хоть один, верящий в законы литературного целомудрия, если, говорю, такой отыщется, пусть влезет он в мою шкуру, войдет в меня, мальчишку, по колени увязшего в снегу пятидесятого возле изгороди тарпумишкяйского сада, откуда ясным утром хорошо видна усадьба того человека с белым, поднимающимся прямо в небо дымком надежды. Пусть войдет он в мое время, целиком умещающееся во времени Гинте, которая робко пробирается по ночам в ту усадьбу. Я ничего не обещаю ему, не гарантирую. Но если ему доводилось видеть, как из безнадежности вздымается в небеса белый дымок надежды, пусть войдет в мое время, пусть подождет в нем, пока следы на снегу — от изгороди до той усадьбы — не превратятся в тропинку, правда, в тропинку, ведущую в никуда, к человеку, который есть, но которого как бы нету, ведь он давно истлел, превратился в памяти тарпумишкяйцев в прах, развеявшийся по лесам и полям. Шагая по тропе, ведущей в

никуда, человек может попасть в очень неловкое положение. Сам он этого, возможно, пока и не замечает, но, хочет он того или нет, ежели глянуть со стороны, похож этот путник на потенциального самоубийцу, от которого веет жуткой решимостью. Особенно в такие зимы, какой была в Тарпумишкяй зима пятидесятого. Теперь таких не бывает. Теперь душа человека может пройти по незаснеженной обледенелой земле, не оставляя следов. А в пятидесятом я каждое утро брел к садовой изгороди и убеждался, что следы превращаются в тропинку. То и дело с надеждой поглядывал я в небо, однако оно оставалось чистым. А снег был глубокий, но не сыпучий. И вороны не предсказывали перемены погоды, не предсказывали появления облаков, которые просыпались бы на Тарпумишкяй крупными хлопьями и прикрыли белым листом строки, написанные человеческой душой.

Гинте была открыта всем ветрам и взглядам, хотя и боялась этого, хотя и обматывалась по ночам толстенным платком, куталась в тулуп, но из ее корзины все равно шел дух жареного гуся или блинов с яблоками — для него и его престарелой матушки, она вся так и светилась, пусть только сердцем, добрым или злым, можно было

уловить этот свет, и я неотступно думал о том, что все имеет свой конец, и Гинтины прогулки тоже, задержит ее кто-нибудь в одну прекрасную ночь и спросит: очень уж, видать, важное дело у тебя, бабонька, коль скоро, волков не убоявшись, такую глубокую стежку проторила? Может, Гинте станет оправдываться, уверять, что лишь в первый раз, но этот кто-нибудь укажет на третий том «Войны и мира» в ее корзинке и спросит: кто же, бабонька, в наше время начинает «Войну и мир» с середины?

Я поглядывал на небо и молил о снеговой туче, и она надвинулась, и крупные хлопья упали на Тарпумишкяй, на начальную школу и костел, на избы, на хлева, где бедовала полуголодная скотина, на хозяев, запрягших лошадей, чтобы ехать на базар, на то здание в Пасвалисе, где располагалась власть, на бродящих по лесам мужчин и волков; падали крупные белые хлопья и на Гинтину тропинку, и я валял в пушистом снегу пса, чесал ему подбородок и за ухом, сам от радости барахтался в сугробах с забитыми снегом глазами, счастливый, что небо прикрыло плотным листом те строки, что были явственно написаны Гинтиной душой.

А потом, когда небо прояснилось, я добрел

до дыры в садовой изгороди и на нетронутом заснеженном поле, по которому еще не успел пробежать ни единый зверек, увидел тот же страх и то же самое предвестие опасности. Снег не стал все прикрывающим плотным белым листом. Он был не таким, какой требовался мне и Гинте, пусть завалил он весь мир, но не стер памяти, в которой уже отпечаталась Гинтина тропинка. На другое утро от нас к тому хутору снова тянулся след. Он был похож на последний вздох самоубийцы, когда он лунной ночью посреди озера вдруг испытывает острую жажду жизни, видит уже далеко отплывшую лодку и отдается силе, влекущей его в никуда.

Ты, пребывающий сейчас в моем времени (мы оба прекрасно умещаемся во времени Гинте), ты, мне кажется, уже понял, что для тебя и мое и Гинтино время — слишком легкие одежды, чтобы в них возвращаться в холодную и ясную зиму пятидесятого и в историю Гинте и ее мужа, Человека, Который Страдал по Литве. Но все-таки перенесемся во время Гинте, где странным образом уживаются робость и отчаянная смелость самоубийцы. Ее коченевшее от холода время спешит теперь по тропинке, чтобы обрести укрытие и тепло во времени того Человека. Он и нас

с тобой прихватит в свое время, в котором на берегу кровавой реки стоят четверо еще живых пруссов, стонет князь Гедиминас с разорванной грудью и старый Витаутас ждет не дождется тех, кто должен доставить ему корону.

Будущий Гинтин муженек был в свое время студентом-историком. А до того гонял коров и, едва оперившись, написал сочинение «Литва как торная дорога XIII века». Последний аккорд своего труда позаимствовал он у Винцаса Петариса[6]: «Литва спала еще. Но и она собиралась проснуться в сильных руках князей Альгимантаса, Эрдвиласа, Скирмунтаса. Собиралась проснуться сильной и могучей… Сами враги ее разбудили. Однако проснулась она не сразу… медленно просыпалась…»

По вечерам мать совала ему молитвенник, и он громко читал «Верую во единого Бога отца, Вседержителя…», но видел перед собой не всемогущего, а седого, состарившегося Витаутаса в Тракай, который ждет и не может дождаться тех, кто должен принести ему корону. Если человек долго не может чего-то дождаться, непременно наступает время, когда он не в силах спрыгнуть

---

[6] Примечания: 6

Винцас Петарис (1850—1902) — литовский писатель, автор исторического романа «Альгимантас».

с коня и падает с него. В большой замковой зале ждал Витаутас, ждали его вельможи и воины — верные Великому князю караимы, ждали души удавленного Кястутиса и убитых Миндаугасом родичей, и кровь ждала, кровь, кровь, кровь, текущая в море мимо Вильнюса, Каунаса, Тракай, мимо костров на замковых башнях, мимо преданной и проданной Витаутасом Жемайтии, а где-то на берегу этой реки крови стояло четверо еще живых пруссов, и они уже ничего не ждали. Студент-историк никогда не стыдился своего юношеского сочинения «Литва как торная дорога XIII века». И в самом деле — открыла Литва глаза и сразу же залилась кровью, и сразу ее озера, болота, моря стали красными, она сама убила свою синеву и зелень. И он — мальчишка! — послал в те времена ноту, прозвав свою собаку Йогайлой, а кошку — Королевой Ядвигой. И он — студент-историк — узрел однажды четверых еще живых пруссов на берегу текущей кровью реки, всмотрелся в их глаза и увидел там душу погибшего брата, печально и беспомощно упрекающую живых не в своей смерти, а в той, которую живые призывают к себе изо всех сил.

И он понял то, чего раньше никак не мог понять: почему Витаутас играл ва-банк, почему

ждал именно в Тракай, а не в Луцке, не в Киеве, не в каком-нибудь волынском замке, до которого он бы преспокойно добрался никем не узнанный, хватило бы нескольких верных татар, чтобы по лесам и болотам привезти туда корону. И совсем не собирался он потрясти Европу. Душа погибшего брата поведала последним пруссам, что Великий был обречен свалиться с коня. А ведь всю жизнь он был кентавром. Человеческая его часть была прикована к душе удавленного Кястутиса, к убитой Миндаугасом родне, к преданной и проданной Жемайтии, к рекам, полным литовской крови, и кострам на башнях неманских, а не волынских замков, а часть животная, звериная сеяла и косила на чужих землях и пусть намолачивала там кое-какое зерно, но пахала все-таки чужие земли. И только совсем уже седой и старый Витаутас понял, что у него всего лишь две ноги и они человечьи. Понял, что этими ногами он врос в Литву. В маленькую Литву. В сердце Литвы, прочное и неделимое, как атомное ядро. Вот когда ему следовало сесть на трон. Не тогда, когда он бежал в женском платье из Кревских подземелий, и не тогда, когда глаза его охватывали зеленый простор между Грюнвальдом и Танненбергом, а теперь, теперь, теперь, когда он глазами мудрого

старца всмотрелся наконец в сердце Литвы.

В ту ночь плакал он, скорбя по упавшему с коня Великому. В ту ночь брел он по Аллее свободы от Гарнизонного Собора до Старого города, а на тротуарах валялись газеты, кричащие о базах, советской опасности, переменах в правительстве.

Утром он узнал, что вождь нации Антанас Сметона очутился с чемоданами возле Рубикона на краю литовской земли, произнес «Alea jacta est»[7], словно был самым настоящим Юлием Цезарем, и пошел вброд.

Итак, этот человек, этот студент-историк уже стоял тогда на пороге своего погреба. Здесь следует нам проявить особую осторожность, так как легко совершить роковую ошибку, вообразив порог погреба этакой этапной станцией данной истории, неким крупным транспортным узлом, открывающим самые разнообразные возможности для дальнейшего пути. Так и подмывает меня вывести своего героя на широкий перекресток, продержать его там весь жаркий томительный день, чтобы он заламывал руки и рвал в раскаленном мозгу клубок спутанных мыслей. На первый

---

[7] Примечания: 7
Жребий брошен *(лат.)*.

взгляд, обходить сомнения было бы непрофессионально, однако, что поделаешь, если никаких сомнений у него не было, и перепутья не было, и даже права выбора. Когда поезд ныряет в тоннель, никто ведь не ахает из-за того, что внезапно наступает мрак, не вскрикивает от испуга, ибо так проложены рельсы.

Человек уже видел свою келью, видел на себе белые ризы монаха-затворника. Святой, вглядывающийся в сердце Литвы, жил в душе, но ему требовался настоящий, материальный образ, перед которым можно было бы возжигать настоящую, материальную свечу. Несколько дней искал этот образ в Каунасе. И не нашел. Ни один историк, ни один художник не видел Витаутаса таким, каким видел он. Никто не верил (а может, и не хотел верить?), что у Великого хватило бы сил положить конец наводнению.

Человек отправился в родные места, в Тарпумишкяй, к своей старой матери, добирался туда долго, чуть ли не целую неделю, когда он наконец вышел из последнего леса, вечерело. Поэтому он подождал, пока станет совсем темно, и только тогда постучался в двери.

Вдвоем провели они в кухне за столом короткую летнюю ночь. Он изложил матери, как будет

жить дальше. Увидел, что ее лицо пошло пятнами, сердце сжалось, однако решения своего он не изменил. Рассветало. Если глянуть в окно, сидя за их столом, то половину открывающегося пространства заслоняет стена хлева, но другая часть оставалась свободной и просматривалась до самого леса. Это была отведенная ему Литва, которую ему предстоит видеть теперь по утрам в течение одиннадцати лет. И над этой Литвой вставало солнце. Подул ветерок, заволновалась рожь. Никто по его Литве не прошел, никто не появился. Он подумал, что такой была она и в те давние времена — до крещения. Поезд нырнул в туннель — никто не ахнул, не вскрикнул. Лишь мать вскрикнула, но так, чтобы ее крик показался сыну как можно тише.

Кое-чего я не могу себе представить. К примеру, такое: как можно эмигрировать в Австралию? Не понимаю души эмигранта. Моя душа — иммиграционного свойства, она постоянно возвращается, и нет, по-моему, такого силового поля, попав в которое она могла бы изменить направление.

Душа Человека, Который Страдал по Литве, тоже была по своей сути иммиграционной, в этом, пожалуй, и есть главная причина, побуждающая меня рассказывать тарпумишкяйскую историю.

Чтобы уяснить себе все это дело, вычертим абсциссу, исходная точка которой — равновесие эмигрантских и иммигрантских склонностей. Минус бесконечность — пароход в Австралию. В случае Человека, Который Страдал по Литве, ось отрицательных значений оценивает лишь воображаемые душевные движения, нас же с тобой они интересуют не более, чем жизнь насекомых в джунглях Амазонки. Поэтому обратим лучше взоры к плюс бесконечности — может, сумеем придать ей зримый облик?

Ну, скажем, могила. Человека похоронили, неделю спустя откопали, а он перевернулся в гробу. Биение живого сердца в могильной яме — как квинтэссенция иммигрантской природы. А тут — погреб. Одиннадцать лет в белой монашеской рясе. Итак, пространство и время нами очерчены. Идея тоже ясна — пока Литва не вернется в свое сердце. Ты спросишь — все определено, а где же плюс бесконечность? Тебя уже соблазняет создание литературной модели его жизни в погребе. Однако воздержись. Подумай, что могли бы мы создать.

Описали бы оргазм, испытываемый нашим героем от самобичевания? Прогрессирующую клаустрофобию? Тоску по душе и телу женщи-

ны? Снова и снова возвращались бы к седому Витаутасу в Тракай как к истоку всего? Что еще? Обрисовали бы исторический фон этих одиннадцати лет, неустойчивый, как промежуточные продукты цепной реакции? Разукрасили бы его отдельными жанровыми сценками? Вот посланец вермахта Ганс требует у хозяйки яичко. Ганс нетерпелив, как и его фюрер, а мать того Человека терпелива, она терпеливо улыбается, ибо она сейчас чибисиха, отводящая врага от гнезда с птенцами. Она чибисиха, когда режет полть сала: шмат бандиту, шмат народному защитнику — только бы перенесли они эпицентр классовой борьбы подальше от ее гнезда. И так далее, и тому подобное. Что еще?

Конечно, следуя такой программе, мы довольно глубоко постигнем разумом сущность иммиграционной природы и, оглянувшись назад, поймем, что сильно удалились от нулевой точки, от точки равновесия, однако стоит посмотреть вперед, и у нас опустятся руки, ибо мы ни на йоту не приблизились к погребу. На этом пути мы достигли бы границы своего разума, за которой вполне реальные душевные движения Человека, Который Страдал по Литве, стали бы для нас иррациональными, как крик младенца, как действия

безумца. И перед нами открылась бы лишь пустота, тишина, звенящая в бескрайних туманах, и пронзающий эти туманы свет, посылаемый далеким, но необычайно мощным источником.

Сдается мне, есть еще один путь. Человек, по своей воле очутившийся в этом тумане, должен прикоснуться к реальным вещам, которые общепонятны. Тогда возникнет разность потенциалов и посыплются искры, мы будем их улавливать, фотографировать и, пусть не зачерпнув положительной бесконечности горстями, глядишь, все-таки обожжем пальцы отдельными ее свойствами.

И может быть, тогда из зерна нержи прорастет самая что ни на есть настоящая рожь.

Итак, от путешествия по одиннадцатилетнему затворничеству в погребе мы отказались. Да будет сей погреб для нас лишь сосудом, который в течение определенного времени был наполнен положительной бесконечностью.

Я узнал о существовании того Человека, когда сосуд уже дал трещину. Мама спросила тогда Гинте: какого же черта сегодня вылез? Только из-за теленка? Ему что, теленка жалко стало?

Гинте помчалась по своей тропинке за помощью. Привела его. А если бы она обратилась за

помощью к другому человеку — легальному, с паспортом? И он тоже пришел бы? Чем, скажи, отличаются в таком случае действия человека с паспортом от поступков человека без паспорта? Разве не в плоскости одних и тех же координат находятся они? Получается, значит, что человек может перейти из одной системы пространства в другую и при этом остаться живым.

Однако, чтобы это случилось, необходим катализатор, нужен кто-то третий, который решится нарушить герметичность погреба.

Нужна была Гинте.

Она родилась возле Алаушского озера. Правда, у нас в семье никогда не говорили — возле Алаушаса, говорили — в Алаушасе. Я так и представлял себе — Гинте родилась в озере, в один прекрасный день озеро ее вынесло и не до конца вернулось в свои берега — частичка его, глоток, а может, лишь капля, осталась в Гинте. И не высохла, не испарилась. Я точно знаю — капля родного озера западает в человека, словно искра божья. И это не редкость. Искра божья в человеке — не редкость. Гинте тоже обладала ею, однако мне и в голову не приходило абсолютизировать это ее качество, молиться на него. Наличие искры разумелось само собой.

Для меня.

А для него?

Одиннадцать лет в стекле кухонного окна концентрировалась вся видимая ему Литва. Почти каждое утро на рассвете присаживался он на несколько минут к столу и смотрел в окно. За годы войны, может, раза четыре заглядывали к ним немцы. Они мылись у колодца, топтали на дворе белый клевер и уходили. Однажды забрело несколько подвыпивших белоповязочников, потребовали у его матери травничка, чтобы на душе полегчало. В сорок втором, да, точно, в сорок втором, какой-то паренек прошел на заре в лес с лукошком, а в сорок четвертом, перед самым кошмаром, вдалеке, по опушке, мужик провел корову. Куда он ее вел, неизвестно — загородила стена хлева.

Сожмем все эти его заоконные впечатления в минуту экранного времени. Вот немцы валятся в клевер и вытаскивают сигареты, белоповязочники спешат подать им огонек — у них счастливый день, никто не получил кованым сапогом под зад, и белоповязочники, осмелев, кидаются к пареньку, отбирают у него лукошко с брусникой и пытаются оттереть ее соком ржавчину бурной ночи. На горизонте проходит мужик сорок чет-

вертого с коровой. У колодца, как чибисиха на страже, стоит мать и терпеливо улыбается.

Стоп-кадр.

Литва периода фашистской оккупации. Временная форма Литвы как вечной и неизменяющейся субстанции, думает человек в белой монашеской рясе, спускаясь в свой погреб.

До появления Гинте еще далеко.

Гинте на расстоянии полусотни километров и пяти лет.

А сердце Литвы замкнуто, чтобы не проник в него запах горелого человечьего мяса.

Потом все внезапно утихло.

И вновь пришло в движение.

Сидящий в поезде не сразу ощущает, что едет. Живущий в погребе выходит поутру в кухню и вдруг видит, что его Литва между левым краем оконной рамы и стеной хлева уже вспахана. Вспаханное поле — литературный штамп, штамп и жаворонок, который сейчас неистовствует у меня за пазухой, задыхается, а может, зря, ибо то, что сегодня является штампом, не было им в первое утро вспаханной Литвы, когда сосуд, содержащий положительную бесконечность, впервые дрогнул.

Очарование вспаханной Литвы. Дрожание

воздуха над влажной землей на восходе солнца. Оно может сотворить на опушке любой мираж, способно даже сформировать Гинте, хотя лишь через пять лет дедушка погрузил на тележку деревянный чемодан и отправились они с Гинте на станцию. А если все-таки это произошло? Если перед человеком не вспаханная Литва простиралась до леса, а Гинте? Если не Литва зеленела, колыхалась, зрела, а Гинте? Не слишком храбрая, но готовая на все Гинте превратилась в Литву — такой создали ее Алаушас и ее муженек.

Не знаю, при каких обстоятельствах познакомились они. Никогда этим не интересовался; для меня несущественно, проскользнула ли Гинте, как мышка, в соседний хутор, потихоньку прогрызла дыру в прочных стенах дома, чтобы через нее просочились внутрь запахи и звуки пятидесятого года, или ворвалась туда порывом свежего ветра и разом выдула спертый воздух. Существенно другое — она разгерметизировала погреб. В силу своей слабости откликнулась на зов легенды, как откликнулась бы и на зов материнства. Легенде не суждено плесневеть в неприступной батисфере, ибо на каждого героя легенды найдется хотя бы по одной не слишком храброй, но готовой на все Гинте, которая появ-

ляется, чтобы освободить его.

На четвертую или пятую ночь после того, как отелилась корова, кто-то постучался в окно. Я сел в кровати.

— Ложись, — строго прошептала из угла мама. — Ложись немедленно. Если бандиты, притворись, что спишь, может, не тронут.

Гинте босиком прошлепала к дверям.

— Не узнаешь? — послышался бодрый голос того Человека.

Они вдвоем зашли на кухню. Вдруг Гинте ахнула:

— А где же твоя борода?

Человек из погреба засмеялся.

— Разве можно идти к властям в облике доисторического человека?

— Куда идти?

— В Пасвалис.

— Сейчас?

— Дождусь утра. Власти-то, небось, по ночам не работают.

— Так просто возьмешь и выйдешь? — В голосе Гинте прозвучал страх. — Возьмешь и выйдешь, словно за покупками?

— Ох, задушишь ты меня, — выговорил он.

Всякий раз, возвращаясь к той ночи, я думаю, что оба они напоминали слепцов из сказки: довелось им ощупать слона — один потрогал хобот, другой — хвост. Для будущего Гинтиного муженька время было поездом, пролетающим последние метры туннеля — впереди уже виднелся белый лоскуток дня, он все увеличивается, ширится — капелька терпения, еще чуть-чуть, и ты вырвешься на вольный простор, скинешь с себя монашескую рясу и влезешь в старенькое пальтишко. Между тем для Гинте время, грохоча камнями, низвергалось водопадом горной реки. Ночь проваливалась в завтрашнее утро. Тьма — в свет, заиндевевшая ясность которого (она точно знала) может принести гибель и ей и ему.

Он покидает свой скит. Совсем просто — как поезд выезжает из туннеля. Как вошел, так и выходит. Сейчас. Завтра утром. И она молитвенно пала на колени перед безумно спешащей ночью, прося ее если не о вечной тьме, то хотя бы о темноте на месяц, на неделю. Однако Человек из погреба сказал:

— Два месяца ты торопила меня, а я все медлил. Теперь пора, а ты держишь меня за рукав.

— Разве я хоть слово говорила тебе об этом?

— Так почему же теперь — словами?

Плохи были дела Гинте, но остановиться она была уже не в силах. Гордая и безжалостная в своей неправоте, бросилась она в бой с ночью, которая неотвратимо катилась к утру. Потребовала от любимого сообщить, что же такое увидел он вдруг за окном. Ночь? Но ведь и вчера была ночь. Зиму? И в прошлом году была зима. Что же, по его мнению, изменилось? Он пообещал: вернусь — расскажу. И Гинте выкрикнула ему как злейшему врагу:

— Ты не вернешься! Поэтому скажи, пока еще здесь, чтобы я знала!



Я напряг слух, чтобы услышать заклинание. Теперь я напрягаю слух памяти. В ту ночь ответом на ее крик было молчание. И помню я лишь

его. Только через минуту приглушенный голос повторил:

— Задушишь.

— Я провожу тебя домой, — внезапно простонала Гинте.

— Завтра, — вздохнув, ответил он.

— Нет, сейчас. Немедленно. Хочу, чтобы ты оставил мне память на всю жизнь.

Он не понял. Тогда Гинте пробормотала что-то, и он, видимо, отпрянул от нее в самый темный угол кухни. Нет! Нет, нет! Вновь нависло тяжкое молчание.

— Значит, не веришь, что вернешься, — сказала Гинте. — Погубила я тебя.

— Спасла, — нежно и весомо возразил он.

— Это одно и то же. Погубила. И ты меня погубил.

В комнате тихо всхлипывала мама.

И вот на следующее утро геометрическая модель этой истории приняла свой окончательный вид. Бывшая до сих пор лишь отрезком прямой между его хутором и дырой в заборе сада тарпумишкяйской начальной школы, она превратилась в треугольник, третьей вершиной которого стал холм с километровым столбиком.

Я, мама и Гинте стояли у забора и видели, как

меж голых яблонь той усадьбы появились две темные фигурки. На мгновение они слились, снова разделились, и одна из них свернула в сторону Пасвалиса. Вторая смотрела ей вслед. Это была его мать. Она постояла, пока сын не вышел на дорогу. Наша троица провожала его глазами до тех пор, пока не взобрался он на холм с километровым столбиком и не остановился оглядеться.

Столбик этот свидетельствовал, что до Пасвалиса — бессчетное множество километров. Где-то там, в туманной дали, тонули пасвальские магазины и пивная, улочки, усыпанные конскими яблоками, вели к базарной площади.

Большой и богатый античный город Пасвалис был недостижим и нереален, словно земля обетованная.

Он исчез за холмом, как за горизонтом. Мы вернулись на кухню. Гинте села за стол и положила перед собой огрубевшие руки. В окно ей был виден холм. К вечеру на нем мог появиться Человек, который одиннадцать лет страдал по Литве.

А мог и не появиться.

В эти мгновения молодая и горячая кровь Гинте начала быстро остывать.

Ты, наверно, почувствовал, что низкое солнце пятидесятого года стало еще холоднее. Нам с

тобой уже не так уютно во времени Гинте, а ей и вовсе скверно, ей жутко, словно ее внезапно раздели догола посреди зимнего поля, потому что время, в котором Гинте искала тепла и завей, время того человека, исчезло. Улетучился последний дымок, превратился в белое облачко над Тарпумишкяй, и оно долго, медленно скользило по небу в сторону Латвии, пока к вечеру наконец не ушло за леса.

Вечером двое мужиков привезли в санях тело Человека, Который Страдал по Литве. На небе еще было солнце. Оно было красным. И снег тоже окрасился в красное, кроваво-красной казалась и тропинка Гинте. Человек лежал в санях, без шапки, заиндевевший и так странно скрюченный, что даже непонятно было, как он мог умереть в такой позе.

А было так. Утром он свернул с дороги, ведущей в Пасвалис. Прошел немного в сторону, примерно с полкилометра — до поросшего березами пригорка, поднялся на него и уселся на пень. Тогда он, безусловно, думал, что на полчасика, а не на всю жизнь.

С пригорка открывался вид на долину Муши, текущей подо льдом и снегом в Латвию, на избы местечка, из их труб шел дымок, отсюда, может,

видны были и крестьянские дела — кто-то возле хлева резал курицу, кто-то нес в избу дрова, женщина звала с крыльца своих завтракать — дела, от которых не умирают. Вероятно, душа его видела несколько больше, чем глаза: сквозь лед Муши прозревала она живых и свободных рыбцов, истосковавшихся по весне, по тому времени, когда они смогут произвести на свет новую жизнь. В голосе женщины, звавшей мужа завтракать, его душа ощущала твердость атомного ядра, и в ответе мужа: подожди, уже кончаю, была та же твердость, неизвестно, что собирался он закончить, однако если и мастерил что-то в сарае, то скорее колыбель, чем гроб.

Хозяин еще не знал, что потребуется и гроб.

Когда он вышел из сарая и смахнул с колен стружки, человек, еще утром забредший в березнячок, все еще сидел на пне. Может, пьяный, подумал хозяин, может, хочет протрезветь, прежде чем возвратиться домой? Он был недалек от истины. Человек, действительно, хотел протрезветь, прежде чем идти в Пасвалис, к властям.

Но чем дальше, тем больше пьянел. От мысли, что все уже пережито, что он выдержал и может теперь с чистой совестью выйти в свою Литву. Он был очень неосторожен, взобравшись на этот

пригорок. Еще неосторожнее был он, полагая, что тяжелые от икры самки рыбцов скоро уже поплывут для нереста на каменистые перекаты. А когда подумал, что все это принадлежит и ему, сердце расширилось так, как не положено расширяться человеческому сердцу, и ему на самой вершине надежды не хватило кислорода.

Под вечер вышел из избы хозяин, бросил взгляд на березняк и сразу же поспешил к соседу. На пригорок они взобрались вдвоем. Вставай, замерзнешь, тормошили они сидящего на пне. Вставай! Потом глянули повнимательней, всмотрелись в окаменевшее белое лицо, в немигающие глаза, в которых застыла благодать. Взгляд был прям и сосредоточен. Надеясь узнать, что, прежде чем остекленеть, видели эти глаза, мужики присели возле замерзшего. Перед ними открылась широкая долина Муши, дымились трубы усадеб, не было ничего такого, от чего можно умереть, они переглянулись, потом один остался возле сидящего, а второй отправился запрягать лошадь.

Осталось нам с тобой еще раз, последний разок, потоптаться возле садовой ограды, дожидаясь гибели Гинтиной тропинки. Упадет на нее белая смерть из темной снеговой тучи, упадет тихо, тропинка даже не застонет, и снова откроется

над ней зимнее небо, загорится холодное солнце, и засияет она в глаза прохожего голубыми кристаллами забвения. А туча уже поднимается над лесом, медленно нависает над Тарпумишкяй, не спешит взять свою добычу. Обреченная тропинка должна принять последнее причастие. По ней должен пройти еще один человек — в легких городских полуботинках, кожаной куртке, не прикрывающей ушей шапке с козырьком. Нам с тобой видно, как этот человек отходит от той усадьбы — над избою уже не вьется белый дымок — и направляется к нам, в сторону школы, согревая своим дыханием голые кулаки и постукивая ими друг о друга. Это представитель власти из Пасвалиса. За три дня успел он оставить следы своих полуботинок во всех дворах Тарпумишкяй, обедал там, где его заставало обеденное время, где заставала ночь — там ночевал.

— Не бойся, сестренка, — сказала моя мать Гинте, наблюдая в окно, как представитель власти переходит от одного двора к другому. — Велели — он и разнюхивает. Ведь тот крови не проливал, ни кулаком, ни белоповязочником не был, за что же тебя таскать?

— Мне все равно, — ответила Гинте, сидевшая в кухне у стола, положив руки на пеструю кле-

енку.

Она таяла на глазах. Ее кровь замерзала.

Представитель власти успел пройти по тропинке в самый последний момент. Когда он лез через дыру в ограде, на его шапку с козырьком опустились первые хлопья. Когда он отряхивал полуботинки на ступеньках школьного крыльца, снег шел уже вовсю, а когда разувался в кухне и ставил обувь к печке, в окно уже и хлева было не разглядеть. Тропинка умерла быстро и тихо, даже не простонала.

Представитель власти стоял в дверях, большой палец правой ноги белел через дырку в носке. Он смотрел на Гинте. А я не спускал глаз с него, ожидая, что станет он делать со своей властью. Гинте, положив руки на клеенку, не смотрела никуда. Представитель власти начал так:

— Извините, что явился без приглашения, но я должен вам сказать, что вы очень красивы.

Гинте обернулась.

— Что вы должны сказать?

Услышав, что она отозвалась, незваный гость снял куртку, повесил на гвоздик, сел за стол против Гинте и ступней одной ноги прикрыл голый палец на другой ноге.

— Не только как женщина красивы. Когда я шел

сюда, то даже не знал, какая вы, хотя, признаться, думал, каким должно быть лицо у человека с такой красивой душой.

— Я думаю, вы пришли не только сказать это, но и спросить кое о чем, — безразлично произнесла Гинте.

Представитель власти улыбнулся. Он был немногим старше ее.

— Знаете, что бы я сделал, явись он в Пасвалис?

— Арестовали бы?

— Возможно, — усмехнулся он. — Задержал бы, пока не узнал того, что узнал сейчас в Тарпумишкяй.

— А потом?

— Потом послал бы его фотографироваться.

— Для чего? Чтобы выслать в Сибирь?

— Для паспорта.

Руки Гинте соскользнули с клеенки и исчезли под столом. Кровь у нее уже настолько застыла, что она лишь так и смогла выразить свой ужас.

— Для какого паспорта?

— Для нашего, а для какого же еще?

— Не верю! — в голосе Гинте наконец возникла живая нотка, и она впервые посмотрела на посетителя.

— Даю вам честное слово, — глядя ей в глаза, сказал представитель власти.

Его честное слово было как вчерашняя дата под документом, подписанным сегодня. Вчера он еще имел бы силу. Сегодня — это ненужная бумажка о праве собственности на строение, единственная вещь, вынесенная из охваченного пожаром дома.

Кому нужен он, этот документ, когда от собственности остались разве что печка с трубой?

— Что вы могли узнать у местных крестьян? — спросила Гинте (его честное слово она сложила, как бумажку, и отодвинула в сторону). — Они же ничего не знали. Они видели его могилу. Одни — в Америке, другие — в Австралии.

— Вы не здешняя, — ответил представитель власти. — Если хотите стать в Тарпумишкяй своей, вам еще надо пройти большую науку. Они знали все.

— И почему он в погребе сидел?

— Все.

— И что дал обет выйти лишь тогда, когда Литва вернется в свое сердце?

— Это и есть то главное, что они знали.

— Откуда?

— Может, от его матери? А может, был еще один

человек, близкий ему?

— Не было такого, — вздрогнула Гинте.

— Тогда от матери, меня это нисколько не волнует. Важно одно — они знали. Знали и сохранили его до того времени, когда он смог выйти. Сами для себя сохранили…

— Не понимаю, чему вы так радуетесь? Что он умер?

Представитель власти не мог сдержать улыбки.

— Тому, что он вернулся. Ответьте мне — вы хорошо представляли себе его жизнь?

Гинте молчала. Потом сказала:

— Приблизительно.

— Я тоже — приблизительно. И вас я понимаю только приблизительно. И вы меня, наверно, тоже. А может, и не требуется особой точности? Сердцем понимаешь, а умом? Ну его, этот ум!

— Он умер, как святой, — прошептала Гинте.

— То-то и оно, — кивнул представитель власти. — Странное дело, накрываешь стол кумачом, ставишь графин чистейшей воды, толкуешь с людьми от всей души, но пока их святой в погребе — все они в погребе, их души в погребе. Теперь уже все записано и на счетах подбито, через неделю-другую не останется лесных и нач-

нется жизнь.

— У вас есть жена? — спросила Гинте.

Он постарался еще сильнее придавить ступней голый палец.

— Устала она от меня.

— Умерла?

— Бросила.

— Принеси-ка шкатулку с нитками, — велела мне Гинте.

— Однако факты…

— Совершившиеся факты — возможно, хотя гораздо реже, чем ты полагаешь. А несовершившиеся? История — это банк нереализованных возможностей, именно в них человеку зачастую приходится искать моральную компенсацию…

— И когда же вы все это придумали?

— Тогда, когда у меня было много времени для раздумий.

Это был первый намек на одиннадцатилетнее затворничество в погребе. И единственный. Едва уловимый гул, подобный слуховой галлюцинации.

— Может, пойдем? Гинте, небось, уже постелила.

Я ответил, что посижу еще.

Он зашагал через двор. Консул древней исто-

рии в Тарпумишкяйской восьмилетке. Оглохший и хмельной от домашнего пива Бетховен. Муляж легенды, бытовой ее вариант.

И скрылся в черном проеме.

Двадцать пять лет, подумал я. Такова периодичность наших с ним встреч. Наступивший в эту минуту конец нового периода казался нереальным и неопределенным, как пустота за черным дверным проемом. Попрощаться? Нынешнее рукопожатие было бы равносильно прощальному поцелую — словно прижался ты губами к его остывшему лбу. Мне стало очень легко, и я подумал о женщине с большим животом, которая вернулась домой, охваченная усталостью и блаженством. Я положил на ломоть хлеба кусок жирного пасвальского рулета, накрыл другим ломтем, сунул в карман и пошел вслед за той женщиной.

Небо над местом старой усадьбы было уже ярко-оранжевым. Я постоял на третьей вершине треугольника, опершись о километровый столбик, который свидетельствовал, что до Пасвалиса — двадцать километров. При таком освещении рожь, которой порос треугольник тарпумишкяйской истории, казалась еще желтее. Двадцать километров? Я испытал легкое разоча-

рование. Только двадцать километров, поэтому выпью их этим утром, как стакан старого вина — маленькими глотками, смакуя.

Но, подобно Человеку, Который Страдал по Литве, прошел я недалеко — всего, может, с полкилометра, до поросшего березами пригорка, взобрался на него и сел на пень. Посижу полчасика, подумал я, оглядывая долину Муши. Речушка по-прежнему упорно отыскивала в густых камышах дорогу в Латвию. Люди уже зашевелились после ночи, уже задымили трубы в усадьбах, хлопнула дверь избы по ту сторону Муши, ее хозяин отправился через двор в сарай. Я слышал, как зашаркал по дереву его рубанок — вжик, вжик… На пороге появилась старуха, позвала завтракать. Человек вышел из сарая и, мне это было хорошо видно, бросил взгляд в сторону березняка. Я вытащил бутерброд с жирным пасвальским рулетом.

Не помню, возвратился ли этот человек после завтрака в сарай. Если вернулся, то обязательно еще раз покосился на березняк, может, даже постоял минутку-другую, разглядывая меня — в противном случае разве услышал бы я вдруг его голос поблизости, едва в полусотне шагов, у подошвы моего пригорка. Два пожилых человека карабкались вверх.

— Этот живой, — услышал я, — этот еще живой.

— Что вы тут делаете? — спросил хозяин недалекой усадьбы, строгавший доски в сарае.

— Сижу, — ответил я.

— Случилось тут когда-то — посидел на пеньке один на вас похожий, и нашли мы его окоченевшим.

Я засмеялся.

— Никого вы не нашли. Это же я выдумал, что нашли.

— Так, может, и нас выдумали? И меня, Вилкайтиса, и его, тоже Вилкайтиса? Может, и нашу деревню Вилкайчяй придумали?

Второй Вилкайтис молчал, сердито, исподлобья поглядывая на меня.

— Но ведь тот человек жив, — сказал я. — Жив, здоров, работает учителем в Тарпумишкяй.

— Чего-то вы тут не понимаете. Что-то путаете. Я вам толкую про того, который одиннадцать лет в погребе просидел.

— И я — про него. Он вчера серебряную свадьбу отгулял. Всю ночь пиво пил. Жив он.

— И вы, небось, пили? — прервал меня первый Вилкайтис. Старики покатились со смеху. Даже слезы утирали. Потом разом унялись, второй

снова нахмурился сердито, а первый сказал:

— Теперь ступайте. Ступайте. Нет у нас времени покойников возить.

Таким тоном выгоняют из чужого сада.

Чего-то вы тут не понимаете... Я спускался под гору и с яростью (неизвестно кому адресованной яростью) думал: а что же в таком случае факт? Кто мне скажет?

В каком варианте я узнаю, **что есть факт?**

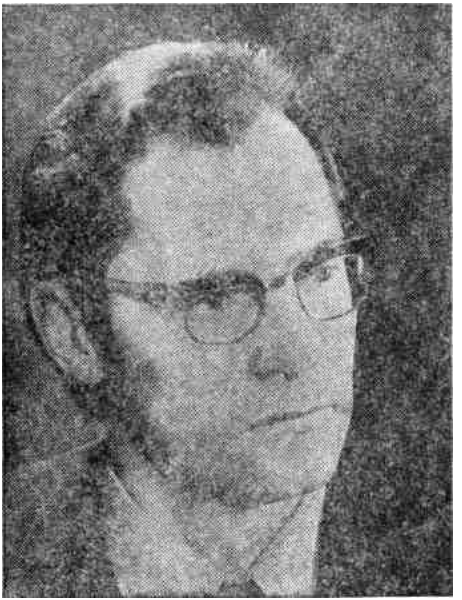
В шестом?

В семнадцатом?

В сто тридцать первом?!

Авторизованный перевод *Б. ЗАЛЕССКОЙ* и *Г. ГЕРАСИМОВА.*

Витаутас Мартинкус
ФЛЮГЕР
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРАЗДНИКА



Витаутас Мартинкус родился в 1943 г.

в деревне Эрубишкяй Юрбаркского района. Окончил электротехнический факультет Каунасского политехнического института, затем аспирантуру Института истории Академии наук Литовской ССР. Работает ответственным секретарем Каунасского отделения Союза писателей Литвы, преподает философию в Каунасском политехническом институте.

Печатается с 1965 г. В своих произведениях — рассказах, повестях, романе «Камни» — рассматривает проблемы становления характера молодого человека, взаимоотношения поколений в семье. На русском языке издана книга «Камни» («Советский писатель», М., 1978).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1

Случилось это в последнюю неделю июля, когда Рита Фрелих, мать Агне, не на шутку разболелась и всей их семье пришлось обедать где попало. Тихо стало по вечерам не только в кухне, но и в гостиной; Каволюсы разбредались по своим комнатам, всяк сам по себе: кто в постель, кто в кабинет-библиотеку; прекратились ежевечерние беседы, темы которых обычно предлагала беспокойная душа этого дома Рита Фрелих, умеющая находить у каждого из домочадцев изъяны и недостатки, словно вычитывая их из книги судеб, и тут же указывающая от всех пороков чудодейственное лекарство — волшебную травку… Ах, уж эти ее травки — иссушенные временем мысли великих людей, разве что лишь ей самой еще внушающие веру в то, что мир мудр и в нем царит согласие! Семейные вечера нанизывались на нить времени, как в старину низались зерна четок, только ныне этими зернами служили потускневшие от постоянного употребления афоризмы Паскаля, Ларошфуко, Спенсера, а

то и современных мудрецов — с шестнадцатой полосы «Литгазеты». Дети — каждый по-своему — ненавидели просветительские экзерсисы матери семейства, с поражающим постоянством воскрешавшие мощи Ферстера и других апостолов нравственности: даже и не пытайся отвертеться от этой ежевечерней духовной зарядки: отец, Йонас Каволюс, глава и верховная власть, по вечерам почти никогда не бывает дома, и семья вынуждена безропотно подчиняться произволу матери.

Летом, во время школьных каникул, Рита Фрелих стряпала вкусные блюда, за это ей многое можно было простить, но Агне несколько раз ловила себя на мысли: а ведь это совсем не плохо — мамина мигрень! Она ела комплексные обеды в совхозной столовой и возвращалась домой веселая, полная спокойной уверенности, что никто не посягнет на ее свободу. Братец Лиувилль, вероятно, и вовсе не обедал, его высокий дух, погруженный в схемы и формулы, игнорировал требования плоти. Отец питался где и чем придется, аппетит у него всегда был превосходный. В тот день, с которого начинается наше повествование, Йонас Каволюс повез сына на конференцию в Вильнюс, и, уж конечно, они

наобедаются там до икоты — мало ли в столице классных поваров!

Послеполуденное солнце уже клонилось к водонапорной башне, когда Агне решила наведаться домой. Не голод ее погнал, нет. Из-за платья. На ферме носила она халат — удобную, всегда нравившуюся ей одежду; еще один, новенький — в нем хоть по больнице разгуливай, — висел тут же, в шкафчике, однако Агне захотелось нарядиться в платье, знала даже в какое: в пошитое год назад вишневое с белыми и черными цветами, облегающее, хлещущее по икрам до сих пор модными складками. Ах, как шло ей это платье! Удивительно, что так долго, почти целый год, не вспоминала о нем. Тут Агне представила себе Наталью, вылезшую из кладовой, где напарница любила вздремнуть часок после обеда. Только что, когда Агне собралась уходить, Наталья ворчала: «Куда ты, ветерок-флюгерок, куда?» А что скажет, когда, увидит ее в вишневом платье… на ферме? «Рехнулась, что ли, девка? Вот ведь ветерок-флюгерок!» Это в глаза… А за глаза! Завтра во всем Тауруписе только и разговоров будет, что об Агне да ее платье. Шу-шу-шу да ша-ша-ша — любят люди языки почесать, хлебом не корми. Как подумаешь, даже не по себе стано-

вится от этой болтовни. Что угодно выдумают, глядишь, и напророчат: одному сердце, другому рак, третьему, может, и тюрьму. Не минуют по их милости Таурупис всяческие беды наших дней. Когда Рита Фрелих, почти ребенком еще, появилась на хуторе Баниса, чего только не толковали, хотели болезнь ей навязать: уж слишком, дескать, худющая, пусть Йонас Каволюс сразу гроб заказывает, такая в браке недолго протянет. И что вы думаете? Не прошло трех десятков лет, а женщина и вправду чаще в постели, чем на ногах… Детей, особенно чужих, здешняя молва и вовсе не щадит. Послушать кумушек, так дети теперь с каждым днем все хуже и хуже, город им, видите ли, подавай, бегут туда, словно в городе медом намазано, а что будет с Тауруписом, когда они, старики, ноги протянут? Неизвестно, что будет. Йонас-то Каволюс пока такие мысли рукой, как сигаретный дым, отгоняет, а другим от них невесело.

Возле холма, который отделяет фермы от поселка, донеслось до Агне едва слышное звяканье — дзынь-дзынь-дзынь. Не иначе, дядя Дукинас, отцов двоюродный брат. У кузнеца нынче самая страда, уборочная не только дипломированных механиков с ног валит. Здесь, в полях, это волей-

неволей чувствуешь. Ей, Агне, вон как на ферме доводится крутиться, да разве сравнишь: вышла в поле и сразу ощутила, что зашагала быстрее, чем обычно, идет и диву дается — куда летит! В такт ударам молотка по наковальне. Однако и бегом не бежала, потому что Дукинас постукивал быстро, но без спешки. Какую-нибудь гайку или ось для комбайна кует. В страду как? Не то, так это из строя выходит, и не всё ребята Бейнариса, старшего механика, могут добыть на складе… Комбайны не больно интересовали Агне, а вот подгоняет же что-то: дзынь — шаг, дзынь — другой… Мать иногда запускает пластинку с маршем Мендельсона и убеждает всех, что музыка помогает ей раскладывать пасьянс из карточек, на которых выписаны мысли ученейших мужей мира и скромная мудрость, извлеченная или выжатая из хитроумных, но зачастую туманных речей таурупийцев. «Извлекать» или «выжимать» ее можно, кое-чего наслушавшись: «Дети — они дети, покуда в подоле держишь, выпрыгнут — не поймаешь, как лягушонка; от греха их не остережешь — будут скрипеть дети на одном месте, ровно флюгера…» И так далее, и тому подобное. Или вот сердится Наталья, когда Агне не вовремя исчезает с фермы: «Куда летишь,

ветерок-флюгерок?» Или еще как-нибудь. А Рита Фрелих внимательно слушает такие разговоры и записывает на своей карточке: «Дети вертятся и скрипят, как флюгера».

Ясно, что это не совсем подлинная пословица, даже не фольклор, только мысль самой Риты Фрелих, удостоенная быть записанной рядом с Ларошфуко и прочими… Может, все это лишь «романтические бредни», как говорит Лиувилль, и пора бы уж Рите Фрелих, учительнице и матери большой семьи, перестать ими заниматься, не девочка. Только Спин, второй брат, рискует утверждать, что эти бредни порой составляют целый мир — во всяком случае, для Риты Фрелих! Агне знала, что, пытаясь таким образом защитить маму, брат высказывал не собственные мысли, косился на человека, который в свое время настойчиво убеждал окружающих: «Die Welt ist Wille»[8]. Да… Спин стал теперь таким ученым, таким эрудитом, почти как Лиувилль. Конечно, она, Агне, по сравнению с ними глупышка, темная деревенская девчонка, однако она понимала то, что братьям, должно быть, и в голову не приходило: их мать и осталась-то в этом краю,

---

[8] Примечания: 8

«Мир — это воля» *(нем.)* — слова Шопенгауэра.

далеко от моря, в огороженной лесами долине речки Таурупис, потому что увидела здесь старые избы, над крышами которых поскрипывали от малейшего дуновения то железное перо, то целая птица, а то и всадник с пикой — все, что, по мнению местных кузнецов, могло вертеться и показывать дорогу ветру…

А ведь могло же случиться так, что Рита Фрелих много-много лет назад не постучалась бы в двери бывшего хутора Баниса, где учительствовал Йонас Каволюс. В мире от этого не бог весть что изменилось бы. Не было бы только ее, Агне, идущей домой, в Таурупис, где на крышах многоэтажных — совсем городских! — домов установлены не флюгера, а коллективные телевизионные антенны, а на котельной, на водонапорной башне, на складах едва заметные пики громоотводов. Все это было бы, даже громоотводы, хоть тауруписйские — собственное изобретение Лиувилля, ведь громоотводы куда полезнее, чем прежние флюгера, исчезнувшие вместе с ветхими избами. Про изобретателя громоотводов Агне знает, а вот спросили бы ее, кто здесь, вдали от продутого ветрами взморья, себе и другим ковал флюгера, она бы не ответила. Да и зачем флюгера? Ведь в любой момент, как говорит Йонас Каволюс,

о ветре все, что тебе нужно, узнаешь: включи радио или телевизор, а то позвони по телефону, и скажут, откуда он и куда путь держит, какой силы — только пух на одуванчике или на доме крышу может сорвать… Смех был бы, да и только, говорит отец, если бы замороченному делами человеку приходилось пялить глаза на дурацкие вертящиеся железяки или, хуже того, послюнявив, поднимать палец, чтобы направление ветра определить! Зачем? Чтобы за ветром вдогонку бегать? Побежишь эдак-то, разгонишься, а ветер тебя подхватит, и глядь, земля уже далеко внизу, несешься над крышами и антеннами, вроде какого-то первобытного летающего ящера… А потом грохнешься вниз, как эти сорванные бурями старинные флюгера… Обойдемся.

Не забудьте покрасить мои громоотводы, напоминает иногда Йонасу Каволюсу его сын Лиувилль, и Рита Фрелих, слыша это, все чаще опускает голову, не в силах, быть может, понять, что же случилось тогда, почему сжало ей сердце, сковало ноги. Неужели затейливые флюгера, сработанные таурупийскими кузнецами, эти железки придали ей смелости и она постучалась в ворота незнакомого хутора? Нет, конечно, нет! Просто устала… Не по той ли же причине, из-за

усталости, по прошествии стольких лет ни один таурупийский житель не спорит теперь с Ритой Фрелих, когда она заявляет: «Дети наши — флюгера».

Однако не так просто понять, что за смысл вкладывает в такое сравнение Рита Фрелих или другие таурупийцы. Может, флюгер — тот, кто умеет послушно поворачивать туда, куда дует ветер? А может, упрямо показывать ему, куда дуть, и держаться своего, пока не сорвет с крыши — вместе с осью, вокруг которой рожден ты вертеться? Нет, говорит Рита Фрелих, когда дети запускают воздушный змей, они уже немного похожи на флюгера, хотя бегут еще по земле и не решаются вытянуть руки, сжать ноги, словно прыгая в воду, и разбег у них еще не такой быстрый… «Ветерок-флюгерок» называет Агне Наталья и обращается к ней так во время еды или разговора, считая это именем, а не прозвищем.

Агне знает, Наталья зря словами не бросается, раз говорит, значит, думает так, верит, как все еще верит в дурную траву, растущую на заливных лугах, от которой у соседской коровы может пропасть молоко. Рита Фрелих и еще кое-кто верят несколько иначе, как в нечто заранее данное, от воли твоей не зависящее, не ломают же они

себе голову из-за лошадиных сил, где-то как-то и кем-то запряженных в мотор автомашины или самолета…

Но стоило ли Рите Фрелих — из-за флюгеров! — стучаться в двери хутора и будить тогда еще молодого учителя Йонаса Каволюса? Впрочем, этот вопрос — мой собственный, и адресую я его себе самому, автору, потому что Агне в тот миг не задумывалась об этом, она шла, улыбаясь от мысли, что белые и черные цветы, разбросанные по вишневому полю платья, скоро оживут на ней на зависть Наталье, и пусть себе визжат свиньи и чешут языки таурупийцы. Ох, уж эти языки! Не менее гадкая штука, чем борзое перо в ловкой руке писателя. А впрочем, болтают, и бог с ними! Вообще-то девчонка, идущая с работы, пусть и раньше, чем обычно, мало кого должна была интересовать. Кто она такая? Даже не Рита Фрелих, которой однажды сам министр пожимал руку, называл заслуженной учительницей. И не Спин, который так красиво научился рассуждать о человеке, что хоть в газете печатай. И не Йонас Каволюс, умнейшая голова Тауруписа; и уж, конечно, ни в какое сравнение не идет Агне с Лиувиллем, о нем и за границей знают! Агне — всего лишь свинарка, напарница Натальи, да

еще так молода, что вся ее жизнь — минувшая и настоящая — неизвестно как повернется. Она пока лишь «подпись на ветру» — флюгер, как много-много лет назад сказал бы ее прадед Матас Каволюс, носивший прозвище Смолокур. «Все будет хорошо, девонька, если как следует помолиться. Только ведь какая она, эта твоя молитва? Несерьезная. Вилами по воде писанная». Так, возможно, поправила бы Смолокура его жена Агнешка, прозванная Шинкаркой, женщина набожная и, как можно было заключить из рассказов о ней, знавшая, какие сны снились святому Бернарду…

2

Из почтового ящика, прикрепленного, совсем как в городе, в подъезде, на первом этаже, Агне вытащила газеты и письма. Отцу писали из министерства — вместо марки чернели следы фирменного штампа; Лиувиллю пришло сразу несколько бандеролей из Москвы, а ей, Агне, конверт, надписанный рукой Спина. Только матери, как всегда, никто не писал. Агне прищурилась и сморщила лоб, будто она была Ритой Фрелих и старалась понять, почему ее бывшие ученики,

вкусившие в Тауруписе премудрость грамоты, не находят времени или желания порадовать учительницу хотя бы письмом.

Измученная мигренью мать услышала шаги дочери, но с кровати не встала, только, опасаясь слишком резко повернуть голову, покосилась на старинные стенные часы. Их механизм приводился в движение не обычной гирей, а большой снарядной гильзой, наполненной таурупийским гравием, подковными гвоздями работы Дукинаса и крупной дробью из охотничьих припасов Йонаса Каволюса. Длинные черные стрелки показывали всего пять часов. Чего это Агне вернулась так рано? У Риты Фрелих даже подозрение возникло: может, часы снова отстают? Так уже случалось не раз, сработавшийся механизм едва ковыляет, потому и приходится добавлять в гильзу груз — горсть подковных гвоздей или дроби, скоро, наверное, надо будет целую подкову подвесить… Однако солнце еще едва коснулось верхушки водонапорной башни, Агне и впрямь никогда не возвращалась так рано! Похоже, не врут часы, которым пошло второе столетие, может, единственные такие во всем Тауруписе — их деревянный, изъеденный шашелем футляр разрисован краснощекими яблоками.

Агне не заглянула к матери. Оставив почту на кухне, письмо Спина она сунула в шкаф между отцовскими рубашками. Надевая платье, даже улыбнулась, представив себе удивление Натальи, глазеющей, как она, Агне, алым закатным облачком проплывет над цветущим льняным полем. Кому-кому, а уж Агне-то хорошо известно, что ей к лицу цвет заката. Вот бы тетя Марике, любившая все, что напоминало ей яркие цыганские одеяния, порадовалась, глядя на нее. Белые и черные цветы сплетались в сказочный узор, и узор этот, стоило надеть платье, словно бы расцветал, как сад по весне. В зеркале Агне видела себя и вроде бы не себя, знакомую и в то же время чужую, будто кто другой надел ее платье, непривычно праздничное, не ко времени вытащенное из шкафа; и, усиливая это впечатление недостоверности, за стеной, в комнате матери, хрипло начали бить часы. Время Агне не интересовало, но она по привычке сосчитала удары. Одиннадцать? Чушь какая-то! Наверно, Рите Фрелих совсем скверно, если она позволяет часам так бесстыдно врать…

Мать тоже слушала бой. Сосчитав удары, она отчетливо вспомнила: утром часы стояли, и, прежде чем пустить маятник, она установи-

ла стрелки по сигналам радио. Регулировать механизм боя она не умела, это сделает Йонас Каволюс сегодня вечером или завтра… Агне не предупредила, что вернется так рано. Может, что-то случилось на ферме? Нет, если что-нибудь серьезное, она сунула бы голову в дверь и доложила, не скреблась бы, как мышь, за стеной. То обстоятельство, что дочь была рядом, нанизывало разрозненные мысли Риты Фрелих на вполне определенный логический стержень: «Чего она там шебуршит, что ищет? Ох, несчастные мы люди, учителя, никогда не знаем, какое наше слово даст ростки, а какое сгниет в душах учеников; одно лишь истинно — многие из этих слов можно обратить против нас самих… Сегодня вторник, вечером надо побеседовать с Агне, предстоит серьезный разговор, отец просил, так просил, чтобы перед вступительными я поговорила с ней… Профессию выбрать — не платье, но как начнешь, если недавно я так напала на нее за эту ферму? А ведь сколько раз сама вещала: любая работа почетна, если только она нужна людям! Почему же я против фермы ополчилась, словно там не люди работают? В нашей семье есть все условия для взаимопонимания, для человеческих отношений, для доверия и дружбы. И вот ведь

как глупо выходит: условия есть, а ни дружбы, ни согласия, будто на разных языках говорим, на разных планетах живем…»

Агне знала, о чем думает Рита Фрелих, все ее мысли знала. Может, даже лучше, чем свои собственные. Поэтому они и занимали ее меньше, чем платье цвета спелых вишен. Другое дело — письмо. Интересно, что Спину надо? Опять будет пилить за то, что подала заявление туда, куда велел отец? Хочет, чтобы следовала его примеру: говорила, что учится в одном месте, а сама в другом? Или начнет допытываться, не забыла ли она монолога Офелии?

Подведенные брови казались совсем черными, когда Агне, прищурившись, как близорукая, смотрела на свое отражение в зеркале. Потом она обхватила себя крест-накрест за талию и даже зарделась от гордости, чувствуя, что руки сковывают ее кольцом, почти сходятся, приподнимая груди, делая явственней ложбинку между ними, и все тело становится похожим на сжатую пружину. Вот и исчезло охватившее ее на ферме беспокойство — не страх, не злоба какая-нибудь, не тоска, а какое-то, черт его знает, совсем новое чувство, внезапно столкнувшееся с недавним желанием быть одной. И сразу же ее стали пре-

следовать собственные глаза — в оконном стекле, в блеске полированного бока автомойки, в зеркале комнаты отдыха, — всюду отражалась другая Агне, одетая в застиранный рваный халатик, вместо лица тусклое серое пятно… Вот, значит, какая она, когда остается наедине с самой собою? Печаль, словно туман, внезапно обволокла Агне. И ей не захотелось больше оставаться одной. Пружиной дрогнуло не тело — душа, это она потянула Агне на люди. Захотелось поговорить хоть с Натальей, пусть и не очень разговорчива ее напарница… Но Наталья спешила накормить своих подопечных, чтобы успеть малость вздремнуть до вечерней уборки.

Тогда-то Агне и удрала домой.

Ей не хватало ярких чистых красок: и для лица, и для глаз, и для всего тела. Еще шагая по полю, радовалась она, что в шкафу ее ждет это платье — плотное, шелестящее, неизвестно каким чудесным образом ласкающее. И впрямь, едва натянула его, исчезло мучительное чувство серости, она уже спокойнее смотрела на себя, могла теперь вернуться… даже на ферму! В платье? Наталья сознание потеряет! И что делать ей на ферме в таком платье? Что? Будет читать письмо Спина. Вон оно какое толстое! Спасибо тебе за письмо,

Спин, ведь Агне так любит получать письма. Она будет читать твое письмо долго — идя полем, потом сидя в углу двора фермы, возле бума, который вытесал из целого бревна и установил Бейнарис. Не бум, а живой слон! Потом, может, Агне даже пройдется до кузницы Дукинаса, до самой Лафундии, чтобы и там, в парке, сидеть и читать, читать…

Агне несла письмо в руке и только уже на льняном поле вскрыла конверт. Несколько раз прочла начало, спотыкаясь на одном и том же месте, не сразу сообразив, что письмо это не ей:

> «Я понимаю, Мари, что имею право сердиться на тебя, но должен простить. Разве ты виновата, что существуют солнце, месяц, звезды? Разве ты виновата, что есть он? Я был бы злым, если бы хотел его смерти. Все живое имеет право жить! Существуя среди тех, кого мы ненавидим, разве смеем мы считать, что им надлежало бы немедленно умереть? Разве наши чувства действительно так полярны и взаимоисключающи, как иногда пытаются их представить: любовь — ненависть, мороз — жара, свет — мрак. Господи! То-

гда они на самом деле уничтожали бы друг друга, а не дополняли! Понимаешь, Мари? Но, когда я подумал об этом, меня все-таки охватил гнев: почему я должен дополнять его, почему я узнал тебя позже, а не он? Только потому, что я на пять лет моложе? Но ведь ты еще моложе! На сто, на тысячу лет моложе каждого мужчины, похотливым взглядом шарящего по твоему лицу, твоему телу, ибо я верю, что любовь — начало мира, самое изначальное начало, самая могучая и вечно молодая его сила. Все, что стареет, антисила. Это мое собственное открытие. Совершил я его, осматривая одну коллекцию спичечных этикеток. У коллекционера тоже безумная увлеченность, свой принцип, но это не любовь. Только ты — моя любовь, мой высший принцип. Страсть коллекционирования — лишь компенсация отсутствия великой любви. Это значит, что коллекционировать насекомых или почтовые марки я начну, если потеряю тебя, Мари. Накуплю альбомов, стану вытирать с них пыль, самолично варить клей, который не боится влаги, не

оставляет пятен и не привлекает грызунов. Но коллекционирование — это эрзац любви, не любовь, а черт знает что. Оно не создает ничего нового, ничего не рождает. Оно антисила. А мы с тобой, Мари, только начинаем творить. Ты народишь мне детей, очень много детей. Наша семья многодетная. Нас росло четверо, а отец и дедушка вспоминают, что в их семье было десять — целая куча! И мы с тобой не станем считать, сколько зарабатываем, сколько проедаем, сколько тратим на одежду. Мы будем любить друг друга, и пусть у нас рождаются дети! Долой цивилизацию, если она требует: «Растите не более троих». Хочу варварскую семью! Это звучит, черт побери, это прекрасно звучит, Мари! Нас будут считать дураками, придется просить помощи у государства, тебя наградят орденами, и вообще все будут смеяться над нами. Но что значат для любви, для величайшей силы в мире, насмешки трезвомыслящих? Достоин сожаления смех антисилы. Ему не нарушить нашей любви, мы пойдем своей дорогой… Прости, Мари, увлекся. Ведь

обещал, что мои письма будут лишь рассказом о повседневных заботах. Никаких сентенций, никакой зауми. Но что делать, если, едва вспомнив о том, кто был с тобой, я должен убеждать себя, что его не существует?

Теперь мы только вдвоем. Внимательно выслушай, что я расскажу тебе о своем возвращении домой. Написал «домой» и хотел зачеркнуть — оказывается, у меня нет дома. Есть родители, брат, сестра, но разве это мой дом? Да и что это за дом, если здесь должны умещаться такие непохожие люди: раздутый отцом, словно мыльный пузырь, вундеркинд Лиувилль, ни о чем серьезно не задумывающаяся, но в любой момент способная потерять рассудок младшая сестренка…»

От этих слов глаза Агне, иссиня-черные, если верить отцу и матери, глаза ее прабабки Агнешки Шинкарки, внезапно заволокло мглой; и перечитывая начало письма во второй раз, она снова споткнулась на этих же словах, смяла листок и шла, сомнамбулически замечая только то, что непременно нужно было видеть, чтобы не

сбиться с тропки: куда она ведет, поворот, еще поворот, обгоревший от молнии тополь на месте бывшего хутора Гуйгов, запруда на Рагуве, старые сараи Лафундии, кухня, где готовились кормосмеси для всех ферм совхоза… Но Агне не видела, как над ее головой, над гужучяйской фермой, над парком и постройками Лафундии, над всем Тауруписом просверкнула ветвистая молния. Подходил к концу жаркий летний предвечерний час — время, когда чаще всего появлялась шаровая молния, разрушившая жизнь Йокубаса Гуйги, превратившая в пар простоквашу Лёнгинаса, в дым — хутор, построенный их отцом. Правда, на этот раз молния была самая обыкновенная, тихотихо, без грома, саженными стежками прошила она поднявшиеся с запада тучи. Приближалась гроза, но в глазах Агне молния отразилась лишь двумя белыми искорками, и она не обратила на них внимания. Главное, что слепило сейчас Агне, заключалось в написанных синим «шариком» словах: «…способная потерять рассудок младшая сестренка».

3

Умывшись холодной водой из колонки во дворе фермы, возле овощного склада, Агне уже окончательно поняла, что читала слова, адресованные другому человеку. Кто такая Мари, она не знала, Спин был слишком далеко, чтобы делиться с ней своей жизнью. Он был взрослым и мог делать все, что ему угодно. И он доказал это, уверив отца, что изучает судовые двигатели, а сам тайком перебрался в Москву, в университет. Она хорошо помнила, какая ярость охватила отца, когда выяснилось, что Спин вернулся в Таурупис не инженером-механиком, а дипломированным психологом; разразился ураган «всесокрушающего самолюбия» (по выражению самого Спина); Агне с этим тайфуном довелось встретиться впервые еще в прошлом году, когда она в разгар экзаменов на аттестат зрелости удрала с Каволюнасом на праздник «Янтарная труба». Как громогласно упрекал ее тогда отец в небрежении к его заботам! Эти три дня она должна была готовиться к экзамену по математике, еще одному свидетельству, что достойна аттестата зрелости и самостоятельной жизни. С тех пор композитор

Зигмас-Мариюс Каволюнас, сын таурупийца Каволюнаса, прозванного Скребком (дед-то небось еще Каволюсом звался!), стал казаться отцу «опасным объектом», и она, Агне, тоже превращалась в опасность для замыслов и забот отца, которые Спин тогда еще не обозначил как «самолюбие». Но если отец всю жизнь боролся с чем-то ради матери, Спина, Стасе или ее самой, Агне, так, может, он и совхоз держал в руках лишь для того, чтобы не превратился он в «опасный объект»? Все эти фермы, десятки прудов, где кишмя кишит рыба, этот основываемый Лиувиллем институт энергетики, во всем опасность!

Агне чувствовала себя очень неуютно, потому что не могла выбросить из головы фразы Спина, в которой таилась опасность для нее самой: «…ни о чем серьезно не задумывающаяся, но в любой момент способная потерять рассудок…» Чтобы до конца понять его слова, она, конечно, должна была быть не Агне, а Мари, кому писал это Спин. Мари, несомненно, очень красивая. И любит она, наверное, совсем иначе, чем Агне любила Зигмаса-Мариюса. И одевается совсем по-другому, и по-другому проводит свои дни. Она такая умная, что не только Спин, но даже и Лиувилль в подметки ей не годится! Такая никогда не станет

терять рассудок из-за какого-то Зигмаса-Мариюса или из-за несданных экзаменов…

И вдруг Агне представила себе тетю Марике. Вот уж кого любовь действительно свела с ума! А что если и Агне ждет такая же судьба? Может, обе они — и тетя Марике, и она — одинаковые?

От этой мысли Агне вздрогнула и съежилась, словно от пронзившего тела холода. Нет, она не желала быть похожей на тетю Марике! А дочитать письмо хотелось. Там могло быть еще что-нибудь о ней, Агне, и, чтобы не ощущать неловкости при чтении чужого письма, ей следовало перевоплотиться — стать на время этой незнакомой Мари, а если не ею, то хотя бы тетей Марике. Так легче вынести и правду и ложь! Агне почувствовала, как мало осталось в ней артистичности, а ведь год назад казалось — хоть отбавляй. Не было ничего проще — то стать Офелией, то Гражиной, то Виолеттой… Мало ли замечательных ролей! Зигмас-Мариюс Каволюнас, сын старого Каволюнаса — Скребка, всячески поддерживал это ее убеждение; да какое там поддерживал! Изо всех сил призывал ее бороться за осуществление мечты, умолял стать вольной душой, а не «цветком вишни, втоптанным в серый асфальт». Если бы не Зигмас-Мариюс, если бы не

его уговоры, разве поехала бы она в Каунас, где тысячная толпа аплодировала певцам «Янтарной трубы»? Разве посмела бы слетать в Москву, где ее «данные» не произвели никакого впечатления на профессоров, охраняющих двери театрального института? Вот и очутилась она, как подхваченная ветром пылинка, снова в Тауруписе…

Ну и ну, сказал бы Спин, письма дочитать не может!

— Могу! — прошептала Агне. — Я все могу, только боюсь, что ты, Спин, соблазняешь, как Зигмас-Мариюс, зовешь, а куда, бог знает. Одно у вас на уме — беги! Не оставайся в Тауруписе…

Она разгладила листок и принялась читать дальше:

> «…Да и что это за дом, если здесь должны умещаться такие непохожие люди: раздутый отцом, словно мыльный пузырь, вундеркинд Лиувилль, ни о чем серьезно не задумывающаяся, но в любой момент способная потерять рассудок младшая сестренка, отец с его всесокрушающей волей, мать — школьный муравей-трудяга, безумная антипамять Тауруписа тетя Марике… И все они —

Каволюсы! Ковали, кузнецы… А мне кажется, мы теперь никто. Были ковалями, как люди вспоминают, даже хорошими ковалями были! Впрочем, на самом деле хорошим кузнецом был, пожалуй, только мой прадед Матас Каволюс, прозванный Смолокуром. Такие хитрые штуковины в своей кузне создавал… И вообще золотые руки у него были: пытался не только деготь из пней гнать, но и железо из здешней болотной руды плавить! А поглядела бы ты, Мари, какие флюгера сделал он для беседок в лафундийском парке! «Подпись на ветру», вот что они такое, а ведь когда ковались? В то время в Тауруписе еще никто на бумаге-то подписаться не умел! А у нынешних Каволюсов лишь последние росчерки этой подписи. Вот, к примеру, похожий на китайский иероглиф — это подпись его величества Йонаса Каволюса, а закорючки, напоминающие другой иероглиф, — мой шаг к более поэтическому восприятию мира, у третьей подписи, похожей на крест из двух мышиных хвостов, рыдает женщина, ибо разве бывали в нашем роду женщины, хоть на грош

счастливее Агнешки Шинкарки, моей прабабки, воспитанницы и жены Матаса Смолокура?..»

— Нет, Спин, неправ ты! — Агне снова прервала чтение, аккуратно сложила листки, сунула их в конверт и повернула к кухне, где готовили кормосмеси; там был телефон, а она вспомнила: надо позвонить механику Бейнарису, сообщить, что у них испортился транспортер для уборки навоза. — Нет, Спин! Я буду счастливая. Говори что хочешь, пиши что хочешь, а я буду!..

Агне не на шутку рассердилась на брата, словно угадавшего ее постоянную мысль, связавшего ее судьбу (будущую!) с судьбами Агнешки Шинкарки, тети Марике и всех других женщин из рода Каволюсов. Что теперь подумает эта Мари о ней, Агне?

Может, ничего особенного, ибо для того, чтобы понять, кто такая тетя Марике, надо жить в Тауруписе. Лишь тогда представишь себе, как горько Агне, когда слышит она, что ее тетка — преждевременно сорванный и сморщившийся на солнцепеке гороховый стручок, что она нянчится со своим почти совершеннолетним приемышем Винцялисом, словно он новорожденный. Может,

выдумки все это, по черствости душевной люди сочиняют, но, встречая в школьном коридоре Винцялиса, невысокого черноволосого парня с темным пушком на подбородке и над верхней губой, Агне чувствовала себя неловко… Однажды он даже пригласил ее на танец. Танцевал Винцялис скверно, по правде сказать, совсем не умел, но не очень-то из-за этого расстраивался, вел мелкими шажками, и все. Уже в самом начале танца Агне прошиб пот, хотя ее партнер вроде бы и не спешил, держался возле стен, где поменьше танцующих. А она чувствовала, что потеют не только лоб, виски, даже запах своих так старательно вымытых подмышек ощутила. Этот неприятный запах с каждым шагом усиливался, мешал слушать музыку и следить за партнером, который умел кружиться только в одну сторону — направо, по часовой стрелке. После того вечера Агне стала внимательно прислушиваться к жалобам матери; Рита Фрелих вела восьмой класс, где учился Винцялис, и со страхом ждали экзаменов — воспитанник тети Марике и дяди Дукинаса с трудом переползал из класса в класс, его уже давно не заставляли учиться, только бы посещал школу… На первый экзамен, по математике, Винцялис прийти со-

изволил, однако с безразличным видом сидел над чистым листом, пока не подошла к нему разъяренная Рита Фрелих и подзатыльником не нарушила его невозмутимого спокойствия; лишь с помощью такого экстраординарного средства были приведены в действие его мозг, руки и глаза, и, когда все уже ушли из класса, он поспешно переписал с листка, чудом опустившегося на его парту, решения задач. На подзатыльник он едва ли обиделся, однако на следующий экзамен не явился, и Агне по просьбе матери побежала к Дукинасу, где Винцялис жил после того, как тетю Марике изгнали из полуразвалившейся Лафундии, когда там начались реставрационные работы. Винцялис валялся на широкой кровати, видимо, на супружеском ложе Дукинаса, и в памяти Агне снова промелькнуло то, что болтали в Тауруписе о тете Марике и ее приемыше.

А Винцялис лежал и, не отвечая Агне, смотрел на нее насмешливыми, вполне разумными глазами.

В школу в тот день его привез сам дядя Дукинас: нахлобучил на голову парню красный шлем, посадил не позади себя, а в коляску «Ижа». Рита Фрелих даже посмотреть не захотела на этого обалдуя, ее трясло, как в лихорадке, нервы со-

всем сдали. Пришлось другим педагогам, улучив момент, вправлять Винцялису мозги, мобилизовывать его смекалку, сообразительность и знания.

Тогда-то впервые и пришла Агне мысль, что вся ее родня как-то очень несчастлива. Даже те, кто, подобно Винцялису, лишь случайно затесался в семью, начинают вести себя, будто кровно с ней связаны. Есть в их генах что-то необъяснимое, не разрушаемое ни войнами, ни новыми социальными отношениями. Самостоятельность в их роду вынуждена уступать упрямой воле. И успехов всегда добивается тот, у кого больше этого упрямства. Если о Матасе Смолокуре или деде Ясюсе Каволюсе Агне знала немногое, то отец, Йонас Каволюс — особенно Йонас Каволюс! — и все остальные, еще живые Каволюсы были наглядной школой такого упрямства.

Вот хотя бы такой случай. Агне едва помнит его. Однажды Дукинас, двоюродный брат Йонаса Каволюса, запил и целую неделю не появлялся в кузнице. Директор совхоза не стал ждать, самолично подковал свою Сивку; во второй раз за это взялся он гораздо позже, когда уже ездил на «виллисе»; взялся просто так, на дожинках, и, подзадориваемый мужиками, отлично подковал

кобылу! Унаследовал Йонас у Матаса Смолокура и его волю, и его чувство собственного достоинства. Не бывало такого в Тауруписе, чтобы директор не сдержал данного слова, не добился того, к чему стремился. Уже много лет хозяйство ходило в передовых, и не только в районе — со всей республики ехали и ехали сюда гости. Агне давно привыкла к тому, что в их доме часто ночуют посторонние, которым надо улыбаться, которых нельзя не замечать, о которых никому не следует рассказывать. Позже построили гостиницу, и Агне все реже встречалась дома с гостями Тауруписа, восторженно хвалившими пруды, рыбу, людей совхоза и, конечно же, самого Йонаса Каволюса.

Агне была уверена, что самая требовательная женщина, будь это хоть Мари, не смогла бы усмотреть во внешности Йонаса Каволюса какой-нибудь изъян. На ладном коренастом туловище крепко сидела уже сивая лобастая голова, главным украшением которой были глаза молодого орла. Агне унаследовала отцовские глаза — редкость в их краю, — темные, пронзительные, от рождения дальнозоркие. Они никогда ни перед кем не заискивали. Его собеседник мог быть соседом или даже родственником (в Тауруписе до

недавних пор едва ли не половина жителей были Каволюсы), просящим помощи — хозяйственной, моральной, правовой, — в какие только отношения не сплетались людские жизни; мог быть представителем районной, республиканской или даже более высокой власти, мог сердиться, поучать; он мог быть трезвенником или неумеренно пьющим; он мог быть иностранным гостем, недоверчиво постукивающим костяшками пальцев по стенам столовой, как бы проверяя, не бутафорские ли, лишь вчера воздвигнутые напоказ гостям, а завтра дунет ветер, и нет их… Ни перед кем не заискивал, никому не угождал и не льстил Йонас Каволюс. Он начал хозяйствовать на трехстах гектарах — столько земли было в таурупийском колхозе, созданном в сорок девятом году, а сегодня совхоз владел пятью тысячами, и всем казалось справедливым, что Йонас Каволюс одно за другим поглощает мелкие соседние хозяйства. Да, он пошел куда дальше Матаса Смолокура, и слава об отце Агне распространилась гораздо шире, чем о приемном отце, а потом муже Агнешки Шинкарки. Однако в создании обоих этих мужчин участвовали, видимо, одни и те же гены — обращенные на внешний мир, сметающие любую встреченную на пути

преграду; они, как фантастические лучеметы, создавали силовой вихрь, который пресекал кривотолки, разрушал злую волю. Если Йонас Каволюс и чувствовал за собой какую-то вину, то лишь в одном: на свете так много путей, ни сам их все не исходишь, ни других не подтолкнешь…

Дети его тоже должны были следовать по указанной отцом дороге. Он досконально знал, в чем нуждается его хозяйство, хозяйство его района, его страны. Как Матас Смолокур одним ударом молота мог выковать зуб бороны, так Йонас Каволюс с ходу ковал судьбу человека: Таурупису требовались зоотехники, и окрестная молодежь по его указке поступала в ветеринарную академию, понадобились хозяйству инженеры — она отправилась в политехнический… И все были благодарны директору, как пророку или цыганке, правильно нагадавшей им будущее. От дьявольского удара Каволюса крошилась и плющилась пирамида престижности профессий, на вершине которой зажигают ныне свои свечки социологи. А то обстоятельство, что воля его, пробивающая дорогу всем другим, была бессильна навести порядок в собственной семье Йонаса Каволюса, мало кого заботило.

Йонас, пожалуй, был единственным челове-

ком в Тауруписе, кто женился без помощи свата Гудъёниса.

Мать Агне пришла в Таурупис из-за Немана, из тех краев, где еще в XVI веке Мажвидас напечатал первую литовскую книгу; однако перед второй мировой войной уже мало кто из тамошних жителей считал себя литовцем. И все-таки в сорок пятом многие из них перебрались на правый берег Немана; некоторые доходили и до Таурупийской долины, где молодой Йонас Каволюс учил первоклассников литовской, а четвероклассников уже и русской азбуке. Маргарита Фрелих постучалась в ворота сельской начальной школы, полагая, что просится переночевать на хуторе. Откуда было ей знать, что точно так же, как шла она на восток, хозяин этого хутора Винцентас Банис брел на запад, что в одной из комнат его просторного, построенного лишь в тридцать девятом году дома ежедневно собирались таурупийские дети, а в маленькой боковушке поставил себе койку сын соседа, учитель Йонас Каволюс? Еще три комнаты оставались пустыми, кров для ночлега могла найти в них не только Маргарита Фрелих, но и ее сестра, и ее родители (если бы они остались живы!). Маргарите шел восемнадцатый год, а Йонас Каволюс, увидев

ее в сенях, подумал — тринадцать, столько же, сколько старшим из его учеников. Он накормил ее и, хотя был первым советским учителем в Тауруписе, пригласил переночевать почти теми же словами, с какими обратились к Иисусу Христу его апостолы: «Останься, ведь уже вечер». Она легла в одной из пустых комнат, а наутро помыла в классе окна и пол. Так она выбрала себе судьбу: сначала школьного сторожа, потом лучшей ученицы Йонаса Каволюса… и его жены.

Йонас Каволюс шел по стопам деда: Матас Смолокур вырастил себе жену из подкидыша, может, даже самим дьяволом зачатого. Первый во всем Тауруписе невесть чью кровь он признал родственной себе. Маргарита же Фрелих стала первым зубом бороны, который не поддался волевым ударам Йонаса Каволюса, сохранил какое-то свое изначальное — дикое — сопротивление материала или духа; подобное в свое время, вероятно, должен был испытать и Матас Смолокур в объятиях Агнешки Шинкарки… Маргарита согласилась отзываться на имя Рита, но ни за что не согласилась расстаться с девичьей фамилией, так и осталась Фрелих… Агне никогда не видела, чтобы мать радовалась успехам мужа, и не горевала она, когда наваливалась на

Йонаса черная туча забот. Она вела дом. Сначала на хуторе Баниса, потом в четырехкомнатной квартире многоэтажного дома городского типа, она же создала кабинет математики в таурупийской школе и собирала коллекцию афоризмов. Веруя в могучую силу методики, Рита Фрелих надеялась, что сможет воспитать семью с помощью афоризмов и это будет свежо и ново. Выбрав афоризм, достойный внимания мужа и детей, она разрабатывала программу действий на всю неделю: вытаскивала из шкафов соответствующие книги, альбомы репродукций, отыскивала в программах радио и телевидения отвечающие заданной теме передачи, отводила время и для индивидуальных бесед с детьми и мужем. Йонаса Каволюса все это сначала смешило, потом только раздражало, не более.

Стасе, старшая дочь, была вторым человеком, позволившим себе не соглашаться с диктатом Йонаса Каволюса. Она могла быть примером того, как слабо в наше время уважается четвертая заповедь Моисеева — о почитании родителей. Куда сильнее воздействует нынче на людей тихий голос транзистора… Стасе и не собиралась уважать волю отца, отказалась изучать рыбьи болезни и привычки, затесалась в мужскую компанию

геологов и на долгие месяцы исчезала из Литвы. Для таурупийских прудов она перестала быть даже потенциальным потребителем карпов, так как в горных реках Алтая, Сибири или Кавказа водилось предостаточно самой разнообразной рыбы. И только когда Бейнарис отправился на грузовике в Вильнюс, чтобы получить ночью на железнодорожной станции гроб с останками Стасе, прибывшими из какого-то городка (названия которого таурупийцы и не слыхивали), городка, спрятавшегося в одной из долин Памира, вот когда Йонас Каволюс наконец смог вслух упрекнуть: «Ох дети вы, дети!» Услышав восклицание отца, Агне поняла, что Стасе не прощена, ничего не забудет ей Каволюс, и четвертая заповедь, ставшая ныне этическим законом, пусть и освобожденная от трансцендентальных пеленок, по-прежнему распадается на любовь и ненависть, сочувствие и насмешку, внимание и равнодушие — на множество осколков, и в мирное время ранящих людей.

Спин появился вслед за Стасе. Крестины ему устроили шумные, может быть, даже слишком шумные по тогдашним временам: шли первые послевоенные годы, на дверях многих домов в округе можно было увидеть ленты из красного и

черного крепа… На гужучяйских и таурупийских пажитях квакали лягушки, печально вопрошали «чьи вы?» чибисы, когда подвыпившие гости выкатили коляску с новорожденным в сад хутора. «Ох, сынок, — говаривал позднее дядя Дукинас, почерневшей ладонью гладя взлохмаченную и невесть какими ветрами занесенную в его кузницу голову Спина. — Не было в Тауруписе лучших крестин! Что только не выделывал Гудъёнис, этот чертов сват-обманщик: ко всем приставал, задирался, гнусавил проповедь по-латыни, что твой ксендз, глотал расплавленный воск, как пиво, а лейтенантик, начальник взвода народных защитников, самый меткий стрелок на свете, каждую подброшенную вверх бутылку сбивал первым же выстрелом, и на землю градом падали осколки…» Спину, столько раз слышавшему о своих крестинах, казалось, что он и сам помнит их, он даже рассказывал ровесникам о радужном стеклянном крошеве, засыпавшем хвощ и папоротник, вспоминал о том, как, желая получше разглядеть свое отражение в этом зеркале, повернулся в коляске и выпал из нее на траву под цветущей яблоней, так он сделал первый самостоятельный оборот, недаром же назвали его Спином в честь «момента количества движения электрона». И в дальней-

шем вращался он совсем не в том направлении, куда толкала его заведенная отцом пружина. Мир физики нисколько не интересовал Спина, единственным чудом техники, ошеломившим его, были старые часы с гильзой от орудийного снаряда вместо гири, наполненной подковными гвоздями, дробью и гравием: неужели железо и камень превращаются во время? Ни радио, ни телевизор, ни электронно-вычислительные машины не произведут на него впоследствии такого впечатления: обыкновенные коробки, где нет ничего необычного — медные проводки, похожие на конфеты конденсаторы, трубочки сопротивлений, катушки… Не интересовало Спина и хозяйство, возглавляемое отцом и, вероятно, какими-то языческими богами, потому что дожди и засухи заставляли Йонаса Каволюса выходить из себя или тайком опрокидывать стопку-другую, вознося хвалу Бахусу или Явине[9]. В тринадцать лет Спин хотел быть моряком и летом, отдавшись на волю провидения, по его мнению, более сговорчивого, чем отец, заварил довольно крутую кашу — убежал из дому! В их краях подобное было делом неслыханным. «Виллис» Йонаса Каволюса

[9] Примечания: 9
Богиня урожая у древних литовцев.

догнал «флотоводца» около Смалининкай — вниз по Неману плыла дверь от хлева… Дверь, может, и доплыла до моря, но экипаж был пленен; Йонас Каволюс выпросил для абордажа маленькую лодочку с подвесным моторчиком, и дальнейшая судьба «корабля» его не волновала. Приказав сыну в течение двух недель сдать переэкзаменовку по алгебре, он запер неслуха в мансарде и, по меньшей мере, раза три на дню поднимался посмотреть, что он делает. Замороченный полевыми ветрами и грохотом тракторов, отец на сей раз оказался на редкость ненаблюдательным: прикрытого учебником алгебры тома «Собора Парижской богоматери» он не разглядел.

В то лето появилась в семье Агне. Десятилетний Лиувилль успешно расчищал себе путь к любви и снисходительности отца. Матери не нравилось это имя. Так назвал сына отец, мечтая, что он повторит путь знаменитого французского математика. Как ни странно, на сей раз, очевидно, произошел счастливый случай, один из тысячи или миллиона, когда имя является тем созвездием или даже одной конкретной звездой, под влиянием которой человек пройдет свою жизнь и оставит по себе память после смерти. Лиувилль, увы, как и все, смертен, но его труды даруют ему

славу и после кончины… Йонас Каволюс раздувал костер несогласия между братьями, понимая, что значит хорошо оборудованная стартовая площадка. Ею для десятилетнего Лиувилля стал сконструированный им, поставленный под статическое напряжение громоотвод, так пригодившийся таурупийским домам, фермам и водонапорным башням. С тех пор имя второго сына навеки было написано отцом на облаках — чтобы все видели, чтобы все более или менее грамотные жители Тауруписа запомнили, чтобы никакие черви земные сего имени не осквернили. Каволюса ничуть не волновало, что организмы его детей плохо сопротивляются болезням. Поликлиники и амбулатории старались вовремя делать им прививки; но против вируса величия, уже тогда проникшего в голову Лиувилля, прививок не было — его надежно охраняло электрическое поле, которое окружало металлические штыри, торчавшие на всех хозяйственных постройках совхоза… Небо над Тауруписом синело от ионизированного воздуха, тучи и молнии уклонялись от громоотводов молодого Каволюса. Одним выстрелом Лиувилль убил двух зайцев: предохранил поселок от пожаров и спас его земли от… болот. Количество подлежащих мелиорации площадей сократилось

вдвое, с полей начали исчезать чибисы и лягушки, концертировавшие на крестинах Спина, так что аистам и учителю зоологии Пиктису приходилось плестись за лягушками в соседний лес, куда не доходила излучаемая металлическими штырями сила.

Лиувилль рос некрасивым мальчишкой, его кубический череп украшали только светлые вьющиеся волосы. Агне в свое время скажет ему это в глаза, а пока что он штудировал книги отцовской библиотеки и не вылезал из мастерской — неотапливаемой комнатенки под крышей, где свежий запах ионов смешивался с металлической гарью и парами канифоли. В это гнездо современного алхимика имели доступ лишь Йонас Каволюс, учитель физики Станайтис и Йонас Дягутис, изредка вспоминавший родную деревню Гужучяй и таурупийские молнии.

Вполне возможно, что Спин был прав, утверждая: у Лиувилля такая башка потому, что стукался он ею обо все вывороченные мужами науки и оставленные ими на дороге камни. Если так, то новые шишки ее только закаляли. Надо было видеть, с каким азартом четырехугольная голова десятилетнего мальчишки дробила вот хотя бы такую, исполненную для нее священного

смысла фразу: «Функция распределения постоянна вдоль фазовых траекторий подсистемы». Так гласила теорема его «святого патрона» Лиувилля, сформулированная им, когда отпрыска Каволюса еще и в помине не было. Возможно, в дни появления на свет второго сына Йонаса Каволюса кто-то задумался об этой теореме и понял ее значение для современной науки. Впрочем, не «кто-то» — сам отец, приказавший сельсоветской секретарше: «Пиши — Лиувилль!» Секретарша, пожилая женщина, почитывавшая жития святых, подобострастно закивала: «Ох, и красивый же был святой Лиувиллий!»

«Лиувилль!» — остро отточенным лезвием секиры сверкнуло это имя на берегах Тауруписа, во второй раз повторенное отцом. Словно заколдовал! Десятилетний Лиувилль уже стеснялся, что не знает этой теоремы, и учитель физики Станайтис всю ночь рылся в записях и книгах, чтобы несколькими фразами, словно щипцами, расколоть невесть откуда появившийся в его беззубом рту твердый орешек.

Когда Спин, заточенный в мансарде, должен был зубрить алгебру, его младший брат за дощатой перегородки кой атаковал «статистическое равновесие» или «квазизамкнутую подсисте-

му». Спин резко, словно желая сорвать дверь с петель, распахнул «кабинет», завизжал, будто его режут, и швырнул «Собор Парижской богоматери» в обросшую шишками голову братца. Маленького гения, скрывавшегося в своем гнезде, обычно окружала тишина, по крайней мере, в пустом пространстве «кабинета» не было ни матери, ни брата, ни сестер, однако для него эта пустота была наполнена материальностью куда более реальной, чем жизнь всех остальных таурупийцев, — здесь высились вершины трансцендентальной статистики. Переплетенный в толстый картон «Собор Парижской богоматери» обагрился кровью — не белой, не голубой, а красной, пульсирующей в артериях каждого человека. Йонас Каволюс вскипел и забыл заветы педагогики; сталкиваясь с близкими людьми, он вновь и вновь убеждался, что обучить нравственности путем проповедей невозможно, испарилась из головы мудрость Сократа, которую Рита Фрелих не один год вдалбливала туда — плохи мы только от неведения! — и он поступил, как поступил бы Матас Смолокур, неграмотный кузнец: расстегнул ремень… Атавизм? Инстинкт? Варварство? Нет, исключительно чувство самозащиты. Не такое ли испытываем мы, зажатые

толпой, которая с шумом атакует дверь магазина, отделяющую нас от всем позарез необходимых вещей? Обидеть ребенка с шишковатой головой значило обидеть его самого, Йонаса Каволюса, а может, и Матаса Смолокура! Спин извивался, как придавленная башмаком медно-зеленая змейка, когда отцовский ремень беспощадно стегал его.

4

Агне слышала множество версий о том, что произошло тогда в мансарде, но не очень-то знала, какая из них вернее. Однако все они свидетельствовали о воле отца, расставляющего людей и предметы на подобающие им места. Спин клейстером склеил листы порванной книги — их тоже не пощадила все уничтожающая отцовская ярость, мстящая за Лиувилля. Изучение алгебры преступник вынужден был продолжить в подвале хутора. Рите Фрелих, его родной матери, дозволялось спасать сына от голодной смерти, но не более того: суточная норма — пятнадцать кусочков сахара, хлеб и вода неограниченно; спасать до тех пор, пока Спин не вызубрит хотя бы того, что проморгал, когда все остальные учились. Тогда Спину пришла на помощь мудрость

из прочитанных книг — он объявил голодовку. Сахар растворял в воде и выливал на пол; как подобное сделать с хлебом, он сначала не мог сообразить: складывал куски на высокий подоконник запыленного окошечка, где в своих тенетах раскачивались несколько пауков. Но запах хлеба его раздражал, и, когда внутренности не на шутку начал сверлить голод, Спин решился на святотатство. Он побросал краюхи в угол и помочился на них! Резь в желудке на некоторое время утихла, свернулась в нежный шерстяной клубок, Спину почудилось, что он котенок, игравший и подавившийся этим клубком, а его родная мать тонкими пальцами сжимает ему горло и сует носом в загаженный угол; в глазах защипало, будто Спин нанюхался паров из дубильного чана, он прикрыл лицо руками, их гладкая кожа стала шершавой, взъерошилась, словно на ладонях выросла щетина. Он отпрянул от угла, попятился к картофельному закрому, где ему было устроено ложе; но растянулся не на нем, а на холодном цементном полу. Тем временем Лиувилль, крестиком пластыря заколдовавший подсохшую ранку, снова сидел в своей мансарде и не ощущал давления материи на голову; в лучшем случае, это давление было почти равно нулю, и странно,

даже очень странно, что книга, запущенная на днях рукой брата, смогла рассечь висок! Перочинным ножиком — острием — Лиувилль кольнул себя в затылок. Звякнуло, будто молоточком ударили по металлофону. Это уже была другая голова, ибо в ней луч разума осветил до тех пор скрытый во тьме феномен: от двух одинаковых экспериментов, проведенных в абсолютно идентичных условиях, можно получить совершенно непохожие результаты!.. Сия мысль будет с этого момента вписана в катехизис вундеркинда Каволюса, а классическая и квантовая статистика станут лепешками, которые Лиувилль — как таурупийская богомолка Вероника облатки — будет жевать каждый день. До создания конструкции молниеотталкивающего громоотвода оставался один шаг. Ионизированная атмосфера, как щепку, сбросила прочь крышу мансарды, чтобы Лиувилль смог все свои сверхчеловеческие силы употребить на борьбу с природой…

А в подвале, на отдающем сыростью и холодом цементном полу, без признаков жизни, словно выброшенный за ненадобностью, сгнивший шест франклиновского громоотвода, валялся Спин.

Позже он расскажет Агне сон, который привиделся ему в подвале. Агне будет горько от этого

сна, потому что в нем она, уже взрослая, вместе с матерью — у гроба Спина; обе они в черных платках, прикрывающих не только головы, но и лица, плечи, грудь — до самых колен; а перед ними двое мужчин — отец и Лиувилль, поэтому им с матерью почти не видно лежащего в гробу Спина. Рассказывая свой давнишний сон, Спин печально улыбался, ему было жалко себя и матери с сестрой. Но что мог он поделать? Похороны есть похороны, без слез здесь не обойтись. Как уголь, почернели лица мужчин — лица убийц, их глаза едва выжали одну-две соленые слезинки раскаяния, слеза иуды Лиувилля капнула на покойника, она так и жжет кожу, и Спин не выдерживает — поднимает руку, чтобы стереть братнино раскаяние. Убийцы каменеют от ужаса, потом бросаются на колени и молят о прощении. Как сладка месть! Мгновение, когда сердце выскакивает из груди и ныряет в бездну со скоростью, приводящей в оцепенение все живое.

Агне хорошо знает, как трудна обратная дорога в их дом, откуда бы человек ни возвращался — из подвала, из далекого городка в горах Памира или из Каунасского дворца спорта… Возвращение для всех — словно восхождение на Голгофу, для всех, за исключением Лиувилля, поездившего по

свету гораздо больше, чем все жители Тауруписа вместе взятые. И Агне очень, очень трудно читать письмо Спина, обращенное совсем не к ней, а к незнакомой женщине. Еще не до конца прочитанное, оно уже колет сердце, до гула в голове учащает пульс, порождает предчувствие: надо будет что-то предпринимать. Ах, как скверно и стыдно читать не тебе адресованные письма! И вовсе не потому, что тебя ранит интимность чужих отношений… Агне съеживается, становится живой, упругой пружиной, отталкивающей сторонние мысли. Она рядовая свинарка, ей следует позвонить главному механику совхоза Бейнарису. К завтрашнему дню обязательно должен быть отремонтирован уборочный транспортер; Наталья уже который день злится: Агне обещает, но не звонит Бейнарису, и на образцовой свиноферме Тауруписа царит далеко не образцовый порядок… Что ж, теперь она действительно позвонит, позвонит и… уедет. Только… нехорошо отправляться в дорогу одной, как сказала бы Рита Фрелих.

Агне набрала номер механических мастерских. В телефонной трубке шипело и пищало, в конце концов какой-то мужчина ответил: «Алло!» Это не Бейнарис. Агне доложила о поломке и полу-

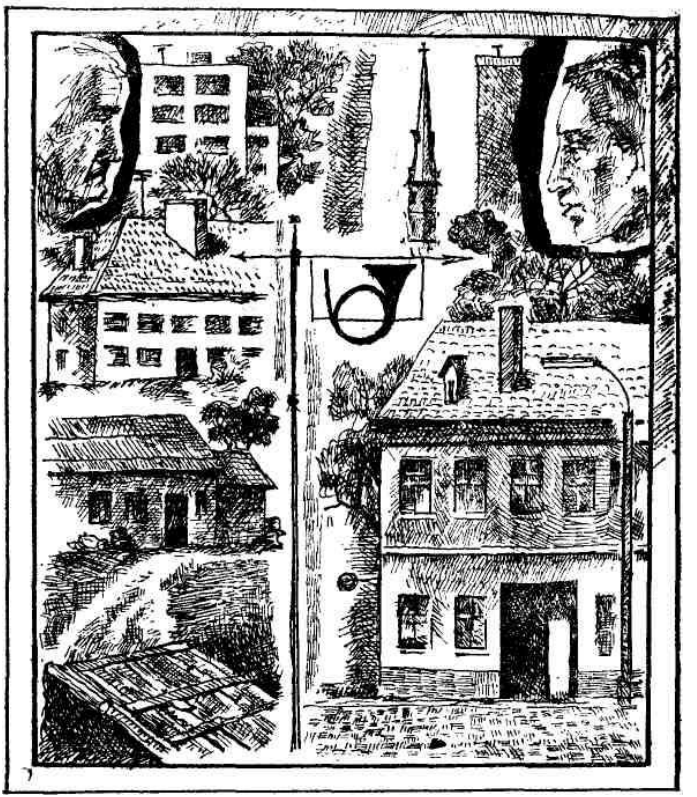
чила заверение, что сегодня же вечером у них появится мастер. Наталья возилась у автоклава кормокухни. С ней, уже наступающей на хвост пенсии женщиной, следовало договориться о том, что Агне хочет уехать вечером из Тауруписа. В своем автоматизированном свинарнике они без особого труда управлялись вдвоем, при необходимости можно и одной все успеть. Сейчас просто. Тяжелее зимой и весной, когда в рационе их подопечных много корнеплодов. Правда, со склада в кормокухню их возят трактором, но частенько случалось, что свинаркам приходилось перебрасывать свеклу из кузова прицепа на транспортер. Теперь, летом, комбикорм и мука всегда под рукой. Наталья легко снесет их туда, куда надо, силушка у нее есть, глядишь, ведерко-другое и для своего подсвинка прихватит. На виду-то у Агне она такого себе не позволяла, «соблюдала дисциплину», разве что иногда набьет целлофановый мешочек и тайком утащит на дне корзинки домой, в свою жизнь, в избенку, притулившуюся возле новых многоэтажных домов. Агне не знала, когда вернется, и беседа ее с Натальей была до смешного неопределенной: уезжаю, тетя, дела. На свете не одни только сердечные дела. Есть еще учеба. Вот и хорошо, что она есть,

где ж видано, чтобы директорская дочка свиней кормила, ведь не для газеты человек живет, для себя. А как же ты сама, Наталья, разве ты не человек, хоть и не бегала в школу? Может, и не совсем человек — пчела с мучной поноской… Не дай тебе, господи, такой жизни! Куда уж лучше быть ученой — понимаешь, что к чему, знаешь, что в этих машинах, когда нажимаешь кнопку и там гудит, стучит, будто живое…

От их короткого разговора повеяло на Агне чем-то знакомым: верой в мудрость ученых людей, не в их благородство, а лишь в мудрость. Так ли необходима она, когда ежедневно шастаешь по залитой вонью свинарника бетонной дорожке? Дорожка-то довольно чистая, раньше, может, даже в Натальиной избе пол грязнее был, хотя не скотина там жила — люди. Но все эти узкие и пошире дорожки между пневматическими кормовыми линиями, каждый день обильно поливаемые из шланга, все-таки не примирили Агне со свинофермой, она чуть не с отвращением поглядывала на белые спины своих подопечных — горы живого мяса — и радовалась, что уже решила, уже уходит, оставляет Наталью одну. Это хорошо, что та понимает: директорской дочке не место в свинарнике, не подходит он ни ее краси-

вому личику, ни ее рукам, ни вздорному нраву. Возможно, понимала Наталья и больше того: Агне работала здесь не по воле отца, а вопреки ей, из протеста против идеально управляемого отцом хозяйства, где все крутилось, как в хорошо смазанной машине, где все почти как в городе; даже жилые дома и те смотрят не сквозь ветви деревьев, а поверх них; где есть целых три больших магазина да еще книжный, столовая (вечером кафе!), кинотеатр, Дом культуры, краеведческий музей в старинном имении Лафундии, пляж, вымощенный камнями с окрестных курганов, засыпанный галькой, привезенной из юрбаркских карьеров… В прошлом году, когда Агне отправила документы в театральный институт, она месяца два вертелась в библиотеке Дома культуры, ждала там писем Зигмаса-Мариюса Каволюнаса, сына Скребка, много писем, потому что одной фразой, даже очень красивой («Цветок вишни на сером асфальте»), не передашь того, что волнует сердце, когда приезжаешь в родную деревню, теперь уже чуть ли не город, и находишь здесь прекрасную, как цветок вишни, выпускницу средней школы, дрожащую из-за каждого экзамена… Ты как бы поднимаешь ее сильными мужскими руками и говоришь: «Оглядись по сторонам! Неужто не

видишь, как прекрасен мир? Наплевать ему на твои экзамены, не им, а ему подчиняются твои биоритмы!»



Что биоритмы существуют, Агне уже знала. Но одни ли «биоритмы» разжигали ее желание удрать в Каунас вместе с композитором Зигмасом-Мариюсом Каволюнасом? Даже и теперь, год спустя, это ей не до конца ясно. Йонас Каволюс не любил Каунас, он считал, что в этом городе вредный микроклимат. Неман, подпертый плотиной и ставший Каунасским морем, испаряет слишком много влаги, она смешивается с сажей из труб котелен — как-никак почти девять месяцев в году дымят эти трубы, — с автомобильными выхлопами, с пылью каменных мостовых… А в ресторанах и кафе суспензия табака и алкогольных паров, неприличные женщины и неприличные песни, дурные знакомства… Когда перечисляешь, вроде и не страшно, познать на своей шкуре — вот что скверно. Там, утверждал Йонас Каволюс, глядя на мир из окна мансарды Лиувилля, слишком отчетливо проявляется принцип энтропии: порядок возможен лишь ценой сверхчеловеческих усилий, а беспорядок живет сам по себе. В Тауруписе, будущем городе, в оазисе уток и карпов, куда Лиувилль вернется, закончив свой научный марафон академиком, он будет дышать озоном и творить большие дела! Спин станет наблюдать, чтобы в порядке содержалась техника хозяйства,

Агне — командовать судьбой рыбы, птиц и скота! И хотя Стасе витала где-то рядом с жизнями Спина и Агне, отец еще не соединял одной прямой три точки, все еще надеялся выкорчевать ребяческое упрямство и эгоцентризм детей. Река Таурупис разольется не одним половодьем чувств, над гужучяйскими полями сверкнет еще не одна молния мудрости, пока Йонас Каволюс во всеуслышание, при Рите Фрелих и Агне, не объявит: «Спин — психолог? Он нуль! Реально лишь то, что делают наши руки». Привезенный сыном из Москвы диплом психолога не произвел на Йонаса Каволюса никакого впечатления, только вызвал удивление и раздражение — точно так же реагировал бы он, вернись Спин домой в сутане ксендза. «Эх, сынок, — почти безнадежно покачал он головой, глядя на сильные руки Спина с длинными красивыми пальцами и латунным кольцом на одном из них, — и что ты будешь делать в мире? Вести умные беседы с тетей Марике?» Да, у тети Марике, родной сестры Йонаса Каволюса, не особенно ладилось с памятью — может, по выражению Спина, она была живой антипамятью Тауруписа, чудом не пустившей по ветру карьеру брата, тогда еще молодого председателя колхоза. Сомнительную

силу, таящуюся в одинокой фигуре Марике, Йонас Каволюс презирал и всегда будет презирать: неопасна, ибо невменяема. Поставив Спина вровень с женщиной, высохшей, как тростник на осушенном болоте, отец списал его, подмахнул свою подпись под не подлежащим апелляции приговором, и обе свидетельницы — Рита Фрелих и Агне Каволюте — опустили головы, как бы соглашаясь с этим актом правосудия.

5

А когда через пару лет порыв неистовствующего в городе «микроклимата» занесет в Таурупис Зигмаса-Мариюса Каволюнаса, сына Скребка, этот человек заставит Агне посмотреть на самое себя со стороны. Может, и не так-то уж много узнает она от него, может, вообще ничего нового, но ее внезапно захлестнет стыд: вот и левая грудь кажется заметно меньше правой, и нос не так уж прям, скорее, даже вздернут, и скулы слишком выдаются, а глаза, черные глаза, унаследованные от прабабки Агнешки Шинкарки, глубоко сидят в глазницах, бровей почти не видно — так, несколько выгоревших волосков… Но еще до тех чужих глаз, которые будут взвешивать, измерять,

сравнивать, которые будут смотреть сквозь нее, словно она бесплотный призрак, и она не найдет в себе сил укрыться от них, позволит им разглядывать себя, хотя будет бледнеть и краснеть, до всего этого придет еще весна, зацветут сады; наступит пора, когда не надо быть поэтом или композитором, чтобы принять девушку за цветок вишни. Бывает такое колдовское время…

Зигмас-Мариюс Каволюнас, участник Дней культуры в их районе, приедет на свой творческий вечер. Он будет разъяснять таурупийцам, что такое музыка, играть ноктюрны, импровизировать на предложенные темы. Пианино залает собакой, замяукает кошкой, завоет волком, закачается березой, запахнет нарциссом, расцветет тюльпанами… И набившиеся в зал односельчане поверят, что мужчина в странном пиджаке с ласточкиным хвостом сзади, время от времени приглаживающий потными руками длинные, до плеч, волосы или задумчиво и вдохновенно потирающий большой с горбинкой, как клюв ястреба, нос, — и в самом деле сын Скребка, еще так недавно толкавшийся между ними, просивший, чтобы подсобили ему забраться на воз сена или на стог соломы. Отец Зигмаса был представителем власти — бригадиром, и его сын мог рассчитывать

на некоторые привилегии; мужики уступали его капризам, даже угождали мальчишке, хотя на Скребка многие имели зуб. Времена были очень уж неспокойные и неясные — первые дни колхозов, и грустные мысли мутили людям головы, когда поглядывали они на поля, где издали вроде бы поднималось жито, а подойдешь поближе — одни сорняки. Пусть отец Зигмаса не так уж виноват в этих неспокойных мыслях, только ведь люди всегда чувствуют себя увереннее, отыскав козла отпущения. Бригадир отмерял семена и удобрения, прощал и наказывал, сажал кок-сагыз и картофель квадратно-гнездовым способом, выписывал со склада резиновые сапоги тем, кто месил на фермах навозную жижу… Кому же еще было отвечать за неурожай и за сердечную боль? Разве не на Скребка, малограмотного человека, возложил Йонас Каволюс обязанность вершить справедливость? С виновных списывать трудодни? Работящих и честных вознаграждать бесплатными киносеансами и мешочками с засоренным зерном?.. Может, не только из-за кривого носа и въедливости, но отца Зигмаса Каволюнаса за глаза называли не иначе, как Скребком. Кто-то зло пошутил: «Вывезем навоз — куда скребок денем?» Ирония судьбы! Был разгар весны, самая

горячая пора. И тут разнесся слух: бригадир исчез! Воскресным утром поехал в городок на базар, кое-кто видел его возле кузни, Дукинас даже перебросился с ним парой слов, а потом как в воду… А вода-то рядом, под боком — Неман, быстрый и куда в те годы шире, чем нынче. Так никто ничего путного о судьбе Скребка и не узнал. Среди бела дня в кутерьме базара испарился человек, без которого в Тауруписе мог исчезнуть порядок. Однако, видать, прочен был этот порядок, ибо сохранился он и после пропажи бригадира. Из солнечного дня той весны, с пропахшего конским навозом базара пришло в Таурупис безотчетное чувство вины — как-никак Скребок был справедливый человек; никто не чувствовал себя причастным к этой темной истории, но вина покалывала сердце. Потому, вероятно, Зигмаса, уже не греющегося в лучах отцовской власти, продолжали подсаживать на возы сена, помогали забираться на стог соломы, как и своим мальцам, мешающимся под ногами.

Теперь, спустя много лет, когда оказалось, что у Зигмаса есть еще и второе имя — Мариюс и что он с легкостью наигрывает вальсы и ноктюрны, таурупийцы смотрели на него, как смотрят телевизионную передачу: интересно, но… чужое,

не особенно понятное, так, игра светового луча на стекле, щелкнешь выключателем — и нет ничего. Лишь когда пианино вдруг заговорило под пальцами Каволюнаса голосами животных и птиц, случилось странное дело — показалось, что из ящика телевизора вылез живой человек и, как Рита Фрелих Йонасу Каволюсу, сказал каждому: «Вот он я… Не пустите ли переночевать?» Зигмас-Мариюс превратился в понятного, своего, которого за дверь не выгонишь… Нос сына был копией отцовского, пианино шумело и скандалило, как пропавший без вести бригадир, правда, таурупийцы уже поотвыкли от такого тона, отдающего казармой или крепостным правом; и все-таки они замерли, глядя и слушая, одни дети не могли усидеть на месте, рвались к сцене и просили: «Еще! Еще!.. Про Красную Шапочку! Про Зайца и Волка!» И, выпорхнув из-под пальцев Зигмаса-Мариюса, стучал по сухой березе дятел, пела девочка, лязгал зубами голодный волк, шелестели, предрекая беду, деревья. Ребятня вопила от восторга, а пожилые таурупийцы думали: «Вот и вернулся сын Скребка. Научился тому, чего мы сроду не умели. А если… и отец вернется? Нет среди нас виноватых, однако нехорошо, очень нехорошо…»

На Агне было то самое платье вишневого цвета, сшитое по случаю дня последнего звонка, музыка Зигмаса-Мариюса Каволюнаса гнала из головы мысли об экзаменах. Сидя в первом ряду, Агне не спускала глаз с ловких пальцев, длинных волос, орлиного носа, с лакированных ботинок, отражающих свет софитов. И не особенно удивлялась после концерта, что гость целует ей руку и провожает домой. Правда, в тот вечер разговаривал он не с ней, а с Йонасом Каволюсом, директором совхоза, человеком, неравнодушным к искусству, построившим в Тауруписе современный концертный зал, заботящимся о том, чтобы ни одна столичная звезда не осталась голодной, недопившей или невыспавшейся. И Агне привычно делала то, что всегда входило в ее обязанности в подобных случаях: поставила в комнату гостя свежие цветы, достала чистое полотенце тончайшего полотна, уговорила Риту Фрелих остановить на ночь часы — их громкий бой нарушал тишину, которой так наслаждались приезжающие из города. Зигмас-Мариюс Каволюнас даже не преминул сказать Йонасу Каволюсу: «Какую тишину вы сохранили… А знаете, тишина — это хаос, из которого рождается музыка!» Агне хорошо запомнила его слова. Потом она не раз будет зажимать

уши ладонями, чтобы заглушить привычные шумы, чтобы кто-то, словно индийский бог Индра, убил змею тишины, высвободил океан звуков и в абсолютной тишине зародился новый мир, о котором не расскажешь словами, лишь слышишь шорох дождя, видишь плещущихся в быстрой воде рыб — синих, красных, зеленых, таких не похожих на ленивых карпов из таурупийских прудов. Зигмас-Мариюс Каволюнас не уедет в Вильнюс или Каунас рано утром, как намеревался, а станет прогуливаться по берегу Тауруписа и снова заглянет в новый Дом культуры, и повсюду будет сопровождать его дочь Йонаса Каволюса Агне… И уже ей, а не отцу будет говорить композитор: «Музыку можно видеть, ведь глаза всегда рвутся туда, где существует нечто большее, чем краски и контуры. Вслушайся хорошенько: пастораль. Но вслушаешься, и перед тобой возникает не сопливый пастушок и медленно бредущее стадо… Мне хочется, чтобы ты вздрогнула, увидев доверчивые глаза Исаака и огненную руку господа, останавливающую нож Авраама…» По спине Агне ползали мурашки, потому что она и вправду видела то, чего желал Зигмас-Мариюс; из-под струи голубой воды на нее смотрели полные тайны глаза, радугой сверкнул стебель

камыша, усыпанный каплями росы; может, это и была огненная рука? «Играй, — просила Агне, — играй еще…»

Потом Агне сдаст экзаменационное сочинение и на целых три дня исчезнет из Тауруписа. И никто не будет знать, вернется ли она. Ее портфель с книгами — произведениями умерших и живых классиков литовской литературы — Рита Фрелих обнаружит в школьной парте и принесет домой. Найдутся люди, видевшие, как композитор Зигмас-Мариюс Каволюнас в то утро провожал Агне на экзамен. А может, это Каволюте провожала его на автостанцию, чтобы он мог первым автобусом уехать в Вильнюс? Совхозный «козлик» изъездит все столичные улицы, пытаясь отыскать следы беглецов, но земля будет так же безмолвна, как и та река, по которой в свое время уплыл из дому Спин.

Агне вернулась в Таурупис сама рано утром. Явилась прямо в класс, где нервно кусала губы Рита Фрелих, поцеловала мать в щеку и, как ни в чем не бывало, уселась на свое место — начинался второй экзамен на аттестат зрелости. Йонас Каволюс сдержал свой гнев — экзаменационные успехи Агне были сейчас важнее всего, поэтому допрашивал он беглянку вполсилы, делая вид,

что его удовлетворил ответ дочери: «На концерте была в Каунасе. Конкурс там — «Янтарная труба»...» Каволюс не считал, что эстрада так уж необходима человеку, призванному заниматься ихтиологией, однако решил, что, может, и не помешает. Одолев один за другим остальные экзамены, Агне могла бы избежать судьбы Спина и Стасе, устроиться рядом с Лиувиллем, в Тауруписе, где щедро бил источник отцовского тепла. Но если Стасе жила сама по себе, а потом и вовсе исчезла и вернулась лишь в ящике из нестроганых досок, на котором чужая рука черным фломастером вывела адрес и до жути короткую объяснительную приписку «Посылка отцу», то Спин, как бес, привязывался к каждому, кто готов был сказать о Йонасе Каволюсе теплое слово. Странный сын! Не был ли он тайным орудием природы, разрушающим отцовский ореол — цели и планы Йонаса Каволюса? Казалось, Спин так и родился с убеждением: все, что делает отец, неразумно, даже глупо. Йонас Каволюс только диву давался: и откуда такие берутся? Вроде бы из добротной плоти сотворен, а получилось черт знает что! И если дед Йонаса Смолокур подозревал бы, что не обошлось тут без дьявольских козней, то таурупийский директор считал Спина

проклятием семьи. Разве иначе можно объяснить, почему он, сам тайком удравший в Москву и вернувшийся с дипломом (этот диплом отец серьезным людям и показать бы стеснялся), никак не уймется и подбивает теперь Агне на подобную же авантюру? Их обоих, брата и сестру, отец связал в один узелок; Зигмас-Мариюс Каволюнас поначалу был вне подозрений, пока Рита Фрелих не нащупала связь между стремлением Агне послушать концерты «Янтарной трубы» и ее бредовыми идеями о своем актерском призвании. Йонасу Каволюсу пришлось съездить в Вильнюс, чтобы с помощью знакомых и незнакомых людей выцарапать из учебной части консерватории документы Агне. Он совершил только одну ошибку — вернул их дочери: возвратившись в Таурупис, швырнул на обеденный стол, чтобы и Рита Фрелих, и Лиувилль, и Агне видели, как сурова и всемогуща его рука. Имя композитора Зигмаса-Мариюса Каволюнаса внезапно стало в семье бранным словом: Рита Фрелих заявила, что документы правильнее было бы востребовать у сына Скребка, заварил кашу, пусть бы сам и расхлебывал. Йонас Каволюс смолчал, не очень-то доверяя подозрениям жены, однако, когда Агне те же самые бумаги отправила в Москву, винов-

ником всего этого безобразия ему тоже показался земляк-композитор, человек, к которому еще совсем недавно он с таким уважением отнесся!

Из Москвы Агне вернулась не с Зигмасом-Мариюсом, а со Спином. Видимо, он и туда ездил вместе с нею. Может, надеялся удивить талантом сестры столичных театральных режиссеров и профессоров? Отец не таил ехидной усмешки: изучение психологии не сделало Спина ни умнее, ни проницательнее.

6

Сегодня, когда Агне вновь — почти по прошествии года — надела вишневое платье, она была уже не прежняя Агне, верившая в свое артистическое призвание девчонка. Теперь ей даже странно, как это она рискнула постучаться туда, где гордо расхаживает Зигмас-Мариюс Каволюнас и где, возможно, не прочь был бы покрасоваться Спин. Платье вишневого цвета — словно напоминание о позорном провале, не из-за того ли почти год провисело оно в шкафу? И если сегодня от его ткани не свербит тело, то лишь потому, что предохраняют пыль, пот да стойкий запах свинарника. Агне уже не хочется

больше быть ни Офелией, ни Гражиной, ни Агнешкой Шинкаркой, ни тетей Марике… Какая она актриса? Не умеет она перевоплощаться, становиться кем-то другим. Может, именно это предвидел прошлым летом лысый профессор московского ГИТИСа, печальной улыбкой подсластивший свой довольно суровый приговор? Наверное, прав и отец, радовавшийся их со Спином поражению.

Йонас Каволюс еще с зимы принялся обрабатывать Агне. Предлагал даже Москву, слыхал, дескать, что и там можно поступить, ну, скажем, в Сельскохозяйственную академию… Агне отмалчивалась или отвечала многозначительным «посмотрим». Столица и другие известные города ее не волновали. Вечерами она уже не мечтала о будущем, так уставала за день от болтовни Натальи, от уговоров отца, вопросов и сентенций матери. Зигмас-Мариюс молчал, уже несколько месяцев молчал, и ей даже казалось, может, его и в живых-то нет… Йонас Каволюс подначил жену, и она отыскала в своем архиве афоризмы Паскаля, Спенсера, Ларошфуко, превозносящие разум женщин, их аналитические способности и вообще подчеркивающие роль женщины в научных действах. Агне, словно рыба в чистой

воде, прекрасно разглядела приближающуюся сеть: таурупийские пруды нуждались, да еще как нуждались в собственном ихтиологе! На карпов нападала какая-то гадость — карпоеды, надо срочные меры принимать, а тут жди, когда соизволят пожаловать специалисты по карантину и разрешат спустить в прудах воду. Жалко им, что ли, разве они тут работали, выхаживали рыбку еще с мальков?..

И не только карпам, птице тоже следовало хлебнуть здоровья из родников науки. После того как совхозному ветеринару Шукису, который подговорил, если не подкупил свидетелей, удалось свалить вину за гибель всего поголовья хохлаток птицефермы на мышей, он вышел у директора из доверия, и Йонас Каволюс ждал только случая, чтобы выпроводить старика на пенсию. А поступи Агне учиться на ветеринара, еще лет пять спокойно бы проработал Шукис…

Когда отец вошел в гостиную, Агне разговаривала с матерью. Светился экран телевизора, хотя никто не смотрел на него, под абажуром цвета свежей зелени горел торшер, и в этом полумраке лист бумаги тоже казался зеленоватым. На нем рукой отца было написано заявление от ее, Агне, имени. Требовалась, видимо, лишь подпись. Рита

Фрелих смущенно озиралась по сторонам, словно искала нечто очень необходимое, но вот куда-то подевавшееся… Йонас Каволюс был слегка навеселе — Агне почувствовала запах водки, — он говорил тише, чем обычно. Агне слушала внимательно, плохо соображая, о чем идет речь, думая о Спине и Зигмасе-Мариюсе, ибо только эти люди могли ей приказать или посоветовать. Неожиданно для себя она придумала хитрый ход: ладно, подпишет, повезет заявление в Каунас, там заглянет к Спину, а может, разыщет и Зигмаса-Мариюса, что с того, что нет писем, они оба ждут, должны ждать!

Йонас Каволюс растроганно погладил ее волосы и поцеловал обеих — жену и дочь, взял со стола заявление и ушел к себе. Но тут Рита Фрелих сказала: завтра он едет в Каунас, вот сам и свезет документы, а на ферму больше не ходи, занимайся.

Агне увидела себя — сидит и долбит физику… Господи! Ей стало так грустно, так скверно. «Спасибо, мама», — ответила она, и в голосе ее прозвучало что-то новое, какая-то нотка обреченности, она переставала быть только свидетелем на до сих пор длящемся суде над Стасе и Спином.

Агне заперлась в спальне и расплакалась. Она

чувствовала себя обманутой, растоптанной, всю ночь писала письмо не то Спину, не то Зигмасу-Мариюсу, утром порвала его и, как обычно, отправилась на ферму. Работа оставалась единственным средством сопротивления родителям. На учебники она и смотреть не могла, ушла злая, как шершень из разоренного гнезда… Уж не этот ли шершень ужалил Риту Фрелих, что и стало причиной ее мигрени? Как никогда нужен был теперь Агне родной дом, а она готова была поджечь весь Таурупис и уйти куда глаза глядят, жаждала быть «цветком вишни», взметенным ветром и унесенным в луга, в сад или лес, куда угодно, только бы не быть затоптанным на асфальте. Когда-то отправила она письмо Зигмасу-Мариюсу: писала о карпах, свиньях, коровах, обо всем том, что должна была бы любить и ценить, но над чем горько смеялась, с обидой думая о своем будущем. Однако письмо говорило совсем о другом — о ее любви, и композитор не мог не понять этого. Но не ответил ни словечка.

А Спин прислал письмо, предназначенное кому-то другому…

Никто не собирался вызволять ее из расставленных Йонасом Каволюсом сетей!

Как в воду канули одноклассники: одни учатся

дальше, другие работают, только не здесь, в Тауруписе; впрочем, теперь, летом, когда некоторые возвращались на пару дней в родные Палестины, Агне не очень-то стремилась встречаться с ними.

Со злорадным спокойствием ожидала она момента, когда придется ехать на вступительные экзамены. Ну и пусть срежется! Снова вернется в Таурупис, к Наталье. Хотя отцовская воля сулила кое-что иное. Коль скоро он сам повез ее документы, то, конечно, позаботился и о приеме, Йонас Каволюс знаком с самыми знаменитыми людьми, а уж в академии-то, безусловно, найдутся у него друзья-приятели. Тут Агне Каволюте встретят совсем по-другому, чем в московском театральном. Агне живо представляла себе: вот сидит она перед седовласым профессором (лысых терпеть не могла) и молчит (подобно тому, как молчал приемыш тети Марике, пока Рита Фрелих не вдохнула в него подзатыльником жизнь); седовласый тоже теряет терпение, поднимает свою вялую руку, замахивается и дает ей пощечину. Она плачет, слезы льются ручьем, а профессор доволен, смачивает ее слезами вечное перо, выводит пятерку и отечески умиляется: «Вот видишь, а говорила, ничего не знаю… Чтобы дочь Йонаса

Каволюса ничего не знала!.. Так я и поверил!»

Вступительные экзамены начнутся через неделю, и Агне уже чувствует: все больше нервничает отец, все чаще жалуется на головную боль мать, но не перестает по вечерам пичкать дочь афоризмами, один глупее другого. Агне теперь единственная ее собеседница; появляется, правда, и Лиувилль, но он не от мира сего, если и слушает кого-то, то почти не слышит, все его эмоции принадлежат лишь цифрам и формулам. Она удивлялась, почему Йонас Каволюс не распорядится вышвырнуть ее с фермы; это же так просто — пришел бы Бейнарис, вывел ее во двор, запер дверь, повесил замок, а внутри тихо причитала бы перепуганная Наталья… Теперь этого делать не придется — она сама оставляет Наталью, может, на день, может, на два, а может, и навсегда.

Спин прав, думала Агне, я схожу с ума, никогда не была особенно умной, а теперь и совсем… Зачем мне это платье? Куда я могу в нем пойти? Да и не хочу никуда идти… А домой не вернусь! Спин прав: раз нет дома, то невозможно и вернуться в него.

Ее снова охватила странная тревога, которую могло рассеять только действие, однако Агне

абсолютно не знала, за что приняться. Солнце спряталось за тучу, пригнанную в Таурупис с запада, с моря.

Читать дальше письмо брата? Даже на это она не могла решиться.

7

В этой насыщенной сомнениями тишине до Агне вновь донеслись далекие звоны наковальни Дукинаса — до самой фермы долетала из Лафундии ритмичная дробь молотка. Никогда прежде не слышала Агне на таком расстоянии шумов кузницы. И что он там кует, ежели теперь все целыми днями потеют в мастерских, совсем на другом конце поселка? Но постукивание молотка по наковальне будоражило Агне, как недавно звуки фермы, погнавшие ее домой за платьем.

Она пошла полем, раскинувшимся между фермами и Лафундией. Ее парк, ее старинный дворец были для Агне так же таинственны, как и упрямство, пульсировавшее в крови рода Каволюсов. Она обогнула выступающий лесной мысок, где возле заброшенного проселка еще можно было увидеть груду камней — остатки старой таурупийской смолокурни и кузницы ее прадеда.

Камни, видать, скоро совсем исчезнут, затянет их мхами и травой, зарастут они кустарником, как зарастает проселок; теперь все ездят через лес, по новому, прямому шоссе. И все-таки в памяти деревни сохранится картина: бежит по сугробам Агнесса с нелегкой ношей — укутанной в шубу дочерью. Зачем? Может, хочет найти здесь счастье, справедливость и честь? Вела она себя так, словно слышала Риту Фрелих, вдалбливающую своим детям: не ищи счастья тайком, справедливости — в аду, чести — в людской молве… От себя Агнесса, вероятно, могла бы прибавить: и ничего не ищи в городе, где хозяйничает Пятрас Собачник, мой брат… Однако таурупийцы не слышали слов Агнессы, рожденной в день святой Агнессы, двадцать первого января, и помершей в ночь на рождество… Времена были тогда чернее дегтя, который варил Смолокур, и так мало правдивых сведений услышишь сегодня о жизни прапрабабки Агнессы…

Если верить людской молве, она была матерью первой чужачки, чья кровь влилась в жилы таурупийцев, до той поры они выбирали жен лишь в своем краю. Второй пришелицей станет Маргарита Фрелих — если, конечно, не считать былых хозяев Лафундии. За пару столетий они

не раз менялись, рождались и помирали, как мотыльки, таурупийцы помнили чуть ли не чертову дюжину владельцев имения. Рита Фрелих, гонимая войной беженка, тоже забрела в Таурупис в поисках счастья, справедливости и чести. Сомнительная честь — чего только не нагородили о ней злые языки! Когда доходили до Агне эти давние сплетни, ее охватывали противоречивые чувства, главным из коих был стыд, будто разглядывают тебя, раздетую донага.

А ведь было наоборот: не выставляли напоказ своих чувств ни родители, ни родители родителей, боялись чужих языков, как черт ладана. Только разве спрячешься? Что выходит за пределы обычного, интересует многих, прячь не прячь, все увидят. Так и во времена Смолокура было.

Кузницу свою оборудовал он в одном из сараев Лафундии, там хозяева собирались наладить смолокурню, держали бочки для дегтя и смолистые пни. В амбаре, стоявшем неподалеку, сложенном из добротных бревен, были отгорожены кухня и горница, где человек мог не только живот набить, но и отдохнуть, а при необходимости и жену с детьми устроить… Матас Каволюс не припоминал, чтобы на этой смолокурне выгнали хотя бы каплю дегтя — в ту пору, видать, у хозяев Лафун-

дии было что-то другое на уме. Вот и сдали они сарай с амбаром кузнецу Матасу Каволюсу. Смолокур же и деготь гнал, и даже железо пытался из руды выплавлять, хотя это было труднее, чем делать поковки из готового, раскаляя его на шишках или на оставшихся со времен смолокурения пнях. В то время Матас еще в холостяках ходил, все никак по душе не мог невесту сыскать. А уже не парень. И случилась с ним, до сих пор рассказывают об этом в Тауруписе, такая история.

Однажды ночью по проселку, давно наезженному санями, прикатила рессорная бричка. Удивился Смолокур, что, мол, за дуралей: среди зимы колесами народ смешит! Удивила его и окованная латунью бричка, и наборная, с бляшками сбруя, а уж конь — и вовсе как в сказке: рысак в яблоках, черные глаза искры мечут. В бричке молодой барин, такого здесь и не видывали, ясное дело, не из простых — золотые пуговицы сияли, шпоры побрякивали, когда он, с брички соскочив, вышагивал у кузни, что твой офицер: каблуками стук-стук, повернется, как на параде, через левое плечо и снова каблуками щелкает. Очень уж не терпелось ему, очень спешил барчук. Побренчал не только шпорами, но и кошельком, набитым под завязку: слышь, кузнец, давай торопись, конь

должен быть подкован в миг! Смолокуру что, дело нехитрое. Да и коня жалко — снега много, но дорога обдута, обледенела, до крови уже копыта сбил. Не успел Матас трех подков гвоздями своей собственной работы прибить, как тот баринок подскочил, каблуками прихлопнул, оттолкнул кузнеца в сторону, швырнул на пол звенящий золотом кошелек, вскочил в бричку и был таков. Ишь, торопыга! Закрыл Смолокур кузню и поплелся спать. Наутро, хотя ничего на рождество делать не собирался, отворил двери сарая, огляделся — кошелек все еще на полу лежит. Поднял, развязал, а там… сухие заячьи шарики перекатываются… Вот тебе и золото! Тут по дороге кто-то из таурупийцев подъехал. Увидел кузнеца, остановился, кисет с зеленым табаком из кармана вытащил, подымим, дескать, соблазняет. Смолокур соблазнился. Вертит козью ножку, а руки как не свои, и соседа словно не узнает. Тот, правда, внимания не обратил, новости рассказывает. Под утро, говорит, на берегу Тауруписа молодую женщину нашли. Лежит ничком возле сугроба неживая, окоченела совсем. А рядом дитенок лет трех, в шубейку завернутый. Вот те и на, удивляется Смолокур, уж не от дворовых ли девок рождественский подарочек деревне? Ох, нет, от-

вечает сосед, видать, от самого дьявола! К обеим ногам и к руке замерзшей по железной подкове приколочено!.. Тогда Смолокур сует под нос таурупийцу набитый заячьими шариками кошелек и, как ксендзу на исповеди, выкладывает все о ночном госте. Потом сели они в сани и в Таурупис поехали, чтобы на ту мертвую посмотреть, может, не столько на нее, сколько на подковы… Так и есть! Свою-то работу Смолокур где хочешь узнал бы. Они… Поцеловал он покойную в лоб, меж черных глаз, закрыл ей веки, чтобы не смотрели на него, вырыл у Шилгирийской сосны, на кладбище висельников, яму и похоронил. А ребенка-девчоночку, в шубейку закутанную — домой, на смолокурню свою привез. Так и таскал ее в этой шубейке то в кузню — усадит поближе к горну, где потеплее, но чтобы дым не достигал, — то в горницу унесет… Первыми гостями, явившимися с визитом к воспитаннице кузнеца, были жандармы с приставом, прослышавшие о найденном у берега Тауруписа мертвом теле. Выложил им Смолокур все, правда, о подковах и кошельке с «золотом» умолчал, хватило у человека ума сказать властям лишь столько, сколько они могли понять. Все остальное оставил он на своей черной совести, не могла же она быть белой, ежели

человек каждый день с углем возится. Пристав, выслушав Смолокура, потыкав наваксенным сапогом мерзлую землю, откапывать покойницу не стал. Как рассказывали таурупийцы, описал в протоколе со слов Каволюса внешний вид покойницы и сразу же сказал, кто она такая: Агнесса, сестра кабатчика Пятраса из-под Каунаса. Около его шинка все время свора собак крутится, вот и прозвали того Пятраса Собачником. Из-за этих собак она с братом и поругалась, даже грозилась поджечь его кабак, а потом убежала невесть куда. А ребенок чей, неизвестно, надо думать, ейный… Если кузнец не хочет оставить себе, так можно…

Нет, нет! Смолокур не собирался отдавать девчушку жандармам. Окрестив найденыша услышанным от пристава именем мученицы Агнессы, он продолжал согревать ее у кузнечного горна. У всех на глазах росла и хорошела Агнешка Шинкарка — так в память матери называли ее люди, — и все больше походила она на ту женщину, о которой давно мечтал Матас Смолокур. Ему тогда уже за сорок перевалило… Однако сердцу не прикажешь: все тревожнее звенело железо в его руках, оповещая земляков о том, что славный род кузнецов может смешать свою кровь с чужой, притекшей издалека, отдающей кабаком

и собаками. Дивились таурупийцы, зло хлестали молодых языками, услышав в костеле о помолвке Матаса Каволюса и Агнешки Шинкарки. Свадьбы не справляли, только на амбаре, который Матас называл избой, приколотил он, словно венок, собственноручно выкованный флюгер да на могиле тещи памятник установил: кованое солнышко, обвитое ужами. Может, вовсе и не так, может, совсем по-другому все происходило, но Агне знает, какие колючие языки у таурупийских баб; они и теперь, хоть почти сто лет с той поры минуло, не могут их спокойно во рту удержать, особливо быль с небылью путают касательно всего, что имеет отношение к семье Каволюсов. Если что у них не так, молва все переиначит по-своему. Агне хорошо помнит, что трепали эти языки в свекольных грядах, тянувшихся вдоль проселка, когда дядя Дукинас предложил кров своей двоюродной сестре Марике. Несли примерно такое:

«Тиш-ше… Наклонись-ко поближе, не хочу, чтобы Антосе знала, богомолка чертова… Слышала про Каволюсову Маре? Ну не кобель этот Дукинас?»

«Да уж все они, кузнецы эти… Дукинас собой не дорожится, всем взял, работяга, не пьяница, а на девку никак не попадет!»

«Куда хочет, душенька, туда и попадает. Какой же он кузнец, ежели все промахивается!»

«А тебе вроде жалко? Марике тоже девка. Чужой не возьмет, а свой… Может, женится? Теперь и документов никто не спрашивает, что с того, что родня?»

«Ну да, женится! Не подковал бы, как тот… Смолокур».

«Побойся бога! Без помощи дьявола такое разве сотворишь? Дукинас и на пасху в костел еще ходит, сама видела…»

Ох, эти милые таурупийские бабоньки! До самой смерти будут языками молоть. И ожидать от семьи Каволюсов чего-то страшного, непривычного, заслуживающего порицания. Может быть, и рождение ее самой, Агне, сопровождалось злобным шепотком где-нибудь в прокосах первой таурупийской кукурузы или когда отдыхали женщины на снопах льна: у директора, дескать, поскребыш появился… Он такой, наш директор, не то что своей, кому хошь спроворит, счетоводиха, видали, тоже раздувается…

А если эти «злые» дела ее рода вот так обыкновенно и начинаются? Идешь домой, потому что захотелось надеть платье, которое тебе нравится, и не возвращаешься на ферму, где тебе надоело, а

Наталье, может, и нет, потому что с каждым днем, с каждым часом приближается и растет ее пенсия… А в это самое время, будто подталкиваемый нечистым духом, бешено бьет по наковальне Дукинас, единственный оставшийся в Тауруписе мастер, который называет себя кузнецом, а не механиком, водителем или техником… Каких только штатных единиц не напридумывали! Однако по их названиям не каждый сообразит, что же ты делаешь, когда скажешь, кем работаешь; Агне по себе знает, как мало известны большинству людей ее с Натальей обязанности. Она и сама до поры не знала, не представляла себе, что сотни свиней могут получать корм таким способом; ни ведер с пойлом таскать, ни капустные листья рубить — ничего не нужно… Наковальня Дукинаса звенит, словно колокол; может, возвещает о том, что Агне уже понимает, как легка и чиста нынче работа свинарки, но хочет она чего-то большего, чем легкость и чистота! Она идет, обласканная затаенной добротой, которую дарят ей и прикрывшие землю тучи, и звоны дядиной наковальни.

Кузнеца она найдет потом измазанным в саже, но хитро улыбающимся: эх вы, механики, инженеры и ученые, чудеса творите, а такой

пустяковины не можете! Бегаете по складам, телефонные трубки обрываете, повсюду ищете, а я могу ее, вот ведь какая штука, выковать! Наверняка Бейнарйсову команду выручает, думает Агне, пока идет полем к Лафундии, где по соседству со старыми мастерскими построили Дукинасу кузницу. Жатва на носу, вот Дукинас и кует… дефицит.

8

Приближаясь к старинному парку, Агне чувствовала, как с каждым шагом становятся легче ее ноги. Давненько нигде, кроме фермы, не бывала, потому-то испытывала радость от дальнего пути. Ей даже захотелось, чтобы кузница Дукинаса была еще дальше и она бы шла и шла к ней — десятки, сотни километров. Топала бы босиком, взмахивая, как птица, только не крыльями, а подолом своего вишневого платья, и встретила бы — еще не дойдя до места! — что-то очень хорошее. Но до кузницы недалеко, она уже видит, как взлетает над бочкой, поставленной у ее дверей, клуб пара, видимо, Дукинас бросил туда раскаленную поковку. И уже слышно, как, подвывая, гудит вентилятор, установленный

здесь парнями Бейнариса вместо мехов.

Агне миновала конные грабли, сеялки, жатки, ржавеющие возле кузницы, и нырнула внутрь, в жаркую полутьму. Дукинас был один — мужикам еще рано собираться здесь и попыхивать своими трубочками. Зажатый кузнечными щипцами, вспыхивал искорками извивающийся змеей красный железный прут. Она не решилась заговорить, отвлечь, видела, как спешил Дукинас бить по металлу, пока он горячий и мягкий. Не думая о том, что здесь ее вишневое платье на каждом шагу подстерегают сажа, тавот, ржавчина, да мало ли что еще, Агне пробралась поближе к горну и присела на корточки возле ящика с углем. Чудной у нее дядя — ничего не замечает вокруг, когда работает. Ни вишневого платья, мелькающего у горна, ни того, что за искрами, которые брызжут под ударами его молотка из остывающего металла, наблюдают чужие глаза. Рядом может происходить что угодно, а Дукинас только фыркает, как еж, пыхтит, кажется, что не только кует, но и нагревает своим дыханием железяку, которую переворачивает на наковальне длинными щипцами. Агне даже зажмуривается, чтобы, как дядя, ничего вокруг не видеть, и думает о том, что имеет право находиться в этой

кузнице — не такая уж посторонняя, ведь когда-то прабабка ее Агнешка Шинкарка, закутанная в шубу или еще во что-то, целыми днями торчала в кузне под боком у Смолокура, не отрываясь, смотрела на белеющее в горне железо, без конца слушала грохот молотка по наковальне. И обе они знают, какую чуткую руку, какой верный глаз нужно иметь, чтобы железо, как глина или тесто, принимало нужную тебе форму. А на свиноферме Агнешка Шинкарка, наверно, была бы чужой, как и она, Агне, хотя там куда чище, чем в кузне, сплошные машины да кнопки, только и делаешь, что нажимаешь на эти кнопки, и даже не слышишь, как идет по трубам корм. Вот Рите Фрелих там бы подошло работать, она прежде всего любит чистоту и порядок и только потом смотрит, что еще необходимо делать. Агне даже улыбнулась, представив себе, как мать надевает халат, а Наталья покрикивает на нее, чтобы быстрее шевелилась, нажимала на кнопки, мыла корыта и дорожки, набивала с помощью труб сотни ненасытных утроб… А потом, потом… остановился бы уборочный транспортер и пришлось бы ей искать парней Бейнариса, а те не скоро приходят, пока сам Бейнарис не вмешается… Они знают, как важно их начальнику самолично

исправлять неполадки во владениях Агне… Но, когда там дежурит не Агне, а Наталья, Бейнарис лишь взглянет на транспортер и уже знает, такой пустяк может любой из его помощников наладить, седлает свой мотоцикл и — поминай как звали! Агне улыбается, у нее все легче и веселее на душе, тело словно бы растворилось, сидит в кузнице бесплотный призрак в вишневом платье, и, если бы Дукинас обернулся, он, может, только одно это платье и заметил бы, может, даже спросил себя, откуда взялась здесь эта красная тряпка, и, глядишь, руки об нее вытер, прежде чем вытащить пачку «Авроры»… От хорошего настроения, охватившего Агне еще по дороге сюда и все улучшающегося, пока она сидит тут на корточках, горло ей щекочет волнение. Агне хотелось бы сдержать его, но оно взрывается смехом, наполняет кузницу, и Дукинас вздрагивает, как человек, застигнутый на месте преступления. Он оборачивается и, смешной от растерянности, таращит глаза на племянницу, смех Агне бог весть куда прогоняет ловкость его руки и точность глаза, Дукинас удивленно моргает; уставший, потный, перемазанный сажей, глаза покраснели, руки — тяжелые, сильные руки — повисли.

На губах у Агне все еще пляшет смех, но сама

она внезапно меняется, какая-то неловкость охватывает ее: ведь у Дукинаса тоже не очень-то счастливая судьба, стыдно ни с того ни с сего смеяться, глядя на него. Возможно, он самый несчастливый в их роду, потому что, похоронив жену и сына, оставшись одиноким, по собственной воле взвалил на себя заботу о двух несчастных — приютил тетю Марике и ее Винцялиса. Йонас Каволюс, без сомнения, тащил куда больший воз — судьбы всего Тауруписа, но ему, может, это было легче, потому что в Тауруписе есть всякие люди — и счастливые, и несчастливые, — так что царит некое равновесие. А кроме того, часть забот Йонаса Каволюса по доброй воле взваливали на себя родичи и соседи… Довелось и Дукинасу хватить горького по милости двоюродного братца… Да еще какого горького! Однажды ночью, не застав на хуторе Каволюса, бандиты то ли по ошибке, то ли зная, что делают, убили жену и сына его двоюродного брата Юргиса, сторожив-ших в ту пору школу. Могли бы, конечно, и сам хутор спалить, да, верно, нужен им был Йонас, он тогда еще учительствовал, не зажгли, чтобы не спугнуть, до света в засаде просидели и ушли ни с чем. А жену и сына Дукинаса застрелили. Пуля-то дура, ей все равно, в кого бить — в Юргиса ли, в

Йонаса. А у бандитов, верно, свой расчет — родственники… И остался Юргис бобылем. И надо было жить дальше… Перевезли весь его скарб и кузнечный инструмент в Лафундию, и поселился бедолага возле той дороги, по которой почти год спустя возвращалась из района домой Маре, тетя Марике — родная сестра Йонаса Каволюса и двоюродная Юргиса.

Для Агне это самое страшное из всего, что случилось в их семье. Даже страшнее гибели Стасе. Еще девчонкой не могла она понять, как удается отцу заниматься делами, твердо стоять на земле, по которой рядом с ним ходит его сестра — открытая кровоточащая рана. И теперь не понимает этого. Неужели так можно? Спасибо Дукинасу, снова плечо подставил, снова взвалил на себя часть отцовских тягот. Стоило Агне подумать об этом, и дядя Дукинас вырастал в ее глазах в доброго несчастного великана. Вот и сейчас он такой: размял сигарету, похлопывает огромными, сильными ладонями по засаленным карманам комбинезона — ищет спички.

— Агнюшка! — словно только теперь увидел ее, произносит дядя и тянет племянницу к дверям, где посветлее и воздух почище.

И, может, не следовало ему, просто не к лицу

было еще что-то говорить, но он, словно все больше узнавая Агне, ласкал ее теплеющим взглядом и в конце концов выложил:

— И похорошела же ты, девонька. А платье какое, ох ты!..

Агне раскраснелась уже от одного взгляда Дукинаса, а уж от слов его кровь так и закипела в ней. Она не какая-нибудь каша-размазня, ее черпаком не усмиришь, мешай не мешай, все равно через край побежит. И снова не почувствовала она на себе праздничного платья, снова ничто не скрывало ее от чужих глаз, от яркого света, врывающегося в дверь кузницы.

— Говорил я Йонасу, что этот поскребыш, то бишь ты, не в мать. В бабку нашу Шинкарку да в Каволюсов род, вот Лиувилль — тот весь в матушку!

— А на тетю Марике? Похожа? — Пытаясь овладеть собой, Агне торопливо искала тему для разговора и, безусловно, ухватилась не за самую крепкую ниточку, скорее, за самую слабую: Дукинас не любил говорить о двоюродной сестре.

— На нее?.. Не ищи ты сходства с ней, Агнюшка. Такое против природы, а что супротив природы, того не надо…

— Разве в семье не может так быть, что одни с

природой… другие против, а, дядя?

— Может, по-всякому может… — И решил переменить тему: — Куда ты путь-то держишь?

— В город еду, дядя.

— Учиться? Снова… в эти, в артистки?

— Нет. Буду… Как отец велит.

— Ну-ну… Только поступить-то небось трудно?

— А куда нынче легко?

— Это уж, конечно, точно… — неуверенно пробормотал Дукинас, неуверенно потому, что во всяких экзаменах и институтах понимал только одно: всюду трудно, очень уж много народу теперь школы кончает, а вот Винцялис лишь восемь классов вытянул… И еще неизвестно, примут ли в маляры. — Как мать? — Дукинас недолюбливал Риту Фрелих, однако родня есть родня, зачем на нее собак без надобности вешать. Нехорошо. К тому же Рита Фрелих никогда ни полсловечком не упрекала его за Марике, ни с какими советами не лезла, не то что другие — вези в больницу, вези в сумасшедший дом, не будь дураком…

— Голова у нее болит.

— Тоже мне, болезнь нашла. — Дукинас никогда не испытывал ни зубной, ни головной боли, поэтому с подозрением относился к подобным

недомоганиям. — А Лиувилль?

— С отцом в Вильнюс уехал. Дня на два, а может, и на всю неделю.

— Как у него? Все в порядке?

— В полном, — успокоила дядю Дукинаса Агне, хотя, по правде сказать, абсолютно не представляла себе, чем занимается брат, что у него хорошо и что плохо. — Ему в университете кафедру предлагают, только он не соглашается. Отец наш на организации института здесь, в Тауруписе, помешался и Лиувилля с толку сбивает.

— Отец знает, что нам нужно, это уж я тебе точно говорю, — в тоне Дукинаса прозвучала не только гордость за брата Йонаса, но и какая-то озабоченность. — И ты, гляди, слушай отца, он знает, что делает.

— Разве я не слушаю?

— А зачем тебе тогда эти свиньи? Ведь не директор же тебя в свинарник загнал? Я-то уж знаю! Не подумай, не считаю, мол, скверная работа. Нет. Только людям такие шалости не по нраву. Ежели бы еще телята или там гуси, а то свиньи! Ей, видишь ли, хрюшки больше по душе. Людей, Агнюшка, не обманешь. Мы-то уж знаем, что нашим деткам по душе, а что наоборот… Хуже нет, когда врут они и в глаза при этом смотрят…

Агне молчала, не знала, что ответить. И почему это людей интересуют ее дела? И чем занимается, и что собирается делать? Почему они будто на ладонь тебя ставят, разглядывают и заключают: на это годишься, на это нет?..

— Я ведь, дядя, и сама не знаю, что мне больше нравится. Не всем же такими, как Лиувилль, быть или как Стасе.

— Ну, ты, девонька, и цепляешься — то к мертвым, то к тем, кто божьим перстом отмечен…

— А если он и меня отметил?

Дукинас вроде бы задумался и словно устыдился своей грубоватой прямоты.

— Чего уж там… Прости меня, старика. Нешто ты хужей Лиувилля? Может, и получше. Прости. Тут, в кузне, мне ума хватает, а выйду на люди и сразу заговариваюсь…

9

Сокрушенно вздохнув, Дукинас вернулся к наковальне, бросил окурок в пригасший горн, поднял с пола свою поковку и долго вертел ее на наковальне, внимательно разглядывая и о чем-то раздумывая. Агне тоже смотрела на уже принявшую какую-то форму металлическую по-

лосу и начинала понимать, что Дукинас делает. Никакой «дефицит» кузнеца не интересовал! Под самую жатву, когда парни Бейнариса, наверно, с ног сбились в поисках, чем заменить какую-нибудь сломавшуюся деталь комбайна, мастер Дукинас, как Матас Смолокур, кует флюгер! Так и этак выкручивает его, окунает в бочку, снова разогревает и снова крутит. Заметила Агне и еще кое-что: металл, из которого Дукинас ковал флюгер, был желто-красным, этот странный оттенок не исчезал, и когда поковка остывала.

— Давненько не делывал я таких штучек, — будто оправдываясь, протянул Дукинас. — Поотвык. И глаз не тот, что прежде, и рука не та.

Агне казалось иначе, ведь она только что видела, как работает Дукинас! Дай бог каждому столько вдохновения или как это там называется, когда человек, застигнутый за работой, так погружен в себя, что битый час никого вокруг не замечает! Пусть она и родственница, пусть она нравится Дукинасу, может, он даже любит ее, но она здесь, в кузнице, где куют флюгер, лишняя!

— Что ты, дядя! До чего же славно выходит, — сказала Агне. — Сам знаешь, что хорошо получится.

— Еще бы не хорошо! Твой отец, директор, при-

казал, как уж тут не получится?!

— Отец? Зачем ему флюгер?

— Откуда мне знать? Может, и не ему. У него и в городе полно дружков. Кто чем помогает. Может, и к бутылочке вместе прикладываются, может, еще что. Но все по дружбе. А ежели отец твой хочет кого-то отблагодарить? Думаешь, простое это дело? Э-э-э! Люди нынче капризные. Есть и такие, что красивые вещички любят. Есть — кузнечной работой интересуются. Глядишь, Йонас и свезет кому-то мой флюгер.

— Кому-то?

— Ну, знакомому какому-нибудь. Приятелю, скажем.

— Твой флюгер?

— Да какой же он мой? Раз отдаю, значит, уже не мой.

— Но ведь это ты его даришь… какому-то отцовскому приятелю или знакомому…

— Почему я? Я сделаю, а подарит Йонас, твой отец.

— И тебе… ничего?

— Почему ничего? Я умею такие штуки делать, и это мне нравится. Могу выковать все что угодно, а вот безделушки эти почему-то особенно по душе. Все мужики в нашем роду разные штуковины

ковали. Бывала небось в лафундийском музее? Видела? Там и мое кое-что. Теперь-то забывать стал, как их делают. Хорошо, твой отец напоминает, разрешает когда-никогда побаловаться.

— Разрешает?

— И хорошо, что разрешает. Только я почти отвык. Надо подтянуться. Директор говорит: в конце августа, ну, после жатвы, будет у нас в Тауруписе красивый праздник. Чуть ли не День кузнеца. Что может быть лучше? Ты ведь знаешь, у нас, почитай, каждый второй — кузнец. Я таким и остался, а другие бывшие. И директор правильно говорит, неважно, что бывшие! Все могут взять в руки молот и выковать, что только пожелают. И отец твой знает, что такой праздник нужен Таурупису и нашей, Каволюсов, семье. Не просто дожинки, когда мужики, как свиньи, напиваются, а бабы тоже пьют и плачут. Ну, пусть попоют сначала, но потом все равно плачут, и виноваты мы, мужики. Не умеем от души веселиться. Йонас Каволюс правду говорит, надо другие праздники заводить. И всему совхозу, и семье нашей. Разве хорошо, если каждый сам по себе? Да еще не только пьют — дерутся, плачут.

— Это не отец, а Спин придумал. Прожужжал отцу уши: работать умеете, а праздновать нет.

Созываете людей, устраиваете парад, оттого все и напиваются.

— Очень может быть. А мне Йонас так сказал: кончим жать рожь, сдаст вступительные Агне, вернется, вот мы и отпразднуем. Пускай кузнецы Каволюсы потягаются: кто лучше коня подкует — премия, кто самый красивый флюгер сработает — премия; одним словом, кто что умеет и может. Так что самое время кое-что вспомнить, Агнюшка. Делаю тот флюгер не для себя, а для того, чтобы проверить себя, вспомнить. Очень бы мне хотелось не коня скорее да лучше всех подковать, а самый красивый флюгер сотворить. Подарил бы я его…

— Кому, дядя?

— Хочешь, тебе? А почему бы и нет? Ведь ты же виновницей торжества будешь…

— Почему я, дядя? Дожинки, конец страды отмечают…

— И дожинки, и начало твоего учения. Отец так доволен, что отступилась ты от этих артисток. И я говорю, поближе к земле — оно лучше.

— К свиньям поближе?

— Не сердись, голубушка. Отец-то что говорит?..

— Знаю я, что он говорит. А люди? Сам сказал,

людям виднее, кто на что годится. Не гожусь я для фермы, сама чувствую.

— Теперь не годишься, а получишься — и сгодишься.

Агне посмотрела на дядю и смолчала.

Наверно, знает, куда отвез Йонас Каволюс ее документы. И не отец ли говорит его устами? Отец! Дукинас даже не скрывал этого, даже гордился, как гордятся знакомством или родством с известными людьми. Но ведь это так скверно! А если бы она взяла и заговорила сейчас словами Зигмаса-Мариюса? Он композитор, тоже человек известный! Что понял бы дядя Дукинас про музыку, половодьем заливающую мир? Что музыка — не только быстрая полька или медленный вальс, не только голоса животных и птиц, но и убитая индийским богом Индрой змея тишины, и с доверием обращенный к отцу взгляд Исаака, и нож Авраама?.. Если бы она сказала ему, что флюгер, который он кует, тоже музыка? Пустое, перебил бы он, все пустое, девонька, флюгер — это флюгер… А может, и нет?

Ведь это говорит не только Рита Фрелих, но и в деревне повторяют: человек, мол, иногда похож на флюгер… Может, что-то неизвестное ей знают таурупийцы, когда утверждают такое…

— Дядя, а почему это железо красное? Еще не остыло?

— Не железо это. Директор попросил, чтобы не из железа. Потому-то мне еще труднее приходится. Нашел я ручки от старых дверей — когда Лафундию ремонтировали, выбросили. Я ничего не выбрасываю, собираю, пусть полежит в ящике: запас карман не трет, вдруг да понадобится. И видишь, сгодились! Расплавил я эти ручки, латунные они; и вот из них… Железо нынче не больно в моде, там, в городе, хотят, чтоб из бронзы, из латуни… И директор… хочет…

Отец! Он хочет, он приказывает, он разрешает… Йонас Каволюс лет пять назад приказал перестроить лафундийский дворец, решил основать там музей. Теперь приказал из старых дверных ручек выковать флюгер. Что-то загадочное таилось во всех его действиях, даже в словах. Какая-то сила. Очень уж далекое будущее предвидел отец. Гораздо более далекое, чем тот праздник, который он устроит, когда дочка поступит в академию.

— Значит, хочет организовать семейный праздник? Так, дядя? А тетю Марике пригласит он на этот… праздник?

— Марике? Она всюду незваная. Сама придет.

— И ты веришь, что будет весело? Усядемся во-

круг костра в поле, как вокруг кузнечного горна, и все начнут ковать, кто что умеет. Над головами у нас будут развеваться флаги и лозунги, станут качать лучших комбайнеров или, может, кузнецов… И все будут счастливы?

— Ну, может, и не все.

— Так для чего же тогда этот праздник?

— Большинство будут веселиться, Агне. Разве этого мало?

— Мало! Какой же это семейный праздник, если тетя Марике будет плакать?

— Этого ни я, ни ты не знаем. Она может и хохотать. Как на нее найдет.

— А тебе, дядя, не страшно одному с ней и Винцялисом жить?

— Нет. Марике добрая. Редкой доброты. Из-за этой доброты и с памятью у нее нелады. Но праздники она любит. Твой отец или Спин здорово придумали. Марике всегда прямо-таки ждет не дождется престольного праздника; ты же видишь, что никто из Тауруписа в костел не ходит, а она завсегда; тянет ее в те места, где люди собираются, где песня, молитва, плач… И спать в избе не хочет, как вечер, глядишь, к лафундийскому пруду отправилась, на остров. Там и варит себе что-то, и стирает. Иногда и не пойму, живет она

у меня или нет. Вот Винцас, Винцялис, тот уж у меня. Только беда с ним! Не лезет ему ученье в голову, аттестат за восемь классов еще кое-как вытянул, а дальше? Куда ему дальше-то? Учил его кузнечному ремеслу — бросил. Не желает! Сунул в бригаду Бейнариса, к механикам — бросил, не нравятся, говорит, ему машины, теперь вот повезу в Каунас, красить ему нравится, пусть учится. Как думаешь, не сбежит?

Агне не хотелось думать о Винцялисе, приемыше тети Марике, выращенном Дукинасом. Судьба вторично посмеялась над тетей: очень ей ребенка хотелось, привела из детского дома Винцялиса. До того таскала в дом к Дукинасу всякую живность — котят, щенят. Возилась с ними: ласкала, кормила, лечила… Многим и невдомек, что видела Марике в этих живых комочках своих нерожденных детей, в мечтах выношенных… Рассердившись, и бивала их. Винцялису довелось испытать то же самое: его и ласкали, и драли, какая-то болезненная жестокость вдруг охватывала душу Марике, и не было от нее лекарства. Поначалу Винцялис рос и учился, как все, но уже с третьего класса начал отставать, не собран, отвлекается, на головные боли жалуется. Учителя вызывали в школу Дукинаса, потому что с

Марике общего языка не находили: ей кошки и собаки казались высокоучеными существами, что уж говорить о Винцялисе!

— Ничего, дядя, все будет хорошо. Винцялис ленится, но у него хорошая голова и хорошие руки, — насилуя себя, соврала Агне — очень уж больно ей было видеть, как сокрушается внезапно сникший Дукинас. — У меня к тебе просьба: надо бы сегодня вечером съездить в Каунас, а как, не придумаю.

— Отца-то с Лиувиллем кто повез?

— Никто. Отец сам водит.

— Тогда нечего голову ломать. Тикнюс свезет. Что ему стоит!

— Нет, — затрясла головой Агне. — Тикнюс не повезет.

— Поссорились?

— Не повезет, потому что не стану я просить. Рита Фрелих, может, и попросила бы, а я нет. Кто я ему? Не начальство. Свинарка.

— А, — понимающе кивнул Дукинас. — Если не попросишь, ясное дело, не повезет. А к кому ты собралась? Куда потянуло?

— К Спину. Письмо получила. Что-то нехорошо у него там.

— Я-то, грешным делом, подумал — экзамены

сдавать… Погодь! Тикнюса к стенке могу и я прижать. В долгу он у меня за один пустячок…

— Небось бутылку в полночь одолжил?

— Ты его строго не суди. Жизнь у человека, как ниточка. И не стальная она, эта ниточка. С войны мотается. Много раз могла оборваться. Вместе пойдем или тут подождешь?

— Куда, дядя?

— Я Тикнюса найду, а ты лучше тут побудь. Скоро приедем.

Агне смотрела вслед дяде, удивляясь, что еще так недавно солнце касалось лишь верхушки водонапорной башни, а теперь деревья лафундийского парка уже едва можно было разглядеть — как быстро ночь подошла!

И только когда молния прорезала тучу, Агне поняла, что приближается не ночь, а гроза. И в той стороне поля, над которой все еще без грома вспыхивали и вмиг сгорали огненные ветви, темнела, удаляясь от кузницы, одинокая фигура дяди Дукинаса.

10

Откуда было знать Дукинасу, что Агне сегодня не могла оставаться в одиночестве? С той минуты,

когда отправилась она домой, чтобы надеть вишневое платье, закружилась, завертелась волчком, понемногу приближаясь к людям, стоящим вокруг и разглядывающим ее, словно она какая-то сложная, но занятная детская игрушка. Такими же глазами, возможно, смотрели бы они и на хитро выгнутую латунную полосу, сработанную Дукинасом из дверных ручек, которая уже теперь, после первых ударов молота, лежит, похожая на флюгер, в кузнице, рядом с наковальней. Агне тоже радовалась: вот и она уже не бесформенная железка, латунь или бронза, она рождается, она уже чем-то походит на сотворенные Матасом Смолокуром подписи на ветру, и ей тоже суждено быть вознесенной навстречу поднимающейся летней грозе.

Она не удержалась, потрогала кончик флюгера, возможно, более острый, чем нож Авраама, и в это мгновение, ярко вспыхнув, погасла висевшая под потолком кузницы электрическая лампочка. Раньше она была незаметна, а теперь, когда лампа погасла, кузницу затопил мрак, от которого на Агне повеяло холодом. Может, даже страхом. Она выбежала из кузницы и бросилась в Лафундию. Пока бежала, страх не отпускал: что с того, что созданное братом Лиувиллем чу-

до — его громоотводы — якобы отгоняет грозы прочь от Тауруписа, что никакой опасности нет? Возможно, это правда, однако небо темнеет и его все чаще прошивают гигантские молнии…

Пока добежала до старой конюшни, не упало ни единой капли. Сложенные руками крепостных камни стояли уже не первое столетие. Обрастали мхом, трескались, крошились, однако дубовые двери и въезд — пандус, по которому на второй этаж строения, на сеновал, вкатывались сегодня уже не кованные Матасом Смолокуром тележные колеса, а чихающие бензином грузовики, все было крепким. Теперь содержали здесь дюжину таурупийских рысаков, Йонас Каволюс и сам не прочь был погарцевать, и на других наездников любил посмотреть.

Агне забралась внутрь и, оставив дверь приоткрытой, села на колоду рядом с проволочной сеткой, за которой стоя дремал молодой жеребец. В его паспортичке бронзовой краской на фанерном листе было помечено имя — Метеор, год рождения — 1973, перечислены награды на бегах. Глядя на жеребца, прислушиваясь к мирному дыханию других лошадей, спокойно встречающих грозу, Агне и сама немного успокоилась. Сердце продолжало биться учащенно, но это, вероятно,

потому, что бежала сюда, а может, и оттого, что очень любила лошадей. За толстыми каменными стенами конюшни Агне было уютно. Странное дело, уютно в Лафундии. Как и все старинные имения, Лафундия имела свои легенды и своих призраков. Из рассказов о былых лафундийских хозяевах Агне сейчас почему-то вспоминались не истории про поляков или немцев, а про одного литовца — помещика Кунделиса. Получил он во владение Лафундию и остатки имения — восемьдесят гектаров — сразу после первой мировой войны. И прославил себя не беконами и маслами, а игрушечным замком, построенным в парке на островке посреди пруда. Кунделис жаждал славы. Может, потому писал короткие исторические очерки о великих князьях и очень долго обдумывал, как отметить тысяча девятьсот тридцатый — год Витаутаса Великого. Отлитый из цемента бюст князя, возможно, и сулил бы Кунделису славу, однако не бог весть какую; другое дело — возвести посреди пруда Тракайский замок! Ну, не в натуральную величину, пусть всего лишь маленькую копию! Однако не только из таурупийского камня и кирпича, обожженного в Гужучяй. Для вящей достоверности Кунделис тайком вывез из-за демаркационной линии

несколько тонн подлинных камней и кирпичей из древней литовской столицы. И на островке посреди пруда начал расти «Тракай», но не замок пятнадцатого века, а копия развалин двадцатого — донжон и руины. Пятнадцатого июля, в годовщину Грюнвальдской битвы, «Тракай» уже украшал лафундийский парк. Над головами гостей нависали камни, по самому что ни на есть подлинному подземному ходу из руин замка можно было пройти в часовенку, почти на столетие раньше построенную графом Тизенгаузом. И настоящим окрестным дворянам, и вскормленным демократией господам было приятно гулять по аллеям парка, чувствуя под боком древнюю литовскую столицу. Конечно, «Тракай», само собой понятно, еще не Вильнюс, однако большие дела рождаются не сразу! По старому проселку до лафундийского Тракая добрался путешествовавший по всей стране портрет Витаутаса, и Кунделисом овладела новая идея: пока Вильнюсский край все еще оккупирован поляками, изображение великого князя Литвы можно хранить здесь, в Лафундии! И не только можно — необходимо! Все эти соображения Кунделис письменно изложил президенту республики, приглашая его в гости.

Перевидавшая на своем веку немало всяких

хозяев, Лафундия с этих пор словно бы попала во владение к духу Дон Кихота: ожидая знатных гостей из Каунаса, во имя все той же достоверности господин Кунделис облачил слуг в доспехи средневековых рыцарей и сам привыкал потеть в них хотя бы по нескольку часов в день.

А временная столица молчала.

В Тауруписе поговаривали о госпоже Кунделене: дескать, вечерами она что-то подолгу разгуливает возле кузницы, где тогда стучал молотом юный Дукинас. Впоследствии Дукинас начисто будет все отрицать, но в имении действительно попахивало грехом. Таурупийцы ждали чего-то и, как всегда, дождались. Двадцать седьмого октября господин Кунделис повесился в одной из башен своего замка. Время тоже было выбрано не случайно — в этот день рано утром госпожа Кунделене тайком убежала в Германию. Тогда всем стало ясно, что сохла и страдала она не по Дукинасу… Когда прибывший по случаю происшествия полицейский стал расспрашивать кузнеца о лафундийских господах, тот, весь в саже, как и приличествует его профессии, в ответ только шипел. Ничего он не знал, просто, как и все, кто был полюбопытнее да посмелее, сбегал посмотреть на облаченного в подлинные

рыцарские доспехи Кунделиса, висевшего тем не менее на свитой в Тауруписе колючей от костры веревке. Ничего Дукинас не мог объяснить полицейскому и наконец, выйдя из себя, так трахнул по стене кузни обгоревшим поленом, что непрошеный гость, согнувшись в три погибели, вылетел в дверь и угодил прямо в яму с водой, где кузнец охлаждал свои поковки.

Тело господина Кунделиса еще не успели предать земле, когда пришло письмо из президентуры. Почтарь всем и каждому показывал конверт, скрывавший слова, прочитать которые надлежало только покойному. Никто другой вскрыть письмо не осмелился. Так и отправили обратно… Таурупийцы решили, что теперь Лафундию купит государство, но Кунделене заглазно, не явившись даже хоронить мужа, за бесценок продала имение с дворцом и «замком» некоему Савичу, невесть откуда явившемуся в эти края цыгану; Лафундию заполнила его многочисленная семья, чуть ли не целый табор. Там, где совсем еще недавно витал романтический дух Дон Кихота, вернее, его литовского эпигона Кунделиса, теперь звенели гитары, пищали новорожденные, пылали костры, полоскалось, как флаги, цветастое цыганское тряпье. А развалины

«замка» стали настоящим кладом для детворы окрестных деревень. Ребятишки карабкались по каменным стенам, ломали и крушили все, но руины не так-то легко превратить в руины! Господин Кунделис был погребен тут же, в парковой часовне, и не переворачивался в гробу, наверное, лишь потому, что завещал похоронить себя в доспехах: интуиция этого человека оказалась куда мудрее его дел.

Агне этот Кунделис казался артистом, только умершим не на сцене, а где-то здесь, поблизости; такой покойник не вызывал у нее страха. Куда больше пугала ее связь между Савичем и семьей Каволюсов. Каждый цыган — словно живой флюгер, и кузнецу, желающему выковать свою «подпись на ветру», полезно иногда вглядеться в жизнь бродячего племени! Но так уж бывает, думала сейчас Агне, разглядывая стены старой конюшни, будто желая отыскать на них следы цыганской жизни, так уж бывает, и, видимо, всегда: когда любишь свою семью, неосознанно испытываешь неприязнь к другим людям… Матас Смолокур не побоялся взять в жены бог знает кого — девочку без роду, без племени, почему же его сын, отец Йонаса Каволюса и ее дед, так взъярился на цыганскую кровь?

11

Для таурупийцев Савич был поистине даром божьим — земли имения его нисколько не интересовали, во всяком случае, не настолько, чтобы задумываться об урожае, ведь для этого надо его вырастить! Почти всю землю новый владелец сдавал за бесценок в аренду. И сам нисколько не был похож на барина, не задирал нос. Видано ли такое, чтобы владельца Лафундии можно было запросто кликнуть, когда требовалось содрать шкуру с павшей скотины? Не только настоящим барином, но и цыганом-то, видать, не совсем настоящим был этот Савич. Больше всего ценил он свою трубку и пузырек с анодией — смесью эфира со спиртом. С ними он никогда не расставался — ни похаживая вокруг лошадей, ни лежа в парке на подушках, которые таурупийцы иначе, как перинами, и не назвали бы, такие они были мягкие и большие. Не метался он по белу свету в поисках чего-то недостижимого, казался домоседом и очень любил детей. В лафундийский парк теперь решалась приходить почти вся детвора Тауруписа, и Савич, окруженный своими и чужими, плясал для них, пел, а уставши, вытаскивал из

кармана маленький пузырек, ногтем большого пальца выколупывал резиновую пробочку и на миг прижимал пузырек к губам. Другой рукой в это время вытаскивал толстую спичку, чиркал ею о подошву или широкий ремень, подносил ко рту дрожащее пламя, словно собираясь проглотить его, и тут из его губ вырывался огненный шар! Взлетев в воздух, шар лопался, и вокруг пахло таинственным и неведомым. В бутылочке была анодия, дети знали про это, однако впечатление чуда не блекло: огненный шар, взрывающийся почти внутри человека и не вредивший ему, как хотите, был странной вещью.

В куче собственных детей Савича заметен был один Ярмеш. Глядя на отца, вдыхающего и выдыхающего огонь, этот остроглазый мальчишка, очевидно, и сам мечтал взорвать, только уже не облачко анодиевого пара, а, может, весь Тауруспис, а то и весь мир. Конечно, если у него будет достойный его конь… Ярмеш дневал и ночевал в каменных господских конюшнях. Его не смущало, что там пахло не только свежим конским навозом, но и шкурами в дубильных чанах, и карбидом — господин Кунделис при жизни успел привезти и установить в одном из дальних углов три железных бака, из которых ацетилен, шипя,

тек по трубкам в карбидные лампы, освещавшие дворец. Савич никогда не зажигал этих ламп, однако баков не выбросил, и близ хозяйственных строений имения всегда воняло карбидом. В сороковом году Ярмешу уже шел четырнадцатый, и он вместе с родителями, братьями и сестрами складывал пожитки, чтобы отбыть из Лафундии в неизвестном направлении. Убежали они по собственной воле, никому бы, наверно, и в голову не пришло в чем-нибудь обвинять или наказывать это семейство. Жизнь Савича в Тауруписе была словно последней и совсем слабой волной, смывшей все то скверное, что творили в Лафундии прежние владельцы.

В сорок первом на Лафундию обрушились немцы. Баки с карбидом они выкинули в пруд. Мастер из Гужучяй Йокубас Гуйга установил вместо них динамо и провел в помещения дворца электрокабель. Тогда в конюшне еще стояла вонь от шкур, которые дубил Савич. Посветив электрическими фонариками, солдаты увидели растянутые на распялках и до треска пересохшие овечьи кожи. Скобленые, беловатые, они похожи были на привидения, но на войне и привидения следовало уничтожать, как живую

силу противника! «Los!»[10] — крикнул один из солдат с выпученными от испуга глазами и автоматной очередью прошил «врага». Пули задели и лошадь, стоявшую в самом конце конюшни. Заржав, бросилась она к выходу, и не одна… в ее гриву мертво вцепился Ярмеш, снова неизвестно откуда появившийся в Лафундии. Раненая лошадь вздыбилась, сбросила седока, и солдаты приставили Ярмеша смотреть за своими конями. Они прямо-таки любовались, как под его руками начинала блестеть лошадиная шерсть. «Ja, du bist ein guter Junge»[11], — хвалили они цыганенка. Через неделю-другую ему разрешали выезжать коней, чтобы не застаивались. Ярмеш выводил их по одному и сначала шагом, потом рысью, а потом и галопом носился по лугам вокруг Лафундии, как гонимое ветром облачко. «Das ist was ganz Feines»[12], — переговаривались глазевшие на него из окон солдаты. Им не случалось видеть чудо-фокуса отца Ярмеша, «взрывавшего мир», не знали они, что этот «guter Junge» все еще был

---

[10] Примечания: 10
«Пли!» *(нем.)*

[11] Примечания: 11
«Да ты хороший парень» *(нем.)*.

[12] Примечания: 12
«Это очень славно» *(нем.)*.

уверен: мир всего лишь облачко эфирных паров, игра, ничего более. Как-то ночью, оседлав самого быстрого коня, он удрал. Направился в сторону Таураге, мчался через деревни (а надо бы лесами да болотами), и, когда его поймали, запретили ездить верхом: «Bis auf Weiteres!»[13]. Второй раз он сбежал во время пожара; может, сам нарочно поджег конюшни, перед тем выгнав лошадей и распугав их. И ведь что выдумал! Умудрился спрятаться у саврасого под брюхом и свистом гнать его, чтобы летел во весь опор. Конюшню отстояли от огня, а пули догнали савраску, и он, застонав совсем по-человечески, споткнулся и рухнул на землю.

Произошло это около старой усадьбы Каволюсов, где и теперь еще грудятся камни от фундамента смолокурни. Ведали бы Каволюсы, какая беда для семьи вырвалась в ту ночь из пламени лафундийской конюшни, неизвестно еще, пустил ли бы дедушка Агне Ясюс Каволюс на свой двор цыганенка. Почти год выхаживала его младшая дочь Ясюса Марике. Хозяин разрешил постелить Ярмешу в чулане: пусть там темно и сыро, зато никто из посторонних носа не сунет.

---

[13] Примечания: 13
«До дальнейших распоряжений!» *(нем.)*

Не дашь ведь погибнуть парню, уговаривал Каволюс жену, слава богу, что не еврей, цыгана немцы хоть за полчеловека считали. Ясюс Каволюс даже велел свернуть голову куренку, и Марике варила бульон: кроме него, Ярмеш в рот ничего не брал, горел весь. Каволене же видеть всего этого не могла: подумать только, возится дочка с дитем живодера, словно с родным! Как палка из-за него высохла! Все уши прожужжала мужу: разве не видишь, какой он желтый? Да у него парша! Дочь не слушала или не хотела слушать, что говорили родители. Ее мысли были заняты одним Ярмешом; он помаленьку пошел-таки на поправку, принялся рассказывать ей цыганские истории — немало их наслушался, а может, и сам выдумывал…

Марике вспоминала о тех давних событиях короче и конкретнее: после пожара немцы перестали держать лошадей в конюшне, поставили загон меж деревьев, в парке. По старой дороге уже громыхали немецкие танки с крестами. Картошка в том году обещала уродиться хорошо, вовремя посадили, яровые тоже наливались. Ярмеш все чаще сжимал Марике руку, и в его глазах зажигались огоньки, свидетельствовавшие об опасности: если мир и впрямь похож на облачко

анодиевых паров, достаточно искорки… и Марике уже пылала от каждого прикосновения Ярмеша. Оба они словно брели по реке — бежали от огня, но и тут чувствовали, как течение вымывает у них из-под ног гальку и покалывает икры, словно током. С электричеством оба были знакомы: динамо Гуйги гудело, отделяло электричество от воздуха, совсем как сепаратор сливки от молока. Однако электричество Гуйги текло по кабелям, и, не дотронувшись до оголенного провода, нельзя было почувствовать, что это такое. А вот на таурупийском базарчике еще до войны стоял шатер балаганщика, где за десять центов каждый, кому охота, мог подойти к столику и подержать в руках блестящую проволочку; тогда волосы смельчака вставали дыбом, как иглы ежа, а если он нарочно или нечаянно прикасался к стене или к другому человеку, тысячи слабых уколов вонзались в кожу, начинало трясти. Казалось, что и сам хозяин балагана все время охвачен этой лихорадкой, хотя никакой проволоки в руке не держал, а только суетился у столика и объяснял: «Если вы потрете шелковым лоскутком в темноте тело или волосы, тоже почувствуете электричество!» Шелка в усадьбе Каволюсов не было, но балаганщик, видать, знал об электричестве не все, разнообразны

и неведомы были пути электротока — попал же он в чулан Каволюсов.

Каволене грозилась, что не станет больше резать для цыгана петушков, а Ясюс Каволюс уже звал Ярмеша огораживать загон; парень выздоровел, годился в помощники. Марике все чаще хотелось поглядеть на себя: наденет какое-нибудь платье или косынку сменит и бегом к речке. Встанет над омутом — может, рыбами, может, собою любуется. И Агне такое испытала, когда Зигмас-Мариюс погостить в Таурупис приезжал: казалось, что мир — цирковой шатер, и ты в нем у столика с электромашиной, и множество глаз смотрит на тебя, а ты совсем голая, и неизвестно, зачем явилась сюда и что будет дальше… В доме Каволюсов было зеркальце, унаследованное еще от Матаса Смолокура. Совсем негодное зеркальце, Матас даже запрещал Агнешке Шинкарке, пока маленькой была, в него смотреться, хотя зеркальце это принадлежало ей — вытащил его кузнец из кармана шубейки, в которую закутана была девочка в ту рождественскую ночь. Запрещал смотреться не потому, что боялся, как бы с зеркалом чего не случилось, просто, видать, считал его таким же дьявольским подарком, как и набитый заячьими шариками кошелек: глянешь

в зеркальце и видишь не одно, а два лица, и над вторым отчетливо сияет радужный венец, как на иконе. Но если все, с чем столкнулся Смолокур в ту рождественскую ночь, могло показаться страшным и тяжелым сном, то зеркальце ему не приснилось: замотанное в тряпку, оно было спрятано в комод, его всегда можно было вытащить и поглядеться. Никому не проговорился о нем Матас Смолокур, это уже Агнешка Шинкарка на старости лет не удержалась. И слух о чудесном зеркале вихрем разнесся по Таурупису, люди, знакомые и незнакомые, лезли и лезли смотреть, а настоятель даже в проповеди с амвона о нем сказал. Если бы не жива была в округе память о матери Агнешки Шинкарки, глядишь, заполучил бы Таурупис собственную святую. Уже после первой мировой, когда зеркальце хранилось у сына Матаса Смолокура, приехала комиссия и увезла это чудо; разглядывали его, видать, и так, и этак, пока не вернули обратно, объяснив, что видимое в нем двойное отражение и неясное свечение — результат примитивного серебрения стекла. Каволюсам даже обидно стало, что уничтожили славу зеркала. От детей его по-прежнему продолжали прятать почти так же старательно, как прятал Матас Смолокур от Агнешки Шинкарки,

пока была она девчонкой.

А Марике достала тайком это неумело, из двух кусочков стекла склеенное зеркальце, потому что Ярмеш попросил — слыхал о нем, и не вытерпела цыганская натура, любопытство заело. Глянул и разочаровался, ничего волшебного не увидел, только блеклое, нечеткое свое отражение. Марике же, напротив, испугалась того, что в этом знаменитом зеркале почти ничего не видно. Она даже не могла различить, кто смотрит на нее из мерцающего стекла: она сама или он, Ярмеш? Поэтому, завернув в тряпку, снова спрятала и посмотреть на себя ходила к речке, к прудам. Ярмеш с отцом косами звенели — весна прошла, как в мирное время, за севом да пахотой, пора было и о сене подумать.

Как-то Марике понесла им в луга завтрак, но встретил ее один Ярмеш — лежал на свежескошенной траве и слушал то ли стрекотание кузнечиков, то ли доносящийся из-за реки звон наковальни Дукинаса. Девушка нарвала ромашек, сплела венки ему и себе. Ярмеш ел, опустив голову, словно прятал глаза, стеснялся: вдруг да поймут, что они у него воровские, жаждущие украсть что угодно, у кого угодно, когда угодно.

— Ярмеш! — Марике коснулась его кончиками

пальцев и заставила цыгана поднять глаза. — А ты меня будешь выхаживать… если что?

— Еще спрашиваешь!

Руки Ярмеша отбросили краюху хлеба со щедрым куском сала и ухватили девушку за ноги повыше лодыжек — так Дукинас держал ногу лошади, когда надо было подковать ее. И сплелись их цепкие пальцы — а тут еще и губы! — словно облачко анодии окружило обоих.

Теперь судьбе стоило только высечь искру.

Ясюс Каволюс еще издали увидел, на что способны неразумные дети, если оставить их без присмотра. Пока бежал к ним, многое передумал, а потом голова сделалась совсем пустой, остались только поднятая для удара коса и крик на всю округу: «За-ре-жу-у!..» Ярмеш уже почти не хромал, так хорошо зажила у него нога, вскочил, выворотил кол из изгороди. «Зализал раны, щенок!» — от одной этой мысли снова вскипела ярость Каволюса, и коса не опустилась, нет, молнией рухнула на голову цыгана, он чудом увернулся, жало косы врезалось в кол, увязло — это спасло Ярмеша, а не мольбы Марике, пытавшейся смирить отцовский гнев. Говорят, крик разносился от леса до леса, его слышали многие. Потом по проселку галопом промчался

Каволюсов мерин, видели бы вы, как он летел! Всадника на нем не было, конечно, Ярмеш снова уцепился под брюхом. Прибежавшие на шум соседи нашли на лугу только сломанную косу и самого Каволюса с пробитой головой; окровавленный кол плавал в омуте, откуда Марике принесла воду, чтобы обмыть отцовскую рану.

«Скотину, головореза, бандита кормили! Нянчились! Убил и смылся! Иисус-Мария! Говорила же, разве не говорила: как волка ни корми, все в лес глядит!» — поносила Каволене мужа, и тот, может, не только из-за раны, но и ради собственного спокойствия недели две глаз не открывал.

Что было бы, если бы раны не заживали? Истаял бы мир, как воск… Побеседовал Ясюс Каволюс с духами с того света, отлежался, и вновь вернулась краска на его лицо, не такой это был человек, чтобы мальчишка мог его палкой испугать… А Ярмеш как в воду канул, словно и не было его никогда. Только уже после войны кто-то мельком видел молодого цыгана — по опушке или по лугам на черном коне промчался. Но ничего определенного, ничего ясного о нем известно не было до той минуты, пока во двор Каволюсов не завернул грузовик с народными защитниками. И, хотя в тот вечер вроде бы никто из их усадьбы

не выходил, в Тауруписе тут же прошел слух:

«Марике увезли. Говорят, бункер знала, где ее цыганенок от армии скрывался. Только, видать, не от армии… Очень уж армии цыганы нужны, не обойдется без них… Каволюс, как про это услыхал, кинулся к дочке с кулаками. Едва отняли бедняжку. И где у девки разум? К такому ненадежному бродяге прилипла… У этих Каволюсов все не как у людей…»

Вскоре Ясюс Каволюс собрался в городок, где на камнях рыночной площади для опознания лежали, будто только его и ожидая, мертвые бандиты. И Ярмеш — бандит? Но там было и тело цыгана. От серого галифе несло конским потом, даже за несколько шагов можно было почуять. А рубашка на нем в красную полоску, старшего сына Каволюса Йонаса вся в клочья разорвана, одни лохмотья; как живой лежал Ярмеш, казалось, вот-вот заметит подошедшего Каволюса, вскочит, присвистнет сквозь сжатые, не успевшие пожелтеть зубы и усмехнется: «Ну что, дядя, сдох гусенок, будем поминки устраивать?» Каволюс, не отрываясь, смотрел на богом или дьяволом суженного ему зятя, а неподалеку у ограды костела сидела на камне Марике; но думал Ясюс Каволюс не о Ярмеше и дочери.

Старший, Йонас, совсем недавно стал учителем, перебрался из родного дома на хутор сбежавшего с немцами Баниса, но теперь, когда такое приключилось с Марике, чего доброго, не переселят ли его куда-нибудь подальше? У Каволюса просто не укладывалось в голове: что же происходит, война кончилась, а свои своих?.. Стоя посреди площади, он вдруг почувствовал на себе чужие взгляды: сквозь окна и дверные щели смотрела на него какая-то неясная, грозная сила, и некуда было деваться от нее, оставалось только поднять зажатый в руке кнут и хлестать распростертое у ног тело Ярмеша. Видел бы это Савич, пожалел бы, что сын его — не облачко анодиевых паров: взорвался бы парень и ничего от него не осталось! Лицо Ярмеша обезобразили темные полосы, лишь с курчавыми волосами ременный кнут ничего не мог поделать — блеск их был сильнее смерти, даже сильнее силы живых… Позорную эту сцену прекратили только выбежавшие на крики дочери мужики, а может, они сами все видели и поспешили?

Из городка отец и дочь вернулись в Таурупис врозь. Дукинас часто рассказывал Агне о возвращении тети Марике через несколько дней после приезда отца. Возле его кузницы остановилась

она передохнуть, присела на поломанное дышло конных грабель, положила у ног узелок с вещами и провизией.

— Ты? Марике? — Дукинас привычно утер со лба сажу, однако сажа эта, скорее всего, не на нем была — на двоюродной сестре, так изменилось, почернело лицо девушки.

— Я, — отозвалась она, непонимающе-удивленно разглядывая гудящий горн. Дукинасу лишь недавно устроили электрические мехи, и он забывал выключать их, когда вытаскивал трубочку или начинал разговор с соседом. — Разве не видишь?

— К отцу идешь?

— Не-е, — затрясла головой Марике, — к Ярмешу.

— К Ярмешу? — недоуменно покачал головой кузнец, он уже знал, что Ясюс Каволюс побывал в городке и вернулся без кнута, и весь Таурупис знал, почему без кнута. — Откуда ж ты путь держишь?

— Из больницы, — спокойно сообщила она Дукинасу новость. — Вот Ярмеш обрадуется, такую красивую доченьку родила!

— Доченьку? С ума ты спятила, Марике!

— Так вот же она! На него похожа, правда? —

Марике погладила воздух над своими коленями. — Жаль, глаза голубые, у Ярмеша-то ведь черные.

— О! — только и произнес Дукинас.

— Милиция паспорт ей не дала, но я метрику получу. Хватит ей и метрики, пока маленькая. А потом Ярмеш купит ей паспорт. Или украдет.

— О!! — второй раз простонал Дукинас.

— Улыбнись дяде, — приказала Марике и сама виновато улыбнулась. — Большая девочка, только еще не говорит. Когда начнет говорить, Ярмеш ее петь научит.

— О!!! — Вспомнив, что угли в горне горят впустую, Дукинас вернулся в кузницу, чтобы выключить мехи; когда он снова вышел, Марике уже стояла и сжимала узелок.

— Мы пойдем, Руточка есть хочет. К Каволюсам не ворочусь. Очень уж отец ненавидит меня. Здоров ли он?

— Здоров, — заплетающимся языком пробормотал Дукинас и почесал затылок.

12

Вот так лет, пожалуй, тридцать назад прошла мимо кузницы Дукинаса в Лафундию тетя

Марике. Там в ту пору места было полно, жила только одна семья. Устроилась Марике в неотапливаемой комнатушке, да и осталась там; как беззащитный моллюск, схоронилась она в двустворчатой раковине и смотрела только в перламутровую стенку, где видела одного Ярмеша, который был для нее живым; время остановилось, лишь трещал клювом черный аист счастья; внешнего мира, мира, где жили таурупийцы, она почти не ощущала, он шебуршал по другую сторону грубых коричневых створок ее раковины, оттуда, из этого мира, попадали к ней клубки шерсти, из которых вязала она носки, варежки и кофты таурупийским женщинам. За обноски или мизерную плату полола Марике огороды; все в этом другом мире было устроено так, чтобы дать ей лишь возможность прокормиться, поэтому плоть тети Марике, не ведая никаких болезней, сохла и желтела, все сильнее напоминала худобу Ярмеша. Это, толковали в деревне, завсегда так… Таурупийцы верят, что супруги, долго живущие вместе, становятся похожими не только душой, но и телом. Тетя Марике и цыган Ярмеш не были для них исключением.

Была бы Агне не поскребышем в семье Каволюса, а ее главой Йонасом Каволюсом, она ни

за что не позволила бы тете Марике ютиться в лафундийском сарае, или в саду, или в руинах Кунделисова замка. Когда все (почти все!) тауруппийцы переселились в новые дома городского типа, где холодная и горячая вода, где ничего не стоит навести чистоту, где не надо топить печей, жизнь тети Марике стала казаться Агне еще более непонятной и дикой. Однако сейчас, прижимаясь к проволочной загородке, за которой мирно дремал Метеор, Агне не хотелось думать о чем-то неподвластном ей. Ведь она не была Йонасом Каволюсом и не могла распоряжаться судьбами людей, поэтому просто тихонько сидела в полумраке конюшни, ожидая, пока пройдет дождь и прекратится гроза.

Тетя Марике появилась здесь, неся что-то в подоле промокшего платья, которое Агне подарила ей с год назад. Дверь за собой она не притворила, и Агне увидела, что дождь разошелся вовсю, но молнии сверкают все реже и реже. Из подола тетя Марике вытащила мокрого котенка, поцеловала его в лоб и пустила на пол, но котенок не побежал, только мурлыча ластился у ее ног.

— Не плачь, Винцялис, цыц! — прикрикнула на него тетя Марике.

— Не прогонишь, тетя? — заговорила Агне. —

Видишь, дождь в гости пригнал.

— Сиди, коли пришла, — Тетя Марике безразлично и холодно оглядела племянницу. Взгляд ее, словно сквозняком, опахнул Агне. — Не съели они тебя еще?

— Кто «они»?

— А батюшка твой с этой немкой. Моих детей зарезали, а теперь своих поедом едят. Винцялиса-то я им не отдам, вишь, как промок. — Тетя Марике, присев на корточки, гладила котенка, не сводя с Агне пронзительных глаз.

— Что ты, тетя! Ведь твой Винцас теперь на маляра учится. Я слыхала, дядя Дукинас в Каунас его отвез.

— Нет, вот мой Винцялис, — тетя Марике подхватила котенка, чтобы поцеловать его в лобик. — А старшего Винцаса больше нет. Зарезал его твой отец, и все!

Агне молчала, сраженная логикой, доступной одной только Марике. Лафундийские конюшни, когда она появилась здесь, перестали казаться Агне уютными, превратились в пугающее напоминание о господине Кунделисе, Савиче, Ярмеше.

— Почему отец? — Она понимала, что тетя Марике ничего ей не объяснит, но все, что говори-

лось об их семье, ей хотелось знать и запомнить.

— А кто же еще? Только Ярмеш сильнее Йонаса. Слыхала, дал Каволюс Ярмешу квартиру на пятом этаже? Ярмешу — на пятом! Что Ярмешу там делать? Где коня-то держать? Так он и на пятый этаж привел коня! Ярмеша-то он не зарежет, я нынче на Йонаса в милицию заявила. Пускай своих детей режет, пока солдаты у него паспорта не спрашивают. Он ведь без паспорта, его паспорт Ярмеш нашел. Да, да, нашел, он теперь не крадет… А я, глянь-ка, Винцялису материал купила. — Она развернула мокрый сверточек — два лоскута красного шелка. — И у тебя платье красивое, будете оба с моим Винцялисом красивыми…

В открытую дверь Агне видела кузницу Дукинаса. Возле нее уже стояла черная «Волга» с Тикнюсом за рулем, а сам Дукинас торчал под дождем, пытаясь сообразить, куда это запропастилась Агне.

Агне уже хотела было крикнуть — здесь, мол, я — и бежать к кузнице, но высохшая рука тети Марике вцепилась вдруг в подол ее платья.

— Погоди! Ты ведь добрая. У тебя такое платье! Ты никогда не обижала моего Винцялиса, и мне пальто и блузку с красными кружавчиками подарила… Погоди! У меня тоже для тебя кое-что

есть.

Тетя Марике вытащила из потаенного угла узел тряпья и так долго ворошила его, что Агне показалось: дождь давно прекратился, снова светит солнце, а Тикнюс сигналит как сумасшедший. Давно следовало удрать отсюда, оставить дремлющих лошадей, все еще тяжелый запах дубильни, карбида и анодии. Однако ноги были словно чужими, и Агне не двинулась с места, пока тетя Марике не вытащила что-то, завернутое в черный сатин, зубами развязала затянутый узел и, словно некую драгоценность, извлекла из свертка чуть поблескивающий стеклянный прямоугольник. Агне не сразу сообразила, что тетя Марике хочет отдать ей зеркальце, найденное Матасом Смолокуром, зеркальце Агнешки Шинкарки! То самое, о котором столько лет ходили по Таурупису легенды, о котором возвещалось с амвона, то самое, которое с пристрастием осматривала созданная вольнодумцами комиссия. Амальгама совсем помутнела, кое-где даже почернела или просто стерлась. Агне смотрела в него так и этак, но в стекле мелькал лишь блеклый отсвет. Эту вещицу уже и зеркалом трудно было назвать. Радужные крапинки блестели не только на том месте, где когда-то при желании

можно было усмотреть свое отражение, но и по всей поверхности стекла.

— Только тебе отдаю, Агнюшка, — тетя Марике прижалась к Агне, чтобы и самой заглянуть в зеркало. Кто знает, может, с тех пор, как они вместе с Ярмешом смотрелись в него, она так и не разворачивала черного сатина. — Только тебе! Захочешь увидеть, кто тебя любит, взгляни… Я вот Ярмеша вижу. И Винцялиса. Смотри, смотри, вон он!

Агне, ясное дело, никого не видела. Она твердо знала: все, о чем болтали в Тауруписе и что теперь говорит тетя Марике о прабабкином зеркальце, сплошной вымысел, брехня! Одно странно — почему же она волнуется? Потерла пальцами холодное гладкое стекло, будто хотела смахнуть крапинки или пыль, мешающие ей увидеть то, что видела тетя Марике. А там туман! Тогда Агне крепко зажмурилась, почувствовала, как сморщилась кожа на лице, словно на нее жаром пахнуло. И вдруг глазные веки превратились в толстую корку и будто покрылись изнутри серебряной амальгамой — она явственно увидела Спина. Брат с обидой — уголки губ опущены, две бороздки бегут от них к подбородку — что-то говорил ей, Агне. Что говорил, слышно не было. Только по движению губ можно было догадать-

ся.

«Эх, сестренка! — беззвучно шептал Спин. — Неужто не видишь, какие устаревшие взгляды у нашего отца, у всеми уважаемого Йонаса Каволюса?! Считает себя мудрым, хочет указать дорогу каждому из своих детей, а жизнь будто смеется над этой его мудростью. Если ты еще не поняла этого, тогда испытай — попробуй шагать по пути, выбранному для тебя отцом. Он никуда не приведет. Это лишь его собственный путь. Наш ведет из дома, а не домой. У нас нет дома. Поэтому и я, и ты убегали из Тауруписа. И до сих пор продолжаем бежать. Есть семья — мать, отец, братья, сестра, — отличная квартира, набитая добротными вещами, а дома нет… Что сегодня день моего рождения, помню только я один. Что выдержишь ты вступительные экзамены, Каволюсы не забудут, но не потому, что ты им очень дорога… Не забудут, потому что я посоветовал им отпраздновать в этом году не дожинки, а День кузнеца, семейный праздник… Без плакатов, без докладов…»

Агне тоже беззвучно шептала, повторяя слова Спина, и тетя Марике испуганно пятилась от нее в глубь конюшни, где фыркали Метеор, Фиалка, Гром и другие таурупийские рысаки.

Так вот оно что! Сегодня день рождения Спина. Вот о чем надо было сказать Дукинасу. Но для него уже одно ее желание поехать в Каунас — закон. Милый, добрый дядя Дукинас! И вдруг ей снова стало тепло и уютно. Теплом веяло отовсюду — от каменных стен, от проволочных перегородок между стойлами, от лошадиного дыхания… И тепло это заливало душу Агне, пораженной тем, что есть люди, которые с радостью готовы исполнить любое ее глупое желание, даже не спросив толком, зачем и почему.

Дождь почти кончился. Подобрав платье, чтобы легче было бежать по клеверной отаве, Агне, зажав в кулаке подарок, покинула конюшню, тетю Марике, дремлющих лошадей. До чего же приятно было ей от одной мысли, что есть люди, для которых ты хоть на миг цветок вишни, и они никогда не наступят на тебя каблуком, пусть даже лежала бы ты на самом грязном асфальте — во дворе свинофермы, лежала под летним дождем, под сверканием молний и громыханием грома, когда случается нечто такое, с чем ты не можешь совладать, ведь ты не вундеркинд Лиувилль, всего-навсего Агне Каволюте, пусть и получившая аттестат зрелости…

Возле кузницы Дукинаса личный шофер Йо-

наса Каволюса Тикнюс все жал и жал на гудок «Волги», притворяясь, что не видит Агне, которая бежит сюда по сверкающей от капель отаве. Казалось, что его, как и кузнеца Дукинаса, очень занимает брошенный возле наковальни, недоделанный еще латунный флюгер.

Сирена автомашины кричала на весь Таурупис: смотрите, почти год не надевавшая своего вишневого платья девчонка Каволюсов уже третий раз, не спросись родителей, удирает из дому, и ее совсем не заботит то обстоятельство, что у Риты Фрелих раскалывается от боли голова, что мать ничего не сможет объяснить мужу, когда он поздней ночью вернется из Вильнюса, где Лиувилль Каволюс, самый молодой в мире доктор физико-математических наук, сделал доклад — положил еще один камень в пьедестал памятника, который должен прославить его род.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
13

Дождь прекратился, и ветер совсем утих. В лесу, по которому вилась дорога, шелестели только кроны осин. А ведь еще неподалеку от Тауруписа «Волга» вела поединок с ветром. Слушая, как рвется он в машину сквозь маленькую щелку в окне, как завывает где-то подо дном и над крышей автомобиля, Агне снова ощутила беспокойство и подумала: «Вот теперь-то и случится что-то плохое». Ведь в Тауруписе не зря говорят: «Если внезапно собрался в путь, не рассчитывай на хорошее».

Однако пока ничего плохого не стряслось, только на поворотах Агне швыряло то в одну, то в другую сторону, и ей пришлось вцепиться в ручку над дверцей. Впрочем, что могло случиться в дороге, когда машину ведет такой шофер? Раза два Тикнюс отвозил Риту Фрелих и ее, Агне, в Палангу. Казалось, на крыльях нес; приедет, выгрузит чемоданы и сразу же обратно: чтобы снова быть рядом с Йонасом Каволюсом, который уже много лет по своему усмотрению распоряжается

его жизнью.

Ничего не может случиться, когда машину ведет Викторас Тикнюс! В Тауруписе он появился, когда Агне еще и на свете не было. Йонас Каволюс случайно встретил Тикнюса в Вильнюсе и привез с собой. Агне знала, как радовался и теперь продолжает радоваться ему отец: столько лет — и ни одной аварии! «Столько лет» — это уже в Тауруписе. А ведь Викторас Тикнюс водил машины по фронтовым и тыловым дорогам с сорок второго! Пули миновали его, хотя и во время войны, и после нее вот так, рядом, как теперь сидит Агне, очень часто сидел кто-то, в кого стреляли, из-за кого и сам он мог лишиться головы.

Еще Агне слышала, что Йонас Каволюс вошел в жизнь Викторас Тикнюса в роковой для того час — после аварии. Тикнюса только что выписали из больницы, и он торил дорожку в прокуратуру. Злой рок настиг человека где-то под Бирштонасом, на мосту, к счастью, не через Неман, а на реке поменьше. Было два часа ночи, когда ЗИМ с Тикнюсом за рулем срезал три придорожных столбика и, взлетев, словно птица, камнем упал с обрыва. Допрашивали обоих, и водителя, и его начальника, пассажира, пытаясь понять, как это получилось, что в два часа ночи

один пьяный человек приказал другому, не менее пьяному, сесть за руль и ехать. Ведь могли бы переночевать на месте и преспокойно вернуться в Вильнюс утром! Что заставило, что погнало их в ночь, когда опасность была не только в опьянении — затаившиеся в ночном мраке винтовки жалили злее, чем осы днем. А если уж так получилось, то обязательно ли было Тикнюсу засыпать за рулем, не мог ли он потерпеть еще немного?..

Каким образом удались Йонасу Каволюсу нащупать кончик нити этого дела и оборвать ее, таурупийцы не знали. Результаты директорской деятельности у всех на виду, а вот пути, которыми он их достигает, не всегда. Йонасу Каволюсу понадобился человек, который умеет одинаково хорошо водить машину по разбитым проселкам и по гладким городским улицам, он такого человека и нашел! И зачем вспоминать о беде, если Тикнюс — баловень счастья?

Нет, то, что «Волга» сражалась с ветром, Агне не пугало, не в таких переделках бывал Тикнюс. Да и в Тауруписе никто не волновался, заслышав скрип флюгера на ветру: на то он и флюгер, чтобы вертеться и скрипеть… Тревожно стало оттого, что Агне подумала о своей прапрабабке, матери Агнешки Шинкарки, о той несчастной

Агнессе, которую нашли мертвой с подковами, прибитыми к ногам и руке… Ведь зеркальце, принадлежавшее Агнессе и обнаруженное Матасом Смолокуром в кармане Агнешкиной шубейки, лежало теперь в сумочке Агне. Давно нет этой шубейки, Агнессу тоже никто не помнит, а зеркало есть — разверни лоскуток черного сатина, и оно заблестит… Тем более когда едешь по дороге, хранящей еще, быть может, следы Агнессы, ведь по ней прибрела она в Таурупис в ту ночь; так и тянет потрогать, даже поглядеться в подарок тети Марике…

Тетя, отдавая ей зеркальце, снова завернула его, затянула крепким узелком. Пальцами не развяжешь, надо зубами; совершенно непонятно, зачем Агне грызть этот грязный лоскут? Да еще на глазах Тикнюса? Ведь ничего нового, развернув сатин, не увидишь, даже себя не узнаешь; такое зеркало давно выбросила бы и сама Агнесса… Только одно осталось у этой ненужной вещицы — служить напоминанием о давней обиде. Потерев кусочек стекла о платье, Агне увидела в нем бегущее за деревьями солнце, и светлые зайчики запрыгали по салону «Волги». Стекло ожило! В нем отразился лес, но только не летний, с тенями июльского заката, а покрытый зимними

сугробами. Большие ели оставались зелеными, почти черными на фоне снега, а маленькие елочки едва угадывались под снегом, и заячьи строчки бежали поверх них, словно по кочкам. Но Агне интересовали не следы, оставленные зайцами. Ее глаза высматривали в туманном стекле человеческий след, шаг за шагом тянущийся к молодняку, выросшему в березовой роще, по редкому сосняку на вершине холма. Увидела Агне и самого человека — Агнессу с ребенком на руках. Эту завернутую в шубейку девочку нарекут потом в Тауруписе Агнешкой Шинкаркой. И еще виделся Агне мужчина: лицо в морщинах, глубокие залысины на лбу, горячечные глаза. Он выскочил из длинного бревенчатого дома, появившегося в зеркале после того, как внезапно исчезло там отражение леса. Прежней осталась только дорога, бегущая по долине большой реки. Мужчину окружила свора собак, они шныряли у него под ногами, грызлись из-за костей. Агне поняла, кто это и что это за дом: брат Агнессы Пятрас, прозванный Собачником, а рядом его постоялый двор и шинок.

Собаки не на шутку передрались, и Пятрас принялся расшвыривать псов пинками, желая научить их порядку. Агнесса обернулась и, уви-

дев, что брат вышел из дверей, ускорила шаг. Нелегкая ноша очень мешала ей, так трудно было брести по глубокому снегу, где одни только заячьи следы!

«Агнесса! — закричал Пятрас Собачник, и Агне вздрогнула от этого голоса. — Агнесса! Вернись!.. Я же выгнал собак. Теперь они будут жить в сарае… А комнату тебе отдам. Вымоешь, вычистишь, и она твоя. К двери крючок приделаю. На постель полотна отрежу, а корчму убирать старую бабу найду. Постой! Агнесса!.. Пошел ты прочь, кривой…»

Пес, ударенный носком тяжелого башмака, взвыл от боли и отлетел к забору, потом, скуля, вновь подполз к куче костей. Агне показалось, что Агнесса остановилась, обернулась, а Пятрас Собачник, будто только того и ждал, закричал еще громче:

«Да погляди же ты, какое место! У самой дороги. Люди то из города, то в город. Да и сам он рядом, почитай, в городе живем. А что молодой бабе в городе делать, если не денежки у мужиков выманивать? Агнесса!.. Крючок прилажу… И ты их по-одному, по-одному…»

Из открытых дверей корчмы доносилась злая ругань, звуки ударов, но все заглушала громкая

песня:

Что не цезаря, то бога,
Что не богово, мое,
А что выросло на грудке —
То уж, девонька, твое…

Снова замелькали деревья, и в мерцающем стекле привиделось Агне, что собаки, грызущиеся возле груды костей, выброшенных Пятрасом Собачником, растут, становятся такими же большими, как люди, шкуры их превращаются в нарядные шубы, и эти псы-люди, послушные свисту Пятраса Собачника, вдруг стремглав пускаются вдогонку за Агнессой. Разъяренные огромные собаки ужасны, и Агне, боясь увидеть, что будет дальше, зажмуривает глаза. Словно ища защиты, непроизвольно она цепляется за рукав Тикнюса и прижимается к его локтю, во взгляде шофера появляется удивление и даже какое-то внимание к пассажирке.

— Увидели что-нибудь? — осведомился Тикнюс, чуть сбавив скорость и глядя не на дорогу, а на девушку. Вероятно, почувствовал, что везет он сегодня не всегдашнюю Агне, а совсем другого человека.

Агне уже выпрямилась, но ладонь ее продолжа-

ет ощущать тепло Тикнюса.

— Почудилось. Будто бежал кто-то, — неопределенно ответила она.

— Не бойтесь. Днем я и собаки не задавил.

Она взглянула на водителя, как на единомышленника, втайне знающего, какое впечатление на собеседника могут произвести его простые слова.

— И мне показалось, собака. — Агне улыбнулась Тикнюсу и увидела, что не только глаза у него изменились — все лицо раскраснелось, как у мальчишки.

И тон, и поведение Тикнюса внезапно стали другими. Неужели от одного ее прикосновения? Что случилось? Ничего, совсем ничего, она — дочь Йонаса Каволюса, он — шофер Йонаса Каволюса; одно ее слово, и он остановит машину, захочет она, повернет домой, в Таурупис. Она даже могла бы приказать ему возвратиться туда пешком, если бы сама умела водить.

Навстречу им все чаще попадались машины.

«Вероятно, — подумала Агне, — город совсем близко».

Много лет назад прибрела оттуда в Таурупис Агнесса, и кровь ее смешалась с кровью рода Каволюсов. Доброй или злой была эта кровь?

Доброй, ведь Агнесса сбежала из корчмы — места пьяных драк и всяких темных дел. Чего только в ту пору не случалось в кабаках?! Агне читала, а может, слышала где-то, как два дворянчика, перепившись в придорожном шинке, ножами друг другу животы вспороли… из-за курицы. Один утверждал, что курица — домашняя птица, другой — дикая… Да, сложной была душа человека в ту пору!.. Конечно, кровь прапрабабушки была доброй, думала Агне, ведь она заставила Агнессу уйти с малым ребенком от кабацких мужиков, бежать от их рук, так и норовящих ущипнуть ее бедро, грудь; господи, сколько есть способов оскорбить живого человека, причинить боль его душе! И лишь одна дорога для избавления: распахнуть дверь, обойти грызущихся возле кучи костей псов, прижать к груди дитя и бежать… бежать, пока хватит сил. Бежать до таурупийских сугробов и навсегда уснуть в них, но получить возможность влить свою кровь в жилы хороших и плохих людей со стародавней фамилией — Каволюсы… Чтобы родились Стасе, Лиувилль, Спин и она, Агне.

Чтобы один за другим они снова вернулись в город, учились здесь, жили, гуляли по широким улицам, проложенным там, где раньше были

одни поля, а тропки в глубоком снегу прокладывали только собаки, не раз, вероятно, пугавшие их прапрабабку.

— Далеко еще? — Агне опять, уже во второй раз коснулась локтя Тикнюса.

— Дотемна будем, — ответил шофер, снова краснея, будто ему не пятьдесят, будто и двадцати нет.

С суровым выражением на лице жал он на акселератор, может, рассердился, что Агне задает глупые вопросы?

Мотор «Волги» ревел во всю свою мощь. Взлетая на холмы и проваливаясь между ними, Агне ощущала пустоту под сердцем: взлетала и падала, взлетала и падала…

14

Если бы прислушивалась Агне к разговорам таурупийских тетушек, может, и не решилась бы отправиться в поездку наедине с Тикнюсом. Тикнюс — «бродяга»: хотя у него семья — жена, дети, — говорят, он частенько не ночует дома… Впрочем, то, что пунцовел он, стоило Агне прикоснуться к его локтю, еще ничего не значило! А если значило, так, видать, именно то, о чем

любили посудачить таурупийские кумушки. Ох, и почешут же они языки, когда дойдет до них, что Каволюте укатила с Тикнюсом! Они установят точно, без нечистого здесь не обошлось! Без того самого, который подсунул Матасу Смолокуру кошелек с заячьим пометом вместо золота.

Агне отодвинулась к дверце, покрепче ухватилась за ручку и даже задремала, убаюканная плавным покачиванием рессор. А город приближался все быстрее, хотя, задремав, она сразу же вернулась в занесенный снежными сугробами Таурупис, где все еще стояла кузница Матаса Смолокура, где наступала рождественская ночь. Хорошо, что прикатил в кузницу сосед на санках, хорошо, что удалось Смолокуру отыскать в сугробах Агнессу… Он привез ее в избу, затопил печку, растер пахнущей дегтем водкой и усадил за стол. Но Агнесса — она же Агне — «сочельничать» не пожелала. Неотрывно глядела она в зеркало, висевшее за спиной у Матаса Смолокура, и увидела, как укладывают в черный гроб седоватого, с залысинами мужчину. На его морщинистом лице льдинками посверкивали глаза Риты Фрелих. Это был Пятрас Собачник, ее брат! Агнесса выбежала из избы, отвязала саврасую кобыленку, на которой привез ее сюда этот незнакомый — хороший

или плохой — человек, прыгнула в сани и погнала лошадь назад, в город, туда, откуда прибыла она в этот край.

Сразу же, едва перевалив за высокий холм, увидела огни города и даже удивилась, ведь как долго шла, пока не решилась прикорнуть в таурупийском сугробе, а теперь едва понукнула «Но-о, Савраска», и лошадиные подковы уже зацокали по мостовой, полозья саней заскрипели по камням и асфальту.

Только город стал совсем другим. Множество красивых домов. Автомобили! Бесконечная путаница улиц! Как найти ей здесь корчму брата Пятраса? Ведь если он умер, то лежит там. Если уже и похоронен, на кладбище везли из корчмы. Надо отыскать. Надо поставить брату памятник, хотя бы таким путем испросить прощения за свое бегство…

Нет, никто не знал, где корчма Пятраса Собачника!

— Пятрас? Собачник? — молодой водитель самосвала, видимо, завел разговор только потому, что ему понравились сани, лошадь, нисколько не напуганная грохотом машин, или сама Агнесса. — Может, собаколовная контора? Такая есть. Один пижон очень переживал, что псы его машину

обделали, бегал в ту контору жаловаться, правду искать. Хотите, дам адресок? Он и приведет…

Агнесса даже не обиделась. Как тут объяснишь, что брат ее не ловил собак, просто кормились они возле его корчмы.

Она привязала Савраску к столбу, поддерживающему провода, и стала читать приклеенные к этому столбу объявления. Предлагали купить пианино, аккордеон «Вельтмайстер», полдома с садом, сибирского кота и металлический гараж. Выше всех остальных объявлений было приклеено такое: «Приму квартиранткой девушку, ул. Вирвю, 14, кв. 2».

Агнесса обрадовалась, уразумев, что можно куда-то зайти и остановиться там. Вдруг она не сразу найдет Пятраса Собачника?

Расспрашивая у людей дорогу на улицу Вирвю, подъехала наконец к деревянному, изъеденному древоточцем дому. Постучалась, из двери вылез старичок с заспанным лицом. Не ответив на ее приветствие, он пошел вперед, завернул за угол дома, отпер замок, висевший на дверях дощатых сеней. Агнесса вошла вслед за ним и увидела двухконфорочную газовую плиту и железный ящик для баллона. Рядом стояла скамейка, на ней ведро. Из сеней дверь вела в комнату, где

находился старый-престарый диван, три разнородных, один пуще другого расшатанных стула, на стене доска, прибитая гвоздями: вешалка для одежды. Агне потрогала диван.

— Ладно, ночь перебьюсь, — сказала она старику.

— У меня не гостиница, барышня, — рассердился он, — если только переночевать, так бы и сказала. Я плату за полгода вперед беру!

Агнесса пожала плечами и вышла во двор. Денег не было, Пятрас Собачник почти не давал их. А где она еще возьмет?

— Погоди! — остановил ее голос старика. — Барышне, видать, не комната нужна, а гараж? У меня пустует. Можешь остаться на ночь. Всего трояк возьму.

— Нет у меня денег, — повернулась она к старику и тут же смутилась. — Но я привезу. Просто сегодня с собой не захватила.

— Так привози.

Агне увидела, что на нее смотрит уже не старик, а Наталья, с каждым днем, с каждым часом, с каждой минутой приближающаяся к пенсии. Она с нежностью глядела, как Агне-Агнесса садится в сани и едет вдоль улицы.

Хорошо бы, думает Агнесса, не пришлось за-

ночевать. Город, он сразу денег требует. Золота, которого так жаждал Пятрас и которое у него было. Неужели город — такое проклятое место, где люди говорят только о деньгах? Она остановила Савраску перед желтым домом с зелеными балконами; в нос били запахи кухни. Над дверью вывеска синими буквами: С т о л о в а я.

— Нельзя ли тут немного поесть без денег? — спросила Агнесса у мужчины, остановившегося рядом с ней возле двери.

— Думаю, можно, — ответил он. — А лошадь ваша не сбежит, пока вы заправляетесь?

— Нет, — заверила Агнесса.

Господи, как же она проголодалась! От аппетитных запахов у нее даже в животе заурчало. Войдя внутрь, она встала в очередь, уместила на своем подносе сразу три тарелки щей, положила шесть ломтей хлеба. Когда подошла к кассе, тот мужчина, с которым она заговорила, сказал кассирше:

— Плачу я.

Ела она торопливо, обжигая губы. И только когда все три тарелки опустели и она пальцем собрала со стола хлебные крошки, мелькнула мысль: как это неприлично — позволила заплатить за себя какому-то чужому человеку, незнакомому мужчине. От этой мысли у нее

вспыхнуло лицо — какой позор! Втерлась сюда, как нищенка, или, еще хуже, как девка-потаскуха, которых немало довелось повидать ей в корчме Пятраса. Собаками такую травить! Огляделась, опасаясь увидеть того мужчину, но его уже не было. За одним из столиков сидел композитор Каволюнас и с аппетитом хлебал щи.

Агнесса снова забралась в свои сани, чтобы гонять Савраску по паутине улиц и переулков. Прохожие и водители любопытными взглядами буравили ее. Да и было на что посмотреть! Ветхая шубейка, из-под которой выглядывало длинное, вишневого цвета платье, на голове белый пуховый платок. Вот вырядилась! Откуда, дивились люди, откуда взялась эта чудачка? Карнавал, что ли? И вправду от ее появления на улице какое-то праздничное настроение!.. Однако дивились они про себя, Агнесса же гнала Савраску, не обращая на них внимания. Вдруг резкий свисток заставил ее натянуть вожжи и обернуться. Свистел молоденький милиционер с реденькими, как у Винцялиса, темными усиками, но волевой подбородок выдавался у него вперед сильнее, чем у Бейнариса. Милицейский отдал ей честь и попросил обратить внимание на висевший над улицей жестяной диск, где в красном кругу была топорно

нарисована лошаденка, впряженная в телегу.

— Движение гужевого транспорта, гражданочка, здесь запрещается, — укорил Агнессу милиционер.

— Почему?

— Потому что висит знак: запрещается!

— А почему запрещается?

— Чтобы не мешать движению.

— Какому движению? Я же с самого краешка! Понимаете, ищу одного человека. Пятраса Собачника. Может, слыхали?

— Все равно нельзя. А то придется платить штраф.

— Значит, за деньги можно?

— Нет. Я оштрафую вас за нарушение правил дорожного движения. Ясно?

Агне нежно глянула на блюстителя порядка.

— Говоришь, и за деньги нельзя? Никому?

— Никому, — заверил он.

— Ну что ж, придется идти пешком. А вот если попрошу за лошадью присмотреть, тоже за деньги?

— Нет, — словно что-то обдумывая, не сразу ответил он. — Какие деньги? Разве я не твой отец?

Взглянула и, даже не привязав Савраску, ушла, потому что сани и лошадь были уже в руках Йо-

наса Каволюса — в надежных руках.

Вместе с Савраской на перекрестке осталось все то, что вызывало удивление горожан, вся ее праздничная исключительность.

Бесконечные улицы крест-накрест пересекали мир. Агнесса блуждала по ним, пока не попала в толпу, состоящую из одних мужчин. Откуда такое множество? И все чем-то озабочены. С деловым видом расхаживают туда-сюда по улице. Почему не на заводах, не в учреждениях? Проталкиваясь сквозь стену спин и плеч, Агнесса даже запыхалась; ловя открытым ртом воздух, она вынуждена была поднять голову и тогда увидела зеленые буквы: «Автомашины и запчасти». Вне всякого сомнения, здесь ей делать было нечего. Кое-как добралась до стенки дома, тут толпа редела, и Агнессе удалось перевести дух. Рядом топтался невзрачный старикашка в потрепанном пальто, поглядывая вокруг настороженными глазами. Глазами Риты Фрелих! И, хотя стоял он, прислонившись к стене, казалось, рыскает в самой гуще толпы. Просто непонятно было, почему создавалось такое впечатление. Может, из-за бегающего, цепкого взгляда? От бойкости речи?

— Не бог я, любезнейшие. Не хотите, как хотите, А то берите от «Победы», подмажете, и пойдет!..

К «Москвичу»? Восьмому? Этого нет. Не бог я, любезнейший. Берете? Четвертная. Свое отдаю, неужто задаром? Только к «Победе», говорю же, к «Победе», любезнейший.

Умел торговаться старичок! Из отвисших карманов пальто вытаскивал шестеренки, подшипники и всякие другие железки, названия которых Агнесса не знала. Она удивлялась тому, сколько барахла умещается в этих карманах и как этого хлипкого старикашку не раздавят гомонящие вокруг мужчины. И еще тому, как это получается у него: стоя на месте, прижавшись спиной к стене, шнырять в толпе — так умел нырять промеж воров-лошадников Пятрас Собачник. Да, он тоже умел. Умудрялся на конном рынке даже цыгана вокруг пальца обвести, что уж говорить о перепивших в корчме помещиках! Всучить такому дурню клячу вместо коня даже умения не требовалось, достаточно было одной наглости.

— Пятрас, — шепнула Агнесса, — неужели ты?

— Я не бог, — бубнил старичок, обрабатывая мужчину в красивом сером костюме, тот вытащил из кармана носовой платок, развернул его и показывал какую-то ломаную железку. — Нету, приходите через недельку, ну, денька через три…

Постараюсь. Будет! Не бог я, любезнейший, но кое-что могу…

— Пятрас! Собачник! — Голос Агнессы окреп, хотя она еще не вполне была уверена, что перед ней брат. Ведь он умер. И единственный долг по отношению к нему — разве что памятник на могиле поставить.

Лицо старичка изменилось, продольные морщины пересеклись поперечными бороздками, словно перевалило ему за сто. Глаза пригасли, смотрели слепо, хотя глазные яблоки, казалось, норовят выскочить из глазниц.

— Сударыне что-нибудь нужно? — Старичок уже отыскал ее глазами, единственную женщину в толпе мужчин. — Не бог я, сударыня, но…

— Ничего, ничего мне не нужно. — От недавней радости не осталось и следа, Агнесса уже испуганно смотрела в разъеденные склерозом глаза брата, на белки в паутине красных прожилок. Кожа его лица была желтая-желтая.

— Агнесса… ты? Смотри-ка, и впрямь Агнесса! — Старичок прослезился, потянулся к ней, а она отвела в сторону глаза: так упорно искала, а теперь и видеть не хотелось, тем более целоваться с братом.

— Пойдем отсюда, — Агнесса ухватила Пятраса

Собачника за руку и потащила его из толпы в тупичок, где и прохожих почти не было. — Чего хотят от тебя эти люди?

— Они ищут, а я нахожу. Добрые дела делаю, Агнесса!

— Ты всегда так… защищаешься. И кабак держал, другим добра желая.

— Нет, времена теперь другие. Да и постарел я, не то здоровье, чтобы за трудное дело браться. А ты прямо невеста! Ни морщин, ни седого волоска. Какими притираниями, какими снадобьями лечишься?

— Никакими, Пятрас. — Агнесса отрицательно покачала головой и улыбнулась. — Правда, я еще… не старая?

— Спрашиваешь! Не замужем? Детьми не обзавелась?

— Дочку из твоей корчмы унесла. Мало тебе? Нынче уже дети ее внуков живут: Спин, Лиувилль, Агне… Посмотрел бы, как похожа Агне на меня! Вот придет когда-нибудь из Тауруписа, оставит свою ферму…

— Чокнутая? Чего это она там сидит? Теперь все в город норовят. И власть не возражает, и людям нравится. В городе — как в муравейнике. Что ни брось, все равно чисто. Порядочек здесь!

Как хорошо, Агнесса, что ты приехала. Погребок тебе покажу. Под гаражом. Не особенно большой. Как по закону положено. А все-таки кое-что.

Агнесса не поняла, зачем ей этот погреб.

Наконец они вышли на тот перекресток. Савраска еще издалека весело заржал. Милиционер с жиденькими усами Винцялиса и подбородком Бейнариса вздохнул, почесал белую звездочку на лбу лошади.

— Счастливо, девонька, — пожелал он голосом Йонаса Каволюса.

Пятрас Собачник ожидал Агнессу у фруктового киоска. Увидев ее в санях, он весело расхохотался: Агнесса и лошадь! В таком городе! В такое время! Ну и дикость!

Агнесса правила, Пятрас Собачник дорогу показывал. Когда машины объезжали сани, сидящая в них женщина подергивала вожжи, словно поощряя Савраску бежать наперегонки с автомобилями, а старик, прикидываясь пьяным или просто веселым человеком, шутливо грозил водителям кулаком, приподнимал мятую шляпу…

Так добрались они до Шанчяй, где стоял дом Пятраса Собачника, сложенный из красного кирпича. Калитка металлическая, с приваренными солнцами и лилиями, от нее через сад к дому

мощенная цементными плитками дорожка.

Хотя дом был другим и двор другим, аккуратным — ухоженный сад с фонтаном и ажурной беседкой, — Агнессе почудилось, что она вновь оказалась на улице Вирвю, где договорилась о ночлеге. Но тут следовала она не за Натальей, а за Пятрасом Собачником, ведущим ее из комнаты в комнату, охающим и жалующимся и на стены, и на мебель, и на квартирантов… Люди так медленно набираются культуры! Это же горе одно, когда ходят они по паркету в тех же башмаках, в которых и по хлеву, и по избе топали, смотреть больно, когда сидят за полированным импортным столом… Агнесса не очень-то прислушивалась к жалобам брата, ее мучили предчувствие: вот-вот вернутся живущие здесь люди и застигнут ее, пялящую глаза на их постели, разбросанную где попало одежду, домашние туфли со стоптанными задниками… Застанут ее у себя, а она не найдется, что сказать им в свое оправдание.

Оказалось, что Собачник, оставив дом квартирантам, сам жил в погребе под гаражом. Агне ни за что не хотела спускаться туда. Она вспомнила: надо накормить Савраску, переступавшего с ноги на ногу в углу сада. Пятрас нарезал в ведро хлеба, залил водой; прежде чем дать корм лошади,

осмотрел ее зубы.

— Но-о! Не артачься!.. Четырехлетка… — В голосе Собачника зазвучали нотки, знакомые Агнессе со времен процветания его придорожной корчмы. — У меня не подохнешь, жри…

В гараже стояла «Волга» цвета тумана. Пятрас Собачник приоткрыл дверцу и предложил:

— Может, прокатимся, Агнесса? Покажу место, где должна будешь меня хоронить.

Агнесса вздрогнула, вспомнив, что в зеркале, висевшем за спиной Матаса Смолокура, она видела брата, укладывающегося в гроб. И как Пятрас угадал цель ее поездки? Как?

— Э-э, Агнесса! Раньше люди еще верили, что кладбище — святыня. Было! А теперь, чуть что, сразу кости переносить. Чьи перенесут, чьи оставят… На месте кладбищ парки. Ты бы только глянула, по этим паркам пьяные шляются, девок лапают. Нет покоя. А хочется быть уверенным, что ляжешь и будешь лежать вечно! До тех пор, пока не вострубит архангел…

Агнесса покачивалась на мягком сиденье, глядя на такие же, как и лицо, желтые руки брата. Руки Викторасa Тикнюса! Казалось, что они с самого рождения только и делают, что крутят баранку, обтянутую мягкой черной кожей.

Уже вечерело, когда подъехали они к кладбищу в далеком предместье и, оставив машину у ворот, разыскали крест из шлифованного мрамора. В сумерках он выглядел особенно траурно, как крыло черной подстреленной птицы. Его основание плотно вросло в землю, хотя сам крест был небольшим. Пятрас Собачник несколько раз обошел вокруг, внимательно присматриваясь к кресту, потом наклонился и ладонью почистил или погладил мрамор, выбитые на нем буквы «Пятрас Собачник», год рождения — все красивым, «моцартовским» шрифтом; таким же самым, видимо, некто, заранее получивший плату, выбьет и дату смерти. Агнессе доводилось слышать, кое-кто еще при жизни ставит себе памятник, однако никогда до сих пор она не ощущала, какую силу таит в себе подобная предусмотрительность. Может, есть словцо попроще — хозяйственность, например? Она отвернулась, чтобы не смотреть на брата, однако тут же услышала его шепот, от которого некуда было спрятаться:

— …И помоги мне, господи, снова стать молодым, здоровым, жить снова и снова. Убеди Агнессу, сестру мою, пусть сделает она доброе дело, пусть откроет мне свой эликсир молодости! Господи, сколько капель у дождя, столько у меня

слез, жажду оплакать грехи свои и смиренно прошу прощения у тебя за содеянное мною, господи… Помоги мне, и я вечно буду твоим, твоим. Во веки веков. Аминь…

Когда Агнесса, не утерпев, обернулась, она увидела, что Пятрас Собачник, стоя на коленях, крестит себя, свой надмогильный крест, деревья и ее, Агнессу. Подползши на четвереньках, как побитый пес, он припал к ногам сестры, стал целовать их. Чего он хотел от нее? Словно играя в прятки, она отступала за крест, за деревья, пока Пятрас Собачник не оставил ее в покое и не вернулся к своему кресту, снова истово оглаживая мрамор ладонями. Она увидела, как от его прикосновений отошла в сторону шлифованная плоскость с красивыми, выведенными «моцартовским» шрифтом буквами. Почти до плеча засунув руку в тайник, брат вытащил два кирпичика и протянул сестре.

— Господи, сделай так, чтобы Агнесса простила мне мои прегрешения и… дала совет, как остаться молодым. Говори ее устами, господи. Ничего для нее не пожалею… слышишь, ничего!

Агнесса чувствовала себя рыбой на берегу, птицей на дне омута; Пятрас Собачник поймал эту рыбу и утопил эту птицу. Тень его надвигалась

на сестру, надвигалась, неся с собой не глину, не гранит, а золотой кирпич, надвигалась, совала золото ей в руки, пока Агнесса не вскрикнула и не швырнула желтый брусок наземь. Брат увидел это и, поняв ее жест по-своему, вытаскивал из тайника все новые слитки — с царским орлом и без него, разворачивал замотанные в гнилые тряпки столбики золотых и серебряных монет…

— Все от-дам, — выдыхал он по слогам, — только скажи, почему молодая!

— Уймись, Пятрас… Собачник, — ответила Агнесса, прижавшись к стволу дерева, — нет у меня того, о чем ты просишь. Кто может отдать то, чего не имеет сам?

Пятрас Собачник, видимо, сходил с ума. Он сунул в рот горсть монет и начал грызть. Потом плевал золотом в Агнессу. Лицо его то трепетало, то каменело, как у мертвеца.

— Не хочешь?.. Не хочешь?.. — хрипел он сквозь зубы, и Агнесса видела, как они, гнилые от старости, вдруг зажелтели от таящего во рту золота. — Не хочешь, вошь несчастная?.. Так и не сестра ты мне! Чумазая девка! Вошь на моем теле, вот кем ты была и будешь…

Агнесса отступала от дерева к дереву, дивясь тому, что на кладбище так пусто и так страшно,

что нигде живой души не видать.

Наконец она добралась до домика кладбищенского сторожа, но он был пуст, и Агнесса побежала дальше, уже по дороге, по которой, она знала, бежать тоже было опасно, потому что Пятрас Собачник сейчас сядет в свою «Волгу» цвета тумана и задавит ее… Хорошо, что уже виден был знакомый молодой милиционер, тот самый, стоявший на перекрестке и запрещавший ездить по городу на санях, хорошо, что он поднял свою палочку и остановил движение. Тогда и услышала она визг тормозов «Волги» Пятраса Собачника и растопырила руки, чувствуя, как соскальзывает с плеч вишневое платье и ее нагое тело падает в ласковые руки человека с усами Винцялиса и подбородком Бейнариса.

15

Агне открыла глаза, когда Тикнюс разговаривал с остановившим машину автоинспектором. Они стояли у белой полосы на широком шоссе, почти уже влившемся в предместье. Но это еще не был город, так, по крайней мере, утверждал Тикнюс, доказывая автоинспектору, что он никогда не превышает скорость там, где это запрещено. Он,

мол, и теперь постепенно сбрасывал газ, зная, что въезжает в город, и ехал бы еще медленнее, если бы заметил знак; установили неправильно — так повернули, что и не разглядишь, а если и заметишь, еще гадай, к тебе он относится или к тому, кто подъезжает справа. И действительно, когда они, оставив машину, подошли к знаку, автоинспектор вынужден был согласиться, что водитель прав, знак поставлен черт знает как, что за обормоты устанавливали? Он извинился перед Тикнюсом, но, козырнув ему, все-таки упрекнул:

— Другие видели!

— Видать-то и я видел, — возразил Тикнюс, — но надо, чтобы порядок был, тогда и штрафовать меньше придется.

Агне слушала их спор, а думала о Спине. Теперь, когда она уже приехала — почти приехала! — испугалась своей смелости. Эта смелость была так же беспардонна, как и ее, Агне, любопытство, когда читала она письмо, предназначенное не ей. Но ведь она так и не дочитала его! И от этого Агне снова стало не по себе, охватило безумное желание вытащить письмо и прочесть до конца. Узнать все… Тем временем возвратился в машину Тикнюс. Агне глянула в его сторону и спросила:

— Чего он хотел?

— Дырку в талоне сделать или рубль получить.

Она не очень-то поняла, в чем дело, но почему-то заволновалась, как и тогда, когда прикоснулась к локтю Тикнюса.

— Поехали отсюда! — впервые попросила и приказала Агне. — Меня Спин ждет.

— Нервы только портят, — ворчал Тикнюс. — А вообще-то я их не боюсь. Меня еще никогда не штрафовали. Привязываются, вот как сегодня, по-пустому, а то даже и не решаются задеть. Есть, верно, во мне что-то такое… Уважают… Куда поедем?

Агне назвала адрес. Спин жил на Зеленой горе, в тех кварталах, которые были застроены одноэтажными и двухэтажными коттеджами еще до войны. Улицы здесь были узкие, но прямые, словно повторяли незатейливый мотив пересекающихся прямых, характерный для центра Каунаса. Может, заблудиться тут и труднее, чем в извилистых, петляющих улочках старого города, но и найти дом, где ты прежде почти не бывал, тоже нелегко. Пока Тикнюс искал нужный дом, к тому же самому месту, но по другим улочкам катила еще одна машина — синие «Жигули». Агне в это время снова вытащила письмо Спина.

Безусловно, это было глупо: всю долгую дорогу продремала, потому что делать было нечего, а теперь, когда остались считанные минуты, лихорадочно принялась читать.

«…Идея семейного праздника настигла меня неожиданно, вернее, совсем не вовремя, когда я не мог сосредоточиться и подумать, чего она стоит. Я шел с завода в прачечную, а это немалый крюк: надо перейти мост, потом шагать берегом… В общем, ты знаешь, что я люблю гулять! Тащил я клетчатый чемодан, который ты мне подарила. Напихал в него грязное белье… Молния сломалась, из щели торчал уголок простыни, мне было неловко и стыдно, я старался нести так, чтобы этот уголок был меньше виден, жался к стенам домов. Люди обгоняли меня то слева, то справа, проносились, словно ласточки перед дождем, и, конечно, мешали думать. От одного из них я и услышал слова, которые дали толчок моей идее: «Я не пойду, если ты не согласишься позвать их…»

На редкость простая и довольно туманная фраза! И больше ничего не услышал.

Голос, кажется, был женский. Но я теперь в этом не уверен. Когда оглянулся, определить, кто сказал, уже не мог. Вокруг было так много людей! Они шли навстречу, обгоняли меня, неожиданно появляясь сзади. Ты же знаешь, какие узкие тротуары в старом городе! Здесь степенно и медленно не пойдешь. Надо или бежать вместе со всеми, или путаться в ногах у прохожих.

А неоконченная фраза засела в голове, и по глупой моей привычке начал я раздувать ее, как воздушный шарик. Женщина, подумал я, безусловно, заупрямилась и не пойдет. Куда? Например, в ресторан. Почему? Если там не будет каких-то добрых друзей. Например, Н. Н. А может, ей просто скучно с мужем — надоела слепленная из бытовых мелочей жизнь? Она хочет простора, хочет посмотреть на других. Или, скажем, она девушка. Он приглашает ее в первый раз. Опасаясь, как бы ее ответ не выглядел слишком легкомысленным, она хочет, чтобы пошли и ее подруги. Такие милые, болтливые, конечно, немножко поглупее

и менее красивые, чем она. Или… (Мари, сейчас я поцеловал тебя, чувствуешь?)

Тогда я и подумал: а если это слова моей матери, Риты Фрелих, обращенные к отцу? Тогда все выглядит так. Он приглашает, а она пойдет, если пойдем все мы, ее дети. Я, Лиувилль, Агне. Возможно, и Стасе. Потому что, может быть, она и не погибла на Памире. Может быть, Йонасу Каволюсу прислали кого-нибудь совсем другого в той «посылке отцу». И вот все мы сидим за столом. Рита Фрелих позвала — мы собрались!

Можно заказывать шампанское, провозглашать тосты. Рита Фрелих встает первая, потому что, возможно, она произнесла фразу, послужившую началом праздника. И она выкладывает нам один из своих афоризмов, которыми, как скалками, плющила нас в детстве. Говорит хотя бы такие слова Ларошфуко: «Если хочешь быть обманутым, думай, что ты хитрее других». Или нечто подобное. Потом поднимется отец и доложит, кто мы такие есть и кем каждый из нас еще имеет возможность стать. За каждое его

слово можно выпить. И на этом кончится праздник? Но мне все еще слышится фраза: «Я не пойду, если ты не согласишься позвать их». И я встаю, чтобы опередить отца. Мне не надо, чтобы отец перечислял, кто мы, куда идем или можем прийти. Мне надо, чтобы он сказал… например: «Давайте условимся, я не Йонас Каволюс, не отец… а черт его знает, кто я теперь такой! Скажем, Спин. Итак, слушайте: я, Спин Каволюс, хочу рассказать вам о своем детстве…» И Йонас Каволюс рассказывает. У меня, настоящего Спина Каволюса, стынет кровь, когда я слышу, что испытал Спин — очень плохой человек, запертый в погребе и решивший покончить с собой от ненависти к отцу и Лиувиллю. А потом мне становится еще сквернее, потому что я чувствую, что люблю того Спина. И уже совсем плохо, когда я встаю сам и начинаю примерно так: «Послушайте, я вам очень кратенько… когда я, Йонас Каволюс, отец всех вас, родился…» Ты, Мари, без сомнения, подумаешь, что я чокнулся. Но именно так возникла идея семейного праздника.

Идея вечера вольных импровизаций. Мне она очень понравилась, эта идея. И я поведал ее Йонасу Каволюсу; рассказал в тот момент, когда Агне вернулась из Москвы и ей, бедняжке, было очень худо: весной задурила сестре голову сказка о цветке вишни, а немного позже она поняла, что может быть кем угодно, даже цветком вишни, только не артисткой. Но она уже знала, что не будет ни цветком, ни артисткой. Понять все это в ее нежном возрасте было уже слишком. От таких разочарований не только за свиньями ухаживать потянет, хоть ты вроде бы и не перестал уважать и любить себя…»

«До чего же он противный, этот Спин! Выдумывает невесть что…»

Агне сунула листки обратно в конверт и обрадовалась, что дорога кончилась — «Волга» подъехала к двухэтажному кирпичному дому, где брат снимал комнату. Вылезая из машины, она глянула на Тикнюса, словно благодаря за то, что привез, но водитель понял ее взгляд по-своему.

— Мне ждать? — осведомился он.

Не зная, что ответить, Агне посмотрела на дом.

Уже темнело, и свет горел во всех окнах. Окно комнаты Спина было открыто, оттуда доносились голоса и музыка. Агне не представляла себе, надолго ли задержится здесь.

В этот момент, чуть не ткнувшись носом в буфер «Волги», подкатили и остановились «Жигули», за рулем которых сидел Йонас Каволюс.

16

К Спину уже собирались. Первым явился художник Йоцис. Он нравился Спину не только своей профессией — дизайнер, обязанности которого на заводе были пока что весьма неясными и потому очень походили на обязанности Спина — заводского социолога. Но Йоцис повидал мир больше, чем Спин. Его личность вечно изнывала в трагическом борении между призванием и требованиями общества. Он презирал прикладное искусство, жаждал сладостного бытия свободного художника, полетов вдохновения. Спину было очень занятно наблюдать, как его приятель грызет себя за то, что изменяет своему призванию — ради зарплаты ежедневно по восемь часов высиживает в конструкторском бюро и рисует… токарные станки! Сотни одинаковых станков.

Рисунки почти не отличаются один от другого, лежат на его столе беспорядочной карточной колодой, а Йоцис рассуждает о цвете, об асемантической, то бишь беспредметной живописи… Ему и самому сдается, что после восьми часов, проведенных за таким «карточным столом», смешно говорить об искусстве, где альфа и омега сюжета — человек. Всем надо наконец понять, что только цвет, только краски стимулируют чувства. Посмотрите на машины, это сплошные краски, краски и еще раз краски… Сочетания линий и красок. Но не удивляйтесь, одновременно это чистая производительная сила…

Спину в тот вечер не надо было защищать Тициана или Рембрандта. Ах, эти бедняги, праотцы истинных учителей Йоциса — Кандинского, Поллока, Тоби… Йоцис постучался к Спину, по правде говоря, вовсе не собираясь поздравлять его. Он пришел озабоченный и удрученный: исчез его друг Стяпукас, тоже бензист, то есть художник, идущий в ногу с техникой, смотрящий на мир глазами нашего века. Полтора месяца назад он покинул правление одного колхоза, где решал задачи наглядной агитации. Покинул, забыв там пиджак с документами и краски с кисточками — только эти предметы не считал он антивещами.

Йоцис заглянул к Спину после посещения милиции, где он написал заявление о том, что его друг пропал без вести. Правда, не совсем прямо из милиции, по дороге он побывал в морге и там искал Стяпукаса. Господи, какая отвратительная история!

Из-за всех этих мерзких переживаний Йоцис уже был крепко пьян и просил у Спина только стаканчик чая. Пока Спин кипятил воду в электрическом самоваре, Йоцис рассказывал про то, что видел в морге, и называл себя несчастным, ибо не верует в бога.

В это время пришел Зигмас-Мариюс Каволюнас. Он приехал из Вильнюса по приглашению Спина. Вероятно, поэтому явился не с пустыми руками: принес бутылку шампанского и розу, на которой, так он сказал, насчитал двадцать семь шипов — ровно столько, сколько Спину сегодня исполнилось лет. Монолог Йоциса о его взаимоотношениях с господом богом нисколько не интересовал композитора. В ожидании, когда дизайнер уберется, Зигмас-Мариюс снял с гвоздя, вбитого в раму окна, гитару и положил ее себе на колени. Но не играл, только смотрел на художника, откровенно смеясь в душе над его горем. А Спин поставил на стол все, что имел: банку шпро-

тов, банку мясных консервов «Завтрак туриста», тарелку с помидорами, бутылку водки. Он поглядывал на часы и тоже почти не слушал Йоциса. Несомненно, он ждал еще кого-то, правда, едва ли Агне, Лиувилля и Йонаса Каволюса.

А они все трое уже стояли во дворе, возле дверей его дома, сами несколько смущенные неожиданной встречей.

— Заходите, — Йонас Каволюс пропустил вперед дочь и сына, будто приглашал их к себе.

Однако ни он, ни Лиувилль никогда прежде не бывали здесь. Спин сам нашел это пристанище, терпеливо ожидая, когда дадут ему угол в заводском общежитии. Только одна Агне знала, что эта комната с отдельным входом лишает Спина почти половины его зарплаты. Но так ему и надо! Кто заставлял его учиться черт знает чему, какой-то психологии, не нужной пока ни Йонасу Каволюсу, ни Таурупису!

Больше всех вошедшим гостям удивился дизайнер Йоцис. Он уставился на ввалившихся в двери Каволюсов, словно они только что были трупами, которые он несколько минут назад видел в морге, разыскивая своего Стяпукаса. Он был чрезвычайно поражен тем, что они ходят вокруг, целуются, разговаривают. Ему захотелось плюнуть на все и

уйти, но тут он вспомнил, что Стяпукас работал когда-то в Тауруписе — реставрировал фрески лафундийского дворца. Тогда Йоцис сам протянул Йонасу Каволюсу руку и представился:

— Дизайнер Пятрас Йоцис.

— Йонас Каволюс, — ответили ему.

— Вы не знавали такого художника — Стяпаса Пансофаса?

— Вроде бы нет, — протянул Йонас Каволюс.

— Неправда. Знали. Ведь он реставрировал вам фрески в Лафундии.

— А, такой с бородкой и с оттопыренными ушами?

— Да. Это был Стяпас Пансофас, мой друг. Талант! Вы довольны его работой?

— Он увел из нашей кассы две с половиной тысячи. Думаю, не поминает нас лихом.

— Возможно, он никого и ничего уже не поминает. Дело в том, что полтора месяца назад он пропал. Без вести. Вот так. В мирное время. Трудящийся человек. Художник. Я только что искал его в морге.

— Где?

— В морге. Это такое место, где, понимаете…

— Понимаю.

— Там его нет.

— Каждый день кто-нибудь исчезает. Аварии, болезни. Такова жизнь, уважаемый товарищ Йоцис.

— Несомненно. Когда люди исчезают, они уже больше не люди. Антилюди. Это соответствует моим эстетическим принципам. Да здравствует онтология антивещей! Функциональная онтология, как пишет Бензе. Вы читали Бензе? Жаль. Стяпукас тоже был бензистом. Это значит, что и его не интересовали вещи. Он интересовался только абстракцией. Пятно и линия! Антиформа! Вибрация! Структура! Синтаксис! Бедняги предки стремились к другому образу — семантическому. И вот я иду, уважаемый, иду из морга… Из мира антилюдей. И я завидую своей старой матери, потому что она верит в своего семантического бога… Ах, она совсем иначе ходила бы по моргу. Слышите, товарищ директор? Совсем иначе… А я бродил вот так: поднимаю с лица покрывало, вижу, не Стяпас, и мне страшно…

Композитор Зигмас-Мариюс Каволюнас поздоровался с Агне. Они не виделись с сентября. Почти год.

— А ты стала еще красивее, Агне, — сказал ей Зигмас-Мариюс.

— Правда?

— Клянусь.

— Цветком вишни?

Он долго и пристально смотрел в ее глаза.

— Нет. Просто поверь на слово. Не понимаю, почему ты прячешься. Почему сбежала от меня?

— Неправда, Зигмас-Мариюс. Не сбежала. Я жила в Тауруписе. Кормила свиней, если хотите знать.

— Знаю. Спин говорил. Стаж зарабатывала.

— Не смейтесь. Меня нетрудно было найти. Если еще не позабыли дорогу в Таурупис.

— Как ты можешь, Агне, так говорить?

— Видите, могу.

Она смотрела на Зигмаса-Мариюса, прижимая к груди сумочку. Этим она пыталась скрыть не только волнение. Агне знала, что ее ногти за время работы на ферме пообломались. Да и не почистила она их перед поездкой — забыла! От этой мысли она все больше краснела. И говорить с Зигмасом-Мариюсом ей было очень трудно.

— Как славно, что ты приехала, Агнюшка, — подошел к ним Спин. — Как хорошо, что послушалась меня и приехала!

— Почему это послушалась тебя?

— Мне показалось глупым, что два человека дуются друг на друга, сами не зная, почему. Вот я и

написал вам обоим. Зигмасу и тебе. Надеялся, что приедете и помиритесь. Поверьте, это единственный способ разобраться, кто в чем виноват…

— Я не получала твоего письма, Спин.

Агне порылась в сумочке и вытащила письмо, написанное Мари.

— А это я до конца не дочитала, — она протянула Спину конверт. — Просто не успела. На твое счастье!

Врешь, все до конца прочла, говорили глаза Спина, но он, благодарно улыбаясь, взял конверт.

— Извини. Черт знает что! Спутал! Чего доброго, Мари мне этого не простит. Она почему-то поздравила меня телеграммой. Вот, взгляни, Агнюшка, какой непонятный текст!

— Как ваши творческие дела? — Йонас Каволюс тоже подошел к ним и обратился к Зигмасу-Мариюсу Каволюнасу. — Приезжайте к нам на дожинки. Будет большой хороший праздник.

— Спасибо. Если пригласите, непременно. Кстати, с одним условием…

— С каким же?

— Если и Агне пригласит.

— Ах, Агне! Вижу, что сегодня мы с Лиувиллем совсем некстати — помешали вашему свиданию.

А между прочим, Лиувилль был нынче великолепен. Посмотрели бы вы, как его слушали!.. Как он отвечал на вопросы! Лиувилль, как думаешь, разрешат тебе организовать институт в Тауруписе?

— Ну, папа! Очень уж ты торопишься. Всему свое время, — это были первые слова, произнесенные Лиувиллем.

Агне видела, что он с удовольствием повернулся бы и вышел прочь. Что же случилось, почему Йонас Каволюс не только сам ввалился к Спину, но и Лиувилля притащил?

— Что ж, подождем, — сказал отец. — Пусть защитятся Спин и Агне. Тогда у тебя будут двое серьезных помощников. Почти половина института!

Настроение у Йонаса Каволюса было отличное. Он шутил, пытался завести общий разговор, голос его наполнял комнату.

Агне обняла отца и, словно они только что встретились, поцеловала в лоб. Долой тревогу, чувство, будто ей что-то грозит, что надо бежать, ехать, искать людей. Вот они, люди, рядом. Вот он и приближается, тот семейный праздник, о котором мечтал Спин.

17

Однако тревога все же окончательно не исчезала.

Агне села за стол в самом уголке, на диван-кровать Спина. Сидеть тут было не очень удобно — слишком низко, — зато хорошо видны все присутствующие. А это так важно! Агне присматривалась к людям в поисках человека, с которым вот-вот что-то могло произойти. Не с ней самой! Так подумала она сразу, когда, захлопнув дверцу «Волги», столкнулась нос к носу с Йонасом Каволюсом и Лиувиллем. Тикнюс привез ее туда, куда она пожелала, домчал быстро, словно ветер соломинку, над лесами, холмами и реками, по следам Агнессы. Теперь она была в городе, где людей больше, чем в тысяче Тауруписов, много хороших людей, все с доброй улыбкой смотрели на ее платье цвета спелых вишен, и ей было спокойно за себя. Странно одно: как это может она почти без волнения видеть Зигмаса-Мариюса? Втайне Агне даже радовалась, что они так неожиданно встретились, что композитор опять словно хмельной, и, может быть, не столько от наливаемой Спином водки, сколько оттого, что

здесь она, Агне.

Однако с кем-нибудь что-то должно произойти. Возможно, ничего плохого. Агне хорошо знала, что Йонас Каволюс никуда и никогда не ездит просто так, без определенных планов. Спин его почти не интересовал, Лиувилль уже был при нем, из-за него едва ли следовало ехать сюда. Господи, какая некрасивая, угловатая голова у ее ученого братца! Художника Йоциса она видела впервые, и Йонас Каволюс тоже. До чего же смешон этот пьяный приятель Спина: пристает ко всем со своим Стяпукасом, толкует о будущем изобразительного искусства! Но, видать, неплохой художник. Может, если Йонасу Каволюсу понадобится художник для интерьера, Агне предчувствует это, он вспомнит сегодняшнюю встречу и велит хоть из-под земли выкопать Йоциса…

Нет, и Йоцису ничто не угрожает.

Спину?

Может быть, Йонас Каволюс надумал отомстить сыну за непослушание? Хочет забрать его в Таурупис? Скажет: ладно уж, сунул пять лет псу под хвост, поехали, дома разберемся. Важно укоротить узду, на длинной водят только объезженную лошадь… Пусть-ка Спин погрызет в Тауруписе натянутые отцом удила, погрызет,

погрызет и не станет больше взбрыкивать. Дожди и ветры Тауруписа самые серые холсты отбеливают, что им человеческие характеры! Вон Агне походила за свиньями и, глядишь, написала заявление туда, куда отец продиктовал… Ох, Спин, Спин, может, согласие Йонаса Каволюса устроить в Тауруписе День кузнеца — праздник урожая в поселке бывших кузнецов, всего лишь первый шаг к тайным переговорам со старшим сыном?

Зигмасу-Мариюсу?

Нет, нет! Агне видела, как удивился отец, встретившись здесь с композитором. Не рассердился, это бы сразу было видно. А если и разозлился малость, то уже остыл, может, потому, что видел: почти год его Агне никуда не бегает, ни с кем не встречается, разговаривает со своей Натальей про свиней да с Ритой Фрелих про великих педагогов мира…

Никак не понять, зачем спешила она сюда, зачем мчалась на «Волге». Чтобы смотреть, как мужики хлещут водку? Сама этому не научилась. А Лиувилль прихлебывает, видать, уже привык к ней, конечно, пьет по-умному — без этого умения трудно по разным конференциям да совещаниям разъезжать. Дизайнер уже почти не поминает своего без вести пропавшего приятеля, Зигмас-

Мариюс творит симфонию, постукивая ложечкой по консервной банке. Один только Тикнюс трезвый, Йонас Каволюс посылает его то в магазин, то еще куда-то. Тикнюс единственный сейчас работает, и Йонас Каволюс доволен, что он тут, что мир преобразовывается согласно его планам даже тогда, когда за столом семейный праздник.

Праздник маленький. Импровизированный. Не о таком ли мечтал Спин? «Вечер вольных импровизаций». И с Зигмасом-Мариюсом она познакомилась на вечере его импровизаций… Неужели только такие вечера разнообразят жизнь, помогают даже «откопать» ее смысл?

Йонас Каволюс, до этого провозглашавший все свои тосты сидя, встал.

— Дети, — сказал он, обращаясь не только к Лиувиллю, Спину и Агне, но и к Зигмасу-Мариюсу, и к дизайнеру Йоцису, — дети! Мы собрались, чтобы поздравить Спина. Он уже многое сделал в своей жизни. Безусловно, не все, что мог и должен был бы сделать…

— Интересно, отец, а что я мог и должен был сделать? — Спин перебил Йонаса Каволюса, и Агне зажмурилась, потому что ей стало неловко за необычно высокий голос Спина.

Йонас Каволюс долго смотрел на сына.

— Итак, — снова начал он, вроде бы и не услышал вопроса, — мы собрались… Нет только вашей матери, Риты Фрелих, как мы привыкли ее называть. Выпьем же за ее здоровье. За здоровье вашей матери, дети!

— За здоровье Риты Фрелих! — выкрикнул дизайнер Йоцис.

— А я буду пить за здоровье своей сестры Стасе, — все тем же высоким, напряженным, готовым сорваться голосом объявил Спин.

Рука Йонаса Каволюса на миг застыла на пути ко рту, неужели не выпьет до дна за Риту Фрелих, за то, чтобы избавилась она от мигрени и всех остальных своих болезней? Агне видела, как отец заставил себя пригубить рюмку и только, опустив ее пустую на стол, сдержанно сказал Спину:

— Мне еще не приходилось пить за здоровье мертвых. И ты отлично знаешь, что Стасе была бы жива, последуй она моему совету…

— Интересно, — возразил Спин, и Агне поняла, что брат не только ищет, к чему бы придраться, но просто издевается над отцом. — Очень интересно. Может быть, ты лучше Стасе разбираешься, что именно позволяет в горах надеяться на счастливое возвращение из похода?

На словах «лучше Стасе разбираешься» голос

его задрожал, будто старшая сестра и впрямь была жива и сидела тут же, за их столом.

— Была бы умнее, никогда бы не поехала на Памир. Работы хватает и в Тауруписе. — Сын все больше раздражал Йонаса Каволюса, его спокойствие было лишь маской, он ни за что не хотел уступить Спину.

Кстати, сколько помнила Агне, так было всегда.

— Папа!.. Зигмас!.. — Она первый раз за вечер сама обратилась к Зигмасу-Мариюсу. — Спели бы вы лучше! К чему ссориться? Ведь мы собрались, чтобы поздравить Спина, пришли на его праздник.

— Совершенно верно, — поддержал ее композитор. — Трудно говорить об умерших на празднике живых. И вообще трудно говорить о чем-то печальном, когда рядом с нами Агне. Самое грустное, что я могу придумать, это такая песня:

Ой, как садики-садочки,
То цветут они, то нет,
Ой, как парни-паренечки,
Когда любят, когда нет…

Агне съежилась в своем уголке, не решаясь раскрыть рот и подтянуть такому красивому

мужскому голосу — голосу сына Скребка, одного из первых бригадиров Тауруписа, голосу, поднявшемуся с лесных опушек, с хуторов, из пыли проселка, которую взбивали еще подковы, сработанные Матасом Смолокуром… Ей почему-то стало ужасно жалко себя, ее взволновал и растрогал красивый баритон, которому запросто начали подпевать Йонас Каволюс и дизайнер Йоцис. Спин разлил коньяк, доставленный Тикнюсом на отцовские деньги, выпил, глядя на поющих, но сам и рта не раскрыл.

Ой, как садики-садочки,
То цветут они, то нет!
Ой, как девицы-цветочки,
Когда любят, когда нет…

«Вслушайся хорошенько: ажурная тема, пастораль, но перед тобой появятся не сопливый пастушок и медленно бредущее стадо…»

Заслушавшись, Агне даже не заметила, как в дверь постучали и, не ожидая приглашения, вошли. В комнате появился еще один человек, которого по приказу Йонаса Каволюса разыскал и привел сюда Тикнюс.

18

Означает ли что-нибудь сон для человека?

Для Агне — без сомнения. Ее сон — принесенный свистом ветра рассказ о прапрабабке Агнессе. Если хорошенько подумать, может, в ее мозгу осталось некое отдаленное воспоминание о том, что было в крови ее предков столетие-другое назад. Но такое до сих пор с ней еще не приключалось: чтобы давно умерший и только во сне привидевшийся человек вдруг наяву вошел в комнату!

Агне смотрела на лысого старичка: изборожденное морщинами, желтое лицо, седая бороденка, очень живой и въедливый взгляд злых глаз. Одет он был в светло-серый, сильно поношенный, но чистенький или недавно вычищенный костюм и одеждой нисколько не напоминал привидевшегося во сне Пятраса Собачника. И все-таки в его глазах и повадках проглядывало то, что Агне, не сомневаясь, отнесла бы к мучившему ее во сне старику. Этот тоже умел разговаривать с людьми, в толпе он наверняка чувствовал себя как рыба в воде, но, заглянув в комнату и увидев подвыпившую компанию, несколько смутился, хотел тут

же удалиться. Однако его уже заметил Йонас Каволюс, и потому старичок, передумав, улыбнулся тонкими губами, за которыми сверкнули очень белые искусственные зубы. Он даже раскрыл было рот, чтобы поздороваться, но фразы, которые он, видимо, произносил в подобных случаях, на этот раз абсолютно не подходили; сообразив это, старик попытался найти другие, а их в его памяти не нашлось, и он совсем растерялся.

— Профессор! Сто лет! — выручил старичка Йонас Каволюс. Он вылез из-за стола и раскинул руки, как бы желая обнять нового гостя, чтобы помочь ему избавиться от охватившей его неуверенности.

И Агне не могла сообразить, почему же этот человек, только что хотевший, чтобы кто-то другой начал разговор, вдруг остался недоволен, быть может, даже обижен поведением Йонаса Каволюса. Он отступил поближе к двери, перестал улыбаться и как-то очень уж холодно произнес:

— Прошу прощения, если я не вовремя… Мне сказали… Я не знал, что встречу здесь…

— Стыдно даже подумать такое, дорогой Профессор! — Йонас Каволюс говорил сдержанно, обдумывая слова. — Я посчитал, что тебе будет полезно познакомиться с членами моей семьи.

— Большое спасибо. Признаюсь, некогда я гордился знакомством с вами, Йонас…

— А как же! Даже зашел в общежитие, чтобы напомнить: дескать, я твой дальний родственник…

— Боюсь, что вы меня тогда плохо поняли, уважаемый… Я действительно не мог уехать в провинцию. Учиться-то начал с опозданием, хотел спокойно заниматься научной работой. Вы тогда были секретарем, и слово ваше имело немалый вес. Однако вы меня ошибочно поняли, если подумали, что я просил вашей помощи из-за родства… Мои способности, уважаемый Йонас, были широко известны. Вам только о них и следовало подумать.

— Я о них и думал, Профессор. Каждый из нас шел туда, где был нужнее. Я вернулся в свой Таурупис, и мне тогда казалось, что делаю единственно правильный шаг. И не жалею, хотя наука меня тоже влекла… Познакомьтесь, Профессор. Сын, Лиувилль, доктор физико-математических наук, чего доброго, самый молодой в стране… Сегодня он делал доклад в Вильнюсе…

Агне уже ждала своей очереди: придется вставать, а здесь, за столом, это так неудобно! Когда отец представит ее, она обязательно покраснеет, хотя до сих пор смотрела на старичка лишь

с удивлением — из-за его сходства с Пятрасом Собачником из недавнего сна. Однако Спин нарушил процедуру знакомства, он встал сам и, держа в руке невыпитый стакан, представился Профессору:

— Я тоже Каволюс. Узнаете?

К этому времени Профессор, словно примирившись с мыслью, что Йонас Каволюс ждал его не один, а с детьми, без приглашения сел на край табуретки, и глаза его немножко потеплели.

— И я Каволюс, — повторил Спин. — Меня зовут Йонас Каволюс. Я директор совхоза… Знаете, что я сделал, если бы… все мог? Основал бы город Таурупис, понастроил бы там множество ферм, нарыл уйму прудов, всю Литву карпами завалил бы. Своей дочери Стасе, которая ныне покоится в таурупийской земле, этой своей дочери поставил бы на могиле большой каменный кукиш — чего хотела, то и получила. Спина Каволюса, сына своего, который на крестинах из колыбели выпал, этого неслуха, каждый день кормил бы вкусной березовой кашей, пусть бы почувствовал, что она не так хороша, как окрошка Риты Фрелих… Лиувиллю, доктору физико-математических наук, подарил бы лазер — пусть с его помощью раскалывает головы дилетантам и лжеученым.

Для Риты Фрелих, своей верной жены и подруги, приказал бы собрать все, что наговорили умные люди, проживая в сей юдоли слез, и особенно их предсмертные изречения, напечатал бы и переплел, чтобы ей было удобно комплексно отстаивать жизнь, мораль и добро… А для себя, что сделал бы я для себя, Йонаса Каволюса, внука Матаса Смолокура, отпрыска знаменитого рода кузнецов? Хотите, верьте, хотите, нет, но мне ничего не нужно! Может, только прожить жизнь еще разок. От этого не отказался бы. И если бы мне удалось такое, то я ежедневно съедал бы по сотне порций мороженого; ходил бы в ясли, в детский садик, но ни за что не пил бы там молока и не спал после обеда! В школе никогда не готовил бы уроков, завел себе золотую рыбку и велел ей все за меня делать. И ни за что не слушал бы мудрых афоризмов Риты Фрелих! И в свою комнату забирался бы не по лестнице, а по веревке, привязанной к радиатору и спущенной через окно! Главное, ни за что не остался бы работать и жить в Тауруписе, поступил бы в космонавты и каждый день по двадцать пять раз облетал Землю…

— Не слушайте вы его! — Агне хотела встать, чтобы прервать Спина, но сразу это ей не удалось, и первые слова она произнесла, сидя и до боли

сжав кулаки. — Не слушайте Спина!.. Ты же понимаешь, папа, что все мы любим тебя… Не надо о нас плохо… А на твоем месте, Спин, я бы ни за что не сидела здесь. И не пила бы! Отправилась бы к Мари. Скажи, она очень красивая? Скажи мне одной, Спин… Почему ты так гадко паясничаешь, Спин?

— Не кажется ли вам, — обратился к композитору Каволюнасу дизайнер Йоцис, — что мы уже давно присутствуем тут в качестве блох на шкуре Каволюсов?

Профессор сидел на самом краешке табуретки, напряженно вытянувшись, вцепившись тонкими пальцами в собственные колени, и виновато смотрел на Йонаса Каволюса. Лицо старичка покраснело, казалось, он вот-вот пустит слезу из-за ощущения какой-то неясной вины.

— Ах, право… мне бы лучше уйти, — пробормотал он — Не вовремя заглянул. Кто же это любит на людях-то… Сказано же, не выноси сор из избы. Простите, не мне бы об этом говорить, но теперь родители часто сами по себе, а дети тоже, знаем мы это…

— Никуда ты не пойдешь, — перебил его невнятицу Йонас Каволюс. — Во-первых, выпей-ка за здоровье этого пачкуна! Не пожалеешь, самый

лучший коньяк, какой нашел в этом городе мой шофер. Шестнадцать рублей бутылка! Спин, налей уважаемому Профессору.

Спин, как под гипнозом, поднял бутылку…

Дизайнер Йоцис налил себе сам и подсел к Йонасу Каволюсу.

— Бы-ло о-чень при-ят-но по-зна-ко-мить-ся, — по слогам проговорил он. — Но… прощаюсь! Только хочу спросить. Один вопрос. Сразу же исчезну, только этот один. Сегодня я был в морге. Это такая штука… Ну, сами знаете, какая. Нет?.. Тогда скажите мне… Если бы мой друг Стяпукас, когда он ковырялся у вас в Лафундии, короче говоря… Хочу спросить: если бы он оставил пиджак и все прочее… а сам… как в воду? Полтора месяца? Вот так. Пошли бы вы искать его в морг? Нет? Не пошли? По глазам вижу, не пошли! А я пошел. И очень сожалею, что пошел. Спин! Хочу и у тебя спросить. Один вопрос… Впрочем, к чему? Все вы Каволюсы… м-м-м… уважаемые, веселые, а Стяпукаса нет. Большую глупость он выкинул. Из-за него, Стяпукаса, кому-то приходится идти в морг, вот как обстоит дело, уважаемые товарищи…

Дизайнер Йоцис выбрался из-за стола, отвесил общий поклон, потом подошел к Агне и поцеловал ей руку. Что-то смешное и одновременно

трогательное было в желании опьяневшего человека показаться вдруг этаким светским львом… Уходя, он осторожно и старательно прикрыл за собой дверь. За эту дверь, ведущую прямо во двор, Спин ежемесячно платил лишнюю десятку; только теперь Агне убедилась, что за такое удобство стоит иногда заплатить и подороже. Профессор, не опуская глаз, прихлебывал маленькими глоточками коньяк.

— А вы? — Йонас Каволюс повернулся к композитору Каволюнасу. — Не опоздаете на последний вильнюсский поезд?

— Папа! — Агне услышала, каким высоким — ну просто женским — снова стал голос Спина. — Зигмас — мой гость. Он уйдет, когда сам того пожелает. Слышите?

— Почему, Спин? — Зигмаса-Мариюса вроде бы и не удивил вопрос Каволюса. — Когда встречаются родственники, им всегда приятнее… одним. Разумеется, я сейчас уйду.

— Не уходите! — Агне задержала его руку.

— Почему? Вы свои. Все свои. Нет, лучше уж я пойду. Разговор при посторонних — как музыка без ударных инструментов в оркестре. Какая может быть симфония, если в ней не звучат барабаны и литавры? Мне было приятно, очень

приятно…

Агне видела, ничего более неприятного в жизни Зигмас-Мариюс еще не испытывал: его, абсолютно трезвого, не выкинувшего никакой глупости, не произнесшего за весь вечер почти ни одного слова, гнали прочь… Что он подумает теперь о них, Каволюсах? В жилище Спина постепенно устанавливалась семейная диктатура. Агне уже давно сообразила, что отец с Лиувиллем приехали не для празднования дня рождения Спина. С самой первой минуты их появления здесь все словно бы подчинялось чьей-то чужой воле, не отцовской, нет. Профессор — вот кто диктовал им. Даже тогда, когда его еще не было, Йонас Каволюс уже ждал его, знал, что он придет, присядет вот так на краешек табуретки, напряженно вытянувшись, вцепившись тонкими пальцами в собственные колени, и будет виновато поглядывать на присутствующих. Одновременно во взгляде его почувствуется угроза человека, сознающего свою силу и обозленного на окружающих за то, что он не умеет или не может скрыть какую-то свою вину.

— Я вас провожу, Зигмас-Мариюс, — сказала Агне.

— Что ж, подождем, пока ты вернешься. — Йо-

нас Каволюс был явно недоволен: придется ждать. Сколько? Минуту? От силы пять. Не больше.

«Не больше пяти!» — мысленно разрешил он Агне. На улице возле калитки стояло две машины. В «Волге», сидя, дремал Тикнюс.

— Зигмас! Не сердись на отца, — сказала Агне. — Он всегда такой. Рита Фрелих говорит, что он родился в рубашке праведника и хочет быть похоронен в ней.

— Я очень рад... Ты просто не представляешь. Думаешь, вру? Знаю, я старый пень и тебе не пара...

— Я так ждала ответа. Ой, как ждала, Зигмас-Мариюс! Почему ты мне не написал? Почему, скажи?

— Не люблю писать.

— А я ждала...

— Почему ты тогда сбежала, даже не попрощавшись?

— А-а... Неспокойно стало. Поверила, помчалась следом, как дура какая-то. Отец был прав. Экзамены надо было сдать. Экзамены важнее, чем цветок вишни на сером асфальте.

— И теперь будешь сдавать? Куда велит отец?

— А что?

— Ничего.

— Может, еще не сдам. Книг в руки не брала.

— Сдашь. Если захочешь.

— Чего-то надо хотеть. Отец умнее. Я уже два раза убегала… из дому. И какой прок?

— Что-то остается, Агне. От этих побегов.

— Почему же тогда бегут не все?

— Бегут большинство. Только мы не всех видим. Не все этим хвастают. Я не могу тебе ясно… Спроси лучше у Спина. Он «инженер души». Господи, как он бесится, что оказался ненужным Йонасу Каволюсу! Неужели не понимает, что в руках уважаемого директора и его знания могли бы играть не совсем… благовидную роль? И уж, во всяком случае, гораздо более скверную, чем на заводе, где Спин пока что занимается подсчетом часов досуга рабочих, суммирует прочитанные ими книги, просмотренные фильмы, узнает об их симпатиях и антипатиях к бригадирам, мастерам. Когда Йонас Каволюс решит, что ему нужен Спин, будет куда хуже. Пожалуй, твой брат еще и сам не понимает, что его идеи о групповой психотерапии весьма и весьма сомнительны. То, что пытается он делать, сегодня только смешно и наивно. Безусловно, какое-то зерно истины в его попытках соединить человеческую индивидуальность и групповую солидарность есть. Я

тоже уверен, что, слушая музыку, танцуя, рисуя, размышляя, разговаривая, человек меняется. Но не настолько, чтобы подобная «терапия» давала психологу право делать с людьми все, что он захочет… Ты, конечно, не помнишь… Откуда тебе! Мой отец тоже был психологом. Мне рассказывали, как говорил он с людьми… Но теперь отца нет. Он исчез, потому что существовали силы более могучие, чем его умение. А если Спин убедит отца, что Таурупису необходима психотерапия, начнет устраивать там некие праздники и прочие эксперименты? Ох, Агне! Боюсь, что это будет страшнее, чем заставлять людей работать и верить из-под палки. Общество движет вперед другое. А подобная возня — видимость движения для тех, кто топчется на месте. Поэтому будет лучше, если Спин оставит отца в покое.

— Почему бы тебе не сказать все это самому Спину?

— Говорил. В конце концов, у него есть собственная голова.

— Отец уже согласился провести в Тауруписе День кузнеца. Дукинас делает флюгера — хочет вспомнить искусство Каволюсов. И правда, красиво кует! Неужели ты считаешь, что все это ерунда?

— К сожалению. Ерунда, если подобная мысль рождается в головах Спина или Йонаса Каволюса. Вот если возникает она сама по себе… В голове у Дукинаса, у тебя, у меня, у всех, тогда… Тогда это большое, настоящее!

— И тетя Марике ждет праздника. Она так любит, когда поют, танцуют, когда все нарядные!

— Тетя Марике — другое дело.

— Почему?

— Ну, она… не такая, как мы.

— Думаешь? Смотри, подарила мне зеркальце прапрабабки Агнессы. То, которое у нас когда-то считали волшебным. Ничего не стоящий кусочек стекла. А я не могу его выбросить. Привезла с собой. Кажется, оно даже… помогает мне жить. Мысль укрепляет, чувства.

— Расскажи об этом Спину. Он тебе все объяснит. Лучше, чем я. Но он горячится от ненависти или беспомощности. Не слушай его, если станет доказывать, что в зеркале Агнессы таится твоя психическая энергия…

В это время открылась дверь, из нее выглянул Йонас Каволюс.

— Агне, — позвал он, — мы ждем тебя!

— Агне, — только и произнес оставшийся во дворе композитор Каволюнас.

19

Теперь все Каволюсы — Агне, Спин, Лиувилль и их отец — стояли, только один Профессор сидел на краешке табуретки, поджав ноги и вцепившись пальцами в колени.

— Дети, — сказал Йонас Каволюс, — вот мы наконец и собрались вместе. Одни… Профессор — свой человек. Я пригласил его, потому что уверен, он нам нужен. Правда, не хватает Риты Фрелих, но я хорошо знаю, что она думает. Ведь мы советуемся по каждому серьезному вопросу, вам это известно…

— Чепуха! — побледнев от волнения, прервал его Спин. — Ты никогда не советовался с мамой. Тебе всегда не нравилось, что после свадьбы она оставила себе девичью фамилию. Абсолютная нелепость в Тауруписе! Матас Смолокур даже не спросил у Агнешки Шинкарки фамилии. Женился на ней, принял в род Каволюсов чужую кровь, узаконил ее своей фамилией. А ты за такую же добрую чужую кровь даже фамилии не мог дать!

— Знаю, Спин, что недолюбливаешь ты меня. Может, даже ненавидишь. Но Риты Фрелих трогать не смей. Она святой человек! Она испытала

больше, чем все мы вместе взятые. Впрочем, разговор у нас не о ней. Хочу только, чтобы вы выслушали наше решение. Мое и Риты Фрелих. Итак, нам ясно, что ни одного из вас не тянет в Таурупис. Это, конечно, плохо. Но Рита Фрелих уговорила меня. Вероятно, можно оправдать, как-то простить вашу измену родным местам. Ведь даже Лиувилль, пусть он никогда не заявлял, что покинет Таурупис, и тот едва ли будет жить там. Я понимаю, научно-исследовательский институт в Тауруписе — только мечта. И довольно беспочвенная, кстати. Ты, Спин, кажется, тоже не намерен возвращаться. Так вот, мы с Ритой Фрелих об этом вас и не просим! У нас есть кое-какие сбережения. И мы решили купить Лиувиллю дом в Вильнюсе. А тебе, Спин, тут, в Каунасе. Живите! Женитесь, растите детей. Крутите пущенное природой и людьми колесо… Как вы на это смотрите?

— Папа! — Лиувилль почти сердито, что ему было совершенно не свойственно, посмотрел на отца. — Ничего мне не надо. И так дадут квартиру, какую только пожелаю. И буду я жить там, где захочу.

— Верю. Но выслушай и мое мнение. Разве плохо человеку, занятому умственным трудом,

просыпаться не от шума коммунального жилища, а где-нибудь в тиши, в доме, стоящем среди зелени, далеко от грохота лифтов и мусоропроводов? Спину, поскольку он собирается жениться… Я ведь не ошибаюсь, Спин? Ему надо в первую очередь. Поэтому я попросил своего доброго знакомого и друга, — Йонас Каволюс кивнул в сторону Профессора, — подыскать что-нибудь готовое… Полагаю, что уже сегодня он может нам кое-что предложить.

— Спасибо за доверие, коллега Йонас! Вы очень любезны. — Профессор оживился; к удивлению Агне, бесследно исчезли вдруг его скованность и напряженность, все суставы, каждый мускул старика пришли в движение, он даже помолодел. — Кое-что, разумеется, я уже… осмотрел… и записал… вот тут…

Проворно вскочив с табуретки, он вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку и сразу открыл ее на нужной страничке.

— Тут несколько таких… предложений… совсем не плохих предложений. На Зеленой горе продается второй этаж двухэтажного кирпичного дома. Совсем недалеко отсюда. Улица Сливу. Просят двадцать пять. Думаю, уступят…

Слушая Профессора, Агне тихонько пролезла на

свое прежнее место, на диван-кровать, в самом уголке. Тут она даже решилась сесть, хотя все остальные продолжали стоять.

— Нет, — замотал головой Йонас Каволюс. — Второй этаж нам не подойдет. Нужен отдельный дом. И деревянных не предлагай, Профессор.

— Есть, есть… И отдельные тоже есть. Цена, конечно, повыше, поэтому я… Знаете, рубль — он для каждого рубль. Особенно если человек его честным трудом, как вы, уважаемый… Спросите, у кого хотите; уж если Профессор обещал, значит, сделает! Поможет. Кому угодно. Всем. Всем, кто соизволит ко мне… Вот тут, в этой книжечке, есть все… Прошу. Значит, так. Верхняя Фреда. Не дом — сказка. Своя котельная, водопровод, на крыше зимний сад. Участок — хоть пчел разводи. Двенадцать соток. Имение, правда? Просят всего сорок. Но я не я буду, если не отдадут за тридцать пять… А вот этот в самом центре, только на гору подняться… одна беда — поезда грохочут, спать мешают…

Профессор говорил, обшаривая глазками лица слушателей, он мгновенно отмечал малейшую их реакцию и голосом, жестами, всем своим поведением отзывался на любое душевное движение, на минимальное выражение интереса.

Агне видела, что он больше не чувствует себя виноватым — Профессор делал свое дело, он был нужен собравшимся, теперь они зависели от него! Лиувилль, слушая старика, сунул руки в карманы и изобразил на лице полное равнодушие. Спин стоял, прислонившись затылком к модным моющимся финским обоям, но смотрел не на говорящего, не сразу даже можно было определить, куда; глаза его как бы пронизывали Йонаса Каволюса, который стоял за Профессором, возвышаясь над ним. Казалось, Спин превратился в образчик современной молодежной моды, этакий герой. Дело не в одежде или жаргоне, а в самой его манере держаться — во всем поведении чувствовался вызов. Чему? С кем он борется? За что? Агне затруднялась ответить. Может, за новые порядки в семье Каволюсов? Но ведь и Йонас Каволюс тоже стремился изменить этот порядок!

— Мне кажется, во Фреде было бы хорошо. Место спокойное, и центр недалеко. Как думаешь, Спин? — Отец заставил себя подойти к сыну, протянул ему руку, словно желая заключить мир, скрепить сделку — пожмем друг другу руки, и все решено. — Мари, вероятно, будет довольна. Да?..

— Нет, — Спин не принял отцовской руки. — Не знаю, будет ли она довольна.

— А ты?

— А я… Попытаемся рассуждать здраво. Я, конечно, не так гениален, как Лиувилль, однако понимаю, что тоже получу квартиру. Не сегодня, так завтра.

— Это не одно и то же. Теперь ты получил бы ее вовремя. В жизни это самое главное.

— Возможно. Впрочем, я еще не знаю, что ты предложишь Агне.

— Агне останется в Тауруписе. Это и есть единственное наше условие. И не менять, не нарушать договоренности, данного слова. Она уже решила: выучится и потом вернется домой. Будет, как говорится, нам с Ритой Фрелих опорой на старости лет.

— И за это?..

— Не бойся, ей тоже не придется думать о быте. Ты хорошо знаешь, что я всегда умел улаживать такие дела не только для собственной, но и для других семей.

— Значит, сегодня я и Лиувилль в твоем присутствии должны взять на себя обязательство: имеем право жить, как нам заблагорассудится, если Агне…

— Не надо брать никаких обязательств. Договорились и выполняем.

— А как же Агне?

— И Агне тоже. Поступает в академию, учится, все идет своим чередом.

— Однако ты даже не спросил, согласна ли она, нравится ли ей…

— Она подписала заявление, мы отослали документы. Будет сдавать экзамены.

— Будешь сдавать, Агне? — Спин просто бесился: он не мог устоять на месте, метался по комнате, а теперь навалился грудью на стол, чтобы, как близорукий, вплотную заглянуть Агне в глаза.

— Не знаю. Я почти не готовилась. — Как пугливый и попавшийся в ловушку зверек, Агне смотрела на всех и ни на кого в отдельности; она чувствовала, что даже у Спина — по его голосу и поведению чувствовала — родилась и растет неприязнь ко всему, что бы она ни сказала, что бы ни сделала в эту минуту.

— Сдашь! — В голосе Йонаса Каволюса зазвучал металл. — Как думаешь, Профессор?

— Дорогой коллега, я всегда помню… Просто чтобы не забывать. Память-то у меня, как у всех… Человек многое помнит! Знаете, стоял я как-то в очереди. Подходит ко мне один, невзрачный такой, и говорит… Прошу прощения, дорогой коллега! Вижу, не мои приключения вас интересуют!

Дочь у вас, уважаемый Йонас, такая красавица! Только взглянуть… Ах! Я для вас от души! А душа моя многое помнит, уж поверьте! Спина я завтра же свожу во Фреду… Ему там понравится, дорогой коллега Йонас… И за Агне не беспокойтесь. Такая красавица! Мое сердце ничего не забывает. Другие могут, а я нет. Бывает, правда, сделаешь человеку добро, а он тебе в хлеб камушек, на, попробуй разгрызи — без зубов останешься… И все-таки надо думать о людях. Помогать им. Всегда! Дорогой коллега Йонас! За Агне будьте спокойны. Вот тут, — Профессор извлек записную книжку — другую, Агне приметила первую, в синей обложке, эта была в коричневой, целлофанированной, — вот тут, уважаемые коллеги! Все записано. Аг-не Ка-во-лю-те, дочь Йо-на-са, ро-ди-лась в ты-ся-ча де-вять-сот пять-де-сят шестом… Видите, уважаемый Йонас? Записано! А это немало значит, если она сюда записана. Такая красавица! Молоденькая! Вся жизнь впереди! Такая жизнь! Светлая! Не то что у нас с вами, дорогой коллега Йонас… Я, конечно, не господь бог, всякое бывает, всякое случается!.. Не бог, уважаемые, не бог, но кое-что могу…

— Ох, — вздохнула Агне.



— Спасибо тебе, Профессор. — Йонас Каволюс, казалось, был удовлетворен ответом. — Видишь, Агне. Тебе не будет одиноко в Каунасе. Тут живет и работает Спин. И Профессор здесь. Всегда

обращайся. Они помогут. Но прежде всего надо сдать экзамены, да-да, экзамены. От них многое зависит…

— Отец, ты же погубишь ее! Ну хоть ты, Лиувилль, скажи ему, Йонасу Каволюсу! Ведь он черт знает что задумал!

— Глупо было бы отказываться от академии, — абсолютно спокойно, без колебаний произнес Лиувилль. — Глупо кормить свиней, когда этого не требуют интересы народного хозяйства. Только зачем насильно? Пусть Агне решает сама.

— Кто сказал, что насильно? — спросил Йонас Каволюс. — Никто! Пусть Агне… Агне, ты ведь хочешь учиться?

— Еще спрашиваешь, папа! Ведь я и в прошлом году пыталась…

— Видите? Я всегда говорил, что Агне поведет себя разумно!

— Разумнее, чем я, да? — уточнил Спин.

— Безусловно!

— Разумнее, чем Стасе?

— Оставь ее в покое!

— Разумнее, чем Марике?

— Она никогда не решала таких вопросов!

— Но не так разумно, как Лиувилль?

— Вам всем следовало бы помолчать, когда

Лиувилль…

— Молчит? Да ведь он всю жизнь промолчал! Говорит только об ионах и электронах!

— Спин, это уж слишком… Если бы слышала Рита Фрелих…

— Я и ей кое-что сказал бы!

— Наша жизнь, моя и Риты Фрелих, была посвящена вам, дети.

— Неправда, отец! А кто же тогда беспокоился, заботился обо всем Тауруписе? Кто с трибуны обещал всем таурупийцам полные мешки счастья?

— Ах, сынок, разве одно противоречит другому? Мое, твое, общее счастье? Разве ты, предлагая отметить семейный праздник как праздник всего Тауруписа, думал не точно так же?

— Возможно. Но почему ты боишься нас, своих детей? Почему ты решил подкупить нас? Домами! Институтами! Академиями!

— Не подкупить, Спин. Не то слово. И ты со временем станешь думать о будущем своих детей… Счастье, что мы с Ритой Фрелих всегда жили в согласии, думали одинаково. Рита Фрелих — добрый дух нашего дома. А мы слишком мало любили и любим ее. Я хотел бы, чтобы ты, Спин, и ты…

— Не смей говорить о матери! — Спин уже

просто кричал на отца, который стоял рядом; крик его, безусловно, слышал ожидавший на улице Тикнюс, слышали соседи, живущие в этом доме — за стеной, на первом этаже и наверху, на втором, всюду-всюду. — Прошу об одном: не учи нас любви и совестливости! Плевать мне на твои пруды, на осушенные болота, на машины, от которых уже и в Тауруписе скоро не вдохнешь свежего воздуха… Почему ты требуешь, чтобы своей любовью к Рите Фрелих мы выскребли то, что загажено тобою?!

Агне больше не слушала. Голос Спина внезапно превратился для нее в голос отца, однако ничего уже понять было нельзя. И она словно бы думала за отца, чувствуя, что он прав, а Спином владеет только ярость… Черт разберет, что им надо, этим людям! Учишь, воспитываешь — обижаются, стараешься помочь — иронизируют, смеются. И откуда только берется у отца эта сила — узнавать людей и действовать по-своему! Пусть шепчутся за заборами, пусть хлюпает под ногами грязь, все разно надо шагать вперед, отыскивая дорогу, как шагал Матас Смолокур, отыскивая болотную руду, чтобы выплавить железо… И много ли удавалось добыть ему металла из этой рыжей земли? Пустяки. Слезы! Но железо было нужно,

как нужно было и дерево. Никто не хвалил, но и не осуждал Смолокура за такую смелость. Так было надо… А нынче Йонас Каволюс уже и не знает, чего ждать. Создает пруды — плохо, потому что исчезают заливные луга; осушает землю — скверно: пропадают чибисы и лягушки; удобряет поля — дохнут рыба и раки; устанавливает изобретенные Лиувиллем громоотводы — приходит засуха, так что даже чистые пары превращаются в пыль; сносит хутора — портит пейзаж… Не от этого ли охватывает тебя такое чувство, будто ты всего лишь несчастная кошка, бегущая по полям с привязанной мальчишками к хвосту консервной банкой? Жестянка дребезжит, голова раскалывается от ужаса и грохота. Эти мальчишки — мы…

И Агне от души стало жаль отца.

Она жалела и Риту Фрелих, оставшуюся в Тауруписе, в пустой квартире, где старые часы, подталкиваемые гравием и подковными гвоздями, бьют не столько, сколько показывают. Йонас Каволюс нынче уже не вернется, чтобы поправить их. Мигрень будет изводить маму; зря Агне не зашла к ней в комнату, не предупредила, что собирается уезжать. Не сказала, что понимает, как ей трудно…

Неужели и отцу всегда было так же трудно?

И ей, Агне, будет трудно?

Неужели этот старичок, которого отец называет Профессором, в самом деле профессор? Что же такое сделал для него Йонас Каволюс, если тот смотрит на него, как провинившийся верный пес?

Разве настоящие профессора ходят в таких старых костюмах и говорят так бессвязно? Почему записаны у него в книжице адреса продаваемых домов?.. А в блокноте с целлофанированной обложкой ее имя, фамилия, год рождения? И, наверное, Спина тоже.

Неужели Спину придется бежать от него, как некогда Агнесса бежала от Пятраса Собачника? У всех ли такая судьба: догонять под собачий вой свою собственную душу?

Агне жалела и Спина.

Неужели придуманный им семейный праздник — ничто?

Неужели Зигмас-Мариюс прав? И ничему нельзя научиться на судьбах Агнессы, Агнешки Шинкарки, Матаса Смолокура, Ясюса Каволюса, Ярмеша, тети Марине — всей-всей их обширной родни? А зеркало Агнессы, этот простой кусочек стекла, согретый руками и глазами людей, овеянный ветрами, неужели он что-то говорит только

ей, Агне? Только от нее требует искренности, доброй воли и множества других простейших вещей?..

И Агне, притаившись в уголке дивана-кровати в комнате, где, едва начавшись, уже печально закончился день рождения Спина, вообразила себе праздник. Она слышала звон наковальни Дукинаса, видела, как его руки выковывают из старых ручек лафундийских дверей латунный флюгер, и чувствовала, как твердеет, застывает ее тело, становясь металлом, но не утрачивая жизни. Нет, нет, она не подковный гвоздь, не Бейнарис, не усатый милиционер, не отец… И Зигмас-Мариюс ласково гладит это ее бронзовое тело, послушно записывая, что она диктует, а диктует Агне письмо Йонасу Каволюсу: «Я слышал, что в конце августа в Тауруписе будет замечательный праздник. Думаю для него, праздника, написать ораторию, хотя еще придется немало попотеть… Времени нет, работа идет медленно… Потому что мешает и Агне, которая сидит рядом и зубрит. Положение семьи тяжелое, но я прошу о материальной помощи не как муж Агне, а как композитор… Ведь живем мы только на гонорары, а отсутствие таковых в настоящий момент сильно вредит моему вдохновению… Иногда от

отчаяния накачиваюсь дешевыми плодовыми чернилами и потому несколько дней слышу только птичьи разговоры…»

Потом звонит телефон — их вызывает Тауру-пис.

«Слышишь ли ты меня, Зигмас, сын Скребка? Непременно закончи свою ораторию. И привези ее… Думаем сколотить эстраду на лугу, где березнячок, там, как помнишь, у нас всегда проходят маевки. За оркестром пришлю машину. Крытую, чтобы ваши трубы и скрипки не схватили воспаления легких. Аванса выслать не могу, но договор заключим. Поверь, пока работа не выполнена, не могу, и вообще наличными, сам знаешь, платить не могу. Покажи мне хозяйственника, который покупал бы музыку. И так еще не знаю, не могу сообразить, каким образом удастся убедить финансовых церберов… За чернила и нотную бумагу — другое дело, в разумных пределах велю оформить…»

«Прости, — говорит Зигмас-Мариюс, отбирая у Агне телефонную трубку. — Алло! Ваш праздник будет чудесным! Полным музыки! Это вам, уважаемый товарищ директор, не птичьи голоса и не собачий лай… нет! Но все висит на волоске… на волоске Агне, это им связываю я воедино видимое

и мыслимое! Материю и дух! Какое богатство… И ваш праздник будет таким же прекрасным и богатым: темп, звук, простор, все! И никаким договором не сможете вы оплатить то, что я для вас напишу. Для Агне! Аванс, признаться, прошу тоже только для нее. Ей необходимо новое платье. То, вишневое, уже поистрепалось… Она должна быть на празднике в таком же удивительном платье, в каком была в день последнего школьного звонка!.. А может, прошу еще и ради своего грешного тела. Оно существует, никуда не денешься! Его вслед за святым Франциском именую я своим ослом, ибо ему нужен корм. Музыка для него — птичьи песни, на одних звуках не проживешь…»

Хорошо, что Агне замечталась: она уже видела, как возвращается в Таурупис в ярком платье настоящей цыганской расцветки. Там встречает ее тетя Марике. А кузнецы под руководством Дукинаса приводят в порядок свои наковальни. На лугу уже собрались люди. В новом Доме культуры прибывший из Вильнюса оркестр репетирует ораторию Зигмаса-Мариюса, на ветру поскрипывают новые, один краше другого, флюгера… Отчетливо все это представляя себе, Агне, к счастью, не заметила, что потерявший

терпение Йонас Каволюс неумело, но абсолютно всерьез влепил Спину пощечину и брат, этот дипломированный психолог, не подставил отцу другую щеку, а сам, как молодой петушок, ринулся в бой…

Впрочем, что значит — не заметила? Душа ее, может, и не хотела видеть, а глаза видели. Возможно, им все это и показалось столь жестоким, как Марике свистящий кнут разъяренного Ясюса Каволюса, когда стегал он мертвого Ярмеша. Может быть. Тем более что Спин был жив и Йонас Каволюс едва ли собирался убивать его.

— Лиувилль! — закричала Агне. — Почему ты… стоишь? Ты что?..

Лиувилль, вероятно, вспоминал сейчас о мансарде на старом хуторе, где у него было оборудовано современное гнездо алхимика, вспоминал о том, как ворвался туда рассвирепевший Спин. А может, думал он и о чем-то другом, ведь через неделю собирался на конференцию в Лондон… Когда человеку есть о чем поразмышлять, он ничего не хочет делать, дайте ему спокойно стоять, сидеть, лежать…

Сама Агне тоже не бросилась разнимать отца и брата. Впрочем, может, не только от испуга — самой попадет… Просто что-то случилось у нее

с ногами, они онемели, как свинцом налились. Тогда она открыла сумочку и стала швырять в этих двух орущих друг на друга людей всем, что попадало под руку. Немного там и было-то, в ее сумочке: карандаш для бровей, польская губная помада, завернутый в плотный сатиновый лоскут стеклянный квадратик…

Профессору, вероятно, тоже показалось, что чудодейственный эликсир (по шестнадцать рублей за бутылку) слишком уж растормозил в Каволюсах атавистические инстинкты… И, не желая видеть столь печальных последствий влияния алкоголя, старик выскользнул за дверь — право, за такое удобство не жаль лишней десятки, молодец Спин! — во двор, не забыв плотно прикрыть ее за собой. О нее-то и разбилось вдребезги запущенное Агне зеркальце сестры Пятраса Собачника.

20

Башенные часы на площади — там когда-то был Конный рынок и Пятрас Собачник торговал лошадей у цыган — пробили полночь. Колокол на башне был слишком мал, чтобы его слышали в комнате Спина — в двухэтажном коттедже на

Зеленой горе, где в тот вечер собрались Каволюсы. Тем более невероятно, что бой каунасских часов донесся до Риты Фрелих, которая с головной болью лежала в своей комнате в новом многоэтажном доме в Тауруписе. Если бы мы могли в это поверить, не пришлось бы считать Риту Фрелих обманщицей, когда она позже утверждала: дремлю и вдруг проснулась оттого, что старые наши часы, весь день показывавшие одно, а бившие другое, в двенадцать — странное дело! — пробили правильно.

Может, Рита Фрелих что-то путает. А если часы отрегулировал сам Йонас Каволюс? Хотя вернулся-то он уже далеко за полночь. Таурупийцы толковали, мол, это следовало предвидеть… А что? Ведь ничего особенного не произошло. Да и что могло произойти с Йонасом Каволюсом, если рядом с ним сидел Викторас Тикнюс? Это он привез директора. Верно, крепко устал человек, если рискнул бросить на произвол судьбы свои «Жигули», на которых, как видели в совхозе, отправился он утром в Вильнюс. А может, что-то случилось с «Жигулями»? Забарахлили? Стукнулись?.. (Тикнюса расспрашивать не решались, зная, что от него ничего не добьешься.) Лиувилль, возможно, вернулся вместе с отцом, но его ни-

кто не видел. Если и вернулся, то вел себя, как обычно: на неделю или месяц возвратившись из столицы в Таурупис, он зарывался в бумаги в домашнем кабинете отца. Там Лиувилля, этот краеугольный камень обелиска семьи Каволюсов, никто не смел тревожить.

А вот Агне снова всем понадобилась… У многих таурупийцев возникла потребность после бурной ночи внимательно оглядеть верхний этаж своего дома — все ли там, наверху, в порядке.

Расспрашивали Наталью. Только что с нее возьмешь? Крутится на ферме одна-одинешенька целые сутки и сама не смеет никого ни о чем расспрашивать… Дукинаса, так и не закончившего свой флюгер, главный механик приставил демонтировать вентиляционные шахты на новом зерноскладе. Ну, не обидно ли ему там копаться? Однако это он «подковал Агне лошадей», может, и еще что-нибудь знает?

— Ни-и-чего, — будто от злых мух, отмахивался от любопытных Дукинас.

Только к вечеру Йонас Каволюс заглянул на ферму. Директор был мрачен, но Наталья радовалась: так долго и обстоятельно, обо всем и вроде бы ни о чем он с ней до этого времени еще никогда не беседовал! Кстати, пообещал прислать

ей другую напарницу и прислал — пенсионерку Кимутене…

После разговора директор снова сел в «Волгу» и куда-то укатил. Вернулся Тикнюс один, и только позже приехали синие «Жигули».

Агне же так и не вернулась. А что тут особенного? Ведь и в прошлом году она убегала бог знает куда!

Вот вроде бы и все, что было известно таурупийцам. Но хватило и этих фактов, чтобы пошел разговор: «Снова в семье Каволюсов… Снова!»

Что значило это «снова», определить было трудно и рассказчикам и слушателям. (Как трудно было определять отцам и дедам таурупийцев направление ветра, когда просыпались они ночью в своих домишках от воя в печной трубе и, боясь высунуть нос наружу, сидели и слушали, как бушует ураган…)

Еще беседовали о том, что на лугу самое время сколачивать из досок сцену, что следует перед праздником выездить лошадей, что пора хоть разок серьезно, собравшись всем вместе, размять руки, чтобы таурупийские ковали не осрамились перед гужучяйскими, да и мало ли перед кем еще! Перед всеми, кто соберется на их праздник. Правда, нашлись и скептики. Уж такой он вам

праздник устроит, ждите, криво усмехаясь, цедили они.

Нашлись глаза и уши, замололи языки: Агне спуталась со Скребковым сыном! Все! Аминь! И ученье ее теперь интересует меньше, чем Дукинасова Винцялиса. А подтвердить вам все это может Бейнарене. С ее-то дочкой какая беда! Срезалась на первом же экзамене. Пришла документы забирать — домой поедет! — а тут и Агне Каволюте документы просит да еще скандалит: откуда, мол, у нее оценка, если она и на экзамен-то не явилась? Не иначе, судачили бабы, как отметку одной по ошибке другой записали… А вот попробуй исправь такую ошибку, коли можешь!

Не больно много правды в таких пересудах. Как и в том, что утверждали Рита Фрелих и другие таурупийцы, дескать, дети — флюгера. Чужие или свои дети, позвольте спросить. Да и как понимать?.. Может, если серьезно вникнуть в эти разговоры, Агне в какой-то момент действительно напоминала «подпись на ветру» работы своего прадеда Матаса Смолокура. Но это только казалось! И не о чем больше говорить. И ни к чему вам, милейшие таурупийцы, такие мысли. Ведь вы прекрасно знаете, что на новых многоэтажных домах флюгера не скрипят, лишь два-три

спокойно хранятся в лафундийском музее, и есть уже такая хорошая служба: поднял трубку, набрал номер и слушаешь все о ветре, откуда и куда направляется, какой он — только пух на одуванчике или крышу на доме может сорвать…

Если быть правдивым до конца, то история Агне, вероятно, только теперь и начинается. То, чего не успели рассказать, всегда самое важное и интересное. Так еще со времен Матаса Смолокура считали в Тауруписе. А может быть, и в других местах? Ведь если раскроешь словарь, убедишься, какое ничтожное место занимают там три слова, столь часто повторявшиеся в этой повести: флюгер, семья, праздник.

Авторизованный перевод *Б. ЗАЛЕССКОЙ* и *Г. ГЕРАСИМОВА.*

Альгирдас Поцюс
МАЛЕНЬКАЯ СЕМЬЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КУНЧИНАСА





Альгирдас Поцюс родился в 1930 г. в деревне Кятунай Мажейкского района.

Окончил Клайпедский учительский институт, работал корреспондентом радио в Клайпеде и Шяуляй, в редакции журнала «Швитурис», консультантом в Союзе писателей Литвы. С 1963 г. — секретарь правления Союза писателей республики.

Печатается с 1953 г. Издал сборники рассказов «Утро в деревне Ужгиряй» (1955), «Водоворот» (1963), «Исчезнувшие во мгле» (1972), «Через поля до города» (1979) и другие, несколько книг для детей.

На русском языке вышли сборники рассказов «По перепутьям пройденным» («Советский писатель», М., 1966), «Двое в городке» («Вага», Вильнюс, 1969), «Вкус тмина» («Художественная литература», М., 1974).

1

Какой-то тоскливый ужас охватывал Морту Кунчинене по вечерам, когда в пустом доме не слышно было никаких звуков, кроме ее собственного тихого дыхания, поскрипывания стула или диванных пружин да монотонного тиканья старых стенных часов. У нее возникало желание все бросить и бежать куда глаза глядят и, лишь помотавшись по белу свету, успокоившись, возвратиться обратно. Сколько раз собиралась навестить своих институтских подруг, разъехавшихся по школам всей республики, а то отправиться в какие-нибудь экзотические края — на Кавказ или в Крым! Только тогда, считала Морта, уйдет гнетущее чувство и, вернувшись, она вновь сможет без отвращения бродить по большому пятикомнатному коттеджу и готовить обеды для своей маленькой семьи. В этом заключались ее постоянные, навязчивые мечты, нереальная, но до малейших деталей с величайшим удовольствием обдумываемая часть ее жизни. Иногда воображаемые картины переносились в сны, и женщине казалось, что нечто подобное уже было в ее жизни, только почему-то стерлось и

поблекло в памяти.

Глава семьи Раполас Кунчинас, стоило жене заговорить о своих фантазиях, коротко и однозначно бросал ей: выкинь из головы, все это бредни, они не к лицу женщине, переступившей порог сорокалетия. Если уж так хочется, можно летом съездить в Палангу, а то в Вильнюс или Ригу… Разумеется, когда в колхозе поменьше дел. Ему казалось, что дома произойдет что-то непоправимое, если председатель колхоза ни с того ни с сего укатит с женой на недельку-другую проветриться и отдохнуть. И в самом деле, за пятнадцать лет председательствования в Трумплауке Кунчинас ни разу не был в отпуске и, правду говоря, не хотел его брать. О том же, чтобы Морта одна поехала, и речи быть не могло: без нее Раполас не знал бы, ни что поесть, ни во что одеться, ни вообще как ему жить. Все свои бытовые заботы передоверил он жене и за долгое время совместной жизни потерял о них всякое представление. Морта Кунчинене прекрасно справлялась с возложенными на нее обязанностями, была толковой и изобретательной хозяйкой, к тому же с педагогическим образованием. Значит, и о воспитании дочери ему тоже не следовало беспокоиться.

В один из таких тоскливых вечеров сидела

Морта на диване в уголке гостиной и вязала затейливую накидку на подушечку. Сумерки сгущались, приходилось напрягать зрение, чтобы разглядеть петли; она отложила вязанье, откинулась на мягкую спинку и закрыла уставшие глаза. Задремала. Когда проснулась, в комнате было уже совсем темно, правда, мебель и другие предметы еще можно было различить. Все окружающее показалось Морте таким неуютным, надоевшим, опостылевшим… Не меняя позы, принялась она планировать, как следовало бы переставить мебель, чтобы гостиная изменилась, обновилась. Вот, скажем, если передвинуть диван к торцовой стене и рядом поставить журнальный столик с двумя креслами? Пожалуй, получился бы уютный уголок. А книжную секцию — напротив окон! Она бы там отлично смотрелась: всеми цветами радуги сияли бы стекла полок, пестрые корешки книг…

Не откладывая дела в долгий ящик, Морта Кунчинене поднялась, засучила рукава, отбросила прочь беспокойные свои мечтания и ринулась в бой. В такие моменты ею всегда овладевали энтузиазм, приподнятое состояние духа, словно перестановка мебели могла изменить всю ее жизнь. Весело напевая, убрала из гостиной

кресла, скатала ковер, чтобы можно было без помех двигать тяжелые вещи. Но, вытерев во всех уголках пыль, вынуждена была притормозить — тащить в одиночку диван или шкаф ей было не по силам. Приходилось ждать дочку. Ниёле «на минутку» побежала к подружке узнать, что задано по алгебре, и вот-вот должна была вернуться. Конечно, заболталась. У семнадцатилетних, когда их начинают интересовать не только книги, но и парни, тем для разговоров хоть отбавляй!

Морта стояла у окна и нетерпеливо вглядывалась в темноту. Непредвиденная задержка в осуществлении задуманного несколько раздражала ее, сердила. Сначала взгляд побродил по соседскому двору, где у хлева можно было рассмотреть черно-пеструю корову и присевшую подле нее женщину в белой косынке. Воображение сразу же нарисовало подойник и звонкие струйки пенящегося молока. Потом взгляд скользнул вправо и в густой тени лип уловил огонек — кто-то раскуривал сигарету. В сумеречном свете смутно виднелись две фигуры, плывшие по тротуару на противоположной стороне улицы. Когда они вышли из-под лип, Кунчинене в одной из них узнала свою Ниёле. Рядом шагал какой-то парень с мотоциклетным шлемом в руке. Ка-

залось, что Ниёле не особенно заинтересована разговором с ним — шла она быстро и словно нехотя, коротко отвечала на какие-то вопросы провожатого. Когда же дочь пошла через улицу, парень со шлемом остался на тротуаре. Словно чему-то удивляясь или не одобряя ее действий, он слегка покачивал головой. Шаги дочери уже застучали по коридору, а мотоциклист все стоял у перекрестка и пялился на дом Кунчинасов. Какое-то дерзкое высокомерие ощущалось во всем его облике — и широко расставленные ноги, и сунутая в карман рука, и это неодобрительное покачивание головой… Нагловат и слишком самоуверен, заключила Морта, отходя от окна. Охваченная неприятным чувством, словно кто-то посмел кинуть недобрый взгляд ей самой, она беспокойно обернулась к дочери.

— Где это ты так долго пропадала?

— Уроки делали у Лины, — равнодушно бросила Ниёле.

Второго вопроса, который так и вертелся на языке, мать не задала. Если дочь не хочет упоминать о парне с мотоциклетным шлемом, пусть молчит. Ее дело.

Кунчинене еще какое-то время постояла, не двигаясь, посреди комнаты, бессознательно

комкая в руке свое вязанье. Словно чужая, глазами постороннего человека оглядывала она дочь и дивилась тому, что Ниёле уже совсем взрослая — красивая, стройная девушка, такая способна обратить на себя внимание не одного парня… Мать и не заметила, когда произошла эта великая перемена, когда ее девочка из наивного подростка превратилась в девушку. К следующему лету кончит школу и упорхнет куда-нибудь в большой город, где есть институты, тогда этот дом станет еще более пустым. Впрочем, время не остановишь, не повернешь вспять, хотя мать чувствовала бы себя счастливее, если бы к ее груди всегда ласково прижималась детская головка, доверчивая и нуждающаяся в опеке.

— Что это у нас случилось? Почему такой беспорядок? — с напускной строгостью спросила Ниёле, глазами указывая на скатанный ковер.

Мать проследила за ее взглядом и очнулась от своих мыслей.

— Помоги-ка мне. Хочу все по-новому расставить, — попросила она.

Обе энергично взялись за дело. Ниёле нравились такие неожиданные мамины затеи, когда все в их квартире переворачивалось вверх дном. Она заинтересованно предлагала собственные

варианты перестановок; конечно, принималось не все, но многое.

Из гостиной они перекочевали в спальню. Дом Кунчинасов громыхал и гудел, будто сюда только что въехало несколько семей новоселов. Мать и дочь, красные, распаренные, двигали кровати, шкафы — и откуда только брались силы и энергия! Работа уже шла к концу, оставались какие-то мелочи, но тут за окнами заурчала и остановилась машина. Они на мгновение замерли и прислушались. Как бы хорошо было, если бы эта машина остановилась у подъезда хоть на полчасика позже — глядишь, успели бы закончить перестановку! Заторопились, принялись поспешно придвигать тумбочки к кроватям, чтобы спальня приобрела какой-то жилой вид… В прихожей уже слышались знакомые шаги, а они все еще упрямо толкали к стене тяжелый трельяж.

Раполас Кунчинас отворил дверь и замер в проеме, насмешливым взглядом скользнув по спальне, которая стала неузнаваемой, оглядел разгоряченных тружениц.

— Опять? — в его вопросе прозвучал явный упрек.

Жена и дочь молчали. Волосы растрепаны, на

лбу испарина, глаза возбужденно блестят…

Ниёле оказалась смелее. Она шагнула к отцу, как бы загораживая собою мать, и выпалила:

— А мы всю квартиру обновили! Видишь, папа, какой уютный уголок получился?

— Да, да, конечно! — иронически согласился отец. — Сегодня необыкновенно, а через месяц начинай ту же песенку сначала? Попрошу немедленно вернуть все на прежние места! Из-за ваших перестановок ночью свою кровать не найдешь!

Говорил он твердо и категорично.

— Папа, ну, папочка… — ластясь, словно котенок, пыталась смягчить его дочь. Прижавшись к отцу и капризно надув губки, она умела многое выпросить у него, однако ломать установленный в доме порядок не дозволялось и ей.

— Ведь так красивее, Раполас, уютнее, — робко вставила Морта. Однако хватило одного сурового взгляда мужа, и она примирилась с очередным поражением. Когда Кунчинас взялся за край кровати, чтобы поставить ее на старое место, Морта, чуть помедлив, тоже ухватилась за нее.

Ниёле обиженно сопела у окна. Ее сердило, что мать так быстро сдалась, поэтому она демонстративно хлопнула дверью и скрылась в своей комнате.

Вскоре в жилище Кунчинасов все было по-прежнему, а сами хозяева утомленно сидели перед включенным телевизором. Дикторы, говорившие с ними с экрана, были для Кунчинасов просто спасением — им самим можно было молчать…

Программа не слишком интересная, председатель вскоре начал клевать носом, его красиво поседевшая голова свесилась на грудь, послышалось ровное посапывание. Морта взглянула на мужа и, словно проглотив что-то горькое, поморщилась. Ее всегда раздражала способность Раполаса внезапно засыпать. Казалось, никакие потрясения и переживания не влияют на его нервы.

Женщина поднялась с кресла и тихо выскользнула в кухню. Проснувшись, хозяин дома тут же потребует ужин. Второе, что поражало Кунчинене, — неизменно отличный аппетит мужа.

За ужин семья села в кухне, каждый на своем привычном месте: во главе стола — глава семьи, по правую руку — жена, по левую — дочь. Ели молча. Окорок и блинчики с яблочным повидлом были их любимыми блюдами, поэтому к концу ужина семейное настроение улучшилось. Выпив чашку ароматного чая, Раполас Кунчинас удовле-

творенно вздохнул и, взглянув на дочь, весело осведомился:

— Что это за молодой человек катал тебя нынче на мотоцикле?

Ниёле еще некоторое время собиралась дуться на отца по поводу инцидента с перестановкой, но его вопрос сразу же перечеркнул это намерение. Девушка покраснела. Таинственный мотоциклист катал ее только у мельничной плотины, где родительское око, казалось бы, не могло их настичь… Впрочем, раз уж знают, пожалуй, можно и рассказать. Пережитое ею приключение так и подмывало скорее все выложить.

— Ой, такая потеха вчера была, со смеху помереть можно! — с притворным возбуждением начала она, словно и правда едва сдерживая смех. — Возвращаюсь из школы, а тут ко мне подкатывает на мотоцикле какой-то парень в черной нейлоновой куртке с полосками на рукаве и заявляет: здравствуй, Ниёле, сестричка, постой, дай на тебя посмотреть!

После этих слов Ниёле на мгновение смолкла и сделала гримаску, которая должна была передать, какую неожиданность она испытала.

— Ну, говорю, только этого мне не хватало! Иду дальше, а он за мной едет медленно-медленно и

продолжает: я тебя, говорит, с самого рождения знаю, интересуюсь тобой, слежу за твоей жизнью… Мы с Линой принялись хохотать, а он: не смейтесь, я серьезно! Странно, откуда он знает, как меня зовут?

— Кто захочет, тот узнает, — бормотнул Кунчинас. Он не спускал глаз с лица дочери, на котором отражалось неподдельное волнение, и это почему-то сердило его. Ему не нравилось, что сквозь тонкую вуаль изображаемого Ниёле возмущения проглядывает удовольствие, что происшедшее льстит ей.

Кунчинас взглянул на жену, в ее глазах тоже отразилось беспокойство. Словно и мать, и отец внезапно услышали первые сигналы тревоги, донесшиеся до их выросшей уже дочери откуда-то издалека.

— А сегодня этот странный молодой человек уже и на мотоцикл тебя усадил? — с легким упреком спросил отец.

Ниёле сразу посерьезнела и принялась оправдываться:

— Хотите, говорит, научу водить мотоцикл? Мы с Линой в шутку согласились. Покатались немножко около плотины.

— А мне сказала, что уроки с Линой делала, —

вставила мать.

— Прости, мама, как-то неудобно было все тебе сразу рассказать… Сначала мы действительно уроки делали, а потом покатались. — Когда Ниёле произносила эти слова, в ее голосе сплелись в одну нить две интонации: сожаление о содеянном и упрек родителям. Посерьезневшее личико и надутые губки говорили о том, что она недовольна: следят за каждым ее шагом! Пора бы уж им наконец понять, что ей семнадцать!

Чтобы избежать новых вопросов, Ниёле встала из-за стола и принялась собирать тарелки.

— Помою, — коротко бросила она в ответ на вопросительный взгляд матери.

Собирая посуду и вытирая со стола, все время чувствовала на себе пристальные взгляды, которые сегодня особенно раздражали, сковывали движения, будто родители невидимой веревкой опутывали ее.

Закончив уборку, Ниёле остановилась у двери в свою комнату, обернулась к отцу и матери и, словно отвечая на их немой вопрос, сказала:

— Ведь не разбойник же он! Чего вы так всполошились?!

2

Подъезжая к центральной усадьбе колхоза, Раполас Кунчинас заметил, что за его машиной увязался какой-то мотоциклист. Синий полосатый шлем и закрывающие лоб и нос очки не позволяли рассмотреть его лицо, но черная нейлоновая куртка с двухцветной полоской на рукаве показалась председателю знакомой. По ней он признал в преследователе того самого молодого человека, который катал на мотоцикле их Ниёле. Охваченный беспокойным любопытством, Раполас несколько раз оглядывался — хотелось рассмотреть, кто скрывается под полосатым шлемом и широкими очками. Мотоциклист не пытался обогнать, специально тащился позади, изображая почетный эскорт.

Когда автомобиль председателя остановился возле колхозной конторы, Кунчинас заметил, что и мотоциклист свернул к обочине. Пока Раполас не спеша выбирался из машины на тротуар, парень успел не только соскочить с мотоцикла, но и снять шлем. Пригладив рукой черные кудри, он чуть не бегом бросился вслед за Кунчинасом, который уже поднимался по ступенькам конторы.

— Прошу прощения, товарищ председатель, нельзя ли на минутку задержать вас? — догнал Кунчинаса звонкий и уверенный молодой голос.

Председатель остановился, обернулся. С любопытством оглядел парня, будто вопрошая: кто таков? Маленький короткий нос, нагловатые карие глаза, ямочка на подбородке, высокий, опрятно одетый, парень как парень, сколько таких гоняет на мотоциклах…

— В чем дело? — не скрывая неудовольствия, спросил Кунчинас.

Парень подошел ближе и объяснил:

— Надо поговорить с вами. Но желательно не в конторе, а, так сказать, на природе — в скверике, на чистом воздухе.

Председателю его слова показались вызывающими. Ишь ты, начальство нашлось! В конторе ему, видите ли, не с руки… Ох, эта современная молодежь! Никакого воспитания… Однако Кунчинас подавил в себе раздражение, так как почувствовал, что разговор пойдет не о служебных делах. Неужели так с ходу попросит руки Ниёле, подумал он.

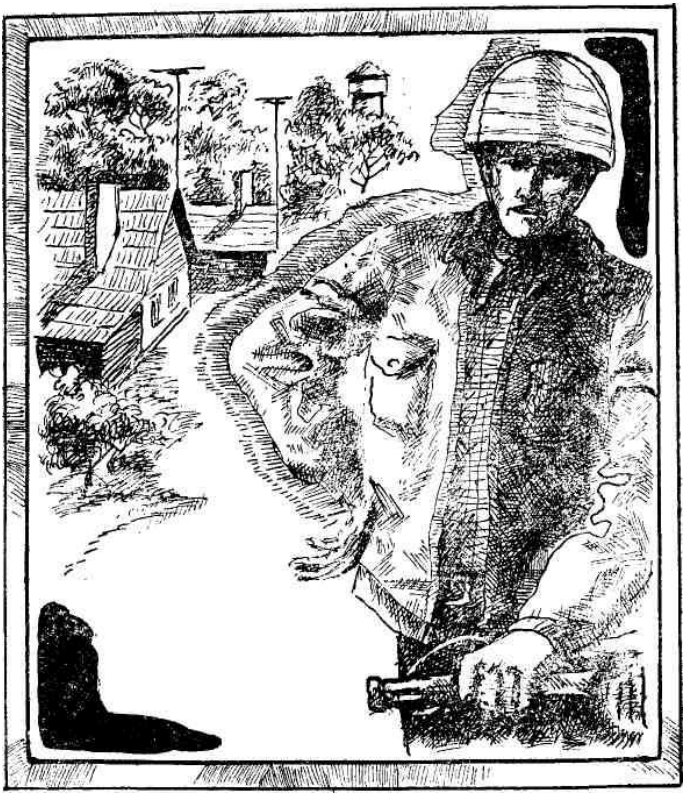
— Что ж, можно и в скверике. Только у меня, молодой человек, для долгих бесед времени нету.

Кунчинас спустился с крыльца и первым свер-

нул в уютный скверик, разбитый перед фасадом конторы. Сев на широкую скамейку напротив по-осеннему пестрой клумбы, удобно откинулся на спинку, положил ногу на ногу. С высоты своего председательского поста он покровительственно глянул на мотоциклиста, который на миг заколебался, как поступить: сесть рядом или остаться стоять. Мысленно Кунчинас решил, что в зятья ему этот парень не подойдет.

— Я уже давно слежу за вашей процветающей семьей, за вашей благополучной жизнью и, признаться, завидую, — начал парень, усаживаясь рядом.

Председатель искоса глянул на незнакомца. Он был удивлен — начало разговора несколько неожиданное.



— Что же дальше? — иронически поощрил он.

— Наблюдаю за вашей семейной идиллией и завидую сестричке Ниёле, ей здорово повезло. К

сожалению, моя жизнь не была усеяна розами.

Кунчинас вздрогнул и судорожно вцепился в край скамейки, словно боясь упасть с нее. Глаза из-под пышных седых бровей гневно сверкнули.

— Что ты несешь, молодой человек? — выдавил он после небольшой паузы. — Уж не пьян ли? Попрошу ближе к делу. Выслушивать всякий бред у меня нет ни времени, ни охоты.

— Терпение, товарищ Кунчинас, терпение! Сейчас все изложу по порядку. — В голосе мотоциклиста неожиданно зазвучала властность. — Ниёле, которой вы так гордитесь, на которую нарадоваться не можете, вам не родная!.. В пятьдесят седьмом вы взяли ее в Рудясе из детского дома. Так? Тогда ей было всего годик. А вам сообщили, что Ниёле не совсем одинока, что у нее есть брат? Понятное дело, я тогда был немногим старше и о сестре не беспокоился. Теперь дело другое.

Пальцы председателя, сжимающие край скамейки, заметно побледнели, лицо залила краска.

— Ты что-то путаешь, парень! Или занимаешься шантажом! — отрезал он, повысив голос. — Моя дочь не имеет никакого отношения к детскому дому, и брата у нее, к сожалению, нет. А если у тебя к ней претензии другого рода, совсем не родственные, то ваше дело, и я тут ни при чем.

Словно не замечая тона председателя, мотоциклист спокойно гнул свое:

— Возможно, Ниёле не помнит про Рудясу, но вы-то должны помнить? Там вы подписали соответствующий документ, наличие которого подтвердил тогдашний директор детского дома Пранас Левицкас. Успокойтесь, Ниёле интересует меня исключительно как сестра. Должен же быть у меня на свете хоть один близкий человек!

Это заявление несколько остудило Кунчинаса, но он не собирался сдаваться.

— Нелепость! Нелепость! — И он решительно, всем корпусом повернулся к собеседнику. — С чего это тебе пришло в голову, что Ниёле тебе сестра? Может, чего доброго, станешь утверждать, что и я твой отец?! Нет, молодой человек, ступай-ка своей дорогой и не порти своими выдумками настроение другим людям. А нет, могу немедленно позвонить в милицию, и схлопочешь для начала пятнадцать суток!

— Ого! — протянул парень и, встав со скамьи, принялся расхаживать вдоль цветника перед сидящим Кунчинасом. — Не думал я, что опекун моей сестренки так суров. Я приехал сюда не шантажировать, а искать сестру. Никто не запретит мне делать это! Думаете, я руководствуюсь

слухами? Нет. Я точно знаю, что весной пятьдесят седьмого, сразу же после майских праздников, вы увезли из Рудясы маленькую светловолосую девочку. Она больше всех других понравилась вам и вашей жене. Да. И вы еще спросили о родителях: мол, не пьяницы ли? Нет, они были порядочными людьми. Директор Левицкас вас не обманул. Только, конечно, зря умолчал о маленьком одиноком брате Ниёле!

— Какая подлость! — процедил сквозь стиснутые зубы седовласый председатель колхоза. Ударил кулаком по скамье. — Подлость! Ведь это же преступление! Я на этого Левицкаса в суд подам!

— Суд не потребуется! — спокойно возразил парень, остановившись напротив него. В его руке покачивался полосатый шлем. — Левицкас уже получил свое. Старался разбогатеть за счет невинных младенцев. Довелось и мне поспать вместе с ним на жестких нарах. Тогда-то и обнаружились эти волнующие обстоятельства. Выходя на свободу, я решил отыскать сестру и впредь жить в мире с законами.

— Подлецы, подлецы… — стонал Кунчинас. — Таким не только себя не жалко, они и чужую жизнь стремятся искалечить!

— Неправда, товарищ председатель, — перебил мотоциклист. — Вы большой эгоист, только о себе думаете. А как жить мне, если у меня никого — ни родителей, ни влиятельных опекунов? Печальная участь сироты. Могу я иметь хотя бы сестру? Разве это преступление?

Кунчинас вскинул седую голову. В его глазах можно было увидеть теперь не только гнев, но и боль.

— Ты совершишь преступление по отношению к Ниёле, — дрогнувшим голосом сказал он. — Искалечишь ее жизнь! У девочки есть семья, она любит отца с матерью, и мы любим ее. Мы дадим ей образование, ничего не пожалеем. А ты хочешь второй раз отнять у нее родителей! Хочешь жестоко обидеть, как ты говоришь, родную сестру.

— Не собираюсь я ее обижать! Мне важно только, чтобы она знала правду, чтобы не была одинока в мире, обрела родного брата!

— Она не одинока, — возразил председатель, — А такому братцу, в которого я, кстати, нисколько не верю, она едва ли обрадуется!

— Кровное родство крепче любых других связей, — с пафосом изрек мотоциклист.

— Глупости ты болтаешь, молодой человек! —

возразил Кунчинас.

Ему не хотелось больше спорить с этим незнакомым парнем, но вместе с тем следовало сказать еще кое-что очень весомое, убедительное. Он поднял голову и, глядя прямо в прищуренные нагловатые глаза мотоциклиста, произнес:

— Если желаешь добра Ниёле, повремени еще немного со своими разоблачениями. Дай ей спокойно окончить школу. Такое поведение я бы понял, и мы с женой могли бы как-то отблагодарить тебя. Поэтому советую не торопиться и подумать.

На лице парня промелькнул интерес. Расширившиеся глаза с любопытством осмотрели Кунчинаса. Казалось, его не очень удивил намек председателя. Помолчав минуту, мотоциклист ответил:

— Ладно. Пока ничего не обещаю, но подумаю. На сей раз хватит. Всего хорошего!

Он повернулся и, помахивая своим шлемом, отправился вдоль цветника к мотоциклу.

Кунчинас внимательно проводил его глазами, все еще не желая верить тому страшному, что заключалось в словах мотоциклиста. От тяжелых мыслей Кунчинас очнулся лишь тогда, когда его окликнули в открытое окно конторы:

— Товарищ председатель, к телефону!

Тяжело шагая, будто сразу постарев на несколько лет, поплелся он в правление. Возможность потерять дочь, которую он по-настоящему любил, мучительно придавила его, заслонила все остальные заботы. Шестнадцать лет назад взяли они в свою семью маленькую симпатичную девчушку. За эти годы, день за днем наблюдая ее, охраняя каждый ее шаг, радуясь первому произнесенному ею слову, первой написанной букве, Кунчинас принял девочку в свое сердце. Ушла в прошлое и, можно сказать, забылась история с детским домом в Рудясе. Забылась еще и потому, что была строжайшей тайной от всех окружающих. О ней даже поминать запрещалось.

Какую же бурю вызвал в душе отца парень в нейлоновой куртке, представившийся братом Ниёле и заявивший права на его дочь! Кунчинас ему не поверил, но найти аргументы для опровержения лжи не мог, и это еще больше бесило его. Когда он поднимался по ступеням крыльца правления, кулаки его были сжаты, он готов был сражаться со всем миром.

3

Домой в тот вечер Раполас Кунчинас вернулся в отвратительном настроении. Его самого удивляло, что неожиданное появление этого братца могло так сильно подействовать на него. Вот, оказывается, как глубоко вошла приемная дочь в его жизнь, в самую душу. И еще со страхом думал он о жене: если эта новость огорошила его, то как примет ее Морта? Ведь она такая ранимая, плачет из-за всякой чепухи. Ниёле для нее не только дочь, но и подруга, мать привыкла делиться с ней всякими своими делами и секретами. Женщинам всегда легче найти общий язык. Впрочем, Кунчинас не мог жаловаться — дочь и его любила, своим нежным прикосновением или детской шалостью умела согреть сердце. И, хотя они с женой никогда не обсуждали этого вопроса, оба были счастливы, что им так повезло: девочка росла красивая, толковая, расположенная к людям. Ясно, что без нее шестнадцать пробежавших лет были бы куда более пустыми. Неужели теперь всему этому суждено рухнуть? Неужели нет никакой возможности устранить грозную опасность? Кунчинас вышагивал по гостиной и ломал себе

голову в поисках спасительного выхода. Подумал и о милиции: не объяснят ли там, кто он, этот братец, примчавшийся в их поселок на красном мотоцикле?! Объяснить-то, конечно, объяснят, но рот ему не заткнут. А услышит Ниёле, и этого будет достаточно. Ведь подчас человеческую судьбу можно поломать единым словом. Главное теперь — поговорить с женой, подготовить ее к неожиданностям.

Словно предчувствуя что-то, Кунчинене сама вышла в гостиную, села на диван с вязаньем в руках и, взглянув на мужа, спросила:

— Чем это ты озабочен?

Кунчинас, не отвечая, продолжал ходить из угла в угол. По тяжелым шагам и нахмуренному лбу жена явно ощущала, его что-то гнетет. За долгую совместную жизнь она научилась угадывать причину дурного настроения мужа. Если случалось ему поцапаться с районным начальством, то не метался по комнате, сидел, уставившись в окно, и барабанил пальцами по столу. Если приключалась неприятность в колхозе, то дома председателя начинала мучить жажда: он беспрерывно появлялся в кухне, стакан за стаканом глушил холодную воду из-под крана. Но нынче вел себя необычно. Жена отложила вязанье и с

беспокойством смотрела на него.

Кунчинас неожиданно свернул к дивану, сел рядом с Мортой и обнял ее плечи. Он никогда не был особенно ласков, поэтому такой жест тоже вызвал недоумение.

— Приходил сегодня ко мне один человек. Претендует на нашу Ниёле, — процедил наконец Кунчинас.

— Что? Влюбился? — живо отозвалась жена, потому что теперь только такие притязания на дочь казались ей естественными.

— Если бы… Понимаешь, представился братом. Говорит, был с ней в детском доме в Рудясе.

От неожиданности у женщины вытянулось лицо. Она не сводила с мужа глаз, в которых застыл ужас. Только через какое-то время смогла наконец выговорить:

— Какой еще брат? Ведь не было никакого брата?!

— Это мы так считали, а парень утверждает другое, — ответил Кунчинас, все еще сжимая рукой плечи жены.

— Уж не этот ли мотоциклист? — вскинула голову Морта, озаренная внезапной догадкой.

— Он самый. Уже третий день крутится в поселке.

— Как увидела я его с Ниёле, сразу мне недоброе почудилось, — прошептала Кунчинене и уронила на колени дрожащие руки.

С минуту муж и жена сидели молча. В комнате густели сумерки. Было слышно, как по улице процокали копыта и весело прогромыхала телега. Потом прошумел автомобиль.

Кунчинас покосился на жену и увидел, что в ее глазах уже блестят слезы. Его всегда бесила способность Морты по всякому поводу, а то и без него лить слезы. Он даже не скупился на резкое словцо, замечая, что она вот-вот разревется. Однако на этот раз лишь крепче прижал ее к себе и ничего не сказал. У него и самого сжималось сердце.

Между тем открылась наружная дверь. Кунчинас, словно испугавшись, быстро снял руку с плеча жены, легонько подтолкнул ее и распорядился:

— Ступай в спальню и не показывайся Ниёле заплаканной.

Она послушно выскользнула из гостиной.

Кунчинас включил телевизор, пересел в кресло. Было слышно, как Ниёле скинула в прихожей туфли, переобулась в домашние тапочки. В гостиную она ворвалась весело и шумно, со стопкой

книг под мышкой. Подскочила к отцу, чмокнула его в щеку и, мурлыча песенку, отправилась было к себе.

— Где пропадала? — не сводя глаз с экрана, спокойно осведомился отец.

— У Лины. Уроки делали, — беззаботно ответила дочь, задержавшись у двери.

— А дома не можешь делать?

— Могу, но вдвоем веселее! — И Ниёле нырнула в свою комнату.

Тонущая в полумраке гостиная на время замерла. Беззвучно сменялись кадры на экране телевизора. Кунчинас смотрел на них, но ничего не видел. Он слышал, как через какое-то время Ниёле протопала в кухню, что-то поискала в шкафу, потом, видимо, сунула голову в спальню родителей. Несколько мгновений было тихо. Оп чувствовал, что дочь шепчется с матерью, поэтому сидел, охваченный нервным напряжением, как будто сам принимал участие в этом трудном разговоре. Когда в коридоре снова зашелестели шаги Ниёле, Кунчинас поудобнее устроился в кресле и с нетерпением стал ждать, что она будет теперь делать. Решительно и сердито вошла дочь в гостиную и мигом очутилась перед ним.

— Папа, почему мама плачет? — спросила то-

ном прокурора.

Отец только голову повернул к ней.

— Мы не ссорились.

Этот короткий ответ, по всей видимости, не удовлетворил Ниёле, после паузы она строго глянула на отца и очень серьезно заявила:

— Что-то ты часто огорчаешь маму! Привык у себя в правлении покрикивать на людей и дома себе такое же разрешаешь. Это недопустимо!

Упреки дочери наконец расшевелили Кунчинаса. Он встал, взял ее за плечи и внушительно произнес:

— Я же тебе сказал, что мы с мамой не ссорились. А прослезиться она может из-за совершеннейшего пустяка. Разве не знаешь? Услышала печальную песенку, прочла слащавое стихотвореньице — и уже глаза на мокром месте. У нее слезы близко. Ступай-ка, доченька, к себе и займись делом.

— Не могу я, когда мама плачет.

— Она уже успокоилась. Мама у нас, как весенний денек, переменчива: то дождик, то снова солнышко светит. Иди, доченька, к своим книгам. — Отец даже развернул ее в сторону двери.

Однако Ниёле пошла обратно в спальню. Села рядом с матерью, обняла, прильнула головой

к ее плечу. Так она делала всегда, когда хотела приласкаться, что-нибудь выпросить у Морты или утешить ее.

Кунчинене поспешно вытерла слезы и постаралась улыбнуться, хотя это не особенно удалось ей.

— Не обращай ты на меня внимания, дочурка, — хрипловато сказала она, все еще не в силах взять себя в руки. — Ничего со мной не случилось. Просто настроение такое накатило, что-то из давних времен вспомнилось… Женское сердце легко тронуть. Ты еще молодая, поживешь с мое, поймешь.

Ниёле смотрела на мать, слушала, но почему-то не могла поверить ее словам. Интуиция нашептывала ей, что на этот раз слезы вызваны куда более серьезными обстоятельствами, чем обычно. Поэтому она снова пристально вглядывалась в тревожные, полные слез глаза матери и старалась разгадать ее тайну.

— Мамочка, я хочу знать, что ты вспомнила, — шептала она, ластясь к ней. — Про какое-то тяжелое событие в твоей жизни? Ну, расскажи мне!

Кунчинене отрицательно замотала головой. Она нашла в себе силы и сдержала слезы, сказала

спокойно и твердо:

— Ничего, доченька, ничего. Все это мелочи. Видишь, уже улыбаюсь. Ты села рядом — и мне снова хорошо.

Ниёле не желала мириться с тем, что так ничего и не узнает. Некоторое время она еще вертелась около матери, надеясь усыпить ее бдительность и выведать тайну. Наконец, ничего не добившись и слегка этим рассерженная, Ниёле отправилась к себе.

4

Раполас Кунчинас уходил на работу первым, еще до восьми, через полчаса в школу убегала Ниёле, и дома оставалась одна Морта Кунчинене.

Этим утром, как никогда прежде, она жалела, что больше не преподает в школе — некуда ей уйти, чтобы забыться, и нечем перебить тревожные думы о грозной опасности, которая нависла над их семьей. Принялась было за уборку, но пальцы не слушались, все валилось из рук, и Морта ловила себя на том, что двигается механически, не соображая, что делает. Ее словно какая-то таинственная сила тянула к окну — посмотреть на улицу. Вздрагивала, если доносился треск мотоцикла. Теперь ей казалось, что все беды в их округе носятся на таких вот ревущих машинах. Вспомнился сын учителя Ляудентаса, погибший под колесами мотоцикла; потом картина, увиденная как-то в дороге: в их машину внесли тяжело раненного парня, на обочине остался лежать его смятый красный мотоцикл.

В полдень Кунчинене отправилась в магазин. Покупать ей, в общем-то, ничего особенно и не надо было, хотелось рассеяться, хоть часок поду-

мать о чем-то другом.

Продавщица, по обыкновению, чрезвычайно внимательная, предложила свежекопченую салаку, которую любил председатель, к салаке пришлось добавить пару бутылок пива. Сумка сразу потяжелела, оттягивала руку, когда Кунчинене шагала домой. Привычный шум рабочего дня, детский визг, скрип колодезного вала, лязг ведра, обрывок фразы, донесшийся из открытых сеней, порыв ветра, взметенный проехавшей машиной, — все понемногу привлекало к себе ее внимание и на короткое время заглушало давившую сердце тревогу. Когда Кунчинене миновала самое красивое место поселка — небольшую площадь и зеленый скверик напротив Дома культуры и колхозной конторы, — к ней тихонечко, словно подкравшись, подкатил мотоцикл.

— Я вижу, у вас тяжелая ноша, может, разрешите помочь? — послышался звонкий молодой голос.

Морта вздрогнула, инстинктивно спрятала сумку за спину.

— Спасибо, мне недалеко. — Она испуганно уставилась на мотоциклиста. Лицо, скрытое под полосатым шлемом и широкими очками, казалось мертвой маской.

Парень прислонил мотоцикл к липе и, не обращая внимания на возражения, перехватил ручку сумки. Несколько шагов они шли бок о бок, крепко держась за сумку, будто старались перетянуть ее друг у друга. Кунчинене была совершенно огорошена, не могла и слова вымолвить, поэтому первым снова заговорил незнакомец.

— Наверно, муж уже рассказал вам обо мне? Мы в некотором роде родственники, я брат Ниёле. Жаль, что мы до сих пор не успели еще познакомиться.

— Да, муж говорил, — едва переведя дух, пробормотала Кунчинене.

— Я давненько присматриваюсь к вашей семье и радуюсь, что моей сестренке достались такие замечательные опекуны, — болтал парень, шагая в ногу с женщиной.

— Мы не опекуны, а родители, — возразила Морта. Она постепенно приходила в себя и напрягала силы, чтобы сопротивляться и защищаться.

— Хорошо, пусть родители, если так вам больше нравится, — согласился он. — Существа дела это не меняет. Только следует решить один вопрос: как в этой ситуации должен вести себя одинокий братишка Ниёле? Долго ли еще ему таинственно слоняться вокруг и со стороны любоваться своей

дорогой сестрицей? Как вам кажется?

Взволнованная Кунчинене остановилась и схватила парня за руку, словно желая удержать его от следующего шага.

— Не разрушайте жизнь Ниёле, — горячо попросила она, глядя прямо в колючие карие глаза, которые уже не скрывали очки. — Она счастлива, мы ее очень любим. Умоляю вас, не говорите ей ничего!

— О том же самом толковал мне и товарищ Кунчинас, — холодно ответил мотоциклист и продолжал: — Но я вынужден подумать и о себе. Поэтому полагаю, что за согласие пожертвовать собой должен получить определенную компенсацию, скажем, две тысячи рубликов. А? Получаю из рук в руки и испаряюсь, даже не простившись с дорогой сестрицей.

Кунчинене шатнуло, словно кто-то ударил ее под коленки. Предложение было наглым, но одновременно в нем сверкнула искорка надежды. Как утопающий, она была готова ухватиться за соломинку, лишь бы все осталось, как прежде. За шестнадцать лет стерлись границы, которые отделяли от нее приемную дочь. Для Ниёле она ничего не пожалеет.

— Конечно, мы постараемся отблагодарить

вас. — Женщина произнесла это негромко, опасливо оглядевшись по сторонам, будто боялась, что услышат посторонние. — Я передам мужу. Думаю, мы договоримся.

— Долго ждать я не могу, — решительно заявил парень. — Завтра утром навещу товарища Кунчинаса. Пусть подготовится.

Больше Кунчинене ему была не нужна. Парень отпустил ручку тяжелой сумки и заспешил назад, к оставленному мотоциклу.

5

О встрече с мотоциклистом и его предложении Кунчинене рассказала мужу за обедом. Тот взбеленился, грохнул кулаком по столу, разразился угрозами, обругал «братца» шантажистом. Выплеснув подобным образом первый приступ гнева, он несколько поостыл и принялся обдумывать, как все-таки следует поступить.

— Денег-то не жалко, но не позволяет совесть ссужать ими бездельника, — цедил он, почему-то все сильнее сердясь на жену, будто она была виновницей всего происходящего.

Морта же именно в этих деньгах видела возможность спасения, поэтому она всячески успокаивала мужа, лишь бы не заупрямился, принял условия мотоциклиста. Их разговор оборвала вернувшаяся из школы Ниёле. Еще на ступеньках крыльца услышала она, что родители из-за чего-то спорят в гостиной, а когда вошла туда, они замолчали. И глаза отводили, словно тайком оговаривали ее. Поднявшись из-за стола, отец заявил, мол, у него дела в районе, и осведомился, не надо ли чего привезти из города. Мать выскочила в кухню — проверить, чего не хватает

в холодильнике и шкафах. Вернувшись, развела руками: вроде бы все есть, ничего не надо.

Оставшись наедине с дочерью, Кунчинене как-то слишком услужливо, подобострастно подала ей обед. И фразы какие-то неестественные, а то и совсем бессвязные бормотала. Было ясно, что ее гнетут тяжелые мысли. Ниёле сразу заметила это, но никак не могла сообразить, что случилось. Слезы, которые тайком смахивала мать, озабоченность и хмурая неразговорчивость отца, их растерянность при ее появлении… Не иначе, что-то скрывают. Но что? Прежде ничего подобного за ними не водилось. Рой догадок носился в голове Ниёле. Может, поссорились? Может, что-то в колхозе стряслось или начальство за какой-нибудь промах к отцу вяжется? Серьезные и наивные предположения так и оставались без ответа. Даже о посторонней женщине, которая стала соблазнять отца, подумала. Но ни разу не пришла Ниёле в голову мысль, что озабочены родители из-за нее и странного заезжего мотоциклиста. Парень, неизвестно откуда появлявшийся в поселке после обеда или ближе к вечеру, вызывал ее любопытство, но не более. Приятно щекотало самолюбие внимание к ее особе, однако его странные рассуждения и нагловатая смелость

настораживали. Гинтас — так звали парня — не похож на мальчишек из их класса. Его поведение было таинственным. У Ниёле это вызывало страх, но одновременно будило любопытство. Маленьким приключением можно было похвастаться перед подружками, но родителей оно еще не должно было интересовать. Ниёле виделась с Гинтасом только три раза: после первой встречи и катания у запруды он явился на школьный вечер, где выступал кружок бальных танцев, а через день они снова помчались на мотоцикле к мосту и оттуда со смехом швыряли камушки в речку. Когда возвращались в поселок, Ниёле попросила остановить мотоцикл подальше от своего дома, чтобы не увидели родители. Перед тем как проститься, Гинтас задержал ее и завистливо, с горечью проговорил:

— А папаша твой устроился здесь, как помещик в старину. По-царски живет. Тысячами гектаров земли ворочает… Надо будет с ним потолковать.



— У нас все неплохо живут. Может, и ты не прочь в нашем колхозе поработать? Под отцовским началом? — спросила Ниёле.

— Спасибо. У меня к нему личное дело, — бро-

сил Гинтас, уже оседлав мотоцикл.

Теперь, когда дома установилась атмосфера недосказанности и нервозности, Ниёле вдруг вспомнились эти слова. «Какое дело могло быть у Гинтаса к отцу? — терялась она в догадках. — Может, он заезжал в контору, и потому отец так раздражен?»

Тем временем Раполас Кунчинас посетил в райцентре несколько учреждений, а под конец завернул в сберкассу. Сунул в портфель две увесистые пачечки банкнот.

На следующее утро, помахивая своим потертым желтым кожаным портфелем, председатель шагал на работу пешком. Из-за того, что нес деньги, чувствовал себя как-то неловко и униженно. Он никому не привык уступать, твердой, жесткой волей всегда стремился добиться того, чтобы был его верх. А теперь вот послушно выполнял требование невесть откуда явившегося мальчишки. Ему даже казалось, что встречавшиеся колхозники знают об этом, удивляются, а то и посмеиваются за спиной.

Не успел Кунчинас, расположившись в своем кабинете, пробежать глазами разложенные на столе бумаги, как открылась дверь и вошел давешний мотоциклист. Коротко и небрежно

поприветствовав хозяина, он свободно, словно гуляючи, прошелся по кабинету и без приглашения плюхнулся на стул. Потом нагловато уставился на Кунчинаса и, ухмыльнувшись, заговорщицки подмигнул. Председатель в смятении и раздражении отвел глаза. Не однажды приходилось ему иметь дело с наглецами, но этот был не только нагл, но и язвителен.

— Так что скажете? — нарушил наконец затянувшуюся паузу Кунчинас.

— Знаете, товарищ председатель, я ведь эту ночь провел без сна, — непринужденно, будто заглянул к доброму знакомому, начал парень.

Заинтересованный таким вступлением, Кунчинас вновь посмотрел на посетителя.

— Как ни странно, меня мучила совесть, кошки на сердце скребли, — продолжал мотоциклист. — Ведь, выходит, продаю я вам свою сестренку! И, скажу, дешево продаю! Промучился всю ночь и решил: без трех тысяч от вас ни ногой! Для вас это пустяк, а для меня твердая подпора для строительства новой жизни.

Председатель откинулся на спинку кресла, положил на стол руки. Постепенно пальцы сжались в кулаки.

— Значит, цена поднимается? Уже три тысячи.

А где гарантия, что через день ты не накинешь еще? — сдерживаясь, но уже с хрипотцой гнева в голосе спросил Кунчинас.

— Уверяю вас, это мое твердое последнее слово. Больше никаких претензий! — с достоинством отвел его подозрения мотоциклист.

— Хватит! — Кулак поднялся и опустился на стол. — Я тебе и ломаного гроша не дам! Это же элементарный шантаж. «Дорогая сестрица» интересует тебя не больше, чем меня оборотная сторона луны. Убирайся подобру-поздорову, а то позабочусь, чтобы твоей личностью заинтересовались соответствующие организации!

— Зачем горячиться? — пытался успокоить его собеседник, но весь его апломб внезапно исчез. — Разве нельзя по-человечески поговорить? Ведь и с моей стороны могут быть уступки.

Кунчинас встал из-за стола, и в его голосе зазвучал металл:

— Торговаться я с тобой не буду! Слишком дорога мне Ниёле, чтобы я стал торговать ею! Убирайся прочь, наглец, не на того напал!

Мотоциклист нехотя и как-то неуклюже поднялся со стула.

— Ну ладно, — проговорил он, словно делая большое одолжение. — Пусть остаются те две

тысячи!

— Не выгорит у тебя! — процедил Кунчинас, сверля парня налитыми яростью глазами. — Теперь я раскусил, что ты за птица! Мелкий шантажист! Пошел прочь! Чтобы духу твоего здесь не было!

Парень спиной отступил к дверям. Движения стали быстрыми и нервными.

— Смотри, Кунчинас, пожалеешь! — выкрикнул он, злобно скривив в улыбке тонкие губы, сверкнуло два ряда белых крепких зубов. — Лопнет твоя семейная идиллия, как мыльный пузырь! А милицией ты меня не пугай, законы я не хуже тебя знаю!

Парень в ярости пнул дверь кабинета, а потом так хлопнул ею, что задребезжали стекла.

На улице взвыл мотор мотоцикла. С бешеным ревом пронесся он по поселку.

Стоя у окна, с тревогой и страхом проводила его глазами Морта Кунчинене.

6

Начались напряженные дни ожидания. Кунчинасы чувствовали себя так, будто в любой момент над их головами мог обрушиться потолок и придавить их. Работа валилась из рук, мысли все время вертелись вокруг одного и того же. Если председатель временами мог еще отвлечься, занятый всевозможными колхозными делами, то жена его была обречена на постоянные муки. С тревогой встречала она дочь, возвращавшуюся из школы или от подруг, пристально всматривалась в ее лицо. Если Ниёле узнает тайну своего рождения, все выдадут ее глаза, ее интонация. Скрыть она не сможет. Но дочь, как нарочно, возвращалась домой в отличном настроении, веселая, беззаботно болтала о школьных новостях, о том, с каким удовольствием занимается бальными танцами, короче говоря, о самых разных своих девчачьих делах. Иногда, правда, она вдруг замолкала, заметив, что мать почти не слышит ее слов, мучительно думает о чем-то своем.

Между тем мотоциклист, видимо, нарочно некоторое время испытывал терпение Кунчинасов, играл у них на нервах. Он демонстративно

появлялся в поселке на своем красном мотоцикле, ошивался возле правления колхоза или сидел у окна в чайной. Несколько раз видели его гуляющим с Ниёле возле запруды.

Дней через пять, воротясь с работы, председатель застал жену и дочь заплаканными. Глянув им в глаза, он понял, что все, чего они с женой опасались, случилось. Его опахнуло жаром. Кунчинас сделал несколько шагов и чуть не упал, когда дочь бросилась ему на шею.

— Это правда, папа? — задыхаясь от волнения, шептала прямо ему в лицо Ниёле. — Правда, что я из детского дома?

Отец мягко отвел ее руки и попросил:

— Во-первых, сядь и успокойся.

Она подчинилась его твердому, требовательному голосу. Как тень, подплыла к дивану и села. В лице ни кровинки, мокрый красивый носик вздрагивал, конвульсивно втягивая воздух.

Кунчинас устроился перед нею в кресле. Подался вперед всем телом и осторожно, словно они из очень хрупкого материала, взял тонкие руки дочери.

— Разве мы были тебе плохими родителями, Ниёле?

— Вы самые лучшие, какие только могут

быть! — пылко воскликнула девушка. Она сжала руки Кунчинаса, ее заплаканные глаза перебегали с отца на мать и обратно, тело била крупная дрожь.

— Мы обо всем этом сами бы тебе рассказали. Ждали, когда вырастешь, школу кончишь, — спокойно объяснил Кунчинас. — Не хотели травмировать. А про брата нам никто не говорил. Непонятно, откуда он взялся.

— Он очень несчастен, — поспешила вставить Ниёле, опасаясь, как бы отец не сказал о Гинтасе чего-нибудь плохого.

— Мне кажется, этот юноша прошел не особенно хорошую школу жизни.

— Он очень несчастен, — снова горячо повторила Ниёле. — Потому что очень одинок. Но он добрый.

— Не знаю, не знаю… — пробормотал Кунчинас, не желая причинять дочери боль резким словом.

— Мы с Гинтасом поедем на могилу матери, — решительно заявила Ниёле, откидываясь на спинку дивана.

— Он что, знает, где ее могила? — удивился Кунчинас.

— Знает, — подтвердила дочь и через мгновение, словно усомнившись, повторила: — Говорит,

что знает…

Морта Кунчинене стояла возле печки, выложенной коричневыми изразцами. Она была так потрясена, что не могла вымолвить ни слова. Когда появился муж, она с надеждой и мольбой уставилась на него: может быть, с помощью своей железной логики Раполас сумеет успокоить дочь, доказать ей, что никакого брата не было? Однако этого не случилось. И женщина, совсем пав духом, уже безучастно слушала их разговор. Только когда Ниёле упомянула о могиле матери, Кунчинене затрепетала, словно дочь заговорила о ней. Ее пронзила отчетливая и нечеловечески мучительная мысль: сегодня Ниёле похоронила и ее — свою вторую мать. Как бы там ни было, но девочка не сможет теперь прильнуть к ее груди с таким же бесконечным доверием и преданностью, как прежде. Рушилось сложное здание материнских чувств, которые постепенно и последовательно зрели в ее сердце все эти шестнадцать лет. Поэтому из груди Морты вырвался такой мучительный вздох, что дочь и муж с испугом обернулись к ней. Ниёле подбежала к матери и крепко-крепко обняла ее. На какой-то момент обеим показалось, что ничего страшного не произошло, все и впредь останется, как было.

Но так им казалось лишь несколько секунд. Нити прежних чувств были безжалостно разорваны, и, если по их обрывкам еще струилось тепло, оно уже не могло возбудить безграничной любви, которая связывала их до злополучного сообщения мотоциклиста. Кунчинене, как старшая и более опытная, поняла это ясно, а Ниёле лишь неосознанно ощутила внезапно происшедшую в ее чувствах перемену, но не могла в нее поверить. Девушка еще пыталась сопротивляться и бороться с хлынувшим в сердце холодом. Словно убеждая себя и других, она горячо шептала:

— Ничего не случилось, я была и остаюсь вашей дочерью. Только я хочу все знать! Хочу знать, кем была моя настоящая мать и где ее могила.

Кунчинене ничего не отвечала, гладила дрожащие плечи девушки и кусала губы, сдерживая слезы.

7

Следующий день был воскресным. Ниёле поднялась рано и тут же стала собираться в дорогу. Надела свой любимый джинсовый костюмчик и сразу после завтрака, перебросив через плечо дорожную сумочку, направилась к дверям. Необыкновенно серьезным и сосредоточенным было ее побледневшее лицо. И, хотя вчерашнее напряжение уже слегка ослабло, Ниёле старалась снова вызвать его в себе. Девушку пьянила драматическая таинственность ситуации. Ей даже нравилось, что родители с опаской и уважением следят за каждым ее словом и действием, не решаясь что-нибудь возразить. Уже открыв дверь, она остановилась и обернулась к матери.

— Вернусь вечером, а может, и завтра. — Она явно давала понять, что никаких запретов не потерпит.

— Не простудись, захвати синюю куртку, — посоветовала Кунчинене. Дочь только махнула рукой и выскользнула на улицу.

Гинтас обещал ждать у запруды, но, когда Ниёле пришла туда, его еще не было. Битых полчаса топталась она на берегу, сердилась, негодовала,

пока наконец не затарахтел красный мотоцикл.

И вот они уже неслись по шоссе, ветер свистел в ушах, бледное, уставшее за лето солнце било прямо в глаза. Ниёле прижималась к обтянутой нейлоновой курткой спине Гинтаса, пряталась за ней от ветра и твердо верила в этот час, что, начав новую жизнь, всегда сможет укрыться за надежной спиной брата. Девушка даже не спрашивала, куда мчит их бешеный мотоцикл, — Гинтас знает, и этого достаточно. Миновали один городок, потом другой, шоссе кончилось, с полчаса тряслись по пыльному большаку и наконец очутились в каком-то селе, деревянные избы которого рассыпались по плоскому берегу реки. Сбавив скорость, Гинтас свернул на узкую извилистую дорожку. Подпрыгивая на ухабах, они взобрались на невысокий холм и остановились возле покосившихся деревянных ворот обнесенного каменной оградой кладбища. Ноги затекли. Ниёле с трудом сползла с мотоцикла. Прежде всего оглядела сосны и березы, которые высились за оградой.

— Тут? — коротко бросила она, обернувшись к Гинтасу, отстегивавшему шлем.

Он кивнул.

— А как фамилия нашей мамы? — И удиви-

лась, что этот вопрос только теперь пришел ей в голову.

Гинтас ответил не сразу. Он что-то подкручивал в мотоцикле и лишь через минуту буркнул:

— Юркунене.

— А имя?

— Кажется, Стефания или София, — и, непонятно почему рассердившись, добавил: — Думаешь, я все знаю?!

— Но имя матери…

— До сих пор оно тебе не требовалось.

Ниёле смутилась, но спросила снова:

— А могилу знаешь?

Гинтас посмотрел на нее, потом на кладбище и склонил голову к плечу.

— Должна быть где-то тут, но сам я не видел. Поищи. Может, найдешь…

— А ты? — Ниёле недоумевающе уставилась на брата.

— Не люблю кладбищ и мертвецов, — ответил он, глядя куда-то в сторону.

— Но ведь тут похоронена наша мама! — горячо воскликнула девушка.

— Я же сказал, что не люблю кладбищ, — уже откровенно сердясь, отрезал парень.

Ниёле не стала звать его и одна зашагала к

покосившимся воротам. Несла букет георгинов, прихваченный еще из дому.

Было ясно, что кладбище старое: некоторые каменные кресты замшели и позеленели за долгие годы, кое-где стояли деревянные кресты с распятием, покосившиеся, серые и потрескавшиеся, словно пересеченные длинными морщинами, как лицо старого человека.

Ниёле ходила между памятниками и читала надписи. Это были всевозможные фамилии и имена, высеченные и написанные прямыми и наклонными буквами. Кое-где надписи полустерты, а то и совсем неразборчивы. Ее удивляло, что около даты смерти часто стояли слова «трагически погиб». Многие из похороненных здесь могли бы еще жить, но уже истлели в песке этого холма. Странное настроение охватило ее. До сих пор в сознании Ниёле никогда еще не возникала мысль о смерти, ей казалось, что она будет жить вечно. Лишь теперь, когда искала она могилу матери, ее впервые пронзило присущее всем людям трагическое предчувствие конца.

Обойдя кладбище, она остановилась у заброшенного, поросшего травой бугорка, здесь даже дощечки с именем не было. Между пыреем и одуванчиками сиротливо торчал когда-то давно

посаженный на могилке кустик руты.

Ниёле присела возле холмика и стала полоть сорную траву. Пырей, крепко вцепившийся корнями в землю, не хотел поддаваться, но она работала упрямо — скоро на могилке осталась только одна рута, которая, если тронуть ее, издавала горьковатый полынный запах. Рядом с кустиком руты Ниёле положила свой букет. Вытерев травой перепачканные руки, она скорбно постояла возле обновленной могилы, пытаясь представить себе, как могла выглядеть ее настоящая мама. В воображении мелькали лица разных, когда-то виденных женщин, но ни одно из них ничего не говорило сердцу. Помимо ее воли в памяти вдруг возникло и заслонило все эти лица лицо женщины, которую она с тех пор, как научилась произносить это слово, звала мамой, лицо Морты Кунчинене…

Подумав об этом, девушка отпрянула от безымянной могилки и свернула к воротам. Еще из-за ограды увидела она удаляющегося по кривой улочке Гинтаса. Размахивая своим шлемом, он шагал к окрашенному в желтый цвет дому, на котором большими яркими буквами было выведено: «Закусочная».

Выйдя за ворота, Ниёле уселась на траве возле

мотоцикла и стала ждать. Она не сводила глаз с кривой, спускающейся вниз улочки, на которой самым заметным домом была желтая закусочная. На цементных ступеньках торчал какой-то старик. Опираясь на палку, он смотрел то в одну, то в другую сторону улицы. Возле его ног лежала серая, словно вывалянная в пепле, собака. Изредка она поднимала голову и бросала презрительный взгляд на кур, копошащихся в пыли.

Гинтас все не появлялся. Не могла понять Ниёле, почему не пошел он с ней на кладбище… И слова какие-то странные говорил… Она ломала голову, пытаясь оправдать поведение брата. «Может, он потому такой, что все время рос в одиночестве, сиротой? — думала девушка. — Если мы будем вместе, он изменится».

Не дождавшись брата, она встала и направилась к закусочной. Уже поднимаясь на крыльцо, услышала громкий мужской гогот. В большой неуютной комнате за столом сидел Гинтас с двумя парнями и пил пиво. Он что-то весело рассказывал, а его слушатели покатывались со смеху.

Ниёле остановилась в дверях. Смотрела на веселящуюся компанию и от растерянности не могла вымолвить ни слова. Первыми ее заметили парни и только потом Гинтас. Прервав на полуслове

свой рассказ, он несколько смущенно поднялся ей навстречу.

— Уже? — коротко спросил, не выпуская из рук кружку с пивом.

Ниёле кивнула, Ее смущали любопытные и цепкие взгляды собеседников Гинтаса.

— Где такую красотку откопал? — спросил один из них.

— Сестренка, — с гордо-хвастливой ноткой ответил Гинтас.

Спрашивавший откинулся на спинку стула и захихикал.

— Мне бы такую сестренку, — донеслись до Ниёле двусмысленные слова.

Ниёле шла впереди, Гинтас чуть отставал. Его походка была расслабленной, как будто он здорово устал.

— Нашла могилу-то? — спросил брат, когда они остановились возле мотоцикла.

— Нашла.

— Что?! И памятник есть? И надпись? — удивился он.

Ниёле в упор посмотрела на него и, помолчав, ответила:

— Могила нашей мамы та, что всеми забыта.

Больше он ничего не спрашивал, только его ру-

ка, приглаживавшая растрепанные волосы, вдруг на мгновение замерла, а по лицу скользнула то ли дрожь, то ли тень.

Рявкнула педаль стартера, послушно зарокотал спокойно дремавший мотоцикл.

Гинтас оседлал его, повернув голову к сестре, спросил:

— Куда мы теперь?

— В Рудясу.

— Куда? — изумился Гинтас.

— В Рудясу, — повторила Ниёле. — Я хочу знать о своих родителях все.

— Еще что выдумаешь? — упрекнул Гинтас. — Прекрасно живешь у своих Кунчинасов, чего тебе еще надо? А в Рудясе ничего не узнаешь.

— Я хочу в Рудясу. Очень прошу тебя, Гинтас, — настаивала Ниёле.

Мотоцикл полегоньку спустился по кривой улочке вдоль кладбища, проехал через все село и, набирая скорость, со свистом помчался по пыльному проселку. Наконец они выбрались на асфальт. Но Ниёле не была уверена, что они едут в Рудясу. Она не знала здешних дорог и поэтому целиком полагалась на Гинтаса. А он все молчал, будто обиделся. Заговорил лишь тогда, когда они неслись уже мимо красивого соснового бора,

свернув с шоссе на боковую дорогу.

— Устал, надо передохнуть, — сказал он, и красная «Ява» нырнула через кювет на лесную тропинку.

Проехав немного, они остановились. Под ногами шуршал мягкий зелено-бурый мох, а над головой спокойно шумели высокие старые сосны.

Прислонив мотоцикл к стволу сосны, Гинтас улегся на мягком мху. Ниёле несмело села рядом. Она смотрела на его лицо, холодное, загадочное и словно меченное незаслуженной обидой.

— Устал? — спросила девушка, подавшись к брату. Ей хотелось, чтобы он улыбнулся и не сердился, если она чем-то обидела его.

— Немножко. Спину ломит, — пробормотал Гинтас. Он почувствовал близость Ниёле и, словно силы вдруг вернулись к нему, привстав, крепко обнял ее за талию. Она не сопротивлялась — ей хотелось, чтобы так внезапно объявившийся брат был нежным. Ведь он теперь самый близкий ей человек на всем белом свете. Сестра прижалась к нему, ей стало хорошо-хорошо, спокойно, уверенно. Нежная трогательность и жажда благородного самопожертвования владели в этот момент ее юным сердцем. Между тем в глазах

Гинтаса все ярче разгорался недобрый огонек. Он сел и, не выпуская сестры из объятий, раскрасневшийся, смотрел ей прямо в глаза. Она хотела о чем-то спросить его, но губы Гинтаса преградили путь словам. Ошеломленная, не ожидавшая такого, Ниёле не знала, как ей быть, — парень все горячее целовал ее губы, шею. Сообразив, что руки Гинтаса тоже ведут себя слишком вольно, Ниёле начала изо всех сил отталкивать его пышущее жаром лицо, отрывать жадные ласкающие руки. Она здорово перепугалась.

— Не смей, Гинтас! Нельзя так… Ведешь себя совсем не как брат! — кидала она слова, пытаясь отбиться ими, как камнями.

Парень отпрянул, но, еще не остыв от охватившей его страсти, прохрипел:

— А может, я тебе вовсе и не брат.

— Что ты сказал? — ошарашенно прошептала Ниёле, не желая понимать того, что услышала.

Гинтас как-то странно перекосился, отвел глаза и, криво улыбнувшись, процедил:

— Говорят, была у меня сестра, но ведь я ее не помню. Может, ты, а может, и нет.

Ниёле ощутила, что у нее немеют руки и ноги, заболела голова, словно по затылку били молотком. Собрав последние силы, она вскочила и

отступила на несколько шагов от все еще сидевшего на моховой подушке Гинтаса.

— Какой же ты негодяй! — и у нее сел голос, она хрипела, давясь застрявшим в горле комком слез.

— Чего ты раскипятилась? Подумаешь, какая цаца! — бросил Гинтас. На его лице застыла злая, насмешливая улыбка. — Первый раз, что ли?

— Ты негодяй! — уже истерически выкрикнула девушка и бросилась бежать по лесу в сторону шоссе.

Гинтас встал.

— Не валяй дурака! — крикнул он.

Ныряя между стволами, Ниёле уже достигла опушки леса, перебралась через кювет и очутилась на высокой насыпи. Сквозь редкие толстые сосны Гинтасу было видно, что Ниёле нервно поглядывает то в одну, то в другую сторону дороги.

Уже заведя мотоцикл, услышал он грохот приближающегося грузовика. Успел заметить, как Ниёле подняла руку. Машина затормозила, и девушка исчезла в кабине.

По лесной тропинке мотоцикл мгновенно выскочил на шоссе, однако, выехав на асфальт, Гинтас внезапно утратил решимость, остановился и долго провожал глазами грузовик. Удаляющийся

рев мотора, лязг бортовых запоров постепенно затихали в спокойно дремлющем сосновом бору. Злобно сплюнув, Гинтас развернулся и покатил в противоположную сторону.

8

После ухода Ниёле Раполас Кунчинас и его жена, кое-как справившись с обычными утренними делами, слонялись по комнатам, не находя себе места. Настроение у обоих подавленное, будто в чем-то виноваты, будто сами себя обокрали. Покой воскресного полдня угнетал и душил. Они даже боялись смотреть друг другу в глаза, не знали, о чем говорить. В душе каждого все яростнее разгорался огонь злых упреков, горький дым которого поднимался до горла.

Первым не выдержал муж. Он стоял у окна и, потягивая сигарету, смотрел на улицу. Даже не обернувшись, лишь слегка наклонив голову, процедил сквозь зубы:

— Это ты во всем виновата!

— Я? Почему? — возмутилась Морта.

— Родила бы свою…

— Ах, ты снова?! — женщина взвилась, как ужаленная. — Кажется, мы с тобой уже давно обо всем договорились! Поровну вину поделили.

— Легко ты вину делишь, — со все возрастающим раздражением произнес Кунчинас.

У Морты затряслись руки.

— Страшный ты человек, Раполас! Это же садизм — находить удовольствие в том, чтобы причинять мне боль, — выкрикнула она и, почувствовав, что не в силах сдержать закипевшие слезы, выбежала из гостиной. Ее мелкие нервные шажки простучали по коридору, хлопнула дверь. Морта очутилась в кабинете мужа. Тут она частенько сиживала за письменным столом, читая книгу или готовясь к урокам, когда еще работала в школе. Сейчас Морта была так взволнована, что не могла бы объяснить, зачем вдруг забежала сюда. Кинулась к окну, но вскоре отвернулась от него и подошла к столу. Механически выдвинула средний ящик. Тут в беспорядке валялись разные мелочи — коробочки, карандаши, инструменты. Взгляд Морты сначала бездумно скользнул по всем этим вещицам, ни на чем не задерживаясь, и лишь через какое-то время остановился вдруг на ключиках, нанизанных на колечко. Это было ключи от гаража и их собственной машины. Морта умела водить и любила новенькие «Жигули». Захотелось немедленно спуститься в гараж и укатить к матери. В родительском доме легче проходят все обиды, успокаивается сердце, может, там станет ей яснее, как жить дальше.

Сжав в кулаке связку ключей, Морта вышла

в коридор, накинула плащ, приоткрыла дверь гостиной и бросила мужу:

— Я уезжаю!

Раполас оторвался от окна, возле которого стоял.

— Куда это?

— К маме, — ответила она и прикрыла дверь.

Снова отвернувшись к окну, Кунчинас прислушивался к ее удаляющимся шагам. Услышал, как жена минутку потопталась на цементных ступеньках крыльца. Потом под ее подошвами заскрипел мелкий гравий, которым была усыпана дорожка, ведущая мимо клумбы с георгинами к гаражу, оборудованному в полуподвале их коттеджа. Звякнул отпираемый замок, лязгнул отодвинутый засов. На какое-то время все утихло, потом послышалось жужжание стартера и пофыркивание заведенного мотора.

Кунчинас вслушивался в эти звуки и чувствовал, что внутри у него нарастает какое-то неясное, тревожное чувство. Словно в зыбкое болото превращается твердый пол гостиной. Когда же в белых «Жигулях», выкатившихся на улицу, мелькнуло лицо жены, он вздрогнул — тревога за свое будущее, за ближайший час и завтрашний день ледяным острием кольнула сердце.

— Подожди, Морта! — крикнул он, распахивая окно. Но машина уже удалялась и вскоре скрылась за липами на повороте.

Кунчинас проводил ее глазами, потом закрыл окно и, опустошенный, рухнул в кресло. «Что случилось? — спрашивал он себя. — Почему я остался один? Кто виноват? — И тут с чувством стыда вспомнил свои дурацкие упреки, брошенные жене. — Почему я сорвался? Зачем обидел? И как только язык у меня повернулся ляпнуть такое? Куда девалось мое самообладание? А может, я нередко так поступаю, даже не замечая этого?» — все суровее корил себя Кунчинас. Разбуженная душевным потрясением совесть беспощадно и придирчиво перетряхивала всю его теперешнюю жизнь. Вспомнились нередкие случаи в кабинете, в поле, на фермах, когда, распалившись, начинал он крыть на чем свет стоит какого-нибудь проштрафившегося человека. Обычно вина бедняги была куда меньше председательского гнева. А он разъярялся, пьянел от сознания своей безнаказанности, от власти, которую давал ему пост. Случалось, что во время такого разноса он на краткий миг ощущал вдруг то ли некий стыд, то ли укоры совести. Однако приступ гнева, внезапно овладевавший им, захлестывал робкую

протестующую мысль. Накричит, обругает, гнев как бы выплеснется вместе со злыми словами, и председатель уже спокойно и даже предупредительно вежливо разговаривает с тем же самым человеком, которого только что ругательски изругал. «Неужто я таким и в семье бываю?» — горько спрашивал себя Кунчинас.

Снова его мысли обратились к прошлому. В памяти высвечивалось то одно, то другое событие, о которых он обычно и не вспоминал. Да, и с женой бывал он иногда груб. Вспыльчивый, неуправляемый… Такого мог наговорить, ни за что ни про что обидеть… А с дочерью? Нет! На Ниёле он никогда и голоса не поднимал. В чем в чем, а в этом его упрекнуть нельзя.

Кунчинас, сгорбившись, сидел в кресле, но вдруг выпрямился, поднял голову и стал озираться по сторонам. Его глаза перебегали с предмета на предмет, будто что-то искали и не находили. Подумалось о том, с какой радостью замышляла жена свои перестановки, как любила обновлять комнаты, двигать с места на место мебель. Что ее толкало? Вероятно, считала, что перестановки помогают менять и разнообразить жизнь. Ну и переставляй себе, если нравится! Больше он не станет возражать. Даже сам согласен помочь.

Для книжной секции торцовая стена лучше подходит…

Уже стемнело, когда жена, вернувшись из своей поездки, нашла Кунчинаса за серьезным занятием: скинув пиджак и засучив рукава рубашки, вспотевший и раскрасневшийся, он расставлял книги в сверкающей стеклами секции, которая была на новом месте. Морта удивленно глянула на его занятие и иронически усмехнулась:

— Меняешь среду обитания?

Кунчинас только что сунул на полку стопку книг. На мгновение он замер, но, спокойно посмотрев на жену, незлобиво отпарировал:

— Насколько я помню, это твоя идея.

Губы Морты снова тронула ироническая улыбка. Казалось, теперь на все, даже на свои прежние затеи смотрит она сквозь иронию. Словно желая утаить эту свою иронию, женщина отвернулась к окну и уже спокойно, будто обращаясь к стенам, спросила:

— А где Ниёле?

Кунчинас, не закончив работы, опустил руки. Время от времени он взглядывал на жену, словно она сама должна была сказать, где.

Тем временем, как бы отвечая на волновавший их обоих вопрос, на крыльце послышались легкие

шаги. Скрипнула входная дверь. Они не сводили глаз с двери гостиной, ведущей в коридор, ловили каждый звук и ждали. По осторожным шагам, по короткой остановке возле вешалки они поняли, что это Ниёле. Но не двинулись с места даже тогда, когда девушка зашла к себе. В своей комнате она задержалась ненадолго, скоро ее шаги снова прошелестели по коридору и на минуту стихли.

Может быть, и она прислушивалась к тому, что происходит в гостиной? Может, у нее не хватало смелости пойти к ним? Когда же наконец тихо, как тень, Ниёле скользнула в комнату, она сделала лишь несколько шагов и замерла в замешательстве. Ее остановили полные тревоги вопросительные взгляды родителей.

Кунчинас сразу же заметил, что личико дочери необычно бледно и отмечено новыми чертами, появившимися за последние дни. Особенно изменились глаза, ставшие глубокими и серьезными.

Замешательство Ниёле продолжалось лишь несколько секунд. Преодолев его, она бросилась к матери и прильнула к ее груди. Материнские руки, нежно гладившие плечи девушки, успокаивали и согревали, Ниёле хотела верить, что ничего не произошло, что ей приснился кошмарный сон, который скоро уйдет в прошлое и

забудется. Тут девушка обратила внимание на стоящего рядом отца — он тоже ждал дочерней ласки, — подошла к нему и поцеловала в колючую, почему-то сегодня не бритую щеку. Потом отступила и, глядя на родителей, торжественно произнесла:

— Нет и не было никакого брата. Давайте забудем эти несколько несчастных дней. Простите, если я была в чем-то виновата. Я постараюсь, чтобы…

И вдруг замолчала, настороженно прислушалась — за окном послышалось тарахтение приближающегося мотоцикла. Родители тоже непроизвольно обернулись к окну. Усиливающийся рев мотора мучительно ввинчивался в уши.

Мотоциклист пронесся мимо, и поднятый им грохот скоро совсем замолк. Наверное, кто-то из поселка, мало ли у кого в наше время есть такие машины?

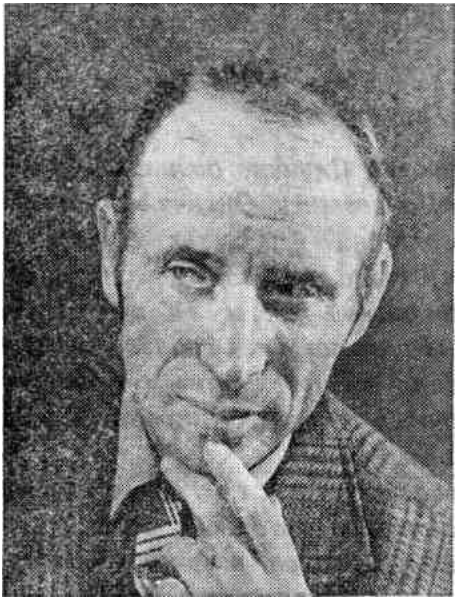
Ниёле хотела продолжить свою неоконченную речь, но почувствовала, что не может. Ее торжественность после неожиданно долгой паузы была неуместна. Кроме того, девушка ощутила странную слабость в ногах. Словно в них внезапно собралась усталость всего дня. Осторожно

переступая, подошла к дивану.

— Забудем этот день, — прошептала она. — Забудем...

Перевод *Б. ЗАЛЕССКОЙ* и *Г. ГЕРАСИМОВА.*

Миколас Слуцкис
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ БЕСКОНЕЧНЫХ ДНЕЙ



Миколас Слуцкис родился в 1928 году в Паневежисе. Окончил историко-фило-

логический факультет Вильнюсского университета, работал в редакциях республиканской газеты «Комъяунимо тиеса» («Комсомольская правда») и детского журнала «Жвайгждуте» («Звездочка»), избирался секретарем правления Союза писателей Литвы.

Начал печататься в 1945 году. Сегодня М. Слуцкис — автор многих романов, повестей, сборников, рассказов. Много работает также в области детской литературы и литературной критики. Сборник рассказов «Шаги» отмечен республиканской премией, книга для детей «Я снова вижу знамя» — премией Комсомола Литвы.

На русском языке изданы многие книги М. Слуцкиса, в том числе: «Увертюра и три действия» («Художественная литература», М., 1965), «Улыбки и судьбы» («Советский писатель», М., 1968), «Лестница в небо», «Жажда», «Чужие страсти» («Молодая гвардия», М., 1973), «На исходе дня» («Молодая гвардия», М., 1977). Его произведения переведены на языки народов СССР и зарубежных стран.

I

Какая-то тетка нырнула с тротуара в плотный ревущий поток — милиционер даже не успел свистнуть. Обшарпанная коричневая сумка, слишком длинное, непонятного цвета, давно вышедшее из моды пальто, шляпка, словно эмалированная кастрюля. Наверное, пожилая. Милиционер снова поднял было к губам свисток. Нарушительница — он видел только ее спину — вдруг споткнулась, сумка упала на асфальт, послышался перезвон бутылок… Точно, пожилая. Его мамашу тоже всегда бутылочная музыка сопровождает. Он погрозил кулаком оранжевому автофургону. Тормоза взвизгнули, и милиционер шагнул на мостовую, повелительно подняв руку в перчатке с белыми крагами. Вздыбившись, замерла черная «Волга», будто перед ней опустился шлагбаум. Старуха, подхватив сумку, ринулась в брешь между фургоном и легковой. На мгновение полы ее пальто прикрыли хромированную пасть «Волги». Была бы помоложе, он бы ее обязательно остановил и отчитал… Тем временем женщина выбралась на противоположный тротуар. Сейчас оглянется и виновато улыбнется ему. Все они так

делают. Не улыбнулась, только кастрюлю свою поправила. И ведь не старуха совсем. Можно сказать — молодая. Выпучила глаза и ничего вокруг не видит. И не понимает, что могло случиться. Резкий свист вспорол загазованный гудящий воздух. Лицо под шляпкой сморщилось, будто женщину неожиданно ударили.

Антонина Граяускене действительно не видела милиционера — так, какой-то синий покачивающийся столбик, а мимо проносятся, едва не сталкиваясь, серые громадины. Замрут и снова кидаются вперед, чуть не задевая крышами облака. И все вокруг дрожит от грохота, тротуар — как захлестываемая потоком льдинка. Снова резкий свисток.

Она не испугалась, даже не удивилась. Вероятно, от нее чего-то настойчиво требуют? Страх ощутила позже — показалось: на асфальте белая стеклянная пыль, расплющенный кошелек (семь рублей с копейками и ключ от квартиры). Бледные губы выдавили жалкую улыбку. Милиционер сердито махнул: идите, идите! Прижав к боку сумку, нерешительно двинулась. И лишь пройдя несколько шагов, окончательно сообразила, чего только что избежала. От пальто несло бензиновой гарью и от сумки тоже. Господи,

неужто сумка для меня дороже жизни? А муж, а дети мои? Эта мысль испугала ее больше, чем то, что могло сейчас случиться, она оперлась рукой о газетный киоск; спина взмокла от липкого холодного пота. Продавца не было — между свежим номером «Швитуриса» и буклетом «Окрестности Тракай» выплыло хмурое лицо с вытаращенными круглыми глазами. Какая-то старуха. Только шляпка у нее знакомая — желтая кастрюля. И куда смотрела, когда покупала? Не я одна — все брали. Шляпа как шляпа. Это я постарела, я страшная. И пальто… и сумка… Господи!

Антонина Граяускене отшатнулась от киоска. Двинулась дальше. Но за ней неотступно следовала старуха, которой так не шла шляпка. Антонина с тоской вспоминала себя прежнюю, не обращавшую никакого внимания на чужие советы. А теперь неизвестно, как одеваться, как жить. Не без труда представила себе круглолицую синеглазую девчонку, та не металась, не бегала рысцой по улицам и не носила шляп — косынкой повязывалась… Не дури, ты бы теперь в косынке совсем старухой выглядела! По торопливому перестуку шагов — прохожих она не замечала — Антонина поняла, что опаздывает. Все время ей словно кто-то ножку подставляет, то и знай — оправдывайся.

Разве я одна — другие тоже перебегают улицу, где не положено… и тоже чуть под колеса не попадают, да, да! У милиционеров даже губы от свистка болеть начинают — это Мальвина говорила, у нее муж — милиционер. Хорошо, наверное, когда муж в милиции служит — ничего не боишься. Говорят, у них там дают план по штрафам — разве такое возможно? Что ж, она охотно заплатила бы. Виновата. И не заметила, сунулась на мостовую. Господи, еще бы миг и… Но и сейчас ее больше пугало не то, что могло б произойти, а другое: что с ней — ни себя, ни окружающего не чувствует?

Медленно приближалось пятиэтажное здание: коричневая вывеска, два напряженных атланта и ржавая водосточная труба. Антонина ускорила шаг. Атланты таращили незрячие глаза, подойдя, покосилась на них — у одного вместо носа белое пятно — кто-то отшиб. Десять лет, изо дня в день — и не замечала! Где же мои глаза?

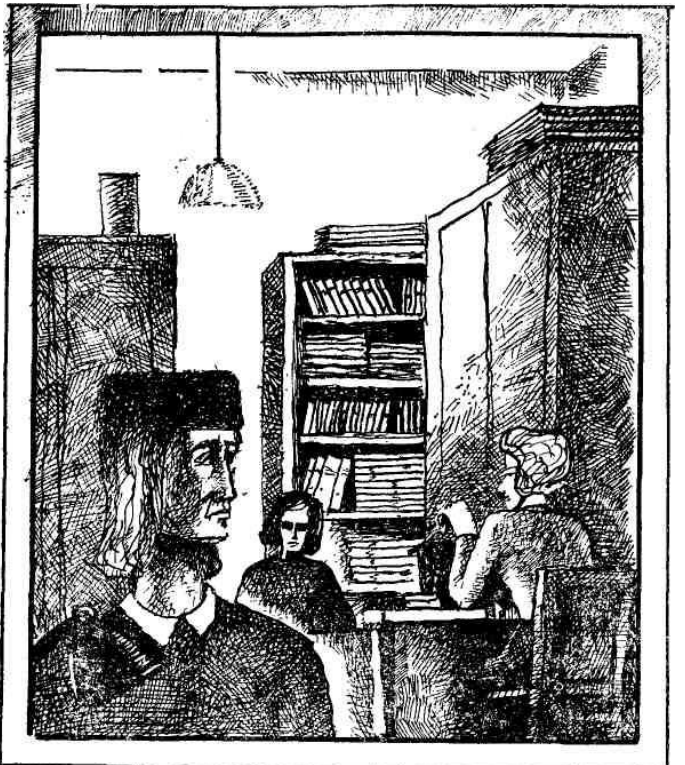
Прошмыгнула мимо безносого, как будто он мог схватить. Прежде чем ступить на лестницу, перевела дух. В висках покалывало, и грудь как обручем сжимало. А вокруг тихо-тихо — словно после свистка милиционера. Скажу: у Граяускаса репетиция… Говорила уже. Ну тогда некому, мол, было Расяле в садик отвести. Силой тащить

приходится, хотя там у них полно игрушек. Тоже говорила. Остается — свалить на автобус. Кто их не знает, автобусов! Не поехал, пока дорогу песком не посыпали. Гололед… Но она не помнила, как нынче на улице: вдруг никакого гололеда? — и остановилась, тяжело дыша. Уходящие вверх ступени заляпаны известью. Около развороченной голландки пахло сырой глиной. Жалко. Уютная была печка — прикоснешься, проходя, рукой, и оттает в груди. Прямо по гипсовой лепнине — трубы центрального отопления. Ржавые, наглые, и тепло от них неуютное, неживое. И когда они оккупировали дом, эти строители?

Да, почитай, второй уже месяц шастают здесь перемазанные краской…

На облупленной двери новенькие металлические цифры, за ней — стрекот машинки. Сейчас и она, Антонина, усядется на свое место: стол, стул и половинка окна, за которым в туманной дымке колокольня святой Катарины. Все уже здесь и колют глазами единственный пустующий стул. Опоздала, да еще не в себе. Хотя с каждым может такое… С каждым? Снова в ушах резкий свисток. Дверь, к счастью, приоткрыта, а то заскрипела бы. Приподняв сумку перед грудью, проскользнула между столами, шкафами, полками. Женщины,

зажатые громоздкой мебелью, казались какими-то жалкими. Конечно, все взгляды — на нее, а она даже их лиц не узнает. Вон сверкнула клипса, больше чем ухо. Это, конечно, Путравичене. Смотрит в упор и фыркает, словно струя воды из крана бьет. Здравствуйте, девушки! Никто ее приветствия не услышал, и снова такое чувство, будто она не ровня им. Рука, устанавливающая сумку, дрожала; как бы снова не зазвенели пустые бутылки. Все по магазинам бегают, кто до работы, кто во время нее, но бутылки прячут. Горбатенькая уборщица, вечно до глаз замотанная платком, будто собственное имущество, раздавала по столам корреспонденцию. Ей, Антонине, и конвертика не перепало, вроде недостойна она. Барабанила машинка, звякал арифмометр. Уж не сговорились ли все против нее? Замечать не хотят, а сами так и пялятся. Ну чего глазеют?



— Представляете себе, пани Малиновская, такой каток на нашей улице — ужас! Ждала, ждала, пока автобусы пошли... — Хотелось скорее разрядить обстановку — посмеешься над дурацким

происшествием, глядишь, и полегчает.

— Каток? А вам не приснилось?

Горбунья получала куда больше Антонины, как-никак две ставки — не одна, и все-таки завидовала им, постукивающим на счетах.

— Ох, постойте!.. Что-то я действительно напутала, — Граяускене как бы со стороны услышала свой голос. — будто не она оправдывалась, а та старуха со стекла газетного киоска. — Ха-ха, конечно, путаю: это вчера автобусы не ходили. Такой каток на асфальте — прямо стекло! Я еще подумала про вас, пани Малиновская, вам-то каково — ведь за городом живете…

— Спасибо за заботу, — буркнула уборщица, подхватила корзину с мятыми бумагами и, что-то ворча, будто жужжит в корзинке пчелиный рой, потащила ее за дверь.

Никак не открывался ящик стола — дергала, дергала его дрожащими руками, за окном пошатывалась колокольня святой Катарины. Еле открыла.

— Чего это она? Я же не собиралась ее обидеть.

Старший бухгалтер Алексонене сняла очки — они придавали ей строгость — и сразу стала доброй, домашней, уютно поблескивали пышные седые волосы.

— Расстроилась. Так ведь не мы же квартиры распределяем. А у Малиновских собственный домик, огород, сад… Что с вами, Тоня?

— Со мной? — Антонине показалось, что Алексонене намеренно приглушила голос. — Я ведь только и сказала, мол, скользко, а она вдруг в бутылку полезла. А разве сегодня нет гололеда? Я чуть под машину не угодила, поскользнулась и… Ужас!

Для пущей убедительности она деланно рассмеялась. Высокая, сухопарая, застегнутая на все пуговицы Мальвина, у которой муж милиционер, с осуждением глянула на нее. Еще бы, раз муж в милиции, значит, и супруга должна держать себя с рамках. Прекратился стук машинки. Пальцы Алины с кроваво-красным лаком ногтей хищно замерли над клавишами. А этой красотке чего надо? Чего они на меня вытаращились? Антонина все еще похихикивала. Хочу и смеюсь, разве это запрещается?

— Ладно, девушки, за работу! — Алексонене снова насадила на нос очки, и спять стало ясно: она старшая здесь не только годами. — Что с вами, Тоня? Вы так скверно выглядите…

— А как я должна выглядеть? — колокольня святой Катарины продолжала шататься за

окном. — Как Лоллобриджида? Мы ведь с нею ровесницы…

— Вам бы отдохнуть как следует…

— Да я себя отлично чувствую! Честное слово — отлично, — Антонина чуть не расплакалась, пытаясь отбиться от заботливых слов старшего бухгалтера, как от тяжкого обвинения, и Алексонене отвернулась — словно сплющилась между шкафами.

Все вернулись к работе, а может, только притворились, что заняты делом. Антонина тоже потянулась к бумагам. Полистала. Уйти бы в них с головой и не думать ни о чем… Не получалось. Между строчек и столбиков цифири проступала улица, отполированный до черноты асфальт, яркие белые полосы на нем. «Зебра» — она могла бы спокойно здесь перейти, нет, прошла мимо, а потом ринулась, срезая угол… Нырнула, как в омут. Ее почему-то всегда тянет к воде — прижаться к самому барьеру, даже руку между железными прутьями сунуть. Мосты над рекой всегда манили ее. А на улице некогда разбираться, что тебя манит, что пугает: авоська, пустая она или продуктами набитая (особенно пустая!), ни о чем не дает думать… Мельтешили цифры; линии, разграфившие лист, трепетали зелеными и

красными зигзагами… Все прекрасно видела, все слышала — ревут автомобили, густо, асфальта не видно — и на тебе — кинулась наперерез? И совсем не думала об опасности. Точно. Не думала. Все эта спешка проклятая. Почему же не оштрафовали меня? Украдкой покосилась на Мальвину, будто ее костлявое лицо, серьезное, казавшееся мертвенно-отрешенным — на него падали блики зеленого, застегнутого на все пуговицы платья, могло ответить на этот вопрос… Хоть и знает, да не скажет. И все другие что-то подозревают, но молчат…

— Ну и настряпали! Что это такое?

Алинины выщипанные в ниточку брови поползли на лоб, кроваво-красный острый ноготок пренебрежительно черкал подсунутый Антониной лист бумаги.

— Как что? Ведомость. Могу еще раз проверить.

— Ах, проверить? Я, милая, не для того здесь, чтобы сложением-вычитанием заниматься. Мне за это зарплата не идет… А ежели вам среди бела дня сны снятся — лечиться надо!

— Я проверю… я сейчас…

Прижав бумагу к шкафу, Антонина, не отходя от столика машинистки, лихорадочно принялась

искать ошибку в ведомости. В тусклом стекле шкафа испуганное лицо, над ним какая-то кастрюля… Антонина недоуменно вгляделась — неужели до сих пор не сняла шляпы? Совсем с ума сошла!.. Столбик цифр, подчеркнутый ногтем, затерялся среди других, и она никак не могла найти, где ошибка, а в нос бил резкий запах Алининых духов… Антонина даже не заметила, как подошла Алексонене, взглянула на ее бумажку, красным, остро отточенным карандашом исправила пару цифр. Алина ногтем отколупнула лист от стекла и унесла, как добычу.

— Что-то голова побаливает. — Антонина сняла наконец свою давящую лоб шляпу — и не знала, куда девать эту ненавистную вещь, как избавиться от нее.

— Хотите анальгин? — Молчаливая сухопарая девица, лет тридцати — Стасе — вечно таскала с собой всякие лекарства.

— Спасибо, Стасенька.

Она сунула шляпу на подоконник, повесила на гвоздик рядом пальто — глаза бы на него не глядели!.. Не больна я и никаких лекарств принимать не стану. Однако отказываться неудобно: сама же соврала — голова болит. Вертела в пальцах таблетку до тех пор, пока та не стала совсем

серой и не выпала из рук. Не поднимать же ее. Вспомнилось, что месяца три назад у Стасе умерла мать, а она, Антонина, тогда болела и не пошла на похороны. Может, обидела Стасе? Был, разумеется, бюллетень, но ведь… А Стасе уже протягивает новую таблетку. Дался ей этот анальгин! Или укорить хочет? Впрочем, Стасе — добрая душа, это я как оса злая. Господи, что же со мной такое?

На небо набежали облака. Свет с трудом проникал в комнату. На том месте, где должен был выситься шпиль святой Катарины, иногда что-то поблескивало — значит, все-таки выглядывает солнышко, но отсюда его не видать. Рябило в глазах от бесконечных цифр. Алина все еще недовольно пофыркивала за своей машинкой, правда, обидных слов больше не кидала. Ей сегодня никто не звонил, и красотка, вероятно, с тоской думала об ожидающем ее унылом вечере — вдвоем с полуглухой бабкой, молча раскладывающей свой вечный пасьянс. А я даже не спросила, как себя чувствует ее бабушка — в городе-то грипп. Ох, только бы Фердинандас не подхватил! Стоит ему заболеть — становится невыносимым. В комнате зажгли свет, он отразился в пыльных стеклах шкафов. Антонина приободрилась: ничего, сейчас колесо раскрутится, дело пойдет,

только ритмичнее дыши — вдох-выдох, раз-два. И некогда будет переживать из-за каких-то мелочей. Она привыкла считать: все, что не связано с жизнью мужа и детей, что касается только ее, — пустяки. И никакого внимания они не стоят.

Семнадцать двадцать. В сумках забренчали бутылки — точно будильники зазвонили. Ее сотрудницы всегда старались урвать десять — пятнадцать минут. Антонина тоже смахнула в ящик бумаги — ящик на удивление легко открылся и закрылся. Летела по коридору, не обращая уже внимания ни на замызганные подмости, ни на изразцы, ободранные с печки. Не слышала даже, как Алексонене окликнула ее, подождите, мол. На улице ее вдруг оглушило — но это было эхо утреннего милицейского свистка. Снова ринулась наискосок, на противоположную сторону, дом со старинными балконами, где помещался их офис, словно провалился куда-то, исчез, улетучились все заботы, кроме одной — не слишком бы долго толкаться в очередях! Но этот страх был привычен, он оберегал от всех прочих страхов. Автоматически протиснулась в узкую щель входа — вторая створка дверей как обычно закрыта. В ноздри ударило запахом теплого хлеба и маринованной селедки. Досадно. Значит, атлан-

тической опять нету, а Фердинандас другой не ест. Неожиданно вспомнила: весь день маковой росинки во рту не было! Девочки пили черный кофе — у нее от одного запаха давление подскакивает. Пристроилась в хвост очереди и тут же забыла про голод, обрадованная, что наконец-то делает нечто необходимое.

— Не сердитесь, Тонечка, но я бы на вашем месте побеспокоилась о своем здоровье. Хотите, могу поговорить с новым начальством…

Граяускене в спешке и не заметила, что рядом с ней Алексонене. Может, они даже беседовали о чем-то, направляясь в магазин. Только о чем?

— Честное слово, я больше не буду опаздывать.

— Да разве в этом дело…

— А в чем же?

Продавщица резко прервала их беседу. Антонина ставила в сумку бутылки с молоком, сдав пустые, укладывала творог, сметану, осторожно опускала сверху яички. Но эти обычные действия почему-то не приносили успокоения. Все вроде бы куплено, а слова Алексонене бередили, возвращали тревогу, которая начала было отступать. Антонина, нашарив в кармане гривенник, зажала его в пальцах — что-то еще надо было купить. Но что? Она заколебалась, будто не

каждый раз, выстояв все положенные очереди, делала это — выпивала стакан фруктового сока, здесь же, за цинковой стойкой в углу магазина, где поблескивали запотевшие стеклянные банки с соками; не виноградный, не вишневый, не томатный — только сливовый… У них-то этих слив полно было. Потом одна осталась, тоже подмерзла, но ожила, цвела каждую весну. Теперь небось и ее нету. Сколько уж времени не была в деревне. Антонина отвернулась от заманчивых банок. Не для себя живу — для своих! Что с ними будет, ежели не куплю, не принесу? Кормить и обслуживать семью — ее первейший долг, в этом она ни разу до сего времени не усомнилась. И не просто долг или необходимость, отказаться от которых не могли ее заставить никакие обстоятельства — пожалуй, лишь тяжелая болезнь или смерть, — заботы о муже и детях были предметом ее тайной гордости, доставляли удовлетворение. Пусть ежедневно приходилось ломать голову: как достать, где купить, чтобы они были сыты, аккуратно одеты, но именно с этим связывались ее надежды, что дети сумеют достичь большего, чем они с мужем. Иногда ей казалось — так оно и будет, дети выучатся, выйдут на верную дорогу — только бы они с Фердинандасом посильно

помогли; но иной раз Антонина сомневалась: сумеют ли… И эти сомнения подстегивали, заставляли лезть из кожи вон, чтобы совершить нечто для блага детей. Молодые еще, успеют, пытались урезонить ее окружающие; конечно, успеют, но время-то летит, не остановишь! Если с младых ногтей не подтолкнешь… Она знала это по собственному опыту, и хотя не спорила ни с кем, стиснув зубы исполняла свой материнский долг — это было целью, смыслом жизни, единственной ее радостью, пусть дети зачастую и доставляли ей горькие обиды и разочарования… Так что же вдруг произошло? Что изменилось? Почему неважным стало то, что было наиглавнейшим? Какого черта стою я здесь столбом, уставившись на банки с соком? Неужели решила, как все мне советуют, обратить внимание на собственную персону? Антонина усмехнулась, ее улыбка змеилась в зеркале, словно выдавленная из сжатых губ, как из тюбика с пастой. Что ж, начнем жить для себя? Уподобимся Лоллобриджиде? Ха-ха! Разве плохо — стоять вот так и просто глазеть, как люди глотают сок?.. Заурчало в пустом животе… Домой, домой!! Господи, что же это? Ведь я совсем не хочу домой…

В это утро Антонина Граяускене явилась на

работу раньше всех. Пусть никто не косится, не шушукается за спиной, не лезет со своими советами и соболезнованиями. Славно быть первой — воздух свежий, не накурено (Алина сигарету изо рта не выпускает, и Алексонене тоже смолит одну за другой, а ведь не молоденькая, в пенсионном возрасте женщина). Почему-то чувствуешь себя неловко — будто чужие следы вынюхиваешь. В открытое окно вместе со свежестью врывается солнечный луч, блестит на полу потерянная кем-то заколка — не одна я их теряю (Стасе? Она и шестимесячной не делает и дома не накручивается). А под стулом, словно свернувшийся луч, клубочек ярко-лимонных ниток. Наверно, Мальвина забыла… Рядом никого, поэтому Антонина испытывала чувство нежности и к пани Малиновской, и к Путравичене. Даже к Алине. Пощупала голову — не забыла ли снять свою кастрюлю? Облегченно вздохнув, вспомнила, что оставила ее нынче дома. Да, вот она и первая, хорошо. Хорошо-то хорошо, а Расяле в садик не проводила! Взбредет дочке в голову, и вернется с полдороги. Впрочем, вряд ли. Во дворе-то скучно: кто в школе, кто в детсадике. А маленькая — вся в Фердинандаса, мои только цвет лица да голос… Вчера вечером,

возвратившись домой, и особенно сегодня утром, она вела себя, как сомнамбула — механически делала домашние дела, а сама жадно старалась приласкать детей, словно желая покаяться перед ними за недавние мысли, и одновременно знала, что чувство отчуждения будет отныне повторяться. Поэтому торопилась как-то привязать их покрепче к себе, впитать родные запахи — кожи, волос, губ — ведь у каждого свой, особенный. Так приставала, что даже младшая, Расяле, надула губки, а про старшую, Виганте, и говорить нечего. Фыркнула — и в сторону. И Витукас, надувшись, как индюк, не разрешил себя погладить — он, видите ли, уже большой, их тренер безжалостно смеется над неженками, боксер должен быть мужчиной. Эта новость — бокс — тоже доставляла неприятные переживания. Так хотелось, чтобы сын занимался плаваньем. И немалые надежды возлагались на это плаванье. Так и убежала на работу, не сумев приласкать детей, явилась раньше всех, чтобы доказать им и себе, что еще не окончательно превратилась в рохлю и разиню. Сотрудниц все не было, будто они догадались о ее замысле и медлили. Мысли снова вернулись к дому, откуда сбежала она, как на пожар. Стой, а кран в ванной закрыла? Закрыла.

И свет выключила. Хорошо помнила, что в прихожей полумрак, когда захлопывала входную дверь. А газ? Закрыла, не может быть, чтобы не закрыла! Несколько раз повторила привычное, как дыхание, движение пальцев правой руки — закрыла? — пальцы не могли вспомнить. Тяжело отдуваясь, влетела в комнату пани Малиновская, бросилась орудовать щеткой.

— Ну что, сегодня уже не скользко? — съязвила она, криво усмехнувшись.

— Представьте себе, сегодня нормально!

Антонина еле удержалась, чтобы не ответить колкостью.

— Кого вижу?! — зафыркала, словно пустила струю воды из испорченного крана, Путравичене — она всегда так смеялась. Встряхнула новую шубку — под рысь, повесила на плечики. Даже из соседних отделов ходили смотреть, хотя мех искусственный, синтетика. У Путравичене муж — директор большого завода, могла бы преспокойно сидеть дома, но дома так скучно — не раз откровенничала она. Правда, Алина утверждает иное — спутался Путравичюс со своей секретаршей, а женушке, чтобы не поднимала шума, купил обнову — под рысь. Ее-то Фердинандас на посторонних, слава богу, не заглядывается,

но и шуб не дарит. Конечно, сотни три они как-нибудь наскребли бы, да попробуй достань! И чего эта фыркалка меня подкалывает? Не хватает своих неприятностей с мужниной секретаршей? Еще бы немного, и выложила ей все. Ясное дело, почему муженек на сторону бегает — такой дурацкий смех у женщины. Впрочем, пусть себе хихикает… Может, слезы свои так скрывает? Просто я злюка, кидаюсь на людей. А сама всего боюсь.

Другие сотрудницы тоже были удивлены столь ранним появлением Антонины. Перекидывались за ее спиной недоуменными взглядами. Редкое единодушие, во всем другом их мнения почти никогда не совпадают. Мальвина уставилась в упор — глаза тусклые, безжизненные, смотрит и словно не видит, словно пустое место перед ней. Знаю, мол, чего так рано прискакала: нового начальства боишься! А вот и нет! Милиционер меня напугал, не сам милиционер, а его резкий свисток… Что же касается нового начальника… Конечно, и начальство не к чему дразнить. Старик-то наш, что от рака скончался, любил к мелочам цепляться, но когда все знают, что он со дня на день может… А новый, говорят, молодой, крепенький, как огурчик. Разве такой поймет,

почему трясет тебя, ровно осиновый лист, после того как перебежала улицу в неположенном месте? Но бояться его? Это тебе, Мальвина, следует бояться — вяжешь в рабочее время… И Алина тайком чью-то диссертацию о рыбах отстукивает. Свежей рыбки нигде не достанешь, а ведь уже которую диссертацию печатает, и все о пресноводных рыбах. Начальство… Начальники, как говорится, приходят и уходят… Вот у них уже третий за годы ее работы. Третий начальник и третий ремонт. Полагаю, никаких особых перемен не последует, только стены станут другого цвета. И все-таки, почему я волнуюсь? Наверно, нелегко привыкать к новому человеку, пусть даже добрый он и отзывчивый. На все нужны силы, терпение, а где их взять?

Антонина злилась на себя и на весь мир, краснела, ерзала, жалобно пошмыгивала носом, листая свои бумаги — почему-то ей казалось, что, когда ремонт закончится, когда все станет ярким и свежим, окружающие с еще большим успехом смогут разглядеть на этом фоне не только вечные ее страхи опоздать, ошибиться, но и неурядицы личной жизни — редкие ласки мужа, всегдашнюю, заканчивающуюся далеко за полночь домашнюю суету. Даже голос, которым

утрами подгоняет она детей, поначалу добрый, просящий, становится в конце концов крикливым и нудным, как в репродукторе, и никто уже не обращает на него внимания.

— А и славный же нынче денек! Вот бы прогуляться не спеша… А, Тонечка? — Алексонене произносит это медленно, мечтательно.

За окном высится, как огромная свеча, колокольня святой Катарины, сверкает ее недавно позолоченный реставраторами шпиль. Плывет колокольня в просторе и солнце, а под ней, словно протертая влажной тряпкой, россыпь красных черепичных крыш и лабиринт улочек. Действительно, отличный день, но при чем здесь «прогуляться»? На что намекает? Все про вчерашнее мое опоздание забыть не может? Вяжется и вяжется.

— Ах, да оставьте вы меня в покое!.. Совсем задергали.

Придержав чуть не свалившиеся с носа от неожиданности очки, Алексонене отпрянула от ее стола, вышла из комнаты. Жаловаться побежала? Ну и жалуйся! Из всех этих косых взглядов, ничего вроде бы не значащих слов, улыбочек незаметно сплетается сеть, попадешь в нее и уже не вырвешься… Алексонене вернулась, снова

что-то спросила, но Антонина в ответ только зажала глаза ладонями.

Скорее озадаченные, чем испуганные, сотрудницы сгрудились возле ее стола: всегда готовые глазеть на нечто необычное, а если потребуется — и сочувственно пошмыгать носами. Алексонене, которая держалась в сторонке, разогнала женщин по местам, но они тем временем уже успели выложить Антонине тысячу советов, соболезнований и пожеланий. (…Может, не убереглась?.. Ох, уж эти мужики!.. Мало ему троих… Всякое бывает… А если просто нервы?.. Подлечиться бы тебе… Говорят, гипноз здорово помогает… Отдохнуть надо, отдохнуть… В Паланге, Друскининкай… В Друскининкай воздух из одних ионов — не хуже, чем в Швейцарии… Ей бы от муженька да детей оторваться хоть на недельку, и никаких ионов не нужно!..)

Шушуканье и сочувственные вздохи окружали ее со всех сторон, словно уличная толчея, в которую она так неудачно нырнула вчерашним утром. Как бы скорее выбраться на надежный берег? Шепоток подруг — будто бальзам на саднящие раны — в нем нежность и понимание. Едва удержалась — так захотелось открыть им свое сердце, пожаловаться… и неважно на ко-

го — на Фердинандаса ли, на детей, или даже на затянувшийся в их конторе ремонт: как увидишь ободранные изразцы, пахнущие известью, заляпанные подмости…

Отсутствующим взглядом уставилась в окно — только бы не выдать себя, не пасть в их мнении еще ниже, не превратиться в тряпку, о которую каждый может вытирать ноги… Стыли широко открытые глаза — синеватые стекляшки, готовые рассыпаться осколками слез. Антонина чувствовала себя униженной и жаждала покоя не потому, что устала, просто хотелось спрятаться ото всего, что лишает уверенности в своих силах — главного стимула жизни, без которого не просуществуешь и дня.

— Девушки! Начальство! — зашипела, ворвавшись в комнату, Алина. Возникло оживление, сравнимое, пожалуй, с влетевшим в окно ветерком, несущим и запахи первой зелени лип, и бензиновую гарь улицы. Сумки с бутылками и клубки шерсти со спицами исчезли, словно их тут сроду не было. По стенам запрыгали солнечные зайчики от зеркалец — в одно мгновение изменился облик женщин — аккуратнее стали прически, на кофточках исчезли лишние складки, заблестели туфли. Так вот где пропадали они

в последнее время — по парикмахерским бегали! А это еще что? В стакане чудом появился желтый, как огонек свечи, тюльпан.

Алексонене, заботливая Алексонене, и Антонине подала знак: причешись. Граяускене аж взмокла от волнения и неловко пригладила волосы ладонью. Сойдет? Белоснежно сияла Алинина блузка, от машинистки несло духами, наверно, целый флакон на себя опрокинула. Вот проныра, подготовилась! Именно так выглядела секретарша в недавнем фильме с Лоллобриджидой.

— На-ка! — Алина сунула тюбик с губной помадой тощей Мальвине. — Не подмажешь — не поедешь… Тихо, девочки, работаем.

Она, действительно, ждала этой минуты и была в полной боевой готовности. Из угрюмой брюзги превратилась в этакую неземную фею.

— Значит, трудимся? Так, так. Работайте, работайте, не буду вам мешать. — Голос глуховатый, но приятный. Он очень подходил этому мужчине. И не подумаешь, что начальство. И лицо приветливое. Правильные, не резкие черты, усики. Запоминающееся лицо. Хорошо пошитый серый костюм сидел на нем ладно, делал его выше и стройнее.

Несколько громче, чем следовало, игриво

рассмеялась Алина, в паузе между двумя впечатляющими очередями своей машинки. Только бы не зафыркала Путравичене! Весь концерт испортит.

— А как же, трудимся, — отозвалась Алексонене. Обычно хрипловатый от сигарет голос ее звучал на сей раз чисто. — Торопимся — конец квартала.

— Ну, а вы? Как вы себя чувствуете? Если не ошибаюсь, товарищ Граяускене?

Антонина подняла побледневшее лицо, она бы встала, но прямо над ней топорщились усики на улыбающемся гладко выбритом лице.

— Сидите, сидите, — еще бы чуть-чуть, и его рука легла ей на плечо. Ныла задранная шея — Антонина не смела шевельнуться, отодвинуться вместе со стулом, как-то поудобнее устроиться — двинешься, а тут, не дай бог, графин опрокинется или чернильница… Значит, нажаловались? Начальник отвел от нее взгляд, уставился в окно. Что ответить? Нельзя же молчать, невежливо. Ну скажи: очень хорошо себя чувствую… А если голос выдаст? Может, про колокольню что-нибудь, раз он смотрит? Приятный, мол, вид… Любуешься на нее и не замечаешь высоты… Нет, это неудобно — про какую-то церковную башню…

Нынче все стали знатоками архитектуры, даже ее Фердинандас, никто уже костел костелом не назовет — «архитектурный памятник»… Нет, все равно неудобно. Шея у Антонины совсем онемела, холодные иголочки покалывали спину. Такой униженной, такой несчастной себя чувствовала… А ведь не шастала как другие-прочие по парикмахерским да портнихам.

— Слышал, хотите взять внеочередной отпуск? — начальство не заинтересовалось красотами святой Катарины. Антонину кидало то в жар, то в холод. Новый руководитель понимал, что она чего-то очень стесняется, но относил это за счет производимого его особой впечатления, что даже доставляло ему удовольствие. Женщина упорно молчала, поза у нее была неловкая, неестественная, и он снова отвел взгляд, на сей раз зацепил глазами трещину в стене. — Хм… Когда же тут в последний раз ремонтировали?

Когда ваш предшественник объявился, тот самый, которого мы в октябре проводили к месту последнего успокоения… Антонина вздрогнула, словно осмелилась произнести эту фразу вслух. Ничего подобного. Губы плотно сжаты, даже почти не дышит. Какой внеочередной отпуск? Декретный — понятно, а внеочередной? Не про-

сила я ничего! Неужели хотят культурненько избавиться? Нет-нет, вон и Алексонене ей ободрительно подмигивает, хитро, но дружески. Ее рук дело? Ах, да отстаньте вы все! Не просила я! Ничего мне не надо.

Сейчас, когда новый начальник отвернулся и хмурясь изучал трещины в штукатурке, словно это нечто очень важное, Антонина было осмелела, чего я, дескать, молчу, как немая? Но продолжала упорно смотреть в одну точку — упрямо и даже враждебно, хотя внутренне испытывала к этому молодому человеку чуть ли не жалость — ведь какая ответственность на него свалилась, вот и вынужден изображать чуткого и строгого руководителя.

— Лет семь не было, — хрипловато проговорила Мальвина, всегда бледное и строгое ее лицо сейчас пылало.

— Ай-яй-яй! Скверно. — Мужчина, словно мальчишка, замотал головой, должно быть действительно, недоволен, не любит беспорядка — подтверждение этому наглаженные брюки, серые нейлоновые носки с ромбиками, короткая стрижка и аккуратно подбритые усики. Антонине понравилось, как он тряс головой — словно категорически отметал всяческую запущенность;

может, и у нас наведет наконец порядок? Но почему же ты молчишь? Он же не к Мальвине обратился, к тебе. Вот и пропустила случай показать, что не трусиха и не последняя дура. Чего боишься? Бухгалтеры везде требуются, хоть бы и без стажа — вся последняя страница «Вечерних новостей» забита объявлениями. Впрочем, дело не в этом. Ведь с тобой заговорил, не с кем-нибудь другим! Антонина ощутила гордость, но тут же засомневалась: наклепали ему, вот и… И опять насупилась. Никому нельзя верить.

— Да-а… Скверно. Непорядок. — Меж бровями обозначилась сердитая морщинка; конкретно никому не поставив «на вид», на всякий случай нагонял страх… Здесь тоже проглядывала неопытность в обращении с подчиненными, и Антонине подумалось: ох, нередко придется ему у нас хмурить брови, еще так неглубок оставленный морщинкою след. Под строгостью будет он скрывать свое недостаточное понимание человеческих взаимоотношений, стараясь не вникать в них, а то и просто обходить сторонкой, и раздражаться будет, что это не удается. Доброжелательность и неопытность плохо совместимы. Он еще раз тряхнул головой, словно поудобнее укладывая в ней бремя руководства, неожиданно

на него свалившееся. Крепкие плечи, крепкая неприятно розовая шея. А вот короткий ежик пепельных волос вызывает желание погладить, наверно, мягкие-мягкие. Антонину бросило в жар от этой глупой мысли.

— Ну что же, пишите заявление, рассмотрим. — Деловито приподнял манжету, глянул на свои большие модные часы — золотые или только позолоченные? Делает вид, что торопится. Она почти ждала этого жеста, ее даже возмутила собственная проницательность. А начальство поспешило прочь, лавируя в узком проходе меж столов, обескураженное ярким румянцем Граяускене, который показался ему излишне горячей благодарностью. Антонина осталась сидеть, не меняя позы, и лихорадочно думала: какое такое заявление ему нужно?

— Напишет, не беспокойтесь… Товарищ Граяускене хороший работник, только не из бойких, — поддержала и одновременно упрекнула ее Алексонене.

Возникшей тишиной воспользовалась Алина — виртуозно забарабанила на машинке.

— Она у нас по слепой системе печатает, — Алексонене даже Алину похвалила, хотя недолюбливала ее — заботливо прикрывала своих,

словно наседка цыплят.

Начальник остановился, обернулся.

— Между прочим, у кого есть какие-нибудь предложения по поводу улучшения нашей работы, прошу заходить. — Голос прозвучал угрюмо, что явно противоречило приглашению. — Без церемоний, как к товарищу, ведь мы коллеги.

Путравичене не сдержалась, испорченный кран, фыркая, брызнул водой, с ее стола разлетелись бумажки. Все осуждающе уставились на нарушительницу спокойствия. Начальство тоже повернуло к ней хмурое, еще такое молодое лицо. Он стоял около столика Алины, и она не сводила с него своих наглых, оттененных зеленой краской, выжидательно расширенных глаз. Да ведь он потому и напускает на себя строгость, потому неловко себя чувствует, что побаивается женщин! — огорчилась и одновременно обрадовалась Антонина, поняв его состояние.

Явно дольше, чем требовалось, задержался он возле Алины. Машинка стрекотала с пулеметной скоростью. Короткая пауза, перевод каретки, и накатывается новая очередь, как морская волна, атакующая прибрежную дюну. Антонина вцепилась в край стола, чтобы унять дрожь в руках. Они так плясали, что могли оторвать от

стула отяжелевшее тело и понести его бог весть куда. Ей казалось, что она просто обязана догнать молодого человека и, как сына, предупредить его о грозной опасности. Ох уж эта Алина!

Дверь затворилась. Тихо и нерешительно, казалось, человек постоит, постоит за ней и вернется. Опять какая-то несправедливость, которой не должно быть…

— Ну, как, девочки, по зубам нам этот орешек?! — Алина победоносно передвинула каретку. Ее выщипанные бровки никогда еще не казались Антонине такими опасными — две ниточки на маленькой змеиной головке. И вправду, змея, гадючка… В комнате повисла многозначительная тишина. Путравичене вновь зафыркала. Алина положила свои цепкие худые пальцы на клавиатуру машинки — сквозь нейлон просвечивала нежная кожа рук, смело торчала небольшая высокая грудь. У Антонины защекотало в горле — вот-вот не сдержится, захохочет или разревется; и будет смеяться или плакать до тех пор, пока Алексонене силой не заставит ее умолкнуть. Отдохнуть… отдохнуть… отдохнуть…

Заявлений в администрацию и местком было недостаточно. Чтобы получить путевку, надо оформлять курортную карту. Выяснилось, что

Антонина уже лет пять не показывалась врачам. Что за безобразие, товарищ Граяускене?! Непорядок. То не могла урвать минуту, чтобы поставить пломбу, а теперь пришлось часами маяться в коридорах поликлиники. Когда последний раз делали флюорографию? Десять лет назад? Вы что, с луны свалились? Холодные пальцы безжалостно ощупывали и мяли Антонину, кажись, ни кусочка нетронутой кожи не оставили. Она не удивилась бы, найди они у нее даже рак — до такой степени устала и так безразлична была к себе самой. Осталось посетить еще один кабинет, и соцстраховская путевка — семьдесят процентов скидки! — ее.

— Завтра мне к психиатру, — кинула вечером мужу, как бы между прочим, а на самом деле, едва живая от волнения, любых медиков боялась, а уж психиатра… Ее Фердинандас играл на ударных в ресторанном оркестре и потому считал себя творческим работником. Антонина всегда старалась дать ему возможность отдохнуть, ничем не нарушать его покой. Но ресторан закрыли на ремонт, и отдых мужа здорово затянулся. В расстегнутой рубашке, выбившейся из брюк, со спущенными лямками подтяжек, он полулежал в кресле, по крупному обрюзгшему лицу бегали

отсветы от включенного телевизора.

— Погоди, потом, — отмахнулся Фердинандас; казалось, голова совсем вросла в плечи, а сам он — единое целое с мягким креслом. Все внимание — на вспыхивающий экран.

— Послушай, Фердинандас…

Внезапно включенный ею яркий свет заставил мужа заморгать, но глаза были упрямо уставлены в телевизор.

Наверно, недельная уже щетина… Она вглядывалась в Фердинандаса тем же острым, проницательным взглядом, который недавно помог ей угадать причину деланной суровости нового начальника. Тяжелые руки безжизненно свисали с подлокотников, забыв, вероятно, обо всяких ритмах — ведь в квартире у них не сновали с подносами официанты, не топтались с девчонками по паркету лысоватые командировочные. Набрякшие, незнакомые, чужие руки… Одень его сейчас в накрахмаленную ею же рубашку с бабочкой, в синий бархатный пиджак — все равно остался бы чужим. Господи, отчего это я к нему безжалостнее, чем к другим-прочим?

— Выдалась у человека свободная минутка, а ты… — Фердинандас поежился под острым, изучающим взглядом жены.

— Ты что, не слышишь? К психиатру меня направили.

— Ерунда. — Фердинандас Граяускас не желал иметь дело с лишними заботами и неприятностями. Его гораздо больше интересовал фильм, а странное поведение жены мешало смотреть. Куда девалась ее обычная чуткость?

— Если не расслышал, повторю: меня направили… — Прежде Антонина никогда не лезла на рожон, избегала ссор, и то, что она сейчас упорно тормошила мужа, пугало ее саму.

— Ну что заладила — к психиатру, к психиатру! Долбишь, как дятел. Есть время, ну и сходи. Только денег ему не суй.

— Не в силах я больше так, Фердинандас! Работать не в силах. — Нервы совсем расходились, не могла сдержаться, хотя понимала, что сейчас даже малейшая ссора собьет с ног…

Непривычно бледное, без кровинки лицо жены насторожило Фердинандаса. Что-то шевельнулось в этой разжиревшей груди. Он испуганно поднял на Антонину глаза, сполз с кресла, потянулся и выключил телевизор.

— Сходи, разве я возражаю?

— Возражай не возражай… Да и что ты можешь возразить?

Она видела его насквозь, как недавно — всю подноготную нового руководителя. Видела не таким, каким хотел начальник казаться, а каким был на самом деле — незащищенным, что посеяло в ее душе еще одно беспокойство: ох, не устоит человек перед этими наглыми бровками на хищной змеиной мордашке!.. Ладно, Фердинандас, говори, что хочешь, только не молчи. Знаю тебя, как облупленного, привыкла к постоянным отговоркам: лишь бы не забивать себе голову чем-то серьезным. Бог с тобой. Даже легче все вынести, когда знаешь, что удар придется по тебе одной. И все-таки, подумалось, все-таки было бы ей лучше, сделай он хоть вид, что волнуется, жалеет… Вот ведь, о самой себе думаю, словно о постороннем человеке.

— Знаешь, что со мной на работе творится? Хохочу беспричинно, реву при всех.

— Нервишки. Надо укреплять нервную систему. Спасибо еще, что не творческим трудом занимаешься. Никто тебе не завидует, не подсиживает. Молокососов этих с консерваторскими дипломами развелось — пруд пруди, — голос у Фердинандаса низкий, говорит он внушительно, тягуче, словно перед собравшимися на репетицию оркестрантами, и с сожалением понимает,

что слова его до жены не доходят.

— Мне так страшно, Фердинандас… Самого названия — психиатр — боюсь!

В былые времена взял бы ее руку, поцеловал. Правда, и прежде не умел успокоить, утешить, тем более принять на себя тяжелую ношу. А все-таки погрустили бы вместе, посидели обнявшись, и пусть не избавил бы он ее от заботы, глядишь, легче бы стало. А теперь я ему только помеха, не даю спокойно отдыхать. Вот и снова включил свой телевизор, спасибо, не так громко, как раньше, — совесть заговорила. Какие-то крохи нежности и понимания все-таки еще остались. Все глубже погружался Фердинандас в свое кресло, чуть не лежал в нем, упираясь шлепанцами в ножки столика. Ее всегда сердило, когда столик ерзал и царапал пол, но на сей раз Антонина промолчала. Хоть немного, а посочувствовал…

Она все еще ждала чего-то, стоя перед мужем и заслоняя ему экран. Он терпел — не фыркал, не шлепал себя, как обычно, с досадой по колену. Чего уж там, Фердинандас, не стесняйся! Ведь не ты, а я иду к психиатру! Услышала свой выкрик, представила, как он испугался — ох и испугался бы! — смолчала и занялась делом. Поставила на газ кастрюли с водой, замочила

белье — носовые платки, рубашки, отдельно носки и чулки. Постельное в последнее время сдает в прачечную — нету больше сил. Послезавтра надо получить. Куда это я сунула квитанцию? Целый ворох обнаружила в вазе — демисезонное пальто Виганте в чистке, ботинки Витукаса, подписные квитанции на газеты. Ага, вот и прачечная. Полистала книжечку жировок. За апрель еще не плачено — счетчик, наверно, уйму накрутил — много гладить пришлось. Влетел Витукас, швырнул свой портфель, не услышав ее сердитого замечания, уставился на мать светло-голубыми, но уже не до самого дна прозрачными глазами. Ладно, не стану ворчать, ругаться, как всегда. Интересно, как он отреагирует?

— Мам, есть хочу!

И не побегу, как угорелая, на кухню. Не умрет с голоду. Пусть подумает кое о чем, пока не набил брюха, подумает о том, о чем обещал мне никогда не забывать.

— Давай есть! Есть!

Проголодался. Ребенок он и есть ребенок… Хотя дети порой ранят больнее, чем взрослые, от которых уже ничего не ждешь, а на детей еще надеешься. Ладно, не буду его пилить. И все-таки не утерпела:

— Что в школе?
— Нормально. Стоит.
— Кто стоит?
— А школа. Что ей сделается?
— А тебе?
— Мам, я спешу!
— Куда это?
— В кино! На «Фантомаса».
— Детей-то не пускают.
— Пустят.

Сын звонко рассмеялся. В глазах мелькнуло что-то озорное, как у Фердинандаса в молодые годы. Да, будет молодым, потом — еще не старым, а потом…

Она поймала себя на мысли, что прежде никогда так о сыне не думала, но угрызений совести не почувствовала. Нет, и к своим надо относиться критически, знать им цену, а то засмеют, затопчут. Пусть и самые близкие… И так уж затоптали — к психиатру идти!

— Написано: до шестнадцати лет.

— Не маленький! — Он снова засмеялся, забыв о том, о чем обещал помнить всю жизнь.

Может, и вправду уже не маленький? И она поздно хватилась? Умнее нас с Фердинандасом? И нет в нем никакой жалости? Но ведь так ребя-

чески чмокает еще губами, когда ест… Нельзя же требовать с малыша, как со взрослого.

— А кто же Расяле приведет?

— Виганте.

— Она-то еще когда вернется.

— Ну и подождет Расяле, привыкла.

— Плохо мне, сынок. Болею. Сама не знаю, что со мною творится…

Может, поймет, раз такой большой?

— А почему к врачу не сходишь? Сходи! — Он уже ухватился за дверную ручку. Какое-то мгновение помешкал, отводя глаза.

Господи, зачем я его пугаю. Ребенок же!

— Нигде не шатайся! После кино сразу домой.

Убежал. Но дверью, как обычно, не хлопнул. Прикрыл осторожненько. А все же убежал. И правда — не маленький уже? Плаванье очень мускулы развивает. Плаванье? Бокс у него теперь. Научился в бассейне кое-чему, на разряд готовили, а он возьми и переметнись на бокс! Сколько ей это его плаванье стоило. Сама за руку водила. Всегда считала — красивый, благородный вид спорта. Красота была для Антонины одним из важных компонентов того лотерейного билета, по которому надеялась она выиграть. Стояла и продолжала смотреть на прикрытую

сыном дверь, предчувствуя не одну еще будущую утрату.

Зачем пустила? Так все равно не послушался бы. А кричать — нету больше сил. Сама себя не узнаю. Черт знает, о чем беспокоюсь — Алина да новый начальник, а дети от рук отбиваются. Расяле еще в садике… Вынуждена Виганте дожидаться. Не ладят между собой сестры, хотя почти десять лет разницы. Придет домой зареванная. С младшенькой была связана еще какая-то забота, что-то необходимо было сделать. Ах да, к зубному свести! Пластинку надо поставить — плохой прикус. Девочка как-никак — для нее это важно. В самом деле важно? И оглянуться не успеешь, догонит Расяле старшую сестру… А Виганте? Когда девчонке семнадцатый год и она забрасывает учебу, не желает заниматься музыкой… Мать с неприязнью покосилась на пианино — целую стену занимает, торчит, словно надгробие, словно памятник ее тайным надеждам. У Виганте абсолютный слух, а вот — не желает! И с французским у нее не очень ладится — произношение трудное. Чего же ей надо? А надо ей новое пальто, и чтобы самое модное. И белье тонкое, импортное, и шикарные туфли. И чтобы к подруге на день рождения пойти с дорогим

подарком. Ладно, никто не заставляет тебя быть профессиональной пианисткой, но разве так уж плохо для девушки — уметь играть, обладать вкусом, быть скромной? Или возьми французский? Плохо? А что хорошо? Дикие вопли под гитару, лохматые мальчишки — не разберешь, он или она. Накипь все это, пена, мыльные пузыри — они очень скоро лопнут, а годы, лучшие годы будут уже позади. Дочерям-то отмерено времени меньше, чем сыновьям. Кто знает, сколько еще осталось ей погулять? Антонину передернуло. Иной раз Виганте сама так на нее смотрит, будто догадывается об этой быстротечности… Замирает сердце. Ждешь — вот-вот уткнется тебе в грудь, погладишь как бы невзначай ее волосы, и она все расскажет тебе, ничего не утаит… Ждешь, да так и не дождешься, рассердишься, или рука, стиркой распаренная, приласкать не поднимается. Орешь на нее: распустеха, и не постирает на себя, и туфли не почистит, а ведь любит франтить. А она тебе — в ответ… Нет, немила я своим детям. Виганте уроки готовить к подружке ходит, Витукас схватит кусок и скорее норовит за дверь шмыгнуть… Интересно, психиатру и про детей надо будет рассказать? Говорят, они не только о взаимоотношениях с детьми расспрашивают, но

и как с мужем живешь… часто ли, с охотой… Есть такие бабы, они про это и врачу, и кому угодно… А из меня он клещами не вытянет! Думаешь, не вытянет? Все за милую душу сама выложишь. Терапевта, глядишь, и обмануть можно: мол, болит голова и все, хоть она и не болит, а психиатра на мякине не проведешь! Да и зачем тогда на прием к нему собираешься, если не хочешь ничего рассказывать? Что делать — надо. Вот и идешь, как яловая телушка на бойню. Что это шипит на плите? Да это же завтрашний суп! Антонина бросается в кухню, уменьшает огонь, сдвигает крышку, снимает шумовкой пену. Попробовала, добавила соли. Все тебе надоело, все опостылело, а над завтрашним обедом трясешься, как будто ничего нет дороже… Что тебя, человек, иной раз от животного отличает? И тебе главное — чтобы жратва была. И не единожды в день — а трижды.

— Тоня, — доносится до нее из столовой, — иди, посиди со мной. Тоскливо что-то одному.

Дошло наконец, куда я завтра собираюсь? Совесть заговорила? Или понимает, что я его насквозь вижу? А, да не выдумывай ты невесть чего:, просто скучно ему стало. Фильм кончился — и все дела. Когда по телевизору ничего интересного, Фердинандас и вспоминает обо мне.

— Некогда. Белье замочила. Сейчас Виганте с Расяле явятся. Покормить надо.

— Все дети да стирка… А я? Обо мне никто не думает.

— Погоди. Управлюсь с делами…

— Твоим делам не будет конца. Таскался бы я по пивным, как другие мужики, хвостиком бы за мной бегала.

Что верно, то верно — по пивным да забегаловкам, слава богу, не шляется. Еще недавно такой аргумент растопил бы ледок, присела бы рядом, благодарная, растроганная. Гладила бы его поредевшую шевелюру и думала про себя, что не так уж плохо прожили они свой век, что если потребуется — устанут друг от друга или еще какая беда случится — они сумеют в четыре руки разгрести засыпающий их песок повседневности и откопать то, что всегда остается для них двоих самым ценным. Правда, Антонина уже не ведала, что именно осталось, боялась думать об этом.

— Я же говорила тебе, а ты все не можешь понять. Завтра…

— Завтра — это не сегодня. Кто знает, что будет завтра? — Фердинандаса хлебом не корми, дай пофилософствовать на отвлеченные темы. — Идешь ты, к примеру, по улице в отличнейшем

расположении духа, а из переулка — машина… Завтра — это вроде далекой планеты. А что нам доподлинно известно о далеких планетах?

Резко ударил в уши и болью отозвался в затылке милицейский свисток. Антонина зябко поежилась. Вновь ощутила под ногами скользкий асфальт, черный, отполированный, увидела яркую белую полосу на нем. И не оштрафовал. Почему? Ой, до чего же все невмоготу! Жизнь как пополам перерезана. Страшно. Заглянешь в прошлое — словно в могилу… А еще страшнее завтрашний день. Ведь никаких надежд… А дети? Твои дети? Не знаю, ничего не знаю, никому не верю… От резкого свистка все внутри сотрясается, вибрируют мозги. Сейчас закричу. И не услышат ни дети, ни Фердинандас. Может, собрать эти тарелки и… Господи, да неужто на меня и здесь находит, как на работе? Антонина отворачивается от горы тарелок, которые мысленно уже расколотила. Ватные, дрожащие ноги непослушно ступают, словно по осколкам. В столовой бессильно присаживается на подлокотник кресла. Сказать мужу про тарелки? Перепугается, а понять — все равно не поймет. Он и позабыл-то уже, что звал ее — по экрану скачут рисованные фигурки. Машинально кладет ладонь ей на ко-

лено; пальцы отечные, как вареные сардельки, ногти давно не стрижены. Когда-то от прикосновения этой руки становилось так хорошо, так покойно на душе. И руки Фердинандаса и лицо — все казалось надежным, словно его барабан — неказистый, но гулкий, бодрый. И мечты его — кончить консерваторию и бросить халтуру в оркестре — тоже казались осуществимыми. Тогда у них еще никого не было, но и после, когда уже появились Виганте с Витукасом, она долго связывала свои надежды не с ними, с Фердинандасом: все, что должно было произойти в ее жизни, не могло случиться без его участия. Время шло. Он как-то самоустранился, не то чтобы разочаровался — просто стал равнодушным. И это было больнее всего. Ведь я его люблю. Все еще люблю. Может, от безысходности — сильнее, чем раньше. Не потому ли надоела ему?

— Посидела бы минутку, отвлеклась…

Совет был великолепен. Особенно накануне визита к психиатру. Она сняла с колена его руку, и от этого вроде полегчало. Сбросить бы вот так же все, что давит, гнетет. Скинуть с себя одежду, закрыть глаза и дышать всем телом!.. Что за дурацкие мысли лезут в голову. Догадайся Фердинандас, о чем я думаю — вот бы удивил-

ся. Да разве догадается! Увы. Но он мне муж, и я его по-прежнему люблю. Да, давно пора уже отправляться к психиатру. Сколько уж времени не нужен мне был Фердинандас, а тут…

Она погрустнела. И ей стало жалко мужа, хотя ему и не грозила беседа с психиатром.

Зазвонивший телефон смахнул все глупые мысли — осталось лишь предчувствие какой-то неприятности.

— Товарищ Граяускене? Мы уже давно кончили работу. Добрый час тому назад кончили.

— Ради бога, извините! Разве Виганте не зашла?

— Может, вы считаете, что мы должны и вашу старшую воспитывать? Уж увольте! У нас свои дети есть.

Антонина умоляюще глянула на Фердинандаса. Тот выпрямился в кресле, заправил было рубашку, натянул одну лямку подтяжек, потом другую. Но не встал.

— Сбегай-ка сама, Тоня, — отвел глаза, красные от беспрерывного телевизора. — Сейчас будет открытие футбольного сезона — тбилисское «Динамо» с московским «Спартаком». Такая должна быть игра! Да, и возьми на обратном пути бутылочку «Жигулевского», ладно?

Доктор был худощав и темноволос, пристальный взгляд пронзительных, глубоко запавших глаз смягчали пушистые брови и острый, свисающий к губе нос. Конечно, психиатр должен быть черным, как вороново крыло, не белокурый простак — какой-нибудь участковый врач. Короткий, без пуговиц и завязок халат. Важно лишь то, что угадывается за глыбистым лбом и в остро поблескивающих глазах. Если такой спросит — выложишь, как на исповеди. Но страшные вопросы, которых с ужасом ожидала Антонина — уж скорее бы! — так и не последовали. Сначала ей показалось, что тут какой-то подвох, но вскоре она поняла: доктору известно про таких, как она, куда больше того, чем, сгорая от стыда, могла бы она ему рассказать. Видно было, что он давно устал от этих исповедей… И от шума. Подумать только — и здесь шумно, здесь, где, казалось бы, должна властвовать абсолютная тишина! — так нет: поскрипывает паркет за дверью, что-то, как весенняя шуга на реке, все время шуршит в коридоре, за окнами какая-то стройка, на столе то и дело дребезжит телефон. А ведь все угадал про нее: и что ждет страшных вопросов, и что сжалась вся, будто ее сейчас, среди бела дня, разденут донага — угадал и хмыкнул: я ведь не кусаюсь,

уважаемая. Не слова — внимательный взгляд, наклон головы внушили доверие, разомкнули сведенные судорогой губы. Антонина извинилась. На что жалуетесь? Ох, если бы можно было в двух-трех словах… Ну, тогда бы вам и незачем приходить ко мне. Не так ли? Начнем… С чего же, доктор? Да забудьте вы, пожалуйста, что я врач… Не смогу коротенько. А меня интересует не краткость, а здоровье ваше. Не будь на нем халата, чем-то запятнанного, с отвислыми карманами, она бы и впрямь поверила, что говорит просто с добрым и чутким человеком. Ладно, — он полистал историю болезни Антонины Граяускене. — И все-таки, что вас волнует, раздражает? Автобусы, очереди, дети? Успокойтесь, рассказывайте, и все. Она кое-как настроилась, но в кабинет ворвалась пухлая женщина с крашеными волосами, в щегольски накрахмаленном халатике. Надо подписать… Вы забыли подписать протокол, доктор! А как вам понравилась острота профессора? Он, говорят, во время обхода… Большое спасибо за напоминание, я уже подписал. И попрошу вас в приемные часы… Женщина вздернула голову, круто развернулась, подняв облачко крахмальной пыли, и выскочила за дверь. Местком. Вы уж извините. Слушаю вас. Что же тревожит? Не

знаю, как сказать, доктор, скорее всего люди, каждый новый человек. И тошно становится, когда пристают с вопросами о самочувствии, советуют, как лечиться. Женщины? Нет, и мужчины тоже. Знаете, есть такие, не слишком мужественные, что ли. На щеках у доктора собрались морщинки, разбежались по лицу, улыбнулся. И давно у вас такое чувство, что вы лишились равновесия… покой потеряли? Он подыскивал самые точные слова, и Антонина совсем успокоилась, поняла, что не следует обращать внимания на верещание телефона, на металлическое чудовище за окном, которое загоняло в землю сваи. Да, доктор, уже довольно давно. Кажется, что шагаешь по песку. И вязнешь все глубже и глубже, не соображая, что происходит. Я никому еще об этом не говорила, даже думать не смела, пока недавно, на улице… Нырнула на мостовую, поскользнулась, а милиционер свистит… Ну вот, видите, вы все прекрасно помните! Доктор сидел перед ней, прикрыв глаза, чтобы не смущать ее. Вы только не волнуйтесь, успокойтесь… А она снова разволновалась — показалось, будто чем-то разочаровала собеседника, хоть он и улыбается доброжелательно. Нету в моей исповеди ничего интересного? Или не верит он мне? Уже рассказав о недавнем

происшествии, подумала, что слишком много значения придает ему. И сейчас, и тогда, когда милиционер засвистел, и на работе, и дома, осуждая Фердинандаса за нечуткость… А такой умный человек не мог не заметить ее преувеличений. Разница между фактами и реальным их значением теперь, в присутствии доктора, показалась ей слишком большой. Зачем так остро реагировать на пустяки? Эта мысль удручала ее; может, я в самом деле психопатка? Сумасшедшая? И она умолкла, будто застыдилась лжи. И доктор тоже молчал, ничем, правда, не показывая своего неудовольствия. Ну, а бывают в этом вашем состоянии перерывы, промежутки, просветы, что ли? Он как-то по-птичьи склонил голову к плечу, словно шея устала держать ее прямо.

Не знаю, что и сказать, доктор. У меня сейчас такое чувство, будто я, ваша пациентка, один человек, а та, у которой все в голове путается, совершенно другой… И что ни скажу я про себя, будет как бы неправдой… Ничегошеньки не знаю. Антонина знала, но не находила в себе сил признаться во всем откровенно. Порой чудилось ей, что спокойный период ее жизни прошел, миновал, как детство, к которому нет возврата, но лишь вспомнишь о нем, и поднимается в

душе добрая мирная грусть, и хочется еще внимательнее быть к Фердинандасу, к детям, сильнее любить их, хотя она и так целиком отдает себя семье. Вот и все. И есть ли смысл делиться такой ерундой с серьезным человеком, у которого, должно быть, и своих забот хватает? А может, спокойствие ее заключалось в этой всегдашней беготне с тяжелой сумкой в руках, в заботах дать детям дополнительный шанс, а она не умела ценить свое спокойствие? Не утомила я вас? Нет-нет, мне очень интересно все то, что вы говорите. Психиатр узкой белой ладонью разгладил на пластике стола газету. А цветы вы любите? Цветы? Она не могла взять в толк, о чем он спрашивает. Цветы, цветы, он повел глазами в сторону окна. На подоконнике в вазочке стоял красный тюльпан; она давно заметила его и нет-нет да и поглядывала. Лепестки уже раскрылись, скоро опадут. Но откуда доктору известно про ее тюльпан? Кто ему сказал? Я ведь никому ни словечка… У нее даже во рту пересохло, она беспокойно заерзала на стуле, но встать не смогла — ноги отказали. Тюльпан, один-разъединственный тюльпан… А ведь с него все и началось. Простите, доктор, совсем забыла… Может, воды? Вам, кажется, плохо. Не рассказывайте, если трудно. Нет, я должна!

Сын, понимаете? Первый раз в жизни Витукас подарил мне цветы… Один тюльпан. Такой же, как вон тот. До чего же приятно было! Обрадовалась, даже не спросила, на какие деньги купил, — весной-то они дорогие. Оказалось — украл!.. Их класс был на практике в оранжерее, и он… он украл там… сорвал тайком… И вы так расстроились, что шагнули на мостовую? Врач удовлетворенно откинулся на спинку кресла, легко, понимающе кивая головой. В глазах темно стало, доктор, как деревянная — ничего не вижу, не слышу… Считаете — не украл? Просто взял?.. Я склонен думать… Если ребенок еще не понимает… Нет, доктор, он все понимает! Вчера сказал — я уже не маленький. А раз не маленький, значит, украл! Если бы Фердинандас выдрал его, когда мы узнали, где он взял тюльпан, может, было бы мне не так тяжело. У нас в семье никто никогда чужой пылинки не тронул! Фердинандас-то отругал Витукаса и забыл обо всем, а я… Кто такой Фердинандас, спрашиваете? Муж. Он у меня музыкант, — Антонина смутилась, — на ударных в оркестре… Разве барабан нужен меньше, чем флейта или виолончель? И сама удивилась — чего это так горячо кинулась его защищать, ведь только что говорила с чужим человеком о том, какие у нее

скверные сын и муж?.. А, так дома у вас собственная музыка?! Что вы, заявится домой и сиднем сидит у телевизора… Сиднем сидит?.. И давно вы из деревни?.. Давно. Еще девчонкой была, когда мама нас оставила сиротами. Отец хозяйничать не умел, распродал все. Мама-то у нас была хозяйственная, справедливая и очень осторожная… Как это понимать — осторожная?! Антонина уже не слышит ни уханья «бабы» за окном, забивающей сваи, ни телефонных звонков — рука доктора лежит на трубке и сразу приподнимает и опускает ее на рычаг аппарата… Лишь бы не подумал, что я хочу смягчить вину сына и свою… Нет, не подумает — он человек умный и терпеливый. Осторожная? Ну, понимаете, не очень-то доверяла мама людям… А вы? Я… Я почти никого не вижу — муж да дети… И на работе — в четырех стенах. Какой-то безразличной становишься, а то начинаешь вдруг всего опасаться. А подруги есть?.. Все мы на работе подруги — семеро нас в одной комнате… Девчонкой со старшим братом дружила. Долговязый, белобрысый… И часто вы детство свое вспоминаете?.. Где там! Не до воспоминаний. Времени-то в обрез. А брата… Около деревни нашей была гора, ну не гора, холм, и водились там… привидения. Взял меня раз бра-

тец на закорки и потащил на тот холм. В самую полночь. Орали мы там, бегали, брат все спички зажигал. Вероятно, эти огоньки и казались людям привидениями. Антонина рассмеялась. Доктор тоже улыбнулся, опять побежали по щекам и лбу морщинки. В дверь нетерпеливо постучали. Он сердито отозвался: подождите, я занят. Но продолжал улыбаться. Вы не часто смеетесь? Когда уж мне смеяться, доктор, ни на что времени нет, честное слово. Верю, верю, что некогда, но разве можно жить без улыбки? Хмурый человек, как дом без дерева зеленого, без цветов… Понастроят домов, а деревце посадить лень. Вот и стоит дом голый, серый, как нежилой… Прямо, словно контора наша, согласно перебила доктора Антонина — спасибо новый начальник распорядился в яркие цвета покрасить, теперь как в кафе работать будем. Он что, из современных? Ценитель интерьера? Начальство есть начальство. Ему пальца в рот не клади… Снова дружно засмеялись. Вообще-то он серьезный, или скорее строгость на себя напускает, боится, что иначе уважать не станут. При старом-то спокойнее было. Жаль, умер, от рака… Почему спокойнее? Любил покричать, а с таким проще — дрожи знай, и все дела. А новый… Попросил предложения вно-

сить, советы… Можно бы кое-что и посоветовать, молодой, симпатичный, — Антонина улыбнулась, — а сам больше всего боится показаться добрым. Жалко его. Впрочем, какое мне дело. В ее голосе послышалась нотка досады. Понимаете — молодой, здоровый, красивый. Красивый? Ну не красавец, а бабам нравится — заглянет в комнату, и все семеро — будто их подменили, в женщин превращаются… И вы? И я… не отстаю… Только не подумайте чего, доктор, я к нему, ну, как к сыну, что ли… А брат ваш где? Тот, о котором так хорошо рассказывали. Встречаетесь?.. Брата давно нет… Можно спросить — где же он? На работы в Германию угнали, а после войны очутился в Бельгии. Мотогонщиком стал, разбился насмерть… Один наш сосед в деревне когда еще пророчил, что он плохо кончит — брат все его голубей ловил. И часто вы о брате вспоминаете?.. Стыдно сказать, доктор, но и о нем — времени нету. Так, так, закивал врач, и у меня война родителей отняла, а я вот тоже… редко. Он замолчал. В дверь сунулась чья-то возмущенная физиономия, но, повинуясь жесту хозяина кабинета, убралась восвояси. А тут заверещал телефон — настойчиво, требовательно. Свирепо схватил трубку. Начальство, — доктор прикрыл трубку

ладонью и подмигнул Антонине, — надо уважать и бояться, пусть и неохота. Он долго объяснялся по телефону, пытался возражать начальственному баску, спорил отчаянно, и Антонине было не по себе, что она вынуждена все это слышать. Встала, отошла к окну, снова села никому не нужная и чужая. Показалось, доктор забыл о ней. Наконец он бросил трубку, откинулся на спинку кресла и рассмеялся. Недаром говорят, что все психиатры сами чуточку того, мелькнуло у нее. А ведь нелегко и ему… Успели пожаловаться — слишком, видите ли, долго занимаюсь с одним больным. Черт бы их побрал, я ведь не штучным товаром торгую: плати деньги, получай и — следующий! Антонина встала. Было очень приятно поговорить… Но что у меня, доктор?.. Ничего страшного, милая. Просто вы слишком чувствительны. Кое-кто из моих коллег готов всех людей считать психопатами. Мол, таков уж наш сумасшедший век. Весьма удобная теория… Нервное перенапряжение — вот бич нашего времени… Вам следует сменить обстановку, отдохнуть. Чтобы перед глазами — другой пейзаж, другие лица… Даже пища должна быть другой, не такой, к которой вы привыкли. Нужно, чтобы вы вновь ощутили вкус еды. Готов идти на спор,

что вы сейчас совершенно не чувствуете, что едите! Точно, доктор, глотаю, не жуя… Да, ему бы она могла сказать все-все — склонил по-птичьи голову, смотрит усталыми, добрыми глазами… Такому даже про себя и Фердинандаса — охотно ли… И покраснела от этой мысли. А врач что-то вписывал в ее историю болезни… Нет, дорогая Антонина, надо хорошо жевать, а то язву желудка заработаете. Еда — одна из главных радостей жизни. Как солнце, свежая зелень, теплый дождь, как детство наше. Он подчеркнул слово «наше», будто и сам страдал от такой же, как и она, непонятной болезни… Так что же со мной будет, доктор? Поправлюсь я? Вы прямо скажите — я нормальная?.. Это смотря с кем сравнивать!.. Ну, скажем, с моим крикливым начальником?.. Доктор рассмеялся, морщинки снова побежали по лицу, но глаза оставались серьезными. У каждого свои заботы, подумала Антонина. В дверь опять сунулся нетерпеливый пациент. Вы относитесь к людям, которые умеют тонко чувствовать, но совершенно не жалеют себя. Не надо ничего бояться, не считайте себя обязанной перед кем-то, не считайте, что вы кому-то что-то должны. А тот… тюльпан?.. Ерунда. Надышитесь свежим воздухом, послушайте тишину полей, леса; по-

живите спокойно, вернетесь с курорта — самой себя не узнаете… Двадцать шесть дней — это же целая жизнь… новая жизнь!.. Казалось, он вслух мечтает о своем отпуске. Чем смогу я вас отблагодарить, доктор?.. Видите тюльпан? Беру взятки только цветами. Опять засмеялся. Вернетесь, заходите. Буду ждать.

Антонина шла по набитым людьми коридорам поликлиники, где довелось ей испытать много неприятных минут, — что стоят одни эти холодные ощупывающие пальцы. Теперь все! Словно гора с плеч. И нечего морочить себе голову мыслями о том, как управится Фердинандас. Сумеет же Виганте сварить молочный суп? А если умру или в психбольницу попаду, тогда как?

Правда, ни умирать, ни отправляться в сумасшедший дом Антонина уже не собиралась. Месяц покоя и отдыха — и сама себя не узнаю? Губы кривила недоверчивая улыбка, но ведь это сказал доктор, который знал про нее больше, чем она решилась бы сказать ему, сгорая от стыда. А совсем и не так уж стыдно, когда он доброжелательно слушает, склонив по-птичьи голову к плечу и свесив свой печальный клюв… Она уже почти ощутила свой будущий благословенный покой, почти осязаемо его чувствовала, как гу-

стую шерсть ягненка, под которой вздрагивает живое упругое тельце… Откуда это? Не из позабытого ли и вдруг воскресшего детства? Хватит, нечего себе голову морочить!..

II

И вот путевка в санаторий, аккуратно сложенная, лежит в кармашке специально по этому случаю пошитого костюмчика, и она, Антонина Граяускене, сидит в новеньком, отделанном сиреневым пластиком вагоне. Все вокруг залито голубоватым мерцающим светом, от него даже свежий мятный холодок во рту. Какое-то новое, даже несколько пугающее ощущение. Немного неловко, боязно. Поэтому Антонина не снимает надвинутой на лоб шляпки — правда, на ней не та эмалированная кастрюля, а новая — прикрывающая слишком большой лоб и придающая взгляду некую таинственность. Это говорила модистка, но шляпка и самой Антонине понравилась. Она пока не смотрит по сторонам и не думает о том, что ждет ее впереди. И нет особого желания поскорее приехать. Состав начинает описывать плавную дугу, так приятно закрыть глаза и забыть, где ты — солнце вдруг начинает греть другую щеку. Где же я? Куда еду? Уж не в обратную ли сторону? На какое-то мгновение Антонина ощущает вдруг невесомость и не за что ухватиться — на сиреневом пластике даже

следа от пальцев не остается. И в то же время она чувствует, как уходит давящая грудь тяжесть — человек решительно порвал с собою вчерашним. Дрожащими пальцами снимает она шляпку, которая на удивление соответствует и элегантным сеткам на стенках купе, и молочно-белым плафонам. Медленно выползает из паза зеркальная глыба двери, Антонина может увидеть себя. Рассматривает с робким интересом и недоверием. Она словно пересаженное в открытый грунт комнатное растение — ему трудно сразу расцвести в чуждой среде. Но чахлому растеньицу, вероятно, нравится на просторе. Антонина поправляет прическу — сделанную в парикмахерской накануне отъезда, укладывает шляпку на сетчатую полочку, предварительно отогнув ее. Оказывается, новизну можно смаковать, как дети смакуют лакомство. В ушах еще звучит восторженный шепот Расяле — непривычный и странный из-за пластинки во рту — как шамканье старухи: мамочка, какая ты элегантная! Маленькая, совсем еще малышка, а не уступит старшей. Виганте тоже не скрывала радостного изумления — ей нравилось, что мама едет на курорт, нравился весь ее обновленный облик — такой модно-современный; протянулся между матерью и дочерью

какой-то мостик, где могли бы они встретиться, но уже не было и минутки свободной. Витукас тоже был вне себя, пришлось даже одернуть его. Ладно, потом, когда вернусь отдохнувшая… А перед глазами мордашки всех трех — выношенных и вскормленных ею… Так все время и буду из-за них убиваться? И Фердинандаса жалко, но ребят просто с кровью от себя отрываешь. Отъезжает в сторону зеркальная дверь. Не найдется ли тут местечка? Высокий пожилой мужчина с плетеной из прутьев клеткой в руках. Еду вот голубей купить, басит он. Господи! Бросает человек дом, отправляется невесть куда за какими-то голубями — и ничего, спокоен? А вдоль коридора протискивается худая женщина с огромным, но, видно, легким узлом. Интересно, что у нее там? Шерсть?.. Точно, шерсть. Сколько же варежек, носков!.. А я Фердинандасу не успела новые носки купить, вспоминает Антонина. Придется ему самому стирать. А как же телевизор?.. Цепочку мыслей разрывает голос: граждане, приготовьте билеты! Розовощекая толстушка-проводница поблескивает золотым зубом. Будет ли Расяле аккуратно носить пластинку? Не хочется ей, видите ли, шепелявить… Отдыхать едете? Ох, завидно! — проводница снова улыбается, показывая свой зуб.

Раскладывает на голых коленках — мини-юбка не может их прикрыть — потертый брезентовый чехол со множеством кармашков. Неужели в подобный кармашек можно сунуть и ключ от дома, где ты, как мебель, заперла своих близких? Сунуть и забыть, в который из них положила…

— Кефир, булочки, конфеты?

— Марки, открытки?

Антонине ничего не нужно, но приятно: предлагают, уговаривают.

Весело погромыхивая на стыках, мчался их поезд, летел сквозь весну, ту весну, которая в городе едва заметна лишь по ассортименту овощей на прилавках: зеленый лук, салат, потом огурчики; первые огурцы она покупала, чтобы украсить стол — по одной штучке. Одежда тоже напоминала о весне — детям нужно было что-нибудь более легкое — демисезонные пальто, сандалии, носочки… Какая уж тут весна — просто лишние заботы да хлопоты. А за окном вагона — настоящая, ее не уложишь на прилавки, не сунешь в ведра цветоводов. Летит состав сквозь зеленую босоногую весну. Давно не доводилось видеть так много зеленой, незатоптанной земли, такого широкого, ясного, не закопченного городскими дымами неба. А вот коровы бродят, тощие после

зимы, на боках клочья шерсти, добрые, мычащие, греющие мир своим теплым дыханием. Ведь ежедневно таскала бутылки кефира, молока, а про коров-то и думать забыла! С какого комбината молоко? Какой холодильник мороженое сделал? А тут белеют похожие на придорожные столбики бидоны, в них сливают хозяйки теплое еще, парное молоко. И на остановках выходят и садятся в вагоны люди, такие же как везде, как в городе, шуршат болоньями, говорят по-литовски, но кажутся совсем другими — будто не таскали зимой тяжелых шуб, не толкались хмуро в набитых автобусах. И леса, леса. Они еще не распушились, не расшумелись, еще чернеют голыми ветвями и насквозь просматриваются, но, сдается, чувствуешь уже, как вбирают они воздух и солнце, и мычание пасущихся по опушкам коров. Скоро, наполнив себя всем этим, они до капли вернут все-все цветами, ягодами, грибами, прохладной тенью, ломящей зубы родниковой водой. Может, сойти с поезда? Побродить вдоль ручья, побеседовать вон с теми ребятишками, усевшимися на валунах у межи? Наверное, солнце уже нагрело камни… Все это было и тогда, когда вслепую шла она меж шатающихся колоколен, есть сегодня и пребудет вечно, пока живы люди. Так почему же позабыла

я про это, отреклась от него, жить не хотела? Да, не хотела! Теперь она может признаться — не хотела. Жила, едва дыша, как тот бледный росток прошлогодней картошки в погребе, — разве сравнишь его с буйной зеленью весенних трав, с этой пьянящей щедростью живой жизни?! Ребятишки махали поезду. Антонине показалось — ей одной, и сердце слегка сжалось от привычного беспокойства: на чужих радуюсь, а своих бросила на произвол судьбы. Почему на произвол? Фердинандас же обещал приглядеть за ними. Он у меня хороший, ленивый только, не хочет отказывать себе в маленьких повседневных радостях — телевизоре, кружке пива. И Алексонене обещала забегать, если потребуется — поможет, посоветует как и что. Постороннего-то человека дети скорее послушают. Послушают? Ох, бед не натворили бы, оставшись без присмотра!.. Вырвавшись на широкий простор, паровоз весело загудел. А может, не поэтому — просто приветствовал встречный состав. Черный, тяжелый, бесконечный. Антонине хотелось, чтобы скорее миновали они грохочущую, окутанную дымом стену — будто не уголь и нефть летели навстречу, а черные, тяжелые ее дни, ее страх перед грядущим, от которого решила она убежать. Фу,

глупость! Такой же поезд, только товарный, одумалась она — прогрохотал, и следа не осталось от злого призрака. Снова ясное небо и сияет над полями нежный зеленый свет озимей.

— Смотрите, смотрите — аист! — Антонина Граяускене опять улыбнулась, сообщая попутчикам о том, что проплывало, пролетало за окном, будто без нее никто этого не разглядит, не узнает.

Решила она и перекусить, раззадоренная примером соседей по купе, правда, есть не хотелось — сыта была впечатлениями. Предложила бутерброд соседке — чернобровой девахе с фиолетовыми губами и в фиолетовых же сапожках. Соседка позевывала, прикрывая рот свернутым в трубку журналом, и на вопросы отвечала скупо. Но по некоторым намекам Антонина поняла, что едет девушка к будущим свекрам.

— А где же твои вещи? — На сиденье рядом с девушкой лежала только плоская фиолетовая сумочка.

— Какие вещи? — попутчица облизала губы, достала зеркальце и вновь подмазала их.

— Ты же с дороги! Переодеться нужно будет. В какое-нибудь приличное платье. А халатик? Ночная сорочка?

— Стану я возить! Глядишь, еще и не примут! —

Она одернула свою мини-юбку, коротенькую, сбившуюся до самых бедер, казалось, будто едет в одном толстом, домашней вязки свитере.

— Ты что же, без приглашения?..

— Он-то приглашал…

— Такой же, как ты, — уже возмущенная, старалась найти слова Антонина, — или чуть постарше?

— Паспорта не предъявлял, — собеседница раздраженно дернула плечиком. — На танцах познакомились.

— И уже свадьба?

— Какая свадьба? Разве я говорила про свадьбу? Еду к ним, и все.

— А мать у тебя есть? Разрешила она?

— Мамы нету. Мачеха.

Вот и пойми — правду говорит или врет. Мачеха. Впрочем, мало ли несчастных семей? С другой же стороны, мода такая пошла — плевать на родителей. Разве тут поймешь; вкалываешь, спины не разгибая, крутишься, а в один прекрасный день та же Виганте… Хотя Виганте не такая, и мальчики у нее другие, пусть и поотрастили патлы.

Антонина редко вспоминала себя молодую, дни своего знакомства с Фердинандасом. А ведь

они тоже — на танцах, и нечего носом крутить. Да, да, на танцах! Юбки тогда били по икрам, парни ходили в широких клешах. Увидела она Фердинандаса на танцах, вернее сказать, сначала услышала, увидела потом. Странный танцзал, как палуба севшего на мель и накренившегося на один борт корабля. И улица, на которой он находился, называлась чудно — Конная. По-жеребячьи ржал саксофон, пыль стояла столбом, старичок, чем-то похожий на почтальона, брызгал на пол из ведра, попадали капли и на танцующие пары — пожалейте музыкантов, ведь задохнутся, отойдите! Саксофониста ей жалко не было — он спрыгивал с эстрады и отплясывал с самыми красивыми девушками, а вот ударника жалко — ни на минутку не мог оставить свой барабан и тарелки, без передышки бухал и лязгал, грустно, тоскливо, и Тоне казалось — нет на свете человека несчастнее этого ударника. Все время предаваемый аккордеоном и саксофоном, тоскливо взывает он к чуткой, понимающей душе — появись! Да. На танцах. В старое-то время молодые, бывало, в костеле знакомились, а теперь — на танцах. И ничего зазорного здесь нет. Тронутая сходством своего теперь уже далекого прошлого с сегодняшними заботами этой

чернобровой, Антонина не захотела вспоминать, что целых два года играла роль той загадочной и чуткой души, которую звал печальный барабанщик, два года терпеливо топталась возле эстрады на покатой палубе севшего на мель корабля, не осмеливалась подойти к ударнику. Сквозь толкотню, шарканье и смех доносились до нее глухие, как удары сердца, ритмичные буханья, печаля и одновременно утешая, разжигая гаснущую надежду.

— А если они тебя не примут? В дом не пустят? — Антонина готова была посочувствовать, посоветовать. Еле удержала руку, чтобы по-матерински не поправить юбчонку, прикрыть ею колени девушки. Даже комбинашки не видать, что, они уже и нижнего белья не носят? А коленки круглые и ножки точеные, и личико, как у куколки, портят его только густо заляпанные зеленой тушью ресницы — каждая ресничка касторкой намазана, а то тушь не держится… Вот и Алина так же себя истязает…

— Подумаешь! Не первый и не последний.

— Что ты такое говоришь? — возмутилась Антонина. — Разве не любишь?

— Еще любить каждого…

— Но ведь ты же его выбрала. Его!

— Кто вам сказал, что я выбрала? — Девица явно рассердилась. — Привязался на танцах. Стал уговаривать: приезжай. Будем жить, если мать не выгонит. А у меня как раз отгулы. Вот и поехала. Погляжу.

— Поманил пальчиком, а ты и готова? Ведь совсем еще кутенок — «если мать не выгонит»... Значит, если не выгонит, будете вместе есть и спать? — Антонина и не заметила, что интересуется тем, о чем у нее самой даже психиатр не спрашивал. — Без свадьбы... без регистрации? — чуть не сказала «невенчанные».

В ответ можно было ждать и слез и резкости какой-нибудь. Наверно, нагрубит из гордости. А девушка меж тем аккуратно собирала со скатерки крошки и складывала в бумажку. Потом свернула ее фантиком и положила на край столика.

— Сколько ж тебе?

— Девятнадцать. А что?

Подумать только — и тут совпадало! Ей тоже было девятнадцать, когда Фердинандас впервые зазвал к себе домой и не отпустил. Двухэтажный домик с мансардой, крашенный в зеленое, вокруг большие деревья. Жаль, снесли его лет пять назад, во дворе розы росли, всего несколько кустов. Туго приходилось цветам — земля замусорена

углем, бутылочными осколками. Но, все равно, цвели. И благоухали. От деревянных стен домика, от зеленого сумрака деревьев веяло уютом. Они с Фердинандасом прожили там недолго, но, проезжая мимо в автобусе, Антонина всякий раз оборачивалась к домику, словно кто-то ее окликал. Может, в жизни ее молодой собеседницы еще не было ничего такого, о чем стоило бы вспоминать?

— Ворчу на тебя, а ведь сама в девятнадцать замуж выскочила. — Голову переполняли всякие противоречивые мысли, и Антонина никак не могла в них разобраться. — Как думаешь, сколько мне сейчас?

Пухлые фиолетовые губы язвительно скривились, щелкнули голенище о голенище сапоги и уперлись в противоположную полку.

— Наверно, полсотни… Или больше?

— Что? — у Антонины даже дыхание перехватило, сердце стиснула холодная, безжалостная рука — оказывается, она не исчезла, была где-то тут, рядом, наготове. Чуть-чуть забыла о ней, любуясь весной и убегая от нее вместе с сиреневым вагоном. Еще бы малость, и застонала в голос. Ведь мне тридцать восемь. Как Лоллобриджиде! Опять Лоллобриджида? Не вслух ли выпалила

диковинное имя? Засмеют… Девица бесстрастно пялила свои голубые глаза в окно, помаргивала тяжелыми мохнатыми ресницами. Непостижимо чуждая, как те девчонки, что торчат до полуночи в дымных кафе. И ведь, кажется, ничего в ней особенного — все открыто, обнажено, как ноги, чуть не до пояса — не подумав, громко заявляет о том, о чем и шепотом не следовало бы говорить, а вот не понимаешь ее, будто вы с разных планет…

Антонина попыталась снисходительно улыбнуться, точно не взволновал ее ни разговор, ни вся их беседа, невзначай напомнившая ей собственную молодость. Но мускулы лица одеревенели, губы — словно из тугой резины. Что тебе до нее? Разве знаешь, работает она, учится или, может, порхает бабочкой с цветка на цветок? Не спросила даже, как зовут. Но природа у всех одна — рано ли, поздно ли, а выходят девушки замуж, рожают. Как же, согласятся такие рожать! А Виганте? Неужели хочешь, чтобы она повторила твою жизнь, хоть и гордишься, что вышла по любви? И все равно гадко — собачонкой за любым, кто пальцем поманит?.. Девушка встала, не прощаясь вышла из купе. Может, я ее обидела? Остались сложенная ею бумажка да странноватый запах — помады и лекарств, как от больного.

Ты сама больна, и нечего тебе соваться в чужие болезни. Чужие? Этой — девятнадцать. Виганте скоро семнадцать… Просто не сумела завоевать ее доверия, кинулась с поучениями, вот и получила по заслугам. Нынешняя молодежь страсть как не любит поучений… Поля и редкие домики за окнами вагона заволакивала густеющая синева. Такой же синевой подернулась и обида. Проходила понемногу, отпускала сердце. Лучше смотри в окно, в городе таких сумерек не увидишь. Там синеву дырявят бесконечные окна, огни машин, вспышки неоновых реклам. Огоньки тоже прекрасны, но в городе их слишком много, они теряют таинственность. Да и то сказать, станешь ли там думать о вечере — ведь к концу дня наваливается столько дел, забот? Именно от этих дел, от бремени долга и любви убегала сейчас Антонина — не хватило сил нести эту тяжесть. Теперь каждый вечер, каждая утренняя заря будут принадлежать только мне. Наберусь сил, поздоровею, вернусь и тогда… Она ощутила прильнувшую к ней щека к щеке старшую дочь — Виганте вышептывает свои тайны. Ведь именно так она делала, пока была маленькой. Со все возрастающим интересом следила Антонина за выскакивающими из темноты с разными интервалами огнями фона-

рей — чтобы нигде не было слишком темно…

Дорога кончилась неожиданно, будто все ее радости были только хитрым обманом — поезд остановился, и на Антонину вдруг навалилась тоска по дому — совсем одна в чужом городе! Оказалось, ее ждали. Не ее одну, конечно, и других, приехавших на лечение в санаторий. Группу новоприбывших усадили во вместительный автобус с удобными мягкими сиденьями. Антонина все ощупывала в кармане путевку, но путевки никто не требовал. Спросили только: кто в санаторий «Жуведра»? Собрала приехавших седая энергичная женщина, и так славно было подчиняться ее указаниям, разрешить ей опекать себя. Антонина жадно смотрела по сторонам, хотелось сразу выхватить что-нибудь из темноты и запомнить. Окружающие деревья гасили свет фонарей, потом фонари кончились, поехали лесом, и снова стая огней, и снова лес. Наконец автобус остановился. С прибытием! Выходим. Положите вещи, умойтесь и пожалуйте в столовую! Сдав путевку, Антонина получила какие-то бумажки, и ее проводили в комнатку. Две постели. Одна уже занята, будет с кем словом перемолвиться. Лишь бы не оказалась такой, как недавняя молодая попутчица… В столовой все сверкало чистотой,

на стенах картины, в центре зала раскинула перистые листья большая пальма. Ужин, который им предложили, был не особенно изыскан, но Антонине понравился, а главное — поела, встала и ступай себе, и не надо думать о тех, кому предстоит перемыть гору грязной посуды.

Постель удобная, чистая, с хрустящими накрахмаленными простынями. Сколько же времени ждала ее эта уютная комната с широким окном, выходящим в густой, как лес, шуршащий ветвями парк! Покачивали кронами едва различимые во тьме высокие сосны, когда-нибудь я буду с грустью вспоминать о них, подумала Антонина, словно ей предстояло скорое расставание. Зажгла настольную лампу, кружок света упал на белую подушку, за окном сразу почернело. Послушный, уютный свет, свежая складочка на пододеяльнике — все несло желанный покой, превращающийся из хрупкого предчувствия в осязаемые вещи — в деревья, тишину, запахи чистого белья.

— Надеюсь, не станете читать до полуночи, — буркнула соседка, лежавшая в одежде на своей смятой постели. До конца срока ей оставалась всего одна ночь, поэтому все, что сейчас радовало Антонину, ее только раздражало и сердило.

— А мне здесь нравится, — деликатно и в то же время твердо заявила Антонина в ответ на ее брюзжание.

— Поживете, не то запоете! Вот в Паланге… И воздух, и питание!..

— Мне все понравится, я уверена. — Антонина отвергала самую мысль, будто здесь что-нибудь может измениться к худшему или она привыкнет и начнет смотреть на все другими глазами. Особой симпатии соседка не вызывала: широкая, мускулистая, пряди жестких волос, брезгливо поджатые губы. И наутро осталась такой же — хаяла все на свете. Одежда у нее яркая, но безвкусная, хотя хвастала, что дочь учится в художественном. Нет, не могла такая баба понравиться Антонине, тем более, что сидела она уже, как говорится, на чемоданах, напоминая этим, дескать, и чистота хрустящих простыней, и сосны со скворечниками и снующими по стволам белками — все временно. На душе даже полегчало, когда соседка принялась укладывать барахлишко в свой потертый чемодан, побывавший с ней, по ее словам, не только в Паланге, но и в Сочи, и в Железноводске… Антонина молча возмущалась: не имеет приличной ночной рубашки, а все на свете критикует.

— Говорите, милые, обходительные? Еще узнаете! Пляшут около знаменитостей, а тебе, простому человеку, ноль внимания. То ли дело в Железноводске… Русские, что ни говорите, справедливее!

Спорить с ней Антонина не стала. Цвет лица этой женщины против ее воли свидетельствовал о хорошем уходе — щеки чуть не лопались. Проводила к автобусу — он при свете дня оказался не столь уж большим и шикарным. Автобус как автобус, запыленный, бампер помят. И тут была авария? Во вмятине на бампере таилась какая-то смутная угроза. Мотор зафыркал. Граяускене от всего сердца помахала рукой бывшей соседке и облегченно вздохнула, словно избавляясь от человека, страдающего прилипчивой болезнью. Вместе с автобусом отдалялась от нее успевшая было возникнуть тревога: вдруг да и правда — все здесь не так, как показалось поначалу? Рассеялся бензиновый дымок, снова живительно зашумели кроны сосен, по которым шмыгали белочки, группа молодежи, шагающая по дороге, затоптала отпечатавшийся в пыли рубчатый след шин. Смуглые лица, загоревшие шеи, в руках ракетки для тенниса или бадминтона. Антонина не очень-то различала эти игры, понимая, однако, что они — частица отдыха, того бесконечного

покоя, который теперь будет вливаться в ее тело и душу день за днем все бесконечные двадцать шесть дней.

Пророчества уехавшей брюзги, слава богу, не сбывались. Правда, в уголке обеденного зала, за большим столом сидела в одиночестве балерина, которую официантки обслуживали более предупредительно, чем всех остальных. Бледная, с трудом улыбающаяся, хотя и молодая — она выглядела такой замученной, казалось, ей трудно и пальцем шевельнуть. Как же порхает она по сцене на своих пуантах? Антонину всегда дивил этот невесомый полет. Сама она, не балованная домашней обстановкой, не нуждалась в особой опеке и не завидовала балерине, даже радовалась, что за той ухаживают здесь, как за хрупким растеньицем, ведь иначе не станет оно цвести, вернее, не полетит над сценой, едва касаясь пола. Еще отдыхал в санатории известный писатель. Он, как филин на свет, выбирался из своей одиночной палаты, быстро-быстро проглатывал обед, вряд ли ощущая вкус пищи и помаргивая красными от ночной писанины глазами; время от времени писатель встряхивал взъерошенной, добела поседевшей шевелюрой, словно с кем-то не соглашаясь, может, даже с собственной, че-

ресчур громкой славой, а на его курносом носу выступали бисеринки пота, как у всех мужчин, привыкших пить не только воду.

Короче говоря, знаменитости нисколько не мешали Антонине, наоборот, они как бы осеняли своим присутствием ее новое существование, когда вдоволь свежего воздуха, здоровой пищи, досуга, наполненного разнообразными удовольствиями. Напряжение постепенно отпускало ее, она уже не вздрагивала, когда кто-то неожиданно к ней обращался. Заново училась спокойно сидеть и ходить — не мчаться, сломя голову и не разбирая дороги… Почему-то пришел на память давнишний сосед — коллекционер почтовых марок… Сейчас, пожалуй, и она могла бы заняться коллекционированием, правда, не марок — просто славных, добрых минут, когда все вокруг видишь и слышишь, не боишься никуда опоздать, отстать, потеряться… Не раздражаешься, без досады смотришь и на то, что не очень радует. Да, да, необходимо терпение! Незачем забегать мысленно на двадцать шесть дней вперед, и тогда они, эти двадцать шесть суток отдыха, увеличатся еще в двадцать шесть раз! Медленная, блаженная, бесконечная череда дней. Время для всех шло одинаково, но для нее все-таки по-особо-

му. Лекцию главного врача санатория о целебных свойствах здешнего курорта, которую он читал каждой группе вновь прибывших, Антонина выслушала как тайну, доверенную только ей одной. Даже ни к чему не обязывающая улыбка диетсестры, сопровождавшая неизменный вопрос: «Вы довольны питанием?» — заставляла ее всякий раз краснеть от благодарности, хотя она и понимала, что красивую сестричку больше всего интересуют холостые молодые мужчины. В кабинках ванн висели песочные часы, тихий шорох пересыпающихся песчинок тоже служил подтверждением, что и здесь, словно невидимое платье короля из сказки, ткется желанный покой.

Отдыхающие гуляли группами, собирались возле павильонов с источниками минеральной воды. Антонина не жаловалась на желудок, но хотела взять от отдыха все положенное, поэтому приобрела специальный плоский фарфоровый сосуд с носиком; мужчины носили его в карманах пиджаков, женщины — в сумочках. В павильонах всегда стоял гул, как в улье. Наивные сюжетные витражи не пропускали внутрь много света, было прохладно и уютно, пьющие воду подшучивали над теми, кто забывал принести собственную

чашку, особенно если до водолечения успевал хлебнуть что-нибудь покрепче. Эй, девушка, одолжи чашечку — не съем! Антонина не фыркала на них, как другие женщины — ведь съехавшиеся сюда из шахт и рудников простодушные, хотя и горластые люди не умеют отдыхать без громкого смеха и бесцеремонных знакомств. Те же чуть навеселе, пошучивающие мужчины встречались и на почте, где постоянно стучали молотки, сильные мужские руки заталкивали в ящики сало, колбасу, сыры.

Изредка будоражил Антонину знакомый перезвон молочных бутылок. Словно она закрыла окно, за которым продолжался шум полного заботами города, а ветер вновь распахнул его. Глядишь — идет мимо какой-то сутулый человек с пустыми бутылками в авоське — может быть, плетется сейчас в магазин и ее Фердинандас. Неглаженые, пузырящиеся на коленях брюки, щетина на щеках и подбородке, равнодушные, водянистые глаза. И я так каждый день мыкалась! Но тут же вспоминала, что отдыхает, живет на всем готовом, и волнение отступало. Только почему не пишут? Наконец получила письмо из дому. Разглядывая почтовые штемпели на марках, Антонина физически ощутила расстояние,

отделявшее ее от близких. И не только расстояние в километрах от того большого до этого маленького города. Здесь тоже может распахнуться от ветра окно, услышишь шум и почувствуешь запах бензиновой гари, но ты не вскочишь, не помчишься не разбирая дороги — и успокоишься. Кажется, и твои довольны. Но письмо это, как и большинство подобных, не раскрывало самого главного. От имени всей семьи написано оно Витукасом. Его большие, еще полудетские буквы лучше, чем почерк Фердинандаса, убеждали: спокойно проводи свой отпуск, мама, отдыхай! Значит, спровадили и наконец свободно вздохнули? Осточертела я вам? Не нужна больше? Прежде Антонина вконец бы расстроилась, но сейчас, немного похмурившись, успокоилась, удовлетворенная сообщением, что семья обходится без нее. Увы, жизнь не прекращается даже тогда, когда расстаются самые близкие люди. Неужели ты только сейчас поняла это? Тут же села за ответ, тоже отделываясь малозначительными фразами и утешая себя тем, что отдыхает здесь не для себя — для них, для Фердинандаса, для детей, которым отдана вся ее жизнь. К хорошему привыкаешь быстро: глухие шумы городка, проникавшие иногда в ее окно, были даже при-

ятны, словно теплая баюкающая ванна. И вот Антонине уже как-то странно глядеть на местных женщин — тех же самых санитарок, сестер, врачих, которые, сняв белые халаты, снуют по магазинам с тяжелыми сумками, будто сама она никогда не делала ничего подобного и не начнет заниматься этим сразу же по возвращении домой. Дом без нее не рушится, ей тут покойно и уютно, внушает, пожалуй, некоторую тревогу лишь свободная вторая кровать. Интересно, кого к ней подселят? Ворчунья соседка не забывалась. Неприятно было бы жить вместе и с такой особой, которая любит шататься по ресторанам с чужими мужьями. Здесь в обычае устраивать проводы отъезжающим. Даже женщины порой напиваются. Матери, жены, где же ваш разум? С осуждением относилась Антонина и к мгновенно вспыхивающим и часто тут же угасающим курортным романам. Все время стояла перед глазами та девушка из вагона в юбчонке, которую можно ладонью прикрыть. И не только мини-юбчонку, весь ее умишко — тоже… Пытались тут и за ней приударить, приглашали в кино, словно она не могла сходить туда без провожатого.

— Поищите помоложе, мне ведь полсотни, — отшутилась. Именно отшутилась, — не раскри-

чалась и удивилась своей терпимости.

— Живите себе одна, — успокоила ее сестра-хозяйка. — Мы же понимаем — вам требуется покой.

Теперь, когда на свободную кровать в ее комнате никто не зарился, Антонина серьезно задумалась о соседке, которая могла бы здесь жить. Взгляд частенько задерживался на нетронутой белоснежной подушке, особенно после того, как Антонина хорошенько отоспалась и отдохнула. Вечерами ей уже явно не хватало голоса собеседницы. Хотелось обменяться впечатлениями, поговорить по душам, просто перекинуться парой слов. Правда, только не о пище и лечении. А о чем? Она и сама не знала. Вот шныряют по парку белки, доверчиво льнут к людям, берут из рук конфеты, а правильно ли это, хорошо ли? Сначала и ей нравились ручные зверушки — бросала им оставшееся от завтрака печенье, но потом засомневалась: а что будет с ними зимой? Ведь не станут же они делать обычных запасов при такой кормежке? Радуются отдыхающие, как дети, балуя занятных зверьков, а ведь по сути дела приносят природе вред. Как-то высказала свои сомнения, а ее на смех подняли. Будь у нее соседка… Рядом со спокойной, разумной женщи-

ной и помолчать приятно.

Не подозревала еще Антонина Граяускене, что этот покой, сотканный из сна, калорийной пищи и беззаботных прогулок, больше ее не устраивает. Шорох сосен, вытеснивший из сердца страх и отчаяние, не мог наполнить его чем-то более значительным. Выходит, покой — не только блаженное состояние, куда нет хода тяжелым воспоминаниям, дурному настроению и шуму? С каждым днем Антонина испытывала все большую тоску по чему-то неопределенному, и тоска эта превращалась в мечту о собеседнице — умной, доброй и все понимающей. Да, они могли бы и помолчать вместе. Или гуляли бы по песчаной влажной от росы тропинке. Уходили далеко-далеко, туда, где уже нет ни лавочек, ни фонтанов, обошли бы вокруг подернутого ряской озера, слушая, как вскрикивает время от времени в камышах какая-то невидимая птица. Большое водное пространство пугало Антонину, а вот заросшие буйным камышом озерца звали остановиться, задуматься, помечтать о дальних далях, где нет никакой необходимости что-то делать или принимать решения. Можно сколько угодно стоять, прислонившись к стволу кривой ольхи, или сидеть, устроившись на мягкой мо-

ховой кочке, и в ушах будут тикать невидимые часы. Не песочные, как в ванных кабинах. Около озера мир превращается в огромные часы без циферблата и подгоняющих тебя стрелок. Течение времени не печалит, скорее, даже успокаивает, но, как подумаешь, что ты здесь одна, становится не по себе. Страшит не тиканье, что сливается с твоим пульсом, с ритмом дыхания, а мысль о том, что все это существовало раньше, когда тебя еще не было на свете, и останется потом, когда тебя уже не будет.

Все чаще мечтала Антонина о соседке, почти представляла себе ее — лицо, руки, голос.

Как-то, цокая каблуками, шла она по гулкому вестибюлю главного корпуса — день был превосходный, все разбрелись кто куда. Приоткрылась скрипучая стеклянная входная дверь, и в щель проскользнула женщина с чемоданчиком. Антонине показалось, что она напугана — часто дышит, пугливо озирается по сторонам.

— Санаторий «Жуведра», да? — пробормотала она неуверенно. — А не скажете ли вы мне, где тут регистратура?

Регистратура была рядом, около гардероба. Заезда в это время обычно не ждали, и молоденькая регистраторша вовсю флиртовала в парке с

молодым бородатым парнем.

— Я сейчас позову… — Антонине было ясно, что женщине трудно сидеть и ждать.

— Что-что? Кого позовете?

— Регистратора.

— Да не беспокойтесь! Не надо! Подожду… Я так боялась, что… А теперь, когда я уже на месте… Не надо! Спасибо.

Так и не поведав Антонине, чего она боялась, женщина отвернулась от нее. Антонина не ушла, внезапно появившаяся незнакомка заинтересовала ее своей сбивчивой, беспокойной речью, а еще больше многозначительным, внушающим тревогу молчанием. Вновь прибывшая не сказала больше ни слова, ждала, нервно покусывая губы. Казалось, каждая минута ожидания уродует ее тонкое, красивое лицо. Выступающее из-под легкого плащика, обтянутое нейлоном колено подрагивало, модный каблучок постукивал по кафелю пола, она неотрывно смотрела на стеклянную стену, но вряд ли видела что-нибудь, кроме утомительно яркого света. Вскоре вестибюль наполнился людьми; зажав в губах цветок земляники, появилась и регистраторша.

— Вот она! — обрадовалась Антонина, указывая незнакомке на девушку. Женщина не поблаго-

дарила, подошла к окошечку и через несколько минут уже исчезла со своим небольшим чемоданом и странным, болезненным нетерпением.

Антонина разочарованно вздохнула. Привычный уже гомон праздной толпы отдыхающих наполнил вестибюль, но не успокаивал, а лишь напоминал о предстоящем сытном обеде, внушал безразличие ко всему, что не связано с этим обедом и дальнейшим бездельем. Она замешалась в толпу, но никак не могла забыть ту странную женщину. Хотелось куда-то спешно идти — нетерпение незнакомки словно бы передалось ей.

Ах, да ладно, успокоила себя Антонина, никуда она не денется. Не встречу сегодня, увижу завтра. Почему-то об этой женщине думалось только в будущем времени — увижу, встречу — никакой связи между ней и прошлой жизнью Антонины не было, но связь эта уже намечалась, странно перекликаясь с недавними событиями, возрождая в душе состояние безотчетной угнетенности, от которой Антонина едва-едва избавилась. Но ведь она могла снова навалиться? Было такое чувство, словно, отправляясь в санаторий, она оставила эту свою гнетущую тяжесть какой-то другой женщине (хотя притворялась, что совсем о ней забыла), но та не выдержала и явилась сюда

с грузом невыносимых забот и тягот, явилась и на виду у всех должна вернуть их ей, Антонине. Господи, неужели где-то по-прежнему ревут моторы автомобилей, раздаются резкие свистки милиционеров? И никуда она не сбежала от этого, просто захлопнула окна и законопатила все пазы, поэтому шум заглох, стал почти неслышным. Но стоит образоваться малейшей щелке, как в нее тут же просунется когтистая лапа прошлого. Мысли текли бессвязно, рождали недоброе предчувствие опасности, которому противоречило все, что окружало ее сейчас: беспечное санаторное существование, набирающая за широкими стеклами силу весна, отсутствие какого бы то ни было сходства между ней, Антониной, и незнакомкой… Мрачные дни прошлого, казалось, только и ждут случая пробраться сюда, приняв заманчивый, привлекательный вид. Прочь, прочь от этой женщины!.. Но у Антонины не было сил ни смотреть, ни слышать. Угроза покою и равновесию была очевидной, даже вызывающей, но она сулила не только боль, сулила радость — да, и радость! — которую породит тяжкая обязанность проникнуть в замкнутый, болезненно трепетный внутренний мир постороннего человека.

После того как появилась женщина с чемодан-

чиком, Антонине стали колоть глаза те, к чьим голосам, взглядам или слишком ярким платьям она уже успела привыкнуть. Кажется, давно забыла подозрительно брошенный взгляд — не прячешь ли в сумочке ворованное полотенце или украденную с чужого стола порцию масла? — а кожа все еще зудит, словно обожгла, но не знаешь, где и когда. Ожили тени прошлого, снова норовили догнать, приблизиться, обступить. Понимала: отдыхающие санатория не такие уж надоедливые и опасные, как она пыталась о них думать, — просто ей необходимо было препятствие, чтобы ярче засияла намеченная цель. Пока что ничего существенного она не достигла — чувствовала только безотчетный подъем, как перед дорогой — новой дорогой, которая, может быть, отбросит назад, но одновременно вознесет ее на высоту, о которой Антонина прежде и не мечтала.

Первые дни новенькой, видимо, нездоровилось: когда стала наконец выходить — была бледной, глаза беспокойно блуждали, будто она, ненадолго оставив здесь свой чемоданчик и не успев обвыкнуться, подхватит его и удалится в неизвестном направлении. Женщина эта старалась ничем не выделяться среди остальных,

вместе со всеми ходила в столовую, в водолечебницу, однако словно обвела себя невидимой чертой, которую никому не позволяла переступать. На ее отчужденность не влияли ни дождь, ни солнышко, она как бы пребывала не здесь, где все просто и ясно и нет никаких проблем, а где-то далеко, там, откуда она вырвалась. Бледная, хрупкая, с несколько уже увядшим лицом, она не производила впечатления очень больной или измученной делами женщины, напротив, казалась слегка страдающей от недомогания, избалованной вниманием близких. Может, именно этого внимания и не хватало ей здесь, где между людьми запросто рушатся привычные перегородки, устанавливаются новые, ни к чему не обязывающие и поэтому ранящие чуткие души отношения.

Актриса или преподавательница — ломала себе голову Антонина, поглядывая на ее руки: узкие ладони, длинные пальцы, слегка подкрашенные ухоженные ногти… Особенно выразительны были эти руки, когда листали книгу. Женщина повсюду таскала с собой книгу в черном коленкоровом переплете. Конечно, такая элегантная, красивая молодая женщина не могла не вызвать разговоров, тем более, что она всех сторонилась.

На танцы, видите ли, не ходит, ни в парке, ни по лесу не гуляет. Где же она проводит время? Где и с кем? Поживем — увидим. Антонину бесили эти досужие разговоры, так как ее все сильнее тянуло к незнакомке, и различные дурацкие предположения и сплетни задевали ее. Балерина, та хоть устало улыбалась, а эта — никого не замечает. От гладко зачесанных, разделенных ровным пробором темных волос бледный ее лоб казался еще выше, постоянно опущенные глаза были непроницаемы, грустны и отвергали любое сочувствие. Как будто похоронила она близкого человека, похоронила давно, сама уже не помнит когда. Впрочем, нет, это не траур! Все время с книгой. Не потому ли так сторонится людей, что постоянно бродит по туманным далям, погруженная в мир чужих страстей? Антонина давно уже не читала ничего серьезного — еле-еле успеваешь полистать какой-нибудь журнал, но она не забыла еще засасывающей, порабощающей силы книг, которая в свое время застила ей живую жизнь.

Однажды возле павильона с минеральным источником кто-то подобрал оброненную курортную карточку. Она пошла по рукам и была тщательно изучена отдыхающими. Констанция Кайрене, дочь Игнаса, 1940 года рождения — бы-

ло написано в ней. Стало быть, замужняя. Как же не выскочить при такой-то фигуре и личике! Значит, замужем. Возможно, и дети есть, однако в очереди к междугородному телефону-автомату ее никто не видел. Почему? Мужья берегут таких куколок, как зеницу ока, в одиночку на курорты не отправляют, а уж если по случаю болезни и отпустят поводок, то каждую субботу летят, как на крыльях. А тут супруг глаз не кажет. Почему? И писем на ее имя тоже не поступает. Уж не в разводе ли? Строит из себя святую. Знаем мы таких праведниц! К счастью, никто ничего о ней не знал, тем более не знал ничего предосудительного, и, не сумев ни расположить к себе Кайрене, ни унизить ее, сплетницы постепенно перестали обращать на новенькую внимание. Вероятно, инстинктивно поняли, что всегдашняя ее печаль и равнодушие к маленьким радостям санаторного бытия могут помешать их беззаботному существованию. А так ли уж много впереди у них этих беззаботных деньков? Как бы там ни было, но оставили ее в покое, передоверив попечению Антонины Граяускене, хотя они с Кайрене по-прежнему оставались почти не знакомы, и робкие попытки к сближению делала одна Антонина — осторожно, чтобы не отпугнуть. Как-то

так само собой получилось, — Антонина даже не сообразила, каким образом, — но потерянная курортная карточка очутилась у нее в руках, и она неуверенными шагами направилась в обед к столу Кайрене — вернуть.

— Благодарю вас, — холодно кивнула та. Ни более сердечного слова, ни признательного взгляда. Казалось, что ей неприятно держать в руках листок, который ощупывали чужие пальцы. Она как раз допивала компот: обсосала сливу и осторожно положила косточку в блюдце.

— Очень уж приторный, — вырвалось у Антонины. Кайрене, выловив ложечкой очередную сливу, глянула на подошедшую снизу вверх, потом покосилась в сторону двери, словно стремилась наметить путь к бегству от преследователей — так же, как в день своего приезда. Звякнула, ударившись о край стакана, ложечка, на скатерть упала коричневая капля компота. Антонина внутренне сжалась, точно ожидая плевка в лицо.

— А я люблю сладкое. Представьте себе — люблю! — И Кайрене вдруг улыбнулась. Глаза помягчели, они с любопытством изучали скромно одетую женщину, которая вконец смутилась, топчась у чужого столика.

Так тебе и надо, ругала себя Антонина. И все-таки этот коротенький разговор способствовал их сближению. Они стали здороваться, улыбались друг другу издали: Констанция незаметным подрагиванием губ, Антонина — широко, радостно, но не забывая своего недавнего смущения. Между ними уже существовала явная приязнь, правда, бóльшую активность, как и раньше, проявляла Антонина. Как-то после обеда встретились они в водолечебнице, у соседних кабинок. Сначала сидели молча, Кайрене, как обычно, замкнутая, отчужденная, словно пришла сюда не ванну принимать, а побыть наедине с собой, Антонина — обрадованная близостью этой таинственной женщины. Мимо них сновали врачи, сестры со стерилизаторами — в одной из серных ванн с каким-то старичком случился обморок. И хотя по лицам медперсонала можно было заключить, что все кончилось благополучно, белые халаты еще долго шныряли по коридору. Констанция достала свою книгу, полистала и, не прочитав ни строчки, сунула обратно в сумку. Набухая на потолке, срывались на пол тяжелые капли, пахло серой и влажным бельем.

— Долго еще ждать? Здесь так мрачно. Вам не кажется? — невнятно, словно задыхаясь, обрати-

лась к соседке Кайрене.

— Ох да! — охотно поддержала Антонина, хотя ей было хорошо и здесь, где все пропитано тяжелым влажным паром. Наконец-то заговорила!

— Не могут по-человечески вентиляцию наладить… Не удивительно, что люди сознание теряют!

— Точно, — поддакивала радостно взволнованная Антонина. Констанция глотала окончания слов, комкала их, швыряла, как обрывки бумаги, не заботясь о том, куда они упадут. Казалось, ей было безразлично, кто и что ответит. Впрочем, нет! Ведь, склонив голову, она внимательно смотрит на меня! Шея туго схвачена высоким воротничком водолазки. До чего же красивая шея, и водолазка из тонкой-тонкой шерсти.

— Сколько мы будем тут париться, в этой духотище? Уже целый час торчим. — Констанция Кайрене глянула на свои часики, которые, вероятно, показывали иное, не здешнее, время. Ждали они пока не более получаса.

Но Антонина не стала возражать. Правда, отмалчиваться невежливо, а что ответить, чтобы не порвалась едва протянувшаяся меж ними тонкая ниточка, придумать она не могла. Кайрене шевельнулась, из сумочки выпала книга.

— Смотрю, вы все с книгой ходите. Интересная? В библиотеке брали?

— В библиотеке? — Кайрене вздрогнула, поспешно затолкала обратно в сумочку поднятую книгу. — Французская. Из дома…

— Французская, — сконфуженно пробормотала Граяускене, удивленная необычностью такой привычной вещи, как книга. Они замолчали. Потом разошлись по соседним кабинам; Антонине было слышно, как Констанция раздевается, как плещется в ванне вода. Вот уж, небось, передернуло ее — ванна-то вся желтая, может, не продезинфицирована! Вспомнилась ворчливая, вечно всем недовольная соседка. Но Антонина постаралась выкинуть ее из головы. Опять я какую-то глупость ляпнула, с этой книгой… А все мое бабье любопытство!

Прикрывая полотенцем свое красное распаренное лицо, Антонина заторопилась к выходу. Рядом с похорошевшей, посвежевшей Кайрене она, конечно, будет выглядеть ужасно. Слышала позади шумное дыхание, но не останавливалась.

— Куда вы так бежите?

Догнав ее, Констанция приноровила свою семенящую походку к широкому шагу Граяускене.

— Не надо спешить. После ванны вредно…

— Привычка. Все бегом да бегом. — По лицу Антонины катились капельки пота. — Сейчас приду к себе, лягу.

— У вас хорошая комната? Мне не повезло — узкая и длинная, как склеп. И за окошком один серый забор и больше ничего.

— Нет, у меня хорошо. Я одна живу, — похвасталась Антонина. Молнией ударила мысль — засияла надежда, которую она пока не осмелилась высказать. — Сосны перед окном, белки прыгают, дятлы стучат…

— Не иначе, по знакомству получили.

— Как, как? — Антонина не сразу сообразила, что ее совсем не собирались обидеть. Это у Кайрене такая манера — говорить, не заботясь о том, правильно ли ее поймут. — Нет. Просто мне повезло. Уехала соседка, и больше никого не вселяют. Я так здешних кумушек боюсь…

— Кумушек? Значит, вы их так называете? Я бы нашла словцо покрепче — ненасытные гиены!

— Почему? Они добрые люди, только слишком любопытны, — мягко возразила Антонина.

Хорошо было идти по аллее рядом с Кайрене, раньше она каждый раз возвращалась в одиночестве. А теперь у ее бока мелькала сумочка Констанции, их тени слитно скользили по бе-

лым стволам берез. А что, если — чем черт не шутит, — если услышит она сейчас слова, которые мгновенно осветят черный омут прошлого, помогут разобраться в той странной и страшной путанице, которая все еще угрожала ей?

— О да, любопытные… Инстинкт стадности, к сожалению, превалирует у них над человечностью!

По влажной еще спине Антонины пробежал холодок, она поежилась — не поддаваться этому голосу, этим рваным, злым мыслям.

— Смотрите, — попыталась она перевести разговор в другое русло, — белочка… Привыкла, бедняга, брать прямо из рук.

— Животное ли, человек ли — им все равно! Лишь бы мучить…

Констанция едва глянула на какого-то очкарика, который по-детски старательно кормил конфетой белку. И кто ее, Кайрене, так тяжело обидел? Денек-то какой, солнце, а у нее все в мрачном свете!

— Ускакала… Просто поиграл человек, чего уж тут, — снова пыталась Антонина смягчить резкие суждения собеседницы. Я ведь тоже порой ненавидела и Алексонене, и пани Малиновскую, и Путравичене с ее смехом, а теперь скучаю без них,

вернее сказать, скучала бы, не сияй это небо, не шелести деревья, не будь рядом этой загадочной женщины, которая, вероятно, измотана жизнью куда сильнее, чем я, хотя руки у нее и не изъедены стиральным порошком. Ничего, привыкну… Антонина изо всех сил старалась успокоить себя, но пока ничего не получалось. Смущало сознание того, что вот она, будучи куда старше этой женщины, бежит от правды, а Кайрене, вроде бы не имеющая особых причин, беспощадно откровенна с ней. Что побуждает ее к этому? Комната тоже не мелочь. Но ведь в моей есть свободное место, а сосен хватит и на двоих — весь подоконник усыпан зелеными иголками. Что, если набраться смелости и предложить?..

— Вы серьезно? — Кайрене не спешила согласиться. В глазах ее что-то мелькнуло — то ли растерянность, то ли испуг. — Большое спасибо, но подумайте, не стесню ли я вас… Со мной нелегко. Ох, как нелегко. Подумайте!

Антонину взволновала искренняя благодарность, а дважды повторенного слова «подумайте» она как бы и не заметила. Показалось, что в глазах Констанции замерцало пусть не очень явственное обещание — может, благосклонности, а может, дружбы. Но у губ Кайрене напряженно

дрожала упрямая складка, предупреждающая — на слишком многое рассчитывать нельзя!

Вернувшись к себе, Антонина совсем забыла, что ей следует отдохнуть после ванны. Едва прилегла и тут же вновь вскочила — надо убрать, привести комнату в порядок. Ее еще никто не баловал дружбой, как и похвалами, цветами, подарками. Конечно, друзья и подруги были — у кого их в юности не бывает! — но постепенно приятелей оставалось все меньше и меньше, пока однажды она не почувствовала себя всеми забытой. Что ж, иначе и быть не могло. Ведь для дружбы требуется не только родство душ или общность интересов — ей необходимо самое обычное время для встреч, разговоров, для общих поездок за город, для того, чтобы провести вместе с друзьями отпуск или хотя бы вечерок убить на споры и мечты. Больше, чем денег, не хватало Антонине времени. И потому возникавшая иногда острая потребность в общении угасала, засыпаемая ворохом бытовых хлопот и забот. Здесь же, в санатории, времени у нее было сколько угодно. И это неиспользованное богатство, все возрастая, начинало угнетать, как и понимание того, что убежать от самой себя нельзя; отдалиться на время от забот, передохнуть — да, но убежать?

Стало невыносимо ощущать свое одиночество, и вот теперь рядом будет человек — и утром, и вечером, и когда зашумит за окном дождик, и когда солнце поманит наружу. И не просто человек, а женщина, самый облик которой, неуловимый трепет, исходящий от этого существа, вызывают волнующий отзвук в твоей душе, напоминая о несбывшихся надеждах, заставляя тосковать о чем-то нереальном, может быть, ничего не значащем, но столь сейчас важном, важнее всего твоего прежнего горького опыта. Расхваталась, а понравится ли ей твоя комната? Антонина с пристрастием осмотрелась — так поглядывала на все ее прежняя соседка по комнате: на потолке трещинка, занавеска прожжена… И динамик невзрачный — детская погремушка, а не радио. Она небось к тюльпанам и розам привыкла, а тут лишь скромные незабудки в стакане… Жила себе тихо-мирно, так нет, общество тебе потребовалось! И когда научится человек довольствоваться тем, что имеет?

К вечеру того же дня, еще не успели привянуть Антонинины незабудки, Кайрене перебралась к ней. В комнате, вместе со сладковатым запахом ее духов, появилась новизна, острая, словно наточенная бритва, и одновременно непри-

вычно громоздкая, как новая мебель — стул не подымешь, между столом и шкафом не протиснешься — на всех полированных плоскостях видишь отражение своего потного лица, на котором и удовлетворение сбывшейся мечтой и опасение — вдруг да не уживешься с новым интерьером, потеряешь не только прежний уют — частицу самой себя, своей устоявшейся спокойной жизни.

— Помните, в первый день вы спросили, где регистратура? Это я была тогда в вестибюле, — набравшись храбрости, призналась Антонина, желая хоть бы словами притупить остроту новизны.

— Извините, не помню, — вежливо улыбнулась Констанция.

— В вестибюле ни души, регистраторша с кем-то в парке болтает. Я предложила, мол, схожу за ней…

— Ох, я тогда никого не видела! Солнце слепило. Какая-то женщина, правда, там была… Простите!

— Это же я была, я…

— Очень приятно! Называйте меня, пожалуйста, Констанция. Не люблю своей фамилии. — Это был дружеский аванс соседке, но еще не приглашение к дружбе. — Простите меня, я многое

забываю.

Антонина, как мать, хранящая игрушки выросшей дочери, могла бы напомнить не только о первой встрече, чтобы помочь Констанции быстрее освоиться на новом месте. Но спохватилась и умолкла. То, что важно для нее, возможно, не имеет никакой ценности для этой женщины, и, пытаясь вызвать у нее воспоминания о незначительных мелочах, станет она рассказывать не о ней, а о себе. В глубине души ей очень хотелось выговориться, тем паче перед этой понравившейся ей с первого взгляда женщиной, однако сначала следует лучше узнать ее, привыкнуть к ней, чтобы не обидеть невзначай и одновременно не обмануться в своих волнующих ожиданиях. Отношения их изменятся, не могут не измениться, но исчезнет ли эта пропасть между ними? Озабоченная собственными мыслями, Констанция вдруг заглянула ей в глаза и сказала:

— Кое-что я не забываю… К сожалению, не все. Ах, если бы возможно было вычеркнуть эту память из жизни!

Она не уточнила, что именно хотелось бы ей вычеркнуть, но Антонина понимающе и сочувственно кивнула, хотя была уверена, что жизненный опыт новой соседки трудно сопоста-

вить с ее собственным горьким опытом. Красота и благородство в ее сознании неизвестно почему всегда были взаимосвязаны. Кроме того, в этот первый их общий вечер ей не хотелось омрачать своей радости, когда в окружающих узнаешь свои уже испытанные и даже забытые переживания и сердце ни с того ни с сего захлестывает вдруг юношеская отчаянность и уже не страшно ждать завтрашнего дня. Тогда, во время их первой встречи в пустом вестибюле главного корпуса, где солнце, казалось, плавило стеклянные стены, она ощутила тревогу, вошедшую в дверь вместе с этой тоненькой женщиной. Эта тревога каким-то образом перекликалась с ее собственными страданиями. Показалось, вот он знак — удар колокола, а может, порыв бурного ветра, который сметет слишком затянувшийся, не только целительный, но и губительный отдых. Ей ли, Антонине Граяускене, предаваться покою? Ох, горючими слезами отольется ей это безделье, когда вернутся будни, но дерзкой самоотверженности неведения, что жить можно и по-другому, уже не останется. Так подумалось тогда, в вестибюле; она лицом к лицу встретилась с тем, от чего бежала сюда, но разве от жизни убежишь? И вот сейчас, когда очаровавшее ее странное су-

щество наконец дышало здесь, рядом и не могло больше исчезнуть, в сердце закралось сомнение: не слишком ли я поспешила? Так приятно было издали отдавать себя мирному очарованию… Не лезь к ней в душу, не расспрашивай ни о чем, не надо, только спугнешь… Да и по какому праву? Приказывала себе не волновать Констанцию, а на самом деле жалела самое себя, не хотелось бередить собственные старые раны, а тем более приобретать новые. Хорошо бы уметь не расстраиваться, не думать ни о чем, не забивать себе голову заботами посторонних людей, которым твои волнения — как пятое колесо телеге; ведь еще и сейчас могло бы продолжаться блаженное состояние беззаботности, не поторопись ты, поступи разумно… Вот ведь Кайрене осторожничает, то ли по свойству своего характера, то ли по какой-то другой, одной ей известной причине, но осторожничает…

Антонина постаралась держать себя в рамках, чтобы не показаться назойливой, не пасть в глазах новой подруги, хотя ее так и подмывало спросить, понравилась ли той комната. Разве это не ее праве, просто — хозяйский долг? Но она понимала: лучше не торопить событий, вдруг даже пустячный вопрос покажется попыткой

выведать больше того, что согласны были ей сказать. Кайрене тоже молчала — стояла, опустив руки, угнетенная необходимостью снова как-то устраиваться, а вдруг — опять неудачно? Глаза полузакрыты, видимо, совсем забыла, где она, куда и зачем пришла. Неожиданно ее лицо ожило, она стала принюхиваться, ноздри расширились, задрожали.

— А здесь ничем не пахнет?.. Вы ничего не чувствуете?

Антонина растерялась — в ее чистенькой, до блеска вылизанной, постоянно проветриваемой комнатке пахло хвоей, лесом — но это же здоровые запахи! Не дождавшись ответа, Констанция поправила волосы, переставила с места на место свой чемодан. Казалось, забыла и о своем странном вопросе. Конечно, ведь сама говорила, что многое забывает… Не только плохое, но и хорошее. А вот она, Антонина, даже если очень захочет, не сможет, выкинуть из памяти сегодняшний день. Она даже не зажигает света, чтобы не мешать первым, пусть противоречивым впечатлениям Констанции. Ну вот и появилась у нее соседка. Она еще не смела думать о ней и себе как о приятельницах, подругах, а уже опечалилась, вспомнив о не таком уж далеком расставании.

Теперь время побежит скорее, не будет шуршать песчинками часов, а полетит с визгом, как пила на недалекой отсюда старенькой лесопилке.

Констанция подошла к окну, неуверенно подергала раму, посыпалась сухая краска.

— Вы не возражаете? Под окнами никто не ходит?

— Что вы, пожалуйста, — Антонина легким толчком распахнула сразу обе створки. Констанция отшатнулась от окна, в комнату ворвалась тугая струя свежести, наполнив ее стылым воздухом. Сосны как перешептывались, так и продолжали шептаться, но уже на чужом, даже пугающем языке.

Кайрене поспешно прикрыла одну створку, включила свет. Видимо, кто-то здорово избаловал ее: внушил, что ее прихоти и желания — самое важное, а с привычками окружающих можно не особенно считаться. Подошла к своему чемодану под крокодилову кожу, открыла его, стала вынимать вещи — легкие, красивые, дорогие, — бросала их на свою постель. Вещи тоже были частицами ее прекрасного, слегка увядшего таинственного мира, он требовал внимания, хотя не собирался чем бы то ни было платить за него — ни привязанностью, ни даже откровенностью, если

не считать за таковую случайно вырвавшееся слово… Нет, все это скорлупа, шелуха, оболочка! А что же такое ты сама, Констанция, твой недуг, твоя боль? А не выдумала ли я все это? Антонина не могла бы объяснить, почему так неприязненно отнеслась к ее прозрачным рубашечкам и лифчикам. Ведь она с восторгом наблюдала, как длинные белые руки ныряют в рукава розового нейлонового стеганого халатика. О таком, почти невесомом и немнущемся, Виганте ей все уши прожужжала. То, что дочь разбирается в туалетах, которыми обладают такие элегантные женщины, уже не вызывало обычной досады — мать даже чуточку гордилась ею. Невольно сравнивая Виганте с Констанцией, она как бы выявляла направление, по которому им — матери и дочери — следует двигаться вперед. Ее длинношеяя, пока еще угловатая, с торчащими лопатками девочка будет становиться все изящнее, нежнее. Если бы она еще не горбилась, отрастила волосы подлиннее и распустила их по плечам!.. Скажи ей об этом кто-нибудь, Антонина не поверила бы, что Кайрене привлекает ее не только таящимся в ней непокоем, но и как эталон женственности. Все эти вещицы так и льнули к Констанции — облегали ее талию, маленькую грудь, ласкали шею,

плечи; и созданный в представлении Антонины образ безмерно страдающей женщины рушится. От этого ей становилось и печально и весело, скорее весело, чем печально. В своем элегантном халатике, с уложенными на ночь темными волосами, эта тридцатилетняя женщина в какой-то момент показалась ей юной девушкой, нуждающейся в опеке. И вновь возник рядом силуэт дочери. Узнать Виганте было теперь труднее, словно она уже успела измениться, стать какой-то иной. Словно за родной дочерью, собирала Антонина разбросанную Констанцией одежду, аккуратно вешала ее в шкаф.

— Как хорошо, что никакого забора за окном! — вырвалось у молодой женщины.

Она раскинула руки, будто желая обнять что-то, — не проникающий ли снаружи запах сосен? — и в этом тоне была невысказанная похвала Антонине, благодарность за ее приглашение и заботу.

— Раздевайтесь и вы, пора спать! — весело предложила Констанция, сбросившая вместе с одеждой замкнутость и капризное высокомерие. Антонина расправила на одеяле свою скромную ночную сорочку в цветочках. — Какая прелесть! Где вы такую купили?

— Сама пошила. Я и детей обшиваю.

— Прекрасно! Значит, сузите мне юбку. Похудела, висит, как мешок.

Беспардонность Констанции несколько покоробила Антонину, обидело ее и то, что не спросила та про детей, но она сумела не показать своего разочарования. Сузить? С удовольствием, милая моя. Пойдем завтра к озеру, я иголку захвачу, вы — книгу (может, почитаете вслух?), и потекут дальше эти наши странные часы. В темноте было видно, как небо опускается на сосны, вот и совсем скрылись из глаз их кроны. Констанция ровно задышала — уснула, по-детски зевнув от усталости. Антонине же не спалось. Она ощутила прилив сил, хотелось петь, смеяться, что-то делать — и за все она должна быть благодарна не кому-нибудь — вот этой тихо посапывающей женщине: ведь это она, словно порыв свежего ветра, взбудоражила ее, оживила мысли и чувства.

Заснула Антонина не скоро. С появлением Констанции к ней возвратились тревоги и заботы, однако исчезла безнадежность, которая пугала, как медленно просыпающийся от голода удав — видела однажды такого в передвижном зверинце. Поэтому странно неожиданным было для нее теперешнее блаженное состояние, ведь

она впервые так близко соприкоснулась с Константцией, совсем еще не знает ее, и первая их беседа после вселения, которую Антонина заранее отрепетировала в своем воображении, тоже не доставила ей особой радости.

Среди ночи она вдруг проснулась, словно ей жаль было бессмысленно тратить время на сон. Но проснулась не от хорошего настроения, которое не оставляло ее и во сне, а от стона — услышала судорожный вздох, потом странный всхлип и болезненный стон. Было похоже на горькую младенческую жалобу. Тихонько, чтобы не скрипнули пружины, села, опустила ноги. Из приоткрытого окна тянуло ночной прохладой и все теми же запахами — сосен и вянущей травы, которую выполол днем с клумб садовник санатория. Мягко проступали предметы обстановки, словно затуманенные дыханием хрупкой женщины, но все было видно, хотя в окно и не заглядывал скрытый за дымкой месяц. Соседка лежала на спине, согнув ногу в колене, глаза плотно закрыты, а в глазницах, как чернильные пятна, плавали густые тени, казалось, Константция смотрит этими тенями. Антонина на цыпочках подошла к ней, поправила одеяло. Вздрогнуло судорожно согнутое колено, вновь

послышался стон, откуда-то из глубины, словно стонал человек, заваленный землей. Антонина склонилась над спящей. В черных пятнах, как два лезвия, остро и одновременно злорадно, словно они сумели угадать ловушку, блеснули глаза.

— Что с вами? Может, воды?

Ей показалось, что Констанция все отлично слышит и видит, просто не желает отвечать.

— Ну, тогда спите. Спите, — шепнула она, выпрямляясь и взмахивая над спящей руками, точно отпугивая от нее злых духов. Что с ней? Привиделись забытые боли и обиды? Горе, тоска, смерть близких? Что?

Постояла у ее кровати, вздрагивая от озноба. В комнате ощутимо похолодало, уже не пахло соснами. Тихонько прикрыла окно. Наверно, приснился страшный сон. Ничего, ничего. Сейчас боль медленно уйдет, и сердце оттает, как по весне схваченная морозами земля. Стоны больше не повторялись, но Антонина не могла заснуть, мысли все возвращались к тому, о чем она запретила себе думать во время отдыха: семья, работа; как там их новый начальник; когда подписывал приказ, уже не притворялся строгим, был действительно чем-то рассержен и не скрывал этого. А как питаются дети? Тут у них апельсины появи-

лись, но есть ли они в городе, кто знает. Небось, сидят на одних консервах, колбасе да кефире… Беспокойство, разбуженное Констанцией, тянуло за собой, словно шлейф, недавние тревожные ощущения, пусть теперь они уже и не могли разрушить трезвого, подкрепленного новым опытом хода мыслей. О детях думала она сейчас с легкой грустью и уважением, словно это были не ее собственные, а незаметно выросшие соседские дети. Куда ушла сердечность их отношений, что мешало детям быть откровеннее? Ее мелочная опека? Но откуда взяться доверию, когда любой необдуманный шаг — многозначен и не сразу видишь его последствия. На самом деле — нужны ли им ее суета, заботы и постоянный страх? Конечно, возвратившись, найдет их другими, изменившимися, однако теперь уже не будет испытывать прежнего слепого страха. Удастся ли по-новому, не рабски привыкнуть к ним? А как рядом с ними будет выглядеть Фердинандас? Тоже переменится, но только к худшему? Дети к нему терпимы, ведь он, не в пример ей, всегда относился к ним спокойнее, не восставал против их непослушания и дурного поведения, даже скорее потакал… А ко мне требования повысятся…

— Не напугала ли я вас ночью? — как бы между

прочим спросила Констанция, когда они утром одевались, внимательно приглядываясь друг к другу, настраивая свои чувства на общий лад. Ночью приоткрылся покров, скрывающий ее тайну, но Кайрене упорно не выдавала ее.

Вероятно, этот покров был многослойным и прятал нечто болезненное, чего нельзя было так вот, сразу, обнажить.

— Не кричала я?

Констанция хотела подойти поближе, но, видимо, передумала и присела, застегивая босоножки.

— Вроде, разок было… — Антонина и в самом деле не сумела бы рассказать, что видела и слышала этой ночью. Бесконечно жалко Констанцию, такую хрупкую, легко ранимую и одновременно удивительно непреклонную. Не собираясь мириться с ее замкнутостью и тайной болью, Антонина терпеливо дожидалась минуты откровенности, чувствуя, что не обижаться и ждать куда важнее, чем протянуть таблетку от головной боли, которую, кстати, Кайрене не преминула жалобным голоском попросить.

— Наверно, приснилось что-то, — снова заговорила Граяускене, словно это ей доподлинно известно.

— А… Может быть, может быть, — в ярком утреннем свете глазные впадины Констанции казались серыми, изборожденными мелкой и частой сеткой морщинок, как после большого душевного потрясения. — Только не вспомню, что… — и она широко, но неискренне улыбнулась. — Гляньте, какое солнце!

Затянутое тучами низкое ночное небо прояснилось, солнце слепило глаза, и все вокруг сияло, будто сейчас рожденное. Сверкали не только усыпанная капельками росы сосновая хвоя и цветы на клумбах, но даже истертые доски скамеек, облупившаяся стенка киоска. Надо привыкнуть к Констанции, к каждому человеку надо сначала привыкнуть, думала Антонина, а манящее сверкание все не гасло.

— Чудесный день, не правда ли? — то и дело теребила ее Констанция, как бы заставляя себя радоваться. Но в тоне чувствовалась судорожная попытка скрыть то, чего уже никак нельзя было скрыть.

Ночное происшествие дало Антонине возможность справиться со своим смущением и робостью. После завтрака она предложила Кайрене сходить к озеру. Листья ирисов, покачиваясь на легком ветерке, словно бы позванивали — ес-

ли не подрезать, могут вымахать в человеческий рост. У берега темнела полузатопленная лодка, в ней плавали ржавые консервные банки с дохлыми червяками. Казалось, островки кочек плывут куда-то далеко-далеко, хотя само озерцо — не больше блюдца. Время замедлило свой бег, даже не слышно стало шуршания песчинок. Констанция наклонилась, потрогала воду кончиками пальцев и беззаботно защебетала:

— Теплая! Искупаемся, да? Я еще ни разу тут не была… Ох, как я благодарна вам, Антонина!

— Искупаемся-то вряд ли, а вот позагорать можно, — рассудительно отозвалась Антонина, но в ее голосе слышалась нотка радости, словно все это она сама придумала и сделала: и теплый ветерок, и шелест трав, и сверкание воды. Ей уже не хотелось желанной тишины, призванной венчать освобождение от одиночества.

— Вредно мне загорать, — опечалилась Констанция.

— Немножко никому не повредит!

— А, ладно! Не станем слушаться докторов! — Она нерешительно крутила пальцами пуговицу блузки.

— Голову в тенек, ноги на солнышко, и не перегреетесь! Вот так…

— Господи, как вы внимательны ко мне, милая Антонина!..

— Зовите просто Тоней.

— А какое здесь чудесное местечко, Тоня!.. До чего же ненавижу зевак, которые всюду суют свой нос…

— Какая у вас кожа гладкая, — похвалила Антонина, едва удержавшись от желания прикоснуться к спине подружки, как она теперь мысленно называла Констанцию.

— Правда? — Кайрене была рада похвале. Она лежала трогательно хрупкая и белая-белая, словно не в пору выпавший снег, который вот-вот растает.

— Ох, и любит же вас, наверное, муженек! — Антонина дивилась себе — спросила вроде бы шутя, но от всей души желая, чтобы так оно и было.

— Муж? — Констанция повернула к ней лицо, пожевала травинку — молча обдумывала, следует ли продолжать эту тему. — Да, он у меня очень хороший. Не стану хулить, наговаривать. Это глупо и унизительно. И нечестно. Но он… Нет, вам можно сказать. Не стыдно. Я скажу… Он не любит меня… Когда-то любил… Я еще вчера хотела сказать вам… Когда-то я была совсем другой!

— Вам и сейчас цены нет — стройная, подтяну-

тая, ни живота, как у меня, ни пятен на руках… Разве можно вас не любить?

— Ах, милая моя Тоня! — Констанция оперлась о локти, осмотрелась кругом потрезвевшими глазами — озеро сократилось вдруг до размеров лужи, от него несло тиной, берег был истоптан коровами. — Он давно разлюбил меня… Простите за пошлую жалобу, которую так часто повторяют женщины… Но разве можно любить такую, как я?

— Такую, как вы? — До них донеслось тарахтенье мотора — с противоположного берега озера долетел зычный, жизнерадостный голос; за сосняком шумело шоссе. Нет, они не были отрезаны от всего мира. Иллюзия полного уединения пропала. — Стоит вам показаться, все оборачиваются… И я за вами по пятам ходила, ловила вашу улыбку… Не любить такую, как вы?!

— Да, именно такую, которая всюду бродит с одной и той же книгой и в конце концов бросает ее, не дочитав!

— Уверена, что вы прочли куда больше многих…

— Тем хуже для меня. Заболеваю я от книг. Хорошие заставляют грустить, страдать… Только открою, начну читать и сразу вижу, чем кончит-

ся… Начать я, может быть, и не сумела бы, но закончить любую книгу берусь не хуже автора.

— Тут у нас недавно старичок жил. Красноносый такой. Говорили, роман сочиняет…

— Конечно, раз красноносый, значит замечательный роман напишет! Как же иначе? — язвительно рассмеялась Констанция, словно упоминание о писателе было для нее личным оскорблением. Антонина пожалела, что слишком мало знает о мире книг и совсем ничего о связях Кайрене с тайнами этого мира.

— Я слыхала, что книжки не только писатели сочиняют — инженеры, врачи, клоуны…

Ее Фердинандас любит порассуждать на эту тему, завидуя славе и гонорарам счастливчиков. Новая подруга, явно не заурядная домашняя хозяйка, может, она и сама пишет?

— В молодости пробовала.

— Я так и думала! — обрадовалась Антонина, что подтвердилось ее предположение, а еще больше тому, что ушли они от опасной темы, слишком минорной под лучами полуденного солнца, куда более уместной, если бы они разговаривали в уютном полумраке их комнатки.

— Не романы. Стихи. Только стихи. Впрочем, кто в семнадцать лет не воспаряет к небесам?

Вот и я строила воздушные замки, мечтала о прекрасном принце.

— А теперь?

— О чем я могу теперь мечтать?

— Не знаю. Другие-то вон пишут…

— Пишут. Но что и как пишут? Про самих себя мы еще кое-что знаем, — голос ее звучал страстно и убежденно. — А про другого человека можем только предполагать. Одним удается делать это умно, а другие — глупо, бессовестно лгут…

— Но ведь есть хорошие книги? — Антонина тоже заволновалась. Никогда еще до сего времени никто не разговаривал с ней так. Высокие, пусть невеселые слова будоражили Антонину, служили доказательством того, что ее не совсем еще поглотил водоворот быта, хотя с появлением в ее жизни этой таинственной печальной женщины от обретенного было спокойствия и следа не осталось.

— Лучше бы их не было! Не хочу травить себя правдой. Какой толк в ней, если ты несчастлива? Только чувствуешь себя еще более несчастной. С ложью можно еще как-то смириться, но с правдой… Не надо больше говорить об этом!

Поделом тебе, внутренне сжалась Антонина, не будешь без приглашения лезть в чужую жизнь.

Ведь еще ночью предупредили тебя ее жуткие, невидящие глаза… Так я и предчувствовала — то, что для меня интересно, необыденно, для нее банально, пошло… Она несчастная, но гордая и не желает, чтобы о ее несчастье вытирали грязные сапоги! И имеет на это право. А я распустилась, веду себя, словно завзятая курортная кумушка. Хотела отыскать человека еще более несчастного, чем ты сама, чтобы утвердить с его помощью чувство собственного достоинства? Как это она сказала? — «С ложью можно еще как-то смириться, но с правдой…», если она говорит искренне — а в искренности ее я не сомневаюсь, — это так ужасно!.. Нет, любая правда лучше самой красивой лжи! А давно ли ты сама думала, как она? И жила так? От одной лжи, из одного тумана кинулась в другой, правда, менее плотный, позолоченный лучами солнышка… Дорвалась до отдыха и забыла обо всем, а правда — одна, хоть там, хоть здесь.

Она не собиралась рассказывать Констанции про тюльпан, украденный Витукасом, но вдруг взволнованно и сбивчиво обо всем ей поведала.

— Да, скверно… Я понимаю ваше горе, Тоня. — Констанция села, забыв, что полуодета. — Но в его проступке есть и радость — я бы знала, чем

утешить себя, — значит, сын меня любит! Неужели вы об этом не подумали?

— Нет, — что-то в словах Кайрене задело Антонину, но она не стала спорить. В странном мире живет эта женщина, все там вверх ногами, как отраженные в глади воды кусты и деревья. В этом ее слабость, но и превосходство, которое невольно признаешь.

— Простите, Тоня. Не знаю, что на меня нашло нынче, несу какой-то вздор. — Порыв ветра растрепал ее волосы, на белой шее обнажился уродливый шрам.

— Вам операцию делали?

— Нет. Упала. Давно уже, поскользнулась и упала, — Констанция нервно прихватила пряди волос и прикрыла шрам.

Надо осторожнее ходить по улице! Антонине захотелось погладить ее шею, словно подруге все еще было больно.

— Затащила вас в такую даль и мучаю дурацкими вопросами. Не отвечайте вы на них! — пробормотала она виновато и отвернулась. Забыть обо всем! Так хорошо лежать рядом под весенним солнышком. Когда же загорала я в последний раз? Еще в техникуме училась, готовилась к экзаменам на заброшенном кладбище… Даже на

месте вечного успокоения не было страшно… И все-таки какой ужасный шрам!

— Мне здесь очень хорошо, спасибо вам! — Констанция перевернулась на спину, подставив солнцу и грудь, устало закрыв глаза. — Это мне следует извиниться перед вами… Очень вас прошу, что бы ни случилось со мной, не осуждайте… Ладно?

Забыть обо всем!.. А что может случиться на курорте, где каждому обеспечены покой, сытная еда, медицинский уход? Где такое солнце! Констанция кажется не столько больной, сколько ужасно уставшей. Впрочем, кто в наше время не устает? Тяжкие мысли порой изводят сильнее, чем самый тяжелый труд. По себе это знаю… Только бы не перегрелась подружка — первый раз на солнце. Забыть, обо всем забыть! Но не могла прогнать ощущение, будто что-то уже случилось. Об этом напоминал шрам. Его, конечно, легко прикрыть волосами, но избавиться от него, вывести, как пятно на платье, невозможно…

— Хватит, а то сгорим! — Антонина встала и потянула одеяло из тени сгорбленной ольхи.

— Еще немножечко! Не пойду! Ну, полчасика — упрашивала Констанция, словно балованный ребенок. На личике ни следа тревоги, тем более

горя. Как переменчивы и мысли ее, и настроения!

— Тогда оденьтесь. А то я потом буду виновата.

Констанция послушно накинула кофточку, застегнула пуговицы, поднялась и со смехом начала швырять в воду обсохшие ракушки.

Домой Антонина возвращалась расстроенная, озабоченная, хотя одна такая прогулка стоила месяцев прежней ее жизни. То и дело поглядывала на беззаботно семенящую рядом Констанцию; совершенно забыв свои страшные слова о лжи и правде, она весело о чем-то болтала. Глупые мы люди — женщины… То готова была отдать что угодно, лишь бы расшевелить ее, а теперь сержусь на ее ребячливость… Легкомыслие, поправила себя Антонина.

Ночью соседка опять глухо стонала, В тишине и темноте казалось, что в ее худеньком теле яростно сражаются враждебные силы и не могут ни победить друг друга, ни взорваться отчаянным, звериным криком. Стоны перемежались горестными смешками — даже в забытье издевалась Констанция над собой. Что заставляет ее метаться и стонать? Антонина была испугана, очень испугана, но стоны не были уже неожиданностью, как прошлой ночью. Она встала, подошла к кровати

соседки, не выдержав, включила свет.

— Боже, — вырвалось у измученной женщины, пустые, широко открытые глаза бессмысленно блуждали по ярко освещенной комнате, руки судорожно пытались натянуть сбившееся одеяло. Замерзла, бедная! Антонина заботливо прикрыла ее сверху еще и своим одеялом.

— Неужели опять начинается?

— Что начинается? Спите себе спокойно. Я посижу возле вас. Может, воды? Перегрелись. Я же предупреждала.

Зубы застучали о край стакана, вода плеснулась на пододеяльник.

— Ничего, ничего, сейчас все пройдет, — шептала перепуганная Антонина, глядя на темные сосны за окном, а перед глазами — ее шрам. И шрам, и то, как Констанция спешит прикрыть его волосами.

— Может, на этот раз и пройдет, — покорно согласилась Констанция, вцепившись в руку, которой Антонина поглаживала ее плечо, стараясь успокоить. — Но боюсь, только на этот раз… О, господи! Господи, боже мой…

— Что? Что с вами, милая?

— Запах… Вы не чувствуете запаха корицы? — Кайрене резко села в постели, ее тонкие ноздри

трепетали.

— Где? Какая корица? Ее нынче и за большие деньги не добудешь.

— Простите… Почудилось. Я так ненавижу корицу, так боюсь ее! Стоит услышать запах, и я…

— Может, врача?..

— Нет-нет! Умоляю вас… Сжальтесь надо мной!

Антонина обняла ее, прижала к себе.

— Глупенькая. Ну откуда тут быть корице? Когда-то я ее в печенье клала… А здесь сосновой смолой пахнет, хвоей…

— Боюсь запаха корицы… Этот запах — постоянный невидимый спутник его матери. С самой первой встречи невзлюбила меня, только притворялась, пирогами угощала… Вот и вы меня возненавидите, Тоня… Я должна бала предупредить вас, что не такая, как другие… У меня жуткая болезнь. — Констанция уже не могла или не хотела ничего скрывать. — Это не заразно, но куда страшнее — эпилепсия. Слышали о такой? Потому-то муж и разлюбил… Не сердитесь, пожалуйста, милая Антонина, что я скрывала… Так страшно признаваться чужому человеку… И самой себе — страшно…

— Просто вам приснился дурной сон. Прос-

нетесь утром и будете смеяться над ночными страхами. — Антонина, как ребенку, поглаживала ей волосы.

— Ах, если бы это действительно было сном!.. Падаю прямо на улице. Почувствую вдруг запах корицы и теряю над собой контроль, валюсь как подкошенная. Ходит за мной моя болезнь, словно убийца. Но не убивает — собьет с ног и отступит… Все время слышу ее шаги — и нет сил сопротивляться. Проваливаюсь куда-то ночью и ничего не помню. Просыпаюсь, словно в гробу. Однажды прямо в воду свалилась, если бы не люди рядом — утонула бы. Как сноп падаю. Во сне из постели выбрасывает.

— Но сейчас-то вы здоровы. На солнце перегрелись.

Дрогнули, задвигались кольца голодного, просыпающегося удава — Антонина почувствовала, как подкрадывается к ней былое отчаяние, а ведь казалось, что оставила его далеко-далеко, среди мелких будничных тревог и забот.

— Нет. Я говорю правду. Вот вы спрашивали на озере — откуда у меня шрам? Это я в музее упала на пики железной каминной решетки. Пришла в себя — увидела мужа, а вокруг люди толпятся… Господи, как он тогда посмотрел!.. Как ему было

стыдно… Конечно, жалел меня, но сгорал от стыда: все вокруг видят, как я себя изуродовала… Его жена — и вдруг… Вот забьюсь в припадке, тоже сбежите. Если муж не мог выдерживать, то каково чужим? Завтра я от вас переберусь, Тоня. Вы мне очень нравитесь. Чувствую, что и вам нужно от чего-то избавиться… Вы сильный человек. И гоните меня прочь, чтобы снова не слетелись злые духи, от которых вы здесь укрылись… Гоните!

— Злые духи, они — в нас, милая…

— Ваши — может быть. А мои… Мои коварные, бесплотные, безликие — один только запах. Но и запах — обман, в музеях не пахнет корицей…

— Я от вас не отступлюсь, Констанция. Сами же говорите, что я сильная. У меня трое детей, я привыкла каждую минуту быть начеку… Каждую минуту!

— Все равно. Дождусь утра и уйду.

— Никуда я тебя не пущу. Меня запахом корицы не испугаешь. — Если честно, то Антонина боялась, очень боялась снова увязнуть в болоте страха и отчаяния, из которого с таким трудом недавно выкарабкалась. Если бы не беспомощная головка у нее на груди, не собственные слова, звучавшие приказом самой себе, она бы стремглав убежала прочь из этой комнаты. От волнения

даже не заметила, что обращается к Кайрене на «ты». Перед глазами каминная решетка: трехгранные острия, как у копий, торчат хищные железные зубы, грозя растерзать эту белую, едва тронутую солнцем кожу. — Болезнь как болезнь. Бывает куда хуже. С кровью что-нибудь… Или психические…

— Эх, Тоня, Тоня… Муж тоже клялся, что ничего не боится. И правда, поначалу, когда я только заболела, не боялся. Потом его имя замелькало на афишах, стали посылать Кайриса за рубеж, хвалебные рецензии в газетах, и ко многому стал он относиться по-другому, многое увидел в ином свете. Не саму болезнь, с нею он кое-как свыкся, словно с дождливым летом на взморье… Главные его переживания заключались в другом… в том, что болезнь невозможно скрыть от посторонних. Окружающие видят не только недуг жены, но и его беспомощность, а человек с афиши не может себе этого позволить. Безобразно и унизительно! Поглядят и засомневаются, таков ли он на самом деле, каким представляет его себе публика… Пусть знаменитости совсем не таковы, какими их себе воображают, но для него это невыносимо…

— Ведь вы же не разошлись?

— Ну и что? Обуза я для него. Раз больна, он,

конечно, не унизится до развода. Но терпит не потому, что любит, а из чувства самоуважения. Как же! Ведь он — человек с афиши! Простите, что я поливаю его грязью… Это низко. Нет, нет, он добрый, не был бы добрым, никакая афиша не удержала бы.

— А как же вы? — Антонине стало стыдно, будто и она вела себя, как ее муж, спешила перевалить ответственность на кого-то другого.

— При чем здесь я? Я просто несчастный человек, и все. А он справедлив и добр, вероятно, нашлось бы сколько угодно мужей, которые такую жену, как я, вышвырнули бы прочь, словно рваную тряпку… Мне разрешается все, что угодно, одного я не вправе требовать — его любви… Только вы не подумайте, Тоня, — она снова сжала руку Антонины. — Ни слава его, ни деньги меня бы не удержали. Я имею право преподавать, на хлеб себе всегда заработаю… Но я люблю его… Все еще люблю! Понимаете?

— Успокойтесь. Я очень хорошо вас понимаю, — уверяла Антонина, а мысли обгоняли друг друга: как похожи люди — будь они образованные или совсем темные, дирижеры или барабанщики, и почему же мы, женщины, должны не только рожать и воспитывать детей, но и терпеть все-

все, почему столь огромны наши чувства, наша преданность и любовь — ведь свобода выбора ограничена, и любовь зачастую обращается против нас, как и постоянство, которым мы так гордимся. Жертвуем собою в любви, забывая обо всем на свете, превращаемся в надоедливых, брюзгливых, становимся скучными, стареем до срока… Но Констанция так молода, прелестна, полна женского обаяния… Нет, не может быть!

— Понимаете, так скажите: разве не лучше рак? По крайней мере знаешь: скоро конец; а тут дрожи все время, жди подкрадывающегося убийцу… Не живешь и не умираешь… Не знаешь, когда это случится, не имеешь возможности подготовиться. И презираешь себя за боязнь положить конец своим конвульсиям, чувствуешь, что ты тяжкое бремя для близкого человека, что он несчастен из-за тебя… Господи, зачем я впутываю вас в эту историю, зачем? Ах, Тоня, Тоня! Вечно на что-то надеешься, лжешь самой себе…

— Надежда — это не ложь и не обман. Это по-человечески — надеяться! И не болезнь самое страшное — страшно, когда ей поддаешься. Все время появляются новые лекарства… И муж у вас… Если все еще любите, значит, не потеряли веры в него. А завтра будет новый день… будет!

Антонина, как умела, боролась с отчаянием Констанции, обнимая ее сильными, мускулистыми от тяжелого труда руками. Так бы и задушила и эту ее поганую болезнь — чтобы не нападала из-за угла, не губила безвинного человека! — и свой собственный все возрастающий страх. В голове стоял гул, будто рядом лопнул вдруг огромный великолепный хрустальный сосуд, вмещавший и сосны, и озеро, и половину рассеченной стонами Констанции ночи.

— Ложь… Ничего нового нет… И не будет!

На прикроватной тумбочке тикали часики Кайрене, светящиеся стрелки подползли к четырем. Скоро утро, зазвенит птичья разноголосица. За далекими соснами загоралось уже розовое зарево. Но разве все это так важно? Нету, рассыпался хрустальный сосуд, хранивший в себе доброту, летят осколки, разгоняя последние ночные тени, и никогда уже не обретешь больше желанного покоя, за которым ехала сюда, освободившись от оков быта, бросив на произвол судьбы мужа, детей, работу. Неужели и ехала только за недолговечной иллюзией покоя? Нет. Антонина Граяускене и прежде сомневалась, так ли уж он ей необходим, этот покой, одно знала твердо: уйти Констанции она не позволит.

— Пустите!.. Где халат? Пустите, говорю вам, а то закричу… Такое услышите, чего отродясь не слышали, Вы старая, мерзкая баба!.. Что, не нравится? Да, да, баба. А бабе никогда не понять, что такое любить и не быть любимой… — Попытки Констанции вырваться становились все слабее, она утихала, подчиняясь более сильной воле. — Тоня, милая, умоляю вас, гоните меня к черту! Не заставляйте откусить себе язык!..

— Успокойтесь! Надо поспать… Скоро день…

— Вот и новый день! — было первыми словами Констанции, когда они проснулись. И слова эти прозвучали так, словно она все еще рассчитывала скрыть то, что ночью было обнажено, как корни беспощадно вырванного деревца.

Антонина не отозвалась.

— Мне очень стыдно, Тоня… Столько хлопот вам доставила… Смогу ли хоть чем-то отплатить за вашу… доброту? — Вкрадчивый, мягкий голос, и выглядела Констанция, как нашкодившая кошка, которая боится, что ее схватят за шиворот и выкинут за дверь. — Помните, вы интересовались моей французской книгой? Я могла бы вас научить… Хотя бы читать! Это изумительный язык. С ним в любой чужой стране не пропадешь…

— Ну мне-то по чужим странам таскаться не

придется, — процедила Антонина. Что, снова издевается?

Обувалась — руки дрожали. Она бы могла еще сильнее сердиться на ту, с которой промучилась полночи, но что-то смиряло злость — было стыдно, будто обманом выманила чужую тайну. И слов своих стыдилась — как будто не она их произносила, а дикторша радио или телевидения. Красиво поговорила, а ей, бедняге, может, всю жизнь маяться… Гм, каблуки сбились. Мастерская-то в двух шагах; можно подумать, там не подметки прибивают, а розами торгуют — прилавок ярко-желтый, стены будто медом намазаны. Снести, что ли? Или уж до дома? Дома, дома сдам! Скоро домой. Но как оставить Констанцию? Не бросишь ее…

— И у меня на босоножке ремешок оторвался, — голос снова ластился кошечкой, терся у ног Антонины, но ее лицо оставалось замкнутым. — Тоня, милая! — В голосе вдруг прорвалось такое, что обдало их обеих жаром. — Не сердитесь на меня, столько я тут вам гадостей наговорила!.. Я в городе на Кленовой живу, мы почти соседи. Мне бы так хотелось повидать ваших детей! Особенно старшую… И малышку тоже очень хотелось бы… И того мальчугана, который тюльпан вам при-

нес... Вы не рассердитесь, если я вдруг загляну к вам с коробочкой конфет?

— Ох беда — эти дети! Ну да сами увидите, — еще угрюмо произнесла Антонина. — Только, пожалуйста, никаких конфет! Для зубов вредно, а зубы у них — все матери жалуются — крошево... — И вдруг звонко и радостно: — Поспрашивали бы лучше Виганте! Учит французский, да что-то не очень у нее ладится. А?

Словно кто-то включил радио — зашумел, загомонил всеми своими требовательными и неумолимыми голосами город.

Авторизованный перевод *Б. ЗАЛЕССКОЙ* и *Г. ГЕРАСИМОВА.*

Даля Урнявичюте
ОРАНЖЕВЫЙ ШЛЕМ



Даля Урнявичюте родилась в 1932 г. в городке Даугай Алитусского района. Окон-

чила Литовскую сельскохозяйственную академию, факультет землеустройства и мелиорации. Работала в Министерстве сельского хозяйства республики и в Институте проектирования водного хозяйства.

Печатается с 1957 г. Начав с поэзии (сборники стихов «Майский дождь», 1960; «Семь долин», 1965), перешла затем к драматургии. Из созданных ею пьес наиболее известны «Называй меня матерью», «Папашины игрушки», «Затишье — 2 км», «Язычница», идущие на сценах многих театров страны, переведенные на ряд языков. Повести «Вдовья рута» и «Оранжевый шлем» вышли отдельной книгой (1972).

ГОДА

«…прилетел дракон печали и сдавил девичье горло…»

Дождь. Крупные капли бьют в стекло, и чувствуешь, что они теплые. Такой дождь бывает только летом. Осенние дожди иные — долгие, монотонные, но их легче переносишь, как и всякую закономерность.

«…прилетел дракон печали и сдавил девичье горло…»

Где-то вычитала. Где? Когда? Почему я сегодня повторяю одну и ту же строчку?

Я пишу… То есть я хотела сказать, что тоже пишу. Только стихи мои какие-то безрадостные, никому не нужные. Я не люблю их потом читать и вообще показывать другим. Стихи не терпят равнодушия. Но они живут во мне, как рыбы, и день за днем я выуживаю их из тихой зеленоватой глади. Они умирают на моих глазах. Странная, неизъяснимая потребность писать.

И даже сейчас, сжимая пальцами миниатюрную шариковую ручку, я испытываю непреодолимое желание видеть свои мысли на бумаге. Ничего не могу с собой поделать. Условный ре-

флекс.

Люблю писать шариковой ручкой. Их у меня целый склад. Шариковые ручки со всех концов страны и даже из-за границы — это все надарил мне Алдас, который где только не был со своей командой.

Любовные стихотворения можно писать красной ручкой, элегии — фиолетовой. (Банально!)

Надо уметь писать стихи острым зонтом на шершавой воде, осторожно, чтобы не спугнуть облака и листья, которые медленно и безвозвратно текут и текут, уплывая в прошлое.

Тот, кто прочтет их, поймет.

Иногда Алдас просит меня почитать. И я читаю. Алдас молча, торжественно целует меня в лоб — лучшее, что он может сделать. Я вижу по его глазам, что он безропотно принимает свой удел, и с улыбкой закрываю тетрадь: ну, любопытный щенок, не будешь совать нос туда, где ничего съедобного для тебя…

Если двух человек, живущих рядом, не связывают каналы общения, один из них должен исчезнуть в другом, раствориться, ассимилироваться. Это единственный способ сравняться и быть вместе.

В головах нашей большой тахты две подушки.

На одной, как на белом квадрате, я отчетливо вижу загорелое чистое лицо Алдаса. На другой — пусто: меня нет. В короткие паузы между мотогонками, тренировками, обедами и веселыми пирушками он, конечно же, вспоминает обо мне и тогда покупает новую шариковую ручку. На что-нибудь большее у него не хватает фантазии и денег. Иногда еще черкнет на открытке:

«Солнышко,
я здоров и счастлив. Все хорошо. Погода чудесная.
Как ты там?.. Скучаю по тебе!
Люблю. Целую. Не грусти.

Алдас».

Сколько внимания к самому себе! «Я здоров», «счастлив», «не грусти», — надо понимать: тоже из-за него. Там, где он, и погода чудесная, и вообще… Ко мне относится единственное «как ты там…». А «люблю, целую» можно было соответствующим шрифтом набрать и в типографии. Это всего лишь форма. Традиционная концовка любого послания. Я уверена, что даже письмо с требованием дать ему развод он закончил бы теми же словами: «люблю, целую, не грусти…»



А я грущу… Каждое такое письмо прячу в стол, как документальное доказательство того, что больше не могу, нельзя больше! И вырастает гора

невысказанных обид. На смену лету приходит осень, осень сменяется зимой, а мы живем год за годом, любя друг друга и постепенно друг от друга отдаляясь. Нет, не совсем так. Мы родились чужими и только создали себе иллюзию близости. И вот эта иллюзия теряется, исчезает, заставляя нас страдать.

Сейчас лето. Алдас много ездит. Я думаю: ладно. Но вот придет осень. Под осень я начинаю, лихорадочно писать. До боли обострены все чувства, изнуренные сумятицей лета. Внезапный наплыв мыслей обрушивает на меня лавину красочных ассоциаций. И как раз в эту пору мы оказываемся вдвоем в нашей тесной комнатенке. Два разных мира. Два легко ранимых, маленьких человека.

Не помню, чтобы долгими осенними вечерами мы хоть раз занимались тем долгим, путаным выяснением отношений, которое если ничего и не решает, то, во всяком случае, так изводит, что в конце концов наступает равнодушие. Чаще всего мы торопливо, подняв воротник плаща, бежим в какую-нибудь киношку. Молча посасываем дешевые леденцы в фойе, потом смотрим на экран. Молча. Порознь. Как известно, универсальных фильмов для всех не бывает. Если картина для меня, он сидит такой безучастный! А если для

него — ну что ж, я стараюсь открыто не зевать.

Еще одно тоненькое, тоньше паутины, наслоеньице в страшном архиве непрощаемых обид. Настанет день и мы будем рвать и метать из-за какой-нибудь чепухи и, задыхаясь, кричать друг другу:

— Ты не даешь мне дышать!

— Ты отравляешь все вокруг!

— …отбиваешь охоту жить!..

— …застишь солнце… Рядом с тобой я не живу, а задыхаюсь!

Иногда такой взрыв до того близок, что я еле-еле сдерживаюсь. (Разумеется, это я буду кричать.) И тогда Алдас говорит:

— Ты что-то бледненькая сегодня. Может, прогуляться с тобой?

Это значит — вывести на прогулку. Я благодарно цепляюсь за локоть Алдаса. Шагая по обычному нашему маршруту, я нервно мну рукав его плаща и стараюсь не выказать волнения. Плакать от радости, что муж предложил пройтись? Да это же смешно! А между тем он не более и не менее как предотвратил ужасающий взрыв, который должен был разнести нас в клочья и разбросать по звенящей от одиночества вселенной.

Алдас не ведает о той вселенной, он просто не

думает о ней. И это так мудро, я бы сказала — идеально.

Иногда, вечерами, глядя на него, я готова бог знает что отдать, лишь бы узнать, что творится за этим гладким, спокойным лбом. Ему должно быть невообразимо хорошо: тренировочные брюки закатаны до колен, от малейшего движения пальцев на плечах, под гладкой, загорелой кожей играют волокна мышц. И в этом совершенном, здоровом теле — успокоение!

Он любит бессмысленные занятия. Например, строгать палочку, сидя на пне в лесу. Он ее не выстругивает, нет! Просто строгает, пока палочка не сойдет на нет. В нем отсутствует творческое начало.

Потому, вероятно, он и способен это блаженное состояние покоя мигом променять на шум, гам, азарт гонок. Сломя голову нестись по горам, буеракам, корежить машины, потом целыми днями ремонтировать их, падать с с ног от усталости, выжимать из себя последние силы. И все так же бессмысленно.

Когда Алдас после неудачных соревнований возвращается с грязным лицом и ревом машин в ушах, у него бывает такой взгляд, как у загнанного животного, а может, как у меня после бессонной

ночи. В таких случаях мы стараемся не встречаться взглядами. Оба всячески избегаем этого.

Что же свело нас в этой тесноте и заставило жить вместе, все больше проникаясь друг другом?

…Никогда не забуду окно, открытое окно, повисшее над рекой, когда я рано утром проснулась возле спящего Алдаса. От его белой сорочки пахло бензином, а широко раскинутые руки словно воочию хотели показать, какой охапкой спокойствия может он каждого одарить.

Виновато мое воображение? Но если меня, допустим, привлек контраст, то что же влекло его?

— Ты сама не знаешь, чего хочешь, — время от времени повторяет Алдас.

Он прав. Человек способен точно уяснить и выразить словами только физические свои потребности: хочу пить, хочу окунуться в прохладную воду речки… А чего хочу я?

Иногда мне хочется вернуться в тот день, когда я впервые встретила Алдаса. Я жмурюсь от яркого солнечного света и как бы вся погружаюсь в густой мед: желтый, желтый, желтый… И если в этот момент донесется автомобильный гудок приятного сиреневого тона, я мгновенно переношусь в т о т д е н ь. Всем существом я чув-

ствую свою кожу. Прохладную, упругую. И чисто физически приятную. Так, должно быть, лесной зверек чувствует свою отменную шкурку. Я сразу заметила, что Алдас любуется моей шелковистой кожей. И от этого она туго натянулась, заставив меня ощутить все свое тело и придав какую-то особую прелесть, замедленность каждому движению. (Ах, до чего тонки уловки естества!)

А как сказать о чем-то большем? Как сказать не себе, а людям? Где те слова, которые все могут одинаково понять?

Хорошо товарищам Алдаса, которые говорят на одном языке:

— Ну и жаркий денек был… — Все гогочут. Глаза начинают блестеть от общих воспоминаний.

— Валюс чуть было не зашился… — Все качают головами.

— …Вчера поклеил шикарную девочку… — Могу ручаться головой, что перед каждым возникает один и тот же образ «шикарной девочки»: тугие икры, крутая попка.

Их девчонки действительно в чем-то схожи. У всех отличное тело, импортная галантерея, все поминутно хохочут. Все, кроме хромоножки Стасе Карпене — жены Юстаса Карписа. Как поговаривают парни: при одном плавнике ее так и

тянет на бок.

Я не сомневаюсь, что в этом отношении она не хуже и не лучше других. Только Стасе родила Юстасу сына, и, когда младенцу был год, уже никто не звал ее иначе, как Карпене.

Юстас теперь явно сам не свой: уж если пьет, так «в усмерть», и ездит тоже. Собственно говоря, он ничего другого и не делает. На работе его держат только за то, что он знаменитый гонщик.

Алдас дружит с ним. Дружба эта скорее всего зиждется на том, что жены у обоих не такие, как у всех. Та изуродована физически, ну а я…

С этим связано и особое отношение к ним — молчаливое мужское сочувствие всей команды.

— Братцы, Карпис перебрал.

Его подхватывают, заслоняют, прячут от тренера.

Думаю, подобное сочувствие вызывает и Алдас. Меня они охарактеризовали одним словом — «иностранка». Это не внешний вид, не прическа или манера держаться, прежде всего это — н е т а к а я. Приблудная овца. Что может быть ужаснее?! Слегка укороченная конечность Стасе — сущий пустяк в сравнении с э т и м.

Если Алдас не остается на заключительном банкете, его даже не пытаются удерживать.

— Алдасу надо идти домой, — говорят они друг другу.

— Жми, дружище!

Его провожают будто на Марс мужским, сдержанным молчаньем. И даже после того, как он уходит, не сразу закипает веселье. Их мужское сочувствие основано на твердой уверенности: Алдас любит свою бабу. Ну что ж… С каждым может случиться. Это как корь — заболевание для ребенка неизбежное.

Совсем другое дело, когда у кого-то из команды заведется легкий роман. Тут уже все превращаются в страстных болельщиков.

— Ну как там у тебя? А?

— Ха-ха-ха…

— И чего он втюрился в такую жердь?

— Говорят, он сперва прямо на мотоцикле по ней проехал…

— Го-го-го…

Смеется вместе со всеми и Алдас. Смеется незлобно. Так, словно с ним никогда не может случиться того, что приключилось с его товарищем.

Да, Алдас любит меня. Как может, как умеет. Вот где тупик. И тут уж ничего не попишешь. Мы с ним — как два человека, заброшенных судьбой

на необитаемый остров. Два человека, каждый из которых не знает язык другого. И должно пройти много лет, пока один сумеет сказать другому нечто такое, что тот поймет. «Как спалось, дружище? Сегодня доброе утро». Мы два упрямых человечка, свято верящих, что, когда другой ответит: «Доброе утро», — наступит поистине счастливый день. Ради этого стоит помучиться одно-два десятилетия.

Можно подумать, будто мне для счастья не хватает лишь утонченного интеллектуала, все понимающего по одному движению ресниц. Но Алдас и был тем оазисом, к которому я бросилась, спасаясь от «интеллектуалов». От их бесплодных разглагольствований, от истлелой, бессильной злобы, постоянного подливания капли яда в чашу друга. Я почувствовала, что должна любой ценой вырваться из этой среды, остановить это злокачественное произрастание духа, не гармонирующее с телом и все меньше подвластное уму. Эти муки! Эта хроническая хандра! Надо было как-нибудь превратить в жизнь то, что было только литературными усладами. Изучение жизни по литературе. Анализ того, что никогда не станет реальностью, и полное игнорирование реальности…

Алдас прост, чист и реален. Как земля, как вода. Его несложность была для меня чем-то новым, и этого оказалось достаточно. Вполне достаточно на первое время…

Мои «интеллектуалы» решили, что вечно женственное стремится к грубой силе. Поэтесса и мотогонщик — неожиданное сочетание. Неожиданные сочетания занимают их. Они не терпят лишь повторений. Мы живем в эпоху неожиданностей.

Все это еще можно было бы оставить на их совести, но неужели они многодумными своими головами не могли понять, что я за Алдаса вышла не в погоне за оригинальностью, а потому что мне было хорошо с ним. Хорошо почувствовать вкус ветра. Хорошо, усевшись на обочине дороги, жевать хлеб с маслом и не анализировать, отчего да почему я это делаю и что сказал бы в подобном случае «такой-то и такой-то» из великих людей.

Нам было хорошо, и мы захотели, чтобы так было навсегда. Разве им понять это?

А может, и вправду наступит день, когда мы поднимем с подушек седые головы и скажем:

— Как спалось, дружище? Сегодня доброе утро…

«Доброе утро!» И мы поймем друг друга.

АЛДАС

Купил сегодня новый шлем. Не то чтобы лучше старого: в нем плохо слышишь и все время съезжает набок. Зато по цвету в самый раз с мотоциклом. Недаром Года сказала, когда я прикатил домой:

— О! Да ты настоящий франт.

Сомневаюсь, было ли это похвалой, но не уверен и в том, что Годе хотелось уесть меня.

— По-твоему, я слишком часто покупаю шлемы?

— А что, ты часто покупаешь их?

— Да, — признался я, — есть у меня такая слабость.

— Это уже которая по счету? — Года явно поддразнивала меня.

— Ты чем-то недовольна? — я предпочел сразу внести ясность.

— Нет, я только хотела сказать, что чуть ли не каждый день слышу о все новых и новых твоих слабостях.

Послушать Году, выходит, будто я сплошь состою из детских прихотей и мужских слабостей. А что касается мужской силы, так об этом она и

слыхом не слыхала.

— Могу уступить его Касису, — решил я продемонстрировать эту самую силу, — он мечтает о таком шлеме.

— За что же бедный Касис должен таскать этот апельсин на своей голове?

— А на моей, думаешь, он будет в самый раз?

— О! Над этим еще не думала. Подумаю и сообщу тебе завтра.

Года сказала это вполне серьезно. Теперь было ясно: она злится, и скорее всего не из-за шлема. Да и почему, собственно, ей злиться из-за шлема? У Годы есть такая манера: прицепится к какой-нибудь мелочи и накручивает, накручивает, а потом выясняется, что ее обидело какое-то слово, которое я сказал ей по телефону позапрошлым летом.

Пока Года сбивала в чашке омлет, я молчал. Ждал, может, она еще что-нибудь скажет. Но она молчала, и я сделал новую попытку завязать разговор:

— Сегодня Григас явился на тренировку.

— Надо было повесить флаги, — буркнула Года.

— При чем тут флаги?

— Вам ведь не каждый день приходится видеть столь знаменитого бражника.

— У него был вывих ноги, — объяснил я.

— Вот как! Ему грозит еще большая неприятность — самому свихнуться от пьянства.

Ясно, что продолжать разговор не стоило. Спросить, почему она злится, было тоже рискованно, но к этому времени я уже сам завелся и сказал:

— Если ты сердишься из-за нового шлема, то могу тебе сообщить, что не куплю другого, пока этот не треснет.

— В самом деле? Тогда не видать тебе другого шлема.

— Да, — подтвердил я. — Потому что если этот и треснет, то вместе с головой.

Года посмотрела на меня, и ее ресницы сжались, как от удара. Но ответила тем же тоном:

— Будет еще больше расходов: придется доставать и другую голову — получше этой.

— Лично я своей головой доволен, — сказал я как можно беспечнее.

— Да, — отозвалась Года, — для мотоциклиста она достаточно тверда.

Мне хотелось плюнуть на ее омлет и уйти. Но я не ушел. Стал насвистывать какую-то навязчивую мелодию и срубал весь омлет. Я отлично понимал, что ровным счетом ничего не добился, проявив столь редкостное самообладание. Если

бы я вспылил, хлопнул дверью, Года охотно простила бы меня за что-то, чего я так и не знал. Но, после того как я спокойно умял свою порцию, она видела во мне лишь первобытного человека, для которого главная потребность — утолить голод. Тут она, кажется, права. Если у меня не пропал аппетит и кусок не застрял в глотке, значит, я вовсе не переживаю, и нечего прикидываться. У самой Годы мгновенно перехватывает горло, стоит ей чуть понервничать из-за какой-нибудь ерунды. По правде сказать, я не очень-то ей сочувствую. Но раздражать человека и в то же время самому спокойно, с аппетитом есть, — по-моему, бессовестно.

Когда я поел, Года бесцветным голосом заметила:

— Когда встаешь из-за стола, надо говорить спасибо. Между прочим, спасибо говорят даже тем людям, которые не обслуживают тебя, а просто сидят за одним столом.

— Я хотел, чтобы за тобой осталось последнее слово… — пробормотал я. — Ну что ж — спасибо…

— На здоровье. Как видишь, последнее слово и так за мной. — И Года вышла из кухни.

Я, не простившись, ринулся вниз по лестнице.

Всю дорогу до автобусной остановки я думал, что надо бы вернуться и что-то сказать Годе, но подошел мой автобус, и я сел в него. Ну а раз уж сел, то решил больше не морочить себе голову.

Увы! Целый день где бы то ни было я продолжал думать о Годе и нашем странном житье.

Робертас повертел мой новый шлем и сказал:

— Каков петух, таков и гребешок!

Он вечно кичится своими успехами по части женщин. Никто из нашей команды не может похвастаться чем-нибудь особенным, хотя все ребята как на подбор. Робертас способен молоть языком без умолку целыми часами. Наверно, этим он и берет.

— Послушай, — не выдержал как-то Балис, которому вечно все надо знать, — ты все время так треплешься или бывают моменты, когда молчишь?

— Не молчу, — ответил Робертас, — иначе она сама заговорит… Тут уж дело хуже.

Ребята то и дело конфликтуют со своей второй половиной и только диву даются, как Робертас ладит со своей Ритой… Они все, вместе взятые, не могут куролесить столько, сколько он один, и, когда после всего этого Робертас чудесным образом приходит на футбольный матч под ручку с Ритой,

все только глазами хлопают.

— Как ты ей зубы заговариваешь?

Все слыхали его неизменные «душенька», «золотце» и прочие словечки. Пробовали и сами действовать этим методом. Только ничего, кроме конфуза, у них не вышло. А Карпене так разбушевалась, что Юстас даже дома не ночевал. «Признавайся, что ты натворил, почему подлизываешься?!» — и все тут… Робертас только знай посмеивается. Не иначе, как ему известны и другие методы.

Меня это, конечно, не интересует. Наши конфликты совсем другого свойства. Вот хотя бы и сегодняшний… Тут уж совета не попросишь — чужим умом не проживешь.

Однажды, когда наше молчание слишком затянулось, Юстас осведомился:

— И давно она так?

— Давно.

— А за что?

— Сам не знаю, — признался я.

Юстас долго думал, а потом как-то не очень решительно спросил:

— А ты… не пробовал?

— Что? — я с надеждой поднял на него глаза.

— Ну, врезать ей…

— Ты с ума сошел! — крикнул я так, что он отшатнулся.

— Да нет, я не то чтобы… — пробормотал он. — Может, напьешься как-нибудь, и тогда уж…

Что тогда? Ни черта он не смыслит.

Стасе любит Юстаса за его красоту и мужественность, а Годе плевать на это. Помню, когда-то она сказала мне:

— Ты достаточно хорош собой и можешь не беспокоиться о своей внешности.

Часто бывает как раз наоборот. Скажем, Юстас о своей внешности заботится больше, чем другие. Сам я об этом мало думаю. Особенно после того, как заметил, что для Годы это не имеет значения.

Зато мне всегда приятно, что Года красивая. Теперь-то я вижу, что давно люблю ее совсем не за красоту и, наверно, любил бы точно так же, будь она даже неизлечимо больной или калекой. Тем не менее я неизменно ловлю себя на том, что горжусь ее изящной походкой, волосами, ее удивительными руками.

Когда я признался Годе в этом, она лишь пожала плечами:

— Каждый самец обращает внимание на такие вещи. Улучшение вида…

Она не сказала — мужчина. Сказала — самец.

Сегодня я уже знаю, что мужчина в ее понимании должен обладать определенными качествами самца, хотя самец в то же время может не иметь ничего общего с мужчиной. Прекрасным примером тому служит Робертас. Я рассказал ей, какие чудеса он выделывает с машиной. Она только улыбнулась:

— Но ведь это ребячество!

Считает ли Года меня мужчиной? Не знаю. Радуюсь хоть тому, что как пример самца она привела Робертаса.

Кястас (он самый старший из нас — у него двое детей) только рукой машет, слыша о чьих-то семейных дрязгах.

— Вам хорошо ссориться. Разойдетесь — найдете новую.

Он считает, что только в том случае трудно найти жену, когда ползарплаты уходит на алименты. Ребята прозвали Кястаса «папулей». Некоторые из наших тоже успели завести детей, правда, не больше одного, но никто так не предан своей семье, как Кястас. Он свято верит, что основа семьи — дети. Однажды Кястас спросил меня, сколько лет мы с Годой женаты.

— Скоро пять, — ответил я.

— А почему нет детей? — спросил он без обиняков.

— Не знаю. Не думал об этом, — промямлил я.

Неправда. Думал. Даже с Годой однажды заговорил на эту тему. Только она, по обыкновению, живо разделалась со мной:

— А ты хочешь?

— Не знаю. Вправду, я не знаю…

— Когда и вправду захочешь, будешь знать.

Она права. Что я могу сказать? Что у других есть дети?.. А при чем тут другие, если у них жизнь другая, и радости другие, и даже ссорятся они совсем по-другому.

А хочет ли Года детей? Наверно, хочет. Только у нее все это чертовски запутано, усложнено. Такого напридумывает, что потом и говорить об этом уже неловко. Может, ей и хотелось бы ребенка, да не от меня… Наверняка бы она хотела увидеть в нем такие черты, каких во мне с фонарем не сыщешь.

Что я могу ответить Кястасу? Узнав о том, что жена в положении, он начинает подыскивать модную коляску. Это почетный долг отца. А все прочее образуется само собой. У меня и мысли такой не может быть.

Мы прожили с Годой столько лет, но не каж-

дый, видя нас на улице, скажет, что это муж и жена. Иногда я просто стесняюсь ее.

Сегодня я только и думаю о Годе. Почему она такая? Ведь умеет же быть доброй и терпеливой. И никто не знает этого лучше, чем я.

Чтобы подавить нарастающую тревогу, я начинаю думать о чем-нибудь более приятном.

…Шел дождь. После зверски утомительной тренировки я пешком довел мотоцикл до ремонтных мастерских и грязный как черт поплелся домой. Прохожих было мало. А те, кто попадался мне навстречу, были какие-то хмурые, некрасивые. Всякий норовил поскорей нырнуть куда-нибудь в подворотню или в автобус. И чего они все так боятся этого дождя, удивлялся я. Но тут же сообразил: чудак, они берегут одежду! Хорошо тебе тащиться по улице в грязном комбинезоне — никакая машина не могла бы заляпать больше.

Три босоногие девушки поочередно с визгом наткнулись на меня. Я обернулся. Что они прячут, накрывшись размокшими газетами? Прическу? С ума сойти! Одна кудряшка болтается на глазах, другая прилипла к уху — черт те что…

И тут я увидел Году. Она стояла на противоположной стороне улицы, разглядывая витрину газетного киоска. По ней нельзя было сказать,

что она промокла или куда-то спешит. Воротник плаща поднят, но она в любую погоду ходит так. Это ее стиль. Волосы, по обыкновению, ничем не прикрыты, руки в карманах плаща. Она выглядела чертовски элегантно в простом темном плаще и резиновых сапожках.



Года как бы не замечала дождя, может быть, даже радовалась ему. Я глядел на нее, и у меня как-то сладко заныло под ложечкой — будто с горы несешься.

— Года! — окликнул я. Но она не услышала, потому что голос у меня вдруг осип, язык пристал к нёбу.

Тогда я побежал к ней, как будто она вдруг могла куда-то исчезнуть.

Года увидела меня, когда я был совсем рядом. Ее глаза широко-широко раскрылись. Ну чего говорить, потому что… Словом, я тут же на улице поцеловал ее, и, кажется, не один раз.

Мы взялись за руки под дождем и шли домой. Потом она сказала:

— Так бывает, когда у людей нет дома.

— А мы идем домой, — констатировал я факт.

— Да. Когда есть дом, так не бывает, — снова как бы про себя сказала Года.

— При чем тут дом?! Я ужасно соскучился по тебе. И этот дождь…

— Дождь изумительный. Ты видишь, какой он нежный, неприхотливый. Он согласен служить фоном для всех красок и только поэтому вбирает в себя капельку зелени, синевы и… — Она долго колебалась. — Да и багрянца тоже, — решила наконец. — Смотри, от него начинают виться волосы.

Она говорила, говорила, и мне уже достаточно было одной ее веры в то, что я почувствую эту

красоту.

По дороге я хватился перчатки, и мы вернулись ее искать. Прошли чуть ли не весь квартал, пока я не вспомнил, что сам же отдал ее Балису (надо было зашить лопнувшую ладонь). Года удивленно посмотрела на меня и стала смеяться.

Как она смеется, не поймешь. Но именно так должны смеяться люди. Ее смех, точно этот дождь, струится прямо в сердце. Мягко, легко и как бы все-все смывает. Смеялся и я. У меня было такое чувство, будто с лица отваливается корка грязи, а на душе становится легко и ясно.

Мы вернулись домой такими близкими, но, помнится, больше в тот день не целовались, не обнимались, словно боясь, что это будет уже лишним.

...Приехала моя мать — впервые. Мы с Годой ходили ее встречать. На перроне я неловко поцеловал маму. Года ограничилась простым рукопожатием. Первый вечер коротали с грехом пополам.

Назавтра Года с мамой отправились по магазинам. Вернулись после обеда, усталые, но оживленные, разговорчивые. Уложив маму, Года пошла в кухню готовить полдник. Она только что приняла душ, и влажные пряди волос прилипали

к разрумянившимся щекам. Спросила, поел ли я. Они-то с мамой побывали в кафе (мама — в кафе!) и даже пили розовый ликер — из роз.

— Что, что? Из роз? — до меня не вдруг дошло.

— Представь себе, из настоящих роз! — сказала Года и рассмеялась.

— Где это вы нашли такое питье?

— Есть, оказывается. Пахнет самой настоящей розой. — Она дохнула мне в лицо живыми розами и опять засмеялась.

Все время, что мать гостила у нас, Года была весела, мила. По вечерам они долго болтали, закрывшись в кухне. Иногда я слышал, как они там хихикают, точно две девчонки. На меня почти не обращали внимания, и я по-своему ревновал. Говорят, мужчины ревнуют даже в тех случаях, когда жена отдает слишком много внимания новорожденному. Жуткое дело!

Когда мы, проводив маму, возвращались по вечернему городу с вокзала, Года негромко сказала:

— Мне кажется, что это приезжала моя мать. Ты, наверно, не слишком много знаешь о своей маме, так что послушай. Твоя мама — прекрасный человек… — Так говорят чужим о ком-то, кого они не знают. — Ты все время боялся, что она

будет для меня обузой. Не так-то просто опекать незнакомого человека. Но ты, ее сын, не сумел это сделать, — и мне стыдно за тебя… Что она может подумать? Завел себе сыночек жену, а маму и знать не хочет. Очень мило, что я у тебя на первом месте, только не мне должно принадлежать это место. Не дуйся, я уже кончила.

Поскольку я молчал, она смягчилась и, вздохнув, добавила уже не так сурово:

— Ну что ж, по-разному бывает. Каждый занимает то место, которое способен занять. Мама, безусловно, не виновата, что так получилось. А как нуждается она в тепле! Мы пили розовый ликер за здоровье друг друга, можно умереть от смеху, и клялись друг другу в вечной дружбе, если б только не хотелось плакать…

Это было несколько неожиданно, но я по-прежнему молчал.

— А почему она приехала одна? Ты что, даже не пригласил отца?

— Где бы мы их положили?

— Ты мог переночевать у Балиса.

— Да, безусловно.

Я не стал объяснять, что это совсем не отец, а мой дядя. Все равно, конечно, мог пригласить…

Года уже не корила меня. Видно, мое молчание

смягчило ее.

— Неловкая она, — немного погодя сказала Года. — С ней никак не разминешься в квартире. Удивительно много места умудряется занять своим на вид совсем небольшим телом. Только почему так мало места отведено ей в мире твоих чувств… Ты никогда не рассказывал о маме.

— А что рассказывать? Мама совсем простая.

— Она скромная. Но понять ее не так-то просто. Наверно, она и любит по-своему. Тебя она любит. Но сколько страха в ее любви! Может, она боится быть навязчивой?

— Наверно, потому что она мне не мать, — сказал я, задумавшись, и опомнился только оттого, что Года охнула.

— То есть мать, но не родная, — принялся я сбивчиво объяснять, видя, как белеют Годины губы. — Ничего страшного, — добавил я, — моя мать умерла, когда я был еще маленьким…

Вот так сказанул — «ничего страшного»…

Отец был сельским учителем. Спустя четыре года после смерти матери он женился на моей няне, уже немолодой и невзрачной девушке. Женился, видимо, потому, что я упорно звал ее мамой. Впоследствии отцовские сестры пустили слух, что нянька нарочно приучила меня так ее

называть, чтобы отец на ней женился. Правда это или нет — не знаю. Может, она и научила меня этому слову, которого не только ни от кого не слыхала, но и сама никому не говорила, так как была круглой сиротой и беднячкой. Только я верю, что если и сделала это, то без всякого умысла: она никогда не хитрила.

Отец прожил недолго. Мне было лет восемь, когда мы с мамой остались одни. Неграмотная, без специальности, она считала своим долгом заботиться о том, чтобы я с детства ни в чем не нуждался. Вскоре мы переехали к дяде, старшему брату отца, чудаковатому старому холостяку, который — подумать только — через год женился на моей маме — няне.

Так благодаря мне она дважды вышла замуж.

Все это я, как умел, рассказал Годе.

— Ты меня извини, — тихо сказала она, — но это какая-то фантастика. Кажется, я что-то ляпнула при ней. Что она… Нет, что ты непохож на нее. О! Наверное, она догадалась, что я ничего не знаю.

— Ну и хорошо. Ведь она в самом деле мама. Другой я себе и не представляю, — сказал я.

Больше мы к той теме не возвращались. Но это недоразумение нас только сблизило. Будучи замкнутой сама, Года ценит эту черту и в других.

Хотя ее обижало, что я так долго был не до конца откровенен с ней, но, мне кажется, я несколько вырос в ее глазах.

— Передай привет маме, — говорит она, когда я пишу домой. Раньше она всегда подчеркивала — «своей маме».

Вот и похоронили Юстаса.

Все проходило так четко, словно и умер он только для того, чтобы мы могли проявить свои организаторские способности. Ребята деловито бегали, улаживая то одно, то другое и подгоняя друг друга.

От Стасе не требовалось даже пальцем о палец ударить, но она тоже кидалась то туда, то сюда, стараясь чем-нибудь помочь. И повсюду таскала за собой Мидаса. Она не говорила о покойном — видно, боялась, что мы и так слишком много знаем об их совместной жизни. Ребята не сомневались, что Стасе была истинной виновницей смерти Юстаса — как повисла у него на шее, так ему и жить надоело. Всем было не по себе от этого. Вероятно, Стасе и сама не могла отделаться от этой мысли, потому и водила Мидаса как живое доказательство того, что не ради себя вцепилась в Юстаса мертвой хваткой.

У нас не было времени предаваться скорби, мы

только бегали, шныряли, сновали, а Юстас лежал такой умиротворенный. Ни тени раздражения. Словно добился своего и навеки успокоился.

Проходя на цыпочках мимо гроба, мы поглядывали на Юстаса, казалось, лишь для того, чтобы убедиться: да, он здесь, лежит — и спешили занять себя каким-либо новым делом. Женам тоже нашлась работа. Рита взялась кормить Мидаса. Можно было подумать, что она старается напичкать мальчугана едой не только на сегодня, но и впрок, на всю дальнейшую жизнь, которая будет для него уже не такой сытой.

День был долгий и суматошный — весь в бессмысленной суетне и беготне. И столько преувеличенной серьезности на лицах, и сосредоточенности, и этого проклятого рвения, услужливости. Я ненавидел себя. И других. Только Юстас убежал от этого всего, и ничего напускного, деланного не было в его спокойствии. И еще Года. (Да, она тоже не притворялась). На ней было светлое платье, она говорила нормальным голосом и не боялась улыбнуться. Отругала Стасе за то, что держит Мидаса возле гроба, травмирует его, объясняя такие вещи, которые ребенку знать еще рано.

Вечером мы увели мальчика к себе. Я был со-

вершенно без сил. Сидя в углу, я молча смотрел на Году. Она покормила, умыла ребенка и уложила в постель. Я уже не спрашивал себя, где она всему этому училась. Я сидел и думал, что я счастлив. Думал о том, что Юстас никогда не знал и уже не узнает этого чувства. Он только злился, глядя, как бедная хромоножка суетится вокруг Мидаса, этого маленького, пухлого существа, которое стало замком его домашней тюрьмы. Я даже попытался вообразить, что было бы со мной, доведись мне делить ложе со Стасе.

Когда Года наконец подошла ко мне и обняла за голову, я заплакал. Плакал навзрыд, не стесняясь слез, а Года ничего не говорила, только гладила меня руками.

Потом, гораздо позже, когда мы уже были в постели, я сказал:

— Извини меня, ради бога, что я так раскис. Сам не знаю, что со мной.

Ночь была теплая. Года, заложив руки под голову, смотрела в окно. Ее слова, медленные, обдуманные, так и врезались в мое сознание.

— Знаешь, многие говорили сегодня, будто Юстасу нельзя простить того, что он так рисковал, не думая о сыне. Чудаки! Как будто у человека нет даже этого крохотного права — рисковать.

Разве можно на детей смотреть как на ловушку. Ловушку, чтобы поймать мужа, ловушку, чтобы привязать человека к жизни. Потом эти умники стали мне твердить, чтобы я не боялась за тебя. Они решили, что теперь я не позволю тебе ездить. Рита уже в три ручья оплакивала своего Робертаса. Правда, никто ее не утешал, не уговаривал, — Года недобро усмехнулась. — А знаешь почему? Потому что за Робертаса они спокойны. Он бы никогда не подчинился жене. А ты — да. Ты ведь подчинился бы?

— Да... — прошептал я и почувствовал, как у меня захолонуло сердце. — Но ты же не будешь просить меня об этом?

— Конечно, нет, — ответила она и надолго замолчала.

Я встал и, распахнув дверь балкона, закурил.

— Посмотри, хорошо ли укрыт мальчик, — сказала Года тоном многоопытной матери, которая вырастила не одного ребенка и всегда знает, кому из них чего недостает.

Я укрыл Мидаса. Он лежал, такой маленький, с влажным чубчиком, и уже сирота. Стасе будет безумно баловать его — это единственная радость, которую она силой вырвала у жизни. Никогда уже не прильнет мальчик к своему кра-

савцу отцу, не посидит горделиво на его плечах, цепляясь за жесткие вихры темных волос. А подрастет и станет заглядываться на мотоциклы, хвастаться отцовской спортивной славой, и голова его будет набита всякой чепухой об отце. Ему никогда не знать всей правды. Этой правды Стасе ему не скажет. И мы не скажем.

Года, видимо, думала о том же, потому что, когда я лег, сказала:

— Я не хочу, чтобы ты был другим. Стасе любила Юстаса такого, каким он был, а теперь не хочет этого понимать. Ведь то, что его жизнь оборвалась так рано и трагически, было предопределено его собственным характером, темпераментом… Разве ты можешь представить Юстаса старым? Ну как Балиса или Робертаса? Я так и вижу преждевременно состарившееся лицо Робертаса. Ведь он безбородый. Ты не заметил? Да и всю жизнь он будет лезть вон из кожи, стремясь доказать, что он настоящий мужчина. Будет все настойчивее распространяться о своих подвигах, о женщинах, и чем меньше будет этих подвигов, тем больше будет он трепать языком. Превратится в старца, чью старость никто не уважает. Я могу нарисовать тебе и других… Но Юстаса я не вижу стариком.

Да, он был молод и таким останется. Со своей непонятной злостью, ожесточением и еще более непонятной добротой. Как будто решил во что бы то ни стало остаться молодым. А мы состаримся…

А мы состаримся?

— Люди упорно стараются изменить своих близких, — говорила Года, — как будто любят в них другого, вымышленного человека, созданного их воображением. Но это ведь неверность, измена, самообман и черт знает что еще. Надо дать человеку быть самим собой. Это его самое главное и великое право. В первую очередь право тех, кого мы любим. И даже умереть им надо позволить так, как они того хотят. Кто знает, может, Юстас, пускай неосознанно, искал смерти… Вечный риск, которым он вас всех гипнотизировал, — это было не что иное, как стремление геройски умереть. Он добился своего. Старым я его не вижу, — повторила Года.

— А меня… Меня ты видишь старым?

Года молчала. Может, она пыталась увидеть мое старое лицо? Мне стало не по себе, и снова захолонуло сердце.

— Можешь не говорить, — прошептал я. — Я и сам знаю, что буду стариком. Большим, нику-

дышным старикашкой.

Но голос выдал меня: я не видел того, о чем говорил.

Я уснул, обнимая Году обеими руками, но у меня было такое чувство, будто лежу на краю бездны и боюсь обернуться.

ГОДА

Новогодняя ночь.

Никак не могу поверить, что это и есть та грань, за которой начинается новый, действительно новый год. Праздничное настроение кажется мне каким-то деланным, неестественным, дешевым.

Для меня новый год начинается в апреле, когда сходит снег и на вишнях набухают первые почки. Начало! Великое начало.

Кустики крыжовника вдруг вспыхивают, точно зеленые ракеты, и первые пчелы вылетают за первым медом.

Я накидываю на плечи что-нибудь легкое, светлое и ухожу. Отправляюсь за город. Я останавливаюсь у небольших домиков, заглядываю через заборы в сады: проверяю, все ли так, как было тогда, когда годы не пробегали, а п р и б а в л я л и с ь. Когда я радовалась первому портфелю, первым туфлям на высоких каблуках, первой записке с признанием в любви. Я иду, ищу. Печаль, заполнившая меня, такая праздничная. Карнавальная веселость не праздник. Большие торжественные праздники всегда настраивают на серьезный и грустный лад.

И еще… В этот день я пеку небольшой, скромный пирог — в память о том пироге, который всегда пекла мне мама.

Пирог огромный, сдобный, на ста желтках, и пирог из черной гречневой муки. Пирог, который ела вся семья за большим круглым столом, и пирог, который мы ели вдвоем с мамой, когда кусок не лез в сжимавшееся горло. Все это мне. За то, что я родилась на свет, вынесла все, что было суждено (и смерть мамы тоже), и теперь отмечаю свои полные грусти и воспоминаний праздники.

Теперь мой пирог с неизменным аппетитом уминает Алдас. Кроме того символического куска, который я кладу себе. У меня снова есть кого угощать своим пирогом. Это не так уж мало, когда кто-то садится за накрытый белой скатертью стол и хвалит твой скромный именинный пирог.

А сегодня тридцать первое декабря. Чтобы никому не портить праздничное настроение, я согласилась встречать Новый год в мотоклубе.

Алдас, тихонько напевая, почистил обувь и принялся перед зеркалом завязывать новый галстук. А я, не желая отставать, надела вечернее платье, явно чересчур легкое для этого времени года (да еще и для мотоклуба), но зато такое торжественное! И, уже захваченная женским

азартом, спрыснула голову лаком для волос, нацепила браслет на руку и покрасила ногти в перламутровый цвет.

Чтобы не мять одежду, мы, стоя, выпили на кухне чаю. Холодно, а до клуба надо было идти пешком.

Алдас придирчиво осмотрел меня.

— Да, — пробормотал он, — и что ты там будешь делать…

Делала я то же, что и все: танцевала, пила шампанское, разговаривала со Стасе.

Стасе теперь всегда приглашают как полноправного члена команды. Она привела Мидаса. Мальчик подрос и стал уже не таким милым: знает себе цену. Сколько вреда приносят все эти неразумные дяди, движимые благими намерениями… И не можешь ничем помочь. Машина тронулась и будет катиться, катиться, пока не наскочит на что-то большое, жесткое и твердое.

— Пусть привыкает, — говорят все, — ведь он мужчина! Ты ведь мужчина, Мидас?

И Мидас подтверждает:

— Мужчина.

А когда ты будешь ребенком, Мидас? Когда?

Хочется схватить его в охапку и бежать, бежать туда, где свежий ветер, где нет клубов дыма и бла-

гими намерениями не убивают самое хорошее, что есть на свете.

А Стасе ждет не дождется того времени, когда можно будет стирать его замасленную робу, отпаивать клюквенным квасом с похмелья и драить затоптанный друзьями пол. Тогда ей будет казаться, что мечта Юстаса сбылась.

А о чем мечтал Юстас?

Разве он желал своему сыну только того, что сам имел? Почему же тогда ему опостылела радость бытия? Почему он гнал сломя голову, а потом, такой умиротворенный, лежал под пальмами?

— Мидас, — окликнула я и поняла, что не знаю, о чем его спросить. О чем могла я спросить Мидаса, который еще не мужчина и уже не мальчик?

Алдас пригласил меня танцевать, и я передала Мидаса на попечение другим. Они знали, о чем спросить:

— Кем ты будешь, Мидас?

— Мотоциклистом.

— Ну и дурища эта Стасе, — мрачно сказал Алдас. — Так из мальчишки не только мотоциклист не выйдет, но и…

Алдас впервые говорил так грубо. Он выпил и был не в духе. Последнее время у него что-то не ладится с друзьями. Он еще не может поверить

этому, но стоит ему очутиться в их среде, как становится сам не свой.

— Двинем отсюда, — предложил он вдруг.

— Куда?

— А хоть домой…

«А хоть…» Нет. Если так, то нет.

— Домой всегда успеется, — беспечно сказала я. Только потом подумала, что зря.

Я пригласила Робертаса. Одно удовольствие танцевать с ним. Правда, тараторит как заведенный. На третьем танце пытался уже соблазнить меня.

Потанцевала еще и с Касисом. Этот даже двух слов не выдавил, только сильно кружил меня то в одну, то в другую сторону. Ростом Касис ниже меня, а все-таки мужественности, в лучшем смысле этого слова, у него хоть отбавляй.

Когда я вернулась к Алдасу, он был уже в изрядном подпитии.

— Ну, мы идем? — спросил он снова.

— Ладно. Протрезвись.

Я так и не поняла: обиделся он или обрадовался, что может остаться.

Потом Алдас исчез. Прошел добрый час, я нигде его не видела. Наконец он мне попался в вестибюле, рядом с окошком кассы. Алдас стоял, обняв

одной рукой какого-то незнакомого парня, а в другой держал бутылку пива. Даже костяшки пальцев побелели, так он ее сжимал.

Я подошла и взяла его за локоть.

— Вот где ты! Пошли танцевать.

— Отойди, девушка, — сказал парень. — У нас мужской разговор. Впереди еще вся ночь — натанцуетесь.

— Извините, — сказала я и отпустила руку Алдаса. Он вдруг стал удаляться, как лодка, которую толкнули от берега. Я отошла, и Алдас не двинулся за мной.

Тогда я оделась и пошла домой.

На улице меня догнал Касис. Предложил подвезти. На мотоцикле!

Я села сзади, и мы помчались. Леденящий ветер рвал нас в клочья, а Касис гнал как шальной. Я прижалась к его спине, обхватила занемевшими руками. Куртка на груди Касиса была распахнута, но он, должно быть, не замечал холода. Когда мы подъехали к дому, я увидела, что он даже без перчаток.

Я предложила Касису зайти согреться, и он тут же согласился.

Уже на лестнице я вспомнила, что у меня нет ключа: он остался дома, в другой сумочке. Мы

остановились у радиатора на лестничной площадке.

Касис не вызвался съездить к Алдасу за ключом, и я поняла: он не поверил мне. Решил, что я просто почла за благо не пускать его к себе.

Сбросив туфельку, я приставила ногу к радиатору. Долго не чувствовала тепла, потом сразу стало горячо. Но внутри я была еще вся заледенелая. Касис молчал.

Так мы с ним и стояли. Несколько человек, спускаясь с верхних этажей, прошли мимо: видимо, приняли нас за бездомных влюбленных.

Касис усмехнулся:

— Завтра всем соседям будет известно, что ты обманываешь мужа.

— Так уж водится: чего сам о себе не знаешь — спроси у соседей…

— Ты не боишься?

— Нет.

Тогда он обнял меня и поцеловал в губы. Я была до того удивлена, что только и могла сказать:

— Это что еще…

— Значит, не пустишь к себе? — осведомился Касис.

— Я же сказала, что нет ключа.

А будь у меня ключ — пустила бы? Я усмех-

нулась.

— Не сердись, за проезд причитается…

Причитается так причитается. Я и не сердилась. Касис уехал, а я осталась одна на лестничной площадке. Во мне засел такой холод, перетерпеть который лучше всего было здесь, на лестнице, где валялись конфетные обертки, окурки сигарет и еще — словно не умещавшийся в квартирах мусор — обрывки смеха и песен. Я стояла на лестнице, с волосами, блестящими от лака, с нарядным браслетом на руке, и чувствовала, как зябко мне в эту праздничную ночь. Все потому, что я не умею и, наверное, никогда уже не буду уметь радоваться в установленные дни. Общие празднества как общие купания — есть в них что-то нечистое. Надо не забывать хотя бы те грустные праздники, которых никто не примет, не поймет, не замарает дурацкими своими застольными песнями, нежеланными поцелуями, неискренней, принужденной радостью.

Соседка, провожавшая родственников, увидела меня и пригласила к себе. Я зашла, но все никак не могла согреться.

— Ох, уж эти мужчины, мужчины… — повздыхала хозяйка и дала мне чаю.

Она ни о чем не спрашивала, зато сама при-

нялась рассказывать, как эти мужчины умеют испортить праздник.

Когда я выпила свой чай, мне сообщили, что в нашем окне зажегся свет. Я поблагодарила и ушла.

Дверь квартиры была распахнута настежь. Алдас сидел в пальто, навалившись на стол.

— Ради бога, не злись, — сказала я. — Мне вовсе не хотелось тебе мешать. И как это я забыла ключ…

— Ерунда… — выговорил он, с трудом разжав губы.

Я помогла ему раздеться, приготовила постель.

— Ложись. Скоро утро.

— А ты?

— И я.

Я не испытывала ни злости, ни раздражения. Я пыталась понять, что происходит с Алдасом. Может, этот общий праздник и для него уже не праздник больше? Может, его гнетет ощущение утраты, и он не умеет, не знает, как с этим справиться?

У меня было такое чувство, будто я обокрала Алдаса. Так уж повелось, что, отнимая у него, я и сама не приобретаю, и ему не возмещаю потери. Это как закон нашей совместной жизни: мы

ничего друг другу не можем подарить. У каждого будут только те праздники, которые он сумеет сохранить. Свои праздники.

Алдас быстро заснул. Его щеки пылали от мороза и вина. Я смотрела на него и думала, что не люблю его такого, но в то же время это ужасно несправедливо, просто жестоко. То же самое, что отвернуться от Мидаса.

Я погасила свет. Занимался первый день года. Песни уже затихли, и, должно быть, от этой тишины белый иней на деревьях был каким-то праздничным. Я смотрела долго-долго… Мне хотелось разбудить Алдаса и сказать: «Смотри! Все есть…» И дать ему праздник в руки, как потерянную игрушку.

Но я не стала его будить.

АЛДАС

Я почти не рассчитывал до отъезда помириться с Годой. Вот уже чуть не две недели мы проходим друг мимо друга, словно чужие. Просто диву даешься, как она умудряется не замечать меня. Уходит, приходит… Прибирает. Но как все это делается! Будто она за тысячу верст отсюда. Меня же в упор не видит.

И я: ухожу, прихожу… Благодарю за завтрак, за мыло, которое она купила, заметив, что старый кусочек уже кончается. Все же чему-то учишься, живя под одной крышей.

Странное дело, правда, никогда мы так много не просиживали дома, как теперь, в эти невеселые дни. После работы или с тренировки я тороплюсь домой. Издали высматриваю наше окно — дома ли она. Да, дома. Я перевожу дух и уже не спеша поднимаюсь по лестнице, отпираю дверь, вежливо здороваюсь. Первые минуты я, пожалуй, счастлив. Мне достаточно того, что она дома. Но Года, убрав со стола, забивается в уголок тахты — и нет ее. За весь вечер от нее даже слова не услышишь: молча пишет, читает или сидит, подолгу уставясь в одну точку, так что не по себе

становится.

Теперь, когда я вижу, что она будет сидеть так весь вечер, мне уже хочется куда-нибудь сходить, но я не решаюсь. Мы как бы продиктовали друг другу условия игры, и очень важно, кто первый сдастся. Я начинаю думать, что отныне мы, видимо, так и будем жить, пока, в конце концов, один из нас не выдержит и скажет — давай разойдемся.

Нет!

Это буду не я! У меня хватит выдержки. Мне даже нравятся эти молчаливые, грустные вечера, когда мы с Годой чем-то похожи друг на друга.

Но вот с ужасающей быстротой приближается тот день, когда я должен уехать. Что же будет?

Даже если она все вечера так и просидит в одиночестве на тахте, все равно случится то, чего я боюсь. Время работает не на меня.

Я никогда не чувствую особенной уверенности, находясь вдали от Годы. Порой мне кажется, будто меня нет, я исчез, стал ненужным даже самому себе. Пока я хожу рядом, пока грею ее ладони, пью с ней из одного стакана, до тех пор я чувствую, что нужен ей. Если это и не так, то, во всяком случае, она чувствует, как нужна мне. Это связывает нас. Но как только я уеду… Черт

возьми, не могу спокойно об этом думать.

Помириться? Но как? Ведь виновата во всем она. Проще простого, когда сам виноват… Хуже всего было бы сказать сейчас, что я не обижаюсь. В таком случае я ничтожество, у которого нет даже чувства собственного достоинства. А она чувствует себя обиженной. Обижена тем, что сама же и сказала обо мне.

Так и сидим в одной комнате. Молчим. Я изо всех сил удерживаюсь от того, чтобы громко не вздохнуть. Грудь словно стальным обручем сдавило. Кажется, набрал бы воздуха… Но быть смешным… Нет!

А она дышит легко и тихо. Как это у нее получается? Краем глаза начинаю следить за ней, постепенно до того увлекаясь этим, что забываю обо всем, а грудь все еще стиснута стальным обручем, и я вдруг судорожно зеваю во весь рот.

Года смотрит на меня, откладывает блокнот.

— Что ты скучаешь? Сходил бы куда-нибудь… — говорит она.

— Я не скучаю.

— Ты мне мешаешь.

— Извини, — тихо говорю я.

Нехотя натягиваю свитер. Года опять не замечает меня.

Засунув руки по локоть в карманы брюк, я кружу по площади и втихомолку ругаю сам себя. Уж лучше было несколько раз вздохнуть поглубже…

Прихожу домой — Годы нет. С бешено бьющимся сердцем включаю свет. Никого!

Это нечестно!

Выгнала меня на улицу, чтобы я первым ушел из дома, а затем уже и она…

Сделав круг по комнате и чувствуя, что не могу больше, хлопаю дверью и устремляюсь вниз по лестнице.

На одном из маршей вижу Году. Она медленно поднимается по ступеням.

— Куда ты ходила? — задыхаясь, кричу я.

Она удивленно смотрит на меня.

— За хлебом.

Верно. У нее в сетке кусочек хлеба.

— Мог бы и я…

Во мне все сжимается от невыразимой жалости. И оттого, что у Годы такой усталый вид и что в сетке так мало хлеба. Я выхватываю у нее сетку, и мы вместе подымаемся к себе. Я включаю свет. Он горит совсем п о - и н о м у. Хотя мы молчим, и грудь снова сжимает тот же обруч.

И Года уже не та. Что-то в ней растаяло. На кухне, готовя кофе, ни разу не сказала, чтобы

не путался у нее под ногами, хотя я только это и делаю. А когда стал резать хлеб, даже предупредила:

— Много не режь — сохнет.

Я опять почувствовал себя обездоленным, но в то же время и обрадовался. Совсем недавно я мог бы нарезать целый каравай — Года и глазом бы не моргнула.

Когда я попросил еще кофе, она снова сказала:

— Что с тобой, ведь это какао.

— Да, извини… — пробормотал я, стараясь не показать свою радость.

Мы говорили! Пускай какую-то ерунду, но все-таки… Я боялся неосторожным словом сорвать только-только завязавшийся разговор.

— Послезавтра я уезжаю…

— Ты хочешь помириться, Алдас, — Года печально улыбнулась. — Разумеется, тебе веселей, когда не гнетут посторонние мысли.

Я молчал. Как может она быть такой несправедливой? Где находит такие слова, которые ранят больнее всего? И почему я никогда не нахожу, что сказать в ответ?

Да. Я хочу помириться до отъезда. Можно подумать, что я могу это сделать после того, как уеду…

Раз уж начал, надо идти дальше. И я говорю, что не обижаюсь за то… ну, что она там написала на меня тогда, что я… Она тут же перебивает мой сбивчивый монолог и говорит, что писала не на меня, хоть те слова и были о б о м н е. И я, дескать, не имею права обижаться, потому что это мысли без адреса. Но раз уж они есть, то не все ли равно, в какой форме их выражать? Нас бы многое обидело, если бы мы знали мысли друг друга.

— Нет, Года. Я даже мысленно тебя никогда бы не обидел.

— Приятно слышать.

Года сказала это таким тоном, что я сразу понял: решила во что бы то ни стало одержать верх.

— Остается лишь выяснить, чья это заслуга: то ли ты настолько чист, то ли я не даю повода дурным мыслям? И еще… — Она подняла палец: — Ты не понял самого главного: не полагается читать все, что тебе хотелось бы прочесть…

Больше я ничего не слышал… Все, что я случайно прочел в открытой тетради, ожило со жгучей болью. Те слова о моих письмах… «Люблю, целую, не грусти…» Боже, как много вкладывал я в эти несколько слов.

Я чувствовал, что какой-то ком подкатывает к горлу, душит меня. Я не мог высказать свои

чувства. Как собака… И я обрадовался, что нашел хоть такие слова.

— Я как собака. Не умею красиво говорить о том, что чувствую. Пойми меня. Я собака, которая умеет только любить, быть верной и преданной до последней мысли…

Видимо, я не вовремя перебил ее, потому что Года замолчала. Постояла немного, о чем-то думая, потом надела плащ и сказала:

— Ну что ж. Обычно собак выводят на прогулку. Пошли.

Я чувствовал себя разбитым, измученным после этой — не сказать, чтобы очень бурной — сцены. Сделал попытку улыбнуться и заметил, что губы у меня спекшиеся, как от жара.

— Я должен сейчас повилять хвостом.

Нам и впрямь надо было покинуть дом. Когда мы по старой привычке пили яблочный сок из одного стакана, я почувствовал, что сжигавший меня жар уходит, уступая место странному разочарованию. Мы помирились, ничего не выиграв. Только бессмысленно себя измучили и безвозвратно утратили что-то. Этот придуманный нами невинный ритуал общего стакана не приносил уже прежней радости. А ведь раньше он соответствовал поцелую.

Краем глаза я поглядел на Году. Что заставляет ее пить из одной посуды с собакой?

В сумраке раннего утра я поцеловал Году. Может, лучше было уехать не помирившись? Тогда я, по крайней мере, мог бы надеяться, что помиримся, когда вернусь, и все будет, как раньше. Теперь же я знал, что н и к о г д а не будет, как раньше.

Самолет взлетел над городом. Где-то в этом муравейнике была Года. Я понял, как мало значит для меня все прочее. Все прочее, вместе взятое.

Был жутко тяжелый день. На трассе пришлось дважды ремонтировать машину. Обедать вернулись все измученные. Ели молча, и каждый думал: за каким дьяволом понесло нас в это болото, как будто нельзя найти другое место, где можно сломать голову.

Перед соревнованиями мы не пьем. Поэтому вечером скучали, слонялись из угла в угол, злые, раздражительные.

В комнате нас жило трое: Кястас, Балис и я. Мы с Кястасом были уже в постели, когда ввалился пьяный Балис. Кястас обычно этого терпеть не мог, но тут промолчал. Может, не хотел связываться с Балисом, а может, самому тоже хотелось выпить.

— И тебе принес. — Балис вынул из кармана бутылку красного.

Кястас отвернулся, и Балис пристал ко мне.



— На! — Он совал мне под нос захватанную руками бутылку. — Пей, раз дают.

Не дождавшись ответа, начал сам прихлебывать из горлышка. У меня и без того было погано на душе, поэтому я не мог скрыть отвращения. Встал с кровати и подошел к окну. Закурил. Тогда Балис снова подсел к Кястасу и принялся всячески поносить меня.

— Нет, ты погляди на этого паиньку, — он показал на меня бутылкой, — какой примерный!.. Что делают эти бабы... Был человек, и нету. Он уже колбасы другой не ест — только сервелат. А режет-то, режет как! Тоньше бумаги. Тьфу! — Он плюнул в мою сторону.

К моему величайшему удивлению, Кястас не только не одернул его, но сел, взял у Балиса бутылку, обтер ладонью и, посмотрев на свет, сделал несколько добрых глотков. Затем снова передал Балису.

Во мне все кипело. Молчание Кястаса уязвило меня больше, чем пьяная болтовня Балиса. Как будто Кястас чужими устами высказал, что он думает обо мне.

— Ему из дому ехать, так баба белые трусы на него напяливает. Он потом носится с ними, как девка со своей невинностью. А кто зад нежит, от

того рекордов не жди. Он может только… — Балис издал губами некий определенный звук и понес уже что-то совершенно несусветное.

А Кястас все молчал. Это и вывело меня из себя.

— Заткнись! — рявкнул я, когда Балис давно уже перешел все границы.

— Я прямо в глаза тебе… — не унимался он. — Мне наплевать, что у тебя кружевные панталоны. Я мужик, а не баба. И если ты…

Войдя в раж, он продолжал выкладывать, кто я такой и что он, Балис, обо мне думает. Я повернулся, чтобы выйти из комнаты, и в ту же самую минуту Балис размахнулся и запустил в меня бутылкой. Я успел пригнуться. Бутылка трахнулась об стену и разлетелась вдребезги, залив меня вином.

Я ушел, и никто меня не окликнул.

Я быстро шагал по улицам. С погасшей сигаретой в зубах и в забрызганной вином рубашке, я, должно быть, являл собой странное зрелище, но никто не обращал на меня внимания. От этого было и вовсе жутко.

Обычно, если что-то не так, я думаю о Годе. Эти мысли, особенно когда я вдали от нее, приносят мне утешение… Но сейчас я старался не думать

и о ней. Одиночество вдруг навалилось на меня с такой силой, что даже в ушах звенело.

Почему-то я вспомнил Лютауараса. Он долго ездил с нами. А в прошлом году ушел. Ушел, как мне тогда показалось, ни с того ни с сего… Теперь я припомнил все, что ему пришлось вытерпеть у нас.

Большинство наших ребят — рабочие. Только мы с Юстасом инженеры, а Кястас — преподаватель физкультуры. Но нельзя сказать, чтобы мы так уж отличались от остальных. Юстас был даже особенно популярен за свою лихость. Один Лютаурас числился у нас в команде «аристократом»: отец — доцент, мать — известная художница. Лютаурас их единственный сын. Живут они шикарно, ни в чем не отказывали сыну. Все считали, что мотоспорт — каприз Лютауараса. И ушел он из команды как-то легко. Даже я тогда подумал, что так ему и надо…

Не нравился он мне. А почему? Много неприятных слов пришлось ему выслушать, и не помню, чтобы я хоть раз за него вступился. Я не обижал Лютауараса и думал, что этого достаточно. Только узнав, что он уходит, я разозлился и отпустил в его адрес какое-то ругательство. Причем разозлился вовсе не потому, что мне было жаль расстаться

с ним, а лишь потому, что Лютаурас ушел перед важными соревнованиями.

В тот день мы бросили его шлем на землю и все по очереди проехали по нему. Согласно старой традиции Лютаурас должен был остаться, если бы шлем уцелел. Но он лопнул, как тухлое яйцо. Ни один из нас не проехал мимо. Может быть, потому, что шлем был слишком яркого цвета — у нас в то время таких еще не было.

Неужто мы могли быть такими детьми, такими злыми детьми…

А Лютаурас — красивый, простоволосый — боком сидел на своем «коне» и наблюдал эту картину. Мы уехали, ни разу не обернувшись. Как будто это он нас, а не мы его оскорбляли изо дня в день. Я говорю — «мы», потому что теперь на собственной шкуре убедился: молчание — знак согласия.

Чтобы не думать об этом, я зашел на почту и попытался написать письмо Годе. Это оказалось не так просто после того, что я прочел в ее блокноте. Я уже не мог найти слова, которые были бы только моими. Мне требовалось открыться, выговориться и в то же время ни за что не хотелось, чтобы она чувствовала жалость ко мне. Так ничего я и не написал, только испачкался фиоле-

товыми чернилами и вышел на ту же улицу еще более подавленным.

Я вернулся в свой номер уже под утро. Меня встретил густой храп.

Назавтра дал телеграмму Годе. Из ее писем не поймешь, как она там живет, что делает и, наконец, здорова ли. Был случай, когда я прилетел на самолете, решив, что она при смерти.

Да. Информации в ее письмах не ищи: ни о погоде, ни что ела да где была. Никогда не напишет и что соскучилась… Я с трудом привыкал к ее письмам, но потом в них проступила такая цельная, открытая дружба, такая незащищенность, что я стал читать ее письма по многу раз и находить в них все, что мне нужно. Эти письма сблизили нас, пожалуй, больше, чем жизнь под одним кровом. Хотя часто я так и не могу дождаться, когда же Года напишет мне.

Теперь, послав телеграмму, я снова буду ждать письма. Может, в этот раз она и не напишет, не это важно. Если есть хоть какая-то надежда, я готов ждать, как ждут сообщения о… Хотел сказать — о выигрыше в спортлото. Но это слишком дешевое сравнение. Я и сам не знаю, какое сравнение тут уместно. Чего я могу ждать больше, чем ее письма? Только и остается сказать, что

письма от Годы я всегда жду, как письма от Годы. Лучшего сравнения не придумаешь.

Удача отвернулась от меня. Голова распухла от всяких мыслей. Но тем, что больше всего меня волнует, я не могу поделиться с друзьями. Так какие же тогда они мне друзья?

Года.

Я почти физически ощущаю на себе ее испытующий взгляд. Почему я тут же ухожу в себя и пытаюсь отделаться какими-то шуточками? Я всегда боялся обнаженности. Так уж я устроен. Стесняюсь того, что я именно такой, а не более сложный, интересный, несчастный. И когда она издалека бросает мне свое искреннее письмо, я с благодарностью хватаюсь за него и хочу лишь одного — соответствовать.

ГОДА

Написала стихотворение. Посвятила Алдасу, потом сожгла. Сейчас уже не могла бы повторить его, только знаю — стихи были настоящие. Они не будут проданы и замараны равнодушием. Так что Алдас получил от меня подарок, который не сможет его порадовать. Такова уж наша семейная традиция. А я счастлива, хоть и не доставила радости ни ему, ни кому-либо другому. Нашла лишь способ обмануть себя. Но я так давно не испытывала радости дарения.

О Алдас! Я делаю только то, что мне приятно, пишу о том, что меня волнует. Но ведь это самый верный залог того, что я с тобой по доброй воле и своему собственному желанию. Только этого хочу я и от тебя.

Вчера получила телеграмму. Всего четыре слова. Я прочла в ней то, чего ты не написал даже в самом длинном из своих писем. Ты стал бояться слов. Однажды они уже предали тебя. Меня слова предают каждый день. Это мы сделали их предателями. Но будем надеяться, что когда-нибудь они снова станут такими, какими родились. Слова — это мы. Это тот наш облик, который мы

дарим друг другу. Мы сами виноваты, если дарим ненастоящее. О, как должны мы дорожить этим обликом, дающим такую чудесную возможность общения.

Слова. Мне не хватает их. Алдасу же понадобилось всего четыре. Эти четыре слова доказали мне, что слов всегда достаточно, если есть что сказать. Многословием прикрывают пустоту. Он открылся мне весь в этом послании из четырех слов.

А я не могу ему написать. Не хочу мучить Алдаса своими бессвязными письмами. Мне и самой не верится в то, что я пишу. Все, что пытаюсь выразить, мгновенно уменьшается, подергивается пеплом, теряет свою прелесть и привлекательность. Это надо уничтожить. Право существовать имеет только то, что настоящее.

Я ходила в город. Просто так, без всякой цели. У меня отпуск, и я целыми днями сижу дома. Иногда выбираюсь побродить по улицам. После этого всякий раз приятно вернуться к себе и спрятаться. Встать под душ и смыть с себя пыль, зной и сумятицу лета, чтобы опять свободно кануть в свое одиночество.

Я не скучаю по природе. Во всяком случае, по той, какую могу видеть, то есть в постоянном

контакте с людьми. Мне бы хотелось побывать там, где не ступала нога человека. Где вечность природы столь очевидна, что мороз по коже дерет и мгновение твоей жизни теряет какую бы то ни было индивидуальность. Но этого я не могу себе позволить за короткий отпуск.

Мне не так уж тесно в нашей комнатке. Я приучила себя сосредоточиваться и размышлять здесь. Сегодня украсила ее большой головой цветущего подсолнуха. Словно само лето у меня в гостях, и я охотно прощаю растению эту маленькую нескромность — желание походить на солнце… Мы прекрасно уживаемся с моим подсолнухом. Его лучи приятны. Они не изнуряют, они ласкают и сулят вечно безоблачное небо.

Впрочем, я никогда не гналась за этим. Солнечные дни принимаю как редкий дар, а серые ношу как платье. Я покоюсь в их серости, не чувствуя течения времени. Серый день не так строго делится на утро, полдень и вечер, поэтому он кажется цельнее, дольше.

Но мое маленькое солнце не знает этого: оно щедро бьет прямо в глаза и золотит зрачки, которые видят все теперь в золотистом свете.

В свете бытия.

Свете мгновенного бытия.

Это дань Алдасу. Он страстно любит солнечные дни. В самую жарищу, обливаясь потом, чумазый от пыли, он просто счастлив. Солнце как бы проникает в его тело через все поры и творит в нем то равновесие и соразмерность, которых нет во мне. Нельзя не любоваться его загорелым, бронзовым телом; только волосы белеют да крохотный шрам над левой бровью, по-своему красят его.

Алдас. Опять Алдас.

Я тоскую по нему, даже зная, что вместе нам будет трудней.

Может быть, потому, что он отважно продолжает быть самим собой. А может, потому, что никогда не любил себя так, как привыкли себя любить мы, короли чувств. Знаю одно: мне нужен он. Он, и никто другой. С той минуты, как принес мне мороженое…

…В вагоне было почти пусто. Только где-то на полдороге ввалилась шумливая ватага спортсменов. На какой-то станции одного из них отправили за мороженым. Проходя мимо меня, он протянул трубочку эскимо.

— Я подумал, и вам захочется, — сказал он просто.

Это был Алдас. Алдас, который с первого дня и до сих пор старается предупредить и исполнить

любое мое желание, и с самой первой минуты ему не везло: эскимо я никогда не любила. И все-таки я его жена. Смешно — получить жену за порцию мороженого.

В свое время он дарил мне громадные букеты пышных осенних георгинов — ему казалось, что такому крупному мужчине не пристало носить мелкие цветочки. Эти гигантские георгины через каких-нибудь полчаса были уже похожи на мокрую курицу. Он никогда не заметит серебристого букетика ландышей, чей запах, сильный и чистый, как соловьиная трель, встречает уже в дверях. Не видит и перламутровую ветку сирени, вместе с которой приходит в комнату живительная прохлада тишины. Для него, как для младенца, существуют только два-три самых ярких цвета.

Но сегодня в нашей комнате царит этот гигантский золотистый подсолнух. И мне не хватает Алдаса с его младенческой несложностью и бескорыстием.

Возьму и напишу Алдасу письмо, как полагается жене: с приветом, вопросительными знаками, с несколькими нежными упреками — просто так, лишь бы доказать, какая я женски чуткая и мнительная. «Береги себя, дорогой», — так должно

заканчиваться письмо, которого он ждет.

И еще долго будет ждать…

Я никогда не сумею написать и двух слов, которые были бы нужны людям. Ни письма, ни стихотворения — ничего. Что проку в моих стараниях анализировать тончайшие движения человеческих чувств, если я утратила первозданную простоту и теперь уже никому ничего не могу дать. И как еще мне приходит в голову языческая мысль, что люди должны приблизиться ко мне, когда я стыжусь простых слов, предназначенных мужу, и не могу поэтому написать ему человеческое письмо.

Но и отложить свою шариковую ручку тоже не могу — тогда бы я осталась совсем одна.

«Милая Подсолнушка,
дай напишу тебе что-нибудь о тебе самой…

Тебе уже под тридцать — листья говорят об усталости, но желание быть солнцем помогает тебе светить с утра до вечера. Только, познав счастье материнства, ты утратишь это невинное кокетство, — не жалея, расстанешься со своим золотым венком. Бросишь в черную землю свое семя, чтобы оно проросло множеством новых

солнц. Я понимаю тебя.

Мне тоже скоро тридцать, но я выгляжу еще очень молодо. Только постоянная, не нужная никому серьезность делает меня старше. На мне нет золотого венка, и, даже став матерью, я буду все такой же, разве только чуточку строже.

Не потому ли, что я совсем не умею светить другим? А может, потому, что не желаю ни на кого походить? Будь это возможно, я бы тоже охотно вырядилась в твое пышное убранство. Но земля взрастила меня иной.

Живи рядом. Украшай мое жилище своими нереальными желаниями. Ты прекрасна. С каждым днем я все сильнее верю, что ты солнце. Ты светишь мне и согреваешь мой день даже больше, чем оно, вечное солнце. Ты отдаешь всю мгновенную жизнь, а оно лишь мгновение своей вечности».

Я не люблю часы, терпеть не могу их тиканье. В ночной тишине оно сводит меня с ума.

Люди практично и удобно отсчитывают время, но не проявили никакой фантазии, загнав его в тупоумный плоский циферблат. И даже вечность, которая дает по секундам выклевывать себя этому прозаическому приспособлению, теряет свое величие. Когда мы родились на свет, язык

условных знаков зашел уже так далеко, что нам не довелось продемонстрировать собственную фантазию. К тому же первыми всегда говорят свое слово люди практичные, фантазерам, как правило, не хватает настойчивости, чтобы воплотить в жизнь свои прожекты.

На правах хозяйки я выставила этот счетчик времени хотя бы из собственной комнаты. Тишина здесь цельная — не разбитая на часы, не раздробленная на секунды… Только наше ритмичное дыхание говорит: мы живем, и время сейчас принадлежит нам.

У меня есть наручные часы Алдаса. Обычно они лежат в ящике стола. Но вчера вечером, перед тем как лечь, я достала их и надела на руку. Не как счетчик времени, а как бывшую собственность Алдаса. Они для меня то же, что для других обручальное кольцо.

Кольца у меня нет. Не помню, что на меня тогда нашло, только я отказалась от него. Кольцо ведь тоже условный знак, то и дело обозначающий лишь неволю. Но, должно быть, оно нужно людям. Мы же часто выражаем свои чувства при посредстве вещей. Вот и мне понадобилась т а в е щ ь, которую Алдас держал в своих руках, а в одно прекрасное утро, отправляясь на соревнова-

ния, надел мне на руку и сказал: «Пусть они будут с тобой, пока я не вернусь».

Тогда мы официально еще не были мужем и женой. А после, когда поженились, я сама попросила, чтобы вместо кольца он подарил мне что-нибудь такое, что было всегда при нем. Но у него ничего не было. И так получилось, что мне достался этот счетчик времени, мелкий воришка наших дней, бесстрастный и глупый.

Кончиками пальцев потрогала я потертый от старости кожаный ремешок, который ни за что не позволила бы сменить. Не нужна мне вечность золота, когда мы сами такие временные. Для свидетельства нашей любви и верности сгодится и этот несовершенный символ. Даже он долговечней нас. Часы, которые никогда не заводишь, нужны лишь для того, чтобы, когда нападет тоска, чувствовать на своем запястье эту самую дорогую на свете привязь.

Так и лежали мы прошлой ночью, я и мои молчащие часы, связанные обшарпанной полоской кожи. Тишина была такая, что можно было слышать удары сердца. Я устала прислушиваться и, чтобы заглушить их, дала чуточку пожить часам. Они затикали — послушно и надоедливо. Но я предусмотрительно завела их всего на два

оборота, поэтому, когда проснулась ночью, часы молчали. Я посмотрела на призрачный циферблат — стрелки застыли, словно раскинутые руки. Я смотрела и не могла понять, в котором часу они умерли…

И вдруг мне стало страшно: а что, если в эту минуту Алдас лежит где-нибудь, так же раскинув руки…

Я хорошо помнила, что часы завела не до конца, но обращаться к здравому смыслу в эту ночную пору было бесполезно. Я встала, нашла сигареты Алдаса и вышла на балкон. Снаружи было не так страшно. Самое страшное всегда внутри.

Потом я завела часы и до самого утра слушала, как они клюют ненужную мне ночь.

Как без всякой причины не люблю я одни вещи, точно так же неизвестно почему питаю слабость к другим. Ключи. Они всегда привлекательны для глаз и манят тайной.

У меня чудесная связка ключей. Их три, и все от нашей квартиры, хотя головки разные. Сделано по заказу в ювелирной мастерской. Это моя маленькая выдумка. Я могу носить их как брелок на поясе или на руке. Надетые на позолоченную цепочку, они приятно позванивают. Я часто ухожу из дому, не взяв ничего, кроме этой узкой

цепочки на запястье.

Мои ключи имеют форму старинной боевой секиры и алебарды. Только один — для Алдаса, — с козлиной головкой. Мне казалось, что оружие не слишком-то подходит Алдасу. И в самом деле козлик ему понравился.

Когда я открыла своей «секирой» дверь, в голове у меня было так пусто, что я даже удивилась, очутившись в собственной комнате. Задернула шторы, чтобы солнце не накаляло мой угол, бросила платье на спинку стула и залезла под холодный душ. Стояла, пока не продрогла. Потом надела купальный халат, обвязала полотенцем мокрую голову. И все время никак не могла понять, что меня тревожит. У меня было такое ощущение, будто в комнате кто-то есть. Оно было столь явственным, что я нагнулась и заглянула под тахту.

Только выйдя в прихожую, чтобы расчесать волосы перед зеркалом, и включив свет, я увидела на столике оранжевый шлем Алдаса.

Я огляделась. Вещей не видно. Где же его чемодан, снаряжение? Наконец, где он сам? Под зеркалом — в нашем условленном месте — никакой записки.

Почему он вернулся? (Если, вернулся, конеч-

но.)

Я взяла в руки шлем, но его гладкая поверхность ничего не сказала мне. Я положила шлем обратно.

И тут он заговорил.

Я еще раз приподняла шлем и снова опустила на столик.

Так и есть: звук был совсем не тот, что прежде, когда я стирала с него пыль или просто поддавала его ногой.

Можно было даже не смотреть, но я посмотрела: шлем был с трещиной.

Я держала его в руках, ничего не понимая, и как бы издалека донесся голос Алдаса: «Если этот и треснет, то вместе с головой».

Была ли под шлемом голова, когда он треснул?

Как он оказался здесь?

Очень просто: кто-нибудь из товарищей пришел, открыл дверь ключом Алдаса и оставил шлем.

Но почему нет записки?

Очень просто — они не знали, как написать. Обычно т а к о е сообщают устно.

Обо всем этом я думала спокойно и все-таки в глубине души не верила, что это могло случиться. Алдас, который неизменно уезжал и

возвращался, однажды не вернется. О д н а ж д ы не вернулся Юстас. Но то, что Юстас не вернулся, было понятно. Бывает, что человек гонит сломя голову. Но Алдас!

Нет, этого я никак не могу понять. Это невозможно!

А почему?

Это решило бы сразу все проблемы. Все, что разделяло нас, рухнет в пропасть, а то, что связывало, можно положить в ящик стола — к дорогим реликвиям.

Я снова беру в руки шлем и сажусь на столик. Одни и те же мысли вертятся в голове. Я уже не могу пожаловаться, что их слишком много или они слишком сложные. Они совсем простые. И боль, которую я способна так быстро ощутить, не приходит! Вместо этого пустота, и неверие, и еще какое-то логичное осмысление всего того, что раньше я никак не могла осмыслить.

Его не будет. Только не так, как сегодня. Его не будет с о в с е м.

«А меня ты видишь старым?»

Нет. Старым я не вижу тебя.

А себя вижу. Вдруг увидала. И такой старой, такой одинокой и никем не любимой.

Капли воды падают с моих волос на шлем,

растекаются по его оранжевой поверхности. Я вытираю их ладонью.

Я ведь могла не пустить его на эти соревнования.

Чепуха! Я не могла его не пустить…

И опять никаких мыслей, только стук капель по шлему.

А может, сесть на первый поезд и уехать, чтобы не видеть его д р у г и м?

Но я не одета. Поэтому я не двигаюсь с места и жду чего-то, что еще более тяжким камнем придавит мои плечи.

Я все искала выход. Вот и выход! Не останется ничего, что мучило, разделяло, обижало. Как в хорошо выстроенной пьесе.

Впрочем, в любом произведении неразрешимые проблемы всегда решаются именно так, одним махом. Примеров сколько угодно.

Они принадлежали к разным классам и любили друг друга. Но, поскольку в те времена классовая проблема была неразрешимой, она покончила с собой, он остался несчастен на всю жизнь.

Они принадлежали к разным нациям. Шла война. Во время войны национальная проблема так остра… Он погиб. Она осталась верна его памяти.

Наконец, они были разными по развитию.

(Какая проблема!) Ну, автор дает пожить им несколько лет, пока не угаснет последняя искра страсти. Когда никакой реалист уже не поверит, что еще может реять тень бывшей романтики, она умирает от родов.

Но ведь все люди разные.

В с е!

...Она была непризнанной поэтессой, он — неплохим мотогонщиком. Они любили друг друга. Но не настолько, чтобы жизнь не нашла бреши, которую можно долбить и расширять. Он не понимал ее стихи, а она — его машину... Потом...

...Утром ее тело нашли на асфальте, под их балконом. Должно быть, она пыталась от кого-то или чего-то спастись (вполне возможно, от собственных галлюцинаций, поскольку всегда была немного не в себе). Как бы там ни было, она не собиралась покончить самоубийством, потому что на голове у нее был оранжевый шлем.

О, этот шлем! Ничего он не может больше — только треснуть пополам.

Оказывается, я легко принимаю неизбежное, хоть и с трудом верю во что-нибудь реальное. Даже сейчас, проливая слезы, я все равно не могла поверить в то, что так отчетливо рисовало мое

воображение. Правда, я не касалась еще целых областей: жалела только себя. Я упорно жала на тормоза: не надо, не надо. Когда так много реальных возможностей, не надо давать волю воображению. Не надо. Теперь наступила очередь говорить фактам.

«…лично я своей головой доволен…»

«…для мотоциклиста она достаточно тверда…»

Я слишком хорошо помню все наши разговоры.

Нет, не верю никаким присяжным психологам и знатокам душевных драм.

Что бы делал такой знаток с этим шлемом?

Банально! — сказал бы он. Разбитый шлем в руках героини чересчур явно подсказывает финал. Слишком прямолинейно. К тому же героиня голая, то есть в мокром халате на голом теле. Тут можно усмотреть потакание дешевому вкусу публики. Она должна быть в темном строгом платье. Прошли времена экстравагантных одежд и причесок. Убеждает лишь самое простое…

И верно, как я приму т а к о е, кутаясь в неприлично распахивающийся халат? Надо надеть простое платье, не обязательно темное.

Я встаю.

Зачем?

А! Да… Надеть простое платье. Не обязательно темное…

Но меня так и тянет примерить шлем, и я надеваю его на голову. Вот так! Оказывается, шлем идет к моим гладким темным волосам. Жаль, что он вряд ли будет держаться на голове.

Да… Платье…

Но я не двигаюсь с места, потому что слышу, как в двери поворачивается ключ. Мелькает мысль, что не стоит выслушивать все это, что, может, лучше выброситься с балкона, и конец. Но опять вспоминаю — я не одета.

Так и застает меня Алдас перед зеркалом с этим несчастным шлемом на голове.

Нет, я не бросаюсь обнимать его, как восставшего из мертвых. Я только спрашиваю:

— Как умудрился ты расколоть эту кастрюлю?

— Мы переехали ее, — говорит Алдас, целуя мой мокрый лоб.

— Разнообразите свои игры?

— Да. — Алдас не смотрит на меня. — По старой традиции.

— Ты не рассказывал, что у вас есть традиции.

— Это скорее жребий: если шлем уцелел, команда имеет право удержать его владельца. Но он треснул с первого же наезда…

Бедный! Бедный Алдас. Они не хотели удержать его даже перед такими важными соревнованиями.

Я смотрю, как Алдас подходит к стене и вешает треснувший шлем на почетное место, чтобы всю дальнейшую жизнь он свидетельствовал о спортивной молодости его владельца. Чертовски много весит этот шлем. Наши весы ужасно скособочились. Я молчу.

Я давно уже перетянула свою чашу весов. То, чем увлекался Алдас, принято называть модным словечком «хобби». Но теперь Алдаса изгнали. Вернее, он сам себя героически подверг изгнанию, и в мгновение ока все переменилось. Этот шлем, упав на весы, подбросил мою чашу под самый потолок. Теперь я должна бросить на нее что-то очень весомое, способное уравнять нас. И, по-моему, я могу это сделать.

Но сегодня лишь первый день, и я не тороплюсь. Я достаточно долго простояла с этим шлемом на голове. Несколько мыслей, которые родились под его треснувшим куполом, дали мне кое-что на будущее.

А Алдас все еще на ничьей земле. Он ранен, но шаг за шагом переходит на мою сторону. Я хотела бы ему помочь. Но нет. По-

дожду. Он должен прийти сам.

Перевод *АВТОРА.*

Саулюс Шальтянис
ДУОКИШКИС





Саулюс Шальтянис родился в 1945 г. в г. Утене. Учился в Вильнюсском универ-

ситете, работал на киностудии. Публикуется с 1961 года. Автор пьес, киносценариев; за сценарий кинофильма «Геркус Мантас» удостоен Республиканской премии (1973), а также премии Комсомола Литвы — за театральные произведения на молодежную тему (1978). Часто пишет о детстве, и мир в его повестях и рассказах подчас предстает через восприятие подростка.

На русском языке издана книга повестей «Ореховый хлеб» («Молодая гвардия», М., 1979).

ХЛЕБ

Мы не все еще испытали и потому глупы, мало еще перестреляли и перерезали себе подобных… Корни деревьев в земле переплетаются и сосут, сосут живительные соки, — слава богу, не из наших, а из чужих костей… Слава богу, в дуокишкской пекарне еще пекут формовой хлеб — корка отстает, а мякоть сырая. По буханке на человека, а кто еще ребятишек с собой приведет — своих или чужих, — то и дитя за человека посчитают…

В магазин еще никого не впускали, но добрая весть уже пролетела: Раполас Пульмонас хоть и во хмелю, а поехал в пекарню и вот-вот привезет хлеб. Очередь сразу же оживилась, пришла в движение, разбухла, облипая детьми, стариками.

А Раполасу Пульмонасу вроде бы холодно с чего-то, вроде и грустно — стоит он в дверях пекарни без дела и скучает. Хлеб уже погрузили в фургон — в его обитый жестью кузов, а ключ от него у Пульмонаса в кармане; в пекарне адская жарища, а его дочка, в мужских засученных штанах, плачет возле жужжащей печи, он смотрит на облепленный тестом ее зад и говорит:

— Эка беда, что выпил малость…

Ладно, говорит, ладно, надевает на глаза немецкие очки — не то для мотоциклиста, не то для летчика, — делает еще один глоток из фляжки, затыкает ее бумажной пробкой и уж вовсе не знает, с чего это ему так муторно на душе: то ли от дочерних слез, то ли от ее облепленных тестом штанов… Остается только надеть кожаный летный шлем. И очки, и этот шлем — немецкие, и лошадь, видать, тоже: корка хлеба валяется у нее под ногами, а она, гадина, ни глазом, ни мордой не поведет.

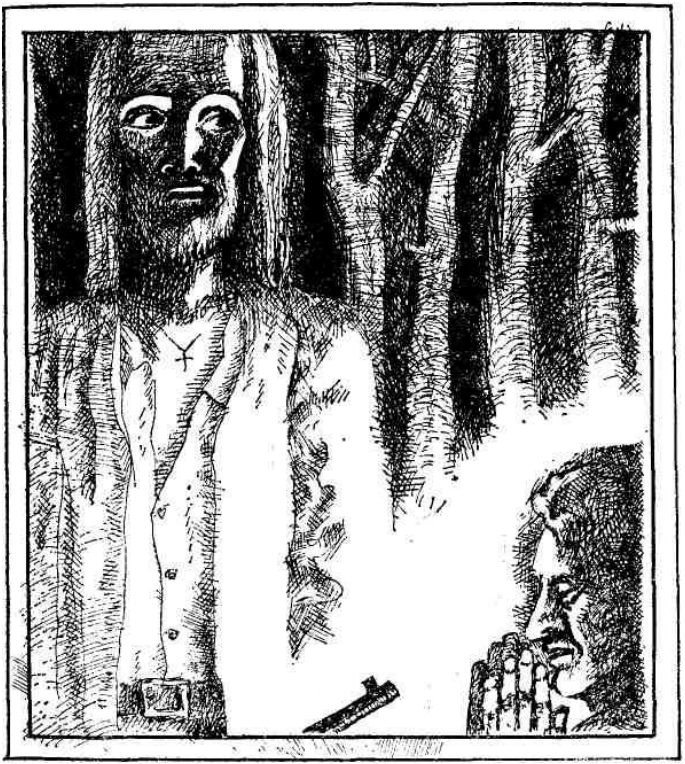
Раполас Пульмонас залезает на козлы, перетягивает лошаденку кнутом и собирается крикнуть смачно этак, как всегда, прищелкнув языком: ну, падла! — ибо и кожаный шлем, и грозные очки, закрывающие чуть ли не половину его красного одутловатого лица, сквозь мутные стекла которых он будет оглядывать с высоты хлебного фургона своих толпящихся в очереди сограждан, доставляют ему немалое удовольствие… То-то же, то-то же, Раполас Пульмонас это уж нынче не тот былой Раполюкас, и в люди-то вышел он благодаря вот этой самой лошаденке, этому шлему и этим очкам.

— Ну, падла, вперед! — стегает Раполас Пульмонас кобылку кнутом, но радости никакой при

этом не испытывает… А пекарня, можно сказать, далеко за городом, и до магазина покуда доберешься через весь Дуокишкис, поди, и совсем уж стемнеет. У дороги жестяная доска с обозначением местечка: «Дуокишкис». Ну да, Дуокишкис, Дуокишкис, будто не знаю, а что же еще тут может быть написано, хоть сквозь мутные стекла очков и разобрать-то ничего нельзя… Ладно уж, ладно, бормочет Раполас Пульмонас, взбалтывает флягу отдающего хлебом самогона, высасывает из нее все остатки до капли и, понурив голову, продолжает свой путь. Правда, ничего не скажешь — на душе вроде бы полегчало, и мозги отогрелись, зашевелились, только вот лошадиный круп ему чего-то все с широким дочерним задом сливается…

А как заснул, как проснулся, Раполас Пульмонас так и не вспомнит, только чует какую-то соленую влагу на лице, раскрывает глаза и видит: лежит на земле он, а о лошади и хлебном фургоне — ни слуха ни духа, и кто-то все фонариком ему глаза слепит. Хочет подняться, но сверху чья-то тяжелая рука прижимает его к земле, и он остается лежать на дороге — снимает очки, протирает рукавом стекла, вытирает лицо. Человек в белой рубашке, высокий — быть может, снизу он ка-

жется Раполасу Пульмонасу еще выше, чем на самом деле, — с белокурыми до плеч волосами, с вьющейся бороденкой, со впалыми щеками, приветливо смотрит сверху на Раполаса Пульмонаса прищуренными глазами, и от темных теней его лицо кажется еще больше заостренным, скорбным и таким красивым, что и сказать нельзя, — совсем как на алтаре в дуокишкском костеле.



— Иисусе! — вырывается у Раполаса Пульмонаса из уст, и он сам же пугается своей мысли и пытается разобраться, что к чему: если б совсем пьяный был, другое дело… иной раз бывало и не

столько выпивал, а тут ни фургона, ни хлеба, ни единого огонька вокруг, только лес да камни кругом, и этот вот человек, вроде бы с алтаря слез… Стало быть, лучше уж не рыпаться чересчур и лежать, коли ему это нравится.

— Не стану спорить, я человек темный, — робко, издалека начал Раполас Пульмонас. — Может, я и вовсе ослеп, но ежели вы в самом деле Иисус, то где же тогда моя лошаденка?

А тот чего-то усмехнулся, повертел головой и презрительно бросил:

— Я и есть Иисус, а ты что, так наклюкался, что Иисуса от человека уже отличить не можешь?

— А то как же… — обрадовался Раполас Пульмонас. — И не сомневайтесь, я сразу же догадался, но пока разберешься…

Иисус засунул выбившуюся из штанов рубаху за пояс и левой рукой застегнул ширинку. И тут Раполас Пульмонас, облизнув губы, обиженно заметил:

— Иисусе, так зачем же вы меня обмочили?

— Разве? — вроде бы искренне удивился Иисус с красивым на редкость лицом. — Да я ведь тебя, алчущего, только напоить хотел, утолить твою жажду…

— Ничего себе напиточек!..

— А чем же тебя поить? — спросил Иисус. — Может, вином? А может, самогончиком?

— Виноват, — бормочет Раполас Пульмонас. — Гоню, признаюсь, комбинирую на пекарне и гоню… И дочка вот недовольна.

— Ладно уж, Пульмонас, ладно, — Иисус погладил кожаную голову Раполаса. — Казенное добро не грех красть. Это точно. И государству спокойнее, коли кто-нибудь да крадет.

— Вот я и дочери так говорю, — вздохнул Раполас Пульмонас и уже совсем похрабрел: — Господи Иисусе, ежели вы и есть настоящий Иисус…

— А ты все еще сомневаешься?

— Верю, верю, — горячо воскликнул Пульмонас. — Так только, на всякий случай… чтобы еще крепче уверовать… Я многого не прошу…

— Так чего же ты хочешь?.. Говори, говори побыстрей, — Иисус потянулся и огляделся по сторонам, погасив свой фонарик.

— Ах, господи Иисусе, вам это ровно ничего не стоит… Ну, скажем, если я два-три мешочка в пекарне скомбинирую, а вы, так сказать, недостачу, господи Иисусе, покроете…

— Недурно, недурно задумано, — повертел головой Иисус и начал с чего-то злиться, и его голос стал повышаться и загудел как в костеле: — Не-

дурно, гады, недурно задумали… Скомбинируете себе за счет казны житуху, а я вам чудеса еще должен свершать?.. Ладно, ладно уж, Пульмонас, Иисус добрый, Иисус еще и не такие чудеса свершит!..

И он растворился во тьме.

Раполас Пульмонас хочет подняться, но вдруг он опять слышит откуда-то из-за спины голос Иисуса:

— Стой на коленях, Пульмонас, стой, я скажу, когда сможешь встать.

И Пульмонас стоит, стоит, пока у него не затекают ноги, и он поднимается.

— А, на кой мне дались эти твои чудеса, лишь бы лошадь найти…

И он направляется в ту сторону, куда убежал Иисус, потихоньку зовя:

— Кузя… Кузя… Кузюк, куда ты девался?..

И на губах опять этот отвратительный соленый привкус, и снова начинает жечь нанесенная обида:

— Напоил, стало быть!.. Так что из того, что ты Иисус Христос, а я только Раполас Пульмонас… Разве можно этак потешаться над простым рабочим человеком? И дураком я был, что попросил его помочь, еще, чего доброго, проговорится кому,

хоть и не со злым умыслом, нынче такие времена, что… угу-гу!

Оказалось, что шел он правильно, лесочек вот и кончился, и тут же через несколько шагов Раполас Пульмонас наткнулся на хлебный фургон:

— Такие нынче времена… такие времена…

Пощупал лошаденку, взобрался на козлы; чуть приподнявшись, увидел справа редкие огоньки Дуокишкиса и совсем расстроился: еще такой кусок дороги до хлебного магазина. И, как бы подбадривая себя, он нарочно громко и четко произносит, обращаясь к темному осеннему небу, черной стене леса, мигающим огонькам Дуокишкиса и к тому неясному, но все растущему чувству страха, который, растаяв в ночи, преследует теперь каждое его движение из прищуренных глаз на редкость красивого Иисуса:

— Такие-то, такие нынче времена… Ну, падла, вперед!

Однако хлебный фургон трещит и скрипит всеми своими суставами, кренясь на бок, лошадь рвется из упряжки, даже хрипит, а они едва продвигаются вперед, и когда добираются уже до дороги, у Пульмонаса самого пена на губах выступает. Снова он минует доску с наименованием местечка и благополучно спускается под гору.

— Вперед, падла! — орет Раполас Пульмонас, и его кнут сечет, словно и не спину лошади, а густую осеннюю тьму, пока колеса наконец не запрыгали по булыжной мостовой местечка.

— Пульмонас едет! — пробегает весть по толпе.

Магазин уже пора закрывать, но, может, все-таки будут еще продавать хлеб; может, его поздно выпекли — потому народ не расходится, а еще больше сжимается, чтобы ни одна живая душа не смогла втиснуться без очереди.

Пульмонас стегает и стегает кнутом, даже приподнялся на козлах, лошадь тяжело дышит, и Пульмонасу кажется, что кто-то нарочно тащит хлебный фургон назад, ухватившись за колеса.

— Кабы только доехать, кабы только доехать! — твердит он. — Сдать бы хлеб — и бегом домой!

Возле магазина он соскакивает с козел, бросается к лошади, а та уже валится на бок и больше не поднимается, и тогда вдруг Раполасу Пульмонасу приходит на ум страшная мысль — он поспешно отпирает кузов фургона, засовывает туда руку, принюхивается и не слышит запаха теплого, свежеиспеченного хлеба, ибо там, в кузове, и не хлеб вовсе, а камни лежат.

— Господи Иисусе, господи Иисусе, — стонет Раполас Пульмонас. — Так вот оно что делается-то,

господи боже!.. Ни лошади, ни хлеба!..

Конечно, Пульмонаса не забьют камнями, нет, но только Повилас Пернаравичюс, троюродный брат Раполаса Пульмонаса, арестует его со всеми камнями, запрет в кутузке, расследует, выяснит, разнюхает все до конца, до самой подноготной, и как заорет тогда, стукнув могучим своим кулаком по столу: «Я тебе не Повилюкас, а ты мне не Раполюкас… Позабудь про это!.. И никакого родства между нами нет, раз ты народный хлеб, можно сказать, из своих же рук классовому врагу скормил!»

И прежде чем выпустить, насует Раполасу Пульмонасу в карманы камней, сунет в руки плоский голыш и велит его грызть. И всплакнет тогда Раполас Пульмонас, недобрым словом поминая имя господа Иисуса, кровавыми слезами расплачется и поломает зубы свои о твердый камень…

РОЖДЕСТВО

— Рождества нынче не будет, — заявил директор гимназии Спельскис своим сыновьям и повернулся к ним спиной с выступающими острыми лопатками.

Старший сын Аугустас, хлопнув дверью, ушел с коньками на речушку Гелуону, а младший, Жигимантас, — в слезы: если рождества не будет, то не будет и елки, и белого молочного киселя, и красного клюквенного, и шлижиков с маком тоже не будет.

— Почему не будет?.. Нет, ты скажи, почему не будет? — Жигимантас дергает отца за рукав.

— Не будет, да и только, — отрубает Спельскис и сам же начинает злиться, потому что и ему холодно и пусто без рождественской елки и молочного киселя: — Не будет, потому что я меняю свои убеждения…

А дома и вправду холодно, печи чуть теплые, так как дрова кончились, да и не дрова теперь у Спельскиса на уме, и слезы сына только раздражают его и не дают собраться с мыслями.

На Дуокишкис падает, вихрясь, белый рождественский снег, и Спельскису кажется, что это

его убеждения и взгляды, вроде того мерзостного резинового пузыря, подпрыгивая, катятся по заснеженным полям… Сегодня утром какой-то страшного вида нищий в зловонных отрепьях схватил его сынишку Жигимантаса за руку, надул этот похабный пузырь и велел передать господину учителю, директору гимназии Спельскису.

Я знаю, кто ты такой, проходимец несчастный, я знаю, кому могла прийти в голову этакая мерзость, я знаю, кто вовлек в нее и моего глупышку… Передай он какую-нибудь угрозу или предупреждение, было бы не так обидно, как от подобного унижения его человеческого и учительского достоинства. Мысль об этом заставляла учителя дрожать и скрежетать зубами от негодования. Да и что он хотел этим сказать: что презирает меня, что плюет мне в лицо?.. А может, он желает, чтобы я перед ним объяснился?.. Иисус, говорит Спельскис, Иисус, этот проходимец по фамилии Григалюнас, мой бывший ученик, и, боже ты мой, еще трое учеников ушли в лес… Конечно, они не осмелятся меня убить — это было бы чересчур глупо, конечно же, они разумные ребята и поймут, отчего я публично отрекся от своих прежних убеждений, они и своих дружков предупредят, чтобы те по ошибке не усомнились…

Пузырь катится по полям, и Спельскис мысленно следит за ним: господи, я директор гимназии, этой проклятой гимназии, которая, выходит, готовит кадры для леса?.. Я один, как перст!.. Но где же ваша жена, господин Спельскис?.. Сбежала! Ушла к своим родителям на хутор кулака Греже, и все они сбежали с немцами… А я остался! Не велик подвиг, господин товарищ Спельскис, что остались, а может, вы тоже укладывали чемоданы, да не успели, так как слишком стремительно вошла в Дуокишкис Красная Армия?.. А кто, между прочим, брат вашей жены? Сотрудник редакции поганой фашистской газетенки!.. Так как же, позвольте спросить, я мог не поменять взглядов, если уже и Абрамчикас из отдела народного образования все разнюхивает и подкапывается под меня?.. Правда, мы в мрачные годы оккупации прятали и спасали русского пленного… Ха-ха, может, скажете, это родители вашей жены прятали Иванова? Нет! Нет! Это сделала товарищ Ангеле — тетка, как вы ее называете, дочь какой-то девки, которую Греже взяли на воспитание из приюта монастыря св. Казимира, — да и вовсе не на воспитание, а как бесплатную рабочую силу, деревенский пролетариат… Вот как, милейший Спельскис, можно все повернуть… Да, я

произнес речь на собрании Дуокишкского актива — правда, довольно-таки резкую, — но это уж моя характерная черта: когда говорю, прихожу в раж и несу все, что бог на душу положит, словом, произвожу впечатление полной искренности… И за это переодевшийся нищим мой бывший ученик может пугать моего сына и кидать мне в лицо эти похабные пузыри?! Правда, я, быть может, в пылу малость и переборщил на собрании актива, назвав моих бывших гимназистов выродками и палачами литовского народа, и, пожалуй, мне не следовало заканчивать свою речь такими словами: «Если враг не сдается, его уничтожают!» Но, в конце-то концов, это ведь не мои слова, я их только процитировал…

Спельскис скрестил на груди руки, у Жигимантаса успели уже высохнуть на глазах слезы, и оба они теперь глядят в окно на падающий снег.

Если выбросить из всей речи некоторые чуть-чуть сильные выражения, то все остальное — мыльный пузырь, не более! Сплошная фикция. А что, собственно, означает, такая фраза: борьба света и тьмы?.. Ничтожество, бессовестно наклеившее себе на лоб имя Христа, — ты, бывший гимназист Григалюнас, если хочешь, думай, что ты олицетворяешь свет!.. Да, впрочем, вот, еще

один неприятный момент: напрасно я помянул Даукантаса с его священными литовскими лесами, в которых, мол, теперь находит приют не добропорядочный литовец, а горстка отщепенцев, чье имя народ произносит с презрением…

Спельскис начинает потихоньку хихикать, вспоминая ошеломленного Абрамчикаса с разинутым ртом и гробовую тишину в зале.

И так я одним ударом тогда пресек какие бы то ни было подозрения, а главное, все это прозвучало искренне и страстно, вроде бы я Марат или Робеспьер… Таким образом, с этой стороны все в порядке, но вот с другой?.. Отчего же не прийти ко мне в дом с миром, коли шатаетесь по Дуокишкису, переодетый нищим? Я бы вам все объяснил, беснующийся Григалюнас, — ладно, ладно, буду называть вас Иисусом, если вам это нравится… Посмотри же мне в глаза и скажи по совести: да, это тот самый учитель Спельскис, который учил тебя любить родину, который придумал для вас никогда не существовавшего князя Куокиса, стремясь пробудить в ваших сердцах чувство патриотизма… Да, это я, тот самый учитель Спельскис!.. И не ты ли раскапывал пригорок в сосняке за городом и прибежал ко мне с мешком, полным костей, крича, что нашел останки выдуманного

мною князя Дуокиса? И не ты ли нарисовал и раскрасил бронзой карту Литвы от Балтийского до Черного моря со скачущим на коне витязем и сценами битв, которую я сохраняю по сей день, как дорогую реликвию, вместе с останками князя Дуокиса?.. Но где же, в самом деле, эта карта? Найду ее — и тут же, тут же оболью керосином и сожгу!

Так кто же, кто же, взывает про себя учитель Спельскис, кто, в сущности, вас воспитал и сподобил уйти в лес? Это я, ваш учитель, ваш верный друг детства и юности!

Спельскиса вдруг передернуло, словно кто-то мог подслушать этот его мысленный возглас. Послюнявив уголок носового платка, он вытирает им личико сына, а про себя жаждет — да, жаждет, презирая себя за это, чтобы Пернаравичюс со своими людьми как-нибудь пристрелил, прикончил бы этого Иисуса-Григалюнаса и других гимназистов… И чтобы это случилось неожиданно и быстро, сегодня же, в канун рождества, дома холодно и не пахнет никакой снедью — потому можно и в самый сочельник!

И Спельскис снова вздрагивает, увидев чем-то нагруженные сани, сворачивающие к нему во двор: какой-то подросток с винтовкой в руках

восседает наверху, а сам Пернаравичюс, в белом халате, вроде как у врача или продавца в магазине, и в таком же белом капюшоне, из-под которого поблескивает жестяная красная звездочка, ведет лошадь под уздцы… Простите, шепчет Спельскис Иисусу и всем гимназистам, что жаждал я вашей смерти. Они еще покидают мне в лицо этими тошнотворными пузырями!

— Господин учитель! — гремит под окнами голос Пернаравичюса. — Слыхал, мерзнете… дровишек подбросили!

Во дворе запела пила, Пернаравичюс со смаком пилит березовые дрова вместе с тем подростком, учитель, повязав шею шарфом, принимается колоть их, а Жигимантас и Аугустас относят их в дом, складывают за плитой, на припечке, чтоб быстрее просохли.

Затем во двор сворачивают еще одни сани, и с них соскакивает тетя Ангеле, воспитанница Греже, и ребятам становится от этого еще веселей. Она вносит бидончик с молоком, две буханки свежего хлеба и еще что-то в холщовых мешочках.

— С рождеством Христовым, тетя Ангеле! — кричит Пернаравичюс, откидывая свой белый капюшон. — Может, отогреться желаете?.. С Пернаравичюсом, ха, ха, ха!..

И он отгоняет подростка с винтовкой за плечом от пилы. Тетя сжимает еще теплую ручку пилы и тянет ее на себя, Пернаравичюс не уступает, хочет помучить тетю Ангеле.

— Ну, с меня уже хватит, — говорит Ангеле, достает из саней маленькую срубленную в лесу елочку и идет собирать кутью.

— Может, и нас, господин учитель, пригласите? — спрашивает Пернаравичюс. — Вроде бы заслужили!

— Охотно, — говорит Спельскис, — мы, знаете, и не думали праздновать, но раз уж так получилось…

На столе огромная миска белого молочного киселя, разукрашенного красной клубникой и лужицами сиропа. Подросток поставил свою винтовку между ног, шмыгая простуженно носом, — он без пальто, в одном пиджачке, перехваченном кушачком. Тетя выхватила у него винтовку и прислонила ее к стене, ибо что ж это за рождество с ружьем? Пернаравичюс, ни слова не говоря, выбил из бутылки пробку и разлил всем, кроме маленького Жигимантаса.

— Хорошую вы речугу толкнули, господин учитель… отличную и вполне ясную, — Пернаравичюс встал: — Либо за, либо против — и точка!..

А этого по случаю рождества можно попробовать...

Он чокнулся со Спельскисом, поглядел на тетю Ангеле, на ее белое, как из рождественского киселя, лицо, на белый воротничок, на высокую колышущуюся грудь, незаметно вздохнул и опрокинул рюмку.

А тетя, посидев немного, заторопилась домой, где ее дожидается Иванов, бывший военнопленный, а теперь — и неведомо кто, — может, и ему она соберет такую же кутью? Сын учителя Аугустас без шапки провожает ее по улице до самого поворота, бегом поспевая за санями.

— Может, проводить вас? — кричит Пернаравичюс, выйдя на улицу вместе с молчаливым и вызывающим чувство жалости подростком.

— Боже вас упаси, — кричит ему Ангеле в ответ, — а то еще начнете перестреливаться в лесу, я и совсем домой не попаду.

Пернаравичюс, что-то вспомнив, вернулся в дом.

Жигимантас продолжал еще уплетать кисель, а учитель засел в своей комнате за письменный стол, уставившись в окно и навалившись грудью на какую-то книгу в красном переплете.

— А вы все читаете? — осведомился Пернара-

вичюс. — Глаза только портите.

Спельскис вздрогнул и, словно провинившийся ученик, склонился над книгой:

— Углубляемся понемногу… «Дас Капитал» в оригинале…

И это производит на Пернаравичюса огромное впечатление. «Капитал» Маркса Спельскис нашел где-то в чулане гимназии и притащил домой.

— Не буду мешать, — говорит Пернаравичюс, засовывает руку себе куда-то глубоко под полушубок и пиджак и вытаскивает черный, блестящий пистолет.

— Хочу подарить… на всякий случай.

— Так вы думаете, что… что они и меня?..

— А чем вы лучше других?.. А действует эта игрушка вот так… — Пернаравичюс вышиб обойму, — тракшт, тракшт, — снова загнал патроны назад и положил пистолет подле «Дас Капитал» в оригинале.

ТЕТЯ АНГЕЛЕ И ИВАНОВ

Нет, и не снилось, наверное, Ванечке Иванову, что он когда-либо увидит Дуокишкис, — да и ничего тут удивительного нет, ведь живут же миллионы людей и умирают, не только не повидав, но ни разу и не произнеся этого благозвучного названия местечка — Дуокишкис.

Быть может, ему, говорю, снились медные самовары, а может, посиделки с лущением семечек, или курчавый Пушкин вместе с Лермонтовым, а может, он видел себя во сне где-нибудь на бескрайних просторах колхозных полей, в то время как вокруг Дуокишкиса колхозы только-только еще создавались. Да и почем знать, что снится людям там, где пробежала юность Йонялиса, то бишь Ивана Иванова… И случись ведь так, что началась война с немцами и Йонялис Иванов, подстреленный, попал к ним в плен. Чего только с ним не выделывали, и били нещадно, и голодом морили, а Иванов хоть бы что — жив, да и только! Мало того, погнали еще на голое поле в болоте канавы рыть — там он и спать ложится, там и встает на заре, ту же землю подстелет, той же накроется, но не сдается, и смерть все никак не

изловчится с размаху скосить его своей косой… Но вот проезжала мимо немецкая машина и завязла в грязи, и пришлось тогда Иванову вместе с другими выталкивать ее из трясины. Толкал, толкал, а за то, что не мог вытолкнуть, уложил немец Иванова и его дружков под колеса машины и выехал через их головы, руки и ноги, через ребра Иванова, да уж так оно получилось, что и тут он жив остался, раздавленный, смятый, на человека не похожий… Выкарабкался он ночью из этой грязищи, и сколько дней полз — сам не мог бы сказать, но все двигался, двигался, чтобы костлявой не дать замахнуться на него косой… И так он очутился на дуокишкской земле, на хуторе Пагреже, пятнадцатого октября очутился, это уж точно можно сказать, потому что пятнадцатого октября у учителя Спельскиса родился меньшой сын Жигимантас, и хозяева хутора Пагреже в тот день поехали в Дуокишкис навестить свою дочь роженицу и хоть одним глазком взглянуть на нового внука, а за домом и скотиной присматривать осталась их воспитанница Ангеле… Тот день тетя Ангеле запомнит до самых наимельчайших подробностей: что она тогда делала, что ела, как была одета, какая погода была, какой длины были ее волосы и сильно ли они лезли, — запомнит

потому, что после обеда она причесывалась перед зеркалом, запомнит и потому, что в тот день она впервые заметила, что бидончик с керосином протекает, ибо газета, в которую он был завернут, намокла… Бидончик она вынесла в прихожую, а газету бросит в плиту, и, когда вспыхнет пламя, она успеет разглядеть в газете фотографию, на которой изображены счастливые литовцы — молодые и бравые, вывезенные в Германию на работы, они играют на губных гармошках. «Хорошо поработав, хорошо и отдохнуть», — гласит подпись; и еще застрянет в памяти карикатура — страшенный еврей с пейсами и в длинном лапсердаке пляшет, хитро подмигивая… Что еще произошло пятнадцатого октября?.. Ах, да разве упомнишь, как, например, билось сердце, если оно было спокойным и здоровым, или как тебе дышалось… Если б не хватало воздуха, то, может быть, припомнила бы и свое дыхание… Так вот, бросила в огонь газету, глянула было в зеркало, а потом невзначай в окно и вдруг увидела: за окном возле баньки ползет не то скотина какая, не то человек; увидела, как существо это хватает кочан капусты и, не в силах с ним совладать, грызет его, лежа на животе. Конечно же, это человек, человек, сказала тогда тетя Ангеле, как

же не человек, если и лицо у него, и руки есть? Она спустилась с пригорка к речке Гелуоне, где капуста растет, а человек этот с лицом и руками так на нее посмотрел, что у нее от жалости даже ноги подкосились… И весь оборванный, босой, хотя уже и не лето, и лужи за ночь затягивает ледком, и лицо у него землистое какое-то, и голова вроде высохший торфяной ком… Подняла она этого человека вместе с капустой и отнесла на руках, словно дитя малое, в дом — вот так-то на руках тети Ангеле Иванов, по имени Иван, вошел в усадьбу хозяев Пагрежского хутора…

Выкупала, отмыла его Ангеле, всплакнув по поводу его необычайной худобы, и отнесла в сарай на сено, но потом передумала, положила в пустой голубятне над клетью… Там и пролежал Иванов все время немецкой оккупации, наблюдая через маленькое оконце за жизнью на хуторе, — и об этом ни слуха, ни духа не пошло, ибо сама тетя Ангеле, к великому удивлению хозяев Греже, зимой и летом спала там, и даже ела не за столом, а в клети, всем делясь поровну с Ивановым и, словно пес, охраняя его. Надумала она даже такое: привязала к руке Иванова веревку, а другой ее конец через дыру в потолке спустила к своей кровати — дернет, бывало, за веревку, когда

кто-нибудь подле клети вертится или внутрь войдет, и тогда Йонялис Иванов свой страшный, надрывный кашель упрячет в подушку… И впервые он вышел на солнце, когда русские начали стрелять совсем возле Дуокишкиса. Греже весь даже побагровел тогда и сказал:

— Так вон оно почему тебе так в клети понравилось… А о том, что петлю нам на шее могла затянуть, и не подумала?

— Не подумала, — призналась тетя тогда, хоть и времени-то уже не было ни ругаться, ни оправдываться — приехал сын Греже из столицы на обгоревшей машине без крыльев и с дырявыми шинами.

Присев подле Иванова, он долго приглядывался к нему и потом столько страшных вещей наговорил про красных своим родителям, что старуха залилась слезами, а сам Греже начал причитать: как же это он оставит хозяйство, нажитое неустанным трудом своих мозолистых рук… И до последней минуты возил вместе с Ангеле хлеб на гумно под пчелиное жужжание пуль высоко над головой. Старик Греже все медлил, все не мог решиться сесть в эту страшную машину сына и ехать бог знает куда, в неизвестность. А его сын нарезал кожаные ремни от молотилки, полосо-

вал седла и проволокой прикреплял заплаты на дырявые покрышки, и, наконец, убедил старика, что русские приходят не навсегда, что западная сталь вытеснит русскую. Греже крепко верил в шведскую сталь и в датские породы коров, а посему в конце концов порешил так: тетя Ангеле останется и будет беречь хозяйство как зеницу ока, все машины и породистых коров, — оказывается, она хорошо поступила, поселив Иванова в голубятню, — этот русский, если у него есть хоть капля совести, из чувства благодарности тоже должен охранять хутор… И укатили на этой машине о четырех колесах, залатанных ремнями от молотилки и кожаными лоскутьями седел, укатили тоже вчетвером: сам Греже со своей старухой, с сыном и дочерью, женой господина директора гимназии; должны они были еще заехать в Дуокишкис за учителем и двумя его сыновьями, но куда они укатили, и по сей день никто, да и они сами, пожалуй, не знают…

Тогда-то тетя Ангеле переселила Иванова в хозяйский дом — места теперь хоть отбавляй, — но потом она себе локти грызла, зачем это сделала, надо было, оказывается, и дальше Иванова на голубятне прятать, ибо хоть война-то и окончилась, хоть и победили как раз товарищи Иванова,

но покоя как не было, так и нет… Через хутор проходили все, разгуливали, словно по своему двору, воровали, грабили, но все же удавалось еще как-то по-хорошему откупиться и Йонялиса уберечь. На этот случай в каморке, на полке «для начальства», как называла ее сама тетя Ангеле, всегда стояли заготовленные бутылки с самогоном и ломти сала — для любой власти, какая заявится с ружьем…

Однако, как-то раз, когда Йонялис Иванов вроде бы стал поправляться, и Ангеле, продав несколько отличных коров, — не жаль ей ради Йонялиса хотя бы и всех коров! — раздобыла то новое драгоценное лекарство в маленьких пузырьках с красными резиновыми пробками и шприц для уколов, словом, когда Йонялис стал выздоравливать, заявился как-то ночью этот успевший уже в Дуокишкисе прогреметь Иисус с приспешниками и приволок с собой молоденького гимназистика с посиневшими и гноящимися ногами. Подала им тетя Ангеле, как и всегда в таких случаях, на стол с полки «для начальства» все, что полагается, те пили, но становились все мрачнее: быть может, потому, что гимназистик, не переставая, скрипел зубами и проливал самогон себе на грудь? Посадили они Йонялиса Иванова промеж себя и

завели разговор про колхозы, притом бессовестно табачный дым в его глубокие глаза пускают. Ах, и которая же это заповедь: не пускай Иванову дым в глаза! А сами все больше злятся, из себя выходят. А когда взял гимназистик да застрелился, они и вовсе взбесились и сказали, что повесят сейчас Иванова. Надели петлю на его худую шею, — кто его знает, на смех ли, или всерьез, — тетя Ангеле не выдержала — вскрикнула не своим голосом и обвила руками ноги Иисуса: делайте, мол, со мной, что хотите, только Йонялиса не трогайте! Коли уж на то пошло, сказал Иисус, не тронет он ее Йонялиса, но зато отвел он тетю Ангеле в горницу и сказал ей, что лучше было бы, если б она отреклась от Иванова совсем, ибо Иисус хоть и терпелив, и добр беспредельно, но на все есть границы, покуда его не выведут из терпения всякие там Йонялисы. Не могу, сказала тетя Ангеле, а Иисус ножичком как резанет, так и распорол ей платье сверху донизу. Тетя Ангеле прикрыла руками свою высокую грудь и попросила только дать ей еще помолиться. Иисус разрешил, потом бросил ножик в стену, и тот глубоко вонзился в нее… Отрекись от русского, вскричал Иисус, и у дверей горницы собрались все четырнадцать человек его своры, таща за собой на веревке и

Иванова… Не могу, сказала тетя, если б могла, то, может, и отреклась бы, и она завопила от боли, раздиравшей ее чрево, и на красивом до ужаса лице Иисуса вздулись жилы, и он стал выбивать в полу глубокие следы своих копыт.

Иисус топчет и раскалывает вдребезги половицы, на его висках сплетаются мелкие набухшие жилки, его лицо страшно, как надвигающееся войско, и пот на нем проступает, как вода из могильной ямы…

Иисус могуч, Иисус всесилен! За нас, за нас, Иисусе, за наши проданные на торжище души, за духоту бункеров, за наши кошмары… молись всеми своими натянутыми и трещащими сухожильями, ибо, может, завтра уже тяжелые пулеметы Пернаравичюса разбрызгают твои мозги, его гранаты разорвут тебя на части, а что же нам остается, если даже сам господин учитель продался да шкуру свою вывернул и в красную краску выкрасил.

Они пьют, засыпают спьяна и снова пьют, а Иисус продолжает рубить своими копытами половицы, покуда не начинает светать… Тогда он оставляет истерзанное тело тети Ангеле, взваливает на свою мокрую спину гимназиста и уводит своих людей в лес.

— Чтоб ты ничего не видел и не слышал, — говорит тетя Ангеле Иванову и спускается к речке Гелуоне, падает там в траву в глубоком сне и только к вечеру раскрывает глаза. Видит, под голову ей подсунут пиджачок Иванова, а сам он сидит подле нее, скрестив под собой ноги, покачивается от слабости, но все же в руке топор зажат, чтобы ухнуть любого, кто приблизится, а другой рукой мух отгоняет веткой орешника и все напевает ей что-то на своем языке тоненьким и дрожащим голоском. А тетя Ангеле и не знает, плакать ей или смеяться.

— Ступай ты, Йонялис, крестик ты мой, солнышко ты мое…

ЛУННАЯ ЛИТВА

Учитель Спельскис уже и в гимназии не расстается с пистолетом, все держит руку в кармане пиджака, грея влажной ладонью черный металл.

Он все еще продолжает, как и раньше, засиживаться над книгой «Дас Капитал», только Маркс тщетно дожидается той минуты, когда учитель раскроет новую страницу его труда…

Изрядно опустился учитель Спельскис, частенько забывает даже побриться, да и его дети ходят неопрятные, полуголодные и все ждут не дождутся, когда приедет тетя Ангеле, наведет в доме порядок, начистит кастрюли, перемоет гору грязной посуды. Пульмонене, приходившую готовить обед, учитель Спельскис прогнал, потому что у нее глаза раскосые и лицо уж очень подозрительное.

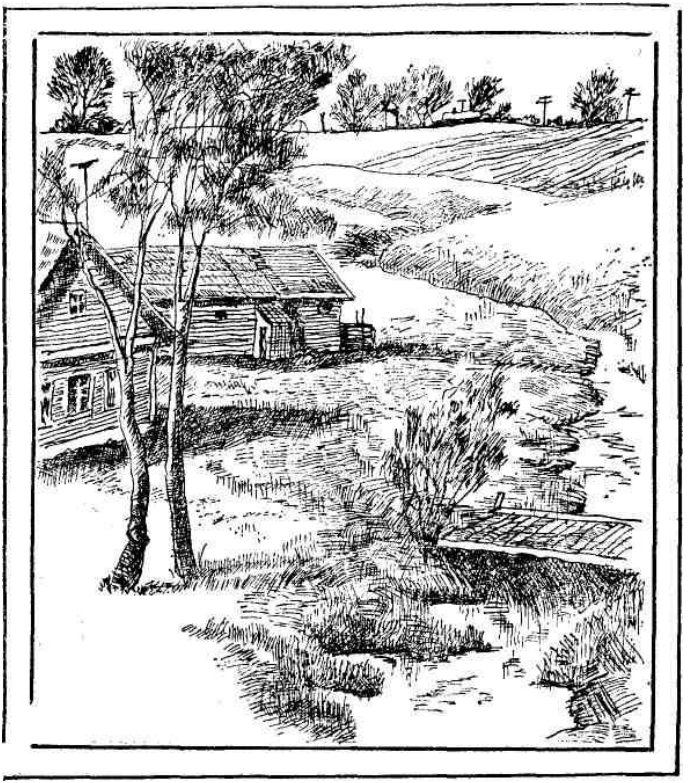
На чердаке он все-таки разыскал мешок с костями князя Дуокиса и засунул их в печку, а карту Литвы Иисуса Григалюнаса так и не сжег.

Карта как-никак рукой нарисована, и Литва на ней не как фига какая-нибудь, а словно следы дюжих ног, прошагавших до самого Черного моря. Вечерами учитель Спельскис наносит новые

государственные рубежи, переселяет народы с одного места в другое, одни сбрасывает в море, другим предоставляет освободившееся место, а в уголке тем временем сидят понурившись его дети и исподлобья следят за отцом. Карта почему-то притягивает учителя Спельскиса, как магнит, он встает по ночам, не зажигая огня, и в свете луны поблескивает бронзой раскрашенная карта Литвы. На ней и несущийся в опор витязь, и ратные подвиги, в которых литовский кинжал и литовская сабля рассекают врагов, словно наполненные вином кожаные мешки, и на ней же начертано: «Моему любимому учителю с добрыми пожеланиями крепкого здоровья».

Нельзя сказать, чтобы Спельскис совсем уж лишился здравого ума: иной раз он вроде опомнится и нанесет на карту государственные границы куда более скромные, чем у Григалюнаса, все больше отодвигая их на запад и захватывая польские земли, и тогда он снова на короткое время решается взяться за Маркса, с дальним прицелом стать когда-нибудь министром просвещения — разумеется, в нынешней Литве, а не в той, на отливающей бронзой карте…

Спельскис укутывает шею шарфом и с пистолетом в рукаве пиджака выходит из комнаты…



На сегодня хватит, говорит он, достаточно поработал, и чувствует себя при этом порядком усталым, словно совершив что-то — хоть и весьма неопределенное, но необычайно важное и

значительное… В детской комнате он смотрит в зеркало на свое поросшее щетиной исхудавшее лицо и, разумеется, тем более вдохновенное и благородное, и думает о том, что его удел, конечно, не Дуокишкис, не нынешние времена, не эта насыщенная страхом эпоха, а жизнь возвышенная и прекрасная, когда не надо будет так униженно зависеть от тети Ангеле, от горстки несчастных гимназистов — их все никак не пристрелит Пернаравичюс, да и они не прикончат Пернаравичюса. И только тогда он замечает, что дети, усевшись на кровати, втихомолку наблюдают за ним. Дети, говорит учитель Спельскис, не закрывайте входную дверь на крючок!

Он бегом бежит в отхожее место, кладет пистолет рядом на сиденье и в который раз повторяет про себя, что завтра непременно приспособит в этой будке крючок на дверях, так как с крючком, хоть и самым ничтожным, все же безопасней.

Где-то фыркает лошадь, скрипят на снегу чьи-то шаги. Прошел мимо, говорит себе с облегчением учитель Спельскис, но все прислушивается тревожно, встает на сиденье, выглядывает в ромбик оконца — и его бросает в жар. Один человек стоит, прижавшись к дровяному сараю, другой, согнувшись, бежит вдоль забора. Спельскис сле-

зает на пол, затаив дыханье, и поначалу даже не замечает, что он ненароком ногой спихнул пистолет в яму, а заметив, и вовсе теряет рассудок.

Кто-то пытается оторвать дверь сортира, а учитель Спельскис побелевшими пальцами изнутри тянет ее на себя, лихорадочно перебирая в уме крючки всевозможных видов и размеров, тонкие и сильно выгнутые, а лучше всего — большие и тяжелые крюки.

— Выходи! — раздается приказ.

Учитель Спельскис кричит:

— Нет, это немыслимо!.. Да возьмитесь же вы за ум, ведь нас так мало!.. Григалюнас!.. Не торопитесь, Иисусе!..

И в тот же миг он ощутил страшный удар, разумеется, в будку, он выпустил из рук дверь, будка вздрогнула, зашаталась и вдруг взлетела вверх, в чистое и холодное небо — она летит над Дуокишкисом, плавно и легко, словно лебедь, взмахивая дверцами, и надо крепко держаться за все четыре ее столба, чтобы не выпасть из нее…

А под ногами раскрываются необозримые просторы до самого Черного моря, тускло поблескивающего в свете луны, словно карта Иисуса, нарисованная им в детстве, — эти неживые и холодно поблескивающие просторы Лунной

Литвы...

ИИСУС СУПЕРСТАР

Иисус одинок!

Нет, одиночество Иисуса не пахнет оливами или пылью Иерусалима, одиночество Иисуса дышит прохладой свежевырытой могилы и мертвящим покоем…

Давно минули те времена, когда Иисус свято верил, что он въедет в Дуокишкис на белом коне, — да откуда по нынешним временам и взять-то белого коня, — тракторы коптят небо своим зловонием, и только считанные, с трудом сбереженные патроны позвякивают в кармане, и даже терка — знаменитая терка Иисуса, с выбитыми в ней пятиконечными звездами, серпами и молотами, которой он усердно натирал зады, посыпая их солью, — даже она давно ржавеет где-то в лесу…

И только Пернаравичюс, как всегда, остается до конца верен Иисусу, все шныряет по лесам и болотам, наступая ему на пятки. Послюнявив химический карандаш, Пернаравичюс пишет на лоскутах бумаги сочиненные им добрые поучения и всячески увещевает его, — и дуокишкские леса полны развешанной на ветвях корявой муд-

рости Пернаравичюса.

Ведь Иисус — это уже самый последний и желанный трофей для Пернаравичюса, а потому он уже и не Иисус даже, а Иисусик.

Посреди бела дня он приходит на хутор Пагреже, когда Иванов сидит во дворе на колоде и разжигает печурку.

— Бог в помощь, — тяжело дыша, произносит Иисус, ибо жара так и жжет мозги, и Иванов то съеживается, то снова вытягивается на колоде, как резиновый. — Как здоровьице, спрашиваю?.. В могилку на отдых еще не тянет?

— Не тянет, не тянет, — смеется Иванов и как ни в чем не бывало подкидывает в огонь хворост.

Тетя Ангеле несла в хлев охапку сена и вдруг остановилась, как вкопанная, потом бросилась в хлев, теряя на ходу калоши, в одних шерстяных носках, бросила сено, где попало, обхватила руками коровью шею и все гладит, гладит ее вздувшийся теплый бок.

— Чего испугалась? — говорит Иисус. — Я ведь не дьявол.

Он потянул ее за руку, и тетя упала на кучу сена. Устал я, сказал Иисус, устал; он локтями и автоматом уперся в тетины колени и приник к ним головой: погладь… погладь… погладь… Бело-

курые, длинные, чуть не до пояса волосы Иисуса спутаны в колтуны вперемежку с чертополохом, волосы все растут, а Литва и вовсе не поддается освобождению… Что же будет тогда, когда волосы станут уже волочиться по земле, когда они покроют половину леса?..

Не поглажу, говорит тетя, никогда не поглажу, пускай лучше рука у меня отсохнет… корову, скотину могу погладить, отчего не погладить, и она отталкивает от себя понемногу, но упорно, светловолосую голову, локти и автомат…

И вдруг она вскрикнула: Йонялис Иванов переступил порог хлева и с блуждающим взглядом принялся с вилами в руках кружить вокруг Иисуса, выбрасывая вперед правое плечо и ногу… Их-их-их — поют его легкие, а вилы так и ходят в руках — из стороны в сторону, вверх, вниз над телом Иисуса… Иисус только скрипнул зубами, так и не успев выстрелить в Йонялиса Иванова, ибо тетя Ангеле прижала к себе его голову изо всех сил, словно богоматерь своего младенца… Иисус барахтается, задыхается, наконец вырывается из тетиных объятий, переворачивается на спину, и тогда Йонялис Иванов, поднатужившись, — их-их-их, — налег на рукоять своей впалой грудью, пот так и хлещет по его исхудалому лицу, а Иисус

все корчится, изворачивается, каблуками выбивая куски навоза…

— Батюшки!.. Батюшки!.. — бормочет Иванов, вытаскивая из груди Иисуса окровавленные вилы, и начинает суетиться, успокаивать мечущуюся скотину, — овцы носятся по хлеву, сбивая его с ног… Потом, несколько успокоившись, он вместе с тетей Ангеле поднимает Иисуса, чтобы тот на навозе хоть не лежал, оба они озираются, куда бы его положить, и с трудом укладывают в ясли, а тетя Ангеле принимается зачем-то из его волос выдергивать чертополох… А потом, спохватившись, что тут еще и Йонялис, она вдруг вскакивает, хватает с земли ком навоза и запускает в него.

И воскликнул тогда Иисус громоподобным голосом:

— Отче, за что ты оставил меня!



Но скоро и он успокоился, так как на небе появилась яркая звезда, которая бежала, освещая весь небосвод, и опустилась на хутор Пагреже, отмечая к нему путь; и наполнился тогда хлев Хозяевами

сего света и власть имущими, поспешившими приветствовать Иисуса, короля литовского, только что в муках рожденного… Полный хлев господ разных, в цилиндрах и без цилиндров, генералов со множеством орденов, медалей и латунных пуговиц, одни с сигарами, другие только с сигаретами — и все, все они склонились над яслями… Знатные дамы в шелках и бриллиантах собрались вокруг яслей и, подтягиваясь на цыпочках, стараются через головы разглядеть, кто это там барахтается в яслях, про себя листая страницы Иисусовой биографии: вот он в четырнадцать лет еще, но все отменные черты его характера уже обозначились — вот стоит он, напрягшись, и своим могучим штырем поднимает ведро воды в поднебесье, а вот Иисус развозит в бричке шесть гимназисток и т. д. и т. д.

— Коня! — вскричал вдруг Иисус.

И привели ему белого коня — не сивого, не рыжего, а совсем-совсем белого — что мне ваши армии, что мне ваши легионы! — повязали Иисуса национальной лентой через плечо, вложили в руки заржавелую терку и перекинули коню через круп два тяжелых мешка: в правом — сахар для добрых литвинов, в левом — едкая соль…

ИЗГНАНИЕ ПЛОДА

Тот день, когда тетя Ангеле изгнала плод, начался, как и обычно, с блинов. Она успела накормить и Жигимантаса, меньшего сына учителя, и сама поесть, а Йонялис Иванов все не появлялся за столом. Ангеле вышла на двор, позвала, но никто не откликнулся. Тогда она влезла по лесенке на голубятню, нашла там аккуратно застеленную кровать, но самого Йонялиса не было. И тут вдруг ей стало как-то тревожно на сердце, к тому же и плод зашевелился, начал биться под самым сердцем.

Йонялис Иванов вернулся неизвестно откуда, когда тетя Ангеле и посуду уже помыла, и свинью накормила, и Жигимантасу успела сплести из соломинок половину волка.

— Где это ты пропадал? — в сердцах накинулась на него тетя. — Где тебя целый день с самого утра носит?.. В одной рубашке, кавалер тоже нашелся… к тому еще и босой!

— Да не холодно ведь… Ну, если нельзя босиком, то я обуюсь…

И Йонялис Иванов пошел обуваться, но так и не сказал, куда он с самого утра ходил, да еще

босой! — и где пропадал. И за обедом молчал, жалостно смотрел на тетю Ангеле, словно догадываясь, что произойдет нечто страшное и недоброе, да и сам-то выглядел, точно овечка, которую вот-вот прирежут.

Как и договорились, пришла Пульмонене. Тетя Ангеле собрала ей в мешочек заготовленную наперед шерсть и сало, уложила под яблоней в гамаке Жигимантаса и покачала его, чтоб поскорее уснул мальчик, а Иванову сказала, что проводит Пульмонене и заодно в речке Гелуоне прополощет белье.

— Ну, тогда я тебе помогу, — вызвался Иванов, и тетя увидела, что Пульмонене нехорошо усмехнулась, обхватив руками свой мешочек.

И тетю Ангеле вдруг разобрала такая злость на Пульмонене, что ей пришлось, повернувшись спиной, ухватиться за гамак — вроде она все еще укачивает Жигимантаса.

Потом, пройдя напрямик через капусту и мимо баньки, обе они с Пульмонене свернули с тропинки и юркнули в кусты.

— Не говорите потом никому, — сказала тетя Ангеле, остановившись в высокой, по колени, траве. — Буду стричь овец — еще получите. Только молчите…

— Будто у меня самой ума не хватает! — как-то неестественно громко рассмеялась Пульмонене, одернула на себе платье, растянула на траве вдвое сложенную холстину и спросила:

— Ну, что случилось, чего стоишь-то?

Тетя Ангеле оторвала глаза от воды — одни только водоросли и ни единой рыбешки, — глянула на разостланную холстину и, вздохнув, отдалась в руки Пульмонене.

Плод, Иисусов плод вновь зашевелился, забился своими еще крохотными копытцами о самое сердце и, жалобно пискнув, его маленькая не родившаяся еще душонка уплыла по речке Гелуона.

— Все, — сказала Пульмонене. — Аминь…

— Мне шерсти не жаль, — сказала побелевшая в лице тетя Ангеле.

— Знаю, — сказала Пульмонене и вброд перешла речушку, обхватив руками мешок.

Холстину и таз тетя Ангеле спрятала в кустах и направилась домой, но не мимо баньки, а кругом, через лес, и оттуда, остановившись, бросила взгляд на усадьбу, словно впервые увидела ее, как чужой человек… А где же люди? И ни скотины, ни курицы даже не видать… Только гамак висит, а из-под одеяла свесилась маленькая ручонка

да издали белеет светлая прядь волос, упавшая на глаза…

Имя этого ребенка Жигимантас… Жигутис, пояснила сама себе тетя, стоя в лесу.

По дороге на хутор Пагреже — нет, не по шоссе, а вот этой тропинкой, ведущей только на хутор и никуда больше, — шло несколько незнакомых, не здешних женщин в больших, поблескивающих уже издали, платках, и ребенок — не то мальчик, не то девочка. Цыгане, подумала тетя Ангеле, но вроде бы и не цыгане.

Потом из вишняка выскочил Иванов, будто он там спрятавшись дожидался кого-то; с разинутым ртом, прикрыв обеими ладонями глаза от солнца, он стал вглядываться в этих женщин, затем хрипло выкрикнул что-то и бросился к ним, выставив правое плечо. И эти женщины точно так же вылупили глаза на Йонялиса и, таща за собой по земле свои пожитки, уже бежали навстречу Иванову, и ребенок — не то мальчик, не то девочка — громко заплакал на дороге. Все они окружили Йонялиса, и он совсем исчез за их платками и пестрыми блузками, и тетя Ангеле теперь только и слышала протяжный, похожий на скулеж побитой собаки, жалобный плач.

— Ангеле, Ангеле! — кричал теперь уже Йоня-

лис то в сторону усадьбы, то в сторону речки; и тетя бросилась назад в лес: господи, господи, и это еще не все, боже, что-то будет, что будет!..

А было вот что. Йонялис отвел женщин в усадьбу, тетя Ангеле вернулась в лес к речке, села на помятую траву и стала ждать, спиной своей ощущая за собой усадьбу и тех женщин в блестящих платках, ждала, пока проплывет хоть одна, хоть самая маленькая рыбешка. Но по дну Гелуоны только прополз какой-то скорченный червяк. И тогда она встала и направилась домой.

— Войдите, — сказала тетя, — войдите в дом.

Она взглянула на шелковые платки с длинной бахромой, и какая-то блестящая, скользкая боль пронзила все ее нутро.

— Ангеле, — сказал Йонялис Иванов каким-то странным писклявым голоском едва оперившегося цыпленка. — Ну, сама ведь видишь... вот это — моя мать... — И он погладил сморщенную щеку старушки с водянистыми глазами, и старушка как-то скорбно и вместе с тем необычайно торжественно поклонилась тете Ангеле. Потом пришел черед сестры Йонялиса, вроде и вовсе не похожей на Йонялиса, а его жена как раз показалась тете как две капли воды похожей на Йонялиса: такая же мелкотелая, и лицо с желтиз-

ной, как у Йонялиса.

— Этот мальчик твой? — спросила тетя Ангеле, сложив руки на животе, и пробормотала: — А в лесочке мне показалось, что девочка.

— Да, это мальчик, — обрадовался Йонялис Иванов и развязал головной платочек, — мальчик он, только ушки ему в поезде продуло.

— Так пожалуйте, — произнесла тетя Ангеле запекшимися губами, — пожалуйте в дом!

Йонялис вскочил с места и бросился открывать все двери подряд: на крыльцо, в прихожую, кухню и в парадную хозяйскую половину.

Вот так, хлопая дверьми, войдут в ее дом эти женщины и мальчик, которому продуло ушки, два дня они будут сидеть с Йонялисом друг против друга за столом и будут говорить, говорить до самой ночи и потом снова спозаранку, и эта их чужая речь с охами и ахами вперемешку, с детским плачем и с надрывным, ломающимся голосом Йонялиса — таким вроде знакомым и вместе с тем вдруг ставшим совсем чужим, — все это сольется в сплошной неясный гомон. И она будет лежать ночью за стеной в жару, не решаясь никому, даже самому господу богу поведать, отчего лицо ее бело, как лист бумаги, отчего глаза так красны и веки припухли.

Она лишь молча начнет готовить Йонялиса в путь-дорогу, наточит нож и сама, сама, покуда они там будут вести свои нескончаемые разговоры, заколет свинью в сарае — привяжет ее передние ноги к колесу телеги, а задние подтянет веревкой к косяку двери, придавит коленом, чтобы свинья не рыпалась, и вонзит в нее нож — глубоко-глубоко, по самый черенок, глядя куда-то сквозь дырявую крышу сарая… И всякого добра наложит в телегу, чтобы Йонялис ушел с хутора не пешком, как пришел, — ах, да разве же он пришел — ползком приполз, — а в телеге уехал, с разделанной свиной тушей, с двумя костюмами, правда, чуть широковатыми в плечах и груди, да с дюжиной вышитых, еще совсем новых носовых платков, и с головы до ног в ее вязаниях — свитерах, носках, — она и шприц еще положит, и все на вес золота купленные у Абрамчикаса лекарства, — а то, может, он там, в России, не дай-то бог, опять занеможет… Старухе она подарит красные сапожки хозяйкины без шнурков, а что сестре подарит, никак не придумает, зато жене Йонялиса — коричневое шерстяное платье с белыми воротничками и манжетами, в котором сама она, тетя Ангеле, когда-то прибыла сюда из приюта… Сынишке Йонялиса она разотрет ушки теплым

топленым салом, компресс приложит и подарит все еще блестящую лаком жестяную банку из-под конфет «Дарюс и Гиренас — крылатые литовцы. Шоколадная и конфетная фабрика Глезериса». Отдаст, не жалея, хоть Жигутис потом будет горько оплакивать эту утрату.

Женщины обойдут все священные для Йонялиса места, взберутся даже на голубятню, а потом и уедут… А что скажет Йонялис? Ничего, ничего он не скажет, словно он уже и забыл по-литовски говорить, только будет смотреть печально-печально так, как перед смертью, и уедет… И тетя Ангеле с горечью заметит, что у жены Йонялиса зубы уж очень редкие, еще реже, чем у Йонялиса, а на подбородке бородавка с торчащим волосом, да грудь совсем плоская, вроде скалкой укатанная.

Уедут все, и тогда вот тетя ощутит со всей ясностью, что совсем нет у нее сил, что за все эти дни она двигалась как во сне, и тогда она скажет, что господь к ней щедр, как ни к кому другому, и расточает ей свои милости, не скупясь. Они уедут, и ночью где-то у речки Гелуоны будет кликать какая-то птица — …как неродившаяся душа моего, моего ребенка… — и Иисус, зарытый возле мочила и придавленный камнем, чтобы не встал

больше, попытается прийти ночью и просить, чтобы она его только погладила и больше ничего; и тогда тетя Ангеле вспомнит о ременных вожжах и балке под высоким потолком в сарае, но тут во сне всплакнет Жигутис, учительский сынок, из-за своей жестяной банки с крылатыми литовцами, и тетя Ангеле тогда сядет на край его кроватки и до утра сплетет ему шесть соломенных самолетиков…

КАК ПЛАЧУТ КАРТИНЫ

Есть ли бог? Это докажет вам сегодня в таком-то часу Аугустинас Спельскис. Чудеса без чудес!

Такой вот плакат вывесил на дверях читальни Аугустас Спельскис, старший сын учителя, и стоит, с залихватски загнутой папироской в зубах, и он особенно доволен этой смелой, похожей на плевок, фразой: «Это докажет вам Аугустинас Спельскис, это докажет вам Аугустинас Спельскис!» Аугустинас Спельскис!..

Читальня — это, собственно, клуб-читальня города Дуокишкиса, находящаяся как раз напротив белого костела с деревянной колокольней и с настоятелем, голова которого то и дело высовывается из-за ограды костельного двора; в его-то глаза и был нацелен этот плевок.

Аугустас Спельскис — заведующий клубом-читальней, у него хромовые сапоги, полученные через Пернаравичюса, а штаны галифе достались ему после отъезда Иванова. Что за удовольствие стоять вот так на крыльце читальни с погасшей папироской в зубах и глядеть на мир прищуренными и сверлящими глазами.

Он ставит на подоконник патефон и запускает

его на всю мощь. Остается лишь сдвинуть в зале стулья, накрыть на сцене стол красным сатином и расставить на нем реквизиты для этого вечера: бутылки с водой, которая по его мановению превратится в красное вино, буквы, внезапно появляющиеся на белом листе бумаги, и главное — основной гвоздь программы: плачущую картину.

Аугустас Спельскис влезает на сцену и спокойно, самоуверенно, словно кошка, играющая с мышью, обращается пока что к пустому залу, в котором орудует метлой его подручный Левитанскис:

— Дорогие товарищи!.. Друзья! Вы утверждаете, что бог есть?! А я вам говорю, что бога нету. Я утверждаю это, опираясь на факты. Если вы не согласитесь со мной или захотите возразить, — пожалуйста, но только опирайтесь тоже на факты!..

Левитанскис, старый, чудом уцелевший, но тронувшийся в уме последний доукишкский еврей, прислушивается, обхватив руками метлу, смотрит на своего начальника на сцене, как на Моисея на горе Синае, и дожидается новых предписаний.

— Подметайте, подметайте, товарищ Левитан-

скис! — кричит ему Аугустас Спельскис. — Или нет — залезайте на сцену, вы будете моим ассистентом. Вы поняли, товарищ Левитанскис?

Левитанскис понял, он положил метлу и влез на сцену.

— Опиум! — выкрикнул еще Аугустас Спельскис, когда Левитанскис стал за столом. — Ваше возражение, дорогой товарищ… — вы там, третий слева, — это опиум и дым в глаза!.. Отлично, так вот, товарищ Левитанскис, вы должны будете поднять эту картину так, чтобы ее видели все.

— Вот эту вот? — спрашивает Левитанскис и, не дожидаясь ответа, поднимает над головой огромную метровую картину, которую Аугустас Спельскис одолжил на хуторе Пагреже, нигде не раздобыв настоящих образов святых. А на ней изображены два господина, взоры которых обращены назад, на бурую корову, забредшую в высокую траву, а еще дальше не то облака, не то горы и мелкая надпись, которую публика, конечно, не разберет: «Тут я и г. Матулайтис, председатель общества разведения литовских фиун (датских буренок), нарисованные за 20 1/2 литов возле импортированной мною коровы Дагмары». Эта картина особенно понравилась Аугустасу Спельскису потому, что два человека и

всего два глаза, а потому придется просверлить всего по одной дырке в глазу каждого из этих двух господ и можно будет обойтись двумя трубочками, через которые Левитанскис пустит им в глаза слезы, когда настанет время плакать.

Пластинка застопорилась, и патефон крутит все одно и то же, Левитанскис безучастно смотрит в зал, а когда музыка, наконец, сдвинулась с места, картина оказалась вдруг у Левитанскиса на груди, и Аугустинас Спельскис отлично знает, что теперь уже никто, никто не сможет дозваться Левитанскиса, ибо вот уже шевелятся его губы и Левитанскис начинает считать, словно пытаясь воскресить всю свою многочисленную родню, начиная с братьев, родителей и прапрародителей, перескакивая на двоюродных братьев, дядей и теток, заваленных землею в балке за городом, — Аарон! Саул! Хаим! Авраам!.. А картина опускается все ниже, и ошеломленный Аугустас Спельскис видит, как Левитанскис считает, загибая пальцы, и дорогие, с таким трудом доставшиеся трубки и все хитроумно изобретенное плачущее устройство на обратной стороне картины разлетается на мелкие кусочки и кровавые слезы разводителей коров фиунской масти заливают башмаки Левитанскиса.

— Давид… Давид… Давид…

К чертям все, к чертям, так как все другие трюки, как, например, превращение воды в вино, никого особенно не ошеломят.

Аугустас захлопывает окно, останавливает патефон, выходит на крыльцо, и настоятель может теперь из-за ограды костельного двора видеть только, как сын учителя срывает плакат; а как он разрывает его в клочья, занеся в дом, как со злости увлажняются его глаза и как заведующий читальней топчет ногами обрывки бумаги, — этого никто не видит и никогда не увидит.

— Левитанскис, — говорит Аугустас, — Левитанскис, можешь идти домой, дома докончишь свой счет. — Он выводит его на улицу и запирает за ним дверь читальни. — Левитанскис, Левитанскис… Что ты наделал! — И Аугустас почувствовал себя вдруг страшно одиноким, а тем временем бог маленькими глазками на широком лице настоятеля с любопытством следил за ним, как за какой-то редкой зоологической особью, и Аугустасу Спельскису осталось только еще крепче сжать в зубах папиросу, глубоко засунуть левую руку в карман своих штанов-галифе, а правой вести Левитанскиса домой, чтобы тот не попал под лошадь или машину.

Читальню откроют только вечером, и будут только танцы с винным душком и потными лапами, и никому тогда в голову не придет искать в зале бога или преследовать его безжалостными фактами, как Аугустас Спельскис со своей плачущей картиной… Учитель Спельскис почивает под осевшей землей, его очки запотели, и своим холодным глазом он ищет и никак не разыщет своего сына Аугустаса, шагающего по улицам родного Дуокишкиса, не увидит его день ото дня нарастающего гнева. Что его раздражает? Все, все. Меньше всего, пожалуй, Левитанскис. Мне тесно, говорит Аугустас, тесно, и Левитанскис его как будто бы понимает. Душно мне, душно, говорит Аугустас, и Левитанскис не спрашивает, открыть ли окно, он только хватается за голову — стало быть, не легким, а голове душно… Аугустас пьет дома принесенное тетей Ангеле молоко, варит себе по утрам вкрутую по два снесенных тетиными курами яйца, мажет себе хлеб желтым маслом, взбитым той же тетей, и усаживается за отцовский письменный стол читать «Дас Капитал» в оригинале, и к семнадцати годам он, должно быть, одолеет уже добрую его половину — пожалуй, побольше, чем одолел его покойный отец, учитель Спельскис. Он надевает выстиранные

тетей Ангеле рубашки, и бессильная злоба душит его, как тесный воротничок, потому что все это не его, а тетино, даже Жигимантас тоже давно уже не его, а тетин. И он смотрит на белые, всегда накрахмаленные воротнички и манжеты, к которым словно не пристает никакая грязь, на ее высокую, пышущую спокойствием и здоровьем грудь и завидует тогда своему меньшому брату…

Вечером он снова открывает двери читальни, стулья отодвигает в стороны и пол обрызгивает водой, чтобы пыли меньше было, — хотя все это входит в обязанности Левитанскиса, — запускает патефон, вставляет пластинки в ящик, как патроны в обойму винтовки, и начинает продавать билеты.

И когда уже левый карман штанов тяжелеет от собранных медяков, появляется тетя Ангеле со своими накрахмаленными воротничками и просит билет: бери, мол, деньги, а то плана не выполнишь; и даже тут он вынужден уступить, а потом еще должен смотреть, как все чуть ли не дерутся из-за тети, тискают ее во время танца своими лапищами — не одной, а обеими сразу, а на поворотах стараются как можно теснее прижаться своими вонючими ногами к ее ногам. Тогда ее платье задирается вверх, комкается под

этими волосатыми лапами с черными от рождения когтями. А тете это вроде бы нравится, что ее приглашают на танец сразу несколько кавалеров, а не один какой, что другие девицы провожают ее завистливыми взглядами, когда парни уводят ее куда-то за костельный двор в темноту. Трижды уже Аугустас проверял тетю: заперев читальню, он садился на велосипед и, спрятавшись в кустах у речки, каждый раз заставал ее одну, босиком возвращающуюся домой, или иной раз видел ее в освещенном окне за ужином, или же в другой половине дома, в комнате Жигутиса — она плела там что-то из соломинок…

Парни тайком потягивают винцо за кулисами на сцене, давя осколки стекла, но Аугустас даже не прикрикнет на них, не сгонит вниз, а только возьмет у них бутылку и хлебнет большой глоток, потом глянет в зал, разыщет глазами стиснутую в талии тетю Ангеле, украдкой выключит патефон, поковыряет в нем отверткой и заявит, что танцев больше не будет — музыка, мол, испортилась. Но тут же кто-нибудь притащит аккордеон, и тогда Аугустас — раз-раз — и выключит свет. В зале поднимается шум, гам, свист, все в нем бурлит, как в котле, пока не выплеснется наружу. И он тогда тоже одним из первых выбегает из зала че-

рез боковую дверь, хватает тетю за руку и тащит ее в сторону, в темноту.

— Обожди, тетя, не уходи, — говорит Аугустас. Он запирает парадную дверь читальни, потом через боковую возвращается в зал и выносит со сцены картину с разводителями скота.

— Вот, — говорит он, — возвращаю. Не бойтесь, я сам отнесу картину к вам домой.

— Может, лучше в другой раз, — говорит тетя. — Ведь уже ночь. Не очень-то она мне и нужна, повесь себе лучше на стену. Как-никак тут ведь твой дедушка.

— Который же? — удивился Аугустас.

— Кажется, тот, справа, в шляпе.

Конечно, шляпы в темноте-то не различишь, но тетя попала деду пальцем прямо в глаз.

— Зачем же ты его проткнул?

— Нужно было, — сказал Аугустас, — я им обоим проткнул… и дедушке тоже.

— Ну, доброй ночи, Аугустас, — сказала тетя, — завтра мне рано вставать.

— Я провожу вас, разве нельзя?..

За Дуокишкисом тетя остановилась.

— Спасибо, Аугустас, теперь я уже и сама дойду.

— Да я ведь картину вам несу, а до хутора еще

больше, чем полкилометра, — сказал Аугустас. — Другие, наверно, и дальше вас провожают? Я не хочу домой!.. Тетя, — кричит он, — почему вы ничего не видите?! Вы не хотите видеть, как я вас люблю. Я вас безумно люблю!

Тетя вздыхает, садится в траве, берет у него из рук картину и говорит:

— Ну и что… ну и что?.. Много кто любит, много кто любит… Вот и Жигутис…

— Но я вас по-другому люблю, — кричит Аугустас. — Я уже не ребенок, мне же скоро восемнадцать… Тетя, — говорит он, — смотрите, — и он описывает рукой круг, став на колени: — Вот Земля, а вот Дуокишкис, как точка, а вот я, совсем один! Ведь это страшно, и хочется стрелять, стрелять…

Аугустас вдруг вытаскивает пистолет, который он нашел, чистя отхожее место, отцовский пистолет, теперь уже снова почищенный и смазанный…

— Боже ты мой, боже ты мой! — застонала тетя, взяла у него пистолет, подошла к речке Гелуоне и с размаху швырнула его в тихую заводь, но тут же сообразила, что плохо сделала, потому что когда-нибудь кто-то опять найдет этот пистолет, почистит его и, воя от одиночества, будет искать,

в кого бы выстрелить — в других или в самого себя… Она усаживает Аугустаса рядом и гладит, гладит его по голове, а Аугустас, припав головой к ее груди, глубоко вдыхает запах ее тела… Так пахнет дуокишкский небосвод. Тетя, тетя!..

— Чего тебе?

— Я не могу сказать.

Тетя склоняет голову, и он что-то шепчет ей на ухо.

— Боже ты мой, — говорит тетя, — да нельзя же так!

— Можно! — кричит Аугустас. — Тетя, какая вы красивая, я один только это вижу!.. Но почему вы меня презираете, почему выбросили мой пистолет?

— Не кричи ты, — усмиряет его тетя. — Господи, да как же это вдруг?!

— Но ведь я люблю вас, я не так, как другие… я другой! — снова кричит Аугустас.

И кто знает, может, сейчас произойдет чудо и расплачется не только Аугустас, но и разводитель скота, его дедушка с г. Матулайтисом фиунской породы за 20 1/2 лита.

Тетя Ангеле закрывает глаза, и уже не голова Аугустаса рядом с ней, не его голова, а слепок самой любви — любви, которой никогда не было,

а может, и была она, эта любовь — давным-давно, еще до отъезда Иванова, или еще раньше — до Иисуса, до капустного поля и пятнадцатого октября, но уже после приютских коридоров в монастыре святого Казимира — может быть, в тридцать шестом или девятом году; и могло быть все очень просто: робко, но не стыдливо, встретила она ее, и непременно в белом платье и венке из каких-то цветов на голове, ах, только бы придумать еще, что за цветы, а потом — в прозрачную и холодную воду Гелуоны…

Аугустас видит закрытые глаза тети и ее улыбку — глупую, говорит он себе, отвратительную улыбку, с отвратительно обнаженными зубами, видит, как морщится кожа на ее шее, и ее волосы лезут ему в глаза, рот и нестерпимо отдают пережаренным салом… И ничего не остается, кроме страшного разочарования и дикой злости из-за того, что он так глупо отдал свой пистолет.

— Нет бога, — пробормотал он.

Тетя коснулась его рукой, но он увернулся от этого прикосновения.

— Нету, — повторила тетя, — нету, успокойся…

— Я совсем спокоен! — вскрикнул Аугустас.

Тетя с чего-то усмехнулась, хотела было потрепать его по волосам, и тогда его вдруг прорвало:

— Отстаньте! Вы мне противны… противны!

Он со злорадством смотрел на тетю, унизительно разметавшуюся в траве, помятую, и тут сознание своей мужской власти опьяняет Августаса, и ему теперь кажется, что стоит только свистнуть, и тетя тут же отдастся ему и будет с глупой улыбкой и отвратительно обнаженными зубами стирать его рубашки и носить ему масло или яйца и, как все, как все они, гнусно разляжется на траве…

И тогда тетя, подтянув под себя ноги, оглушила его пощечиной.

— Потаскуха! — кричит он. — Вы потаскуха… я знаю… и все это знают!..

Он захлебывается слюнями: тетин кулак затыкает ему рот, она наносит ему удар за ударом, еще и еще… Из его носа начинает хлестать кровь.

— Вот тебе, вот тебе… за все!

И она бьет наотмашь это лицо за все: за выстаивание коленями на горохе в приюте и за унизительную проверку чистоплотности, за свою мать, за то, что могло быть и чего не было, за ползущего по капустному полю Йонялиса Иванова, за черный беспросветный свой труд, за… за… И тогда она берет картину и говорит:

— И сгинь ты с моих глаз, сгинь совсем отсюда,

из Дуокишкиса сгинь!

И ступая босыми ступнями, она мысленно продолжает избивать и Аугустаса, и господина учителя, и все семейство Греже. Ах, вы думаете, что оказывали мне милость?! Это я вам, как слабым цыплятам, крошки бросала, а не вы мне… Только бы еще Жигутиса вырастить — и будем в расчете…

АМОРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В дуокишкскую школу в самый праздник урожая пришло анонимное письмо. Директора не было — он должен был произнести речь на празднике, так письмо это вскрыл и прочел заведующий учебной частью Чапликас — свежеиспеченный педагог, всего лишь несколько месяцев назад прибывший по назначению в Дуокишкис. Анонимные товарищи писали, что возникла острая необходимость позаботиться о воспитании и условиях жизни ученика Жигимантаса Спельскиса, поскольку упомянутый ученик круглый сирота, сын убитого буржуазными националистами директора гимназии Спельскиса. Жигимантаса в настоящее время воспитывает женщина, которая не имеет на это никаких юридических и тем более моральных прав! Мальчик был, дескать, оторван от своего старшего брата, единственного близкого и дорогого ему человека, который из-за интриг вышеназванной женщины был вынужден оставить своего малолетнего братишку в руках этой женщины и даже уехать из Дуокишкиса! Она морально падшая женщина, ведущая — и это ни для кого не секрет — амораль-

ный образ жизни. Просим, если еще не поздно, позаботиться о судьбе Жигимантаса Спельскиса, ибо дети — это наше будущее, и т. д. и т. п.

Учитель Чапликас сунул письмо в карман и отправился на почту звонить своей семье в Гаргждай. Он обычно звонил три раза в неделю и всегда в одно и то же время, но на этот раз не дозвонился и не знал, как провести день, так как уроков было не много, а праздник урожая его совсем не интересовал, как, впрочем, и все, что не было непосредственно связано с его работой. В Дуокишкисе, говорил он по телефону своей жене, в Дуокишкисе ежедневно мухи мрут со скуки, и тем самым больно задевал телефонисток: будто бы в местечке Гаргждай нет мух и они тоже не мрут! На почте Чапликас вспомнил про письмо, разыскал ученика Жигимантаса Спельскиса и спросил, не сын ли он того Спельскиса, которого убили буржуазные националисты.

— Наверное, — ответил ученик. — Ну, говорят, застрелили.

— Так я хотел бы поговорить с твоей опекуншей, — сказал тогда Чапликас.

— С какой опекуншей? — сразу не сообразил ученик Спельскис. — А, но мы живем пару километров за городом… Хотя она должна быть сейчас

в Дуокишкисе — ведь праздник урожая.

И оба направились разыскивать тетю Ангеле, и нашли ее в «Сингапуре» — дощатом полусгнившем буфете.

— Хочет поговорить… — сказал Жигимантас Спельскис, — вот этот.

— Пускай говорит, — сказала тетя.

— Но он ведь заведующий учебной частью, — сказал Жигимантас Спельскис.

— Так, пожалуйста, садитесь.

И учителю Чапликасу ничего больше не оставалось, как сесть рядом с тетей, можно даже сказать, совсем рядышком, так как чуть не все стулья увезли на праздник урожая.

— Может, выпьете? — предложила тетя.

— Нет, я по делу, — выпалил Чапликас.

— Ну, если по делу, можете и не пить, — сказала тетя, и Чапликас тогда выпил. — Жигутис может идти домой?

— Пускай идет, — сказал Чапликас.

— Обождите, — сказала тетя, — я скажу только, что ему нужно отнести домой.

И она вышла из «Сингапура» со своим подопечным и долго не возвращалась.

Чтобы не сидеть тут попусту и не занимать зря столь нужных в такой праздник стульев, Чапли-

кас успел уже приличия ради заказать того же вина, что он пил раньше.

— Извините, — обратился он к какому-то гражданину в кожаном шлеме, — отчего это заведение называется Сингапуром?

— Здесь буфет номер четыре! — строго заметила буфетчица.

— Пока Сингапур жив, и мы живы! — топнул ногой человек в кожаном шлеме, проломив при этом прогнивший пол, и его выпроводили вон в тот же момент, когда снова появилась опекунша Жигимантаса Спельскиса тетя Ангеле.

Чапликас был не из тех, кто посещает такие «сингапуры», ибо и в университете он с первых же дней был отличником учебы, таким отличником был он и в семейной жизни. И быть может, потому вся эта история с «Сингапуром» и этим анонимным письмом казалась ему своего рода любопытной экскурсией чуть в сторону от магистральной линии, по которой, как по рельсам, катилась его безупречная жизнь. И он спросил тетю:

— Почему, скажите, это заведение называется Сингапуром?

— Не знаю, — ответила тетя и посмотрела на часы.

— И кто же, скажите, здесь собирается, что за публика?

— Да разная.

— Вот, к примеру, этот человек, кто он такой? — Чапликас как раз показал на Пернаравичюса.

— Пернаравичюс, — ответила тетя.

Пернаравичюс, видать, заскочил сюда прямо с работы глотнуть пивца, с блокнотом и самописко́й в кармане комбинезона. Потягивая пиво, он поковырял в ухе, и оттуда выпало кукурузное зерно. Да и голова его была в данный момент занята мыслями о всякого рода зерне, о горохе-великане, о вторичной пшенице Мирошниченко и о зерне разных других сортов, а над головой Пернаравичюса как бы сиял несколько загадочный ореол — ЗАГОТЗЕРНО.

Чапликас подал тете письмо и, покуда она его читала, налил себе еще вина. Предупредив его, тетя сказала:

— Нет, благодарю, я не буду пить.

— Так факты соответствуют действительности? — спросил Чапликас.

— Какие факты? — удивилась тетя Ангеле.

— Да не знаю, — усмехнулся Чапликас, — это не я ведь писал.

— А кто же?

Чапликас пожал плечами и допил последнюю рюмку, чтобы деньги не пропали даром.

— Не пойму я, что означает: ведет аморальный образ жизни?

— Аморальный — это распутный, — пояснил Чапликас.

Тетя Ангеле взяла зонтик и вышла из «Сингапура».

— И все же надо поговорить, — сказал Чапликас, догнав ее.

— Об аморальном образе жизни? — спросила тетя.

— Не совсем так, — сказал Чапликас и пригляделся, как же выглядит стоящая перед ним аморальная женщина. — Частично да, но главное — о воспитании Жигимантаса Спельскиса, о его домашних условиях, ну и о родительских правах…

— Так и говорите об этом с Жигутисом, — выпалила тетя. — Какие права он сам выберет, по тем пусть и живет.

— Видите ли, — забежал вперед Чапликас, — я все же должен проверить домашние условия ученика.

— Ну и проверяйте, — сказала тетя. — Сейчас или после?

— Сейчас, — сказал Чапликас, — дело серьезное и важное.

И они направились в Пагреже. За Дуокишкисом начался дождь, тетя раскрыла зонтик и сказала:

— Ваш пиджак промокнет, залезайте под зонтик.

Чапликас последовал ее предложению, и одно его плечо, рядом с тетей, осталось сухим, а весь бок с другой стороны, брюки выше колен и письмо промокли насквозь, поэтому в Пагреже пришлось сушить и пиджак, и письмо. И ботинки Чапликаса Жигимантас поставил сушить на печурку, а сам сел за стол с небольшой пилкой и напильником и принялся мастерить новый ветряк с динамкой, каких уже целых три вращались со свистом над крышей дома, питая током маленькие автомобильные лампочки. Еще одну динамку приводил в движение ветер над хлевом, другую — на баньке у Гелуоны — те были без аккумуляторов, а потому лампочки светились только по мере усиления ветра. Эту, шестую, Жигимантас мастерил из сепаратора своего деда и некоторых частей молотилки. Тетя заварила чай и принесла из горницы — с полки, предназначенной для начальства, — бутылку, чтобы промокший Чапликас не простыл, не про-

студился.

— Охотно, — сказал Чапликас и подумал о том, как он все же сегодня еще сможет вернуться в Дуокишкис, после проверки, когда совсем уже стемнело и ветер, видимо, усилился, ибо от ветряков гудел весь дом, а в хлеву и в баньке было светло, как в костеле…

— Нет, — сказала тетя Чапликасу, — уж вы не взыщите, но дома я никогда не пью. Свято слово!

И принялась распарывать старый свитер Йонялиса Иванова с оленями, чтобы связать Жигимантасу новый, одноцветный, спортивный, без всяких оленей, по новейшей моде в Дуокишкисе. Чапликас неторопливо, как бы походя, выпил рюмку, хлебнул чая, и у него прошла охота возвращаться сегодня в Дуокишкис. Хорошо бы схитрить, подумал он; надо выпить хоть с полбутылки и, тогда вроде бы невзначай, задремать за столом. Но он тут же спохватился: ведь здесь кроме него с тетей и ученик их школы, и он, нехотя, надел свой промокший пиджак.

— Вы бы хоть переждали, покуда дождик уймется, — сказала тетя и стала набирать на спицу петли. Однако дождь до самой полуночи и не думал униться.

Жигимантас пошел спать со своим сепарато-

ром и частями от молотилки, а тетя постелила гостю перины на пустую кровать, пожелала спокойной ночи и вышла, оставила гостя одного. Тогда Чапликас смог уже посушить и свои брюки рядышком с пиджаком и письмом и не без удовольствия подумал, что стоит лишь хоть чуть-чуть отклониться от магистральной линии, и судьба засунет тебя под перины бог знает где.

— Простите, — сказал ему, войдя, полураздетый Жигимантас Спельскис, рослый малец и куда более мускулистый, чем его учитель, — если свет вам будет мешать, опустите вот этот рычаг, что над вашей кроватью.

— Ладно, — сказал Чапликас и дернул за железную ручку, но дернул, очевидно, чересчур сильно, так как свет сначала погас, но потом снова зажегся, и тогда уже он в одиночестве огляделся в комнате.

У изножья его кровати, чуть повыше ее, на двери висела картина на сельскохозяйственную тематику, как решил Чапликас, только глаза у крестьян почему-то были выколоты, а у коров они были целы. Надпись мелким шрифтом на картине внизу он не прочел, так как поленился вставать. А больше ничего любопытного в комнате вроде и не было, поэтому он снова дернул

за рычаг, да так, что свет-то погас, но больше его нельзя было зажечь, и Чапликас не мог посмотреть на часы и узнать, когда же он лег. Проснулся он ночью от дикого треска и грохота: весь дом гудел так, как будто по его крыше идут поезда или с ржанием несется целый табун диких лошадей, а крылья ветряков борются с этими поездами и лошадьми… Он глянул в окно — в баньке и в хлеву ярко вспыхнул свет и тут же погас. Видать, лампочки перегорели, подумал Чапликас. За дверью комнаты зазвенело бьющееся стекло, и Чапликасу показалось, что кто-то простонал. Чапликас был не трусливого десятка, он вообще никогда не испытывал чувства страха, потому что ему все было ясно. Он снова дернул было железный рычаг; подумал, что где-нибудь на печурке могли бы лежать спички, встал с кровати, но ничего не нашарил, кроме своих ботинок и влажной, теплой одежды, накинул на плечи пиджак, толкнул дверь, потом потянул ее на себя, и с двери упала картина на сельскохозяйственную тематику. Чуть оттащив кровать от двери, можно было протиснуться в соседнюю комнату и убедиться, кто же там бьет стекло и кто стонет. Тем временем кто-то посветил снаружи электрическим фонариком в разбитое окно этой комнаты, и Чапликас

успел разглядеть там прогнивший и протекающий потолок, обломки старой мебели, ножку стула, обвитую каким-то диковинным плющом, вылезшим из щели в полу, густой слой пыли, паутину, выбитые половицы и какие-то — успел он еще заметить — письма в корзинке из-под картошки, и он захватил их целую пачку. Письма были с почтовыми марками и печатями, видимо, либо не вскрытые, либо снова заклеенные, — и тогда фонарик сверкнул ему прямо в глаза.

— Чего вам тут надо? — спросила тетя снаружи.

Чапликас пробрался к окну, высунул голову сквозь оконную раму, порезав себе лоб об осколки стекла, и увидел во дворе тетю Ангеле — босую, в одной сорочке, вздутой ветром.

— Мне послышалось, что кто-то вроде стонет, — сказал Чапликас. — Ну и стекло разбилось, наверно, в этом окне… А вы что на дворе делаете?

— Ветер, — сказала тетя, — это ветер и стонал, и окно выбил, ветер, только и всего.

И она погасила фонарик, ибо все тот же ветер в этот момент начал сильно трепать тетину рубашку.

Чапликас вернулся в свою комнату, затворил за

собой дверь, нащупал в темноте гвоздь и повесил на него картину. Тетя была уже у себя в комнате и лежала в кровати, когда Чапликас, подобающе постучавшись три раза, вошел к ней, накинув на плечи пиджак.

— Что случилось? — спросила тетя и зажгла повернутый к окну фонарик.

— Ничего особенного, — ответил Чапликас.

Его пьянила мысль, что вот он порезал себе лоб, и, наверное, здорово-таки порезал, что вот он может ходить в темноте в медленно остывающем на плечах пиджаке, что вот он спокойно постучался в дверь, и эта женщина — дай-то боже нашему веку побольше таких женщин — спокойно с ним говорит, а сам он, отклонившись на добрую милю от магистральной линии, в состоянии даже пошутить, в то время как над его кроватью неистово воет динамка — там где-то на чердаке.

— Ничего особенного… ничего особенного… Я хотел только проверить, правда ли вы, как в том анонимном письме пишут, аморальная, или…

И прикусил язык, потому что эта шутка получилась неуклюжей, как старинная, легко опрокидывающаяся этажерка.

— Аморальная? Это я-то? — повторила тетя вполне серьезно, сморщила лоб, видимо, прежде

всего переводя это слово на другое, ей более понятное и выясненное уже в «Сингапуре», затем пожала плечами и замотала головой:

— Я?.. Нет, это не я, это жизнь была аморальной.

— Извините, — сказал Чапликас, — я сам не знаю, что за чепуху я вам тут наплел. Хотел только попросить, не найдется ли какая тряпица или бинта кусочек, я, кажется, лоб себе порезал…

И, повязанный полотенцем, Чапликас снова идет, падает в свои перины и засыпает мертвецким сном, неистово проклиная свой дурацкий деревянный язык…

А наутро — все спокойно, Чапликас поднимает голову, прежде всего всматривается в картину — теперь он уже не ленится прочитать мелкую надпись — и с удивлением видит на вешалке свой высохший и выглаженный пиджак, и брюки тоже, и даже пуговица, которая болталась уже на трех нитках, накрепко пришита, а промокшее на дожде и высохшее уже письмо торчит из карманчика пиджака.

Черт побери, черт побери, говорит ошеломленный Чапликас.

Из кухни распространяется манящий запах блинов, и доносится беспечный тихий смех: они,

эта женщина и мальчик, долго-долго смеются, и Чапликас не может понять, отчего и над чем можно так от души смеяться — не над ним ли, Чапликасом?

ВСЕОБЩАЯ МЕССА

Теперь тетя Ангеле уже не помнит, с чего это она вдруг посреди ночи полезла на клеть, — должно быть, за проволокой, потому что овцы порвали цепь и унесли чуть ли не до самого Дуокишкиса. Она залезла наверх, пошарила там, но проволоки не нашла. И с чего ей это вдруг взбрело на ум заглянуть в голубятню, она и по сей день не знает, только смотрит — Йонялис, скорчившись, спит, подложив под голову сено, — видать, дожидался ее, покуда она с овцами воевала, да не дождался, и пошел на свое привычное место… У нее даже ноги подкосились, но она взяла себя в руки, потихоньку вернулась домой и с самого раннего утра все поглядывала в щелку между занавесок, не спускается ли Йонялис с голубятни. Тогда тетя прикинулась, будто нисколько не взволнована, она только громко рассмеялась, оглядывая Йонялиса с головы до ног: откуда, мол, он здесь взялся?

А Йонялис стоял, нарядный такой, в новом костюме и с маленьким чемоданчиком в руках, да еще орден на груди.

— Ну вот, видишь, как оно получается… При-

мешь меня назад?

— Да неужто дома тебя не держат? — спросила тетя.

— Я-то дома, — говорит Йонялис, — а сердце мое здесь осталось…

— А жену свою, бесстыдник, зачем оставил?

— Не оставил я, — говорит Йонялис, — сама она согласие дала, сама отпустила, глаза ведь у нее есть — видит, где мое сердце лежит.

— Хорошо тебе, Йонялис, — говорит тогда тетя, — полежало твое сердце, отдохнуло, а теперь можешь и забрать.

И так Йонялис Иванов снова поселился сначала в голубятне, а затем и в избе, пару месяцев тетя не пускалась в долгие разговоры — поел и до свидания, а меня, мол, работа ждет, и еще велит забрать, если хочет, из горницы картофельную корзинку со своими письмами, которых она даже и не вскрывала. Раз пишет, стало быть, жив еще.

Йонялису собес пенсию платил как инвалиду войны, так он ее почти всю тете отдавал, дескать, за голубятню и за еду — тоже, мол, не лыком шит. А в Дуокишкис все с орденом на груди ходит.

— За то, что ты у меня на голубятне проворковал орден тебе дали? — смеется, бывало, тетя Ангеле, а Йонялис обиженно возражает:

— И вовсе нет, я небось и повоевать успел.

И каждое утро нарвет он на поле цветов всяких и несет их тете, а та с непривычки только краснеет. Да, сильно изменился за то время Йонялис. Привозит он из Дуокишкиса силки, говорит, кроты весь двор разрыли, поймал он их несколько, и работа эта ему по вкусу пришлась, нравится. В старой похозяйственной книге Греже он вычеркивает фиунских рогатых и вписывает: «КРОТЫ», а потом и «КУРЫ». Дело в том, что кротовые шкурки он продает, покупает комбинированные корма, скармливает их вместе с кротовым мясом курам, а те как на дрожжах растут. Вот что надумал Йонялис Иванов! И однажды говорит он вдруг тете:

— Давай поженимся и будем жить, как все люди.

Конечно, поначалу тетя только рассмеялась, но Йонялис Иванов все свое твердит, и тетя ему в конце концов уступила.

— Может, и в самом деле время, может, и правду говоришь.

Подали они заявление в загс, но Йонялису Иванову и этого еще мало: хочет, чтобы была не просто свадьба — расписались и ушли, а чтобы все видели, чтобы люди потом не говорили:

скинулись, мол, своими шмутками и жить стали, — все это стократ выстрадано.

Снимает Йонялис все, сколько на книжке есть, денежки и отдает их Пульмонене в руки — пускай похозяйничает, сраму чтоб не было, а тете и рук приложить не дает. А сам все в шляпе ходит, все в начищенных до блеска ботинках с тетей разгуливает по лесам да лугам — так просто, без всякой надобности, цветочки для тети рвет, да все платок свой носовой норовит подстелить, когда тете присесть захочется. А тетя вздыхает без работы, конечно, неплохо и так до свадьбы пожить, но ее пугают гигантские планы Йонялиса на будущее, его широкий размах: деньги направо, налево сует, куда нужно, куда не нужно, лишь бы все подороже было, будто и завтра жить не придется… Да и тот ли это Йонялис, что лежал на поле и капусту сырую грыз, тот ли Йонялис, что, уезжая, стоял вот так, обняв мальчика своего вокруг ушек?.. А Пульмонене, как помешанная, по Дуокишкису с деньгами Йонялиса носится, глаза навыкате, видать, и ночью уснуть от забот не может… печет всякие там баумкухены, варит в котлах холодец, зажаривает поросят, а из труб Пагрежской усадьбы дым клубами валит. Спозаранку какие-то чужие люди разделывают тушу

теленка, стучат топорами, сбивают в саду столы, ибо Пульмонене, потрясенная широтой размаха Йонялиса, из кожи лезет вон: вот тут-то она и покажет, на что способна Пульмонене! Сейчас она уже и не думает о том, сколько заработает на этой свадьбе, лишь бы все на ее лад было: начиная с обручальных колец и руты на тарелках, невестиной фаты и рассаживания гостей, и кончая ее собственным свадебным нарядом и мужниной рубашкой… А пока что Пульмонас без рубашки, в одном пиджаке, накинутом на голые плечи, околачивается по хутору, собирает по примеру Иванова цветы, пробирается между тортами и фальшивыми зайцами, счастливый, не ощущая даже ударов, наносимых по его твердой голове в натянутом на нее шлеме, ибо в его карманах множество начатых и недопитых бутылок, и пивная пена все спадает с его губ, и в предсвадебном угаре его качает вместе со всем хутором…

И тогда приедут в Пагреже Жигутис со своей женушкой и Аугустас со всем своим многочисленным семейством — оба в машинах, приобретенных в основном за счет кротовых дел Йонялиса, тетя выскребет стены в баньке, вымоет пол, заляпанный кровью кротов, и затопит баньку, а Жигимантас между тем померится силой со

своим братом Аугустасом, поднимая валун из фундамента сарая, а Йонялис Иванов сегодня не захочет от них отстать, и тетя будет удивляться, откуда это у такого жучка столько силы — кости трещат, ноги подкашиваются, а все же поднимет камень, большой, как шесть капустных кочанов. Сначала в баньке искупаются мужчины — Жигимантас и Аугустас со своими мальчуганами, вернутся оттуда, как всегда, из-за чего-то насмерть перессорившись; потом пойдут париться женщины — тоненькая женушка Жигутиса, которой в баньке не хватит воздуха, наверно, из-за того, что много курит, и жена Аугустаса со своей девочкой, явно перекормленной с малолетства. И тогда наступит черед Йонялиса Иванова, он подбавит пара, взмахнет веником и упадет, как подкошенный, может, если б пошел вместе с Жигутисом и Аугустасом, этого не случилось бы, но он все стеснялся показать свое покалеченное тело: ведь его машиной тогда переехало…

И покуда похоронят Йонялиса Иванова, покуда распродадут да раздадут соседям скотину и весь хутор Пагреже, пройдет не меньше месяца. И весь этот месяц Пульмонас сможет пить за здоровье Иванова. То есть за упокой его души. И Пульмонене будет горевать по поводу несостоявшейся

свадьбы и признается в том, что снесла настоятелю тысчонку или две, чтобы тот перед алтарем соединил тетю с Ивановым, — снесла и оставила: ксендзу будет легче самому решить… Но никому уже теперь не будет дела до Пульмонене и несостоявшейся свадьбы… Жигимантас снимет с крыши свой ветряк с динамкой на память и засунет его в багажник своей машины, а выедут из Пагреже в Дуокишкис две машины: одна Аугустаса, блестящая и ухоженная, а другая, где будет сидеть тетя Ангеле, — уже изрядно потрепанная. И Аугустас будет смотреть на погнутое крыло машины Жигутиса и думать о том, какой же легкомысленный этот Жигутис, его брат, не чтит он нажитого в поте лица Ивановым добра, а его жена будет ломать себе голову, как же тетя Ангеле уживется с Жигутисом и его тоненькой, как щепка, женой, которая не стесняется разгуливать в брюках и коротенькой, все выбивающейся из них блузке и выставлять напоказ всему миру свой впалый животик.

— Ничего, — скажет Жигимантас тете, — мы и в городе будем жить, поставим ветряк с динамкой на балконе и заживем.

Весь Дуокишкис выйдет на улицы поглядеть, как уезжает тетя, а дом в Пагреже останется с

заколоченными окнами, и блеклый плющ будет виться сквозь щели в прогнившем полу, в трубе заведутся галки, а к осени пустующую усадьбу запрудят крысы… За Дуокишкисом жена Аугустаса вдруг вспомнит, что у настоятеля еще лежат тысяча или полторы, а может, и все две тысячи рублей, и все порешат, что было непростительно из-за Пульмонене лишиться этих денег. Настоятель будет колоть во дворе дрова и думать о холестерине, который, подобно остывшему салу, оседает на стенках кровеносных сосудов, закупоривая их, а когда к костелу подъедут две машины, настоятель узнает тетю Ангеле и вспомнит Аугустаса Спельскиса, как заядлого атеиста.

Приятно, приятно, скажет настоятель и заведет всех в дом, тетя вдохнет запах валериановых капель и старого человека и пояснит, в чем, собственно, дело.

Как жалко, скажет настоятель, как жалко, ибо Иванов-де был одним из немногих достойнейших и много натерпевшихся людей, и он страшно сконфузится, вспомнив вдруг, что этими свадебными деньгами он всего лишь час назад расплатился с кровельщиками за ремонт прохудившейся крыши костела — они как раз под рукой на столе лежали, ко он сейчас же сбегает в

сберкассу и, покуда они отобедают в настоятельском доме, вернется с деньгами.

А может, вы хотите закупить мессу, вдруг спросит настоятель, уже стоя в дверях, и повторит, что Иванов был на редкость достойным, много пережившим человеком.

Ладно, согласится тетя, пускай же отслужат торжественную мессу за упокой души Йонялиса. И она поднимется в путь, но настоятель снова усадит ее и скажет, что и он хочет быть честным, что для одного человека, даже такого, как покойный Иванов, месса так дорого стоит, так, может, он отслужит мессу и за других близких и дорогих тете людей?

— Отслужите, — скажет тетя и начнет вспоминать, кто ей был близок и дорог, и невольно насчитает длинный список дуокишкцев — умерших своей смертью, убитых или по ошибке застреленных, совсем запутается и закажет мессу, если можно, за всех дуокишкцев, почивших в бозе. Все выйдут из настоятельского дома, и у Августаса начнет подергиваться лицо, и он скажет: «Это глупо, очень глупо… Выходит, что вы, тетя, почтите тем самым даже убийцу моего отца». — «Нет, не почту, — возразит тетя, — и это уже не твое дело. Бог, если он там сидит, — при этом она

покажет на небо, — сам рассудит, кто чего стоит, и по справедливости поделит деньги Йонялиса».

И понесутся по асфальту из Дуокишкиса две машины, и будут провожать их холодным глазом оттуда, из-под земли, умершие граждане Дуокишкиса, а тетя откинется на спинку сиденья, закроет глаза и постарается до мелочей, до самых незначительных мелочей вспомнить тот день, когда родился Жигутис и как в тот самый день приполз по капустному полю Йонялис Иванов… Пятнадцатого октября!.. Что же еще произошло тогда? — спросит себя тетя, перебирая в памяти события того далекого и немеркнущего дня… Ах, да разве упомнишь, как дышала, если дышалось легко, разве скажешь, как билось твое сердце, когда оно было здорово и спокойно.

Перевод *Е. МАЛЬЦАСА.*

Леонидас Яцинявичюс
ЩАВЕЛЕВОЕ ПОЛЕ





Леонидас Яцинявичюс родился в 1944 г. в г. Каунасе. Учился на историко-филологическом факультете Вильнюсского университета, работал в редакциях газеты «Комъяунимо тиеса», журналов «Нямунас» и «Пяргале».

Печатается с 1963 г. Автор книг «Город большой — маленький» (1966), «Щавелевое поле» (1968), «Меняю образ жизни» (1974), романа «Чай в пять утра» (1979). Пишет в основном о молодежи, о выборе ею жизненного пути. За повесть «Щавелевое поле» удостоен премии им. П. Зибертаса, присуждаемой Каунасским шелковым комбинатом за произведения о рабочем классе. Пишет также пьесы, киносценарии. На русском языке издана книга рассказов и повестей «Щавелевое поле»

(«Вага», Вильнюс, 1978).

1

Я боюсь просыпаться по звонку будильника.

В старину, говорят, воинов в поход поднимал боевой рог. Наверное, и мой старичок будильник возомнил себя этаким заправским витязем, трубящим в зубровый рог где-нибудь на вершине холма, — с таким неистовым усердием он разражался по утрам своими фанфарами. Жаль, что не объяснишь ему, до чего это глупо и как я не терплю шума. Поэтому я и стараюсь проснуться немного раньше, чем зазвонит это допотопное человеческое изобретение. Не знаю, долго ли я выдержу, но пока соревнование с будильником идет вполне успешно. День я тогда встречаю подготовленный, спокойный, мысль работает быстро и четко. А думаю я обычно о всяких пустяках: о том, что не худо бы приобрести, наконец, гантели для тренировки мышц, или же вообще ни о чем не думаю, а просто так гляжу в темноту за окном. Нужно несколько минут, чтобы время не обернулось томительным нетерпением. Если утро настигает меня врасплох, я чувствую себя так, словно попал в западню, и, встав с кровати, бываю злым и забывчивым.

Будильник все еще цокал — будто ленивая кляча подковами по мостовой, я сидел на кровати, обхватив руками колени, и глядел в глухо рокочущую за окном синюю утреннюю темноту. Сейчас она казалась неправдоподобной и какой-то испуганной; что-то уже происходило там, за окном, вызревало, росло, пускало корни, и я старался постичь доносившиеся с улицы несмелые монотонные звуки, как бы пытаясь разгадать что-то — разгадать первым, пока все еще спят. Я понял: это подметают улицу — оттуда доносилось удаляющееся шарканье метлы. И сразу же вздрогнул: будильник застрекотал во всю глотку. Он даже трясся от злости, что так долго пришлось молчать, и теперь, захлебываясь, изливал свою желчь. Мне всегда кажется, что как только комната наполнится его металлической истерикой, должно случиться что-то ужасное — провалится пол или обрушится потолок. Однако старик так старается, что я иногда позволяю ему накричаться вволю, до хрипоты, пока он, поражаясь безразличию, слабо клекотнув, не умолкнет.

Я не люблю шума, и самое простое было бы протянуть руку и нажать на кнопку еще до того, как он разразится истерикой, но лучше уж подчиниться порядку вещей, а то мать начнет

беспокойно ворочаться в постели, то и дело подносить к глазам свои часики, стараясь разглядеть на них время.

Вот заскрипела кровать матери, и я кладу будильник набок — иначе он не знает меры. Я мог бы, конечно, нажать кнопку звонка, но тогда никто бы не знал, как я ненавижу шум.

Надо вставать. Я люблю тихие звуки. Надо вставать. За окном тихо рокочет синий мрак. Спят ли люди перед боем? Надо вставать…

— Вставай, — слышу я из другой комнаты сквозь открытую дверь тихий голос матери. — Не успеешь позавтракать.

Я вскакиваю с кровати и снова ставлю будильник на ноги: теперь он лишь робко посвечивает своими фосфорическими стрелками, и мне приходит на ум, что в нем есть что-то кошачье.

«Спи же, спи, старина. Можешь прыгнуть ко мне в кровать, если хочешь. Я нисколько не рассержусь».

Утренним холодком заполнилась комната, пропиталась одежда, и от ее прикосновения к телу становится зябко.

2

Я ем и прислушиваюсь к тому, как неровно дышит отец. Под утро он спит неспокойно, нередко просыпается от моих шагов в кухне, хотя хожу я в одним носках, и идет закрыть форточку. Затем под ним: снова вздыхают пружины дивана, и — ни звука. Судя по этой неверной тишине, я уже знаю: он не спит и не уснет больше. Все эти болезни… А год назад еще преподавал в музыкальной школе.

Помню, как удивился Питекантроп, бывший наш классный руководитель, когда я выложил ему, что решил пойти на завод, а одиннадцатый кончу в вечерней. Поведя своей бородкой неописуемой формы, в стиле «каменный век», он сказал, что это первый случай в его практике и что вообще это — безумие. Его честный ум математика никак не мог постичь, где тут собака зарыта, отчего лучший ученик его класса выкинул такую глупую шутку. Однако, видя перед собой вполне независимую личность, а не ученика у доски, он окончательно сник. На прощание еще философски заметил: «Рыба, ищет, где глубже, человек — где лучше»… И стал вдруг похож

на большого печального карпа.

Когда теперь я вспоминаю Питекантропа, меня начинает грызть совесть, почему я так мало сказал ему. Его водянистые глаза, залысина, толстые губы — все в нем говорило тогда об одном только желании — понять меня и помочь… А я-то смутился, мне вдруг захотелось как можно скорее уединиться, и так осталось невысказанным многое и очень важное:

что в семь лет я уже хотел сбежать из дому, потому что прочел много книг и видел блеск рельсов железной дороги на закате,

что, перескочив за девять, вместе с товарищами строил баркас дальнего плавания, но скоро нам всем не хватило терпения,

что в двенадцать лет путешествовал на плоту по реке Нерис, в тот же день потерпел первое в своей жизни крушение и поздно ночью пешком возвратился домой,

что потом, уже значительно позже, я узнал, что такое рационалистическое мышление, и мечты о дальних странствиях постепенно начали испаряться,

что вообще я совсем не такой хороший, каким кажусь другим…

Впрочем, разве все это помогло бы Питекантро-

пу понять меня?..

Я ем быстро и одновременно прислушиваюсь к улице. Ранним утром еще так тихо, что я могу отличить урчание автобусов от других машин. Вот проносится третий автобус, я доедаю завтрак и выхожу из дому. Четвертый — это мой. Так повторяется каждое утро всю неделю, иногда только, прежде чем выйти, я останавливаюсь посреди маленькой кухоньки, стараясь припомнить, какое сегодня число.

Сегодня тридцать первое декабря.

3

Утро было сырое и теплое. Уличные фонари, горевшие всю ночь, казалось, устали; их молочный свет таял и постепенно растворялся в бледнеющем небе. Ярко освещенные, но безжизненные еще витрины магазинов претенциозно сверкали неоновыми огнями.

Улицы пустынны и тихи, но уже рвется темный узор фасадов, загораясь в прорехах желтыми огоньками — торопливо, беспорядочно. Вон в углу большого мрачного куба внезапно вспыхивает оранжевый глазок; пугливо пульсирующий свет, казалось, появился случайно, по ошибке и сейчас же погаснет. Но вот зажигается второе, третье окно, и я знаю, что этот оранжевый огонь жизни уже бьется во всех невидимых артериях дома. Заполненные огнем клетки этого живого организма соединяются между собой, черная плоскость куба внезапно раскалывается, рассыпается звездной россыпью, дом превращается в огромный аквариум, разделенный на секции, в которых обитают хорошо знакомые особи.

Меня настигает и проглатывает желтое чудовище — автобус. Сначала высунет свою скорбную

бульдожью морду из-за поворота, потом подбежит, словно озорной пес, взвизгнет всеми своими тормозами и послушно остановится. На этот раз он, пожалуй, поторопился, я бы охотно его подождал, размышляя о друзьях, о себе, о том новом, что принесет нам новый год…

В автобусе я как-то сделал открытие: по утрам спешащие на работу люди кажутся очень схожими — каждый будто еще сидит на краю своей теплой постели. Людей немного, за окном автобуса — поток до мелочей знакомых предметов. Привычная серая лента время от времени прерывается на остановках; высовываются человеческие головы, плечи, затем автобус, бряцая всеми частями своего жестяного тела, уносится вдаль, и лента возобновляется. Наконец она обрывается у ярко освещенной витрины галантерейного магазина — и я снова на улице. В витрине вот уже несколько дней выставлены разукрашенная елка и чучело Деда-Мороза. Повернувшись лицом алкоголика к прохожим, он как бы сетует им на свое невезение. «Поторопился ты, старикан, даже праздника не обождал», — пристыдил я его мысленно и свернул в сторону по узкой немощеной улочке. Издали уже виднелись корпуса завода со светящимися стеклянными крышами.

Неподалеку аукали паровозы, мимо катили машины с надписью «Молоко», «Хлеб», и я подумал, что тут, в этом фабричном районе, отчетливей чувствуется, как исподволь, со скрипом начинает вращаться огромное колесо нового дня.

Фонари, вытянувшиеся в солдатском строю, погасли все разом, как по команде.

За чернеющими сбоку трубами властно занималось серое утро. Над заводскими воротами светится желтый циферблат часов, напоминающий медную монету. Его большая стрелка проворно скакнула на одну минуту вперед, до начала работы осталось еще десять. Я перевесил табель и прошел через зарешеченную металлической сеткой дверь на заводской двор.

Я быстро шагал узким проходом, перепрыгивая через кучи металлической стружки, выросшие после ночной смены, кивал знакомым рабочим и на минуту задержался у доски объявлений. На белом листе ватмана акварельными красками было выведено:

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ В НОВОМ ГОДУ!

АДМИНИСТРАЦИЯ

4

Я открыл свой шкафчик и стал переодеваться. Другие тоже торопливо натягивали спецовки, хлопали дверцами, кто-то потихоньку чертыхался, другой напевал себе под нос джазовую мелодию. Отовсюду доносились обрывки праздничных разговоров — о новогодней елке, о подарках... Разговоры то угасали, то снова разгорались в лабиринте между шкафами и тут же рассыпались смехом. Я не видел говоривших, но их оживленные голоса вызывали непонятное желание выскочить, убежать от этого нестройного праздничного гомона; я даже заметил, что движения мои стали быстрее, ох, как мне не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел мой нахмуренный лоб, мои пальцы, нервно застегивающие пуговицы спецовки. К черту, к черту все эти праздники, не верю я больше в их радости — что мне до новогоднего бокала шампанского! В конце концов это всего лишь еще одна дата, от которой мне придется начинать счет. Работать надо, работать, вот что!

А я уже могу работать. Так говорит мой «мэтр» Жорка. Могу — и мои пальцы спокойно застеги-

вают все пуговицы. На Жорку можно положиться, только неловко мне как-то называть его таким мальчишеским именем, потому что ему уже за тридцать. Но что поделаешь, раз он сам так хочет.

— Будешь называть меня Жоркой, — жестким, грубоватым голосом сказал он, когда мы впервые познакомились и выяснилось, что я буду его учеником. — Попросту, без выкрутасов.

Я улыбнулся про себя: был ты, должно быть, Юргисом, а теперь Жорка — без выкрутасов!..

Мы долго пожимали друг другу руки. Я жал что было сил, на губах у меня, должно быть, застыла этакая веселая самонадеянная улыбка, и чувствовал, что от боли брови у меня лезут на лоб. Наверное, вид у меня был очень смешной, а Жорка мельком взглянул мне в глаза, как бы ища в них на что-то ответ, и отпустил руку. Взгляд — словно выстрел, неожиданный, короткий, из-под густых светлых бровей — и я понял: он зачислил меня в «свои»…

Я уже кончил переодеваться, когда дверь раздевалки заполнила знакомая плечистая фигура в кожанке. Наклонив голову, словно выбирая, куда поставить ногу, легким пружинистым шагом вошел Сильвис.

— Здорово, Мартинас! — протянул он мне широкую, как доска, ладонь. — Прилетел с ветерком, не опаздываю? Как пищеварение?

— Не жалуюсь, — ответил я. — Придумай что-нибудь поновей.

И никогда ведь не спросит, как живешь, например, а все как-нибудь по-особому. Год назад или немного больше Сильвис вернулся с родителями из Бразилии, но, как это ни странно, совсем не разучился там говорить по-литовски. Тонконогий, в коричневой кожаной куртке, он казался намного старше меня, хотя на самом деле мы были почти ровесники. Мягкие светлые волосы, в беспорядке отброшенные назад, никак не вязались с крупными и строгими чертами лица.

— Не в настроении? — Сильвис скорчил кислую мину. — Придет, потерпи до вечера.

Он быстро натянул через голову фуфайку и начал возиться с ботинками.

— Сегодня все как заведенные, только о празднике, — сказал я, обращаясь к его спине.

— А о чем же еще? — согнувшись в три погибели, отозвался он. — Вот черт! Шнурок оборвался!

— Кто их только придумал!

— Праздники или шнурки?

— Праздники, чтоб им неладно было!

— Да ну? — Сильвис поднял голову. — Праздники — штука неплохая. У тебя не найдется шнурка?

— Нет. Не люблю я праздников. Лучше бы их вовсе не было.

— Ха! — только и сказал Сильвис.

— Они никогда не приносят того, что от них ждешь, и слишком уж быстро кончаются.

— Начни по этому поводу дискуссию в газете.

— Все праздники кончаются. И все они таят в себе подлый обман: что-то обещают новое, а ничего в действительности не меняется.

Он покачал головой.

— А при чем тут праздники? Ты настоящий фаталист, Мартинас. Один шотландец каждый понедельник давал себе зарок не пить больше виски. И в самом деле, начинал только со вторника.

— Ради бога, не остри. Я не шотландец и не фаталист.

Мы пошли по цеху. Он еще утопал в тусклых утренних сумерках, только над станками, словно далекие планеты, ярко светились электрические лампочки. Я махнул Сильвису рукой — да не оставят тебя боги! — и отошел в сторону.

Жорка, нагнувшись, рылся в инструменталь-

ном шкафчике, я уже издали видел его грубо отесанный профиль. В уголке рта дымилась вечная папироска, и дым лез в глаза, так как Жорка морщился, словно жуя лимон. Подойдя поближе, я услыхал, что он чертыхается.

— Доброе утро, Жорка.

— Здравствуй. Получил корпусы «Б», чтоб им сквозь землю провалиться вместе с мастером! — и вопросительно посмотрел на меня в ожидании поддержки. Я кивнул — пускай, мол.

Не любила смена своего мастера. Его безбровая постная физиономия, маленькие мутные глазки, бабий пронзительный голос не вызывали симпатий и у меня, хотя о всех его «свинствах» я был наслышан только от других.

Но эти корпусы «Б» — действительно затея от лукавого. Возни с ними уйма, а расценка скудная. Сколько возле них ни топчется нормировщик, сжимая в руке хронометр, а на долю этих корпусов «Б» до сих пор достается больше всего проклятий и злых взглядов.

Глянув на Жорку, я понял, что работать мне сегодня, пожалуй, не придется. Нервными движениями он прикручивал резцы, а под рукавами спецовки сердито вздувались мышцы. Значит, придется послоняться по цеху, но мне не хоте-

лось никуда уходить от бодро гудящего станка. Быстрые и точные движения «мэтра» рождали во мне что-то похожее на апатию, а может быть, чувство спокойствия и уверенности, словно все то главное, что должно было сегодня произойти, уже произошло, и ждать больше нечего. Следя глазами за Жоркиными пальцами, касающимися рычагов станка, я приговаривал про себя: «Так… Теперь вот так… Знаю… Знаю…» Зажимается новая заготовка, танец пальцев начинается сызнова, и теперь уже какой-то внутренний, но чужой голос ровным телевизионным тембром скандирует: «Знаешь, знаешь…» Он будто передразнивает меня. Я мотаю головой, до того противно это его «знаешь».

И вот я уже далеко от цеха, на уроке химии. В руке у меня две пробирки. В одной — «знаю» и «не знаю». Это катализаторы. В другой — запас всех моих слов и понятий. Голова у меня стеклянная, насквозь прозрачная, каждый может подойти и постучать костяшками пальцев, если не верит. Но мне ни до кого нет дела. Осторожно переливаю катализатор во вторую пробирку. Рукой делаю предупредительный знак — посторонитесь, сейчас начнется реакция. «Зачем ты это делаешь?» — спрашивает меня кто-то. «Мне

надоело ждать», — поясняю я. Сухой треск, как будто сломали ветку дерева. Не удалось. Понятия возвращаются на свои места. Я слышу смех, и мне хочется от него удрать. Да, с таким тупым скептицизмом смеются во всем изверившиеся старцы. Однако смеются не старцы, смеются мои одногодки. «Зачем же ты ломаешь себе голову?» — спрашивает кто-то из них, и я машинально глажу свои волосы, покрытый испариной лоб… «Так нужно…» — бормочу я, краснея от стыда, оттого что они все это видели.

…Лампочка нестерпимо режет глаза, я поворачиваю голову и чувствую, как по плечам проходит холодная дрожь. Нет, Жорка не видел, где я только что побывал. Оглядываюсь. Мутные сумерки уже исчезли, сквозь стеклянную крышу сочится дневная синева. Крыша стеклянная, высокая, как в готическом храме, только что нет фресок со святыми, а вместо них — переплетения стальных каркасов…

Но вот и конец рабочего дня. Обе часовые стрелки беспомощно повисли, будто усталые человеческие руки. Я кончил чистить станок, когда вернулся Жорка, уже умытый и переодетый. Сейчас он пойдет заводить свою трещотку — мотороллер, стоящий во дворе.

— Всего хорошего, Жорка.

— Всего, — отозвался он, продолжая, однако, стоять, как бы что-то припоминая.

— Счастливого Нового года! — улыбнулся я.

Смущенный, с отвисшей губой, он провел рукой по волосам.

— Я тоже хотел пожелать тебе… того же, ну, счастливого.

— Спасибо.

— В общем, опрокинь за меня чарочку.

— Непременно.

Он помешкал еще, не зная, что бы сказать подходящего, но, не придумав ничего путного, с преувеличенным вниманием стал всматриваться в висевшие в конце цеха часы, затем пожал мне руку и какой-то неестественной походкой направился к выходу. Я подумал, что, пожалуй, каждый, чувствуя за спиной чей-то взгляд, начинает вести себя как-то иначе, будто силится сбросить неприятную ношу, и прибавляет шаг.

Я пошел в умывалку и застал там еще Сильвиса.

— И он омыл свое грешное тело, — шлепнул я его ладонью по мокрому плечу. Тот, в свою очередь, швырнул в меня пригоршню опилок, которыми оттирал руки.

— Откуда эта цитата?

— Не знаю, — ответил я. — Скорее всего бабушкина…

— У тебя есть бабушка?

— Одно только воспоминание.

— Славная у тебя была бабушка, — сказал он. — С юмором.

— Они все такие. Помню, она все твердила мне, что когда вырасту, я должен стать доктором, а я сразу же начинал реветь, потому что хотел быть моряком.

— А теперь довольствуешься ванной?

— По суше тоже можно плавать, — ответил я шуткой на шутку и стал оттирать опилками руки. Опилки — отличное изобретение, беда только, что после такого мытья кожа на руках становится вроде наждачной бумага.

— Как ты собираешься встретить Новый год? — спросил Сильвис.

— Напьюсь. Представляешь, еще ни разу на праздники не напивался. Разве это не свинство?

— Гениальная идея! — сказал он. — А по-моему, ты опять хитришь.

— Ну ладно, — примирительно пробормотал я. — Буду пить одну минеральную.

Вдруг Сильвис заторопился и схватил поло-

тенце.

— На автобус опаздываю! Ну, бывай здоров, счастливо отпраздновать.

Теперь я понял Жорку. Люди, которые все время проводят вместе и привыкли всем делиться, естественно, чувствуют себя неловко, когда, скажем, на праздники они вдруг обособляются от друзей. Быть может, лучше всего в таких случаях попросить, чтобы за тебя выпили. Разумеется, отплатить нужно тем же.

— Выпей за меня чарочку, — крикнул я вдогонку Сильвису.

— Самую большую, — услыхал я вместе с удаляющимся шлепаньем его босых ног по кафельному полу.

Мне снова стало грустно. Плохо уходить последним. В вестибюле навстречу попалась табельщица.

— Хелло, Марите, — сказал я. — Завтра принесу тебе красных тюльпанов.

— Вот ко-о-мик! — пропела она, моргая подкрашенными ресницами. — Взаправду?

— Почему комик? — вскипел я. — Делай людям добро, а они на тебе — ко-омик!..

— Дай-ка лучше сигаретку и не злись, — шепнула она. — Покурю, пока начальство не видит.

Курила она неумело, слюнявя сигарету, другой рукой смахивая с языка и губ приставший табак (наверное, она не умела плеваться); и оттого, что она не умела ни курить, ни плеваться, ее маленькая кругленькая фигурка, закутанная в синий сатиновый халат, ее толстые ножки и копна крашеных, ржавого цвета волос — все это вызвало у меня что-то похожее на жалость, и я твердым голосом произнес:

— Не кури, детка. Он придет. Он должен прийти. Ты ведь красивая.

— Вот комик!

Я безнадежно развел руками и повернул к выходу.

— А тюльпаны? — догнал меня низкий грудной голос.

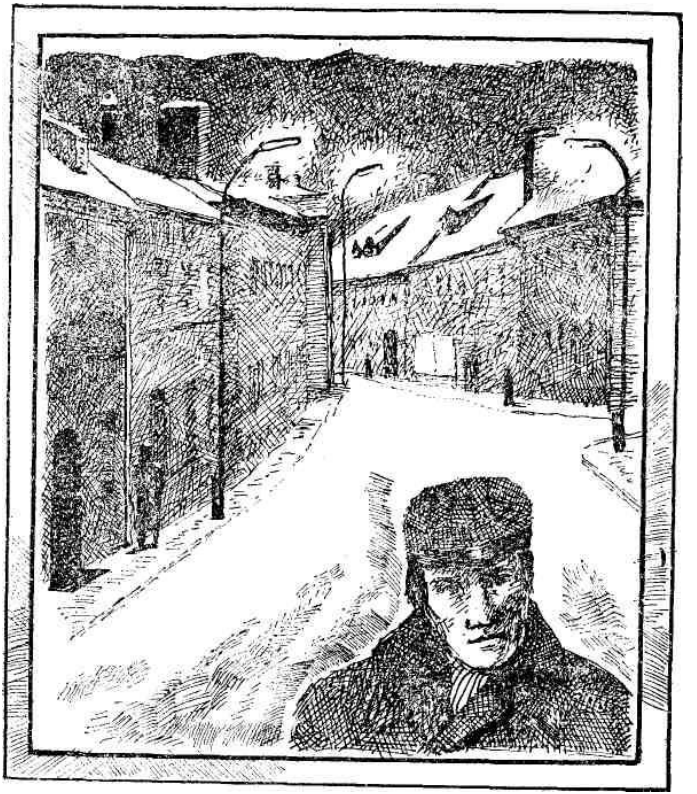
— Будут и тюльпаны, — вздохнул я.

«И какого черта все мы кривляемся!» — подумал я с досадой, выйдя на улицу.

5

Домой я шел пешком. Снежило, и белая снежная крупка, сбираясь под ветром в длинные узкие полосы, неслась по серому уличному асфальту, вихрилась вслед проносящимся машинам и рассыпалась наконец широким, неровным веером. То был первый снег, из которого еще не скатаешь снежка, но все равно снег. Любуясь этим первым зимним нарядом, я замедлил шаг. Начало зимы. Настоящей зимы.

Раньше этого не было, а теперь будто посветлело от побелевших крыш. Первый снег — это время добрых мыслей и больших ожиданий. Я был в этом уверен и подумал, что точно так же думают и все прохожие на улице. Сам не знаю отчего, но мысль эта застряла у меня в голове, она ложилась на язык, и я повторял ее, как пришедший вдруг на память рефрен старой песни. Я повторял ее, как автомат, быстро, не договаривая до конца, пока не услышал за спиной шаги и чей-то голос: «Мартис? Где тебя носит?».



Обернулся. Я никак не могу привыкнуть к тому жестяному имени, которое придумал для меня мой друг Ромас. Однако имя это поразительно быстро привилось среди моих друзей, и я волей-

неволей должен был с ним примириться, хотя мне и казалось, что оно как бы нахлобучивает мне на голову шутовской колпак, из-за которого мне приходится валять дурака и нести всякий вздор.

— Как вижу, ты не торопишься? — пробасил Ромас.

— А я и так поспеваю. Хотя плетусь в караване времени на последнем осле.

Славный парень этот Ромас. Всегда радуется, встречая меня, и делает при этом удивленное лицо: откуда это ты, дружок, свалился? И улыбается широкой лошадиной улыбкой. Тощий, как и я, несколько меланхолического склада, медлительный — еле слово выговорит, но зато лицо его подкупает простодушием. Работает Ромас копировщиком в проектном институте, ходит в тот же одиннадцатый класс вечерней школы, что и я. Одна только беда: любит разыгрывать из себя этакого Чайльд-Гарольда. Последнее время мы виделись редко — куда-то он запропастился, а теперь вдруг выскочил на поверхность, словно чертик из табакерки.

— Послушай-ка, старик, зайдем куда-нибудь выпить чашечку кофе, пока еще публики не навалило, у меня много новостей, — предложил он.

— Ну, выкладывай, что у тебя. Не хочется лезть в этот накуренный сундук.

— Это верно, что ты решил встретить Новый год дома?

— Верно.

— Что-то не верится! — воскликнул он. — Ведь ты обещал! Какая это муха тебя укусила?

— Зимой мухи спят. Встречайте без меня.

— Ну, а завтра? Завтра ты должен быть ровно в семь ноль-ноль на острове. Все наши львы собираются для послепраздничных раздумий. Если ты лев — приходи.

— Это ты организуешь?

Он кивнул и скромно опустил глаза.

— Поражаюсь твоей энергии.

— Не иронизируй, старик. Так придешь?

— Ну, все — так все, — вздохнул я.

Ромас просиял.

— Я всегда в тебя верил, старик, — сказал он. — Если б ты не пришел, это было бы просто свинство.

Едва мать открыла дверь, как мне сразу же бросилась в глаза убранная елка в углу. Не раздеваясь, я подошел ближе и принялся ее разглядывать. Убрана она была теми же игрушками, что и в прошлом году, что и много лет назад. Только

теперь она была намного меньше, чем раньше. Что же, подумал я, ведь это просто свидетельство того, что я вырос… Но игрушки были те же.

— Надо купить новые.

— Почему? — спросила мать. — Разве эти тебе не нравятся?

— Нравятся, — ответил я, — но я все же куплю новые.

Мать ушла на кухню. Я разделся и подошел к зеркалу. Что и говорить, тип не очень-то привлекательный! Руки длиннющие, лицо костлявое. Грубошерстный черный свитер, тяжелые лыжные башмаки — боевое снаряжение! Тип застыл на месте, как бы выжидая чего-то. Настоящий взломщик!

— Приветик, — сказал я ему. — Праздник вроде бы наступил уже, а вы еще небриты… — и пошел в комнату отца.

Отец, разостлав на письменном столе шерстяное одеяло, гладил брюки.

— Добрый вечер, папаша.

— Здравствуй. Как успехи?

— Успехи — понятие весьма относительное. А особенно для ученика токаря.

Отец взглянул на меня и нахмурился.

— Что-то ты последнее время больно уж много

философствуешь.

Я сделал вид, что не расслышал.

— Может, взять твою бритву? Чертовски неприятно ходить с эдакой архаической бородой.

Я уже научился недурно бриться, хотя иные и говорят, что это искусство требует большой сноровки. Но на этот раз мне захотелось непременно порезаться, чтоб все видели, как трудно справиться с моей бородищей. Побрившись, я слегка порезал губу под самым носом и сразу заклеил ранку лоскутком бумаги, который тут же намок от крови. Эффект получился внушительный.

Мать уже накрыла стол и теперь причесывалась перед зеркалом.

Отец вышел в праздничном черном костюме и выглядел помолодевшим лет на пять.

— Гостей не будет? — спросил я.

— Нынче никого не позвали.

Я включил радио, и все уселись за стол.

Я чувствовал, что отец хочет что-то сказать, но медлит.

Мы слушали танцевальную музыку и некоторое время ели молча. Я почувствовал взгляд матери на моих руках. Поднял глаза и удивился: по ее щеке стекала слеза. Правда, руки мои, торчавшие из манжет белой рубашки, вряд ли могли

доставить кому-либо эстетическое наслаждение, но все же, все же…

— Кажется, горчицу забыли, — пробормотал я и, поднявшись, вышел на кухню.

Засунув руки, в карманы, я некоторое время стоял у раковины. Открыл кран и снова закрыл. «Стало быть, праздник, кроме всего прочего, должен нести еще и минорную нагрузку!» — подумал я с досадой. Меня до сих пор поражает, почему это взрослые придают такое большое значение мелочам и забывают о главном — о существе.

Я покачивался на каблуках вперед и назад, вперед и назад и никак не мог справиться с тоской, исподволь заполнявшей душу. А время для поисков горчицы истекало, и надо было возвращаться.

— С завтрашнего дня, — сказал отец, когда я снова уселся за стол, — начинается второй год твоего испытания.

— Г-м, — промычал я. — И я непременно должен сделать «соответствующие выводы».

В глазах отца промелькнуло недовольство, но лицо оставалось торжественным и сосредоточенным.

— Ты все шутишь, Мартинас…

— Разговоры о выводах продолжаются из года в

год, — сказал я. — А я, между прочим, только тем и занят, что делаю «соответствующие выводы».

— Мне кажется, ты слишком разбрасываешься, — вставила мать.

— Разве? — удивился я. — Что-то не замечал…

— Ты никогда не расскажешь про завод, — сказал отец.

— Вы и сами все отлично знаете. Есть там у меня наставник, этакий старый рабочий с седыми висками и глубоким, пристальным взглядом умных глаз. Ну прямо настоящий отец. Хм… Он следит за работой ученика и, как вы понимаете, передает ему свой многолетний опыт. Хм… Знаете, с этакой своеобразной рабочей педагогикой. Есть еще сменный мастер. Тот — настоящий орел. Любит своих рабочих, называет их не иначе как «молодцы» и «золотые руки». «Вот это мастер так мастер! — говорят о нем рабочие. — С таким можно горы свернуть!» И любят своего мастера, и стенгазету свою любят…

Заметив неловкое молчание, я виновато закашлялся и сказал:

— По правде говоря, не совсем так. Это все из вчерашней газеты…

— А как же на самом деле? — спросил отец. — Лучше или хуже?

— Не знаю, — я еще сомневался, рассказывать ли, но потом начал: — Ну вот вам маленькая сценка. Приходит как-то на работу мой наставник. Зовут его Жорка. Лицо помятое. Сразу видно — с похмелья. «Закинь-ка патрон», — буркнул он и присел, чтобы отпереть шкафчик с инструментом. Потом, загнав в уголок рта «Беломорканал», оперся о станок.

«Голова трещит», — осипшим голосом пояснил он.

Я закрутил патрон и включил станок.

«Чего молчишь? — недовольно спросил Жорка и выкатил на меня свои покрасневшие от бессонной ночи глаза. — Будто сам не пьешь!»

«Ведрами!» — отпарировал я.

Жорка осклабился, затянулся дымом и чертыхнулся.

«Дай спички, погасло».

«Нет у меня спичек», — ответил я. Стану я ему еще зажигать папиросы!

Он вздохнул и выплюнул окурок.

«Ладно. Курить и не начинай, не будь дураком. А выпить можно».

Он выключил станок и сунул мне что-то в карман. Это была помятая трешка.

«Все равно делать тебе нечего, — сказал он в

оправдание себе, — будь человеком, сбегай-ка. Опохмелиться надо...»

И, решив, что разговор окончен, снова склонился над станком.

Не зная, как быть, я с добрый час прошатался по территории завода и снова вернулся к станку.

«Принес?» — спросил Жорка сквозь сизое облако пара, висевшее над дымящейся эмульсией.

Я промолчал. Он вопросительно посмотрел на меня, Я помотал головой и вернул ему деньги. Жорка не произнес ни слова. Мы долго молчали, но он под конец не выдержал.

«Так что, может, сердишься?» — его голос срывался от обиды.

«Нет, Жорка», — тихо пробормотал я.

Я мог бы долго еще продолжать свой рассказ. Но вдруг осекся и замолк.

— И это все, что ты можешь нам рассказать? — тихо спросила мать. Она сидела не двигаясь, пока я рассказывал.

— Все. Это было, правда, давно, — быстро прибавил я и опустил голову. Я почувствовал себя неловко, рассказав эту историю. Почувствовал, что меня не поняли. Скорее всего, и мать и отец сочли это неуместной выходкой. Не знаю, что потянуло меня за язык, и мне нисколько не стало

легче оттого, что я рассказал, наоборот, я смутился. Вышло ведь так: смотрите, мол, какой я зрелый и умный…

— Трудно тебе там? — услышал я глухой голос отца.

— Нет, не то! — почти сердито выкрикнул я. — Только мне уже давно не надо делать «соответствующих выводов» за столом.

— Что ж, — сказал отец. — Главное — это жить своим умом.

«Красная площадь…» — услышал я голос диктора. Отец засуетился, откупорил бутылку шампанского и налил бокалы. Торжественно прозвучал бой курантов.

— Валё![14] — невпопад прокричали мы все трое, стоя чокнулись и пожелали друг другу счастья. Отец пригласил мать на танец.

Я налил бокал.

— За твое здоровье, Жорка!

И еще раз:

— За твое, Сильвис!

— Что ты там делаешь? — спросила мать, глядя на меня через отцовское плечо.

— Ничего, — ответил я. И тихо добавил: —

---

[14] Примечания: 14
Валё — ура! *(лит.)*

Маленький спиритический сеанс. Ведь можно поговорить с друзьями?..

Когда отец, станцевав румбу, почувствовал боль в области сердца, а шампанское было выпито до дна, к нам постучали соседи, чтобы поздравить с Новым годом и пожелать всяческих благ. После взаимных поздравлений я сразу же улизнул и закрылся в своей комнате.

За окном еще вспыхивали залпы праздничного фейерверка, и его цветистую россыпь ночь подхватывала белой сетью деревьев. Вот совсем недалеко раскрылся новый букет, и комната озарилась зеленым холодным светом. Я посмотрел на свои руки — они тоже были зелеными.

Я присел на кровать и стал вглядываться в темноту ночи, которую время от времени нарушали лишь эти искусственные звезды. Мне нравится глядеть в темноту, и я могу просиживать так часами. Когда долго смотришь на ветви деревьев, дрожащие за окном, они приобретают самые причудливые формы, медленно начинают уплывать в сторону, а потом снова возвращаются на прежнее место.

Часы на башне музея четко пробили час — бам, и металлический, гудящий звук боя тут же застыл в студеном воздухе. Это было лаконичным

напоминанием о том, что первый час новых радостей, новых забот, а может, разочарований, уже миновал. Для всех.

Один час списан и с моего счета.

Передо мной новый год (правда, за вычетом одного часа). Совершенно пустая анкета, одну графу которой я могу уже заполнить: прошел один час. Только и всего. Итоги пока подводить рано.

Быть может, сейчас кто-то и анализирует дотошно свои ошибки, делает, по словам моего отца, «соответствующие выводы», может, даже осуждает себя (хоть и с опозданием) за разные промахи в прошлом и, умилившись таким покаянием, наконец, засыпает. Он мог бы записать в своей анкете: «я покаялся» в уверенности, что открыл этим новую эру своей жизни.

За окном едва заметно покачиваются белые ветви каштана, их тени ложатся узором в четырехугольном отсвете окна на полу. Я думаю. Мои самые большие надежды — в этой отвлеченной анкете времени, которая лежит теперь передо мной. Наверно, все девятнадцатилетние ожидают больших перемен. Должно быть, это вполне естественно. Это ожидание подогревается и тем, что я уже сделал первые шаги на пути, которым идут все без исключения. В том числе

и мои друзья.

С некоторых пор я почувствовал, что утратил доверие к себе, хотя признаться в этом и было нелегко. Но сделать такое признание заставила меня боязнь утратить нечто более ценное. И все вдруг показалось мне дурацким фарсом, в котором я часто сам разыгрываю какую-то роль. Дальше так нельзя. Поверхностность моих отношений с людьми сделалась нестерпимой. Зачем же скрывать себя? Я думал: как нужен человек, перед которым не надо было бы притворяться, как перед другими, подлаживаясь к их вкусам и взглядам. Так мне было бы легче. Однако, в сущности, это опять означало бы обособление…

И все же огромное расстояние отделяло меня от друзей. Быть может, оно появилось еще тогда, когда мы все собирались на краю старого парка играть в футбол. Играли мы подолгу, а потом, когда уже смеркалось, усталые и проголодавшиеся, отправлялись собирать щавель. Мы разбредались по всему полю, я лежал на животе, уткнувшись носом в траву, и жевал сочные листья щавеля. Тогда я, казалось, забывал все — и друзей, и футбол, и небо, зардевшееся на западе; я жевал щавель, и в этом запутанном мире трав возникали картины моих будущих странствий.

Товарищи иногда расходились по домам, оставив меня в высокой траве, и я возвращался один, выходил на дорогу, где зажигались зеленые огни, и нехотя тащился домой, волоча усталые ноги, свою тень и блекнувшие воспоминания о несостоявшихся путешествиях.

Потом поле засадили деревьями, мы уже не играли в футбол, а затем вдруг обнаружили, что выросли, но остались друзьями.

Вспоминается толстяк Донатас, наш общий любимец. Он работает киномехаником. Перед моими глазами Донатас всегда такой, каким я вижу его на работе: в черном фланелевом халате, он сидит на высоком алюминиевом стульчике. На вид он несколько грубоват, а на самом деле — душа парень. В прошлом году он окончил среднюю школу и теперь собирается уехать.

— Куда? — однажды спросил я его.

— Не знаю. Далеко…

Я удивился, но потом вспомнил, что точно такими же словами я когда-то ответил на его вопрос. Но на сей раз эти слова принадлежали ему — он сохранил их дольше, чем я.

— У жизни есть еще какая-то оборотная сторона, и мне кажется, что я иногда вижу ее. Пугаюсь, втягиваю голову в плечи, но все же хочу познать

ее. Иначе меня будет терзать мысль, что я прозевал нечто очень важное.

Словно заноза, застряли в моей памяти эти его слова. Тогда я окинул взглядом аппаратную, будто что-то потерял, и, попрощавшись, ушел. Девушками он не интересовался, однако к нашей Лайме, в которую мы все были тогда влюблены, он питал какую-то особую склонность.

Лайма в прошлом году поступала в консерваторию, но неудачно.

— Артистки из меня не получится, — решила она. — Обождем до следующей весны…

Она выделялась довольно экстравагантным поведением, была высокого роста, на продолговатом лице постоянно менялось выражение — то высокомерное, то даже чуть нагловатое, а полные яркие губы улыбались иронически и снисходительно. В компании она обычно начинала капризничать.

Но один раз я видел ее другой. Плачущей.

— Какое вам всем до этого дело! — огрызнулась она, когда я поинтересовался, отчего она плачет. — Дай сигарету, если есть.

Закурила, помолчала немного и, вздохнув, сказала:

— И бревно же этот Ромас! Даже целоваться не

умеет по-настоящему… А ты-то умеешь?

— Конечно.

— И вообще, все мужчины свиньи. — Лайма немного выпила в тот вечер, и мне захотелось ей возразить. Но она перебила меня.

— А ты имел когда-нибудь женщину?

— Нет, Лайма, еще не успел, — честно признался я.

— Врешь, Марти, все вы врете.

Сказано это было не зло. Лайма снова задумалась. Я никогда не видел ее такой. Она вызывала во мне любопытство и жалость.

— Это идиотство, когда человек прикидывается дерьмом, не будучи им на самом деле.

Я удивился. Лайма нетерпеливо махнула рукой.

— Это я про себя. Ты не обращай внимания. Я иногда несу всякую чепуху. Ведь я пьяна?..

И тут же приставила свой маленький кулачок к моему лицу.

— Но, черт побери, все это останется между нами и должно быть забыто! Слышишь?!

Я кивнул.

— Ведь Ромас хороший, правда? — спросила она вдруг.

— О, он бесподобен.

— Отчего это, Марти, мы всегда мечтаем о том, что для нас недоступно? Или хотим видеть в другом черты, которых не хватает нам самим?

— Не знаю. Я сам многого не знаю.

Больше Лайма меня не расспрашивала.

Но такой я ее видел всего лишь один раз.

Когда мне хочется вспомнить лица друзей, я всегда вижу одни только желтые пятна, а когда стараюсь разглядеть отдельные черты, то они хоть и выступают отчетливей, но искажаются до неузнаваемости…

Генрикас носил волосы на пробор. Волосы были короткие, неопределенного песочного цвета, аккуратно зачесанные набок. Под ними покатый лоб с ложбинкой посередине. Брови, темнее, чем волосы, были прямые, как две черточки, отделяющие лоб от остального лица. Острый и тонкий нос как-то неожиданно выделялся среди других черт лица — мягких и рыхлых. Только нижняя челюсть, выдвинутая вперед, придавала лицу энергичное выражение.

Я не любил Генрикаса, потому что он был склонен прихвастнуть, рассказывая о своих похождениях. Он был самый старший из нас, мечтал стать кинорежиссером и работал на фабрике худруком.

Мы собирались у Ромаса, который окрестил нас львами, борющимися с повседневностью и примитивом. Тут начинались нескончаемые дискуссии. Однако кто знает, была ли это действительно борьба или бегство…

Музейные куранты пробили дважды, словно античный воин ударил мечом о медный щит. Время.

Время искать себя среди множества вещей, людей и событий. Время подавить ту тревогу, которую возбуждает грядущая, большая и новая ответственность.

6

С утра — отлив, надо разобраться, вчера я много думал, жаль, если все это пойдет насмарку, ухватись, ухватись за нить мыслей (а были ли они вообще?), ты должен подтвердить это сам, своим собственным поведением. И я подтверждаю, до самого обеда, а после обеда — апатия. Не слишком ли большая роскошь апатия? Увидим, увидим, до ужина придумаем что-нибудь другое.

Мне вздумалось полакомиться снегом. Сгреб его с подоконника, мягкий, пушистый, и кладу в рот. Совсем как в детстве. Много его намело за ночь, я и не заметил, когда начало и когда, кончило мести.

Я повязал уже галстук. Пора «плыть на остров».

«Остров» — это кафе, в котором собираются мои товарищи. Сегодня туда должен пожаловать и я; вчера они праздновали у Ромаса, наверно, было весело, сегодня — разговоров не оберешься.

Войдя в кафе, я сразу же убедился, что за пестрая фауна здесь собралась. Из раздевалки хорошо просматривался весь зал за стеклянной дверью, и я тотчас отыскал там моих друзей. Они сидели в

углу, у окна, и когда я пробирался менаду столиками, Генрикас первый заметил меня, театральным жестом он вскинул руки над головой и крикнул:

— Мое почтение положительным персонажам!

Товарищи обернулись ко мне. Только теперь я заметил рядом с Генрикасом незнакомую девушку.

— Познакомься, — кивнул он в ее сторону. — Это Юдита, короче — Дита. Иначе говоря, новое действующее лицо на сцене.

Он нагнулся к моему уху и добавил:

— Не девочка, а шедевр…

— Не говори так, — вспыхнула она.

Меня удивили теплота ее голоса и ее лицо. Детский овал, смущенная улыбка, дрожащая на губах, темные и ровные, по-мальчишески стриженные волосы, которые еще больше оттеняли белизну лица. Тонкая шея и покатые плечи, обтянутые голубоватым джемпером.

— Очень приятно, — пробормотал я и подал руку. — Мартинас. С Новым годом!

Перездоровавшись со всеми, я сел на свободный стул между Донатасом и Лаймой.

— Нехорошо опаздывать, — медленно произнес Донатас, помешивая ложечкой кофе.

— Теперь это модно, — ответил я. — Ну как,

весело было вчера у Ромаса?

— Как кому… — протянул тот.

— А ты еще в роли толстяка-отшельника? Пропадаешь, брат!

Он невесело, улыбнулся, пожал, плечами и ничего не ответил.

— Давно тебя не видала, Мартис, — сказала Лайма. — Но ты нисколько не изменился. Не правда ли, Ромас?

Губы у Лаймы ярко накрашены, она в черном платье с закрытой шеей. На плечи спадают длинные золотые волосы — гордость нашей компании.

— Да так уж повелось, что мы ищем перемен там, где они меньше всего могут быть, — ответил я вместо Ромаса.

— Я же говорил, что он придет! — не сдержался Ромас. — Я всегда верил в тебя, старина!

— Что будем пить? — спросил Генрикас.

— Кто что, — ответил Донатас. — Полная демократия.

— Нет, — запротестовал Ромас. — Сегодня такой день, что все должны приложиться.

Договорились, к чему будем «прикладываться», взяли также кофе с бисквитом. Я попросил еще компот из абрикосов.

Юдита тем временем сидела, чуть склонив голову, сложив руки на коленях и несмело оглядываясь вокруг. Я понял, что со всеми, кроме меня, она уже знакома.

Генрикас отошел к стойке бара, мне захотелось курить, и я последовал за ним.

— Послушай, — сказал я, — я что-то не разберусь. Виноват, отстал от жизни. Кто это?

Он довольно усмехнулся.

— Что ж, могу дать краткую биографическую справку: матери у нее нет, живет с отцом, старик ее очень любит, в этом году она окончила музыкальную школу. Удовлетворяет тебя моя информация?

— Не очень. Ну да более исчерпывающую я постараюсь получить сам.

Мы вернулись к столику. На эстраде собирался джаз.

— Чего ты такой кислый? — спросил я Донатаса.

— Пустяки, — поморщился он. — Летом куплю себе спиннинг, и все будет хорошо.

Генрикас уже рассказывал какую-то историю, но начала ее я не слышал:

— …пили мы под лозунгом «Будем сильнее самих себя». Вылакали пару бутылок. Потом

встретили еще несколько дружков. Те тоже заказали. Мы все ликвидировали. Интересный получился там у меня диалог с одной женщиной, но я не очень-то уж и помню. Потом…

Я не стал больше слушать. Его рассказы о выпитых бутылках порядком уже мне надоели. Я посмотрел на Диту. Она разглядывала свои руки, сложенные на коленях, и было неясно, слушает она Генрикаса или о чем-то думает.

Заиграла музыка, я пригласил Юдиту. Танцевала она легко и на редкость ритмично, ровное ее дыхание ласкало мне шею, а у меня никак не поворачивался язык, чтобы начать разговор.

— Вы любите танцевать? — начала она первая.

— По правде говоря, нет. Ни танцев, ни разговоров о них. Да и танцевать-то я почти что не умею.

— Нет, вы хорошо танцуете, — сказала она уверенно, но я не видел ее глаз.

— Неправда. Во время танцев мне всегда хочется расстегнуть воротничок и положить галстук в карман.

— Оригинальное желание.

— Генрикас тоже оригинал, не правда ли?

Она промолчала.

— Вообще же я рад, что вы попали в нашу ком-

панию.

— Почему?

— Мы посадим вас на высокий стул у бара, будем поливать вином и кофе, и из вас вырастет такой цветок, что ого-го!

— Пугаете? — усмехнулась она и откинула голову.

— Шучу, — ответил я, но в голосе предательски прозвучала невеселая нотка.

Танец кончился, и мы вернулись к столу.

Донатас поднял бокал.

— Выпьем за пополнение армии новыми кадрами.

— Ты хотел сказать — армии львов? — вмешался Ромас.

— Нет, я имею в виду нашу, советскую.

— Что за идея? — брови Генрикаса полезли на лоб.

— Вчера я был в военкомате. Придется идти служить.

— Когда? — всполошилась Лайма.

— Пока не знаю. Но, должно быть, ждать уже недолго.

— Так вот отчего ты такой кислый? — сказал я.

— Ни черта я не кислый. Подходит время, и надо идти. И я нисколько не переживаю из-за

этого. И сочувствия мне тоже не требуется.

— А как со спиннингом? — тихо спросил я Донатаса.

— Не знаю, — протянул он.

— Правильно, — согласился с ним Генрикас. — Мы ничего ведь не знаем о своем социальном назначении. На этом свете рождаются и солдаты и кутилы. Не унывай, старик, мы будем вместе с тобой до тринадцатого удара и понесем твой чемодан. Выпьем!

Помню, ты учил меня рыбачить, Донатас, однако рыбака из меня не получилось. Мы терпеливо высиживали на бревнах причала, ты сосредоточенно закидывал удочку, а мне все что-то не везло, и я, потеряв терпение, обычно сторожил наши детские сандалии и банку с червями. А вот ты был настоящим рыбаком — спокойный, терпеливый, мне же оставалось только сторожить банку с червями; теперь ты опять впереди нас, и мы лишь понесем твой чемодан. Ты был терпелив и выносли́в, как индеец, когда ловил рыбу в рыжей воде у причала, таким же ты остался и после, когда до крови разбивал себе колени и локти, защищая ворота на Щавелевом поле. Мы не всегда замечали тебя, хотя ты постоянно был с нами, но, прости меня, Донатас, часто ведь не

замечают тех, кто идет впереди…

— Ну-ка, Ромас, старый боевой клич! — предложил Генрикас.

— Потонем же, братцы, в серятине, — пробубнил Ромас.

— За то, чтобы не потонуть в серятине! — поднял бокал Генрикас.

Подняли и мы. Юдита окинула нас удивленным взглядом и опустила глаза.

— Почему ты не пьешь, Дита? — склонившись к ее плечу, спросил Генрикас.

— Я не знаю, что вы называете «серятиной»… — виновато сказала она.

— Это когда мы начинаем зависеть от вещей, — спокойно пояснил Генрикас. — Ну, представь себе, Дита, ты принимаешь какое-нибудь решение. Одно из многих. Хотя человек, делая выбор, тем самым отказывается от одного или многих других возможных решений. Значит, это равносильно потере возможностей. Но так приходится делать. Ты будешь вариться в одном котле, скажем, с фасолью, другие — в котле с горохом. Словом, мы все попадаем в суп. Придется покупать диван-кровать, торшер, секции, а дальше — полная зависимость от вещей. Ты слышишь меня, Дита?

— Слышу, — ответила она. — Но в этой «серятине», как вы это называете, есть и свои радости, надо их только найти. Больших радостей в жизни не так уж много, поэтому не надо отказываться от маленьких радостей, которые дарит нам каждый день. И от тех, которые нам дарят люди. Надо ценить и беречь их. Маленькие радости можно найти везде и всегда, только надо уметь их видеть. Тогда и не будет «серятины».

Мы слушали.

— Продолжай, Дита, — попросил я.

— Это и все, — улыбнулась она. — Это совсем просто.

— Нет, это не просто… Это очень важно, — пробормотал я, внимательно следя за ее лицом.

— Маленькие радости в серятине? — усомнился Ромас. — Так ли уж это ново? Да это же тоска, братцы! И все же давайте выпьем за маленькие радости.

Мы выпили, я посмотрел на Донатаса. Тот снова погрузился в свои мысли. Почувствовав мой взгляд, он засуетился и повернул ко мне свою остриженную ежиком голову.

— Терпеть не могу суббот и воскресений, — как бы оправдываясь, медленно заговорил он. — Они забивают меня, словно бильярдный шар в лузу…

— Вот именно, — согласился я. — У меня такое же ощущение.

Он немного оживился.

— После того как был введен семичасовой рабочий день, оказалось, что многие просто не умеют использовать свой досуг, даже побаиваются его. Досуг нужно посвящать общению с людьми. Это, по-моему, самая большая ценность. Иные и понимают это, но поступают как раз наоборот. Замкнутый круг людей, общение только с ними, а потом вдруг ни с того ни с сего — чувство одиночества. Многие даже не могут отличить скуки от одиночества.

— Нам это не угрожает, мы общаемся, «выплываем на остров», — с иронией заметил я.

— Ха! — впервые за весь вечер рассмеялся Донатас. — Собираемся как бы для того, чтобы пококетничать друг перед другом. Роли распределены, сами знаем, что это игра, но стараемся об этом не думать.

— Меня тоже не покидает ощущение какой-то искусственности наших отношений, — признался я.

Я доедал свой абрикосовый компот, когда Донатас поднялся.

— Мне пора, — коротко объявил он.

— Тут послышался финальный свисток судьи, — невесело произнес Генрикас.

— И мне пора, — сказал я вставая.

— Вы нас предаете? — удивилась Лайма.

— Завтра рано вставать, — пояснил я.

— Ну ладно, — махнул рукой Генрикас. — Мы остаемся. Спокойной ночи.

— До свидания, — сказал я, посмотрев на Юдиту. Она опустила голову.

На дворе была оттепель. Капало с крыш.

— А мне ее жаль, — сказал Донатас, шагая рядом со мной. Я понял его, но все же спросил:

— Почему?

Он пытливо посмотрел мне в глаза.

— Ты и сам знаешь.

Я молчал.

— Нам надо поговорить, — добавил он. — Приходи в аппаратную, когда сможешь.

— Приду. Непременно.

— Спокойной ночи, — и, пожав мне руку, Донатас свернул в переулок.

В моих ушах все еще звучал мягкий голос Диты. Маленькие радости. Неужели в этом ответ на то, что меня сейчас больше всего мучает? Нет, слишком уж это просто. Надо еще встретиться и поговорить.

Дул теплый ветерок, принося знакомый фабричный запах дыма. Под ногами чавкал талый снег. Ступай, Мартинас, домой, ступай, если хочешь перехитрить свой старый будильник…

7

Двадцать четвертое января.

Лондон. 24 января в Лондоне в возрасте 90 лет скончался Уинстон Черчилль.

Париж. 24 января. На аэродроме Корбэ (департамент Изер) разбился реактивный самолет Т-33. Два пилота погибли. Самолет, который базировался на военной базе в Туре, упал на ангар. Во время возникшего пожара сгорело 5 самолетов и 6 планеров.

Вашингтон. 24 января. Помощник государственного секретаря США по делам Дальнего Востока Вильям Банди произнес в Вашингтоне большую речь о политике США в Южном Вьетнаме. По словам Банди, политическое положение в Южном Вьетнаме «в настоящее время критическое».

Браззавиль. 24 января. Подписано соглашение между республикой Конго (Браззавиль) и СССР о культурном сотрудничестве.

Двадцать четвертого января я стал рабочим.

Стал рабочим.

Токарем.

А по дороге домой мне казалось, что я бесконечно стар. Как моя профессия, как мое имя. Как

городские камни.

Все было очень просто. Я долго стоял в полутемном узком коридоре, заставленном рассохшимися шкафами без дверец. В конце коридора, за небольшим окном, белел наш цех, заключавший в своих стенах гул станков, запахи машинного масла, металла и пота. Я думал, что, пожалуй, слишком уж долго стою в этом затхлом коридоре, ну, не сегодня, так завтра — успею. И тут меня сразу же вызвали. Странно, в моей памяти сохранился только этот полутемный коридор с набитыми бумагой шкафами, всего остального словно и не было. А ведь был, я это знаю, и пожилой рабочий с кинематографическими морщинами под глазами и вокруг рта — «следы ночных смен», были и другие члены комиссии, были и вопросы, и я чувствовал себя как первоклассник, вызванный к доске. Все мы превращаемся в первоклассников, когда сталкиваемся с чем-то новым, непривычным, хотя и долгожданным, — словом, перед началом чего-то нового. Но если это начало имеет свое продолжение, оно почти всегда забывается. Было еще «надеемся, вы оправдаете доверие», «могут быть и трудности», а под конец — счастье скатиться вниз по лестнице и глотнуть свежего воздуха. Войдя в цех, я разыскал Жорку. Тот уже

кончил работу и чистил станок.

— Уже?

— Ага.

Жорка подал масленку и попросил:

— Полей-ка на руки.

Он долго тер их, потом спросил:

— С завтрашнего дня будешь работать самостоятельно?

— Наверное, — я и сам не знаю, отчего мой ответ прозвучал так вяло.

— С тебя пол-литра.

Я согласился. Ближе всего было сходить в ресторан на вокзале. Жорка выпил две рюмки и помрачнел.

— Не думай, не будет ни пирогов, ни пышек. И мастер еще заставит тебя поплясать. Если что, айда ко мне, помогу. Можешь взять у меня один инструментальный шкафчик, он почти пустой.

— Спасибо, Жорка, — поблагодарил я. Инструментальный шкафчик — большое дело для начинающего.

Он старательно вытер рот бумажной салфеткой и закурил.

— Ты хорошо работал со мной. Продолжай в том же духе. Придется — разорвись пополам, а сделай.

Я вслушивался в его слова, стараясь проверить, слышу ли я их впервые. Должно быть, нет. Припомнились совсем другие слова: «Принимая какое-либо решение, ты тем самым отказываешься от другого или нескольких возможных решений, и не всегда окончательное бывает единственно верным. Это равносильно потере возможностей…»

Я сильно тряхнул головой. Чепуха! Неужели люди всю жизнь только и делают, что стараются для максимального количества вещей найти их настоящее место. Включая и себя, если человек сам успел превратиться в вещь. Я кивнул в знак согласия и чуть заплетающимся языком проговорил:

— Жорка… я рабочий?..

И снова вслушался, желая убедиться, действительно ли это так.

8

Совершенно неожиданно я встретил на лыжной базе Диту, она была одна в большой холодной комнате. Присев на корточки у печки, она грела башмаки и задумчиво глядела в огонь. Лицо ее раскраснелось от огня, глаза были прищурены, а руки, в которых она держала громоздкие башмаки, вытянуты вперед, как у танцовщицы. К стене были прислонены пара лыж и палки, в углу на вешалке висело ее зеленоватое пальто, а пояс валялся на полу.

Я нагнулся и поднял пояс. Она обернулась, увидела меня и встала, все еще держа в руках башмаки.

— Здравствуй, Дита, — сказал я. — Что это за языческий обряд?

— Башмаки так промерзли, что ноги совсем закоченели, — улыбнулась она.

— А где Генрикас?

— Он не любит кататься на лыжах, — и улыбка исчезла с ее лица. — Сегодня отличная погода, правда?

— Я начинаю верить в телепатию. По дороге сюда я думал о тебе и вот — встретились. Что это,

судьба? А может, одна из нежданных маленьких радостей?

— Ты не забыл еще?

— Нет. — И повесил ее пояс.

— Башмаки уже согрелись, — прибавила она. — Ты любишь кататься один?

— Да, — признался я. — Но это не значит, что мы тут же пожмем друг другу руки и пожелаем не сломать ногу.

— Ну конечно, — рассмеялась Дита.

Я подошел к окошку и обратился к старичку с лицом мыслителя:

— Мне только лыжи, ботинок не надо.

Я радовался, что так неожиданно встретил Диту и что представился отличный случай побеседовать наедине. Когда мы вышли из базы, снег дымился и горел в лучах солнца. Его кристаллический блеск слепил глаза. Вдали виднелась белокрышая стена леса, а здесь, по взгорьям, рассыпались молодые елочки. Тяжеленные снежные гроздья пригибали их нежные ветви.

— Им, должно быть, тяжело, — показал я лыжной палкой на елки.

— Они знают, что это красиво, потому и не чувствуют никакой тяжести.

— Ты права, — пошутил я, — ведь они тоже

девушки…

Она ничего не ответила, оттолкнулась палками и пустилась с горы. Я немного обождал и понесся вслед. Мы долго катались. Когда, осыпая с ветвей снег, мы взлетели на другой холм и остановились, я увидел, что лицо Диты помрачнело.

— Ты отлично съехала с горы! — заметил я, не понимая внезапной перемены ее настроения.

— А ведь и людей тяготит их поза, — неожиданно сказала она.

Я на минуту задумался. Наблюдая за тем, как она палкой ковыряет пушистый снег, я никак не мог понять, относит ли она и меня к этим людям или же только высказала общую мысль. Ветер безжалостно обтачивал мои уши, они, наверное, горели, и поэтому я не боялся, что Дита заметит, как я покраснел. Дурацкое свойство — если кто-нибудь ненароком задевает меня за больное место, я сразу же краснею. И все же я решился обезоружить ее.

— Можно подумать, что каждый человек выбирает себе какую-то позу, которая кажется ему наиболее подходящей.

Дита перестала ковырять снег и решительно посмотрела на меня.

— Есть люди, которым поза просто не нужна.

Это смелые, сильные люди. Но у большинства обычно даже две позы, одна — вроде повседневной одежды, с которой редко расстаются, другая — для торжественных случаев. Что, смешно рассуждаю? — она неуверенно рассмеялась.

— Позу можно разглядеть только в том случае, если знаешь подлинное «я» человека, так сказать, в его чистом виде, а то легко ошибиться и принять привычную позу за естество.

— Нет, нет! — воскликнула Дита. — Вот ты теперь горячо мне доказываешь, и я знаю, что это не поза. И совсем нетрудно разглядеть, где поза и где нет.

— О-о! — вздохнул я. — Дал бы мне бог такую способность… Но я, пожалуй, склонен оправдать позу, если это только маскировка страдания или страха. Не всегда надо плакать, когда хочется прослезиться.

— Значит, нет ничего настоящего?

— Почему же? — я смутился, потому что не ожидал такого прямого вопроса. — Когда человек вышел из пещеры, он прикрывал свою наготу одеждой из листьев. А теперь… хм… хм… в нашу эпоху, мне кажется, и для чувств пригодилась бы какая-нибудь одежонка.

— Надо, чтобы люди всегда были естественны-

ми. Надо ведь?

— Надо… Однако бывают и минуты слабости, а я, скажем, вовсе не хочу показывать это другим, потому что сразу же найдутся субъекты, которые вызовутся направить тебя на путь истинный. Это что, поза или только страх?

— Страх? — удивилась она, но сразу же ее брови снова выпрямились. На лице не осталось больше прежнего выражения заинтересованности, по-видимому, ею завладела уже какая-то новая мысль.

— Мне кажется, что Генрикас все время чего-то боится и только старается этого не показывать…

Она сказала это тихо, с плохо скрытым волнением, я же смотрел на ее горящие губы, ожидая, когда они снова раскроются для слов, заботливо согреют их теплым дыханием.

— Все мы боимся, — сказал я. — Все.

— Чего же? — В ее вопросе было и удивление, и досада, и испуг.

— Мы боимся ошибок. Боимся заблуждений. Не хотим втискивать свою жизнь в стандартные коробочки! Нас страшит повседневная серость, примитивное течение жизни. А примеров кругом достаточно! — Я заметил, что повысил голос почти до крика.

Она смотрела на меня растерянная и удивленная.

— Ладно, хватит этих разговоров, — сказал я и улыбнулся, чтобы ободрить Диту. — Может быть, самая верная — это твоя теория маленьких радостей, — добавил я с горечью.

— А ты тоже боишься?

— Боюсь, что меня разбудит будильник.

— Только и всего?

— Разве этого мало?

Она не ответила.

— Взберемся-ка на самую высокую гору, — предложила она и показала рукой на склон со следами зайца на снегу.

— На самую верхушку? До конца?

— Ага…

Мы начали взбираться наверх, но вскоре я остановился.

— Дита! — крикнул я. — А когда мы стали говорить друг другу ты?

— Не помню, — рассмеялась она. — Я даже не заметила…

Возвращались уже вечером. Дома — как аквариумы.

— Покажи мне окно твоей комнаты, Дита, — попросил я.

— А вот и не покажу.

Я приблизился к ней на шаг.

— Очень тебя прошу…

— Ну вот, — нехотя подняла она руку в узорчатой вязаной варежке. — Куда ты смотришь? Не там.

И засмеялась.

— Вон! — крикнула она, откинув голову, — на третьем этаже.

Ее волосы на мгновение коснулись моего лица, а шарфик, соскользнув в сторону, обнажил ослепительно белую шею.

— Да, — глухо произнес я. — На третьем этаже…

И губами осторожно дотронулся до ее теплого виска.

Дита внезапно повернулась, прислонилась к стене и пытливо заглянула мне в глаза. Потом, как бы с трудом проглотив что-то, долго молчала.

— Мне пора, — неожиданно услышал я.

— Уже?

— Спокойной ночи, — Дита печально улыбнулась и исчезла в темном подъезде.

9

Жорка оказался прав: начинать было нелегко. Станок мне достался в самом конце цеха, старый, как заезженная кобыла. Ничего не поделаешь — таков жестокий закон для новичков. Собрать недостающие инструменты помогли Сильвис и Жорка. Но тут же выяснилось, что работать только в первую смену мне не удастся — не было свободных станков. Во вторую же я не мог работать потому, что надо было посещать вечернюю школу. Однако мастер сделал рыцарский жест: позволил мне одному работать в ночную смену, хотя наш участок работал лишь в первые две. При этом он не упустил заметить, что нарушает инструкцию. И ночная смена жесткой рукой схватила меня за шиворот.

Наш участок был из отстающих. Большие партии сложных деталей сменный мастер давал старым рабочим — «асам», как мы их с Сильвисом называли, и те «нажимали», как дьяволы, перевыполняя свои задания. Однако участок тем не менее сдавал продукцию с опозданиями: «асы» не успевали, а молодым мастер не доверял. Хотя он и потакал «асам», которые «вывозили»

план, он все же не пользовался у них популярностью. Он терпеливо сносил колкости и издевки, а на производственных совещаниях, театрально жестикулируя, плакался по поводу низкой, по его словам, квалификации молодых рабочих. И опять все начиналось сначала — сказка про белого бычка.

Мастер, как и следовало ожидать, давал мне на обработку самые простые детали, и притом небольшими партиями. Когда я однажды не очень уверенно попытался запротестовать, он оборвал меня:

— Потерпите. Всему свое время.

А время шло. Начались мои первые неудачи.

Словно кто-то одним движением руки смахнул ночную сажу со стеклянной крыши над головой — так внезапно она посветлела. Это означало конец смены.

Длинные стержни из нержавеющей стали с трудом поддавались резке. Вот и опять — сухой треск, несколько ярких искр…

— Э, черт!..

Вставляю новый резец, увеличиваю число оборотов. Открываю краник от бачка с эмульсией. Теплая жирная пена брызжет прямо в лицо. Резец медленно продвигается вперед. Слишком

медленно.

Большая стрелка часов снова дрогнула и остановилась на шестерке. Надо спешить.

Я еще прибавляю число оборотов. И вдруг от оглушительного треска у меня на секунду помутилось сознание.

Длинный стальной стержень согнулся от слишком быстрых оборотов и со страшной силой врезался в инструментальный шкафчик. Неловко выключив станок, я почувствовал неодолимое желание сесть. Облизал потрескавшиеся губы и поднял тяжелую крышку станка. Изнутри пахнуло парами перегретого масла. Две зубчатки перекидного блока порядочно обкрошились. Я захлопнул крышку и оперся о станок.

«Сейчас люди спят, — подумалось вдруг, — и не морочат себе голову выбором пути. Ходят теми же маленькими дорожками. И все зубчатки остаются целы…»

Рядом со мной вырос какой-то незнакомый востроносый парень.

— Что ты наделал, пижон? — спросил он таким тоном, точно сказал: «Добрый вечер». Он был в синей спецовке и синем берете. Из нагрудного кармана торчали пачка сигарет и штангенциркуль.

Я только махнул рукой. Он поднял крышку.

— Ничего страшного.

— Не твое дело, — отрезал я. — Не суй нос куда не следует!

Он взглянул на меня усталыми глазами, покачал головой и ткнул себя пару раз пальцем в висок.

«Люди сейчас спят, — снова подумал я, — и никакие зубчатки у них не крошатся…»

— Не надо спать у станка, — услышал я его флегматичный голос.

— Поди ты к чертям, — незло сказал я. — Не хватало мне твоих поучений!

Он и внимания не обратил на мои слова.

— С полчасика работы — и все, — заключил он.

— Как это все?

— Все, — повторил он. — Можешь отправляться домой. Осталось двадцать минут. Ты тут все равно ничего не сделаешь. Я сам исправлю. Напрасно ты только раскис.

— Нет, я останусь, — поспешно, запинаясь, сказал я, — быстрее будет…

Она была дубликатом Бриджит Бардо. С бессмысленными рыбьими глазами и тонким претенциозным носом.

— Вы, кажется, комсомолец? — певучим голо-

сом спросила она.

Я опустил рычаг и остановил станок.

— Не кажется, а так и есть.

Она протянула маленькую ручку и улыбнулась.

— Будем знакомы. Илона, секретарь цеховой комсомольской организации.

Я боязливо посмотрел на ее чистую руку и протянул ей свою, обтерев предварительно о брюки.

— Очень приятно, Мартинас.

— Вы, кажется, недавно работаете у нас, да? И посещаете вечернюю школу?

— Да.

— Каких-нибудь жалоб или пожеланий у вас нет?

— Хм… Вы же не врач и не заведующая столовой.

— Да, — она несколько смутилась, — но мы обязаны заботиться о молодых рабочих.

— Мне бы вот только в первую смену. Выпускные экзамены на носу.

Ее личико изобразило сожаление.

— Увы, это не в нашей компетенции… Обратитесь к своему мастеру.

— Вы очень заботливы.

— Это наш долг.

— И вы всегда не в силах помочь?

— Наивный вопрос. Вы забываете, что это производство, что есть план.

— Стало быть, вы приходите только для того, чтобы успокоить свою комсомольскую совесть?

— Может, мы и сможем чем-нибудь помочь. В будущем…

— И вы сможете спокойно спать?

— Смеетесь?

— Каждую ночь, когда вам будут сниться ваши планы и отчеты, я стану превращаться в огромный вопросительный знак.

— Вы так думаете?

— До свидания, — сказал я и включил станок.

Я пошел к Сильвису.

— Без работы? — спросил он.

— Нету кладовщицы.

Сильвис чертыхнулся.

— Она всегда так. Если появится через час, радуйся. Лучше пойди погуляй по двору.

Но я пошел в контору. Мастер сидел за столом и что-то писал.

— Я не могу работать, — сказал я и положил чертеж на стол.

Мастер ничего не ответил. Его перо фиолетовыми чернилами быстро выводило буквы.

Чернильные пятна были и на столе, и на полу.

— Ну и не работайте, — пробормотал он, не поднимая головы. — Обождите.

— Но я же должен работать.

Мастер нахмурился.

— Не мешайте. Видите ведь — я занят.

Мгновение, и мои пальцы сжались в кулак. Чертовски хотелось хватить его по тупой физиономии, но я взял чертеж и вышел во двор. Взобрался на деревянный ящик контейнера и закурил.

Все эти дни окончательно перепутались в моей памяти. Сколько же прошло времени — неделя, месяц… Никак не могу сообразить.

Тает снег, в порывах ветра уже чуешь запах сырой древесной коры и земли. Скоро весна. И чертовски грустно. Меня спрашивают: «Как дела?» А как я могу отвечать людям «спасибо, неплохо», когда мне так не везет?

Прошел час.

Вернувшись назад, я увидел кладовщицу, медленно плетущуюся вдоль стены цеха. Я обождал, пока она подойдет ближе, и ногтем постучал о циферблат своих часов.

— Может, пора уже открыть склад? — вежливо осведомился я.

— Молокосос! — бросила она.

— Как, по вашему мнению, должен я работать или нет? — спросил я, сдерживая закипавшую злобу.

— Чего пристаете? На минутку вышла, а он уже скандал поднимает!

— Если это у вас только минутка, то лучше вообще не выходите на работу.

Она отперла склад, я ей подал чертеж с заданием.

— Нахал! — плаксиво сказала она. — Молоко на губах не обсохло.

— Шумите? — раздраженным фальцетом спросил мастер, вперив в меня свои бесцветные глаза. — Не успели ноги согреть, а уже командуете!..

— Заткнись! — крикнул подоспевший вдруг Жорка. — Не валяй дурака! Все знают, что Яня вечно гастролирует в рабочее время… А ты не скули… — повернулся он к Яне. — Нечего тут…

10

Конец месяца — и токари снова сидят на венских стульях вдоль конторских стен. В углу сижу и я, слушаю негладкую, канцелярскую речь начальника цеха. Наш мастер тоже скромно подсел к начальнику и с видом мученика качает головой в такт.

«Мартинас Граужис… Граужис. Тут он?»

Только услышав свое имя, я поднял голову на говорившего. Что, не выполнил план? Ясно, понятно… Однако как же я мог выполнить, если…

Начальник цеха облизнул губы и, почесывая металлической линейкой в затылке, сказал:

— Надо серьезнее относиться к работе, молодой человек.

Это было сказано таким вялым, тягучим голосом, точно ничего другого от меня и нельзя было ожидать. Никто не сердился, не удивлялся. Я молчал, покраснев от стыда, утратив способность раскрыть рот и выдавить из себя хоть единое слово в свое оправдание. А еще думал, спросят — почему? Я смогу все объяснить… Обождите, да разве же так можно?

Но разговор уже шел о других.

«Принимается подписка…» — прочел я в витрине. Еще раз окинул взглядом обложки книг и украдкой заглянул внутрь книжного магазина. Мать с профессиональной улыбкой сказала что-то пожилому мужчине, потом сняла с полки объемистый том, завернула его в бумагу, перевязала и подала сгорбленному подписчику. Тот зашевелил губами, выражая свою благодарность, и поспешно вышел из магазина, словно боясь, как бы кто-нибудь не отнял его клад. Тогда только я решился войти. Я редко навещал мать на работе, и, видимо, поэтому она встретила меня настороженным взглядом.

— Здравствуй, мама, — сказал я, оглядываясь по сторонам. — Здесь очень уютно. Тишина, спокойствие, книги. Много времени для размышлений…

— Дома еще не был? — спросила мать.

— Нет, я прямо с работы, — я потоптался на месте, потом порылся в кармане.

— Это зарплата. Ты не удивляйся, что так мало. В другой раз получу больше. Мне дьявольски не везло этот месяц…

— Это совсем не мало, — возразила мать, и вдруг мне показалось, что это не ее голос, а голос книг на стеллажах. — Спасибо, Мартинас.

Она неловко обеими руками взяла мое лицо и поцеловала. Я повернулся и бегом бросился из магазина.

Прошатавшись допоздна по улицам, я тихонько, как тень, вернулся домой и улегся. Заснуть я не мог. Всю ночь одинокий карандаш, высунув головку из целлулоидного пенала, кричал, что он может что-то сделать; вы только дайте мне, дайте и увидите! Потом с первого этажа донесся детский плач. Ребенок плакал, сначала тихо, потом все громче и громче, он то захлебывался, то высоким фальцетом изливал свою злобу, обиду, свое горе. И вдруг все смолкло.

В моей голове опять зазвучали ненастроенные скрипки…

Не знаю, что делали мои друзья. Быть может, они «плыли на остров»? Может, ловили рыбу? Может, катались на лыжах в горах? Не знаю. Но, должно быть, они были счастливы.

Я приглядывался к сидевшим вокруг людям. Их лица то исчезали в дыму, то вдруг снова появлялись, словно из небытия. Яркие тона в кафе утомляли глаз; я вдруг заметил, как негармонична джазовая музыка, и мне стало нестерпимо грустно оттого, что другие слушают ее с явным

удовольствием.

— Кошмарная музыка, — сказал я, кивнув в сторону музыкантов, которые трудились, скинув пиджаки, с неистребимым выражением скуки на лицах.

Генрикас только приподнял брови:

— Ты мне сегодня непонятен, Мартис… Музыка, как всегда.

Ха! Непонятен!

Я снова начал изучать окружающих. Заметил несколько знакомых лиц. Один паренек был с нашего завода. Почему он пьет? За угловым столиком — три высоких парня. Слишком громко смеются. Это баскетболисты известной команды. Тоже лакают. Дружно.

А с нами не было ни Диты, ни Донатаса, и я никак не мог сосредоточиться для разговора на какую-нибудь общую тему.

Джаз снова заиграл. Барабанщик, видимо, старался доказать, что он не пьян, и часто терял ритм. Его багровое лицо, казалось, сейчас лопнет от напряжения.

— Ведь барабанщик пьян, как свинья, — сказал я Ромасу.

Тот только усмехнулся.

— Ну и отлично. Будем терпимы.

Ладно. Будем. Выпьем.

— Пустяки, — отозвался в ушах голос Генрикаса. — Пустяки и то, что другие называют счастьем. На самом деле никакого счастья нет. Есть только удовлетворенность и неудовлетворенность.

— А я хочу быть счастлива, — сказала Лайма. Она подперла кулачком лицо. Ее глаза были печальны и красивы. — Ты ведь много читаешь, Мартис, — медленно продолжала она. — Расскажи что-нибудь про счастье.

На этот раз я уже не мог увернуться. Надо было что-нибудь сказать.

— А ты до сих пор была несчастлива?

— Почему ты смеешься? Ведь я всерьез, — в ее голосе прозвучала обида. — Если тебе тяжело об этом говорить, то лучше совсем не надо…

— Не сердись, Лайма. Какой уж из меня наставник. Я думал, что ты всем довольна и счастлива. Ведь я даже не знаю, чем ты занимаешься в свободное время. Ходишь на танцы? В кино? В кафе?

Она замотала головой.

— Я изучаю английский язык. Летом поступлю в университет, на заочный. Но что это за допрос? Я ведь не спрашиваю тебя, о чем ты мечтаешь. Ну, прости меня. Но все ж таки, что такое счастье?

— Может быть, счастье — это любить человека?

А может — быть любимым, нужным другим? Иметь друзей, любимую работу, быть прямым, честным и душевным человеком. Может, этого хватает, чтобы быть счастливым?..

— А деньги надо иметь?

— Должно быть. Но меня всегда зло берет, когда вещи заслоняют людей.

— И делать все, что только хочется?

— Ну, конечно, — вмешался Ромас.

Я откинулся на спинку стула.

— Что-то мне сегодня не до умных разговоров.

Когда Ромас пригласил Лайму танцевать, я спросил Генрикаса:

— Почему ты сегодня один?

Он улыбнулся и, видимо, хотел сострить, но я грубо его оборвал:

— Только без афоризмов. Почему не пришла Дита?

— Я звал ее.

— Скажи мне номер ее телефона.

Генрикас колебался.

— Ну будь же хоть раз джентльменом, — усмехнулся я.

Тогда он назвал номер, медленно и четко произнося каждую цифру. Я повторил, он кивнул головой и помрачнел.

— Чего это вы сегодня такие кислые? — спросила Лайма, возвращаясь к столику после танца.

— Я ему здорово подпортил настроение, — похвастался я.

Генрикас сделал вид, что не расслышал, и заговорил о кино. Я больше не вмешивался в разговор. Мне казалось, что мы идиоты уже хотя бы потому, что барабанщик пьян и часто теряет ритм. Я начал вертеться на стуле, желая разглядеть всех сидевших в кафе.

— Терпеть не могу пижонов, — наконец шепнул я Ромасу.

— Ты уже пьян? — сочувственно спросил он.

— Нисколечко! Но погляди, что за публика! Зоологический сад? О нет! Это пижоны. Помнишь, когда-то среди пижонов процветал культ кулака. Это было давно. А теперь пижоны ударились в «культурничание». Но пижон остается пижоном, независимо от того, хорошо ли сшит его костюм или плохо, имеются ли у него про запас несколько имен зарубежных авторов или нет.

— Ты слишком ригористичен, старик, — примирительно вставил Ромас.

— Нет, ты послушай! Это процесс. Под влиянием литературы и кино возникает новый гибрид — сноб-пижон. Да ты, пожалуйста, не морщись,

комаров тут нет. Оглянись вокруг, оглянись — это же все ходячие литературные и экранные штампы. Можно даже подумать, что жизнь подражает литературе, черт побери!

— Перестань бесноваться, — Ромас дотронулся до моего локтя. — Моралисты нынче не в моде.

— Я вовсе не моралист… Видишь тех двух блондинок? Могу поспорить, что меньшая уже на взводе. Ну, славные девчата. Разве не верно? Но попробуй-ка им растолковать, что они посажены не на ту почву! Подумал ли ты, какие цветочки из них вырастут?

— Ты отъявленный консерватор, — сказал Ромас.

— Известно, — усмехнулся я. — Не лучше ли будет сказать, что эти хищные цветы будут обладать всеми красками и свойствами нашей эпохи?

На меня с любопытством взглянули Лайма и Генрикас.

«А мы кто такие? — насмешливо вопрошали глаза Генрикаса. — Ты об этом подумал, старик?» Его взгляд вызывал во мне ненависть. Я выдохнул весь воздух из легких и равнодушно пробормотал:

— Я кончил. Извините.

— Лучше давайте выпьем, — предложила Лайма.

Я не возражал. Генрикас снова попытался завязать разговор. Я немного раздвинул оконные занавески и посмотрел на улицу. Мелкие снежинки опускались и таяли на мокром асфальте. «И все же скоро весна», — подумал я, эта мысль сразу привела меня в радостное, приподнятое настроение; я почувствовал себя далеким и чужим в этом накуренном и шумном зале, захотелось выйти на улицу.

Я сошел с лестницы и повернул к выходу. Голова от выпитого вина была тяжелой, казалось, что на нее давит огромная мягкая зимняя шапка.

— Туалет налево, — неуверенно произнес швейцар.

Я вышел на свежий воздух. Разбрызгивая во все стороны мокрый снег, по асфальту скользили автомобили. Мне захотелось тихо запеть: «Придет весна, придет весна, не легче, чем зима». Но я не был пьян, и надо было возвращаться, меня ждали. А может, потихонечку исчезнуть, пойти домой, отпереть дверь, посидеть в кухне с заснеженными волосами и тяжелыми думами, выкурить последнюю сигарету? Отец уже будет спать, мать тоже, но, наверное, она проснется,

когда я буду отпирать дверь.

— Пришел? — как бы не веря, спросит она, когда я на цыпочках буду пробираться в свою комнату.

Я не скажу матери, что люблю ее. Я только скажу:

— Спокойной ночи, мама.

Но меня ждут. Надо возвращаться…

11

А то вдруг возьмет и исчезнет куда-то весь балласт недодуманных мыслей. Новая неделя. И еще что-то новое. Весна? Тает снег. Тает, как это и полагается, когда уходит зима, и хотя дни еще тусклые и промозглые, а уже до чертиков хочется сбросить тяжелое зимнее пальто и шагать по улице без шапки, в распахнутом пиджаке, с расстегнутым воротом рубашки.

Может, потому я и позвонил Дите. Я был почти уверен, что забыл ее номер. И мне было бы куда легче, если бы я не услышал ее:

— Алло…

Голос был какой-то рассеянный и такой же тусклый, как сегодняшний день, и я понял, что совершил страшную оплошность.

— Эй, — сказал я бодро, — снег тает.

Конечно же, она очень удивлена и сейчас спросит, зачем я позвонил. Еще хуже будет, если она скажет: «Это ты, Мартинас?..» Но она сказала:

— Прямо-таки странно, что так скоро. Теперь так тихо, спокойно. Даже странно…

— Что странно?

— Что так тихо.

А по мне не было ни тихо, ни спокойно, и я сказал:

— Я давно тебя не видел, Дита.

Она не ответила. «Молчи же, молчи», — думал я сокрушенно. Теперь я и в самом деле не хотел слышать ее голоса, которого не слышал столько времени, голоса, которого мне так часто не хватало, когда хотелось поведать ей о всех своих бедах и неудачах и прочесть в ее глазах ободрение: «Ну, выше голову, Мартинас!» Стоило это представить, и мне становилось чертовски жаль самого себя.

— А ты еще помнишь, как мы забрели в твою прихожую? Было уже поздно, и ты все время останавливала меня, прикладывала палец к губам: «Тшш…» Ты была в вязаной, вроде детской, шапочке. Она очень шла тебе. Наверное, ее уже давно у тебя нет. Потом ты угостила меня домашним вином…

— Мартинас! — воскликнула она. — Что ты несешь? Что с тобой?

— Ничего! — крикнул я. — Выслушай до конца. Был уже поздний вечер. В прихожей на вешалке висел зонтик с обломанной пластмассовой ручкой, острой, как рапира, и я еще подумал, что ручка обломалась очень некстати, потому что скоро весна и вот-вот начнутся дожди…

— Мартинас, — она рассмеялась. — Ты спутал меня с кем-то…

— Нет, нет! Ты веришь, что начнутся дожди?

— Верю.

— Вот видишь, Дита! Ты ведь и сама отлично помнишь, как я пил вино в твоей прихожей. Ты старалась говорить очень тихо, но, когда ты начинала смеяться, я тоже смеялся, а ты вдруг пугалась, что проснется весь дом. Ведь помнишь?

Дита молчала.

— Тогда нам было страшно весело. И вино было хорошее. Ты только подумай и сразу вспомнишь, Дита! Ну, давай же подумай.

— Я думаю, — едва слышно произнесла она.

— Ну и как? — выкрикнул я с надеждой. — Ты наверняка уже вспомнила, как ты угощала меня сладкой булкой с колбасой из холодильника и шутила, что в животе все равно все перемешается. Дита! Неужели ты и этого не помнишь?

— Помню, — сдавленным голосом прошептала Дита и повесила трубку.

— Дита! — крикнул я спохватившись. — Ну я же просто пошутил…

Расстроенный, я окинул взглядом улицу. Голые сырые сучья деревьев блестели, а на тротуарах разлились огромные лужи. Еще один вечер. На-

верно, таких вечеров можно бы насчитать уже сотни: ты один и бредешь по пустеющим улицам, фонари бросают круги света под ноги, и ты попадаешь из одного круга в другой. Глупо так ходить. Другим бы я не советовал. Идите лучше в кино, кафе, но только не уходите в себя, потому что там вы меньше всего найдете радости.

Вечер был прохладный, где-то вдалеке по крышам прокатывался первый весенний гром, а ветер, облизывавший лицо, обещал дождь. Я прошел мимо своего дома — в окнах еще горел свет, — прибавил шагу, свернул в сторону и направился в парк. Ворота были заперты, я подался чуть в сторону и перелез через забор, спрыгнул на сырую землю и побрел по намокшей тропинке. Потом тропинка кончилась. Тут была граница парка. Спустившись по скользкому склону, я очутился на Щавелевом поле. Было темно, лишь далеко, у забитой досками эстрады, раскачивалась маленькая электрическая лампочка. Я остановился под деревом, привалился к сырому стволу и закурил. Когда-то здесь было Щавелевое поле — теперь это был просто участок сырого чернозема, который примыкал к пустырю и простирался до самого железнодорожного полотна. В темноте можно было различать силуэты

безлистых деревьев, рассеянных по всему полю. Я вспомнил, что мы здесь теряли уйму разных вещей. Может, из них и произросли эти деревья?

Вспыхнула синяя молния и медленно, как бы нехотя, угасла. В эту минуту я увидел себя, дерево, к которому я прислонился, и черное поле. Когда темнота снова все поглотила, я подумал, что так мог бы чувствовать себя обитатель другой планеты, случайно попавший на нашу Землю в эту беспокойную весеннюю ночь. На лице и руках я почувствовал первые капли дождя, но не трогался с места. Вскоре у меня намокли волосы, с дождевика струйками стекала вода, я все еще курил, обеими руками прикрывая размокшую сигарету. Я боялся сделать малейшее движение, ибо чувствовал: что бы я теперь ни сделал, все будет не то, что нужно. Дождь все усиливался, по спине неприятно пробегала дрожь. Что ж, думал я, самая подходящая обстановка, чтобы возомнить себя трагической личностью. Надо только воздеть руки к небу и, широко раскрыв дождю рот, кричать беззвучно: «Не могу!» Чего не могу, еще не ясно. Быть сторонним наблюдателем в позе стоика? Не знаю. Мне не хотелось больше мудрить. Мне казалось, что я чем-то прощаюсь, с чем-то дорогим мне, но уже не нужным.

Окурок обжег мне пальцы, я бросил его под ноги. Дождь мало-помалу стихал, я отряхнулся, как собака, и медленно побрел домой. В верхушках деревьев снова забилась молния и, запутавшись там в ветвях, сгорела холодным синим огнем.

12

Дни плывут, как плоты. Они так похожи друг на друга и так незаметно исчезают во вчерашних водах, что ты даже не успеваешь вернуться к своим прерванным мыслям. Вдруг вспыхнет что-нибудь из недодуманного, и, хотя это всего лишь деталь минувшего дня, сейчас она уже кажется чем-то вроде старой мебели. Внезапно я начинаю цепенеть от ужаса перед таким стремительным бегом времени. В минуты слабости кажется, что слишком мало делаешь, слишком медленно думаешь и все за чем-то не поспеваешь.

Отогнав подобные мысли, ты чувствуешь себя усталым и с горькой радостью начинаешь постигать, что становишься взрослым. Так и тянет поглядеться в зеркало в надежде найти и в своем лице какие-то новые черты. Однако до сих пор меня всегда ожидало разочарование: то же мальчишеское лицо, не то настороженное, не то расстроенное, а глаза, глаза…

— Опять у тебя глаза красные, — сказал отец, входя в комнату. — Плохо спишь?

— Сплю я отлично. И сны меня не мучают.

Отец присел рядом.

— Так что ж? Давай поговорим откровенно. Что тебя беспокоит?

— Да так, разные дела.

— Я готов помочь, если тебе пригодится мой опыт.

— Опыт не положишь в холодильник, он стареет с каждым днем. Да и не доверяю я чужому опыту. Надо постараться самому все постичь, дотронуться до всего своими руками. Самому…

— Для этого не хватит времени. Неразумно отрицать чужой опыт, — говорит отец.

— Я не отрицаю. Только пользоваться им еще рано. Надо идти в жизнь не с пустыми руками. А я вот даже не знаю, что смогу принести людям…

13

У каждого свои дела. А я, дуралей, все никак не хочу этого понять и хожу среди людей, как по лесу, встреваю туда, куда, кажется, совсем не нужно, хочу поспеть за всеми, не считаясь со временем, стараюсь всех понять, найти оправдание или хотя бы объяснение всему и под конец чувствую, что болят душа и каждая клеточка тела.

Я думал об этом по дороге в вечернюю школу, когда вдруг встретил Диту. Она несла огромную клетчатую сумку, сказала, что забрала из ремонта свои туфли (отломался каблук) и что никуда не торопится. Она стояла передо мной в легком, летнем платье, такая неожиданная и новая (я ведь целую вечность не видел ее!), улыбалась полудетской улыбкой и, должно быть, ждала от меня какой-нибудь непринужденной, легкой беседы. А у меня, как назло, голова забита одними тяжелыми материями; я тоже пробовал улыбаться, покачивая в руке папку с книгами и подыскивая в уме какую-нибудь легкую игривую тему, и все время мне чертовски хотелось дотронуться до ее стройных обнаженных по плечи рук, уже загоревших слегка на солнце. Я сказал, что спешу на

занятия, что на носу выпускные экзамены — знаешь ведь, какое это серьезное и ответственное дело, — похвалил ее загар, признался, что я еще совсем белый, как творожный сыр, и мне тошно было слышать свой собственный голос, хотя я и, правда, был белый как сыр, и в самом деле торопился в школу, и все же я врал, говоря совсем не то, что думаю. Я чувствовал, что сейчас мой голос погаснет, станет вялым и нудным, похожим на свалявшуюся паклю, и настроение на весь вечер будет испорчено; во время перемен я буду выходить вместе с другими на школьный двор покурить, буду сидеть на деревянной скамейке в сумерках, между вспыхивающими сигаретами, не отвечая на вопросы товарищей, и буду затягиваться дымом, тоскливо повторяя про себя: у каждого свои дела…

— А ты возьми да сбеги с уроков, — неожиданно предложила Дита и прикусила губу, плутовато улыбаясь одними глазами.

Я нахмурился.

— Как-то несолидно вроде.

— О-о! — она окинула меня взглядом с головы до ног. — Ты любишь, чтоб тебя упрашивали? Не будь же таким упрямцем, пойдем, — она взяла меня за руку и слегка потянула.

— Куда пойдем? — спросил я неуверенно.

— Это уж твое дело придумать.

— Может, в кино? Или в кафе?

— Не дури, — засмеялась Дита.

— Ладно, — обещал я, — придумаю. Только не сейчас. Трудно быть оригинальным.

— Перестань, — нетерпеливо бросила она.

Мы свернули в узкую, обсаженную деревьями улицу. Тротуар был старый, в выбоинах, и деревья были старые, зелеными рядами выстроились они по сторонам, Отшлифованные колесами булыжники мостовой поблескивали в отсветах заходящего солнца, улица была длинная, здесь царила тишина, и мне показалось, что на этой улице я впервые, хотя ходил по ней сотни раз.

— Давно мы не виделись, — проговорила Дита, глядя себе под ноги.

— Да…

— А что ты делал все это время?

— Набирался житейской мудрости.

— Ну!.. И каковы же успехи?

— Спасибо, неплохие.

— Может, ты все еще сердишься, что я тогда положила трубку?

— По-дурацки все это получилось.

— Ты не сердись. Я не могла иначе. Еще несколь-

ко слов, и я бы разревелась.

— Странно. Кажется, я ничего такого не сказал.

— А потом я все хотела встретить тебя и поговорить.

— Да ну — какой уж я собеседник!

Дита вдруг остановилась.

— Не веришь? — с болью спросила она. — Может, еще сказать тебе… — она покраснела, но не опустила глаз, — может, сказать, что я почти каждый вечер зря надеялась встретить тебя? Конечно, случайно, — в ее голосе прозвучала ирония. — Ведь не искать же тебя.

И отвернулась.

Мне захотелось обхватить ладонями ее хрупкие покатые плечи, повернуть ее лицом к себе и молча поцеловать. Как долгожданного друга, вернувшегося из далекого странствия. Я так бы и сделал, невзирая на скучающую продавщицу мороженого, подозрительно уставившуюся на нас, и на прохожих, но руки мои словно кто-то зашил в карманы брюк. Я прислонился плечом к стене какого-то желтого дома и только взглядом погладил ее короткие, треплющиеся на ветру волосы. Надо, надо окликнуть ее, нельзя так глупо вести себя, — как неспокойно она прижимает к груди руки, словно говорит с той липой на другой

стороне улицы, словно делится с ней Мыслями, дожидаясь моего ответа, надо, надо окликнуть ее! Но как это сделать, если не хочешь солгать, если губы все время произносят совсем другие слова, если тебя неотвязно преследует одна и та же мысль: что же, что мешает нам быть вместе? Мартис, Мартинас, тяжелый ты человек, ох и тяжелый же, ведь ты сам надумал все эти преграды…

— Дита! — крикнул я приглушенным голосом.

Сразу же, словно кто-то рванул ее за руку, она повернула ко мне счастливое робкое лицо, брови ее поднялись, неуверенно дрогнули губы:

— Что?

— Я тоже… Давно ждал… — тихо сказал я, быстро дыша, как после долгого бега.

Ее пальцы слегка коснулись моей руки, а я никак не мог оторвать взгляд от липы на той стороне улицы и заплетающимся языком пробормотал:

— Может, хочешь мороженого?

14

Странное чувство овладевает, когда работаешь ночью один. Наш участок работает только в две смены, поэтому в третью — ни живой души, не считая меня. Войдешь и вслушиваешься в тишину. Станки замерли, людей нет. Иной раз со злостью подумаешь, что такая ночь — это лишь продолжение похожего на нее дня, что и днем ведь я был один. Поэтому я спешу начать работу и не думать больше о том, какие силы, черт побери, заставляют меня большую часть суток быть одному.

Я зажег только боковой свет — вполне хватает — и пошел к своему станку.

Там светился огонек чьей-то папиросы.

Я крикнул:

— Эй, что ты там делаешь?

— Чертей пугаю, — отозвался Жорка.

— Тоже будешь работать ночью? — удивился я.

— Слушай, что я тебе скажу, — серьезно произнес он. — Отправляйся-ка домой, приходи завтра работать в первую смену. Я договорился. Теперь ты будешь работать только в первую, а я — после обеда и ночью. Ясно?

— Зачем все это? — спросил я и зажег лампочку над станком.

Жорка хитро улыбнулся и хлопнул меня по плечу.

— Не твое дело. Сказал — значит, кончено.

— Стало быть, благотворительность? — прорвало меня. — Покорно благодарю. Топай домой, Жорка.

Он подошел ко мне и схватил за руку.

— Дурак, — мягко проговорил он, — экзамены ведь на носу. Потом — как захочешь.

Я молчал, глядя в упор на электрическую лампочку, и с трудом проглотил застрявший в горле горячий комок.

— Спасибо, — пробормотал я, не глядя на Жорку.

Не хватало еще, чтобы я покраснел.

Ромас никогда не запирает дверей. Может, надеется, что кто-нибудь навестит его, а кто — он и сам не знает, но ждет и не запирает дверей. Он стал бы на дыбы, если бы я спросил, чьего визита он ждет.

Я несильно толкнул дверь, и она беззвучно открылась. В комнате Ромаса было тихо. У стола сидел Генрикас, один, и барабанил карандашом по краю пепельницы.

Ромас лежал на диване, свесив ноги и прикрыв лицо газетой. Сначала я даже подумал, что он спит.

Генрикас бросил на стол карандаш и откинулся в кресле.

— Хочешь выпить?

Ромас замотал головой, газета сползла на пол, но Генрикас не заметил этого, он смотрел в окно на закат, все еще дожидаясь ответа. Услышав мои шаги, он вместе с креслом шумно повернулся к дверям.

— А-а, — протянул он. — Очень приятно. Пусть входят положительные персонажи.

Ромас поднял голову и вскочил с дивана.

— Здорово, Мартис, просто замечательно, что ты пришел. Я только что думал о тебе.

— Он врет, — недовольно пробормотал Генрикас. — Это я думал о тебе. Садись и старайся сохранить бодрость в этой унылой компании…

Он насмешливо посмотрел на меня, крепко сжал губы и начал разглядывать свои ногти.

— Здравствуйте. У вас что, вечер меланхолического романса?

— Меланхолия — лучшая закуска к вину, сказал философ своим ученикам. — Генрикас скрестил руки на груди и еще глубже погрузился в мягкое

кресло.

— Да не слушай ты его, — махнул рукой Ромас. — Он уже целый час здесь выкобенивается.

Генрикас криво усмехнулся:

— Ха!

Лицо его припухло, глаза лихорадочно шныряли между мной и Ромасом. Я заметил, что он как-то съежился, словно приготовившись защищаться.

— К чему тебе эта роль «интеллектуального пьяницы»? — тихо спросил я. — И вдобавок идиотская бравада?

— Ладно, будем считать, что я идиот, — он примирительно улыбнулся.

— Под каким лозунгом ты теперь пьешь? «Все пропадем, как собаки?», — продолжал я. — Напрасно. Ведь ты, должно быть, уже не ощущаешь больше «абсолютного одиночества», как ты говорил?

— Ты думаешь, что меня обязывают к чему-то новые персонажи? Знаю, знаю, о чем ты думаешь. Прихожу вот и говорю: братцы, я запер в сундук свою старую шкуру. Вот вам ключ от него.

Ромас еще раз махнул рукой, но ничего не сказал.

— Чего ты там машешь руками? — обиделся

Генрикас. — По совести говоря, я давно уже жду, что вы вот-вот припрете меня к стенке алебардами правды и морали. Итак, роковой день настал, фатальный, так сказать!

— Ради бога, не будь свиньей, — с досадой сказал Ромас.

— И ты, Брут? — прикинулся изумленным Генрикас. — Куда девался старый Ромас, глашатай наших тезисов?

Ромас покраснел:

— Перестань, черт тебя побери…

— Оставь его в покое, — бросил я Генрикасу. — И прости, что я покусился на твою душевную гармонию.

Генрикас вдруг настроился на серьезный лад.

— Я тебя люблю, Мартис. Люблю и уважаю. Но не будь смешным. Я знаю, ты считаешь меня пропащим человеком. Что ж, воля твоя. Я тоже иногда так о себе думаю. Ты никак не можешь понять, как это в нашу-то эпоху, в советском-то обществе и вдруг такое явление. Кругом величайший размах. Строительство, целинные земли и сердца. А я, видите ли, пью. Кстати, на работе никто на меня не жалуется. А время бежит. Вскоре и я буду чиновничком, как тысячи других, приобрету по сходной цене самодовольную

физиономию… Но не будь же смешным, Мартис, не лезь в няньки — это самая неблагодарная профессия.

— Напрасно ты прикидываешься циником, — заметил Ромас.

— Ага! Будем знакомы, я — циник. Няньки удивляются, откуда и как у советского юноши мог сформироваться этакий облик. Такие порочные взгляды. Вырвать их с корнем! Ха-ха! И все же я — вполне очевидный факт, который нужно признать, на который нельзя закрывать глаза. Тут няньки готовы взбеситься: ты слабовольный? О да, — отвечу я. И что из этого? Ничего. Мне так нравится. Так лучше всего. Убиты все внутренние противоречия, все сомнения. — Генрикас закурил.

— Не надолго, — сказал я.

— А я об этом не думаю.

— Неправда, — Ромас энергичным шагом прошелся по комнате. — Подумайте только, убиты противоречия! Самое скверное — это то, что тебе доставляет удовольствие видеть себя мучеником. Чуть-чуть грустно, но и приятно, как будто сам себе пятки чешешь…

Он подошел к столику и включил магнитофон. Генрикас подпер голову руками и некоторое

время слушал музыку. Потом перевел взгляд на меня.

— Допустим, что я ищу себя… — усмехнулся он. — Удивили же вы меня, братцы, что и говорить. Ну ладно, мне пора.

— Куда это? — спросил Ромас.

— Куда-нибудь. Будьте здоровы… миссионеры…

После его ухода Ромас нервным движением выключил магнитофон и подошел ко мне.

— Вот дьявол! — выдавил он из себя со вздохом. — А?

— Ты жалеешь, что мы с ним так разговаривали?

— Да нет, я не жалею, — нетвердо произнес Ромас, — но, может, он этого не заслужил…

— Ну вот тебе раз! — вскипел я. — А ты подумал, что согласиться с ним, это значит самому надеть тот же хомут. Впрочем, может, тебе нравятся такие хомуты?

— Мартис, — виновато произнес Ромас, — бог с ними, с этими хомутами. Но мне просто жаль Генрикаса. Да и вряд ли мы можем тут чем-нибудь помочь. Похоже, он нам не доверяет.

Ромас принялся разгуливать по комнате. Остановился у зеркала, но сразу же отошел в сторону,

сдул пепел со скатерти и оперся о подоконник.

— Знаешь что, старина, я хочу открыть тебе одну тайну. Только об этом пока никому ни слова.

— Ни полслова, — пообещал я.

— Я решил построить себе гокарт…

Я молчал, удивленный, и не знал, что сказать.

— Что, глупо? — подавленным голосом спросил Ромас.

Мне вдруг стало неловко, что он, старый мой приятель, с такой опаской говорит со мной о самых простых вещах. Длинное лицо Ромаса еще больше вытянулось, а глаза беспокойно следили за мной.

— Отлично! — сказал я. — Отлично придумано!

— Я буду участвовать в соревнованиях. Выйду победителем или потерплю поражение. Мне кажется, что это чертовски важно.

Красные вечерние сумерки мало-помалу заполнили комнату, сгладились очертания вещей, Ромас стоял, прислонясь к подоконнику, его лицо было в тени, а потому казалось, что слова срываются не с губ, а их произносит кто-то другой, притаившийся в этой комнате. Гокарт? И зачем ему понадобилась эта тележка? Перед глазами сразу вынырнула голова Ромаса с огромным

шлемом мотоциклиста. Он был Ромасу к лицу, но лицо было не то, что теперь в тени у окна, не то, хорошо мне знакомое, расплывшееся в широкой дружеской улыбке. Из-под шлема глядят прищуренные серые глаза, черты лица строгие и чужие. Интересно, услышал бы меня теперь этот Ромас…

15

Я поджидал Диту возле ее дома и с тревогой поглядывал на небо. Небо хмурилось. Листья деревьев замерли от духоты и выглядели как ненастоящие. Будет дождь, подумал я. И правда, едва только Дита показалась в подъезде, поднялся ветер, и капли дождя глухо забарабанили по панели. Дита укоризненно посмотрела на меня.

— Это все твои выдумки, — сказала она. — Что мы теперь будем делать?

— Надо переждать.

— И не думай даже. Раз уж назначаешь свидание в дождь, то изволь терпеть.

— Ладно. Я готов.

— А обо мне ты подумал? Постой, — она повернулась и побежала вверх по лестнице.

Я стоял в подъезде, дождь смывал с разлапистых каштановых листьев пыль, тротуар потемнел от дождя.

Дита вскоре вернулась, держа в руках небольшой голубой зонтик от солнца.

— Другого не нашла, — сказала она в свое оправдание.

Мне понравился этот голубой зонтик, похожий

на лоскут ясного неба и чем-то непостижимо праздничный.

Неторопливо мы шли улицей под деревьями, перепрыгивая через лужи. Высоко, словно знамя радости, я нес этот маленький зонтик и никак не мог подавить улыбки, дрожавшей на моих губах.

— Не валяй дурака, — сказала Дита. — Смотри, я совсем промокла.

Я обнял ее за плечи и привлек к себе. И правда, ее платье было мокро и прилипло к телу.

— Убери руку, — попросила Дита. — Не надо.

Я вздохнул.

— Могу и убрать.

— Да ты не сердись, — сказала она.

— Трудно тебя понять.

— А ты и не старайся.

Мы шли по набережной, блестел умытый асфальт, вода у пристани казалась зелено-коричневой. Зонтик я старался держать над Дитой, и рубашка у меня сразу же промокла.

— Мартинас, — сказала она. — Когда я бываю вместе с тобой, я кажусь себе самой большой дурой на свете.

— Это плохо.

— Я сама знаю, что плохо.

— Это тоже плохо.

— Что именно?

— А то, что ты все знаешь.

— Вот ты мне и доказал, что я дура.

— Ты сама себя убеждаешь в этом. И, чего доброго, еще захочешь, чтобы я тебе возражал, разубеждал тебя.

— Мужчина должен возражать в таких случаях. Хотя бы из чувства долга.

— Банальный мужчина.

— А ты еще мальчишка. Притом несносный мальчишка.

— Поэтому-то мы и будем все время искать друг друга.

— Неправда, — печально сказала Дита. — Мальчишки слишком нетерпеливы и самоуверенны!

На другом берегу пристани, разбрызгивая искры, сверкала ацетиленовая горелка. Кто-то размеренно бил кувалдой по металлическому корпусу баржи.

Мы стояли на берегу. Дита старалась достать носком туфли воду, а я держал ее за руку. Почему-то мне вдруг захотелось свистнуть, и я пронзительно засвистел.

Удары молота на другом берегу прекратились. И тут же, совсем неожиданно, сквозь утихающий дождь раздался залихватский ответный свист.

Дита отскочила от воды и испуганно посмотрела на меня.

— Ну и свистишь же ты… Как настоящий гангстер из американского фильма.

— Неужто я похож на гангстера? — спросил я, свирепо сдвинув брови.

— Ага…

Она прильнула ко мне и, откинув голову, пальцами дотронулась до моего лба. Потом ее губы мимолетно коснулись моих.

Я стоял, высоко подняв голубой зонтик, а теплые капли дождя стучали по его куполу, что-то говоря только мне и Дите.

Повернулась дверь-вертушка, забранная металлической сеткой. Всего только вполоборота — чтобы я мог протиснуться через проем. Вахтер был педантом.

— Всего хорошего, — бросил я ему.

И тут увидел Генрикаса. Он стоял у выкрашенной в желтый цвет стены проходной и курил. Почему-то мне показалось, что он старается быть незаметным. Увидев меня, он сделал несколько шагов навстречу.

— Мне надо с тобой поговорить, Мартис.

— Что-нибудь срочное?

— Срочное? — словно переспрашивая сам себя,

улыбнулся Генрикас.

Мы вышли.

— Ты знаешь, о чем будет разговор? — спросил он, опустив глаза.

— Пока что нет.

— Я думал, что ты более догадлив.

— А ты уже выпил сегодня?

— Немного.

Мы свернули в переулок. День стоял солнечный, душный.

— Сегодня суббота? — спросил Генрикас.

— Суббота.

— Хочешь посидеть со мной?

— Нет.

— Дурак. Дундук. — Он швырнул в сторону окурок. — Так ты правда не знаешь, о чем мы будем говорить?

— К чему такое вступление?

Генрикас усмехнулся.

— О Дите.

— Слушаю.

— Начну с лирического отступления, — он чуть поколебался. — Ты хорошо меня знаешь?

— И да и нет.

— Не притворяйся, Мартис. Мы друг друга очень мало знаем.

— Ладно, значит, я ошибался…

— Слушай, — вдруг грубовато оборвал он меня. — Дита в последнее время очень изменилась. Ты не знаешь почему?

— Не думаю, чтобы из-за меня.

— Именно, — подчеркнул он. — Теперь она часто говорит о тебе, Мартис.

Генрикас слегка хлопнул меня ладонью по плечу.

— Дита — эта сама радость жизни, а я, как ты знаешь, человек пропащий. Ты даже не можешь себе представить, как она теперь мне нужна. Но в последнее время она слишком много стала сомневаться в таких вещах, которые ей раньше были ясны.

— Я не вижу в этом ничего плохого.

— Лучше бы она не сомневалась. Мне это очень важно.

— Это, вроде, просьба?

— Я думаю о ее спокойствии.

— Ты имеешь в виду свое спокойствие, да? Тихая заводь нужна? И какой ужас, если она вдруг перестанет верить в твою трагическую натуру. А я вот чувствую себя до некоторой степени ответственным за Диту и хочу, чтобы она осталась, как ты выразился, «радостью жизни».

Он втянул голову в плечи.

— Зачем ты лезешь туда, где ты меньше всего нужен? — огрызнулся Генрикас. — Ответственность! Ха-ха! Дита вовсе не такая святая, как ты воображаешь.

— Может, ты еще примешься хвастать своими любовными победами? — У меня срывался голос от негодования. — На кой черт ты решил разыграть этот спектакль? Хочешь сторговаться насчет цены?

— О, она вовсе не такая святая, — злорадно повторил Генрикас, засунув руки в карманы своей куртки. Видимо, он почувствовал, что попал в больное место.

— Комедиант! — бросил я через плечо, отвернувшись, и вдруг почувствовал сильный удар по щеке. Падая, я еще успел смекнуть, что удар был нанесен сзади. Я оперся на локоть и тряхнул головой. В голове шумело, болело ободранное колено, какие-то бурые пятна мешали видеть.

В конце пустынного переулка поспешно удалялась одинокая фигура Генрикаса.

И я почувствовал к нему невыразимую жалость.

Металлические, гудящие под ногами ступеньки в аппаратную были слабо освещены маленькой

лампочкой, горевшей под самым потолком. За приоткрытыми дверьми слышался успокоительный, монотонный гул проекторов.

В аппаратной было темно. Лишь отсвет вольтовой дуги работающего проектора слепящим белым пятном маячил на потолке.

Контуры других проекторов неясно обозначались в темноте. Два из них были покрыты черными чехлами.

На экране шел напряженный разговор. Хотя громкоговоритель и был приглушен, голоса мужчины и женщины были ясно слышны.

— Ты меня ждал? — мягко прозвучал женский голос.

— Нет, — после короткой паузы ответил мужской.

Донатас стоял, облокотившись рукой о проектор. Когда я вошел, он даже не повернул головы. Странно, Донатас должен был услышать мои шаги. Я не хотел ему мешать и ждал, пока он первый заметит меня.

— Все-таки ты порядочный хам, Гусев, — меланхолически звучал женский голос.

Мужского голоса не раздалось в ответ.

Рука Донатаса вдруг сделала молниеносное движение, с треском упала задвижка, и тут же за-

жужжал другой проектор. Донатас вынул кассету с лентой и зажег свет.

— Погаси, — попросил я.

Он увидел меня и подошел ближе.

— Недурно, — вглядываясь в мое лицо, медленно произнес он. — Кто это тебя так разукрасил?

Я повернулся к нему боком.

— Странно, — продолжал Донатас. — Насколько я знаю, ты не любитель кулачного боя.

— Не обращай внимания, — сказал я. — Подумаешь, одна из тысячи и одной неприятностей.

— Кто? — тихо спросил Донатас.

— Вряд ли тебе доставит удовольствие, если я назову его имя. Бросим этот разговор.

— Чего ты юлишь? — крикнул Донатас. — Обожди, нужно перекрутить ленту.

Он ушел в соседнюю комнатку. Я уселся на высокий алюминиевый стульчик и поздоровался с пареньком, который следил теперь за проектором.

— Как твои дела? — спросил я, когда вернулся Донатас.

— Дурацкий вопрос, — недовольно пробормотал он. — А все-таки, кто тебя так расписал?

— Это неважно. Сам виноват, что не научился…

— Драться?

— Нет, быть миссионером. А вот результаты, — провел я рукой по щеке. — Знаешь, впервые мне хочется напиться.

— Подожди. Через три дня я ухожу в армию. Хорошо, что сообразил показаться, сегодня я на работе в последний раз.

Я спрыгнул со стульчика.

— Прости, никак не мог выбраться раньше.

— Грустно, когда у друзей нет времени… Приходи проводить. Другим я уже сказал.

— Обязательно приду, — обещал я и пожал ему руку.

— Ты будешь ждать здесь всю ночь? — спросил мужской голос.

Ответа не последовало. Должно быть, она кивнула головой.

16

Одиннадцатый класс вечерней школы — вроде зала ожиданий. Кажется, все тут сидят и ждут поезда. Рядом со мной — Ромас; навалившись на парту, он что-то чертит на последнем листе тетради — ясно, он только и думает о своем гокарте. Передо мной еще несколько согнутых спин, а между ними — обложка журнала «Фильм».

Последние консультации перед экзаменами и всеобщая сонливость. Только девчонки в полном смятении, им кажется, что они все перезабыли и ничего больше не знают. А я знаю: мы сидим не в зале ожидания, а в общем купе. Бубнит математик, словно колеса постукивают на стыках рельсов. И все ждут. Ожидание нетерпеливое, нервное, скрываемое под маской безразличия; и до того уже осточертело это общее купе, всем не терпится поскорее выскочить из него, забыть про учебники, пробежаться по этим проплывающим мимо зеленым, залитым солнцем далям. А мне порой хочется еще увидеть себя большим спокойным теленком, пасущимся на лугу. И чтобы никуда не нужно было спешить.

(Когда я был маленьким, отец часто водил меня

на выставки картин. Ни черта я в них, разумеется, не понимал, но мне доставляло радость в мыслях бродить вдоль журчащих ручейков, лазить по деревьям, шумящим пышной листвой, и кричать с их верхушек: «Найдите меня!» Я любил гулять по картинам.)

Бубнит учитель, как колеса на стыках рельсов. Секунда, минута, две… Мерно постукивают колеса… Десять, пятнадцать — они не торопятся.

Скрипит, крошится, ломается мел, сыплется на пол. «Е-дем», — зеваю я. Помаленьку да потихоньку! И все же скоро конечная остановка и голос: «Дальше не поедем. Вылезайте. Дальше — своим транспортом». И купим билеты — каждый себе — и сядем каждый в свой голубой экспресс…

Я почти сдержал свое обещание — быстро захмелел и начал приставать к Донатасу с глупыми вопросами: что, как, почему? Он мне нехотя что-то объяснял — контингент, дескать, так надо, ничего не поделаешь… Сам он совсем не пил и в разговоры не пускался, было видно, что ночь эта тянется для него бесконечно, и он никак не может дождаться семи утра. К утру мы все изрядно поустали, осипли от песен; я спрашивал Диту, не хочет ли она спать, и в глубине души радовался, что с нами нет Генрикаса. Наконец вся наша

компания вывалила за дверь, мы обождали на лестнице, пока Донатас распрощается с домочадцами, и пошли по пустынным улицам города.

Ромас шел впереди всех, неся чемодан Донатаса. Юдита шла рядом со мной, а Донатас беседовал с Лаймой. Уже рассвело, только что политые улицы дышали сыростью, в прохладном утреннем небе таяла кривая улыбка луны. Наши шаги глухо стучали по тротуару.

— Ча-ча-ча-ча-ча, — уныло тянул Ромас.

— Всех нас ждет такая участь, — меланхолически заметил я и запел:

По коням, ребята,
В поход собирайтесь,
Пусть наше оружье
На солнце сверкнет…

— Ча-ча-ча, — подтянул Ромас.

— Хватит! — крикнула Лайма, и в ее глазах заблестели слезы. — Кончайте свою клоунаду! Ведь… друга провожаете.

— Чего ты? — тихо сказал Донатас. — Так веселей…

— А мне совсем не весело, — с досадой ответила Лайма. И добавила: — Как это вы ничего, ровно ничего не понимаете!..

На сборном пункте было полно призывников и провожающих. Вокруг остригишей теснились их друзья, близкие; одни сидели на широких деревянных скамьях, другие стояли вдоль стен, курили, разговаривали.

Донатас выглядел спокойно, он был собран, подтянут, на лбу залегла сетка мелких морщин.

— Не убивайся, старик, — сказал ему Ромас.

— Ну, улыбнись же, — подговаривала Дита.

Донатас улыбнулся.

— А все-таки чего-то немножко жаль, — сказал он.

У меня никак не умещалось в голове, что мы действительно провожаем друга. Хотелось убедить себя, что это обыкновенная прогулка, что вскоре все мы, в том числе и Донатас, разойдемся по домам, а сейчас просто нужно выполнить какую-то пустую формальность. Как бы желая удостовериться в этом, я огляделся вокруг. Мое внимание привлек какой-то паренек, стоявший поодаль от других с крохотным чемоданчиком в руке. Видимо, его никто не провожал. Мне он показался всеми оставленным и забытым. Я подошел.

— Вы просто молодец, — сказал я. — Позвольте выразить вам свое восхищение.

Паренек выслушал меня, но ничего не ответил.

— Вы не хотите со мной разговаривать?

— Вы хватили лишнего, — сочувственно сказал паренек и отошел в сторону.

— Весьма сожалею. Но вы — просто молодец. Все пессимисты и ничтожества, только вы один — простой, скромный человек, способный найти оптимистическое начало даже в такой ситуации. Разве не так?

— Оставьте меня в покое, — попросил он.

— Мне грустно, — продолжал я, — что вы не понимаете всего трагизма.

Дита положила мне на плечо руку.

— Будь же разумным, — шепнула она. — Не болтай всякую чепуху.

— Ладно, Дита. Но он ведь не понимает всего трагизма…

— Ну, прошу тебя.

— Хорошо, Мартинас будет молчать. Но ему больно. Вы на меня не сердитесь? — спросил я паренька. — Ну и отлично!

Дита отвела меня в сторону.

— Послушай, Дита, — сокрушенно зашептал я, — мне хочется плакать… Если б ты знала, как это трудно: оценить друга в последнюю минуту,

не оценив его по заслугам за все прошедшее время!..

В зале появился пожилой майор и стал вызывать призывников по фамилиям. Мы услышали и фамилию Донатаса.

— Есть, — четко отозвался он, но мне показалось, что голос у него чуть дрогнул.

Майор дал рукой знак присоединиться к другим. Молча каждый из нас расцеловался с Донатасом и пожал ему руку.

— Будем писать, — обещали мы, а Лайма всплакнула.

Потом захлопнулась дверь с выцарапанными на ней именами и датами, за ней исчез наш Донатас, не видно было и того паренька, который был трезв, как стеклышко, и не хотел понять всего трагизма…

Домой возвращались молча, словно мы чем-то провинились друг перед другом.

17

Экзамены я одолел без особых трудностей. Виртуозно подсказывал товарищам, без устали отплясывал твист на выпускном вечере и только в шестом часу утра явился домой. Ключа, как назло, я с собой не взял, топтался у двери, держа под мышкой подаренные в школе книги, и наконец решился постучать, так как услышал, что отец уже мелет на кухне кофе. Он открыл мне дверь. Лицо его осунулось после бессонной ночи, но, увидев меня, отец улыбнулся и неодобрительно прищурил один глаз.

— Эге, братец, — сказал он, кутаясь в халат, — да ведь ты весь мокрый.

Мы пошли на кухню, и я полотенцем вытер голову.

— Возвращаясь домой, — принялся я рассказывать, — мы решили нарвать девчонкам акации. Мне пришлось лезть на дерево, и я весь вымок в росе. Видишь, сколько книг? И когда я успею их прочитать…

— Ты потише, — сказал отец, — мама еще спит.

Я сел на табуретку, выложил на стол аттестат и впервые закурил вместе с отцом.

— Брось, брось сигарету, — тихо сказал он и поморщился, как от внезапной зубной боли.

— У меня теперь паспорт и аттестат зрелости без троек, — сказал я. — Стало быть, не хватает только трубки…

Отец ничего не ответил, налил две чашки кофе и поставил на стол. Взяв в руки аттестат, он пробежал его глазами.

— Это мой билет на голубой экспресс, — пояснил я.

— И в каком направлении?

Я отпил глоток кофе и смутился. Как это я не подумал, что отец прежде всего задаст именно такой вопрос!

— Направление пока неизвестно, — сказал я уклончиво, — но поверь мне — хорошее.

— А пора было бы уже знать, — он укоризненно посмотрел на меня. — Твои товарищи, наверное, уже знают?

— Почти, — ответил я. — Ромас поступит в политехнический, сейчас он просто спятил: хочет построить гокарт; знаешь, такой автомобильчик, похожий на детскую коляску. Донатас ушел в армию… Лайма избрала английский язык.

— Ну а ты?

— Я не хочу торопиться.

— Тебе нравится работа на заводе? — спросил отец.

— Я думаю, мне надо еще поработать…

— Не торопись, если так. Но подумай. Сам думай. А теперь — марш спать, — вполголоса заключил он. — Только тихо.

Я не стал возражать, хотя имел и паспорт, и аттестат. У меня едва держалась на плечах голова, она тяжело спадала на грудь, как переспелое яблоко. До сих пор еще она была набита математическими формулами и всякими другими премудростями, накопившимися за одиннадцать лет, а к тому же еще винные пары, музыка и мысли о будущем. Я уснул, преисполненный сознания того, что теперь, пожалуй, я мог бы сойти за оракула, — до того тяжелая и мудрая была у меня голова.

В субботу Генрикас признался мне, что он был свиньей. Я сказал, что он действительно настоящая свинья, но только лучше сейчас не вспоминать об этом, и мы все выехали на озера. Я радовался этой прогулке, потому что чертовски устал от экзаменов и надеялся отдохнуть. Место мы выбрали отличное, подальше от людей, и все утро провели, загорая на солнце. Знойная тишина разморила нас всех. Хорошо было лежать на

горячем песке и без помехи, вволю глядеть на синее раскаленное небо. Наконец все проголодались и сели обедать. Ели мы тут же, усевшись в кружок на песке. После обеда Генрикас вытащил из корзинки бутылку красного вина и стакан. Лайма с Дитой отказались, Ромас отпил глоток, встряхнулся, сказал, что это сумасшествие пить в такую жару, и посоветовал оставить на вечер. Я тоже потянулся, но что-то удержало меня. Генрикас сидел понурившись, держа между ног никому не нужную бутылку, и казался подавленным. Заметив, что я рядом, он улыбнулся, налил стакан и протянул мне. Жест был дружеский и доверчивый.

— Выпьем за здоровую человеческую натуру, — предложил он.

— Человеческая натура — это слишком туманно, — сказал я. — Лучше за мужество.

Он, не спуская с меня глаз, кивнул головой. Я поперхнулся, выпивая залпом полный стакан.

После этого выпил он и начал говорить о себе. Говорил долго, медленно, как бы оправдываясь; я сначала удивился — к чему такие разговоры? Потом следил за его словами, как-то рассеянно, а слова все падали и падали, легковесные, словно лоскутки разорванного письма, и казалось, что

они то опускаются вниз, то снова поднимаются, пока их наконец не подхватит порыв свежего ветра. Слова были пустые, ненужные. Ни мне, ни солнцу, ни озеру. Я всмотрелся в лицо моего собеседника, поросшее рыжей щетиной. «Почему он не брит? — подумал я. — Может, хочет подчеркнуть этим разницу в летах между нами?»

Было жарко, и я уже не слушал Генрикаса и вообще ни о чем не хотел думать, видя перед собой только растянувшиеся на песке тела друзей. Они лежали, не замечая друг друга, каждый сам по себе, как незнакомые люди. На нас с Генрикасом они тоже не обращали внимания, и казалось, им все равно, здесь мы или нет. «Есть какие-то принципы общения, какие-то неписаные законы взаимопонимания...»

— Плыть по течению тоже нелегко, — услышал я голос Генрикаса.

Потом он встал, схватил бутылку за горлышко и, замахнувшись, швырнул ее далеко в озеро. Широко расставив ноги, прищурив глаза, он проводил взглядом ее полет и не спеша вернулся на место.

Ромас с Лаймой брызгались в воде, я подошел к Дите, она лежала ничком, спрятав лицо между вытянутыми руками, и, казалось, спала. Я сел на

берегу спиной к ней и принялся жевать стебелек метлицы, глядя на озеро. Вскоре я услышал за собой насмешливый голос Генрикаса:

— …и вдруг находится человек, в душе которого, как в зеркале, как в чистой озерной воде, подобно отражению неба и солнца, ты видишь то, чего все время искал. Однако человек этот проходит мимо.

Я обернулся. Генрикас подсел к Дите, на его лице бродила насмешливая улыбка. Дита молчала, продолжая лежать, как и раньше, уткнувшись головой в вытянутые руки, и не двигаясь. Генрикас чуть обождал, потом, встретив мой взгляд, потянулся и, насвистывая, побрел в лесок. Когда треск сухих веток под его ногами заглох, я увидел, что Дитины плечи едва заметно вздрагивают.

— Что с тобой? — испугался я и дотронулся до ее волос.

От моего прикосновения она рывком подняла голову и села, спрятав в ладонях лицо.

— Пустяки, — сказала она после минутного молчания. — Наверное, это от солнца…

Я с ужасом ощутил вдруг, какой далекой и чужой она мне стала в эту минуту. Опершись подбородком о колени, она уставилась на пальцы своих босых ног. Почувствовав себя лишним, я

хотел незаметно исчезнуть, не мешать ей. Но Дита, как бы отгадав мои мысли, выговорила, едва шевеля губами:

— Побудь со мной…

Мы долго молчали. Слышны были только возгласы Ромаса и Лаймы. Потом Дита подняла голову и грустно улыбнулась:

— Видишь, какие мы слабые, — сказала она. — Я никак не могу заставить себя…

Опустив голову, я ждал.

— …бросить его, — докончила Дита.

— Ты его любишь? — спросил я, не глядя на нее. Это был скорее не вопрос, а безнадежное утверждение.

— Не знаю. Мне просто его жаль… Он сказал, что я единственный человек, который его понимает.

— И потому ты должна принести себя в жертву?

На ее лице промелькнуло удивление.

— В жертву? — повторила она.

— А он-то, он-то любит тебя?

— Не знаю. Но он очень хочет, чтобы я была с ним. А в нем не все еще похоронено из того, что есть лучшего в человеке.

И мне вдруг показалось, что мы говорим о покойнике.

— Все это только игра, — раздраженно бросил я и растянулся на песке.

— Мне его жаль… Я ничего уже не знаю… — тихо сказала Дита, склонившись надо мной.

— А я в это не верю! — крикнул я ей в лицо. — Все это ненастоящее! Ложь.

Испугавшись своих слов, я крепко зажмурил глаза, стараясь подавить закипевший гнев, ревность, — и не в силах больше смотреть в ее влажные темные глаза.

— Какие же мы все миссионеры! — с горечью вздохнул я. — Миссио-не-ры!

Услышав шаги, я открыл глаза. Около нас стоял Генрикас.

— Что ты еще продекламируешь?! — крикнул я ему, не владея больше собой.

Он повернулся ко мне спиной, немного подождал, потом разбежался и, оттолкнувшись от берега, бросился в воду.

— Мы идем собирать землянику, — услышал я голос Ромаса. — Кто с нами?

— Ты не любишь земляники? — раздраженно спросил я Диту.

Она сразу же поднялась, поправила волосы и легкой, горделивой походкой пошла вдоль берега.

Я схватил рубашку, обмотал ею голову и долго лежал так, жуя рукав, задыхаясь от жары и стыда. Потом швырнул рубашку в сторону, достал сигареты, закурил и снова улегся на спину. Сигарета и нежданная тишина немного меня успокоили. «Пускай все идет к чертям», — подумал я и бросил окурок. От этого вроде полегчало, я лежал, растянувшись на горячем песке, и впитывал в себя нежный хаос звуков, который, словно вино, растекался по жилам, баюкал и в то же время волновал. Мне казалось, что спокойные волны омывают мое тело, и я плыву, плыву, а перед глазами — лишь раскаленная небесная синь.

Потом снова увидел Генрикаса. Он медленно приближался ко мне, осторожно ступая своими мускулистыми ногами, такой угрожающий, внезапно прервавший мое плавание. Я хорошо видел его широкие, наклоненные вперед плечи и капли, блестевшие на выдающихся загорелых ключицах. Темные брови сдвинулись, а тонкие губы едва заметно шевелились, как бы произнося что-то вполголоса.

А мне хотелось еще плавать…

И вдруг показалось, что это уже было когда-то и теперь повторяется сызнова. Я вспомнил соленый вкус крови во рту, быстро удаляющийся

квадрат плеч сквозь круги перед глазами и знал, что то, что сейчас произойдет, будет до смешного ненатурально, так, как уже было когда-то.

А он приближался, такой ненужный, повторяющий нечто давно прошедшее и незначительное, что я едва не рассмеялся. Наверное, мне надо было встать и встретить его стоя, однако я не двигался с места, испытывая одно лишь сонливое неудовольствие, из-за того, что он прервал мое плавание.

— Пошел к черту, — тихо сказал я и прижался лицом к горячему песку.

Он услышал. Его руки обмякли и беспомощно повисли. Он сел рядом и чего-то стал ждать. Долго и терпеливо. Потом под его ногами заскрипел песок, шаги удалились.

Вечером мы развели костер, и Дита с Лаймой принялись разогревать консервы. Мы сидели вокруг потрескивающего огня и курили. Настроение у меня совсем испортилось. Как назло разговор зашел о «выборе пути».

— Мой путь ясен, — сказал Ромас. — В политехнический — и дело с концом. А твой, старик? — обратился он ко мне.

— Я — токарь, — невесело усмехнулся я. — Разве этого недостаточно?

— Чудак, — не отставал Ромас, — ведь ты тоже о чем-то думаешь…

— Не чудак, а комик, слышишь? — уточнил я. — Ко-о-омик! Типичный представитель послевоенного поколения!

— Мы, — покачал головой Ромас, — военное и послевоенное поколение. И весь груз достанется нам. Груз новой жизни, которая надвигается, как буря. Я это ощущаю всеми своими конечностями — и копытами и рогами. Именно на нас ляжет самая большая ответственность.

— Поколение гениев и кретинов, — сказал я. — Только неизвестно, кого больше.

— Ясно, что нам больше всего накладут по шеям, — сказал Генрикас.

— А я совсем этого не хочу.

Ужинать мы кончили молча.

Стемнело, но мы еще успели достать лодку.

Казалось, она давно уже ждала от меня этих слов, чтобы расплакаться. — «А что же дальше, Дита?»

И они как бы повисли в воздухе, тяжелые, назойливые.

Дита сидела на корме, зажав в ладонях лицо, слезы просачивались между пальцев и падали на сжатые круглые колени.

Ритмично поскрипывали в моих руках весла.

— Если бы я знала… — услышал я шепот.

Гиркшт, гиркшт — скрипели весла. Наверно, уключины заржавели.

Не надо, не надо было мне теперь ни о чем спрашивать…

— О-го-го! — кричал нам с берега Ромас. — Плывите сюда! Куда вы пропали?!

Лодка легко скользнула по песчаному дну и уперлась в берег. Дита выпрыгнула из лодки, светлое ее платье вспыхнуло в отсвете тлеющего костра и исчезло.

В лодку прыгнула Лайма, за ней Ромас.

— Вези нас, старик! — сказал он.

Гиркшт, гиркшт — заскрипели весла. Наверное, уключины заржавели.

. . . . . .

У костра мы нашли только Генрикаса. Он сидел на вещевом мешке, свесив руки и тупым взглядом уставившись в угасающий огонь.

18

— Мастер!

Он склонился над каким-то листком бумаги.

— Мастер!

Никакого ответа. Но ему очень идут всякие бумажки и фиолетовые чернила.

— Уважаемый сменный мастер, — подчеркивая каждое слово, говорю я.

Тот не слышит, наверное, в его жилах течет фиолетовая кровь.

«И с чего это он так пыжится?» — подумал я. Но тут мастер поднял глаза.

— Жаловались? Гадите в свое же гнездо? Не выгорит! — прошипел он желчно.

«И грянул гром!» — обрадовался я.

Я кротко опускаю глаза, едва сдерживая улыбку.

— Я вас еще приберу к рукам, товарищ… э-э… товарищ!..

— Но раньше подпишите наряд.

Мастер небрежно расчеркивается, и я выхожу из конторы.

— Слыхал, комиссия, говорят, создана, участок наш будут проверять? — схватил меня за руку

Жорка.

— Уже? А мастер еще грозится меня прибрать к рукам.

— Грозится? Ха-ха! Теперь его самого так зажарят…

— Мартинас! — кличет Сильвис и машет рукой.

— Что случилось?

— Айда в проходную, тебя там к телефону зовут.

— Кто?

— А кто же еще — девчонка!

— Не врешь?

Сильвис ударяет себя кулаком в грудь и отчаянно мотает головой.

Я бегу через весь цех. Может, ошибка?

Вахтер торжественно передает телефонную трубку:

— Говорите, молодой человек.

— Алло!

— Это ты, Мартинас? — слышится несмелый голос Юдиты.

— Я, — говорю я тише, чем требуется.

— Ты не сердись, что я позвонила, — дрожит Дитин голос в трубке. — Мне необходимо было позвонить тебе именно сегодня. Представляю

себе, как ты стоишь там, весь в масле, с грозным видом извергая из глаз молнии, — и она силится засмеяться.

«Дита, милая», — думаю я.

— Я чертовски рад, что ты позвонила! — кричу я, комкая в руках провод.

— Ты торопишься, у тебя времени нет? — спрашивает Дита.

— Почему?

— По твоему голосу мне показалось, что ты спешишь.

Я закусываю губу и молчу.

— Забеги после работы ко мне домой. Я непременно должна с тобой поговорить. Обещаешь?

— Приду.

— Хочу видеть тебя! — кричит Дита и кладет трубку.

Дита сидела за столом и пальцем двигала маленького пластмассового человечка. Он раскачивался из стороны в сторону на своем круглом основании и улыбался широко растянутым ртом.

Разговор долго не клеился.

— Кретины всегда крепко держатся на ногах, — сказал я, глядя на пластмассового человечка.

— Почему ты его так оскорбляешь? — печально

спросила Дита. — Он очень хороший.

— Извините, уважаемый, — сказал я игрушке, — я не был с вами знаком. Говорят, что вы честный гражданин. Меня зовут Мартинас.

Диту это нисколько не рассмешило. Она подошла к окну и отдернула занавеску.

— Уже каштаны набухли. Созреют, упадут… Жаль, уже не увижу…

Теперь только я заметил коричневый кожаный чемодан в углу комнаты.

— Ты уезжаешь? — спросил я, медленно поднимаясь с дивана.

— Завтра вылетаю в Вильнюс. Поступаю в консерваторию.

— Почему ты раньше не говорила?

Она отошла от окна.

— Там должно быть что-то очень радостное и новое… — И добавила с опаской: — Ты веришь, что так будет?

— Должно быть.

— Ты не умеешь лгать. И разговаривать с девушками… Хочешь, я подарю тебе этого человечка?

— Не надо, — я спрятал руки за спину.

— Эта игрушка принесет тебе счастье, — сказала она.

— Маленькое счастье?

— Большое, — она чуть покраснела. — Не может быть ничего маленького.

Я взял у нее из рук игрушку и положил в карман пиджака.

— Он знает много моих секретов, и тебе будет интересно с ним побеседовать, — добавила Дита.

— Что ж, желаю тебе счастья, — чужим голосом сказал я и протянул руку. — Когда ты вылетаешь?

— Завтра, в шесть вечера…

— Почему не утром?

Она молчала, отведя глаза в сторону.

— Проводишь? — тихо спросила она и подошла ко мне. — Да?..

Она погладила рукав моего пиджака и опустила руку. Ее губы едва заметно дрожали, скрывая смущенную улыбку. Можно было подумать, что она задала мне вопрос мирового значения.

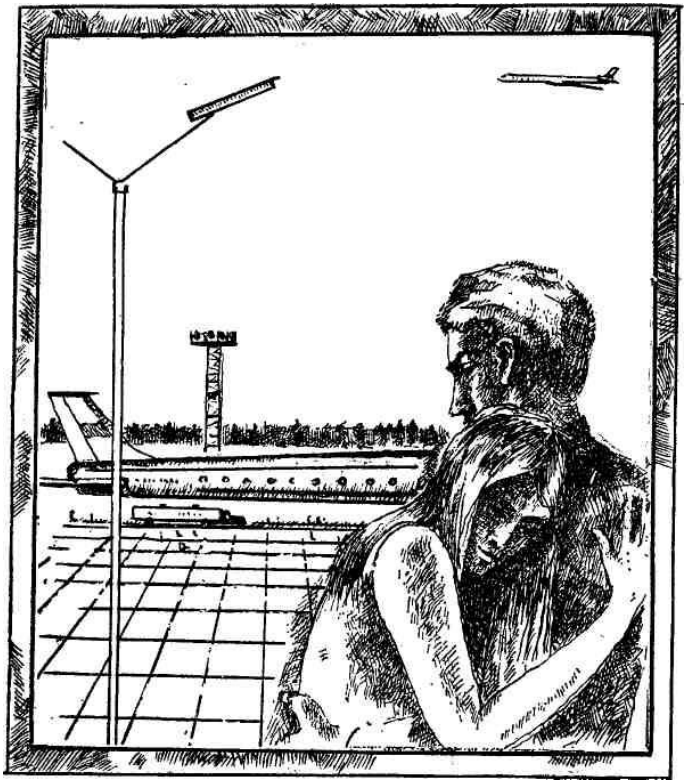
— Хорошо.

Мы выпили в буфете пива, хотя я и знал, что Дита не любит его. Мелкими глотками она отхлебывала пиво, словно горячий чай, и через край стакана наблюдала за мной. Казалось, она хочет меня о чем-то спросить. И правда, повертев в руках запотевший стакан, поставила его на стол и попросила:

— Скажи: Дита…

— Дита, — сказал я.

Она вслушалась в звучание моего голоса. Мотнула головой.



— Не так.

— Дита, — тихо позвал я ее.

— Спасибо, — слабая улыбка промелькнула в уголках ее губ.

Мы вышли из буфета и направились к летному полю. Мимо нас торопливо проходили люди, я насвистывал, а Дита слушала, всматриваясь в даль, где теплый ветерок гонял по бетону пересохшие стебли трав.

— Дита, ты опоздаешь.

— Не будь дурачком, — сказала она. — Я тебе еще нравлюсь?

— Ты ведь знаешь.

Она прижалась щекой к моему плечу.

— Поцелуй меня, — прошептала она краснея.

Я нагнулся и осторожно дотронулся губами до ее шеи между волосами и изгибом плеча.

— Обещай, что ты так никого не будешь целовать…

— Как?

— Ну так, в шею…

Я еще раз поцеловал ее.

— Теперь веришь?

Она зажмурилась, улыбнулась, потом мягко оттолкнула меня и быстро направилась к самолету. «А письма?!» — мелькнуло в голове.

— Дита, — позвал я.

Она не обернулась. Поднялась по трапу. Ветер трепал ее легкое платье, и казалось, что она уже летит.

— Дита!

19

Мы сидим вместе с Сильвисом на высоком деревянном ящике контейнера и закусываем. Отсюда кирпичный заводской забор не заслоняет живописной излучины реки, кажется, она тут же, рукой подать. Над рекой нависла ленивая вечерняя тишина, мы тоже молчим.

Порою тишину нарушает какой-нибудь приглушенный звук: то ли одинокий рыболов на другом берегу закинет удочку — лихо просвистит удилище, мягко шлепнется о воду поплавок, и чудится, будто слышишь, как приходит в движение спокойная поверхность реки. Или прикрепленная цепью лодка трется смоленым боком о песчаный берег, шепчущий воде на своем языке: «Не спеши, не спеши…» И все эти звуки предельно чисты, как звук камертона, и ошеломляюще реальны.

Я смотрю на Сильвиса. Он чуть поворачивает голову и тихо говорит:

— Здесь песок желтый, а там, в Сан-Пауло, — при этом он делает жест рукой в сторону поалевшего небосклона, — серый и твердый, как цемент… На таком песке хорошо играть в футбол.

— Я тоже играл, — и добавляю нетвердо: — На

Щавелевом поле.

Он утвердительно кивает, как будто это ему давно известно, как будто иначе и не могло быть, если мы тут вместе сидим на контейнерном ящике и вместе коротаем этот вечер. Теперь я думаю о том, что все мы — и я, и он, и другие, — каждый из нас имел свое Щавелевое поле, имел своих сверстников, а потом пришло время все это оставить и выбрать свой путь, не оборачиваясь больше назад.

Сильвис сидит, нагнувшись вперед, задумавшись, его плечо касается моего плеча, и я знаю, что он тоже ощущает ту спокойную большую тишину, которая окружает нас. И мы опять молчим, подчиняясь глубокой и мудрой тишине вечера, и не надо никаких слов, потому что все сейчас ясно и просто, как те первозданные звуки над рекой, как внезапно возникшая бессловесная близость двух людей.

20

— Подумай, как бежит время... — сказала Лайма, и не было в ее голосе никакой тревоги, было одно только радостное ожидание.

— Знаю, — ответил я. — У меня есть дома старый будильник, и я знаю... Утро, темная комната, тишина, Я слышу только тиканье часов. Я лежу и не поднимаюсь. Лежу и не поднимаюсь. А они все тикают. И ничего вокруг нет, только я и часы. И мне хочется кричать от страха, хочется умереть, лишь бы только не слышать этого тиканья. Но теперь я не испытываю никакого страха. Помнишь, мы у Ромаса часто говорили о том, как страшно принимать решение?

— Я буду Ромасу писать письма, — сказала она.

— Теперь я знаю, что не может быть какого-то единственного всеобъемлющего решения. Все они временные. Но чтобы постичь это, тоже требуется время и мужество. И надо смело принимать новые решения.

— Ты давно это знаешь?

Я мотнул головой.

— Но ты все равно ничего до сих пор не решил! — воскликнула Лайма. — Кем же ты хочешь

быть…

— Я хочу быть сильным, добрым… Простым…

— Ты не хочешь со мной здороваться, Мартинас?

— Почему же? Здравствуй, Генрикас.

Мы отошли на край тротуара.

— Юдита уехала?

— Лайма тоже.

Генрикас некоторое время рассеянным взглядом провожал прохожих, потом медленно закурил, и лицо его приняло сосредоточенное выражение, как будто он хотел кого-то опознать в пестром потоке людей.

— Уехала, — тихо повторил он, не вынимая изо рта сигареты. Щеки его впали, и когда он затягивался дымом, нижняя челюсть еще больше выдавалась вперед, как бы угрожая кому-то.

Генрикас вдруг повернул голову, глянул мне в глаза.

— Чего-то зло берет, — сказал он. — А чего — и сам не знаю… Может, и тебе надо было уехать?

— Надо ли?

— Праведникам — да. Ты ведь праведник, Мартис. Таким требуется пьедестал.

— Праведник потому, что перестал бояться серости? Дорог много, и по ним ходят не одни

только праведники или еретики.

— Желаю удачи, — безразлично сказал Генрикас и протянул руку. — Должно быть, не скоро увидимся.

— Должно быть.

— Так будет лучше, — сказал Генрикас. — Между прочим, — медленно добавил он, — я написал сценарий. Может, он окружит еретика ореолом святого.

Генрикас повернулся и быстро пошел прочь. Он сразу же слился с толпой и исчез из глаз.

21

Неужели не будет писем? Никак не могу поверить, хотя ящик для писем сегодня пуст, как и вчера. Но разве мне не хватит мужества сказать самому себе, что писем не нужно. Что все осталось далеко позади, как и Щавелевое поле?

Ромас поступил в политехнический, Лайме тоже повезло. Теперь она, наверное, уже не стала бы спрашивать меня, что такое счастье. А я все отложил на другой год: каждый день на заводе появляется множество новых вещей, к которым нельзя оставаться равнодушным.

Недавно Ромас мне признался: «Не знаю, с какого времени начинаешь понимать, что ты нужен жизни...»

А я-то узнал что-нибудь за это время? Чему-нибудь научился?

Трудно самому ответить на такой вопрос.

Я знаю самое главное — я не приду с пустыми руками.

Знаю, мы не раз еще все встретимся.

Потому что нельзя не подчиняться могучему зову в Дорогу, в этот вечно движущийся поток, где ты никогда не будешь один и где по вечерам

зажигаются зеленые огни.
Чтобы ты мог идти вперед.
Чтобы ты не остановился в ночи.

Перевод *Е. МАЛЬЦАСА.*

Послесловие
ДЕСЯТЬ ИЗ СТА

Начну с признания: никогда раньше мне не приходилось задуматься о том, что предисловия и послесловия в книгах отличают не случайное их помещение в начале или в конце, а более существенные жанровые признаки. Не берусь и теперь перечислять эти признаки, но чувствую, что предисловия, в моем представлении похожего на очерк о развитии литовской повести шестидесятых — семидесятых годов, не стал бы писать: не только потому, что девяносто процентов читателей — по самым оптимистическим подсчетам — скорей прочтут лишнюю повесть, чем станут тратить время на такой литературно-критический очерк, не только потому, что десять избранных повестей — все же недостаточное количество, чтобы дать неосведомленному читателю полное представление о хронологическом развитии и настоящем положении определенного жанра, но и потому, что предисловие в силу своего жанрового предназначения обязано говорить и о том, чего читатель не найдет в на-

стоящей книге.

Другое дело — послесловие, позволяющее ограничиться тем, что есть в книге, и ориентирующее на беседу с читателем, который уже познакомился с тем, что в ней есть.

Итак, десять повестей, избранных составителем, прекрасно знающим литовскую прозу.

Дело в том, что в хронологических рамках, охватывающих в данном сборнике десять — двенадцать лет, нетрудно насчитать сотню произведений этого жанра, доброе десятилетие главенствовавшего — по крайней мере в количественном отношении — над другими жанрами прозы: книг повестей выходило больше, чем романов или сборников рассказов. Литовская литературная критика в свое время немало размышляла о таком явлении, вспоминала крылатые слова Белинского о возможностях этого жанра, связывая такой подъем и с застоем в развитии рассказа, и с тяготением молодого поколения прозаиков к более крупным формам художественного постижения действительности, с подготовкой их к непосредственному штурму самой неприступной крепости — романа.

Что-то, видимо, было подмечено правильно, что-то оказалось неподтвердившейся гипотезой,

но главное — не различные критические интерпретации, а то, что шестидесятые — первая половина семидесятых годов дали произведения «среднего» жанра, несомненно ставшие выше средней линии в идейно-художественном отношении.

Начало определенного этапа развития литовской повести я бы датировал 1961 годом, когда вышла «Сосна, которая смеялась» Ю. Марцинкявичюса. Один из талантливейших мастеров слова своей первой и до сих пор неповторенной попыткой в прозе не только привлек внимание широкого интернационального круга читателей, но и дал сильный толчок дальнейшим поискам в этом жанре. После «Сосны...» главной жанровой особенностью повести стало лирико-исповедальное начало, самораскрытие молодого человека, описание процесса созревания личности. К наиболее характерным произведениям этого направления я бы отнес «Щавелевое поле» Л. Яцинявичюса, «Арберон» В. Бубниса и «Игры взрослых» Р. Кашаускаса. Два писательских поколения, три творческие индивидуальности являют нам эти повести. «Щавелевое поле», первая повесть молодого автора, перед тем дебютировавшего рассказами, появилась в печати,

когда ему было всего двадцать два года. Талант, привлекший внимание читателя уже в первой книге его рассказов, соединенный с небольшим, но несомненно аутентичным жизненным опытом автора, без труда завоевал признание особенно молодого поколения, узнавшего в главном герое Мартинасе самого себя, открытой душой принявшего и его жизненную позицию, и его заботы, и первые испытания.

Мартинас, как и Ромас Стаугайтис из упомянутой повести Ю. Марцинкявичюса, привлек своей искренностью, самостоятельностью, активным отношением к явлениям жизни, неприятием мещанской посредственности, юношеским максимализмом. Правда, этот максимализм чаще всего проявлялся в отношении к окружающим и не всегда способствовал самокритичной оценке собственных поступков, но кто мог упрекать за это восемнадцатилетнего героя, да и его ровесника — автора? Упреки появились позже, когда «автобиографические» повести молодых авторов стали появляться одна за другой, часто не достигая уже психологической достоверности и художественного уровня «Щавелевого поля», но зато опережая его В эгоцентричности молодого героя, к тому же духовно более мелкого,

следовательно, и более претенциозного, и менее привлекательного. Отдав дань такому герою в следующей своей повести — «Марафонский бег» (кстати, обе они вышли в одной книге в 1968 г.), Л. Яцинявичюс первым почувствовал опасность послушного следования за героем, и появившаяся затем повесть-гротеск «Меняю образ жизни» стала его прощанием с литературной молодостью. Недавно опубликованный первый роман этого автора свидетельствует о серьезном шаге вперед, позволяет говорить о гражданской и творческой зрелости художника.

Таким образом, прочтение повести почти через полтора десятилетия после ее появления как бы раскрыло две перспективы, позволило еще раз осмыслить две давно известные истины: открытия не повторяются, идущему нельзя остановиться.

В ретроспективе воспринимаются сегодня уже и повести В. Бубниса и Р. Кашаускаса. В их творческой судьбе этот жанр сыграл особую роль: В. Бубнис, известный сегодня всесоюзному читателю как автор трилогии романов, именно с повести («Березы на ветру») начал свой творческий путь; Р. Кашаускас, будучи уже автором трех сборников рассказов, только благодаря повестям

завоевал место в ряду сильнейших литовских прозаиков. Правда, теперь на его счету тоже два романа, но повести по-прежнему не теряют своего значения ни в творчестве Р. Кашаускаса, ни в более широком контексте литовской прозы. В повестях Р. Кашаускаса, таких, как «Глаза моей матери», «Город отца», «Игры взрослых», «Мотоциклисты» и других, привлекает прежде всего характер героя. Чуткий и сердечный, наивный и легко ранимый, порой растерянный и мечущийся, ошибающийся и болезненно переживающий свои ошибки, герой этот постоянно нуждается в тактичном внимании к себе, доброжелательности и неназойливой помощи.

Герой одной из его повестей, старый садовник Адомас Кончюс, на исходе дня осмысляющий свой несладкий жизненный опыт, говорит: «Осудить человека нетрудно, но надо понять его». Понять человека. Такой девиз, вполне применимый к литературе вообще, явственно звучит в творчестве Р. Кашаускаса. Желание п о н я т ь, не торопясь ни оправдать, ни осудить, определяет выбор писателем героя — человека, которому особенно необходимо внимание окружающих и контакт с ними.

Вацис («Глаза моей матери»), в детстве остав-

шийся без родителей, убитых бандитами, тяжко переживает отчуждение сестры, единственного близкого человека; Видас («Город отца») покидает ставший ему чужим родной дом; Бронюс («Игры взрослых»), когда-то легкомысленно оставивший любимую девушку, теперь сам томится от одиночества.

Мотив «Игр взрослых» становится ведущим у Р. Кашаускаса, и чаще всего он варьируется в любовной теме. Любовь для его героев — это потерпевшее крушение судно, на обломках которого они пытаются удержаться, и любовь — гавань, к которой они стремятся. Любовь — испытание и любовь — спасение — вот два полюса, между которыми мечутся его герои. Легкомысленная игра и искренние чувства часто противоборствуют в сердце одного и того же героя, истощая его и в то же время вознаграждая мгновениями блаженства.

Важная тенденция, которую неоднократно отмечала критика, — постоянный рост требовательности этого писателя к своему герою. Внимательно присмотревшись к нему в ранних повестях, Р. Кашаускас с каждым новым произведением все смелее выносит ему свой приговор. Уже в «Играх взрослых» Бронюс понимает, что

«нельзя со взрослыми играть в детские игры». В «Мотоциклистах» тема личной ответственности человека звучит уже с полной силой. «Мотоциклисты» так же, как и «Арберон» В. Бубниса, заслуживают особого внимания, поскольку в этих повестях писатели обращаются к самой «дефицитной» теме — жизни подростков, школьников, стоящих на пороге самостоятельности.

«Арберон», вызвавший большой интерес у читателя, родился не случайно. Многие годы Бубнис отдал педагогической работе, затем редактировал журнал «Мокслейвис» («Школьник»), близко соприкасался с повседневной жизнью школы. Его герои говорят живым, порой даже шокирующим языком, но говорят и думают о делах, более серьезных, чем это представляется некоторым родителям и учителям. Они, эти герои, еще не взрослые, но уже и не дети, часто ощущают противоречия: им постоянно твердят о будущей роли активных строителей коммунизма и тут же одергивают, когда они такую активность проявляют. Их учат и воспитывают на примерах смелости, искренности и часто заставляют мириться с формализмом, показухой, ложью. Типичные представители поколения, сформировавшегося в условиях социализма, органично принявшего

коммунистические идеалы, не травмированного сложными историческими коллизиями, они не умеют лицемерить, притворяться, прикрывать высокими словами отсутствие убеждений, не признают несоответствия идеалов и действительности и чутко подмечают отклонения такого рода в других. «Вы эту правду иногда так затрепываете, что охота уши заткнуть», — бросает отцу Арунас, но в его голосе звучит не сомнение в нашей правде, а стремление оградить ее от демагогии.

Нельзя не отметить, что автор повести прекрасно понимает, что социальное созревание этого поколения совершается медленнее, нежели хотелось бы, но относится к своим героям без скидок и снисхождения, но свой счет предъявляет не тоном раздраженного моралиста, а голосом заинтересованного человека.

Авторская мысль поначалу идет, казалось бы, параллельно с мыслью героя. Автор терпеливо позволяет своему герою высказаться, стремится понять его и, главное, помогает ему понять самого себя. Лишь израсходовав ресурсы отрицания, насытившись скептицизмом, сознанием пассивного и потому сомнительного превосходства над другими, герой повести естественно

созревает для более сложного чувства — тоски по позитивной программе. Можно ли дать строгое определение этой программе, идеалам молодых героев, находящимся еще в некоем стихийном состоянии, пока только в идеальном, а не в реальном обличье? Полагаю, что можно. Пусть это лишь зародыши, лишь первые побеги, но это зародыши и ростки социалистических, гуманистических идеалов, не совместимые с ложью и лицемерием, с приспособленчеством и духовными компромиссами. Таким образом, на новом, скажем прямо, недостаточно используемом жизненном материале автор художественно решает актуальные проблемы коммунистического сознания, коммунистической морали.

Тема молодого человека, сложные перипетии семейной и личной жизни, взаимоотношение родителей и их взрослых детей волнуют А. Поцюса, В. Мартинкуса, Д. Урнявичюте. Тематическая, а иногда даже сюжетная перекличка их произведений дает возможность убедиться в неповторимой индивидуальности, оригинальности каждого из них.

А. Поцюс, один из немногих «чистых» новеллистов, впервые обратившийся к новому для себя жанру, драматическую ситуацию в семье предсе-

дателя колхоза Кунчинаса передает с эпическим спокойствием, с пристальным вниманием к реалистической детали, отводя внутренним переживаниям героев как бы второстепенное место, Но внешняя сдержанность повествователя компенсируется остротой коллизии, динамикой действия, точностью детали.

Даля Урнявичюте, по преимуществу драматург, в своей прозе явно пользуется опытом других жанров. Лирическая исповедь героев формально разделена на несколько длинных монологов. Посредственная поэтесса и неплохой мотоциклист, когда-то ставшие женой и мужем, крутятся в собственных орбитах, томимые непониманием друг друга, но не способные что либо менять ни в себе, ни в своих взаимоотношениях. Автору лучше удались внутренние монологи Годы, она сумела показать экзальтированность героини, ее внутреннюю неудовлетворенность и внешнюю нерешительность. Алдас, как характер, в какой-то мере остался в тени, скорее послужив поводом для самораскрытия Годы.

Совсем другой тип повествования характерен для прозы Витаутаса Мартинкуса. Инженер по образованию, преподаватель философии в вузе по роду работы и писатель по призванию, он лю-

бит конструировать, иной раз — даже усложнять ситуацию и характеры, однако за этим всегда ощутимы поиски и — что самое главное — эти поиски художественно оправданы. «Флюгер для семейного праздника» привлекает прежде всего яркими, резко индивидуализированными характерами, которые несут на себе черты и приметы времени. Твердый, трезвый, практический директор совхоза Йонас Каволюс и чудаковатая, живущая фантазиями и заемной мудростью его жена, их старший сын Лиувилль, молодой доктор наук, оправдавший надежды родителей, и не похожий на него брат Спин, бросивший вызов планам отца, наконец, романтическая натура Агне — всех их соединяют отнюдь не только семейные узы, но и твердая художественная логика автора.

Подкупает умение автора стилистически объединить такую пестроту характеров, от реалистической картины подняться в простор живого воображения и фантазии, лицо серьезного повествователя оживить гримасой иронии и опять возвратить ему выражение серьезности и сосредоточенности.

Мне кажутся излишними кое-какие сюжетные трюки, длинноватые посторонние истории, но

автор пытается оправдать их, дать им определенную смысловую нагрузку. Что ж, он находится на таком этапе своей творческой зрелости, когда оптимистические надежды читателя оправдываются в любом случае: либо автор откажется от чего-то ненужного, либо докажет свою правоту.

В чем-то сходным с ним путем идет Рамунас Климас. Его повесть «Гинте и белый монах» передает трогательную историю. Но история сама по себе не была бы так интересна (похожие истории, несомненно, взятые из жизни, уже встречались в нашей прозе), если бы не ее интерпретация, когда за голым фактом встает множество возможных литературных вариантов, зависящих прежде всего от неповторимых характеров, причем не только от поступков, но даже от помыслов людей. Для литературы, конечно, это не новая истина: вся ее история — сплошное доказательство того, что каждый сюжет в принципе может повторяться столько раз, сколько раз попадет он в руки настоящему художнику. И в данном случае стоит отметить оправдавшийся творческий риск автора.

Разнообразие творческих индивидуальностей и путей художественных поисков наглядно демонстрируют повести Саулюса Шальтяниса и

Юозаса Апутиса. Оба эти прозаика, отмеченные ярким талантом, с первых же публикаций, с первых своих книг привлекли внимание читателя, заслужили положительные отзывы критики. Оба автора не отличаются большой продуктивностью, зато каждая новая их книга является событием в литературной жизни республики. Двадцатисемилетний С. Шальтянис удостаивается Республиканской премии (1973) за киносценарий «Геркус Мантас», его драматургические произведения отмечаются премией Ленинского Комсомола Литвы. Повесть «Ореховый хлеб» инсценируется самим автором и уже несколько сезонов не сходит со сцены, по ее мотивам создан кинофильм.

Публикуемая в сборнике повесть «Дуокишкис» тоже успела получить и вторую — сценическую — жизнь. Автор, почерку которого присуще сочетание лиризма и иронии, вновь обращается к тяжелому послевоенному времени. Не повторяя того, что сказано другими, но и не полемизируя с ними, автор как бы ищет собственный ответ на вопрос, какие силы помогли людям выстоять, и главное место отводит человеческому взаимопониманию, готовности помочь друг другу. При этом стилистическая манера повести как

бы утверждает необходимость таких качеств, как юмор, ирония и самоирония, помогающих смягчать самые тяжелые обстоятельства, преодолевать их.

«Ах, Теофилис!» Ю. Апутиса, одного из самых тонких новеллистов в современной литовской прозе, возможно, станет переходным этапом к более крупным жанрам. Тайны художественной убедительности этой повести надо искать во многих компонентах произведения.

Автор удивительно тонко соединяет рассказ о внутренних переживаниях юного героя с мудрым комментарием, репликой, светлой иронической улыбкой рассказчика, уже отдаленного от него определенной временной дистанцией. И читатель как бы с двух сторон, из двух углов зрения видит «первую молнию созревания», рассекающую сознание шестнадцатилетнего Бенаса, и изменение психологических состояний героя, и радость открытия нового мира и нового себя, сопровождаемую чувством какой-то потери.

Вся повесть словно бы пронизана светом и теплотой человеческих отношений, излучаемых не только Бенасом, но и всеми героями повести — отцом и матерью, Милдой и Вилией, Теофилисом, внешне грубоватым, но таящим в душе нереали-

зованные возможности.

Своеобразную тональность придают повести авторские вздохи-сентенции, органично растворяющиеся в сюжете, соединяющие все истории и эпизоды в единую цепь открытий и утрат, гальванизируемую спокойной мудростью, светлой грустью и сдержанной радостью.

Если большинство авторов, о которых здесь говорилось, до недавнего времени были неизвестными или малоизвестными широкому кругу читателей за пределами республики, то имя Миколаса Слуцкиса — и как новеллиста, и как романиста, и как литературного критика — давно и хорошо знакомо. Однако повесть «Двадцать шесть бесконечных дней» в его творчестве — жанровое исключение. Внимание читателя она привлекает, конечно, не этим, а безукоризненно отшлифованным дуэтом автора и героя. Антонина Граяускене — не Каманис и не Алкснис из известных романов «Адамово яблоко» и «Жажда», способные к абстрактному мышлению и словесному выражению тонких нюансов своих чувств и настроений. Но она и не Марите из «Чужих страстей» — малограмотная девушка из послевоенной деревни. Антонина Граяускене — представитель поколения сегодняшних

сорокалетних, большая часть которых получила среднее и высшее образование, стоит где-то между Каманисом и Марите, на том интеллектуальном уровне, когда уже намечаются первые шаги к самостоятельному осмыслению мира и себя. Повесть отличается большой психологической проницательностью. Постоянные, но едва заметные переходы от авторского повествования к прямой передаче мыслей и чувств героя позволяют достигнуть максимальной достоверности характера, не умаляя при этом силы художественного обобщения.

Итак, вместе с воображаемым читателем я тоже еще раз прочитал десять литовских повестей. Десять из ста, написанных за полтора десятилетия. Не стремясь к обстоятельному критическому разбору этих повестей, я попытался лишь сделать несколько «заметок на полях».

Последняя — о том, чего читатель не нашел в этой книге. А не нашел Й. Микелинскаса, Р. Ланкаускаса, Й. Мачюкявичюса, Р. Гранаускаса, братьев Диргела и других прозаиков, без творчества которых панорама современной литовской повести кажется не полной. Говорю это, прекрасно понимая, что охватить в одной книге развитие целого жанра невозможно. Будем же надеяться,

что несостоявшееся знакомство еще состоится при будущих встречах.

Пятрас БРАЖЕНАС.